

Йен Пирс

XXI
1828
The BEST

Падение Стоуна

[роман]



Йен Пирс
Падение Стоуна

Моей матери

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Париж. Март, 1953 г.

Церковь Сен-Жермен-де-Пре в начале так называемой весны была унылым местом и выглядела еще хуже из-за жалкости города, до сих пор не оправившегося от шока, и еще хуже, из-за маленького гроба перед алтарем, причины моего присутствия тут, и, опять-таки хуже, из-за ноющей боли, сводившей все мое тело, пока я стоял на коленях.

Она умерла за неделю до моего приезда. Я даже не думал, что она была еще жива, ведь ей перевалило далеко за восемьдесят, а невзгоды последних нескольких лет подорвали силы многих людей куда моложе ее. На нее это не произвело бы впечатления, но что-то вроде молитвы за нее пришло мне на ум как раз перед тем, как я с трудом снова сел на скамью. Старость не балует благами; и в любом случае унижительность физического страдания, усилие скрывать непреходящую назойливую боль причислить к ним никак нельзя.

Пока утром я не взял в руки «Фигаро» и не увидел извещение, я пребывал в прекрасном расположении духа, ведь я совершал прощальное турне; власти предержавшие совместно наскребли достаточно иностранной валюты, чтобы я мог попутешествовать. Мое последнее посещение иностранных бюро перед отставкой. В те дни немногие люди могли позволить себе подобное — как и позднее, пока не были сняты запреты на обмен иностранных валют. Маленький знак уважения, который я высоко оценил.

Служба была недурной, хотя тут я не эксперт. Священники не торопились, хор пел очень мило, молитвы были вознесены, и все завершилось. Краткое надгробное слово воздало должное ее самоотверженным неустанным трудам в помощь обездоленным, но никак не отразило ее характера. Присутствовавшие состояли в основном из свежеемытых и сосредоточенных детей, которых учительницы щипали за уши, если они каким-либо образом нарушали тишину. Я огляделся, проверяя, кто возьмет на себя продолжение, но словно бы никто не знал, что делать дальше. В конце концов заговорил гробовщик. Погребение, сказал он, состоится сегодня в два часа дня на кладбище Пер-Лашез, по адресу номер пятнадцать, Шмен дю Драгон. Приглашаются все желающие.

Затем носильщики подняли гроб и промаршировали из церкви, а скорбящие остались в растерянности, окутанные холодом.

— Простите меня, но ваше имя Брэдок? Мэтью Брэдок?

Тихий голос молодого человека, аккуратно одетого, с повязкой черного крепа на руке.

— Я Уайтли, — сказал он. — Гарольд Уайтли. «Гендерсон, Лэнсбери, Фентон». Я узнал вас по телевизионным новостям.

— Да?

— Солиситеры, знаете ли. Мы вели юридические дела мадам Робийар в Англии. Не то чтобы их было много. Я так рад встретить вас. В любом случае я намеревался написать вам по возвращении.

— Правда? Она ведь, полагаю, никаких денег мне не оставила?

Он улыбнулся.

— Боюсь, что нет. К тому времени, когда она умерла, она уже совсем обеднела.

— Господи помилуй! — сказал я с улыбкой.

— Что вас удивляет?

— Когда я был с ней знаком, она же была очень богата.

— Я слышал об этом. Но я знал ее только милой старушкой со слабостью к достойным благотворительным делам. Однако при наших редких встречах я находил ее очаровательной. Просто обворожительной.

— Да, такой она и была, — ответил я. — Почему вы пришли на похороны?

— Традиция фирмы, — сказал он с гримасой. — Мы погребаем всех наших клиентов. Последняя услуга. Но, знаете, это же поездка в Париж! В наши дни такие случаи выпадают редко. К несчастью, я сумел получить так мало франков, что должен вернуться сегодня же вечером.

— У меня их немножко больше. Так, может быть, выпьем?

Он кивнул, и мы пошли по бульвару Сен-Жермен к кафе мимо угрюмых зданий, вычерненных за век или более дымом и испарениями. Уайтли — в прошлом капитан Уайтли — проявил назойливую склонность стискивать мой локоть в сомнительных местах, чтобы не дать мне споткнуться и упасть. Очень заботливо, но подразумевало одряхление и оттого раздражало.

Отличный коньяк — она заслуживала не меньшего, и мы пили за ее здоровье, сидя на шатких деревянных стульях у окна с зеркальными стеклами.

— Мадам Робийар, — повторили мы несколько раз, становясь более разговорчивыми по мере того, как пили.

Он сообщил мне о жизни в разведке во время войны — тех днях его жизни, сказал он тоскливо, которые закончились навсегда, сменились будничными заботами лондонского солиситера. Я сообщил ему о репортажах для Би-би-си, о Дне Д, о рассказах миру про Блитц. День вчерашний и иной век.

— Кто был ее муж? — спросил я. — Полагаю, он давно умер.

— Робийар умер примерно десять лет назад. Он вместе с ней управлял приютами и школами.

— Вот почему в церкви было столько детей?

— Полагаю, что так. Она основала свой первый приют сразу после войны... первой войны. Осталось так много сирот и брошенных детей. И каким-то образом она занялась ими. К концу приютов было что-то десять — двенадцать. Насколько понимаю, все они содержались согласно новейшим гуманным принципам. Они поглотили все ее состояние, собственно говоря. В такой мере, что их все теперь заберет государство.

— Достаточно достойное применение для него. Когда я знавал ее, она была замужем за лордом Рейвенсклиффом. Впрочем, тому уже больше сорока лет.

Я умолк. Уайтли никак не отреагировал.

— Вы что-нибудь слышали о Рейвенсклиффе? — спросил я.

— Нет, — сказал он. — А следовало бы?

Я прикинул и покачал головой:

— Пожалуй, нет. Он был промышленником, но большая часть его компаний исчезла в годы Депрессии. Некоторые закрылись. Другие были перекуплены. Несколько «Виккерс», если не путаю. Безлюдье одинокое песков простерлось прочь, знаете ли.

— Простите?

— Не имеет значения.

Я вдохнул густое скопление сигаретного дыма и сырости, а затем поймал взгляд официанта и потребовал еще спиртного. Удачная мысль. Уайтли никак меня не подбодрил. В кафе было пусто, занятых столиков мало, и немногих клиентов официанты были готовы обслуживать со всем усердием. Один из них чуть было не улыбнулся, но вовремя спохватился.

— Расскажите мне про нее, — сказал я, когда наши бокалы вновь наполнились. — Я не видел ее много лет и о ее смерти узнал лишь случайно.

— Сказать найдется немного. Она жила в квартире чуть дальше отсюда по улице, ходила в церковь, занималась благотворительностью и пережила своих друзей. Она много читала и любила ходить в кино. Насколько

понимаю, она питала слабость к фильмам Хэмфри Богарта. И для француженки английским владела прекрасно.

— Когда я знал ее, она жила в Англии. Хотя и венгерка по национальности.

— Сверх этого добавить особенно нечего, ведь так?

— Пожалуй, да. Тихая и безупречная жизнь. О чем вы собирались написать мне?

— М-м-м? Ах это! Так мистер Гендерсон, знаете ли, наш старший партнер. Он умер год назад, и мы разбирали его бумаги. Среди них оказался пакет, адресованный вам.

— Мне? Что же это? Золото? Драгоценные камни? Доллары? Швейцарские часы? Кое-что в таком роде мне пригодилось бы. При перспективе пенсии по старости.

— Мне неизвестно, что в нем. Он запечатан. Входил в имущество мистера Генри Корта.

— Господи!

— Полагаю, вы его знали?

— Мы познакомились много лет назад.

— Как я говорю, входил в имущество Корта. Странно то, что, согласно инструкции, вы должны были его получить только после смерти мадам Робийар. Что для нас было увлекательной новинкой. В конторе солиситеров увлекательности места нет, позвольте вам сказать. Вот почему я намеревался вам написать. Вы знаете, что в нем?

— Не имею ни малейшего представления. Я практически не был знаком с Кортом и более тридцати лет вообще его не видел. Я познакомился с ним, когда писал биографию первого мужа мадам Робийар. Собственно, так я и с ней познакомился.

— Надеюсь, книга имела большой успех.

— К сожалению, нет. Я даже ее не завершил. У большинства издателей его имя вызывало примерно такой же энтузиазм, какой вызвало у вас, когда я его упомянул.

— Прошу прощения.

— Это было очень давно. Я вернулся к журналистике, затем Би-би-си, когда она только-только возникла. А Корт когда умер? Странно, чем больше стареешь, тем важнее становятся смерти других людей.

— В сорок пятом.

— Когда я вернусь, пришлите мне ваш пакет. Если он имеет ценность, буду рад получить его. Но сильно сомневаюсь. Насколько помню, Карту я не слишком нравился, а он очень не нравился мне.

И больше нам нечего было сказать друг другу, как обычно людям не знакомым между собой и разных поколений. Я заплатил и начал мой старческий обряд укутывания: пальто, шляпа, кашне, перчатки, — застегивая и затягивая все как можно крепче от сырого холода непогоды. Уайтли надел легкое ветхое пальто, видимо, полученное при демобилизации. Но казалось, мысль о том, чтобы выйти наружу, холодила его куда меньше, чем меня.

— Вы пойдете на кладбище?

— Это меня доконает. Она этого не ожидала бы и, вероятно, сочла бы сентиментальным. К тому же мне надо успеть на поезд к четырем. Когда вернусь, покопаюсь в моих старых заметках — проверить, сколько я помню на самом деле, а сколько всего лишь воображаю, будто помню.

Мой поезд отправлялся с Гар-де-Лион сегодня во второй половине дня, и холод Парижа отодвигался вдаль вместе с мыслями о мадам Робийар, прежде Элизабет, леди Рейвенсклифф, по мере того, как я уносился на юг к большому теплу средиземноморской весны.

Она оставалась в глубине моего сознания, куда бы я ни направлялся, что бы я ни видел, пока я не вернулся в мой домик в Хемпстеде, чтобы выкопать мои старые заметки. А тогда я отправился нанести визит мистеру Уайтли.

Лондон, 1909 г.

Глава 1

Когда я соприкоснулся с жизнью и смертью Джона Уильяма Стоуна, первого (и последнего) барона Рейвенклиффа, я трудился как журналист. Вы заметили, я не говорю, что был журналистом. Всего лишь трубил, как журналист. Один из тщательнейше хранимых секретов профессии сводится к тому, что, если хочешь добиться успеха, необходимо быть абсолютно серьезным. Проводишь долгие часы, болтаясь по пабам в ожидании, не произойдет ли что-нибудь, а когда происходит, то зачастую оказывается не слишком-то интересным. Я специализировался на уголовных делах, а потому проводил жизнь вокруг и внутри Олд-Бейли: ел с моими сотоварищами, дремал рядом с ними на протяжении занудных показаний; пил с ними в ожидании вердикта, а затем мчался в редакцию сварганить бессмертную прозу.

Предпочтительнее всего были убийства. «Гамбурный убийца будет висеть». «Иллингский душитель просит о снисхождении». У них у всех были прозвища, во всяком случае, у стоящих. Многие пустил в оборот я. У меня был своего рода дар к забористым словечкам. Я даже брался за то, чего другие репортеры не делали, — иногда сам расследовал казус. Часть денег моей газеты я тратил на полицейских, которые и тогда были податливы на поощрительные пустячки — выпивку, обед, подарочки их деткам — не менее, чем теперь. Я стал знатоком методов полиции и убийц. Слишком уж хорошим, по мнению моих много о себе понимавших коллег, которые считали меня трущобником. В свою защиту могу сказать, что интерес этот разделяло со мной большинство покупавших газеты, которых ничто так не ублажало, как возможность почитать про увлекательное удушение шнурком вокруг шеи. Лучше же всего бывала молодая красавица, убитая особенно жутким образом. Вернейшая приманка для толпы. Без промаха. И вот это мое уменьице и свело меня с лордом Рейвенклиффом. Вернее, с его вдовой, от которой в одно прекрасное апрельское утро я получил письмо с просьбой приехать к ней. Примерно через две недели после того, как он умер, хотя тогда это событие ускользнуло от моего внимания.

— Кто-нибудь что-нибудь знает про леди Элизабет Рейвенклифф? — осведомился я в «Утке», где завтракал пинтой пива и колбаской. В то утро

там было почти пусто. Недели и недели ни единого сносного процесса, и ни единого в обозримом будущем. Даже судьи сетовали, что преступные классы словно бы утратили вкус к своим занятиям.

Мой вопрос был встречен общим бурканьем, означавшим абсолютное отсутствие интереса.

— Элизабет, леди Рейвенсклифф. Выражайся правильно.

Ответил мне Джордж Шорт, старик, точно подходивший под определение «поденщик». Он брался за что угодно и мертвецки пьяный был репортером куда лучше любых других своих собратьев — включая и меня, — трезвых как стеклышко. Сообщите ему хоть какие-то сведения, и он их распишет. А не сообщите никаких сведений, он сам их создаст столь совершенно, что результат будет много лучше правды. А это, кстати, еще одно правило настоящего журналиста. Выдумка в целом лучше реальности, обычно более достоверна и всегда более убедительна.

Джордж, одевавшийся так скверно, что его как-то арестовали за бродяжничество, поставил свою пинту (его четвертую за это утро, а было только десять) и утер щетинистый подбородок. Определить статус репортера, как и аристократа, можно по его одежде и манерам. Чем они хуже, тем статус выше, поскольку лишь нижестоящие вынуждены производить хорошее впечатление. Джорджу не требовалось никого впечатлять. Его все знали, начиная с судей и до самих преступников, и все называли его Джорджем, и почти все поставили бы ему пинту. На том этапе я уже не был новичком, но до ветерана еще не дотягивал — я уже расстался с моим темным костюмом и носил теперь твидовые и курил трубку в тщании обрести литературный залихватский вид, по моему мнению, очень мне шедший. Мое мнение мало кто разделял, но я ощущал себя прямо-таки великолепным, когда по утрам смотрелся в зеркало.

— Ну, ладно. Пусть она Элизабет, леди Рейвенсклифф. Кто она? — ответил я.

— Жена лорда Рейвенсклиффа. Вернее, вдова.

— А он был?

— Бароном, — сказал Джордж, который иногда несколько перегибал палку касательно сообщения всей возможной информации. — Получил титул в одна тысяча девятьсот втором, насколько помню. За что, не знаю, вероятно, купил, как они все. Джон Стоун его звали. Денежный мешок какого-то рода. Упал из окна пару недель назад. Всего лишь несчастный случай, к сожалению.

— Какого рода денежный мешок?

— Почему я знаю? У него были деньги. А тебе-то это зачем?

Я протянул ему письмо.

Джордж выбил трубку о каблук башмака и громко потянул носом.

— Не слишком подробно, — сказал он, возвращая мне письмо. — Ни твое лицо, ни твой талант или манера одеваться объяснением быть не могут. Как и твое остроумие и обаяние. Может, ей нужен садовник?

Я скроил ему гримасу.

— Ты пойдешь?

— Конечно.

— Многого не ожидай. И будь начеку. Эти люди забирают много, а взамен ничего не дают.

Первое подобие политического мнения, какое я когда-либо от него слышал.

Глава 2

На следующий день я явился по адресу Сент-Джеймс-сквер во внушительный особняк, один из тех, в которых проживают богатые негодяи и финансовые воротилы, хотя они уже мало-помалу перекочевывали в более лиственные районы города. О самой леди Рейвенскилфф я узнал всего ничего, а потому заполнил пробел игрой воображения. Вдовствующая аристократка лет под семьдесят, одета по последнему крику моды тридцатилетней давности, когда она была молода и (готов я был держать пари) достаточно милостива. Что-то от герани в ее облике — моя бабушка выращивала герань, и особый густой запах этого растения всегда ассоциировался в моем сознании с респектабельной старостью. А может быть, нет, может быть, чуть-чуть обрюзгла и неотполированная. Уроженка северных графств, преуспевшая, но все же на несколько шаткой ступени общественной лестницы, с вечной обидой, что богатство не принесло с собой положения в обществе.

Мои мысли перебились, когда я оказался перед женщиной, которую принял за дочь или компаньонку. Я дал ей лет сорок, ведь Рейвенскилффу, когда он умер, было почти семьдесят.

— Добрый день, — сказал я. — Мое имя Мэтью Брэдок. Меня пригласила... ваша матушка? Может быть...

Она улыбнулась с некоторой растерянностью.

— Надеюсь, что нет, мистер Брэдок, — ответила она. — Если у вас нет связи с миром духов, увидеться с ней вам не доведется.

— Я получил письмо от леди Рейвенскилфф... — начал я.

— Она — это я, — сказала она мягко. — Я приму вашу ошибку за комплимент. Несколько сбивчивый, возможно, но тем не менее лестный.

Ее развеселила эта маленькая путаница; я увидел, как заблестели глаза на лице, в остальном лишенном всякого выражения, словно она была благодарна за первое развлечение на протяжении многих дней. Одетая она была во все черное, но сумела придать трауру оттенок очарования; на ней было абажурное платье, как их тогда называли, жакет с воротником, прилежавшим к шее, и простое ожерелье из очень крупных серых жемчужин, эффектно смотревшихся на черном бархате жакета. Я мало что знал о подобных вещах, но все-таки достаточно, чтобы понять, что туалет этот, на женский взгляд, был модным. Бесспорно, даже у такого невежды, как я, впечатление создавалось поразительное. И лишь цвет намекал на

подобие траура.

Я сел. Никому не нравится выглядеть дураком, а начал я не слишком хорошо. Тот факт, что ей явно нравился такой оборот вещей, поддержкой не служил. Только позднее — гораздо, гораздо позднее — я взвесил, что мое нелепое начало было связано с самой леди, поскольку она была красива, хотя, если оценивать ее лицо, прямой причины думать так не находилось. Ничего, что обычно принято называть красотой; вернее, создавалось впечатление, что выглядит она несколько странно. Ее черты отличала четкая асимметрия — нос и рот крупноваты, брови слишком темные. Но она была красива, поскольку считала себя такой, и потому одевалась, и сидела, и двигалась в манере, вызывавшей соответствующий отклик у смотревших на нее. Тогда я этого не осознал, но соответствующее впечатление у меня возникло.

Что делать? Самое лучшее — ничего, решил я. Она пригласила меня, и начать должна она же. Это позволяло ей контролировать наш разговор, что и так подразумевалось само собой. И потому я собрался, насколько мог, изо всех сил стараясь не выдать мое смущение.

— Последнее время я много читаю газет, мистер Брэддок, — начала она. — Как мне сказали, и ваши многочисленные опусы в том числе.

— Я польщен, ваша милость.

— Не из-за вашего литературного таланта, хотя, не сомневаюсь, вы искусны в выбранном вами занятии. Но потому, что я нуждаюсь в ком-то, умеющем собирать информацию и бесстрастно ее оценивать. И вы мне кажетесь именно таким человеком.

— Благодарю вас.

— К несчастью, мне также требуется кто-то, на чью сдержанность можно положиться, а это, если не ошибаюсь, качество, репортерам не свойственное.

— Мы же профессиональные сплетники, — сказал я, подбодрившись, так как тему я знал досконально. — Мне платят за несдержанность.

— А если вам заплатят за сдержанность?

— Ну, в таком случае сфинкс в сравнении со мной будет выглядеть болтуном.

Она помахала рукой и задумалась. Какого-нибудь угощения мне предложено не было.

— У меня есть для вас поручение. Сколько вы зарабатываете в настоящее время?

Невежливый вопрос. По журналистским меркам, я оплачивался достаточно, хотя и понимал, что, по меркам леди Рейвенклифф, сумма эта

выглядела жалкой. Болезненный удар по мужской гордости.

— Почему вы хотите узнать это? — спросил я осмотрительно.

— Потому что, не сомневаюсь, мне, чтобы заручиться вашими услугами, надо будет заплатить вам несколько больше получаемого вами сейчас. И я хочу узнать, насколько больше.

Я пробурчал:

— Ну, если вам обязательно знать, то мне платят в год сто двадцать пять фунтов.

— Да, — сказала она мило, — именно столько.

— Прошу прощения?

— Естественно, я узнала это сама. И хотела проверить, назовете ли вы мне точную цифру или преувеличите в надежде получить с меня побольше. Хорошее начало — показать себя честным человеком.

— И очень плохое — для нанимателя.

Она приняла упрек, хотя и без малейших признаков раскаяния.

— Да, правда. Но вы сейчас увидите, почему я так осторожна.

— Я жду.

Она нахмурилась, что не шло ее от природы ровному цвету лица, и на минуту задумалась.

— Ну, — сказала она затем, — я хочу предложить вам работу. Триста пятьдесят фунтов годовых плюс расходы, которые вы можете понести, на срок в семь лет, независимо от того, сколько времени вам потребуется для выполнения задачи. Это поспособствует вам принять мое предложение и соблюдать сдержанность. Если вы ее нарушите, все выплаты сейчас же прекратятся.

Потребовалось несколько секунд, чтобы усвоить все это. Сумма феноменальная. Я легко сумею откладывать сотню в год, таким образом обеспечив себе еще четыре года без тревоги о деньгах. В общей сложности одиннадцать лет благословенной обеспеченности. Что могло ей требоваться за такую сумму? Но каким бы ни оказалось это дело, я твердо решил взяться за него. Если только оно не грозило тюрьмой.

— Возможно, вам известно, что мой муж, лорд Рейвенсклифф умер две недели назад?

Я кивнул.

— Кошмарный несчастный случай. Я все еще не могу поверить... Однако это произошло. И я теперь должна жить вдовой.

«Но не долго, держу пари», — подумал я, пока придавал лицу выражение подобающего сочувствия.

— Прошу, примите мои соболезнования в вашей тяжелой потере, —

сказал я благочестиво.

Она выслушала эти избитые слова со всей серьезностью, какую они заслуживали. То есть пропустив их мимо ушей.

— Как вы, без сомнения, знаете, смерть это не просто душевные страдания для понесших утрату. Закон также требует внимания.

— Вмешалась полиция?

Она посмотрела на меня очень странно. И ответила:

— Разумеется, нет. Я имела в виду оглашение завещания, вступление в наследство, выплаты завещанных сумм.

— А, да. Прошу прощения.

После этой маленькой стычки она довольно долго молчала; возможно, спокойное изложение ситуации оказалось для нее более трудным, чем выглядело.

— Мы прожили в браке более двадцати лет, мистер Брэдок. И все это время были так счастливы и довольны, насколько доступно супружеской паре. Надеюсь, вы оцените это по достоинству.

— Разумеется, — ответил я, прикидывая, что бы это значило.

— И потому вы поймете, насколько я была изумлена, когда прочитала его завещание, оставляющее значительное наследство его ребенку.

— Да? — спросил я тактично.

— У нас не было детей.

— А!

— Поэтому я хочу, чтобы вы установили личность этого ребенка, и условия его завещания могли бы...

— Минуточку! — Я торопливо поднял ладонь. Горстка сведений, которые она мне сообщила, уже вызвала столько вопросов, что мне было трудно удерживать их в памяти одновременно.

— Минуточку, — повторил я спокойнее. — Нельзя ли нам разобраться в этом помедленнее? Во-первых, почему вы говорите мне все это? То есть почему мне? Вы же ничего обо мне не знаете.

— Напротив. Мне рекомендовали именно вас.

— Неужели? И кто же?

— Ваш редактор. Мы познакомились с ним довольно давно. Он сказал, что вы спец по выведыванию чужих секретов. Еще он заверил меня, что вы умеете держать язык за зубами, и случайно упомянул, сколько вам платят.

— Несомненно, существует кто-то лучше меня.

— Вы очень скромны. И не думайте, что я тщательно все не взвесила. Собственно говоря, людей, способных справиться с такой задачей, найдется очень мало. Юристы иногда нанимают таких людей, но у меня

нет подходящих знакомых. Есть частные детективные агентства, но я не склонна доверять человеку, не рекомендованному мне лично. К тому же им может понадобиться больше информации, чем располагаю я. Я не знаю, жив ли этот ребенок, когда он (или она) родился, кто была его мать. Я даже не знаю, в какой стране он родился. Всего одна фраза в завещании мужа.

— И это все? Ничего сверх?

— Ничего.

— Но что точно сказано в завещании?

Она промолчала, а затем процитировала:

— «Памятуя о многих моих промахах во стольких делах и желая возместить зло, причиненное в прошлом, я оставляю сумму в двести пятьдесят тысяч фунтов моему ребенку, которого прежде не признавал своим». Как видите, речь идет не о мелочи. — Она смотрела на меня спокойным взглядом.

А я вытаращил глаза. Деньги не моя специальность, но я осознал колоссальность такого состояния, когда потерял счет нулям, затанцевавшим у меня в голове.

— Ну и промах! — заметил я. Она ответила ледяным взглядом. — Прошу прощения.

— Я хочу исполнить последнюю волю моего мужа со всем тщанием, если это возможно. Мне необходимо поставить это лицо в известность о завещанном ему (или ей) наследстве. Сделать я этого не могу, пока не узнаю, кто он или она.

— У вас правда больше никаких фактов нет?

Она покачала головой.

— В завещании была ссылка на документы в его сейфе. Но там их нет. По крайней мере могущих как-то касаться этого дела. Я перечла их несколько раз.

— Но если ваш муж поддерживал... э...

Я не знал, как вести этот разговор. Даже женщину моего собственного социального класса было бы невозможно спросить прямо: «Была ли у вашего мужа любовница? Когда? Где? Кто?» Но задать эти вопросы леди в первой поре траура было свыше моих сил.

К счастью, она решила выручить меня. Хотя я предпочел бы, чтобы она воздержалась. Это ввергло меня в еще большее смущение.

— Я не верю, будто у моего мужа была склонность заводить любовниц, — сказала она невозмутимо. — Бесспорно, в последнее десятилетие или около того. А до того я не знала ни про единую. И нет причины, которая помешала бы мне знать про такую особу, существуй она.

— Почему так?

Она улыбнулась мне. Опять с насмешливыми искорками в глазах.

— Вы стараетесь скрыть, насколько шокированы, но вам это не слишком удается. Разрешите мне просто сказать, что я никогда не сомневалась в его любви ко мне, как и он в моей к нему, даже хотя он дал мне совершенно ясно понять, что я свободна поступать как хочу. Вы понимаете?

— По-моему, да.

— Он прекрасно знал, что я приму все, что он сочтет нужным мне сказать, а потому у него не было причин что-либо скрывать от меня.

— Понимаю.

Конечно, я не понимал, абсолютно ничего не понимал. Моя мораль была — и остается! — моралью моего социального класса и воспитания, то есть куда более строгой, чем у людей вроде Рейвенсклиффов. Довольно ранний урок: богачи куда закаленнее большинства людей. Потому-то, полагаю, они и богачи.

— Извините меня, но почему он так усложнил жизни других людей? Он ведь, конечно, знал, как будет трудно отыскать этого ребенка.

— Возможно, вы найдете ответ на это в своих розысках.

Она, несомненно, зарабатывала бы очень мало, работая продавщицей в универмаге, а потому, пожалуй, было к лучшему, что она была богата. Тем не менее проблема оставалась интригующей и, что лучше всего, я буду оплачиваться, каков бы ни был результат. Триста пятьдесят фунтов в год были могучим стимулом. Меня все больше раздражала череда холостяцких мебелишек, в которых я жил последние несколько лет. Я не был вполне уверен, хочу ли я домашности и стабильности — жену, собаку, загородный дом. Или хочу сбежать на чужбину — скакать на арабских конях по пустыне, а по ночам спать у лагерных костров. Подошло бы и то и другое, лишь бы убраться подальше от запаха вареных овощей и мебельной политуры, который обдавал меня всякий раз, когда я возвращался вечером домой.

Я томился скукой, и присутствие красивой женщины, ее необычайное предложение и впечатление необъятного богатства разбередили чувства, которые я давно игнорировал. Мне хотелось чего-то иного вместо того, чтобы болтаться по уголовным судам и пабам. Задание, которое она предлагала, и деньги, сопряженные с ним, сулили мне, пожалуй, единственную возможность изменить обстановку.

— Вы о чем-то задумались, мистер Брэдок?

— Я прикидывал, как взяться за решение этой задачи, если соглашусь

принять ваше предложение.

— Вы уже согласились, — сказала она очень серьезно.

У многих людей эти слова прозвучали бы презрительно. Она же, напротив, сумела произнести их безмятежным, почти дружеским тоном, абсолютно обескураживающим.

— Да, пожалуй. Хотя и не без некоторых опасений.

— Не сомневаюсь, что они рассеются.

— В первую очередь мне необходимо узнать как можно больше о жизни вашего мужа. Мне надо будет поговорить с его поверенным о завещании. Ну, не знаю... Вы уже посмотрели его переписку?

Она покачала головой. Ее глаза внезапно наполнились слезами.

— Я еще не в силах заняться этим, — сказала она. — Мне очень жаль.

Я подумал было, что она извиняется за свою лень, но тут же понял, что за проявление слабости. И правильно. Людям, ей подобным, не положено проявлять эмоции по пустякам вроде смерти мужа. Не вынуть ли мне носовой платок, чтобы утереть ей глаза? Мне это было бы крайне приятно; позволило бы сесть рядом с ней на диване, вдохнуть в нее силу. Вместо этого я сменил тему, притворяясь, будто ничего не заметил.

— Полагаю, мне необходимо обеспечить, чтобы никто не догадался, зачем я задаю эти вопросы, — сказал я громче, чем требовалось. — Я не хочу поставить вас в неловкое положение.

— В неловкое положение меня это не поставит, — ответила она. Нелепость этой идеи заставила ее опомниться. — Но думаю, если ваша цель станет общеизвестной, не избежать лжепретендентов. Я уже сказала кое-кому — вашему редактору в том числе, — что намерена заказать биографию покойного мужа. Сентиментальный поступок, естественный для женщины в большом горе и при больших деньгах.

— А поскольку я репортер, — сказал я, вновь подбодренный возвращением на привычную территорию, — то могу задавать неделикатные вопросы, будто мной руководит страсть ко всему грязному и вульгарному.

— Вот именно. В этой роли вы преуспеете, я уверена. Ну, я договорилась о вашей встрече с мистером Джозефом Бартоли, главным управляющим моего мужа. Он уже приготовил контракт для вас.

— А вы?

— Думаю, вам следует приходить ко мне с отчетом каждую неделю. Вся частная переписка лорда Рейвенсклиффа находится здесь, и вам тоже, я полагаю, придется ее прочесть. Потом вы можете задать любые вопросы. Хотя я намерена в ближайшем будущем поехать во Францию. Как я ни

любила моего мужа, как ни тоскливо мне без него, правила траура в этой стране слишком уж угнетающи. Понимаю, что буду шокировать и возмущать теми или иными нарушениями приличий, а потому мне следует поискать некоторого облегчения где-нибудь еще.

— Вы не англичанка.

Еще одна улыбка.

— Боже мой, если это пример вашей сообразительности, то мы далеко не продвинемся. Нет, я не англичанка. По происхождению я венгерка, хотя до замужества жила во Франции.

— У вас нет и намек на какой-либо иностранный акцент, — сказал я, несколько задетый.

— Благодарю вас. Я прожила в Англии долгое время. Языки никогда меня не затрудняли. Другое дело манеры. Обучиться им куда труднее.

Она встала и пожала мне руку на прощание; от нее веяло нежными, абсолютно женственными духами, безупречно отвечавшими ее черной одежде. Ее большие серые глаза были устремлены на меня, когда она сказала «до свидания».

Выпить! Чтобы отпраздновать или чтобы прийти в себя, я толком не знал, но мне, безусловно, требовалось подкрепиться, чтобы обдумать волну перемен, захлестнувшую мою жизнь. Примерно за сорок пять минут я из репортера-поденщика, перебивающегося на сто двадцать пять фунтов в год, превратился в субъекта, зарабатывающего почти втрое больше и с возможностью делать все, что мне заблагорассудится. Это ли не повод попраздновать? А за углом Сент-Джеймс-сквер в Эппл-Три-Ярде есть вполне приличный паб, облюбованный слугами из больших особняков и поставщиками, обеспечивающими обитателей особняков тот стиль жизни, к какому они привычны. После двух стопок я почувствовал себя на коне. Сниму дом, куплю новую одежду. Приличную пару ботинок. Новую шляпу. Есть буду в гостиничных ресторанах. Иногда буду брать кеб. Жизнь будет чудесная.

И выполнять мое поручение я могу с тем усердием, какое сочту нужным. Леди Рейвенскифф, очевидно, все еще не оправилась от шока, вызванного смертью мужа и обнаружением его тайной жизни. Она зависела от него, смотрела на него снизу вверх. Неудивительно, что теперь она швыряет деньги направо-налево.

Зачем вообще вести расследование? Я бы не стал. Если ее муж не позаботился узнать, где находится его чертов ребенок, его вдове-то это зачем? Что-то вроде совершенно ненужного самонаказания, но что мне известно о психологии вдов? Может, любопытство бездетной женщины,

желание узнать, какой он, ребенок ее мужа? Или узнать что-то о женщине, преуспевшей в том, в чем она потерпела неудачу?

Глава 3

Контора главного управляющего Рейвенсклиффа находилась в Сити, дом 15, Мургейт — безвестная улочка пяти-шестиэтажных зданий, построенных в прошлом полувеке контор и тому подобного. Улочка ничем не примечательная, как и люди там; обычное бурление торговцев и агентов, молодых людей с прыщавыми лицами, цилиндрами, плохо сидящими костюмами и в рубашках с жесткими воротничками. Улочка страховых и биржевых маклеров, и торговцев зерном, и поставщиков металлов, тех, кто импортировал и экспортировал, продавал прежде, чем покупал, и умудрялся обеспечивать себя и Империю, в центре которой они обретались, ликвидными капиталами. Мне он никогда не нравился, этот район города; Сити впитывает в себя талантливую молодежь и вытряхивает из нее всякий живой дух. Иначе не может. Это неизбежное следствие корпения над цифрами одиннадцать часов в день шесть дней в неделю, в знобких конторах, где запрещены всякие разговоры, а легкомыслие карается увольнением.

Другое дело Биржа; как-то я оказался там, когда троица маклеров решила поджечь фалды сюртука важного спекулянта, и несколько минут вокруг него завивались струйки дыма, прежде чем он заметил, что происходит. Обстрел булочками, летящими над залом, где происходят торги, — зрелище повседневное. Американские Ценные Бумаги громят Иностранные Железные Дороги. Работают они там чудовищные часы за мизерную плату и легко теряют работу, хотя и зарабатывают своим хозяевам большие деньги. Неудивительно, что они склонны к инфантильности, поскольку обращаются с ними как с несмышленишками. В пабах и кабаках Сити я завел много друзей среди маклеров и биржевиков. Но среди банкиров практически (а то и вовсе) никого. Они были совсем другими; видели себя джентльменами — маклеру подобное обвинение никак не могло быть брошено.

Я не знал, чего ожидать от мистера Джозефа Бартоли. Ничего удивительного: ведь он занимал необычную должность, хотя эволюция капитализма, по мере усложнения индустрии, будет преумножать его тип. У Рейвенсклиффа (узнал я позднее) было столько пальцев в таком количестве пирогов, что ему было нелегко уследить за ними всеми; и в

отличие от владельца шахт или литейного завода он не мог посвящать себя будничным операциям. Для этого у него в каждом предприятии имелся управляющий. Мистер Бартоли надзирал за управляющими и докладывал Рейвенскилффу, в каком состоянии дела каждого предприятия.

Кантора, которую он занимал над канторой агента по снабжению судов, была достаточно скромной. Его собственный кабинет, комната клерков — примерно десяти — и одна комната со стеллажами, заполненными рядами папок и переплетенных отчетов; однако он был такого крупного сложения, что прямо-таки заполнял свой кабинет. Оставшееся свободное пространство населял странный, смахивающий на эльфа субъект, с поблескивающими глазами и острой козлиной бородкой. Лет сорока, среднего роста, худощавый, в коричневом костюме и с парой ярко-желтых кожаных перчаток в одной руке. Он практически не сказал ни слова все то время, пока я находился там, и мы не были представлены друг другу. Он сидел на стуле в углу и читал подшивку, лишь иногда поднимая глаза и сочувственно мне улыбаясь. Я всем сердцем предпочел бы иметь дело с ним, чем с Бартоли. Он выглядел куда более приятным человеком.

По контрасту Бартоли был облачен в ортодоксальный черный костюм, но без конца почесывался, подсовывая палец под воротничок, словно тот натирал ему шею. Его обширный живот еле умещался за письменным столом, а багровое лицо и баки привели мне на память завсегдаев, которых я часто наблюдал сидящих рядком у стоек окрестных баров. Голос у него был зычный и сдобрен сильным акцентом, хотя мне понадобилось время, чтобы определить, каким именно. Манчестерско-итальянским, решил я в конце концов.

— Садитесь, — сказал он, указывая на неудобный стул напротив себя. — Вы, значит, Бурдок.

— Брэдок, — ответил я. — Мистер.

— Да-да, садитесь. — Жесты у него были иностранные: экстравагантные и чрезмерные, именно такие, каким англичане не доверяют. Я тут же проникся неприязнью к Бартоли и (должен сознаться) к Рейвенскилффу за то, что он вручил подобному субъекту право отдавать приказания. На мгновение я стал ярым патриотом. Не знаю, говорю ли я это с гордостью или с печалью.

Он просверлил меня взглядом, будто оценивая для какого-то поручения и убеждаясь, что я не гожусь.

— Я не одобряю намерения леди Рейвенскилфф, — сказал он в конце концов. — Говорю вам это откровенно, поскольку вам следует сразу же узнать, что вы не должны рассчитывать на мою поддержку.

— А что, вы полагаете, она намерена поручить мне? — спросил я, прикидывая, что ему известно про завещание.

— Написать биографию барона Рейвенсклиффа, — сказал он.

— Да. Ну, как вам угодно. Только не вижу, почему вы против.

Он фыркнул.

— Вы журналист.

— Да.

— Что вы знаете о бизнесе?

— Почти ничего.

— Я так и думал. Рейвенсклифф был бизнесменом. Может быть, величайшим из всех, каких только когда-либо знала эта страна. Чтобы постичь его, вы должны понимать бизнес, индустрию, финансы. А вы их понимаете?

— Нет. И до вчерашнего утра я вообще ничего про него не слышал. И могу сказать только, что взявшись за эту работу меня попросила леди Рейвенсклифф. Я ее не искал. Если вы хотите знать, почему она выбрала меня, вам придется спросить ее. Как и вы, я мог бы назвать много людей, которые лучше способны воздать должное этой теме. Но таково ее решение, и она предложила такие условия, что отказаться было бы безумием. Может быть, я не справлюсь, и уж точно, если не получу поддержки от тех, кто его знал.

Он крикнул и вытащил папку из ящика стола. Во всяком случае, я чванливо не выдал себя за эксперта, каким не был.

— Плата абсурдна, — указал он.

— Абсолютно согласен с вами. Но если кто-нибудь предложит вам за вашу продукцию цену выше, чем вы предполагали, вы же не станете торговаться с ним, чтобы он ее снизил?

Он швырнул мне папку.

— Ну, так подпишите.

— Не прежде, чем я его прочту.

— Ничего неожиданного вы не найдете. Вы обязуетесь написать биографию лорда Рейвенсклиффа и представить законченную рукопись ее милости для одобрения. Вам воспрещается обсуждать что-либо, имеющее отношение к любой из компаний, перечисленных в приложении. Издержки будут оплачиваться по моему усмотрению.

Мне еще никогда не доводилось подписывать контракты с приложениями, но, с другой стороны, мне ни разу не платили столь много.

— Как я буду оплачиваться? — спросил я, продолжая читать. (Для проформы, сказать правду. Он безупречно изложил содержание контракта.)

— Каждую неделю я буду посылать чек по вашему адресу.

— У меня нет банковского счета.

— Так обзаведитесь им.

Меня подмывало спросить у него, с чего мне начать. Но я понимал, что его и без того низкое мнение обо мне станет еще ниже. В редакции я еженедельно получал коричневый конверт. После того как я расплачивался за стол и кров, то, что оставалось, обычно хранилось у меня в кармане — хотя и очень недолго, незамедлительно переходя к владельцам пабов и мюзик-холлов.

Приехав в контору, я полагал, что получу от Бартоли все сведения о предприятиях Рейвенсклиффа, но он не сказал мне ровно ничего. На вопросы он отвечать не будет, но в первую очередь мне требовалось узнать, о чем спрашивать. Необходимо формулировать конкретные просьбы, прежде чем он позволит мне взглянуть в какие-то документы. И даже тогда — намек был ясен — он может уклониться от сотрудничества.

— В таком случае, — сказал я бодро, — мне хотелось бы узнать, если возможно, где именно он бывал.

— Когда?

— На протяжении всей своей карьеры.

— Вы с ума сошли?

— Нет. Еще я хотел бы получить список всех, кого он знал и с кем встречался.

Бартоли уставился на меня.

— Лорд Рейвенсклифф должен был соприкасаться с десятками тысяч людей. Он постоянно путешествовал по всей Европе, Империи и обеим Америкам.

— Послушайте, — сказал я терпеливо, — мне предстоит написать биографию, которую людям захочется прочесть. Мне нужны подробности личной жизни. С чего он начал? Кем были его друзья и близкие? Что означают путешествия по всему миру? Вот то, что привлекает читателей. А не сколько денег он заработал в данном году или в следующем. Это никого не интересует.

Он раздражал меня. Он обходился со мной несерьезно и ни в чем не шел мне навстречу. Мне подобное обхождение никогда не нравилось. Мои коллеги считают, будто я чересчур чувствителен к обидам, подлинным или воображаемым. Может быть, может быть, но эта склонность очень помогала мне на протяжении многих лет. Неприязнь и досада — великие стимуляторы. Бартоли преобразил меня из человека, думавшего только о деньгах, которые ему платят, в кого-то, кто твердо намеревался выполнить

порученное ему дело как следует, даже если бы ему вовсе не платили.

Глава 4

Я покинул контору в убеждении, что пора браться за работу, и начинать следовало с одного очевидного места. «Сейд и К^о», по меркам Лондонского Сити, было почтенным учреждением. Более полувека назад оно начало поставлять данные о кредитоспособности негодяев, желавших занять деньги в банке, и расследования эти постепенно охватили все аспекты финансов. Чем более усложнялся мир бизнеса, тем темнее становились операции торговцев, тем больше увеличивались возможности обмана и афер. И все шире — возможности для компаний вроде «Сейда» грести деньги, высвечивая самые темные глубины человеческой алчности.

По большей части — и официально — они занимались составлением справочников. «Бирмингемский коммерческий список», «Калифорния и ее ресурсы». Их все должны были покупать импортеры и экспортеры, дилеры и торговцы, чтобы не попасть на удочку мошенников. Но незаметно и тайно делали они куда больше. По самой своей природе Сити наполнилось негодями и ворами. Но у воров есть свой кодекс чести. «Сейд» же выискивал тех, кто не придерживался правил. Тех, кто ссылался на поддержку несуществующих финансистов, кто забывал упомянуть судебные приговоры за аферы в далеких странах. Тех, кто упоминал свои капиталы, но не долги. Чье слово, иными словами, не было их гарантией.

В давние времена компании вроде «Сейда» не требовались, так как денежное Сити было невелико, и все хорошо знали своих клиентов. Жизнь была простой, когда банкиры одалживали только тем, с кем сидели рядом на званных обедах. А что может быть проще, чем узнать величину поместья джентльмена или кредитоспособность его семьи? Теперь же это бормочущий на всех языках Вавилон неизвестностей. Этот субъект — мошенник без гроша в кармане или действительно один из богатейших людей в империи Габсбургов? Он действительно заключил доходнейший контракт в Буэнос-Айресе, или ему следует сидеть в тюрьме за бегство от своих кредиторов? Как определить? Притворство — главный трюк банкира и афериста.

«Сейд» устанавливал истину. Не всегда и не безупречно, но лучше кого бы то ни было еще. Я знал это, потому что иногда выполнял для них кое-какую работу. Несколько лет назад ко мне обратились для наведения справок о человеке, который представлялся учредителем компании на севере Англии. Он заявлял, что может объединить семерых

производителей хлопка в трест, который затем можно будет выставить на продажу. Ему требовался лишь исходный капитал...

Мне пришлось на день оставить мою работу и отправиться на север, но я установил правду незамедлительно. Эрнест Мейзон покинул страну за день до того, как был бы арестован за мошенничество, но потому лишь, что я его предупредил. Он предложил мне деньги в уплату за эту услугу, но моя совесть восстала против того, чтобы трижды получить плату за одно и то же: один раз от моей газеты за статью об аферистах-учредителях, один раз от «Сейда», уплатившего мне за мое сообщение, и один раз от Мейзона. Однако, без сомнения, многие служащие компании извлекают подобную прибыль из своих сведений, а то проделывают что-нибудь и похуже. В Лондонском Сити те, кто действительно в них нуждаются, могут заполучить хорошие деньги.

Уилф Корнфорд был слишком ленив, чтобы когда-нибудь разбогатеть. Обладай он легким богатством, полученным по наследству, то был бы ученым, открывающим виды и подвиды в мире насекомых. А так он каталогизировал черты характера и глупости homo economicus;^[1] это было его обязанностью и его увлечением, и он принадлежал к числу немногих истинно счастливых людей, каких мне доводилось встретить. Он мог бы стать силой в стране, поскольку все боялись бы его, оценили бы в полную меру, как много он знает. Но ему было лень, да и, как он однажды сказал мне, это помешало бы его наблюдениям. Все люди, обеспечивающие ему своими проделками такое интересное времяпрепровождение, стали бы вести себя совсем иначе, знай они, что за ними ведется наблюдение.

Именно он первым подал идею нанять меня для повременного сбора сведений в полицейских судах, а уплатой иногда были деньги, а иногда полезное предупреждение о намечающемся аресте или скандале, о которых его агентурная сеть болтунов ему сообщала. Несколько раз он указывал, что мне следовало бы постоянно работать у «Сейда». Но я никогда не ловил его на слове, предпочитая разнообразную диету.

— Мэтью, — сказал он с присущей ему невозмутимостью, когда я постучал в его дверь и был впущен. — Рад снова тебя увидеть. Что-то мы давно не видели тебя тут.

Манера Уилфа говорить была такой же анонимной, как и его внешность. Пятидесяти с лишним лет, дородный, но не чрезмерно. Говорил он с размеренной невыразительностью, не совсем как джентльмен, и все же без малейшего намека на тональность уроженца Западного края, где он родился, ведь его отец был батраком в Дорсетшире, и его еще ребенком отдали в услужение в дом местного помещика. Там он каким-то образом

научился читать и писать, а когда семья захватила его с собой в Лондон на сезон, примерно тридцать пять лет назад, он в одно прекрасное утро вышел из дома и не вернулся. Нашел работу у торговца свечами вести счетные книги, так как почерк у него был каллиграфический. Затем он перешел к зерноторговцу, затем в учетную фирму и, наконец, к «Сейду».

— Я был занят процессом «Морнингтон — Кресцент».

Он неодобрительно сморщил нос и с полным на то основанием. Отнюдь не классика в анналах британской преступности, и единственным интересным аспектом этого дела была поразительная глупость Уильяма Голдинга, убийцы, который хранил голову своей злополучной жертвы в картонке под кроватью. Так что, когда явились полицейские (как должны были явиться, поскольку женщина эта жила в этом же доме), даже они не могли не заметить смрада и пятен засохшей крови, которая прокапала сквозь половицы спальни вверху и омочила ковер в гостиной. Голдинг не читал бульварной прессы, а потому, возможно, был единственным человеком в Англии, не знавшим про магию отпечатков пальцев, позволяющую устанавливать личность даже безголовых трупов. Дело было простейшее, но слушалось оно в период затишья, а публика обожает кровавости.

— Право, не понимаю, как ты терпишь свою работу, — сказал он. — По-моему, она невероятно скучна.

— По сравнению с гроссбухами, которые ты любишь читать?

— О да! Они завораживают. Если уметь их читать.

— Чего я не умею. И это одна из причин, почему я здесь.

— А я-то надеялся, что ты пришел поделиться со мной информацией, а не клянчить ее.

— Тебе известен некто Рейвенскифф?

Он минуту смотрел на меня, затем, что было для него редкостью, откинулся на спинку кресла и захохотал.

— Ну, — сказал он мягко, — да. Да, думаю, могу сказать, что я слышал про него.

— Мне необходимо получить сведения о нем.

— Сколько у тебя в распоряжении лет? — Он умолк и посмотрел на меня снисходительно. — Ты можешь потратить остаток своей жизни, собирая сведения о нем, но так и не узнать всего. С чего ты начинаешь? Сколько ты уже знаешь?

— Очень мало. Я знаю, что он был богат, был чем-то вроде финансиста и умер. И что жена его хочет, чтобы я написал его биографию.

Это пробудило его внимание.

— Правда? Но почему ты?

Я кратко изложил мою встречу с ней — опустив действительно важную часть — и в доверок сообщил о моем коротком разговоре с Бартоли.

— Какой странный выбор, — когда я закончил, сказал он, глядя на потолок с мечтательным выражением в глазах, слегка смахивая на кошку, вылакавшую большое блюдо сливок.

— Рад, что ты смотришь на это так, — сказал я, несколько уязвленный. — Не мог бы ты сказать мне, что именно...

Он испустил долгий вздох.

— Трудно сообщить, с чего начать. Нет, правда, — сказал он немного погодя. — Ты действительно настолько не осведомлен, как говоришь?

— Именно так.

— Вы, репортеры, не перестаете меня удивлять. Ты никогда не читаешь свою газету?

— Нет, если этого можно избежать.

— А ты читай. И убедишься, что оно того стоит и даже больше. И насколько увлекательно. Но я забыл. Ты же социалист. Посвятивший себя искоренению правящего класса и водворению Нового Иерусалима.

Я насупился.

— Подавляющее число людей живет в нищете, тогда как богачи...

— Угнетают бедняков. Да, бесспорно, они их угнетают. Однако, как они это проделывают, крайне важно и интересно. Познай своего врага, юноша. Если упорствуешь в намерении считать их своими врагами. Однако, поскольку теперь ты полностью оплачиваемый слуга худшего из угнетателей — или, во всяком случае, его вдовы, — не сомневаюсь, твоим взглядам придется претерпеть некоторую модификацию. Будь ты лучше осведомлен, возможно, ты отказался бы от этих денег и тем самым сохранил бы чистоту своей души незапятнанной.

— Что значит «худший из них»?

— Джон Стоун, первый барон Рейвенклифф. Председатель «Инвестиционного траста Риальто», с контрольными пакетами акций «Госпорт торпедо компани», «Глиссонской стали», «Бесуикской верфи», «Норкотовских винтовок и пулеметов». Химические заводы. Взрывчатые составы. Мины. Теперь даже аэропланная компания, хотя сомневаюсь, что от самолетов будет большой толк. Всего не перечислить. Крайне замкнутый человек. Когда он ездил Восточным экспрессом, то в собственном вагоне, которым никто, кроме него, не пользовался. Никому не было точно известно, что ему принадлежало и что он контролировал.

— Даже тебе?

— Даже мне. Примерно год назад мы начали наводить справки по поручению иностранного клиента, но прекратили.

— Почему?

— А, да. Действительно, почему? Я знаю только, что в один прекрасный день меня вызвал Молодой Сейд, то есть сын, а ты знаешь, как редко он вообще показывается в конторе, и спросил, занимаемся ли мы «Риальто». Забрал документы и сказал, чтобы мы не продолжали.

— Это часто случается?

— Да никогда. Мистер Сейд-младший на своего отца не похож и энергией не отличается. Предпочитает жить за городом, спасать души и перебиваться на свои дивиденды. Впрочем, он достаточно приятный человек и никогда ни во что не вмешивается. Это был первый и последний раз.

— И причина?

Уилф пожал плечами.

— Не могу сказать. Не думаю, что биография заинтересует очень уж многих читателей. Помимо меня, — продолжал он, слегка неодобрительно фыркнув. — Рейвенскилфф был денежный мешок. Он занимался только деньгами. И никогда ничем другим. С точки зрения личности вроде тебя, помешанной на эффектной безвкусице человеческих недостатков, он был невыразимо скучен. Ты никогда не счел бы его достойным даже заметки. Вот почему, полагаю, о его смерти сообщалось так мало. Он вставал утром. Он работал. Он ложился спать. Насколько мне известно, он был верным мужем.

— А он им был? — быстро спросил я, надеясь, что мой интерес не покажется подозрительным. Уилф, однако, отнес его на счет общей моей мусорности.

— Да, боюсь, что так. Конечно, он мог быть хозяином борделя и регулярно посещать его, но подобные сведения до меня не доходили. Я хочу сказать, что у него никогда не было каких-либо легких отношений, если ты понимаешь, о чем я. С Людьми.

Ну, а под «Людьми» с большой буквы Уилф подразумевал тех, кто был ему интересен, — Богатых и Влиятельных, а также их жен и дочерей. Продавщицы и женщины подобного толка никогда не привлекали его внимания. «Люди» обладали деньгами, все прочие были лишь фоном.

— У него не было ни времени, ни интереса для чего-либо столь легкомысленного, сдаётся мне. Насколько мне удалось установить, его компании, взятые вместе, приносили большие доходы. Ты что-нибудь знаешь о его компаниях?

Я мотнул головой.

— Ну, хорошо. Тебе следует держать в уме следующее: почему тебе предложили писать на тему, для которой ты абсолютно не подходишь? Даже если бы тебя снабдили всей документацией какой-либо компании, ты бы не сумел ничего в ней понять. Так почему ты? Почему не кто-нибудь, у кого есть шанс сварганить что-либо пристойное?

Это меня допекло.

— Может быть, леди Рейвенклифф высокого мнения о моем интеллекте и способности разобраться в подобных предметах. Но при трехстах пятидесяти фунтах в год мне вообще незачем об этом думать.

— Нет, есть за чем. Это опасные люди, юноша. Богатые верят, что им разрешено все, что им угодно, и они правы. Поосторожней с тем, во что ты ввязываешься.

Ну, прямо Джордж Шорт. Обычно Уилф говорил с отстраненностью научного наблюдателя. Сейчас он был по-настоящему серьезен.

— Я тебе не безразличен, — сказал я изумленно. — Я тронут.

— Ты мне кажешься мышонком, нацелившимся украсть яйцо из орлиного гнезда, радуясь удаче, что наткнулся на такое пиршество, — сказал он сурово.

Я на секунду задумался, затем пожал плечами, отмечая его предостережение.

— Ты все еще не ответил, с чего мне следует начать.

— Это зависит...

— От чего?

— От того, что я получу взамен. Я не хочу быть излишне своекорыстным, но речь идет об информации, а информация имеет цену, как тебе известно.

— Я-то думал, что небезразличен тебе.

— Не до такой степени.

— Я обязался хранить абсолютную тайну во всем, что касается компаний Рейвенклиффа. Это значит в моем контракте.

— И очень хорошо. Но с каких пор такие обязательства мешали тебе делиться сведениями со мной? Я обеспечу, чтобы ничего нельзя было проследить до тебя.

— Я не могу нарушить слово так быстро.

— Ну, так ты можешь обещать, что нарушишь его по истечении приличного срока.

— Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду.

— Конечно. Сплетни мне не требуются. Содержанки, дикие оргии,

любовники леди Рейвенсклифф.

— У нее есть любовники?

— Полагаю, что да. Рейвенсклифф был далеко не романтической фигурой, а она, насколько мне известно, иностранка. Но я понятия не имею. Я просто говорю, что подобные вещи меня не интересуют. Меня интересуют деньги, вот и все.

— Я это заметил. Как-нибудь ты мне объяснишь.

— Если ты не понимаешь, объяснять будет бесполезно. Словно попытаться объяснить Моцарта человеку, лишенному музыкального слуха.

— Но сам ты так беден.

— Мне платят вполне приличное жалованье. Более чем достаточное для моих потребностей, но суть не в этом. Если я не художник, это еще не означает, что я не ценю картины. И прежде чем ты проведешь напрашивающуюся параллель, не обязательно восхищаться художником, чтобы восхищаться его творчеством. Рейвенсклифф, например, был магом и волшебником, когда дело касалось денег. Я восхищался его умением и находчивостью. Это не означает, что я восхищался им лично.

— Ах так! Я слушаю.

Уилф покачал головой.

— Мы должны заключить соглашение.

Я поколебался, потом кивнул:

— Очень хорошо. Все, что может представлять интерес для «Сейда и К^о», я передам тебе. Но решаю я.

— Идет. В любом случае ты не сумеешь промолчать. Ты же репортер. И я очень сомневаюсь, что ты вообще хоть что-нибудь отыщешь.

— Благодарю тебя за доверие. Ну, а теперь расскажи мне про Рейвенсклиффа.

— Не выйдет. У меня сегодня дел по горло. Я снабжу тебя информацией. Кое-какой информацией. Остальное за тобой. Кроме того, я уже сказал тебе, что плоды наших собственных трудов были конфискованы.

— Так какой смысл...

— Я подготовил краткий обзор его карьеры и его нынешних предприятий — нынешних, то есть примерно годичной давности. Видимо, я забыл отдать его Молодому Сейду. Такая забывчивость с моей стороны! Я снабжу тебя фамилиями, я буду выслушивать твои предположения и предлагать советы или указания, если замечу, что ты попал пальцем в небо. Как ты неминуемо будешь попадать.

Он выбрался из кресла, открыл шкаф у себя за спиной, вытащил

подшивку и протянул мне. Из пяти-шести страниц.

— И это все? — спросил я растерянно.

Уилф словно бы оскорбился.

— А чего ты ожидал? Это выжимка из многолетних розысков. Наши клиенты — финансисты, а не праздные джентльмены, у которых хватает досуга для долгого развлекательного чтения. Если на то пошло, сколько тебе требуется слов для очередного твоего сообщения об очередном из облюбванных тобой судебных заседаний?

Я хмыкнул.

— Я ожидал чего-нибудь посущественнее.

— Авось ты не умрешь от разочарования. Иди почитай, а затем рекомендую почитать собственную газету.

Глава 5

Был уже шестой час, когда я вышел на улицу. День отличала великолепная погода. Не тот день, чтобы работать, не поймите меня неправильно. Я добросовестный человек. Работаю я усердно и готов провести всю ночь на ногах или часами торчать под дождем, когда это необходимо. Но порой соблазны жизни неотразимы. Лондон во всем своем великолепии в весенний вечер был всем тем, что превращало работу, даже наилучшую, в нечто совсем второго порядка.

Я любил Лондон и все еще люблю. Теперь я повидал много городов, чего нельзя было сказать о том этапе моей жизни, но так и не увидел ничего, что могло бы сравниться с ним. Одного взгляда вправо и влево на улицу «Сейда и К°» хватало на материал для десятка романов. Нищий, как всегда сидящий возле ювелирного магазина напротив и тянущий песню настолько отвратительно, что прохожие совали ему деньги тишины ради. Рассыльные, пересмеивающиеся какой-то своей шуточке. Бородач в странной одежде, тихо идущий по тротуару напротив, почти прижимаясь к стенам домов. Может быть, он самый богатый человек на этой улице? Или самый беднейший? Старик с военной выправкой, исполненный достоинства и корректности; привратник или швейцар, чьи лучшие дни миновали лет сорок назад, когда он дышал воздухом Индии или Африки. Но скрупулезный: начищенные башмаки, складки на брюках, как бритвенные лезвия.

Канторы торговцев и маклеров, и агентства, и фабрики, которые могли ютиться в сумрачных переулках и дворах, еще не извергли тружеников; они будут оставаться на своих местах, пока свет не померкнет или пока работа не будет завершена. Составлялись контракты, товары готовились к погрузке, партии их переправлялись. В зале через дорогу проводились аукционы, привлекавшие торговцев мехами точно так же, как раньше, днем, зал заполняли торговцы воском или ворванью, или чугуном. Расставлялись прилавки, чтобы кормить рассыльных и клерков; запах жареной колбасы и рыбы только чуть реял в воздухе с тем, чтобы усилиться с наступлением более позднего вечера. Странная пара прогуливающих собеседников: могучий африканец, черный как ночь, и бледнокожий хлюпик, белобрысый, предположительно скандинав. Вероятно, матросы, чье судно пришвартовалось в миле выше по реке, проплыв тысячи миль с грузом... чего? Чая? Кофе? Зверей? Гуано? Руды? Драгоценных камней или грязных

минералов?

Всего одна улица. Помножьте ее на тысячи и вы получите Лондон, поглотивший пейзаж, наполненный всеми пороками и добродетелями, всеми языками, всеми разновидностями доброты и жестокости. Он непостижим, непредсказуем и необычаен. Колоссальное богатство и еще большая бедность, любые болезни, какие вы способны вообразить, и любое удовольствие. Он пугал меня, когда я только приехал, он пугает меня сейчас. Протвоестественное место, настолько далекое от Райского Сада, насколько вы в силах вообразить.

У меня было несколько дел, и они привели меня в «Утку». Я весь день ничего не ел; я хотел прочесть слово мудрости Уилфа, и мне надо было отказаться от моей работы. «Утка» предлагала еду, уединенный столик, и рано или поздно передо мной предстанет мой редактор на фоне стойки, как всегда, перед тем, как он отправлялся надзирать за подготовкой утреннего выпуска.

Роберт Макюэн был человеком предсказуемых привычек. Вечером в пять тридцать он будет на пути из Кэмдена в редакцию газеты. Он войдет в паб и останется на полчаса, редко с кем-либо заговаривая. Под мышкой у него будет номер газеты этого утра. Если он был в хорошем настроении, она оставалась там нетронутой. Если он чувствовал, что нас в чем-то обошли, он нетерпеливо вытаскивал газету, поглядывал на нее, засовывал назад или постукивал ею по столику. Редакция специально отправляла в паб рассыльного следить за ним. «Он стучит», — поступало сообщение, и раздавались коллективные стоны. Он входил тяжелым шагом, свирепо хмурясь, и рано или поздно давал волю гневу. Кто-нибудь подвергался головомойке. Мальчишка-рассыльный получал оплеуху. Пачка газет запускалась в чью-нибудь голову.

Затем буря проносилась, и мы могли взяться за дело, а Макюэн становился самим собой — сосредоточенным, умеренным, доступным доводам и разумным. Он не мог быть этим, если иногда не преображался в того; и вечер длился своим чередом почти до трех утра, когда газета подписывалась в печать, а он мог отправляться в кровать: долг исполнен, мир оповещен, печатные станки заработали.

«Кроникл» для Роберта Макюэна была не столько газетой, сколько миссией. Он считал ее моральной силой в нашем мире. В подавляющем большинстве люди — включая и большинство тех, кто писал для нее, — считали «Кроникл» просто газетой. Макюэн не соглашался. Он вкладывал в свои обязанности всю энергию бывшего пресвитерианина и стремился просвещать публику и осуждать власть имущих за ошибки со всем

красноречием Джона Нокса, громящего грешников. Газета, говорил он, должна быть хорошей, но не выделяться чувством юмора. Не для «Кроникл» даже фотографии, не говоря уж о вздоре, изобретенном «Дейли мейл», — карикатуры, конкурсы и прочие фокусы, придуманные, чтобы выжимать полпенни из рук читающих масс. Мою тематику он считал почти фривольной, однако преступление по своей сути — нравоучение. Зло, потерпевшее поражение, грех покаранный. Чаще ни того ни другого не происходило, и по большей части зло очень даже торжествовало. Но и это можно было подать как моральный урок.

К тому же Макьюэн питал пристрастие к стройным рассказам, а анналы Полицейского суда Боу-стрит или Олд-Бейли предлагали их в большом количестве. Я даже заслужил его благоволение — или думал, будто заслужил, он ведь никогда не поощрял кого-либо. Его эмоциональный диапазон колебался от бешеного гнева до молчания, и молчание для него было пределом похвалы. Мои статьи обычно принимались без замечаний, но последнее время мне поручили передовицы о политике либерального правительства в отношении неимущих и о последних мерах, принимаемых против преступности.

Таким образом я существовал в двух мирах, поскольку журналисты не менее причастны к классовому сознанию, чем любая другая часть общества. Репортеры — поденщики; и в большинстве случаев начинают клерками или рассыльными или же работают в провинциальных газетах прежде, чем отправиться в Лондон. Им доверяют факты, но не интерпретацию их; это прерогатива средних классов, журналистов, пишущих редакционные статьи, без труда составляющих мнения благодаря полнейшей неосведомленности в событиях. Эти величественные субъекты, любящие сдабривать свои статьи цитатами из Цицерона, получают куда больше за то, что делают куда меньше. Мало кто из них хотя бы взвешивает идею проторчать часы перед залом суда в ожидании вердикта или устроиться возле жаровни у ворот верфи, чтобы дать репортаж о забастовке.

Было почти предательством оказаться в их комнате (они даже помещения с нами не делят из опасения заразиться) и сидеть с пером и бумагой, дабы открыть глаза нации на просчеты в билле об уголовном судопроизводстве или посетовать на поголовное пьянство из-за старания пивоваров наживаться, ввергая бедняков в еще большее отчаяние. Впрочем, я извлекал из этого большое удовольствие и полагал, что мне это прекрасно удастся, хотя Макьюэн частенько переписывал мои творения таким образом, что мои слова утверждали совсем обратное моим

подлинным мнения.

— Не отвечает политике газеты, — сказал он ворчливо, когда вид у меня стал расстроенный.

— Газета поддерживает разгул пьянства?

— Она предполагает, что люди достаточно разумны, чтобы самим заботиться о своих интересах. Вы хотя и защитник рабочих классов, словно бы думаете, будто они слишком глупы и не способны распоряжаться своей жизнью. Изложите мне то же самое мнение без взгляда свысока на все население страны, иначе говоря, вы признаете главенство свободы выбора, и я вас напечатаю.

— Но вы не признаете свободу выбора, когда речь идет о торговле.

Он нахмурился.

— Это вопрос Империи, — ответил он.

Именно так. Путеводная Звезда газеты, та идея, которой подчинялись все остальные вопросы, которая определяла все стороны политики газеты. Макьюэн был Империалистом с большой буквы, человеком, для которого защита Империи была первым, единственным и величайшим долгом. Он безоговорочно утверждал, что над нами нависают две угрозы — зависть Германии и алчность Америки. Они погубят мир, лишь бы не допустить дальнейшего господства Британии по всему земному шару. Мало-помалу его редакционные статьи создали четкое направление: просвещать публику и громить политиков. Имперские предпочтения в торговле, создание торгового блока, который опояшет мир и будет развивать доминионы — Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Южную Африку — в равных партнеров. Морская политика, которая создаст армады военных кораблей, способных справиться с Германией и любой другой державой одновременно. Политика поощрения деторождаемости. Решительная оппозиция всем видам социальной помощи для британского населения, так как она уменьшает соблазн эмиграции и отвлекает деньги от имперской обороны. Это, естественно, привело к столкновению с нынешним правительством.

Но центром всего была Германия, и главное — кайзер Вильгельм, которого Макьюэн видел сумасшедшим, целящимся развязать войну. Прежде его удерживала лояльность к своей двоюродной бабушке, королеве Виктории, но после ее смерти лояльность эта сменилась ожесточенным соперничеством с королем Эдуардом. Великобритания должна подготовиться к войне и надеяться, что мы сохраним достаточно сил в сей схватке, чтобы затем достойно встретить вызов Соединенных Штатов.

Последние выборы обернулись глубоким разочарованием — вся

огневая мощь «Кроникл» была обращена на то, чтобы Империя поступила под мудрое руководство консерваторов, но, увы, в 1906 году они были сокрушены, а три года спустя их снова обхитрили. Либералы объявили программу строительства кораблей, но не разместили никаких заказов; объявили о повышении пенсий по старости, в действительности их не увеличив; объявили реформу образования и так много всяких мер, стоящих столь дорого, что никто не знал, как они будут оплачиваться. Они даже повысили подоходный налог до пяти процентов. Премьер-министр Асквит и его министр финансов Ллойд-Джордж доводили редакционные статьи «Кроникл» буквально до бессвязного лепета, когда Макюэн пытался обозреть размах их безумств. На мой взгляд, газета из-за такой одержимости рисковала прискучить своим читателям до смерти. Не то чтобы кто-либо проконсультировался со мной по этому вопросу.

Любопытно, что мое неудачное выступление против пьянства не обернулось возвращением меня в комнату репортеров. Я по-прежнему излагал свои мнения, а Макюэн по-прежнему переиначивал их, хотя все менее и менее с тех пор, как я наловчился укладывать радикальное мнение в ортодоксальную изложницу. Наибольшим моим взлетом, пожалуй, было обращение газеты в сторонницу права голоса для женщин, каковое право Макюэн считал противным воле Бога, в которого больше не верил. Из чистого раздражения я сочинил бьющую в нос, почти фривольную, передовицу, указывающую, что нелогично полагать, будто женщины произведут новое поколение империалистов, если они никак не заинтересованы в самой Империи. Эта передовица была напечатана на следующий день слово в слово без изъятия хотя бы запятой.

Я был уверен, что произошла какая-то чудовищная накладка, что мой лист бумаги каким-то образом случайно передали наборщикам и напечатали по ошибке. Люди теряли работу за куда меньшие промахи. Но нет. На следующий вечер он кивнул мне и почти улыбнулся.

— Почему вы ее пропустили? — спросил я.

— Потому что вы были правы, — ответил он. — И я благодарю вас за то, что вы поправили меня в этом вопросе.

Больше он этой темы не касался. Вот только меня теперь отправляли копаться во всяких разбирательствах и демонстрациях суфражисток, и не миновало нескольких недель, как я понял, что много охотнее тратил бы мое время с убийцами — куда более интересными собеседниками. К тому же многие из этих женщин прочли мою передовицу, сочли мои аргументы неубедительными и с упоением многословно объясняли, где и в чем я ошибаюсь. Да и своей репутации нравственной распущенности и

практикования свободы любви они никак не заслуживали.

Я купил себе пива, пирог и начал ждать появления Макюэна, не в силах сосредоточиться на документах, которые одолжил мне Уилф. Я лишь наполовину продвинулся и с тем и с другим, когда вошел мой редактор. Он был из тех, кто незаметен в толпе, если только сам не хочет, чтобы его заметили. Тем не менее он был приглашаем повсюду и имел доступ в дома великих мира сего. Каким образом? Я никогда не замечал за ним умения вести разговор, он не был сколько-нибудь красив, не имел семейных связей. Мне потребовались годы, чтобы осознать: Макюэн слушает. Когда кто-нибудь разговаривал с ним, кем бы эти люди ни были, они чувствовали, что все его внимание отдано им. Это редкий дар, которого в числе других у меня нет. Я склонен судить людей еще прежде, чем они успеют открыть рот. Макюэн умел вынюхать нужных и интересных равно среди вдовствующих аристократок и среди докеров и убедить их оказать ему доверие.

И вот он здесь, подпертый стойкой, и совсем не выглядит человеком, способным перешучиваться с начинающими выезжать юными девицами или обсуждать тарифную реформу с премьер-министром. Нет, он больше походил на газетчика, собирающегося вновь ринуться в бой. Чуть настороженный, готовящийся к борьбе, которая сопровождает рождение любого номера газеты, весь ее великий цикл от бесформенной идеи до обертки для рыбы и жареной картошки.

— Добрый вечер, сэр, — сказал я.

К нему всегда обращались только так. В мире газеты он был владыкой нас всех. Тот факт, что он сам был всего лишь наемным служащим, отвечающим перед владельцами газеты, никогда никому из нас и в голову не приходил. Собственно говоря, никто либо не знал, либо особенно не интересовался, кто были эти собственники, поскольку их присутствие никогда не давало о себе знать.

— Брэдок. — Это было приветствие не более и не менее дружественное, чем всегда.

— Могу ли я поговорить с вами, сэр?

Он достал из жилетного кармана часы, взглянул на них и кивнул.

— Меня пригласили сегодня познакомиться с некоей леди Рейвенскифф, сэр.

— Берете?

— Прошу прощения?

— Работу. Поручение, называйте как хотите. Так вы берете ее?

— Предложение очень хорошее. Замечательное. Думаю, я должен

поблагодарить вас...

— Да, именно. Отлично. Я подумал, что вы для нее подходите.

— Могу ли я спросить, почему вы рекомендовали меня?

— Потому что держать вас на криминальных историях нерационально, хотя они, без сомнения, неплохи. Но, я думаю, вам следует раскрыть свои крылья. Вам требуется провести время в обществе людей, которых вы не терпите.

— Почему вы так говорите? — Я постарался, чтобы мой голос не дрогнул от обиды.

— Вы слишком симпатизируете людям и упускаете из вида факты. Вы пишете об убийстве, разбираемом в суде, и до того поглощены подробностями, что можете позабыть упомянуть про вердикт.

— Я не отдавал себе отчета, что настолько неадекватен, — сказал я сухо.

— Нет, отдавали, — ответил он просто. — Вы прекрасно это знали. И пожалуйста, не думайте, будто я о вас плохого мнения. Вы были бы хорошим автором редакционных статей. И будете, как только избавитесь от шероховатостей.

— Вы имеете в виду, что я не учился в привилегированной школе, как те, кому вы даете поручения? — сказал я несколько громче, чем намеревался.

— Никого из них я леди Рейвенскифф не рекомендовал, — сказал он ровным голосом, — так что не оскорбляйтесь. Полагаю, она платит вам целое состояние, а к тому же опыт этот даст вам очень много. Сверх этого, в смерти Рейвенскиффа есть что-то странное, и я хочу узнать, что именно. И я не нашел, кто бы лучше вас мог это установить.

— Я думал, он упал из окна.

— Да. Открытое окно его кабинета на третьем этаже. Он работал один. Его жены дома не было. Расхаживал взад-вперед и споткнулся о ковер.

— Ну и?

— У него был страх высоты. Не страх даже, а ужас, и он крайне этого стеснялся. Никогда не приближался к открытому окну, если оно было не на первом этаже, и настаивал, чтобы все окна были крепко заперты.

— И леди Рейвенскифф разделяет вашу тревогу? Она ни о чем подобном в разговоре со мной не упомянула.

Он взглянул на меня искоса, и я понял, что именно он подозревает.

— Вы думаете...

— Все, что я знаю, Брэдок, что это дело крайней важности.

Сказал он это с особой напряженностью, и я не вполне понял, что

стояло за его словами.

— Почему?

— Потому что, — сказал он негромко, — «Кроникл» принадлежала Рейвенсклиффу. И я не хочу, чтобы она попала не в те руки. Узнайте для меня, пожалуйста, что говорится в его завещании, как распределятся его активы. Кто наш новый хозяин.

Глава 6

До моего жилища я дошел пешком, как часто поступал, когда мне требовалось поразмыслить. От Сити до Челси более шести миль, и прогулка эта заняла более часа, хотя всю дорогу я не сбавлял быстрого шага. Вид покрашенной черной краской двери не вызвал у меня даже намека на теплую радость, какую должно испытывать, вернувшись домой. Эта же дверь отделяла меня от запахов вареной капусты и мастики для натирки полов, накапливавшихся в перенаселенном здании, окна которого не открывались четверть века. Прокопченный дом на прокопченной улице в прокопченной части города. По моему убеждению, почти каждый второй дом принадлежал вдове, сдававшей комнаты жильцам вроде меня. Прямо напротив ютилось училище для молодых девиц, прививавшее им навыки лихо барабанить по клавишам пишущей машинки, чтобы они могли отнимать у мужчин места копиистов или клерков. А некоторые дома принадлежали лавочникам или клеркам, из последних сил цепляющимся за респектабельность. Все грани жизни людей, слагавшихся в этот слой общества, таились на Райской Аллее за невымытыми окнами и растрескавшейся штукатуркой. Райская Аллея! Трудно вообразить улицу, названную настолько невпопад. Могу только предположить, что спекулянт, примерно полвека назад сварганивший эти скверно построенные, абсолютно безликие хибары, обладал чувством юмора особого рода.

И даже еще более скверным было то, что мое окно на третьем этаже в задней части дома выходило на великолепные сады и прочую роскошь богемного Лондона. Преуспевающие художники заселили Тайт-стрит, улицу, параллельную моей, но отражающую совсем иной образ жизни. Особенно хорошо мне был виден сад, где я мог наблюдать двоих детишек — одетых во все белое, — пока они играли под солнечными лучами; обворожительную женщину, их мать; их дородного отца, члена Академии. И грезить о подобном идиллическом существовании, столь непохожем на мое собственное детство, в котором солнечного света отнюдь не было.

Не все журналисты — редакторы. Не все художники — члены Академии. Джон Пракситель Брок, мой сосед за стеной, успеха тогда не имел. Его мучения из-за необходимости созерцать антураж недостижимой славы на соседней улице уравнивались его желанием соприкоснуться со знаменитостями, которые могли бы поспособствовать его карьере. Иногда он возвращался домой, искрясь волнением и гордостью. «Я нынче

пожелал доброго утра Саргенту!» Или: «Генри Макальпин сегодня купил пинту молока в очереди передо мной!» Увы! И тот и другой редко желали ему доброго утра в ответ. Возможно, их отпугивала его отчаянная настырность; или же тот факт, что его отец скульптор (откуда его второе имя) был отпетым ретроградом с очень скверным характером; возможно, они полагали, что молодость должна сама прокладывать себе дорогу. И теперь преуспевший Брок тоже не слишком-то способствует другим.

Утром я проснулся страшно голодным, потому что накануне вечером почти ничего не ел и много ходил. Поэтому я быстро оделся и спустился в обеденную комнату, где миссис Моррисон каждое утро готовила завтрак для «своих мальчиков». Она была единственной причиной, почему я оставался в этом доме, и, полагаю, то же относилось ко всем ее жильцам. Как домоправительница она была почти безнадежна, а как кухарка — и того хуже. Ее завтраки граничили с непристойностью, а вечером овощи она варила с такой энергией, что нам еще везло, если они были не более чем желтыми, когда вываливались на тарелку в лужицу горячей воды, чтобы смешаться с серыми жесткими кусками мяса, которое она готовила сугубо своим способом, и еще никому не удалось выяснить, как именно она преобразовывала некогда живую тварь в подобное безобразие. Филипп Мулреди, уповавший снискать славу стихами (позднее он удовольствовался богатой невестой), иногда декламировал вирши в честь бедного животного, заколотого на алтаре миссис Моррисон. «Тут ты лежишь, о злополучный боров, столь бледный, серый и поблекший». Хотя, щадя чувства нашей хозяйки, он удостоверялся, что она на кухне, когда Каллиопа осеняла вдохновением его чело.

Но в любом случае она вряд ли уловила бы иронию. Миссис Моррисон была хорошей женщиной, вдовой, прилагающей все усилия, чтобы выжить в этом безжалостном мире. И пусть еда была отвратительной, а каминная полка густо заросла пылью, но она творила атмосферу такого теплого дружелюбия! И не только это. Она охотно чинила нашу одежду, стирала наше белье и оставляла нас в покое. Взамен она ждала умеренную плату за комнату и иногда малой толики нашего общества. Фунт в неделю и часок болтовни. Сущие пустяки.

Хотя и журналист (теперь я вспомнил — бывший журналист), я, увы, болтуном не был — в отличие от Брока, радовавшегося любому предлогу, отвлекавшему его от работы. Мулреди гордился еще и талантом вести беседу, хотя, заведя разговор, любил поразвлечься, рассуждая столь занудно и на такие темные темы, что бедная женщина редко улавливала, о чем он, собственно, толкует. Ее фаворитом был Гарри Франклин. Он

работал в Сити, занимая какую-то низкоразрядную должность, однако пребывать кабальным ему явно оставалось недолго. Он был серьезным молодым человеком, каким любая респектабельная мать была бы рада видеть своего сына. Каждый вечер он затворялся в своей комнате постигать тайны денег; он намеревался изучить свое дело так досконально, что никто не решился бы отказать ему в повышении, которого он жаждал. Он часто возвращался в поздний час, трудясь на своих нанимателей без сверхурочной оплаты и в полном одиночестве, чтобы в любой момент быть на пике своих обязанностей.

Он был достоин всяческих похвал, но — посмею ли я сказать это? — порядочным занудой. Брок и Мулреди с легкостью его шокировали. Каждое воскресенье он посещал церковь и редко разговаривал за обедом. Однако он мало что упускал и был сложнее, чем казался. Иногда я подмечал мягкий блеск в его глазах, пока он слушал бурные излияния своих сотоварищей-жильцов; подмечал усилия, скрытые за подавлением души и дисциплинированностью тела. И он жил с нами в Челси, а не в Холлоуэе или Хэрни, где главным образом гнездились птицы одного с ним пера. Франклин считал себя особенным, другим, возможно, далеко превосходящим своих коллег, и отчаянно пытался подогнать реальность под уровень своих грез.

Не мне было принижать его честолюбивые мечты, не мне было говорить, что должность главного управляющего какого-нибудь провинциального банка, предположительно его цель (тут я сильно недооценил размах его честолюбия), слишком жалкая, чтобы грезить о ней по ночам, когда соседи выше и ниже этажом видят себя Микеланджело или Мильтоном. Его мечта была не менее сногшибательной, а осуществлял он ее с большой решимостью и недюжинными способностями.

— Мне необходима ваша помощь, — сказал я.

Он готовился отправиться на работу и прикреплял к брючинам велосипедные зажимы, но тут обернулся ко мне. В лад своему общему подходу к жизни он дважды в день крутил педали через весь Лондон вместо того, чтобы заплатить два пенса за билет в омнибусе. Но два пенса — это два пенса, а к тому же омнибус подразумевал зависимость от других людей и риск опоздания. Франклин не любил зависеть от кого бы то ни было.

Он посмотрел на меня с опаской и ничего не ответил.

— Я серьезно, — заверил я его. — Мне необходимо получить сведения о деньгах.

Он продолжал молчать.

— Нельзя ли мне немножко пройти с вами?

Он кивнул, и мы вышли на улицу вместе. Он являл собой редкое зрелище. Миссис Моррисон сшила большую сумку из жесткой парусины для его цилиндра, который мог слететь или запачкаться, пока он крутил педали, и он тщательно привязывал сумку к седлу своей машины сзади. Затем он натягивал суконные гетры, крепко их завязывая на лодыжках и бедрах для защиты брюк, и обматывал шею чем-то вроде шарфа для защиты жесткого белого воротничка от грязи лондонских улиц.

— Вы ведь понимаете, насколько смешно вы выглядите во всем этом?

— Да, — ответил он невозмутимо, в первый раз нарушив свое молчание. — Но мои наниматели придают большое значение внешнему виду. Многих ребят поотправляли домой без оплаты за неряшливость в одежде. Зачем вам сведения о деньгах? Я думал, вы их не одобряете?

Франклин разок слышал, как я рассуждал о зле капитализма, но не считал нужным защищать своего бога от провозглашаемых мною ересей.

Я заговорил:

— Вы что-нибудь знаете про некоего лорда Рейвенсклиффа?

И тут же я увидел, как по его лицу скользнуло удивление, смешанное с любопытством.

— Мне поручили написать его биографию, но предупредили, что вся его жизнь была в деньгах. Или что деньги были всем в его жизни. Так или иначе.

— Но почему обратились именно к вам?

Я уже был сыт по горло этим вопросом.

— Не имею ни малейшего представления, — сказал я сердито. — Но его вдова считает, что для этой работы подхожу именно я. И она мне за нее платит. Я буду счастлив поделиться моей удачей с вами, если вы позволите мне использовать вас как своего рода справочник по тем вопросам, которые будут мне непонятны. А это буквально любые.

Он прикинул.

— Хорошо, — сказал он лаконично. — Я с удовольствием буду помогать вам в свободное время. Сегодня вечером я после обеда свободен. Так какого рода ваши вопросы?

— Да всякого. То есть я более или менее знаю, что такое акции, но и только. Не то чтобы у меня были деньги, а потому обороты с ними меня не занимали. Секундочку.

Я кинулся назад в дом и вверх по лестнице к себе в комнату, схватил папку от «Сейда» и вернулся на тротуар.

— Вот, — сказал я, всовывая папку в руку Франклина. —

Предположительно это краткий обзор рейвенсклиффовского бизнеса. Вы сможете сегодня вечером объяснить мне, что тут к чему?

Засунув ее в сумку к цилиндру и белым перчаткам, он укатил.

Я вернулся, чтобы сразиться с беконом миссис Моррисон и просмотреть почту. Я редко получал письма того или иного рода, а потому конверт, ожидавший меня прислоненным к корзинке с тостами, сразу вызвал интерес, так как был толстым, склеенным из плотной бумаги кремового цвета и адресован кудрявым почерком. «Лондон В» значилось на штемпеле. Видимо, конверт заинтриговал и миссис Моррисон — она упомянула о нем, когда наливала мне чай, и еще раз, когда ставила передо мной тарелку и возбужденно крутилась возле меня, ожидая, чтобы я его вскрыл. Не видя основания отказать ей в удовольствии, я эффектно вскрыл его ножом для масла. Письмо было от некоего мистера Теодора Ксантоса из отеля «Ритц» с ссылкой на нашу встречу накануне. Раздумье подсказало, что скорее всего это маленький эльф, которого я видел в кабинете Бартоли. Он писал, что, поскольку был много лет знаком с лордом Рейвенсклиффом, то мог бы оказать мне помощь в моей работе. Поскольку он все время в деловых разъездах, то редко бывает в Лондоне, но если мне будет удобно посетить его до следующей пятницы, он будет весьма рад поговорить со мной.

Очень вовремя. И было приятно думать, что у кого-то есть желание помочь мне. Я сунул письмо в карман, завершил свой завтрак, с чувством поблагодарил миссис Моррисон за превосходную трапезу и вышел под прохладное утреннее солнце.

Глава 7

До вечера этот день ничем существенным ознаменован не был. Я отправился на Слоун-сквер, где, как я знал, имелся банк, и открыл счет. «Мидленд и Каунти банк» (акционерный банк, установил я, в противоположность частному — подобные вещи обретают весомость, когда их изучаешь), казалось, преисполнился энтузиазма, едва я упомянул, что на счет этот еженедельно будут поступать 6 фунтов 14 шиллингов 8 пенсов. Однако энтузиазм поугас, когда я добавил, что в данный момент у меня для них нет абсолютно ничего, — впрочем, с разочарованием они справились мужественно и выдали мне чековую книжку со строжайшим предупреждением и думать не смей выписывать чеки, пока я не положу на счет какую-то сумму.

Затем я отправился в Челсийскую библиотеку, чтобы погрузиться в мир денег. Банки — акционерные, частные, учетные. Переводный вексель. Вексель, трассированный на Лондон. Консолидированные ренты. Облигации выше или ниже номинала. Процентный доход. Дивиденды. Акции первой (или второй) привилегированности. Ценные бумаги — международные, внутренние, государственные или коммерческие. Совершенно очевидно, этот капитализм был куда более сложным организмом, чем я полагал. Я видел в нем орудие грабежа, более или менее магическое в оперировании, но мало-помалу осознал, что у него существуют правила. Пусть колдовские и неудобопонятные, но тем не менее правила. И во всяком случае, есть люди, понимающие, как все это работает. А понятное ими смогу понять и я.

Эта решимость была единственным результатом утра, проведенного в библиотеке. Она, а также головная боль и информация, что мистер Теодор Ксантос был всего лишь коммивояжером одной из кораблестроительных компаний Рейвенсклиффа. Жаль-жаль. Я-то надеялся, что он окажется более важной фигурой, а не мелкой сошкой, чья пылкая готовность помочь объяснялась желанием быть упомянутым в книге, которая в любом случае не будет никогда написана.

Я зашел в «Конец мира» ради сандвича и пинты, а днем вернулся к более легким, более привычным делам. Смерть лорда Рейвенсклиффа. Некрологи. Журналистика. То, что я понимал бы и стоя на голове. Макюэн сказал: начать с конца и двигаться обратно. И совет был здравый, даже если исключить его личный интерес. Мне требовалось узнать и понять

человека, а смерть часто открывает очень многое об умершем.

Я затребовал газеты «Таймс» и «Телеграф», а также финансовые, поскольку они на свои темы дают более подробные сообщения, — и читал, пока глаза у меня не вылезли на лоб, а библиотека не закрылась. Я кое-что узнал, но далеко, далеко не достаточно.

Сначала смерть. Тут газеты предлагали на редкость мало информации. Лорда Рейвенклиффа, лежащего возле своего дома, обнаружил прохожий в два часа утра 27 марта 1909 года. Он был еще жив, но вскоре умер. Причиной смерти были травмы головы, полученные при падении из окна третьего этажа. Предположительно он споткнулся о ковер. Ему было шестьдесят восемь лет.

Подробности эти совпадали с тем, что рассказали его жена и Макьюэн, и практически ничего не добавляли. Сходство между разными заметками было поразительное. Несомненно, ни единый репортер сам своего сообщения не писал. У всех был один источник, и он более или менее продиктовал репортаж. Более того: краткое изложение событий появилось во всех газетах примерно трое суток спустя после смерти, то есть 30 марта. Необычная задержка сообщения о внезапной и насильственной смерти пэра, пусть даже получившего свой титул недавно. При обычных обстоятельствах все происходило бы следующим образом. Рейвенклифф обнаружен, полиция вызвана. Полицейские возвращаются в свой участок доложить, дежурный информирует журналиста, как всегда утром зашедшего узнать новости. Если новости эти — не материал для сенсации (и не были сочтены такими), он сообщает их своим коллегам в пабе часов около одиннадцати. Все наводят справки, какие сочтут нужными, и первое сообщение появится в вечернем номере, остальные — на следующее утро.

В данном случае все происходило иначе. Заглянувшему за новостями журналисту про смерть Рейвенклиффа не сказали — ни в тот день, ни на следующий. Почему? Я решил начать розыски именно с этого. Ведь начать-то надо было, а этот вопрос пробудил интерес у меня самого. К тому же в моем распоряжении было семь лет. И я не торопился.

Какое-никакое занятие, необременительное для моих терпения или интеллекта. Я даже предвкушал его, так как остальное мое время в библиотеке короталось за куда менее интересным чтением. Только «Файнэншел таймс» почтила Рейвенклиффа пристойным некрологом, но даже он не содержал почти никаких подробностей. Рейвенклифф родился Джоном Уильямом Стоуном в 1841 году, сын приходского священника в Шропшире. Школа. Университет. В 1866 году он основал «Госпорт Торпедо компани». Далее следовала вьюга запутанных сделок, от которых

у меня голова закружилась. «Госпорт Торпедо» была куплена «Бесуикской верфью» в Ньюкасле и зарегистрирована на Бирже в 1876 году. «Бесуик» затем объединилась со сталелитейным заводом Глисона в 1885 году, затем была выкуплена химическим заводом «Яртон», далее последовали Солфордская железнодорожная фабрика, рудник в Йоркшире и угольные шахты под Эдинбургом. Затем в 1890 году Рейвенсклифф вложил все свои авуары в «Инвестиционный траст Риальто» и тоже продал его на Бирже. Результатом, поведал мне автор некролога, явился экстраординарный механизм, который мог для начала наскрести пыли из земли, мало-помалу преобразовать ее в абсолютно заверченный и экипированный военный корабль, не приобретая ни единой детали у какой-либо посторонней компании. Весь конгломерат управлялся с легендарной эффективностью. До такой степени, что был, по его утверждению, способен, начав с единственной мины, провести морской бой менее чем через двенадцать месяцев.

Еще более любопытной была фраза: «в числе его деловых интересов». Некролог и дальше уронил подобный же намек: «наиболее известное из его финансовых начинаний...» Что опустил автор? Макьюэн сказал, что ему принадлежала «Кроникл»; Уилф Корнфорд упомянул отели и банки. Они подразумевали это?

Как и в большинстве некрологов, автор почти ничего не сказал о нем как о человеке. В некрологах это не принято. Но здесь сдержанность была больше обычной. Упоминалось, что Рейвенсклифф оставил после себя жену, но не сообщалось, когда они поженились. О его жизни вообще ничего не говорилось, как и о том, где он жил. Не было даже ни единого из обычных клише, послужившего бы намеком: «прирожденный рассказчик» (любил звук собственного голоса); «отличался щедростью к друзьям» (расточитель); «внушительный враг» (изувер); «строгий, но справедливый со служащими» (рабовладелец); «любитель скачек» (в жизни не прочел ни единой книги); «холостяк» (развратник); «коллекционер цветов» (подразумевается большой бабник. Почему это выражение стало подразумевать подобное, я не знаю).

Дополнительное корпение над «Ежегодным индексом» «Таймс» навело на несколько статей общего характера, но прочесть их в этот день я был не в силах. В блокноте у меня набралось достаточно, чтобы вечером представить Франклину вполне умную физиономию, и я обнаружил, что бомбардировка фамилиями и названиями, и ценами акций, и коэффициентами рентабельности слишком умопомрачительна, чтобы выдержать ее на пустой желудок. А потому я сел в омнибус назад на Флит-

стрил, где вошел в «Короля и ключи», чтобы съесть яйцо под маринадом и запить его пивом. Это был паб при «Телеграф», паршивая дыра, где в самый солнечный день требовалось вонючее газовое освещение, поскольку там почти не было окон, чтобы пропускать внутрь дневной свет или свежий воздух. Там воняло потом, табаком и скисшим пивом. Почему он пришелся по вкусу «Телеграф», я не знаю, но лояльности и вкусам репортеров объяснений нет. Просто так вышло. Имелась и положительная сторона: мамаша Белл, хозяйка, была добродушной толстухой, всегда готовой оказать кредит, а то и одолжить денег завсегда, и держала свое заведение открытым весь день и всю ночь. Для «Телеграф» оно было тем же, чем профессорская для университетских преподавателей или «Реформ клуб» для элиты либералов. Место, где чувствуешь себя как дома. Кроме того, подозреваю, самые грязь и вонь этого заведения и делали его привлекательным — ну, как некоторые люди привязываются к шелудивому старому коту, потому что он такой омерзительный и несимпатичный.

Хозвицки был там, как я и надеялся. Субъект не из легких, Стефан Хозвицки, но привлекательной в нем была усердность. Он не пользовался популярностью среди своих коллег и имел репутацию заносчивого. Незаслуженно. Он попросту был антипатичен. Было практически невозможно поверить, что он может нравиться, да никто этого и не проверял. Я, правда, приложил некоторые усилия, подумав, когда он начинал, примерно полтора года назад, что смогу ввести его в курс, как другие вводили меня. Хозвицки не нуждался в наставлениях, расценивая их как похлопывание по плечу, и, честно сказать, репортером он был хорошим. Увы, он так и не понял, что писать хорошие статьи — лишь малая часть профессии. Быть рядом, жаловаться на редакторов, стонать о том, о сем и об этом — куда важнее. Товарищество — это все.

Сенсацию прибереги для себя, это само собой разумеется. Но не прячь мелочи. Большинство сюжетов находишь потому, что коллега дает тебе подсказку и ожидает получить подсказку в свой черед. Хозвицки воспринимал жизнь как соперничество. Он никогда никому ничего не говорил. Вместо того чтобы полагаться на предлагаемый каждое утро в баре общий котел информации и самому его пополнять, он самолично обходил все полицейские участки. Если он обнаруживал что-то, упущенное другими, пусть самое тривиальное, то держал это при себе. Он был честолюбив и исполнен решимости стать фигурой, чего бы там о нем ни думали другие.

Не знаю, сумел бы он достичь своей цели. Он погиб на фронте в 1915

году, став жертвой собственной усердности. Когда остальные преобразились в военных корреспондентов, преобразился и он, полный решимости показать себя истинным англичанином, вопреки своей фамилии и месту рождения, Польши, если не ошибаюсь. И пока его коллеги пригибали головы в окопах, он вызвался пойти в ночную разведку. Его труп найден не был.

Поздоровался он со мной без всякой теплоты, но хотя бы не отодвинулся дальше вдоль стойки при моем приближении.

— Я весь день занимался хилл-эндским убийством, — сказал он. Разговоры ему не давались. Он либо говорил что-то конкретное, либо молчал. Во всяком случае, это избавило меня от обузы заводить пустопорожнюю болтовню. Хозвицки был единственным репортером в Лондоне, которого прямолинейность не оскорбила бы.

— Ты написал о Рейвенсклиффе, когда он умер?

Он что-то буркнул себе под нос. Намерен ли я указать на ошибку? Предложить дополнительную информацию? Будет ли ответ ему на пользу или во вред? Он пока еще не определил.

— Да, — сказал он.

— Скажи-ка мне. История старая, ты ничего не потеряешь. И можешь приобрести кое-что на будущее.

Его глаза сощурились.

— Что?

— То, что я узнаю. Ты слышал, что я ушел из газеты?

Он не слышал. Я почувствовал себя слегка оскорбленным. Как я говорю, мы компания сплетников. Учтите, я не льстил себя мыслью, что мой уход займет ведущее место среди интересных анекдотцев, но я ожидал, что про это заговорят быстрее.

— Да. И что бы я ни разыскал, писать я про это не буду. Понимаешь?

Он кивнул.

— Отлично. Я хочу знать, почему ушло трое суток, прежде чем о смерти Рейвенсклиффа сообщили газеты?

— Потому что полиция раньше никому о ней не упомянула.

Я нахмурился.

— Но почему?

— Полагаю, так пожелала семья. Они так делают, эти люди. Просят полицию. Полиция подчиняется.

Надо будет спросить вдову Рейвенсклиффа при следующей встрече.

— Откуда ты это знаешь?

Очень просто. По его словам, он зашел в участок на Боу-стрит в

половине десятого утра, как всегда. Его последний заход в тот день. Он жил в самой глубине Ист-Энда, начинал с полицейских участков в Сити приблизительно в пять утра и добирался на своем велосипеде до западных районов примерно в то же время, когда я направлялся на восток, чтобы приняться за работу.

— Обычно они дают мне регистрационную книгу и позволяют посмотреть записи. Затем я спрашиваю про то, что меня заинтересовало, и они кратко излагают суть. Достаточно просто. Ну, да ты сам знаешь.

Я кивнул.

— Только не в то утро. Дежурила волосатая свекла.

Достаточно хорошее описание. Сержант Уилкинс весил заметно больше двухсот пятидесяти фунтов, а цвет его лица колебался между багровостью его щек и лиловостью кончика носа. Даже просто вставая, он пыхтел от натуги, а обход улиц был настолько выше его возможностей, что сочувствующие коллеги давным-давно усадили его за стол дежурного. По правилам, его надлежало уволить как непригодного к службе, но полиция всегда опекает своих. Уилкинс был своего рода святым и нравился всем, даже преступникам, чьи дела он протоколировал изо дня в день. И вид у него был такой, словно каждое преступление для него было личным разочарованием. При нормальных обстоятельствах более благожелательного и услужливого человека трудно было бы найти.

Однако в то утро Уилкинс отказался дать ему регистрационную книгу и только сам прочел пару записей. «Сегодня больше ничего», — сказал он благодушно. Когда через несколько минут в участок за ноги втащили орущего, сопротивляющегося, распевающего пьянчугу и Уилкинс пропыхтел к двери поглядеть, что происходит, Хозвицки молниеносно повернул книгу и заглянул в нее. В его распоряжении было только несколько секунд, но и их оказалось достаточно: «2.45:379 на Сент-Джеймс-сквер. Обнаружен труп. Сообщить мистеру Генри Карту. Ф. О.»

— Что сообщить?

Хозвицки пожал плечами.

— Генри Корт?

Еще одно пожатие плеч.

— Ф. О.?

Он снова пожал плечами. Раздражающая привычка.

— Так почему никакой заметки?

— Я заинтересовался, а потому направился в морг, и там это подтвердили. Из больницы на Чаринг-Кросс доставили тело, опознанное как Рейвенскифф. Я вернулся в редакцию и начал писать. Просто

предварительный репортаж, поскольку я собирался сдать его, а потом снова отправиться собрать еще информации. Кроме того, я сообщил редактору, чтобы он мог подготовить некролог.

— И?

— И больше ничего. Я вернулся на Сент-Джеймс-сквер постучать в соседние двери (тут я поморщился: Хозвицки нравилась такая вот вульгарность в его репортажах), но прежде чем я успел туда добраться, меня нагнал рассыльный и сказал, что меня ждут в редакции.

Такое случается. Случалось и со мной — не так уж редко. У всех газет были тогда рассыльные, компании мальчишек, которые толпились у главного входа в надежде заработать пенни-другой, доставляя вести. Часто это были незаурядные ребята — грязные и нахальные, но самые лучшие отличались особыми способностями и Лондон знали как свои пять пальцев. Они пересекали город с потрясающей быстротой, повиснув на омнибусе сзади, а то и бегом. Однажды я даже видел, как такой рассыльный катил по Оксфорд-стрит на крыше кеба, нагло помахивая руками прохожим.

— И я вернулся, — продолжал Хозвицки, — и получил головомойку от дневного редактора. Нечего мне тратить время на смерть человека настолько глупого, что он выпал из окна, э? Кто-то потолковал с ним об этом.

— Ты знаешь кто?

— Я сумел узнать только, что за два часа перед тем в редакцию приехал весьма уважаемого вида мужчина и разговаривал с ним полчаса. Даже моя краткая заметка о смерти Рейвенклиффа была тогда изъята из номера, а через десять минут после его ухода был отправлен рассыльный. История была прихлопнута, а когда появилась, написал ее не я.

— А кто?

Он покачал головой.

— Никто из работающих в «Телеграф», — сказал он. — Позднее я спросил редактора, но он отмахнулся. «Иногда просто делаешь, что тебе говорят», — сказал он. Но думаю, он подразумевал и себя, а не только меня.

Я допил пиво и задумался над услышанным. Я был уверен, что Хозвицки говорит правду: он выглядел прямо-таки обрадованным, что может поделиться своим негодованием. Редакторы, естественно, люди неустойчивые. Они выбрасывают репортажи из чистого каприза, или оказывая личную услугу, или из-за владельцев газеты. Это происходит сплошь и рядом. Но обычно понимаешь почему, хоть и не одобряешь. Но зачем изымать простой репортаж о случившемся?

— Погоди минуту, — сказал Хозвицки. — Что я получу взамен?

— Пока ничего, — сказал я бодро. — Кроме моих «спасибо».

Он насупился.

— И моего обещания, что, когда у меня появится что-то, чтобы дать взамен, ты этот материал получишь.

Я кивнул ему и ушел, поднявшись по окутанной смрадом лестнице на открытый воздух Флит-стрит, такой свежий после этого замызганного подвала, что у меня даже голова закружилась.

Глава 8

Мне хотелось вскочить в омнибус и поехать прямо на Сент-Джеймс-сквер задать вопросы леди Рейвенсклифф. Их для нее у меня накопилось немало. Но было уже шесть, а я договорился встретиться с Франклином. К семи я был в Челси, готовый взяться за дело. К несчастью, Франклин ел медленно, жевал методично. Обычно это меня не трогало, но в тот вечер его манера довела меня до иступления.

Наша вечерняя рутина была неизменной. Около семи часов все четверо «мальчиков» миссис Моррисон собирались в маленькой обеденной комнате, темной и мрачной, освещенной только пыхающим газовым рожком, а затем полязгивание сковородок и кастрюль достигало крещендо, возвещая начало нашего вечернего пирования. Разговоры за этими трапезами менялись, то оживленные, то вообще не завязавшиеся. Порой мы обедали *en grand seigneur*^[2] и потом засиживались за чаем. Я всегда мог завоевать слушателей, живописуя новейшее убийство. Брок немедля претендовал на внимание рассказом о встрече с художниками, с которыми знаком не был. Мулреди мог прогнать всех из-за стола, задекламировав стихи экспериментального рода. Только Франклин почти не нарушал молчания, поскольку никого не интересовали изменения рыночных курсов или выпуск южноамериканских ценных бумаг, пусть даже цена купона могла быть назначена значительно ниже номинала. Он говорил на языке, куда более иностранном, чем преступники, художники и поэты, причем ни у кого не вызывавшем желания подучиться ему.

Обед в этот вечер состоял из бараньей котлеты каждому, картофеля и (особое баловство) брюссельской капусты вместо простой, хотя к тому времени, когда они попадали на стол, различий между ними не оставалось никаких. Затем пудинг из маниока, вызвавший взрыв аплодисментов артистических натур, чьи детские вкусы были, пожалуй, определяющей частью их жизней. Разговор не был оживленным. Брок хотел бы завести дискуссию, будет ли война с Германией или нет, и полагал, что я как репортер должен святым духом знать, что думают по этому вопросу в министерстве иностранных дел.

Им двигала не абстрактная озабоченность судьбами нации, хотя, как оказалось, интересовался он не зря. Потому что война сделала его, когда началась. Он стал военным художником, и то, что он видел, настолько изменило манеру его письма, что это выдвинуло его в авангард нового

поколения, которое вышло на первый план с окончанием войны. Серая унылость Брока, делавшая его неудобоваримым в солнечные дни, войне предшествовавшие, идеально гармонировала с настроениями, преобладавшими во время нее, и раскрыла прозрачную четкость, которая не давалась ему, пока он жил с нами в Челси.

Так нет, он замыслил гигантский портрет коронованных особ Европы, идею, для которой он настолько не подходил, что просто не знаю, дивиться ли его дерзновенности или полнейшему отсутствию у него понятия о реальности. Он хотел — он, Джон Пракситель Брок — призвать всех монархов от царя Николая до кайзера, от короля Эдуарда до австрийского императора и всех до последнего государиков Скандинавии и Балкан сесть бок о бок и позировать ему. Предположительно не в обеденной комнате в Райской Аллее, Челси.

Это был план до того сумасшедший по самому своему замыслу, что, естественно, все мы бурно его подбадривали, и он дни напролет делал маленькие наброски, используя газетные фотографии вместо августейших голов. Он был занят и счастлив, а я по сей день не знаю, действительно ли тут имелась хотя бы крупица серьезности. Думаю, что нет: при всей своей нереалистичности, по-настоящему сумасшедшим он все-таки не был. Но идея обрела самостоятельное существование, и все, что ни происходило в мире, оказывалось связанным с ней. Он стал горячим сторонником французских монархистов, поскольку не представлял, каким образом сможет поместить президента республики на портрете королей. Он крайне не одобрял русских революционеров и был чрезвычайно возмущен, когда король Португалии стал жертвой покушения и тем самым лишил его натурщика, который славился (до своей злополучной кончины) красивой внешностью.

Мечты о славе захлестывали Брока, как волна, пока он предвкушал возведение в рыцарское достоинство, когда его шедевр будет выставлен в Королевской Академии. В этот вечер он вернулся с небес на землю, когда Мулреди не справился с припадком оголтелого хихиканья. Обед подошел к концу на довольно грустной ноте. Брок побрел вон из столовой. Мулреди почувствовал легкие угрызения совести, а Франклин сохранял невозмутимость. Затем мы с ним поднялись в маленькую гостиную, предназначенную исключительно для особых случаев. Она была темной, холодной и абсолютно неуютной, но Франклин никогда никого не допускал в свою комнату. Он бросил мне назад подшивку «Сейда».

— Ты ее прочел?

— Конечно. Умелое резюме, но почти никаких подробностей.

— Ну и? Ты можешь объяснить все это мне?

Если Брок и Мулреди брызгали весельем, даже когда обсуждали веселейшие проблемы, Франклин был сама серьезность даже в шутках. Он не обладал и намеком на чувство юмора; это делало его хорошим служащим, но скучным, хотя и благожелательным собеседником. За обеденным столом он строго ограничивался сообщением фактов и был устрашающе педантичен. Битва при Ватерлоо произошла в июне или июле 1815 года. Мулреди было совершенно все равно, в каком году она произошла; для Франклина вопрос обретал чрезвычайную важность, и если он не знал точного ответа, то терял покой. Рано или поздно он ускользал наверх уточнить и заверить себя, что мир все еще можно сводить к цифрам.

Подшивка «Сейда» вызвала сокрушающий взрыв этой особенной формы безумия — во многих случаях, объяснил Франклин, имелся намек, но без пояснений. Она утверждала, но без каких-либо данных. Наброски без детализированного фона.

— Она не завершена, я знаю, — сказал я, раскаиваясь, что вручил бедняге такую причину для раздражения, но в то же время чувствуя, что потребность ищейки выискивать детали можно направить в нужное русло, она могла бы оказаться очень полезной. — Ты не расскажешь мне, что это все-таки такое?

Не стану воспроизводить то, что я услышал, дословно. Это было бы невыносимо. И ничего не дало бы, лишь подчеркнув, как мало, даже под руководством такого эксперта, я на том этапе сумел понять. Рейвенскифф, сказал он, был человеком новой породы. Не промышленником, не банкиром, а капиталистом наиболее современного толка.

Тут он понял, что поставил меня в тупик, и начал заново. В последние десятилетия компании продавали себя на Бирже. Люди покупали их акции; если компания преуспевает, ее прибыли растут и все больше людей хочет покупать ее акции, а потому их цена повышается.

Понятно. Я кивнул.

— В обычных обстоятельствах, — продолжал он, войдя в свою колею, — предприятиями управляют управляющие, назначаемые компаниями — ну, например, сталелитейным заводом. Кроме того, имеется совет директоров, который следит за управляющими от имени акционеров. Поскольку предприятие принадлежит им, акционеры могут предписывать правлению, что ему следует делать, если достаточное их число придет к соглашению в том или ином вопросе. Часто акционеров так много и они настолько далеки друг от друга, что вообще не могут прийти ни к какому соглашению. И вот тут-то Рейвенскифф и увидел свой шанс.

Еще в 1870-х годах он понял, что не обязательно быть владельцем компании, чтобы ее контролировать. И в 1876 году он продал свою торпедную компанию «Бесуику», однако вместо наличных «Бесуик» уплатил ему акциями. Собственно говоря, он получил больше трети всего их количества. Вооружившись ими, он созвал собрание, постановившее, что он будет председателем. Вот так это и продолжалось. Обдуманно экспериментируя, Рейвенскифф установил, что на самом деле требуется не более 25 %, чтобы контролировать компанию. И почему должны протестовать другие акционеры? Компании, которые он забрал под свой контроль, преуспевали, они выплачивали установленные дивиденды, цена акций непрерывно росла. И вот так распространялась власть Рейвенскиффа.

— Ну, это очень мило. Все, следовательно, счастливы, — сказал я. — Тут мне не за что ухватиться. И хотя я вижу, что ты находишь все это увлекательным, трудно представить, как придать этому увлекательность для читателей его биографии. И это все, что содержится в резюме? Должен сказать, что я немножко разочарован.

Франклин насупился.

— Лично я нахожу это поразительным. Но, как ты говоришь, мало кто это поймет. К счастью, для тебя тут кое-что все-таки есть. Когда в 1866 году он учредил «Госпорт торпедо компани», ему оказалось очень трудно убедить Королевский военный флот покупать его торпеды. Они или не срабатывали, что делало их бесполезными, или же работали безупречно, а это означало, что маленький ялик способен потопить броненосец. Естественно, Флот не слишком хотел его поддерживать. А потому он им их просто преподнес.

— Я думал, суть в том, чтобы извлекать прибыль.

— Верно. Но Рейвенскифф понимал, что заказ Королевского военного флота был наилучшей в мире рекламой. То, чем располагал британский флот, захотят иметь все другие военные флоты. Прежде чем поставить первую торпеду, он объехал весь мир, сообщая о доверии к нему Британского Адмиралтейства. Естественно, все остальные захотели тоже обзавестись торпедами, пусть цена и была внушительной. Не прошло и пяти лет, как он вооружил всех наших врагов, включая потенциальных, средством для потопления наших кораблей.

Что он мог сделать? Таков был его аргумент. Он утверждал, что был бы счастлив предоставить военному флоту эксклюзивное право на приобретение его механизмов, но они отказались. А к этому времени военные флоты по всему миру осознали, что их корабли нуждаются в

большой защите. Рейвенскифф приобрел контроль над «Глиссонской сталью», производившей лучшую броню в мире, и над «Бесуикской верфью», которая могла строить новейшие военные корабли. Вот так все и шло. К 1902 году все аспекты постройки кораблей и производства оружия находились под контролем Рейвенскиффа. Его заводы производили машины, суда, пушки, снаряды. Раньше большинства он увидел потенциал паровых турбин, а потому купил контроль над компанией, которая вела разведку и добычу нефти в Месопотамии.

— Очень умно с его стороны.

Франклин не отозвался.

— Ты знаешь, что такое «фонд доверия»? Иначе говоря, «траст»?

Я было хотел ответить, что чем бы это ни было, в мире финансов название прямо противоречило бы сути. Но удовольствоваться покачиванием головы.

— Их изобрели шотландцы лет двадцать назад. Это компания, зарегистрированная так на Фондовой бирже, но занимается она только тем, что владеет акциями других компаний. Ну, так Рейвенскифф поместил все акции, принадлежавшие ему в «Глиссон», «Госпорт», «Бесуик» и так далее в «Инвестиционный траст Риальто» и продал его акции, сохранив только контрольный пакет. Понимаешь, что из этого следовало?

— Нет.

— Я искренне рад, что в своей каждодневной жизни ты никак не соприкасаешься с деньгами, — сказал он яростно. — Совершенно очевидно, что никакого чутья у тебя на них нет.

— Полностью согласен, — сказал я.

— Тут гордиться нечем. Очень хорошо. Подумай вот о чем. Четверть доли в «Трасте» означала, что Рейвенскифф его контролирует, верно?

— Раз ты так говоришь.

— Да, я так говорю. А четвертая доля, принадлежащая «Трасту» в «Бесуик», означает контроль, верно?

Я кивнул.

— Следовательно, Рейвенскифф контролирует «Бесуик» благодаря четверти доли от четверти доли. Это шесть с четвертью процентов. То же самое с еще десятком компаний, составляющих главные холдинги «Траста». Иначе говоря, он контролирует компании с общим капиталом почти в семьдесят миллионов фунтов благодаря вкладу немногим более четырех с четвертью миллионов.

Наконец я понял, хотя величина цифр меня ошеломила. Четыре с половиной миллиона были такой колоссальной суммой, что у меня голова

пошла кругом. А семьдесят миллионов были вообще уму непостижимы. Дом моей домохозяйки, как я знал, обошелся ей в двести фунтов.

— Поэтому, — продолжал Франклин, — твое определение Рейвенсклиффа как «своего рода денежного человека» нуждается в поправке. Фактически он был самым влиятельным производителем оружия в мире. А также, возможно, и самым хитроумным финансистом в том же мире.

— И, — добавил Франклин, — в основе его жизни прячется тайна, которая может развлечь твоих читателей, если ты сумеешь ее разгадать.

Я встрепенулся.

— Откуда взялась компания «Госпорт Торпедо»?

— То есть как?

— Торпеды — сложные штуковины. Рейвенсклифф был финансистом, а не инженером. И вдруг он выпрыгивает из ниоткуда с торпедой, полностью готовой к использованию. Откуда она взялась?

— Ты мне скажешь?

— Я понятия не имею, как, видимо, и твой человек в «Сейде». Это очень хитрый документ. Длиннейшие подробные изложения известного, а его почти нет, и искусное затушевывание того, что неизвестно, а этого очень много. И только когда это до тебя доходит, понимаешь, что документ этот — признание в полной неосведомленности.

Такова суть моей долгой беседы с мистером Франклином, который, спасибо ему, изложил свои сведения почти удобопонятно. И лучше того: он несомненно извлекал из нее большое удовольствие, а в заключение сказал, что если у меня возникнут еще вопросы, чтобы я не стеснялся их задать.

Да уж не постесняюсь. Теперь я получил некоторое представление о том, как мало я знаю. Единственным я не был, но ни перед кем, кроме меня, не стояла задача разведать что-то. Образ жизни Рейвенсклиффа был запутанным и затушеванным, почти нарочно. Он успешно укрыл от мира колоссальность своего богатства в такой мере, что практически не фигурировал в общественном сознании.

Кроме того, мне пришла в голову мысль, что, раз он сумел осуществить это, как легко ему было спрятать ребенка, чтобы никто не мог его отыскать.

Глава 9

Я, собственно, не был уверен, с какой стати, учитывая порученное мне, я занялся тем, чтобы разобраться в бизнесе Рейвенсклиффа. Я прикидывал, что следовало узнать, с какого рода человеком я имею дело, но пока узнал очень мало. Про его характер упоминала лишь его жена, а я пришел к выводу, что полагаться на ее слова нельзя. Но должен же он был иметь каких-нибудь друзей? Кого-то, кто бы знал и понимал его. Пусть деятельность «Инвестиционного траста Риальто» никак не способствовала раскрытию его страстей и чувств, но она могла навести на кого-то, кто его знал. Так, во всяком случае, я надеялся.

На следующий день я перекусил с приятелем, маклером на бирже, не слишком видной фигурой в свете, однако не выходящим с Биржи, а хлеб с сыром маклера зависит от перехватывания малейших слухков. Состояния приобретаются, компании богатеют или разоряются, если успеть самым первым подслушать бормотание в пабе, или в клубе, или в забегаловке. Фирма, нанимавшая Лейтона, насколько мне было известно, умеренно преуспевала и, следовательно, в подслушиваниях тоже не отставала.

Нельзя сказать, что Лейтон выглядел человеком, который проводит свое время в полутемных помещениях, слушая разговоры. Если был кто-нибудь еще, настолько внешне не соответствующий жизни, которую он вел, мне он ни разу не повстречался. Лейтон выглядел рожденным управлять империей или по меньшей мере исследовать ее. Было бы более естественно повстречать его в паре миль от истока Нила, чем на Бирже.

Массивное телосложение — в прошлом высокоценимый игрок в команде регбистов. Он обладал гулким басом и был неспособен его понижать. В результате все, что он говорил, неизбежно разносилось далеко окрест. Он обладал колоссальной энергией и однажды заключил пари, что уйдет с Биржи в шесть вечера, прошагает всю дорогу до Брайтона и назад и будет на своем посту (иностранные железные дороги) на следующее утро в девять часов. Девяносто миль за пятнадцать часов. Естественно, желающих принять вызов нашлось много; сумма достигла нескольких тысяч фунтов — роль букмекера взяла на себя фирма Лейтона «Андерсон». Чуть ли не все Сити собралось посмотреть, как он отправится в путь, и многочисленные добровольцы катили на велосипедах рядом с ним, дабы пресечь какое-либо жульничество. Даже многие из этих сопровождающих сдались из-за переутомления или голода, а Лейтон шел и шел —

широкоплечий, покрасневшийся, обливавшийся потом, пока наступивший вечер не охладил его, — ни на секунду не останавливаясь, и даже поужинал на ходу: две бутылки бургундского, три фазана и четыре дюжины устриц. Служащий его фирмы ехал рядом на автомобиле со съестными припасами и подавал ему требуемое.

Его возвращение на следующее утро уподобилось римскому триумфу. Всякая деятельность замерла из-за всеобщего возбуждения; финансы Империи пребывали в небрежении, пока торжество не завершилось. Даже служащие Ротшильда вышли из своего великолепного дворца в Нью-Корте, чтобы посозерцать финал, — вольность, неслыханная ни до, ни после.

Он поднялся по ступеням Биржи, имея в запасе пятнадцать минут, и был отнесен на плечах коллег на свое место, а вокруг рвались петарды, стреляли бутылки шампанского и летали булочки. Он стал легендой, обеспеченной пожизненной работой, ведь кто бы посмел отказаться от услуг такого редкостного молодца?

Вот как делаются карьеры и создаются репутации в Лондонском Сити.

Таков был Лейтон, и я мог не сомневаться, что все, мной ему сказанное, разнесется по Бирже за пять минут после завершения нашего разговора. Мне следовало быть сугубо осмотрительным в том, что и как я буду говорить. Поэтому я сказал без обиняков, что мне поручено написать биографию и я в полной растерянности.

— Горюющая жена хочет увековечить память супруга, э? — прогремел он весело. — Почему бы и нет? Деньгами она располагает или скоро будет располагать в достатке. Однако не могу сказать, что куплю такую книгу.

— Почему же?

— Ни разу не слышал про него ничего интересного. Он появился, он нажил деньги, он умер. Вот я и написал ее за тебя.

— По-моему, леди Рейвенскилфф хочет чего-то поподробнее. Ты когда-нибудь встречался с ним?

— Один раз, но не разговаривал. Не слишком общительный человек, ты понимаешь. Однако даже ему приходилось посещать рауты и балы. Очень красивая жена, должен сказать. Очаровательная женщина.

— Ты что-нибудь о ней знаешь?

— Венгерская графиня, по-моему. А кто что-либо знает о венгерских графинях? Полагаю, за душой ничего, кроме имени, но имя весомое. Замок где-то в Трансильванских горах?

— А они разве в Венгрии?

— Кто знает? И кого это заботит? Однако картина складывается.

— Ну, а Рейвенскилфф?

Он пожевал губами.

— Безупречно учтив, но притом несколько пугающ. Всегда такое выражение, будто он предпочел бы не быть тут. Редко где-либо показывался и чаще уходил при первой возможности. Его жена не очень жаловала общество Сити, насколько я понимаю.

— Значит, не слишком видная фигура?

— О Господи, как раз да. Он был крайне влиятелен. Вот почему, когда он умер, вспыхнула такая паника.

— А была паника? Я ничего не заметил.

— Естественно. Ты же на подобное внимания не обращаешь. Но она была. Это же очевидно.

— Почему очевидно?

— Да ведь первое, что приходит в голову, когда такой человек падает из окна, а не прыгнул ли он? Тебя охватывает тревога, что все его инвестиции прогорели. Ну, и люди кидаются сбывать свои акции. На всякий случай.

— «Инвестиционный траст Риальто», — сказал я с гордостью.

Лейтон кивнул.

— И его инвестиции. Что, если он покончил с собой из-за того, что «Риальто» весь в долгах? Такое случалось и будет случаться. А потому, едва слухи поползли...

— Люди начали продавать.

— Снова в точку. Но вот что странно. Акции не слишком упали в цене. Покупатели появились даже прежде слухов, забирали каждую предложенную акцию и поддерживали их цену. Мы здорово потрудились для «Консолидированного банка» в Манчестере. Хотя не знаю, для кого они покупали.

— И?

— Если ты выставляешь что-нибудь на продажу, но никто этого не берет, ты начинаешь снижать цену, пока не найдешь покупателя, верно? Никто не станет покупать акции компании, которая, возможно, разорена, так что котировочная цена пойдет прахом. Если же, с другой стороны, имеется покупатель, цена стабилизируется. Никакой паники. Владельцы акций успокаиваются и перестают выбрасывать их на рынок. Понимаешь?

Я кивнул.

— Что до «Риальто», цена, конечно, была очень низкой.

— Почему «конечно»?

— Как и у всех компаний, производящих вооружение, — сказал он

задумчиво. — Правительство не покупает. Переживает трудные времена. Как бы то ни было, суть в том, что внезапно Биржу заполнили толпы покупателей. Акции взлетели, только вообрази. Вопрос в том, кто покупал. Кто-то знающий что-то — но вот что? Провалиться мне, не понимаю. А позднее на рынок вышел «Кейзеноув», представляя «Барингса». И странность в том, что «Барингс» покупает на собственный счет.

— Что это значит?

— Покупает для себя, не для клиента. Так мне сказали. Суть в том, что они не пытались делать деньги. Они покупали по полной цене. А кто когда-нибудь слышал про банк, не пытающийся делать деньги? Разве что они оказывали услугу кому-то.

— А когда точно это происходило?

— Когда умер Рейвенсклифф.

— Нет, я имею в виду точную дату. День, когда он умер, или день, когда известие об этом появилось в газетах?

— В газетах ничего не было. Только два дня спустя.

— Что произошло бы, если бы известие появилось сразу же? Через несколько часов после его смерти?

— Усиленная продажа, предположительно без вмешательства подготовленных покупателей. Обрушение цены акций. «Траст», возможно, был бы вынужден продавать имеющиеся у него акции других компаний, что привело бы к общему обрушению рынка.

— А это плохо?

Лейтон вздохнул:

— Да уж.

Я обдумал услышанное. В какой-то мере объяснение задержки оповещения о смерти Рейвенсклиффа. Во всяком случае, одно из возможных объяснений. Соккрытие произошедшего означало, что у друзей Рейвенсклиффа было время подготовиться. Очень хорошо.

— Ты когда-нибудь слышал про человека по имени Генри Корт?

Лейтон секунду хмурился в недоумении, потом покачал головой.

— Кто-то в Сити?

— Не знаю. Просто слышал эту фамилию. Не важно.

Я расстался с ним, когда он заказывал еще пива и пирог со свиной, и отправился поразмыслить. Я накапливал информацию, но пока она мало что давала. Рейвенсклифф умирает, некие люди, обладающие достаточной властью, задерживают разглашение известия об этом: маклеры принимают меры, чтобы оборвать натиск на компанию Рейвенсклиффа; к чему, возможно, причастно министерство иностранных дел, Форин оффис.

Последнее в накопленной информации было наиболее любопытным. Во всяком случае, только так я сумел расшифровать Ф. О. Все прочее было именно тем (полагал я), чего следует ожидать от Сити.

Спал я в эту ночь не так крепко, как всегда; я осознавал, что продвигаюсь любительски, наугад, толком не понимая, что я, собственно, делаю. Я злился на себя: хоть занимался я этим лишь несколько дней, мне следовало быть организованнее, чувствовал я. Более деловым в честь предмета моих розысков. Перед тем как наконец уснуть, я принял решение начать все с начала и более подробно расспросить леди Рейвенскифф. Она ведь должна была знать его лучше, чем кто-либо еще.

Я сознавал, что пытаюсь заниматься совсем разными вещами одновременно. Официально я писал биографию финансиста; неофициально мне было поручено разыскивать неведомого ребенка, а кроме того, еще более неофициально — расследовать смерть Рейвенскиффа, чтобы выяснить, как она повлияет на судьбу «Кроникл». А это требовало постоянно держать в уме, чем я конкретно занимаюсь в каждый данный момент.

Утром я послал записку леди Рейвенскифф с просьбой о встрече, а другую — мистеру Ксантосу с такой же просьбой, после чего отправился посетить семейного поверенного.

Мне следовало бы догадаться, что Рейвенскифф не стал бы пользоваться услугами солиситера диккенсовского толка, а они в те дни были не такой уж редкостью. Старый клерк, письменные столы коричневого дерева, стаканчики хереса или портвейна и успокоительная беседа в окружении множества тщательно рассортированных папок и архивных картонок. Нет, Рейвенскифф ценил динамизм, продуктивность, и его солиситер соответствовал его вкусам. Мистер Гендерсон был молод для своих обязанностей — лет тридцати пяти, и, на мой взгляд, излишне самоуверен и самодоволен. Из тех, кто отлично учился в школе, никогда не нарушал никаких правил и был любимчиком учителей. Из тех, кто намеревался преуспеть в жизни и кто в результате никогда не спрашивал себя, а стоит ли оно того. Мне он не очень понравился, а он держался со мной без особого уважения. Графина с хересом мое присутствие не потревожило.

Тем не менее я был представителем самой ценной его клиентки и занимался тем, чего сам он сделать не мог. Он оформлял трасты и служил посредником. Розыски незаконнорожденных детей были абсолютно вне сферы его деятельности. В процессе нашего разговора я улавливал намеки на неподобающее любопытство, словно внезапно чуть-чуть зашевелился

какой-то давно погруженный в спячку бесенок, погребенный глубоко в недрах его упорядоченной жизни. Быть может, на самом-то деле он хотел обстреливать учителей чернильными пулями, но так никогда и не осмелился.

— Вы знаете, что из соображений секретности я якобы пишу его биографию?

Он кивнул.

— И вы, конечно, понимаете истинную причину, почему я здесь.

Он снова кивнул.

— В таком случае я могу обойтись без экивоков. Что вам известно об этом деле?

Он вздохнул, как человек, предпочитающий вопросы, которые позволяют ответить «да» или «нет».

— Сверх завещания практически ничего. Что существовал ребенок, что ему оставлены деньги и что данные об этом ребенке он хранил у себя дома.

— Но там их найти не удалось.

— Видимо, так. Что очень затрудняет жизнь душеприказчиков.

— Почему?

— Потому что завещанным имуществом нельзя распорядиться, пока не будут учтены все права на доли в нем. А это невозможно, пока не разрешится вопрос с этим ребенком. Наследство будет находиться в подвешенном состоянии, пока этот вопрос не разрешится так или иначе.

— Вам известна суть этих данных? Не разумнее было бы оставить эти документы на хранение вам?

— Как оказалось, это было бы несравненно разумнее, — сказал он ровным голосом. — Могу лишь предположить, что у лорда Рейвенсклиффа была веская причина для такого решения.

— Какого рода веская причина?

— Наиболее очевидным представляется, что в момент составления завещания он еще не закончил собирать эти данные и предполагал пополнить их.

— Скажите, как писалось завещание? Он приехал сюда?

— Он приехал сюда и сказал, что, по его мнению, завещание лучше составить теперь же. Он осознал, что не будет жить вечно, хотя, сказать правду, поверить этому было трудно. Он отличался завидным здоровьем, во всяком случае, так он выглядел. Его отец дожил до девяноста лет.

— Раньше он завещаний не составлял? Обычно ли это для очень богатых людей?

— Крайне необычно, да. Но люди вроде лорда Рейвенсклиффа не любят

напоминаний о своей смертности. Он обеспечил нас самым простым изъяснением своей воли в предвосхищении несчастного случая. Все имущество переходило его жене. А это было более полным и сложным вариантом.

— Детали?

— Значительнейшая часть его состояния отходила его жене. Предусматривались также суммы другим членам его семьи, слугам, его колледжу. Щедрые суммы, могу я добавить. Сумма некой миссис Винкотти, проживающей в Венеции. Несколько месяцев спустя он вернулся добавить дополнительное распоряжение о ребенке.

— А когда он заговорил об этом, вы не спросили о подробностях?

— Это в мою роль не входит.

— Он что-нибудь объяснил?

— Нет. Просто продиктовал свою волю.

— И у вас не возникло любопытства?

Вопрос этот Гендерсона как будто слегка задел.

— В большинстве мои клиенты весьма состоятельные люди, и в жизни многих найдутся компрометирующие секреты. Моя обязанность — заботиться об их юридических правах, а не опекать их духовно.

— Так что осведомлены вы не больше, чем все?

Он наклонил голову, подтверждая, что это так, каким невероятным ни казалось бы.

— И он ничего не сказал о сведениях, обеспечивающих опознание ребенка?

— Нет.

— Каково ваше мнение, если вам дозволено его иметь?

Это его даже не рассердило.

— Да, разумеется, свое мнение я иметь могу, — ответил он. — Полагаю, найти это, чем бы оно ни было, должны были в его письменном столе. И что некто забрал это вскоре после его неожиданной и непредвиденной смерти. Но более я ничего не скажу.

Этого, разумеется, и не требовалось.

— А другие статьи завещания?

— О них мне тоже ничего не известно. Хотя, естественно, после смерти лорда Рейвенсклиффа я списался с Майклом Кардано, его душеприказчиком.

— Кто он?

— Прежде работал у Ротшильда, если не ошибаюсь. Больше я о нем ничего не знаю.

— И он способен управлять компанией?

— Не знаю. Но он и не должен. Обязанности душеприказчика совсем иные. Он сын давнего знакомого лорда Рейвенсклиффа. Отец разорился в тысяча восемьсот девяносто четвертом году и умер в тюрьме.

— Так-так. Расскажите про итальянку.

— Мы послали миссис Винкотти телеграмму. Она приедет в Лондон в среду. Во всяком случае, надеюсь, что приедет.

— Почему? Это так важно?

— Бог мой, конечно! Тем более когда речь идет о такой сумме, как эта. Естественно, мы должны удостовериться, что она именно та женщина, которую подразумевал лорд Рейвенсклифф. Иначе мы не сможем выплатить ей ее долю. Это породит новые осложнения, и нам придется разыскивать не одно лицо, а двух.

— Как так?

— Его дела нельзя привести в порядок, пока все наследники не будут оповещены, чтобы мы могли быть уверены, что капитала достанет на долю, причитающуюся каждому. Например, предположим, что некий человек, умирая, завещал сто фунтов одному лицу и такую же сумму другому. Однако наследство оценивается всего в сто двадцать фунтов. Что нам делать? Совершенно очевидно, что, если один из них к этому моменту умер, то второй сможет получить свою сумму полностью. Если же живы оба, то нет. Вот тогда дело осложняется...

— Так что этот ребенок...

— Должен быть найден, чтобы ситуация с наследством разрешилась быстро. Лорд Рейвенсклифф оставил своей супруге точно обозначенную долю, а также пожизненные проценты с остальной части наследства, которые после ее смерти перейдут разным другим лицам. Следовательно, выплата или невыплата доли ребенка влияет на все остальные завещанные суммы.

— Так каково финансовое положение в настоящий момент?

— Оно зависит от доброй воли душеприказчика и его готовности выделить ей содержание из всей совокупности наследства, которую он, по сути, контролирует.

— Лорд Рейвенсклифф сознавал это?

— Боюсь, я не понял.

— Я вот о чем. Почему лорд Рейвенсклифф составил завещание таким образом, что его жена могла оказаться в подобном положении? Вы ему это объяснили?

— Я осветил ему все возможные последствия.

— И это его не остановило? Какие выводы вы сделали из этого?

— Что он счел это наилучшим способом для улаживания своих дел.

— Нет, я имею в виду, почему он...

— Я понимаю. Но, излагая свои желания, лорд Рейвенсклифф не объяснял мне их причины.

— А вы не пытались их отгадать?

— Очевидный вывод: он считал, что никаких неясностей не останется.

— И вы думаете, миссис Винкотти может быть матерью этого ребенка?

— Этого я сказать не могу.

— Лорд Рейвенсклифф, когда был жив, платил ли кому-либо регулярно? Не служащим и прочим само собой разумеющимся, но людям, никак прямо не связанным с его бизнесом?

Гендерсон прикинул.

— Не через меня. Конечно, он мог устроить это иначе.

— Так-так. Ну, а «Инвестиционный траст Риальто»? Каково его положение сейчас? А также других компаний лорда Рейвенсклиффа?

— Как, возможно, вам известно, Рейвенсклифф через «Риальто» контролировал большое число компаний. А его долей в «Риальто» пока распоряжается его душеприказчик.

— Майкл Кардано.

— Совершенно верно.

— Так что же произойдет? Если наследство зависнет?

— Изю дня в день компаниями руководят опытные управляющие, и вмешательство извне не требуется. Но полагаю, другие акционеры сплотятся, чтобы защищать свои интересы. В частности, они могут вынести постановление о проведении проверки ради своего спокойствия и убедятся, что все в порядке. Смерть его милости...

— ...порождает вопросы. Естественно. Есть ли какие-либо намеки?

— Я семейный поверенный, мистер Брэдок. Расспрашивать вам придется других. Однако мой ограниченный опыт в подобных делах подсказывает, что будет неудивительно, если акционеры поступят именно так.

— Понимаю. Но ничего неуместного они не найдут, верно? То есть не предполагается...

— «Ищите и обрящите», — сказал он с легким проблеском улыбки. — Любой индивид, с каким мне приходилось иметь дело, был обременен секретами. Сомневаюсь, что найдется компания без них. Но ничего конкретного я не знаю, если вы об этом.

— Еще один вопрос. Все деловые предприятия находятся в своего рода

лимбо, это так?

— Да.

— Включая «Кроникл»?

— Разумеется. Душеприказчик решит, отойдет ли она леди Рейвенсклифф или ее надо будет продать ради наличности для выплаты завещанных сумм. Естественно, это не прояснится, пока мы не установим, сколько придется сделать таких выплат.

Макюэн не обрадуется, услышав это, подумал я.

— Позвольте, я уточню. Лорд Рейвенсклифф составил завещание примерно полтора года назад, и никакой ребенок в нем не упоминался. Приписка эта была добавлена шесть месяцев спустя. Так?

Гендерсон кивнул.

— Почему? Он должен был знать о существовании этого ребенка. Так почему не упомянуть его, когда завещание составлялось?

— Не знаю.

На этом мистер Гендерсон был исчерпан. С жалкими добытыми у него проблесками я отправился перекусить. Мне требовались пиво и мясной пирог перед новым посещением леди Рейвенсклифф.

Глава 10

Когда на Сент-Джеймс-сквер меня провели в маленькую гостиную, мной овладели дурные предчувствия. Совсем другая комната, более уютная и интимная, чем великолепный салон, где мы сидели в прошлый раз. В камине горел огонь, насыщая воздух приятным теплом и ароматом яблоневых поленьев. Каминную полку заполняли всякие безделушки — зеркала, вышивки в рамках, бронзовые статуэтки. Красивая голубая фарфоровая чаша. Стены прятались за книжными полками. Видимо, Рейвенскифф был ненасытным читателем, притом всеядным. Книги эти предназначались для того, чтобы их читали. И их читали. Романы на французском, английском, немецком и итальянском. Труды по истории и философии. Медицинские журналы, записки путешественников. Классики — в переводах и на языке оригинала. Словари и справочники. Многие английские заголовки были мне знакомы, о других я слышал. Золя, Толстой, Дарвин, Милль, Маркс, заметил я с любопытством. Познай своего врага. Книги по психологии и социологии. Даже несколько по криминалистике. Внушительный ассортимент. Счастливец — человек с достаточным досугом и энергией, чтобы прочесть их все. Рейвенскифф, разумеется, досугом не располагал. Любопытно! Я чуть-чуть устыдился того времени, которое проводил в пабах.

А на стене две картины. Небольшие. Портрет леди Рейвенскифф, написанный, прикинул я, лет двадцать назад. Я уловил обаяние. Она принадлежала к тем, кого художники должны любить. Левое плечо обращено прямо на смотрящего, голова повернута за пределы холста. Золотисто-алое платье оттеняло ее длинную изящную шею. Никаких украшений, она в них не нуждалась. Достаточно было ее лица и волос. Она была и все еще оставалась обворожительной женщиной.

— Эннёр, — раздался тихий голос позади меня.

Я обернулся. В дверях стояла леди Рейвенскифф с легкой улыбкой на губах.

— Простите?

— Жан-Жак Эннёр. Он умер несколько лет назад, и, полагаю, его слава сошла на нет, но он был одним из лучших портретистов своего поколения. Это я в тысяча восемьсот девяностом, до того, как стала старой и морщинистой.

— Вот уж нет, — пробурчал я. Настроение рассыпаться в

комплиментах у меня не было. Собственно, за мной этого вообще не водилось, и тут я был полнейший профан.

— А это Джон. — Она кивнула на портрет, запрятанный в углу. — Он и слышать не желал ни о каких портретах и уступил потому лишь, что я потребовала такой подарок на мой день рождения. Он продолжал ворчать и согласился только на этот, почти миниатюру. Такой крохотный, что его почти невозможно разглядеть.

Я всмотрелся. Таким, значит, был лорд Рейвенсклифф. Я напряженно щурился, но никаких подсказок не извлек. Ничего примечательного. Ничего похожего на надменность или гордость; ни тени жестокости или доброты. Просто лицо. Лицо весьма преуспевшего джентльмена, невозмутимо глядящего перед собой, лишь с легчайшим намеком на сожаление из-за необходимости попусту тратить время, чтобы умиротворить требовательную жену. Он выглядел почти симпатичным.

— Могу ли я сказать, как меня удивляет, что он находил время так много читать? — сказал я, указывая на полки. — Я полагал, что бизнесмены целиком посвящают себя бизнесу.

— Он любил читать, — сказала она, улыбнувшись моему недоумению. — Но это моя комната. Комната Джона наверху. Он предпочитал менее бархатную обстановку. Избыток комфортабельности мешал ему, когда он работал.

— А!

— Вот-вот. Я умею читать.

— Я не имел в виду...

— Нет, имели, — сказала она весело.

Я покраснел.

— Ничего. В этой стране совершенно естественно, что женщины моего положения считают чтение книг вульгарностью. Однако не забывайте, что прежде я жила во Франции, где это не считается нарушением хорошего тона. Но я любила читать всю свою жизнь. Мы поговорим об этом побольше как-нибудь в другой раз. Я всегда думала, насколько важно знать, что читает мужчина. Скажите, что вы думаете об этом?

Она взяла голубую чашу и протянула ее мне небрежным движением. Что я мог сказать?

Голубая чаша. С узорами. Голубыми же. Я пожал плечами. Она поставила чашу на место.

— Ну? — сказал я в меру холодно. — Вы хотели поквитаться, обличив мое невежество, и преуспели. Почему бы не просветить меня?

— Всего лишь пустяк, — ответила она. — И вы правы: это было

оскорбительным. Прошу прощения. Не начать ли нам с начала?

— Хорошо.

— Ну, так скажите, вы как-нибудь продвинулись после нашей последней встречи?

— Немножко. Поговорил кое с кем, почитал о прошлом. Но, должен сказать, у меня возникли вопросы, и они требуют ответа, прежде чем я смогу продолжать.

Я был недоволен. Наша встреча началась скверно.

— Боже мой, — сказала она с улыбкой. — Звучит и правда очень серьезно.

— Так и есть.

— Продолжайте же, — подтолкнула она, когда я умолк.

Никогда прежде ничего подобного от меня не требовалось, и я не знал, как сформулировать мои вопросы. Прикидывать, что следует сказать, и сказать это теперь, когда она сидит напротив меня, — большая разница!

— Мистер Брэдок, вы что-нибудь скажете или будете смотреть на меня весь день?

— Трудно определить, с чего начать.

— Может быть, сначала?

— Не подтрунивайте надо мной. Мне необходимо знать, честны ли вы со мной. А все указывает на обратное.

— И что я сказала или сделала? — спросила она с заметной холодностью. — Чем натолкнула вас на такую мысль?

— Будь я по-прежнему репортером, я ухватился бы за очевидный вывод, — сказал я, подбодрившись, раз начав. — Ваш муж умирает, и вы тотчас бросаетесь к его письменному столу, забираете сведения о личности этого ребенка, затем прячете или уничтожаете их. Затем вы приглашаете меня искать то, что, как вам известно, найти невозможно, лишь бы выглядеть послушной долгу вдовой, выполняющей волю покойного. И со временем доля, назначенная этому ребенку, перейдет вам.

Она смерила меня невозмутимым взглядом.

— В таком случае вы плохой репортер. Хороший, с чутьем на сенсации, кроме того взвесил бы возможность, что я тем или иным способом узнала бы про приписку к его завещанию и настолько поддаюсь ревности, что сделала то, о чем говорите вы, но, кроме того, вытолкнула моего мужа из окна.

Была она рассержена или расстроена? Она стиснула зубы, что могло означать и то и другое, но ее самоконтроль оставался незыблемым и не позволял проникнуть глубже.

— Я взвешивал эту возможность, — ответил я.

— Ах так! И вы пришли сказать мне, что не желаете дольше оставаться на службе у меня? И ищете способ, как прикарманить деньги, хотя платит их убийца?

Говоря это, она сохраняла полное спокойствие, из чего я заключил, что она в бешенстве, таком бешенстве, которое, понял я, не оставляет мне выбора.

— Я пытаюсь установить, что произошло. В чем суть работы, которую вы мне поручили. Хотя бы часть ее. Должен сказать, что на самом деле убийцей я вас не считаю. Однако мне нужно разобраться в обстоятельствах. Вы просите меня найти ребенка. Задача легко выполнимая, найдись сведения о нем там, где указал ваш муж. Кто-то их изъял. Знай я кто, это было бы немалой помощью.

— Ну и? Спрашивайте.

Она меня не простила и не до конца приняла прежнюю позу спокойствия, но я видел, что мои слова ее чуточку умиротворили.

— Их изъяли вы?

— Нет. Вы мне верите?

— А кто?

— Не знаю.

— Но кто мог бы?

— И этого я не знаю. Вернее, я могла бы дать вам список тех, кто бывал в доме, такой длины, что вы были бы заняты месяцы и месяцы. Полагаю, документы находились в большом ящике с сейфом. Ящик был заперт. Ключ был только у мужа.

— Извините, но не мог бы я осмотреть этот стол?

— Пожалуйста.

Она встала и пошла к двери. Она не принадлежала к тем женщинам, чья одежда нуждается в одергивании, сколько бы времени она ни просидела. Ее платье само оказалось там, где следовало. От дорогого кутюрье, подумал я. Или она просто такая? Моя одежда выглядела мятой даже едва из прачечной.

— Не был ли ваш муж встревожен или чем-то поглощен последние несколько недель или месяцев? — спросил я, пока мы поднимались по лестнице. Я шел рядом с ней приличия ради. Поскольку ее вид сзади вызывал чувство слишком близкое к соблазну, чтобы сочетаться с вежливостью.

— Пожалуй. Он изменился, некоторое время незадолго до смерти был более отчужденным. А последние несколько дней он был совершенно

поглощен чем-то.

— В каком смысле?

— Я замечала что-то в его глазах. Тревогу. Думаю, это было предчувствие.

— Смерти?

— Да. Человеческое сознание — странная и загадочная вещь, мистер Брэддок. Иногда оно способно провидеть будущее, не подозревая того.

— Вы спрашивали, что его заботило? — задал я вопрос, уводя разговор от последней темы настолько поспешно, насколько допускало приличие.

— Конечно. Но он просто сказал, что мне не из-за чего беспокоиться. Что все будет хорошо. И я ему поверила.

— Но у вас нет предположения...

— Никакого. Полагаю, это было как-то связано с его деловыми операциями, так как никакого другого возможного объяснения я не нахожу. Хотя видела я его меньше обычного.

— Почему?

— Он работал. Отсутствовал допоздна. Обычно возвращался он под вечер и редко уходил из дома потом. Ужинать он предпочитал дома. Потом мы вместе читали. Иногда он читал свои бумаги, сидя у камина, а я сидела рядом с ним. Последние несколько недель он вновь уходил, иногда возвращаясь глубокой ночью.

— Вам знаком человек по фамилии Корт? Генри Корт?

Она не среагировала. Ни радостно, ни как либо еще.

— Я знакома с мистером Кортом более двадцати лет, — ответила она ровным голосом. — Джон также был давно с ним знаком.

— Кто он?

— Он... Не знаю, как определить его точно. Прежде он был журналистом, хотя, насколько я поняла, давно оставил это занятие. Он был корреспондентом «Таймс» в Париже, где я с ним и познакомилась.

— Значит, у вашего мужа он не служил?

— О нет. У него есть независимое состояние. Почему вы спрашиваете?

— Фамилия, которая промелькнула, — ответил я. По-прежнему оставалось неясным, что означает Ф. О. Какой-нибудь религиозный орден? — Ваш муж был католиком?

Она улыбнулась.

— Его мать была католичкой. Но он рос в лоне англиканской церкви. Его отец был приходским священником. Хотя Джон не отличался набожностью.

— Понимаю, — ответил я.

— Ну вот, — сказала она, открывая дверь на третьем этаже. — Это был его кабинет. И отсюда он упал.

Комната была футов восемнадцать на восемнадцать, примерно тех же размеров, что и гостиная, которую мы покинули минуту назад, и предположительно прямо над ней. Простая, мужская в отличие от той, где всюду чувствовалось прикосновение женской руки. В этой комнате доминировал коричневый цвет. Деревянные панели мореного дуба, гардины из тяжелого бархата. В воздухе висел запах табака. Одну стену занимали массивные картотечные шкафы. Ни единой картины, только несколько фотографий в тяжелых серебряных рамках. Родные? Друзья?

— Вся его семья, — сказала она. — Его родители, сестры, их дети. Он любил их всех, но после смерти его матери они редко виделись. Она была замечательной женщиной, хотя и достаточно необычной. Иностранка, как и я. Большую часть своей неумной энергии он унаследовал от нее, а доброту от отца. Все они живут в Шропшире и редко приезжают в Лондон.

— Был ли кто-либо из них настолько близок с ним, чтобы знать о связи на стороне?

— Я написала им, но они ответили, что ничего не знают. Пожалуйста, расспросите их снова, если сочтете нужным, — был ее ответ. — А теперь вот его стол, и я предполагала, что найду документы в этом ящике.

Я увидел, что левая опора стола представляет собой один ящик, и когда он был выдвинут, верх его оказался металлическим. Он явно был необычайно тяжелым, но легко выдвинулся, катясь на скрытых внизу колесиках, свободно выдерживавших его вес.

— Стол сделан по его указаниям, — объяснила она. — Развлечение в его вкусе.

— Мастер на все руки?

Она засмеялась, вспоминая с нежностью.

— Нет. Ничуть. Меньше всего из всех, с кем мне приходилось встречаться. Не помню, чтобы он хоть раз делал что-то своими руками, если не ел, не писал и не раскуривал сигару. Я подразумевала, что ему нравилось решать подобные задачи на свой вкус. Но претворение своих идей в реальность он поручал другим.

Я потянул крышку сейфа; он легко открылся. Внутри лежали пачки бумаг.

— Просмотрите их, если хотите, — сказала она, — но вы убедитесь, что это купчая на наш дом, страховые полисы и прочие документы, касающиеся наших домашних дел. Я тщательно их просмотрела, но проверьте и вы, если хотите.

— Может быть, позднее. Ящик был заперт или открыт, когда вы осматривали его в первый раз?

— Заперт. Ключ был у Джона в кармане. В морге.

— Есть еще ключ?

— Не знаю.

Я встал и несколько минут разглядывал ящик, сунув руки в карманы и размышляя. Пустая трата времени; ни намека на вспышку ослепительного наития, отгадки, которая покончила бы с тайной и облегчила бы жизнь всем. Я даже взвешивал всякие дурацкие возможности и отогнул ковер, проверяя, не спрятан ли под ним документ. Леди Рейвенсклифф невозмутимо наблюдала за мной.

— Я все тщательно обыскала, — заметила она.

Я внимательно взгляделся в нее.

— Знаю, — сказал я и впервые ей поверил.

Такой вывод любителя детективных историй не удовлетворил бы. Спросите меня, почему я решил, что она говорит мне правду, и я не смогу назвать сколько-нибудь убедительной причины. Ничто не изменилось с того момента, когда я мерил шагами улицы и наиболее вероятным счел прямо противоположное заключение. Попросту я так сильно хотел поверить ей, что мое желание преобразилось в реальность. Инстинктивное гадание на кофейной гуще, собственная заинтересованность — называйте как хотите. С этой минуты и дальше я действовал исходя из предположения, что моя нанимательница — честная, ни в чем не повинная женщина.

Однако она была не так уж благодарна мне за доверие и словно бы вообще его не заметила. Только указала на окно.

— Вот откуда он упал, — сказала она негромко.

Я подошел к высокому окну с подъемной рамой напротив стола. Огромное, футов десять в высоту, как обычно в подобных зданиях, оно почти достигало пола. Низ рамы был менее чем в футе над полом, а верх всего лишь в паре футов от потолка. Раму запирали две начищенные медные задвижки.

Я попробовал открыть его, но рама поддавалась туго, и поднять ее стоило немалых усилий и порядочного шума. Окно находилось высоко над землей, и, выглянув наружу, я увидел прямо внизу чугунную решетку из толстых заостренных прутьев.

— Какого роста был ваш муж?

— На пару дюймов ниже вас, — ответила она.

— И не атлетического сложения, насколько я понял.

— Нет. Отнюдь. Толстым он не был, хотя избегал физического напряжения. Незадолго до смерти он подумывал пристроить к дому сзади один из этих эскалаторов, чтобы избежать необходимости подниматься и спускаться по лестнице.

Я улыбнулся:

— Отличная мысль. Но я просто недоумевал, как он мог выпасть из этого окна. Если он споткнулся о ковер тут и наклонился, пытаясь удержаться на ногах (я изобразил это движение для наглядности), то должен был удариться головой о низ рамы. Бесспорно, самый неуклюжий человек успел бы ухватиться за край оконного проема.

Она теперь сидела в маленьком плюшевом кресле у камина, сжав руки на коленях.

— Не знаю, — ответила она печально. — Последнее время я редко поднималась сюда. А в тот вечер меня вообще не было дома, и вернулась я очень поздно. Меня встретили полицейские. Они сообщили мне о случившемся, и я сразу отправилась в больницу. Он уже умер. И сюда я поднялась только на следующий день.

— Окно было открыто?

— Нет. Кто-то из слуг объяснил, что закрыл его. Шел дождь, струи захлестывали внутрь. И он прибрал комнату, как делал каждое утро.

— В ней был необычный беспорядок?

— В зависимости от того, что вы подразумеваете под «необычным». Когда Джон дочитывал книгу, газету или вообще что-то, он просто бросал их на пол. Очень сомневаюсь, что он заметил бы, если бы комнату вообще не убрали. В этом доме он жил в угоду мне и так как считал, что человеку его положения следует жить именно в таком доме. Хотя, разумеется, это не так; придавай мы этому значение, то купили бы что-нибудь куда больше. Но он действительно не любил показной роскоши. У нас есть еще дом в Париже, купленный исключительно ради меня. Его абсолютно не привлекал дорогостоящий образ жизни, хотя он любил хорошую еду и вино. И еще море. Он всегда хотел жить возле моря, но это так и не сбылось. Мы планировали купить дом где-нибудь на побережье. Беда была в том, что мы спорили, где именно. Я хотела Биарриц, он — Дорсетшир. Как ни странно, он был очень простым человеком. Он бы вам понравился, дай вы ему такую возможность.

Последние слова были произнесены так тихо, что я еле их уловил.

— Вы полагаете, я ее не дал бы?

— Я полагаю, что, по вашему мнению, все бизнесмены жестоки и алчны по самой своей природе. Без сомнения, есть и такие, но, как

подсказывает мне опыт, в целом они не лучше и не хуже, чем люди всех остальных сословий.

— Сколько человек было в доме в тот момент?

— Не больше двенадцати. Мой муж и слуги.

— И все, кроме вашего мужа, спали?

— Полагаю, что так. Хотя не сомневаюсь, что некоторые слуги позволяют себе вольности, когда за ними не следят. Но пока они хорошо выполняют свою работу, я подобным не интересуюсь.

Еще одно высказывание, заставшее меня врасплох.

— Почему вы об этом спрашиваете?

— Потому что, будучи непотребным репортеришкой, вынюхивающим сенсации, я все еще не могу избавиться от мысли, что ваш муж не падал. Я слышал, что у него был жуткий страх высоты. Это правда?

Она улыбнулась.

— Да. Потому-то я его и полюбила.

— Простите?

— Мы шли по мосту в Париже, и он внезапно побелел и ухватился за меня. Я подумала было, что он воспользовался удобным случаем, но на самом деле у него закружилась голова. Я только тогда поняла, что у него есть свои слабости. Но ему требовалось скрыть это, и он-таки поцеловал меня для того лишь, чтобы замаскировать минуту дурноты. Я немилосердно его поддразнивала, пока он не признался, пристыженный, как школьник.

Она припомнила этот случай с такой прелестной улыбкой, что было почти жаль перебить ее, но я находил подобные ее воспоминания неуместными. И потому беспощадно продолжил:

— Так стал ли бы он расхаживать взад-вперед у открытого окна?

— Обычно нет. Но он любил свои сигары и знал, что я терпеть не могу запах сигарного дыма. И он умел серьезно рисковать в случае необходимости.

— Так разрешите мне спросить вас прямо: кто-нибудь хотел убить вашего мужа?

— Полнейший абсурд, — ответила она тотчас же. — В личной жизни он был добрейшим из людей, в бизнесе отличался честностью. Несомненно, у него были конкуренты. Но не враги. Он не был придирчив к слугам и в любом случае, естественно, сразу отсылал их ко мне. Кроме того, даже самые склонные к насилию, самые мерзкие люди обычно умирают в собственной постели.

— Но вы ничего не знаете о его деловых операциях?

— Это не совсем верно. Мы много разговаривали. Хотя редко касались подробностей. Мне было не слишком интересно, а для него я была чем-то вроде противоядия от работы. Он не был одержим работой. «Методичен» более ему подходит.

Я покачал головой.

— Я был бы рад сказать, что этот наш разговор помог мне, — заметил я, — но он только еще больше сбил меня с толку. Не думаю, что пока я оправдываю ваши деньги.

— Вам предстоит долгий путь, — сказала она. — Я все еще не считаю вас безнадежным. Что еще вас смущает?

— Тот же вопрос, который с самого начала не дает мне покоя. Почему вы себя затрудняете? Почему вы хотите, чтобы я искал этого ребенка?

— Я вам объяснила. Из уважения к воле моего мужа.

— Это меня не убеждает. В конце-то концов, сам он уважал свою волю не настолько, чтобы сделать задачу более легкой.

— Это все, что я могу предложить вам. Есть у вас еще какие-либо неприятные интерпретации?

— Э...

— Так говорите же. Вы уже обвиняли меня, что я убийца, и, думается, в целом я стерпела это неплохо.

— Гендерсон сказал мне, что завещание останется в подвешенном состоянии, пока этот вопрос не будет разрешен. И до этого момента вы зависите от щедрости душеприказчика.

— А! Понимаю, — сказала она. — Я вовсе не забочусь о желаниях Джона, а эгоистично оберегаю собственные интересы. Вы это хотите сказать?

— Ну...

— В таком случае я вряд ли стала бы прятать эти документы. Кроме того, я не вступила в брак нищей. Денег у меня более чем достаточно, даже если я вообще ничего не получу из имущества Джона. Тут вы не отыщете ни мотива, ни причины. Понимаете?

— Я вас обидел. Приношу свои извинения.

— Я предпочитаю, чтобы вы произносили подобные упреки вслух, а не держали при себе. И полагаю, они логичны. Мы, богатые люди, жестоки и бессердечны, разве нет? Не как простые люди. Не как вы.

— Я уже сказал, что приношу свои извинения.

— Я сообщу вам, когда приму ваши извинения.

Она встала. Мне было указано на дверь. А может быть, и нет. Я не знал.

— Что-нибудь еще?

— Нет. Хотя... кто та другая женщина, названная в его завещании? Эта итальянская дама?

— Синьора Винкотти? Не знаю. Никогда прежде не слышала этой фамилии. Предполагаю, как, наверное, предположили и вы, что она была его любовницей.

— Вас это расстроило?

Она сердито посмотрела на меня.

— Конечно, мне тяжело, что он настолько не доверял мне.

— Простите?

— У него был секрет от меня. Это меня ранит. Он должен был знать, что я не устрою сцены из-за такой тривиальности.

— Похоже, секретов было больше, — указал я.

Она смерила меня ледяным взглядом.

— Еще вопросы?

— Да. Подобная сумма намекает, что тривиальностью эта женщина не была.

— Справедливо.

— Разве вы не испытываете... по крайней мере любопытства?

— Пожалуй. И что, по-вашему, я должна сделать?

— Если хотите, я мог бы посетить эту даму от вашего имени. Насколько я знаю, она приезжает завтра и остановится в отеле «Рассел» в Блумсбери.

Она задумалась.

— У меня есть идея получше. Я сама нанесу ей визит. Вы можете меня сопровождать.

Передо мной проплыло видение двух ревнивых женщин, катающихся по полу в стремлении выцарапать глаза друг другу.

— Я бы этого не рекомендовал.

— Ваши рекомендации не требуются. Я сегодня же пошлю записку предупредить о моем визите.

Меня поставили на место. Я мог либо сопровождать ее, либо нет, на ее намерение это никак не влияло. Я решил поехать с ней.

— И в то же самое время, — сказала она небрежно, — мы можем узнать что-то, что лишит вас работы.

У нее на глаза при этих словах навернулись слезы, и меня ужаснула мысль, что я мог стать свидетелем ее унижения. Она была обманутой женщиной и узнала про это при самых тяжелых обстоятельствах.

— Мне очень жаль, — сказал я. Не слишком уместная фраза, и она не обратила на нее никакого внимания.

— У меня не было детей, — сказала она минуту спустя. — Джон говорил, что это не важно — ему достаточно меня. Что я принесла ему все счастье, какое только возможно в мире, и ничего больше ему не нужно. Глупо так переживать. Разумеется, у него было право поступать, как он хотел; это ничего не меняло в нашей с ним жизни, так что меняется, если я и узнала?

— Да?

Она кивнула.

— Сделать это для него должна была бы я. Не какая-то другая женщина, настолько незначительная, что он даже ни разу не упомянул о ее существовании. Теперь, если вы меня извините, я должна кое-чем заняться. Бумаги моего мужа в тех шкафах. Можете просмотреть все, что сочтете нужным. Я предупредила слуг, что у вас есть доступ в дом в любое время, тут ли я или нет. Как видите, мне нечего скрывать.

И она ушла. Я прикинул, не приняться ли за устрашающую армию картотечных шкафов — именно они, на мой взгляд, могли содержать что-либо полезное, — но у меня не достало духа. Разговор с ней меня дезориентировал, почти сокрушил.

Глава 11

Я все больше чувствовал, что задача мне не по зубам. Рассуждать про сенсационное убийство — это было одно, и совсем другое — разгадывать кого-то вроде леди Рейвенсклифф. А потому я отправился в «Ритц» повидать моего маленького эльфа. Именно там, насколько я понял, Ксантос обычно останавливался в Лондоне; как я узнал — зарезервировав там номер за колоссальные деньги.

— Так, значит, он важная птица? — спросил я на репортерский манер.

Я был в «Ягненке», прямо за углом в Мейсонс-Ярде, в заведении, облюбованном «Ритцем». Я подкрепил свой вопрос, поставив выпивку. Преимущество отелей. Слуг того рода, которые работают у Рейвенсклиффов, отличает своеобразная лояльность, и выковыривать из них информацию крайне трудно. Но люди, служащие в отелях, за выпивку сообщат вам все, что угодно. Тактичная сдержанность не для них.

— Вроде бы, — последовал коллективный ответ.

Но конкретно никто ничего не знал. Он приезжал, он уезжал. В общем, он никогда не жил там дольше двух недель, но хотел, чтобы его номер всегда ждал его. Ни разу не была замечена хотя бы одна женщина, но посетители и гости — в изобилии. Счета, впрочем, оплачивались. Это они знали. Но дальше в действие вступали ограничения их профессии. Ксантос был богат. Он был иностранцем — греком, они полагали. И им было совершенно все равно, каким образом странный маленький грек мог позволить себе зарезервировать номер в «Ритце». Я знал коммивояжеров, из них получались хорошие убийцы. Одинокие люди, перебирающиеся из одних мебелишек в другие, стирающие перед сном свои рубашки. Ни семьи, ни друзей; никогда не задерживающиеся достаточно долго на одном месте, чтобы обзавестись ими. Кочевники индустриальной эпохи, скитальцы, в вечном передвижении. Несомненно, существовало товарищество, братство таких людей, но подобная жизнь казалась мне далеко не завидной. И они совершали убийства — чаще грязные маленькие убийства на задворках, гораздо чаще, чем от них можно было ждать. Или же они были слишком несчастны и потому не принимали мер, чтобы не быть пойманными.

Мистер Ксантос явно принадлежал к совершенно иной разновидности коммивояжеров, но служащие отеля в обмен на мои деньги сообщили мне крайне мало — только что он был в Лондоне в ту неделю, когда умер

Рейвенскифф, и уехал вскоре после того. Что он приезжает и уезжает все время, а когда отсутствует дольше месяца, указывает, куда ему пересылать его почту.

— Или если в письме сказано «прошу переслать» — вставил кто-то. — Как прошлой осенью, когда он поехал в Баден-Баден. «Принимать воды», — сказал он с пародийно аристократическим прононсом.

— Или когда он уехал в Рим в прошлом апреле, а ему прислали этот сундучище. Помните, сколько хлопот было, чтобы отослать его туда? И никакого «спасибо», когда он вернулся. Будто мы открытку переслали! Плевать он хотел.

Интересный типчик, подумал я, когда он открыл дверь своего номера, и на удивление привлекательный: низенький, щеголеватый, не скованный условностями, со сверкающей улыбкой и быстрыми точными движениями. Приветливый, дружелюбный, совершенно не похожий на Бартоли.

— Вы так добры, что приняли меня, — сказал я.

Мы были в его легендарном люксе, великолепных апартаментах, достаточно роскошных, чтобы устроить человека вроде меня, прежде никогда не бывавшего на таких эмпиреях, не говоря уж об одних из самых дорогих апартаментов «Ритца». Большой салон, пышно украшенный сочно-алыми обоями и галлонами золотой краски; спальня и ванная, как я предположил, за следующей дверью и отдельная столовая. Пока я находился там, непрерывно входили и выходили люди, принося еду, письма, уголь и поленья для камина, и даже кофе ему наливали.

— Напротив, вы меня очень интересуете, — ответил он. Глаза его лукаво поблескивали, пока он говорил голосом, хорошо модулированным, но с наложением такого количества акцентов, что было невозможно определить, какой мог быть первоначальным. Он уютно угнездился, почти свернулся калачиком, будто укрываясь от урагана; я почти ожидал, что он, говоря, укутается в одеяло или подожмет под себя свои маленькие ноги.

— Если так, то этот интерес взаимный. Могу ли я...

— Нет, — сказал он. — Первым спрошу я. Я пригласил вас, я и угощаю.

Он умолк на несколько минут, наклонился вперед и налил чай в две чашки. Себе с лимоном, с молоком и сахаром мне. Я традиционалист.

— Ну, хорошо. Что вы хотите узнать?

— Всего лишь, почему милая леди Рейвенскифф выбрала вас для этого проекта? Уверен, вы не хуже меня понимаете, почему это может возбудить некоторый интерес среди тех, кто знал ее мужа. И кто, добавлю, оберегает память о нем.

— Тут, боюсь, я ничем не могу помочь. Я прежде не встречал ни ее, ни его. Мне предложили этот проект. И, как вы, несомненно, поняли из моего разговора с мистером Бартоли, в финансах я полный профан.

— А она знает столько экспертов... Вы полагаете, она искала кого-то, кто никогда не служил у ее мужа? Независимого аутсайдера? Может это быть объяснением?

— Зачем бы ей это? Лыщу себя мыслью, что она искала кого-то, кто мог бы выстроить увлекательную историю, сделать жизнь ее мужа интересной. Мало найдется имевших успех романов с банкиром или промышленником в качестве героя. И еще меньше — написанных банкирами или промышленниками.

— Это правда, — отозвался он. — И печально нелестная для читающей публики. Быть может, вы правы. Быть может, ничего больше за этим не прячется.

— Вы как будто сомневаетесь. Хотя благодарю вас за то, что вы менее оскорбительны, чем мистер Бартоли.

Эльф помахал рукой.

— Да не обращайтесь на него внимания. Он точно так же груб со мной. И с кем угодно, собственно говоря. Такая уж у него манера. Он весьма компетентен, идеальный привратник для человека вроде Джона Стоуна. Хотя, думается, он озабочен тем, что будет с ним дальше. Леди Рейвенсклифф, я уверен, не будет нуждаться в его услугах. Полагаю, она бенефициар по его завещанию?

«Ага, — подумал я. — Вот оно!» И улыбнулся.

— Право, не могу сказать, — сказал я. — Я же не посвящен...

— Да, пожалуй, что нет. Все же вы, конечно, заметили мое любопытство. И когда вы узнаете побольше о его бизнесе, то поймете почему. Как вы находите леди Рейвенсклифф?

Вопрос, который мог задать только иностранец. Ни один англичанин не был бы столь прямолинеен.

— Прошу прощения?

— Вы подпали под ее чары?

— Не уверен, что я...

— Обворожительная женщина, на мой взгляд. Красивая, умная, одаренная, сердечная, остроумная.

— Да, бесспорно.

— Вы знаете, что одно время она принадлежала к самым знаменитым женщинам во Франции?

— Неужели?

Он нахмурился.

— У ваших ближайших соседей есть странное увлечение салонами. Женщины собирают вокруг себя поклонников — лучшие привлекают ведущих писателей, политиков, дипломатов, поэтов, ну и так далее. В салонах создается французская элита. Леди Рейвенсклифф, говорят, была величайшей звездой. Говорят, в ее коллекции был король... ваш король. Затем она вышла за Джона Стоуна, уехала в Англию и с тех пор вела одомашненную жизнь. Странно, как вы считаете?

— Любовь?

— Возможно.

— Вы как будто сомневаетесь. У вас есть объяснение?

— Нет, — сказал он. — Я надеялся, что в ходе своего расследования вы его найдете. Ответ, полагаю, должен быть поразительным. Может быть, и любовь, я полагаю, — сказал он со вздохом, словно такой вариант его разочаровал бы.

— Я не могу дать объяснения тому, о чем ничего не знаю. А что до ее чар, так она действительно обворожительна и сердечна, хотя это пригашено ее горем, подчеркивает ее хрупкость.

Он улыбнулся.

— Она сокрушающе умна, а если вы находите ее хрупкой, то ваше умение судить о людях оставляет желать лучшего. Она вышла замуж за одного из самых богатых людей в мире и была равной ему во всех отношениях. В хрупкости и обаянии ее сила. В ней все — сила или может быть превращено в силу.

Я уставился на него с любопытством.

— Так что такое вы, мистер Брэдок? Еще одно оружие из ее арсенала?

— По-моему, я оплачиваемый служащий, нанятый ради описания жизни ее мужа.

— И не больше?

— Нет.

У меня возникло ощущение, что он мне не верит, но он решил не настаивать.

— Кажется, она вам не слишком нравится? — заметил я.

— Нравится? — сказал он, удивленно раскрыв глаза. — Я обожаю ее. Все мужчины ее обожают. Примерно так же, как женщины по большей части ее ненавидят. Вы видели ее в обществе другой женщины? Я ее знаю... как долго? Годы и годы. И знаю ее не лучше, чем в первый день, когда познакомился с ней. Она обворожительна, блистательна, прелестна. Но вы когда-нибудь видели, как она пользуется своей магией, как она

гипнотизирует, порабощает? Тогда, поверьте мне, она устрашает. Редкий мужчина способен воспротивиться ей.

— Включая ее мужа?

— Джона? — Он помолчал, глядя на меня. — Вы мало продвинулись, если задали мне такой вопрос. Разумеется, он был способен противостоять ей. Я уже сказал, что они были равными. Они ссорились, как кошка с собакой, знаете ли. Его гнев был ледяным, ее — вулканическим. «Моя дорогая, — цедил он сквозь стиснутые зубы, — ваше поведение совершенно неприемлемо». А она швыряла в него тарелку. И так продолжалось часами. Думаю, они просто этим упивались. Сердцевина их брака. У них не было власти друг над другом, а они привыкли контролировать других. Можете вообразить привлекательность единственного когда-либо встреченного вами человека, который не желает делать того, что хотите вы?

— Нет, — сказал я коротко. — И в данный момент эта проблема не возглавляет список моих вопросов.

Ксантос вздохнул:

— Жаль-жаль. Книга поэтому будет беднее. Это же суть природы Джона Стоуна.

— Я думаю, она хочет чего-то более фактографичного.

— Возможно, — сказал он. — Ну, так к делу. Задавайте мне ваши вопросы.

Я пришел не очень подготовившись, что было глупо. Обычно перед интервью я заранее составлял списочек вопросов, чтобы интервью было целенаправленным. На этот раз у меня ничего такого не было, а потому я принялся задавать наугад вопросы, едва они хаотично всплывали в моем уме.

— Меня поразили, — начал я, хотя поражен был только теперь, — люди, с которыми я встречался до сих пор. Мистер Бартоли, итальянец. Вы, как мне сказали, грек. Леди Рейвенсклифф венгерка.

— Более того, — ответил он, — финансы, например, возглавляет человек по имени Гаспар Нойбергер.

— Немец?

— О, он бы очень оскорбился, что его назвали просто немцем, — сказал он с легкой улыбкой. — «Я чевиш, дорогой мой! Чевиш!» Попробуйте назвать его пруссаком — он родился в Пруссии, — и поглядите, как он среагирует. Джон имел обыкновение упоминать о милитаристском характере Гаспара, просто чтобы посмотреть, как долго ему удастся держать себя в руках.

— Ах вот как! Но вы понимаете, что я подразумеваю?

— Корпорация дворняг и полукровок. Да, я понимаю. Мы не компания голубых кровей. Это наше великое качество и причина, почему все наши конкуренты повергнуты в прах. Джон Стоун обладал двумя великими, поразительными качествами, и вам следует держать это в уме. Во-первых, его дар организатора. Во-вторых, его умение оценить характер человека. Он находил людей, выполнявших свою работу при минимуме надзора. Ему было все равно, кто они такие и откуда явились. Поскольку семьи у него, по сути, не было, правление не перегружено никчемными родственниками. В том, что касается деловых операций, Бартоли истинный гений в оценке их развития в целом. Уильямс, управляющий, блестящий администратор, хотя и сын, если не ошибаюсь, обанкротившегося торговца углем. Гаспар уникален в финансах, а я... рано или поздно кто-нибудь скажет вам, так почему бы и не сам я? Происхождение мое таинственное, но крайне неблагоприятное. Однако все это работало. Джон порой жаловался, говорил, что дело уж слишком хорошо организовано и ему нечем заняться. Что компания в нем больше не нуждается.

— А чем конкретно занимаетесь вы?

— Я? О, я всего-навсего коммивояжер. Переговорщик. И ничего больше. Люди хотят купить, я обеспечиваю наилучшую цену. Я, пожалуй, самый заменимый из нас всех. Но то, что я делаю, я делаю хорошо. Моя репутация, увы, совсем иная. Хотите узнать, какова она?

— Более чем.

— Я — Ангел Смерти, — сказал он негромко и поглядел на меня так, что я было почти ему поверил. Затем он посветлел и продолжал весело: — Вы так не подумали бы, посмотрев на меня, но что есть, то есть. Я — зловещий персонаж, подвигающийся во тьме, человек, чья невидимая рука повсюду. Альтер-эго Джона Стоуна, выполнявший грязную работу, которую сам он делать не мог. На планете не происходит насилий или беспорядков, за которые в ответе так или иначе не был бы я. — Он ласково улыбнулся мне.

— Неужели?

— Вовсе нет. Я, как уже сказал, всего лишь переговорщик. Но это, должны вы признать, чудесная репутация. И я не слишком противодействую ей. Благодаря ей моя жизнь выглядит куда интереснее, чем есть на самом деле, и, быть может, даже обеспечивает мне некоторое преимущество в переговорах. Собственно говоря, я же просто разъезжаю по Европе, торгуясь о частностях контрактов.

— Вы не часто бываете в Англии?

— Да. Поставки Королевскому флоту и армии оформляются по-иному. Я к ним никакого отношения не имею, да и в любом случае не был бы слишком эффективен. Флот предпочитает вести дела с джентльменами, а я, как вы, несомненно, заметили, не джентльмен.

— В некрологах кое-где упоминается организованность компаний. Что в этом такого особенного? Разве бывают неорганизованные компании?

Ксантос засмеялся.

— О нет. Вы не поверите, как орудуют некоторые. Джон Стоун был уникален в создании подобной организации, а сохранение контроля над ней было ошеломительным достижением. По всему миру разбросаны другие заводы. Шахты, нефтяные скважины, суда. И все работает в совершенной гармонии. А венчают все это деньги. Банки, кредиторские авизо, переводные векселя, акции, займы во многих валютах и во многих странах. И все должно находиться в нужном месте в нужный момент ради конструирования этих сложнейших машин, на сборку которых нередко уходит почти два года. Если бы люди имели хоть малейшее представление о том, насколько это поразительно, тогда бы, вытеснив священника, и поэта, и ученого, величайшей фигурой эпохи стал бы бизнесмен. Но мы скромные люди, — добавил он с улыбкой, — и не ищем славы.

— Но ведь кто-то же заказывает судно, вы его строите, получаете плату за него. Все прямо и открыто.

Он вздохнул.

— Вы не представляете, как действуют правительства, верно? Или деньги. Нет, все не прямо и не просто. Скажем, некое правительство заказывает броненосец. И платит за него? Нет, разумеется, нет. Выплачивают небольшой аванс. Остальное после доставки. Почти все необходимые деньги вы находите сами. Это само по себе пугающий риск. Потребность «Бесуик» в капиталах столь же велика, как многих целых стран. Правительство делает заказ, и мы вкладываем необходимый капитал. Затем... они передумывают. Нет, мистер Брэдок, это не просто. Отнюдь не просто.

— Насколько я выяснил, ситуация сейчас несколько сложная? Это так?

Он смерил меня суровым взглядом.

— Несколько? Последние годы мы переживаем страшные времена. С тех пор как к власти пришли либералы, заказы Королевского флота практически иссякли, а Королевский флот — наш главный клиент. Мы — и «Армстронг», и «Виккерс», и «Кэмвел Лэрд» — лишь с трудом избежали краха. К счастью, лорд Рейвенскилфф более чем сумел удержать нас на плаву в это тяжкое время; и наше положение много лучше, чем у наших

конкурентов.

Ровно столько о Стоуне как бизнесмене. Ну почему все упирают на это? Конечно же, это не могло его исчерпывать.

— У лорда Рейвенсклиффа были близкие друзья?

— Понятия не имею.

— Но конечно же...

— Он был моим нанимателем. Мне он нравился, я доверял ему, и полагаю, что он относился ко мне точно так же. Но это не дружба, если вы меня понимаете. Это был совсем иной мир, в который мне — никому из связанных с ним через бизнес — доступа не было. Об этой стороне его жизни мне неизвестно абсолютно ничего. Общался он с принцами или с нищими, что ему нравилось делать, когда он не работал. Водились ли за ним какие-нибудь грешки...

— Вы тоже не знаете.

— Да, не знаю. И меня это никогда не интересовало. А теперь, если вы меня извините, мне надо написать несколько писем. Тем не менее было приятно познакомиться с вами. Не сомневаюсь, мы еще поговорим.

— Да, безусловно. В ближайшие месяцы у меня, конечно, накопится много вопросов.

— Я с радостью отвечу на них все, если смогу. Как вы, вероятно, поняли, я был горячим поклонником Джона Стоуна.

— У него не было никаких недостатков?

— Джон Стоун никогда ничего не делал без веской причины. Если исключить, что он влюбился и что он умер. И может быть, эти два исключения всего лишь кажутся исключениями, поскольку мы не знаем, в чем заключались их причины, а не потому, что этих причин не было. Вы считаете это недостатком или нет?

Глава 12

Интересно. Я вышел из «Ритца» и задумчиво пошел по Бонд-стрит, стараясь распутать то, что мне было наговорено, и то, что я узнал. Очевидное истолкование, разумеется, сводилось к тому, что мистер Ксантос искренне верит, будто я пишу биографию, в которой подавляющее место займет бизнес. Он хотел проинструктировать меня, каким представить Рейвенсклиффа. Но меня преследовал намек на грешки. Зачем он вообще упомянул про них?

И еще привкус сообщничества. Он пытался обратять меня, сделать соглядатаем, внушить лояльность, ощущение причастности, подбросив лакомую крошку информации. А леди Рейвенсклифф? Прямое предостережение, подумал я. Не дай себя провести, вот что подразумевалось.

Но больше ничего мне из этого разговора выжать не удалось. Бизнес переживал тяжелые дни, но все было под контролем. Не в этом ли суть? Вбить мне в голову, что из-за бизнеса Рейвенсклифф упасть в окно не мог? Что мне следует поискать где-нибудь еще, если у меня это на уме? Но в таком случае он, разумеется, знает, что я не просто пишу биографию.

Я вскочил в омнибус и расслабился. Нечто в цоканье лошадиных копыт, в том, как кучер беседует со своей упряжкой, в легком покачивании кареты на ходу всегда навеивает на меня покой — если, конечно, омнибус не набит битком шумными поплеывающими пассажирами. Я сидел наверху, хотя было холодно, и смотрел сквозь клубы трубочного дыма, как мимо проплывают величественные здания Портен-плейс, а затем еще более роскошные особняки Риджент-парка. Я прежде как-то по-настоящему не осознавал, что в этих домах и правда живут люди; они были столь же чуждыми мне, как дворцы или тюрьмы — и даже более чуждыми, чем тюрьмы.

Теперь я получил доступ в подобные дома и с большим любопытством высматривал картинки домашней жизни, открывавшиеся моим глазам. Слуга сидит на подоконнике, полируя стекла снаружи. Другой выбивает пыль из одеяла. Нарядно одетые дети спускаются по ступеням парадного крыльца в сопровождении няни. Повозки торговцев стоят в проулках позади, чтобы мясо, и рыба, и овощи могли быть доставлены невидимо через черный ход. Мне было дозволено войти в парадную дверь на Сент-Джеймс-сквер, подумал я. Впервые в жизни я почувствовал себя выше тех

людей, среди которых рос. Затем у меня мелькнула мысль, что, по всей вероятности, в глазах леди Рейвенсклифф я примерно равен гувернантке.

Великолепие Риджент-парка не имеет протяженности, оно толщиной лишь в несколько кирпичей, эфемерная театральная декорация. А позади и далее находятся более убогие жилища Кэмдена. Впрочем, севернее расположен район комфортабельных вилл, построенных для человека с достаточным, но не чрезмерным состоянием. Мой прежний редактор жил как раз на такой обсаженной деревьями улице с домами, отделенными от широкой авеню, укрытыми от посторонних в уединении, недоступном роскошным особнякам. Именно такое грезилось мне в моих мечтах; мое воображение не уносило меня выше, но даже на триста пятьдесят фунтов годовых (в течение семи лет) подобное оставалось мне не по средствам. Или нет? Я никогда даже не рассматривал такую возможность, но теперь меня осенило, что, пожалуй, я могу жить в таком доме — перемена в моих обстоятельствах обрушилась на меня волной гордости. Я вообразил, как взмахом чековой книжки покупаю модную мебель в «Хилсе». Нанимаю прислугу. Женюсь на желанной женщине вроде... И тут я застопорился, потому что в проплывающей перед моими глазами фантазии я увидел женщину моей мечты сидящей на кушетке, отрывающейся от своего шитья и улыбающейся мне, когда я вошел в комнату, и лицо у нее было лицом леди Рейвенсклифф. Эта нелепость вернула меня на землю резко и крайне неприятно, однако я сохранил хотя бы достаточно здравого смысла, чтобы грустно улыбнуться шуткам, которые может сыграть необузданное воображение.

Галантный кавалер, в воображении способный покорить самую богатую женщину в стране, тем временем нерешительно топтался перед домом своего бывшего редактора, прикидывая, осмелиться ли постучать в дверь без приглашения. Однако было бы глупо проделать весь этот путь, только чтобы тут же убраться восвояси, а потому после недолгого колебания я набрался достаточно храбрости, чтобы пройти по дорожке и постучать. Затем назвать свое имя служанке, открывшей дверь.

Меня проводили в кабинет Макьюэна и попросили подождать. Кабинет этот был куда больше в моем вкусе, чем неприглядная комната, из которой Стоун контролировал свою империю. Большие стеклянные двери открывались в сад, свежие букеты дарили аромат, не подпорченный застарелым сигарным дымом. Старинное кресло с чуть потрескавшейся кожей стояло на слегка потертом ковре, и тут же лежала кучка дров для камина. Комната выглядела любимой ее хозяином и отвечала ему теплом и уютом. Это была комната человека, на которого можно положиться.

Он вошел в дверь минуту спустя, улыбаясь и как будто несколько не рассерженный моим появлением. Дружеское приветствие Макюэна — уже более, подумал я, не приветствие редактора подчиненному, начальника служащему — полностью меня успокоило и расположило к большей откровенности, чем я предполагал.

— Я так и думал, что вы заглянете на какой-то стадии, — сказал он весело, — но, правда, не так скоро. Совершили какое-нибудь великое открытие, которым хотите со мной поделиться? Надеюсь, это нечто такое, что мы сможем напечатать, а не излишне забористое. Вы установили, что будет с нами?

— Боюсь, у меня мало что есть, кроме вопросов, — ответил я, — хотя могу сообщить вам, что «Кроникл» будет находиться в руках душеприказчика, пока завещание не вступит в силу, а это может потребовать некоторого времени.

— Я так и полагал. А затем, думается, она перейдет леди Рейвенскилфф?

— Возможно. Сейчас все выглядит очень сложным.

Макюэн не привык, чтобы подчиненные — даже бывшие подчиненные — что-то от него утаивали. Он недовольно нахмурился, а потому я не стал тянуть.

— Я подумал, что вы за несколько секунд можете рассказать мне то, на что самому мне пришлось бы потратить несколько дней. Я практически не продвинулся с тех пор, когда видел вас в последний раз. Наоборот, только еще больше запутался.

— В каких областях?

— Да, по сути, в каждой. Я кое-что узнал о его смерти, как вы рекомендовали. Я установил, что с компаниями все было благополучно. К несчастью, не вижу, чем это может мне помочь.

— Да я этого и не предполагал, — сказал он. — И просто хотел удовлетворить собственное любопытство в этом деле.

— Почему?

— Ну, назовите это инстинктом старого газетчика, если хотите. Так что вы обнаружили?

— Только что не так уж мало людей сильно разволновалось, едва он упал. Например, человек по фамилии Корт...

Глаза Макюэна сощурились, и он начал слушать внимательнее.

— Корт?

— А! — сказал я. — Возможно, вы его помните. Леди Рейвенскилфф сказала, что одно время он работал журналистом в «Таймс». Вы его знали?

Он встал и отошел к окну, постукивая ногой, как всегда, когда задумывался. Затем повернулся ко мне.

— Крайне сожалею, Брэддок, — сказал он. — Я был чрезвычайно глуп и неосторожен в отношении вас.

— Но почему? В чем дело? Кто он такой?

— Действительно, какое отношение он имеет к рутинной биографии, заказанной горюющей вдовой?

Он сверлил меня взглядом, и я понял, что не получу от него ничего, не дав что-нибудь в обмен авансом. Он был искренне обеспокоен, и меня тронуло его участие. Но он был насквозь газетчик. Информация была для него едой и питьем.

— Это не биография, — сказал я после паузы. — Она хочет от меня не этого. Она хочет, чтобы я установил личность ребенка Рейвенскиффа.

Он поднял бровь.

— Так-так. А Корт?

— Был одним из первых на месте его смерти и, думаю, сумел на три дня воспрепятствовать сообщению о ней.

— А! — сказал он негромко.

— Что «а»? — Я испугался. Собственно, из-за того лишь, как он это сказал: настороженно, почти встревоженно и, вне сомнения, удивленно, даже потрясенно. — В чем дело? Что все это значит?

— Правительство дало указание, чтобы мы не сообщали эту новость незамедлительно, как и все другие газеты. Мы согласились, поскольку надежность предприятий Рейвенскиффа составляет национальный интерес. К тому же нас заверили, что это всего лишь ради предотвращения ненужной биржевой паники. Я подумал, что тут может крыться нечто большее, а потому и рекомендовал вас, чтобы у меня, так сказать, был человек внутри, но я представления не имел, что это может быть так серьезно. — Он сунул руки в карманы и устался на ковер, как всегда, если что-то быстро взвешивал. — Напишите ей, что вы сожалеете, но эта работа вам не подходит.

— Что-о? Но ведь идея же ваша!

— Знаю. Однако это не оппортунистические репортажи, не околачивание возле судов и полицейских участков. И вам не следует впутываться в подобное.

— Вы мелодраматичны. Что вас так встревожило, скажите на милость?

— Что вы знаете о Генри Корте?

— Очень мало, — сказал я твердо. — И словно бы знать особенно нечего. Он был журналистом, теперь как будто ведет жизнь досужего

джентльмена со скромным состоянием. Он был знаком с леди Рейвенскилфф много лет назад и появился на сцене в неясной роли вскоре после смерти Рейвенскилффа. Какое-то упоминание ФО, но я не знаю, что это такое. Но только не Форин оффис, то есть министерство иностранных дел, поскольку он там не числится. Я справлялся, — закончил я неуклюже.

— Ну, как вы и сказали, знаете вы очень немного.

— Ну, так скажите мне побольше. Ясно, что вам что-то известно.

— Только если вы обещаете отнестись серьезно к моим рекомендациям.

— Непременно, — сказал я непоколебимо. Но не помню, собирался ли я сдержать обещание.

— Отлично. Генри Корт, возможно, самый влиятельный человек в Империи... — Он поднял ладонь, заметив на моем лице недоверие. — Пожалуйста, если вы хотите, чтобы я вам рассказал, не перебивайте меня. Я кратко соприкоснулся с ним, как вы верно догадались, в «Таймс» лет двадцать назад. Предположительно он был журналистом, но писал он мало. Тем не менее его отправили корреспондентом в Париж, хотя у «Таймс» там уже кто-то был. Никто не знал, откуда он взялся, почему его назначили, хотя поговаривали, что одно время он работал в «Барингсе» и что его парижское назначение было устроено сэром Генри Уилкинсоном, чье имя, я уверен, вам ничего не говорит.

— Вы правы. Но «Барингс» уже не раз всплывал за прошлую неделю.

Он нетерпеливо отмахнулся от моей доскональности.

— До своей смерти сэр Генри Уилкинсон был — во всяком случае, так говорили — главой Имперской секретной службы. Говорили — хотя опять-таки никто не знал ничего наверное, — что Генри Корт его куда более компетентный преемник. Говорили — так же без намека на факты или детали, — что однажды он в одиночку предотвратил катастрофу, которая повлекла бы гибель Империи. Что он убивал людей, а других распоряжался убить.

Я было открыл рот, чтобы как-то отозваться, затем передумал и снова его закрыл.

— Предприятие в масштабе Британской империи окружено врагами и опасностями. Несколько десятилетий мы противостояли войне и неплохо в этом преуспели. Но исчерпание нашей удачи — только вопрос времени. С кем мы будем сражаться? Как мы обеспечим себе преимущества? Кто наши друзья? Как мы оберегаем наши дипломатические, индустриальные, военные секреты? Этим, как говорят, занимается Генри Корт.

— Вы говорите несерьезно?

— Совершенно серьезно.

— Вы не начитались бульварных романов?

— Нет.

— Но раз вам известно все это, оно предположительно известно и нашим врагам.

— Предположительно. Но я не знаю этого наверняка, как и они. Что именно делает Корт и как он это делает, я не знаю. Историй хватает, но мне ни разу не удалось установить что-либо настолько достоверно, чтобы напечатать в газете, например. Не то чтобы мне это разрешили, даже если бы я и задумал столь непатриотичный поступок. Но не важно. Я пытаюсь объяснить вам, что если тут каким-либо образом замешан Корт, значит, в той же мере и интересы Империи в целом. И младшему репортеру без большого опыта никак не следует совать сюда нос.

— Может быть, он просто друг семьи.

— У Рейвенклиффа друзей семьи не было. Как нет их и у Корта.

— Так что же происходит?

— Понятия не имею. И рекомендую вам не пытаться это узнать. Ничего хорошего вам это не принесет. Корт про вас знает?

— Сильно сомневаюсь. То есть не представляю, каким образом?

— Ах так! Вы не замечали, чтобы кто-нибудь следил за вами?

Теперь я и вправду встревожился.

— Вы же не серьезно?

Я знал, что повторяюсь, но это казалось оправданным.

— Два года назад, — сказал он, — в Англии жил немецкий репортер, корреспондент одной берлинской газеты. Он задавал вопросы о мистере Корте. Он умер пару месяцев спустя. На железнодорожных путях, сразу за Суиндоном. Вердикт был «самоубийство».

— Правда?

— Мораль: не интересуйтесь мистером Генри Кортом. Так как вы англичанин, он, без сомнения, будет к вам более снисходительным, поскольку безопасно предположить, что вы не — или пока еще не — на службе у наших врагов.

— Разумеется, нет...

— Но разумеется, вы на платной службе у женщины, которая является — или являлась — подданной Австро-Венгерской империи, союзницы Германской империи.

Я разинул рот. Мне следовало бы лучше справиться с собой, но я разинул рот.

— Вы это сочинили, — сказал я с упреком.

— Я лишь указываю, что чрезвычайно щедрая оплата за выполнение

крайне сомнительного поручения может быть истолкована очень по-разному, в том числе и не в вашу пользу.

— Я, конечно, не собираюсь отказываться от трехсот пятидесяти фунтов в год из-за фантастических выдумок какого-то чиновника, — сказал я стойко. — Если кто-нибудь захочет спросить меня, чем я занимаюсь, я объясню откровенно и полностью. Естественно. Но я не делаю ничего хоть в малейшей степени предосудительного. И я в своем праве.

— Конечно. Но ваше право как англичанина может быть понято неправильно, как противоречащее вашему долгу. Так что будьте осторожны. Вы все еще склонны продолжать?

Я крепко задумался. Он был человеком, которому я доверял, — до этой минуты я не понимал, как сильно ему доверяю. Но я был не в силах полностью сбросить со счетов деньги. И главное, передо мной возник образ леди Рейвенсклифф, сидящей на кушетке в ее гостиной, выглядящей столь уязвимой и слабенькой, столь бесконечно горюющей о муже и отдающей себя в мои руки. Просящей меня о помощи — меня, из всех людей в Лондоне!

— Возможно, — сказал я. — Но не прежде, чем удостоверюсь, что ваше предупреждение обоснованно. Понятно, что подвергать себя опасности я не хочу. Не желаю я и вмешиваться в то, что меня не касается. Однако я взялся выполнить поручение и пока еще не вижу весомой причины не выполнить его.

Он вздохнул. Обескураженно и разочарованно.

— Я не говорю, что решил продолжать. А просто, что хотел бы.

— Я предполагал, что вы отнесетесь к этому именно так. И мне очень жаль. По-моему, вы совершаете ошибку.

Я призадумался. Последние слова Макьюэна произвели на меня сильное впечатление. И тем не менее старое упрямство начало пробуждаться. С какой стати пугаться всего лишь слов, нашептанных мне на ухо? С какой стати отказываться сделать то, чего я хочу? Я не нарушал никакого закона, а напротив, пытался установить, не были ли нарушены какие-либо. А мне говорят, что я должен бояться и остерегаться. Англичане ни в коем случае не должны бояться и остерегаться своего правительства. Я вызывающе поднял взгляд.

— На кого работает Корт?

— На правительство.

— Какую его часть, имею я в виду.

— Понятия не имею. Министерство иностранных дел, Военное

министерство, Министерство внутренних дел. На все, или ни на какую. Самая суть таких обязанностей в том, что определению они не поддаются. Не найдется ни единой бумажки, конкретизирующей их. Сомневаюсь даже, что он значится в списках сотрудников Государственной службы. У нас наконец появилась официальная разведывательная служба, но он и к ней не относится.

— А!

— Он оплачивается, и его расходы возмещаются из разнообразных фондов, не прослеживаемых до каких-либо государственных департаментов.

— Один человек не способен...

— О Боже мой! Корт не единственный! По всей Британии, по всей Империи, по всей Европе его люди, включая женщин, я полагаю, следят за нашими врагами и тем, чем они занимаются. Они следят за армией, они следят за политиками, они следят, какого рода оружие производится на заводах. Они следят за судами в портах, они следят за людьми, следящими за ними. Я сказал, что со временем мы можем быть втянутыми в войну, на самом же деле она уже ведется. Вы читаете в газетах истории о немецких шпионах в нашей стране, о вышколенных убийцах, выжидающих минуты начала войны, чтобы нанести удар и породить хаос здесь, на улицах Лондона.

— Истерический вздор.

— Вы уверены? Наши враги быстро учатся. Они воочию видели, какой хаос способна породить горстка анархистов с самодельными бомбами. Как легко убить короля в Португалии, президента во Франции. Посеять панику, удачно заложив бомбу в ресторане. Вы думаете, они не понимают, насколько мощное оружие страх и смятение?

Сам я всегда считал эти газетные блявня не более чем способом обработки населения так, чтобы можно было принимать репрессивные меры против профсоюзов и бедняков, готовящих забастовку в надежде добиться заработной платы в соответствии с прожиточным минимумом. Мне никогда не приходило в голову, что кто-нибудь вроде Макюэна может принимать их всерьез. Или что они истинны.

Глава 13

Отель «Рассел» в Блумсбери выглядел практически новым и построен был всего несколько лет назад. Терракота, кирпич и мрамор являли внешнему миру столь внушительный облик, что мне, как ни часто я проходил мимо по разным поводам, ни разу не взбрело на ум войти внутрь. Он был не для людей вроде меня — не больше чем «Ритц» или гостиные на Сент-Джеймс-сквер. Однако не предназначался он и для слишком богатых. Собственно говоря, было трудно определить, для кого его строили: слишком далеко от Вест-Энда для тех, кто проживает там, и неудобно расположен для тех, кто ведет дела в Сити. А большинству посетителей Британского музея его высокие цены были не по карману.

Но это была проблема его владельцев, а не моя. Оказавшись там, я просто коротал время, разглядывая многоцветные мраморные колонны, лепные потолки, сверкающие люстры. К такого рода постоянному антуражу, думал я, привыкли аристократы. Признаюсь, я ощущал в себе некоторое величие. Всего лишь за неделю или около того я начинал входить во вкус такого образа жизни. Это порождало некоторое беспокойство.

— Ужасное место, — заметила леди Рейвенскилфф, садясь напротив меня после того, как вошла, и я встал, чтобы поздороваться с ней. Она улыбалась, прогулка словно подбодрила ее. Глаза блестели и казались больше, чем я замечал прежде; она выглядела бесподобно красивой, будто приложила особые усилия, чтобы внушить страх противнику. Сделать ей комплимент мне в голову не пришло.

— Вам тут не нравится?

— Слишком вычурно. Предназначено впечатлять впечатлительных. И полагаю, свое дело делает.

Она заметила, как я покраснел.

— Извините, — сказала она. — Вы убедитесь, что иногда я бываю непростительно самоуверенной и нетактичной. Прошу, не придавайте никакого значения тому, что я говорю в подобных случаях. Я росла среди более старых, невзрачных домов, не вынуждавших вас все время восхищаться ими.

— Полагаю, то же можно сказать и обо мне, — отозвался я. — Чутьочка вычурности упоительна.

Она улыбнулась.

— Так и есть. Беру свои слова обратно. Давайте купаться в этом избытке вульгарности, пока мы ждем. Вы не сообщите синьоре Винкотти, что мы тут?

Я так и сделал, а она сидела неподвижно; мечтательная улыбка разлилась по ее лицу. Я знал ее недостаточно хорошо, но догадывался, что она успокаивает себя перед, возможно, неприятным разговором.

Эстер Винкотти спустилась через десять минут. Позвольте мне прямо и без обиняков сказать, что ни о каком соперничестве между этими двумя женщинами речи не шло. Одна — чуткая, умная, красивая, элегантная; другая — толстая, почти кубическая, с красноватым, хотя скорее приятным цветом лица, которое явно ее совсем не заботило. Никогда еще я не видел женщины, столь мало подходящей для какой-либо связи с очень богатым мужчиной. На вид ей было лет пятьдесят и, хотя одежда на ней была недешевой, она, очевидно, не имела представления, как одеваться со вкусом. Седые волосы без намека на модную прическу. Лицо выглядело добродушным, но его выражение не оставляло сомнений, что, если леди Рейвенсклифф ожидаемый разговор тревожил, то Эстер Винкотти была напугана до мозга костей.

Когда я в роли посредника представил их друг другу, она нервно села, но ни та ни другая, казалось, не хотела начать, а леди Рейвенсклифф (сообщила она мне) категорически запретила мистеру Гендерсону, солиситеру, и близко подходить к отелю, пока она не закончит. Однако ни в той ни в другой враждебности не чувствовалось. Леди Рейвенсклифф сохраняла полную невозмутимость, но я догадывался, в какое недоумение ввергла ее самая идея, будто ее муж мог завести интрижку с такой абсолютно заурядной, вульгарной матроной. А потому она укрылась за маской аристократизма, которая и ставила на место, и казалась (мне) на редкость обворожительной.

— Вы так добры, что приехали сюда, миледи. Для меня большая честь познакомиться с вами, — сказала синьора Винкотти минуту спустя. — И я должна поблагодарить вас за то, что вы устроили меня в этом великолепном отеле. Ни к чему подобному я не привыкла.

— Не думаю, что я так уж добра, — ответила она. — И боюсь, я должна подождать, прежде чем удостоверюсь, что для меня такая же честь познакомиться с вами. Как близко вы знали моего мужа?

И сразу же быка за рога, подумал я, так как ожидал длительный обмен вежливостями перед переходом к существу вопроса.

— Но я его совсем не знала, — ответила синьора Винкотти. Говорила она с легким итальянским акцентом, но ее английский был настолько

добротен, что по происхождению она могла быть только англичанкой. — Я в полном недоумении, почему я тут. Знаю только, что получила телеграмму от какого-то солиситера, что мне надо ехать в Лондон, что это дело не терпит отлагательств. Затем мне прислали железнодорожный билет. Первого класса. Я ничего не понимаю и очень тревожусь. Ведь я же ничего плохого не сделала.

Такого ответа мы никак не ожидали. Леди Рейвенсклифф не сумела скрыть недоверчивости, хотя и умудрилась сохранить контроль над собой.

— Вы не были знакомы с моим мужем?

— Кажется, я видела его, когда была совсем маленькой, хотя ничего об этом не помню.

— Где именно?

— В Венеции. Там жил мой отец, и там он умер.

— Синьор Винкотти?

— Нет. Это фамилия моего мужа, хотя теперь я вдова. Луиджи умер несколько лет назад, оставив меня с четырьмя детьми. Но мой отец обеспечил меня, и я прожила хорошую жизнь. Фамилия его была Макинтайр. Он был инженером по найму. И погиб от несчастного случая, когда мне было восемь, и меня воспитала одна семья там.

— Теперь вы обеспечены даже лучше, как кажется, — сказала леди Рейвенсклифф. — Мой муж умер, как вам, быть может, известно, и вы в числе бенефициаров его завещания.

Синьора Винкотти словно бы остолбенела.

— Он был очень добр, — сказала она. — Вы не можете объяснить мне почему?

Я отметил, что она не спросила о сумме. И мне это в ней понравилось.

— Мы надеялись, что нам это объясните вы.

— Боюсь, я понятия не имею. Ни малейшего.

— И вы действительно никогда не видели его после смерти вашего отца?

— Никогда. До этой телеграммы я совсем его забыла. И вспомнила только с большим трудом.

— Вы очень хорошо говорите по-английски, хотя выросли за границей, — высказал я мнение.

— Я росла в английской семье. Мистер Лонгмен был английским консулом в Венеции, прожил там много лет и умер, когда мне было двадцать. Так как у меня не было никаких связей с Англией помимо него и его жены, я осталась там и со временем вышла замуж. Мой муж был инженером. На его заработную плату и мое наследство жили мы вполне

обеспеченно. Две мои дочери уже замужем. Один мой сын будет юристом, а второй думает стать инженером, как отец.

— Поздравляю вас, — сказала леди Рейвенсклифф.

Было ли что-то в рассказе о дружной, скромной семейной жизни, о подраставших детях, чья взрослая жизнь сложилась удачно, чему она позавидовала? Опечалило ли ее то, что ей не дано похвастаться своими детьми — о, он преуспевает, мы так горды за него!.. Взгрустнулось ли ей, что она никогда не посмотрит на лицо ребенка, чтобы увидеть отражение мужа?

— Вы не хотите узнать, какая сумма вам завещана? — вмешался я, поскольку мы слишком отклонились от темы.

— Наверное, надо бы, но я просто не вижу, как она может быть большой.

— Это зависит от того, что считать большой. А составляет она пятьдесят тысяч фунтов.

Эта информация была встречена полнейшим молчанием. Синьора Винкотти смертельно побледнела, будто услышала ужасную новость.

— Тут, должно быть, какая-то ошибка, — сказала она наконец голосом таким тихим и дрожащим, что ее слова трудно было расслышать.

— Видимо, нет. Надеюсь, вы извините наше любопытство, но мы, естественно, хотим узнать причину. Лорд Рейвенсклифф был колоссально богатым человеком, но даже по его меркам это большая сумма.

Я сознавал, что говорю точно член рейвенсклиффовского окружения, точно служащий. И почему-то мне стало неловко, но кроме того, еще говоря, я поймал себя на некотором самодовольстве.

— Я ничем вам помочь не могу. Нет, правда, — сказала она с таким лицом, будто в любую секунду могла расплакаться.

— Ваш отец был богат? Может, у них было совместное предприятие?

— Сомневаюсь. Мне всегда говорили, что он был очень беден, совсем не от мира сего. Но не настолько, чтобы не обеспечить меня.

— А ваше наследство? Ежегодная рента? Выплаты страховой компании? Венецианской? Итальянской?

— Нет-нет. Английский банк.

— Прошу вас, не принимайте к сердцу, но не могли бы вы назвать мне сумму? Это могло бы подсказать, какого рода отношения могли связывать вашего отца с лордом Рейвенсклиффом.

Понимаете, я уже начал думать как денежный человек. Прежде я никогда в жизни не счел бы, что источник дохода может помочь выявлению взаимоотношений данного человека с другим, но теперь это

стало естественным, теперь я понял, что для некоторых только это и имело значение.

— Четыре раза в год я получаю чек лондонского банка «Барингс» на шестьдесят два фунта.

Благодаря моей новообретенной финансовой умудренности я быстренько подсчитал, что 62 фунта за квартал составляют примерно 250 фунтов годовых, то есть сумму капитала около 6000, — никак не на уровне Рейвенсклиффа. Его завещание означало, что ее доход умножился в восемь раз. Солидное состояние по английским меркам и огромное, полагал я, по венецианским.

— Синьора Винкотти, — сказала леди Рейвенсклифф, — я хотела бы задать вам даже еще более прямой вопрос. Пожалуйста, не обижайтесь, но мне совершенно необходимо знать ответ.

Судя по ее манере, ей было совершенно все равно, если ее собеседница и правда обидится. Да что с ней такое? Ей же совершенно не нужно прилагать столько усилий, чтобы быть грубой.

Винкотти вопросительно посмотрела на нее.

— Мой муж часто ездил в Венецию. Иногда я сопровождала его, но чаще нет. Венеция никогда меня не привлекала. — Она помолчала. — Разрешите мне выразиться без обиняков: мой муж не был отцом кого-то из ваших детей?

Синьору Винкотти вопрос поверг в шок, и я не сомневался, что она возмутится, так как на то у нее было полное право. Так чуть было и не произошло. Но она была много умнее, чем внушало ее толстое некрасивое лицо. Она наклонилась и взяла леди Рейвенсклифф за руку.

— Я понимаю, — сказала она мягко. — О, я понимаю.

Леди Рейвенсклифф отдернула руку.

— Не сердитесь на меня, я не хотела оскорбить вас, — сказала венецианка негромко. — Нет. Нет никакой возможности, ни малейшей, чтобы ваш муж был отцом кого-то из моих детей. Если бы вы увидели их и фотографию моего мужа, вам не пришлось бы полагаться только на мое слово.

— В таком случае нам больше не надо злоупотреблять вашим временем, — сказала леди Рейвенсклифф, тут же встав. — Я уверена, мои поверенные свяжутся с вами, когда придет время. Благодарю вас за вашу помощь.

И с этим она стремительно прошла через вестибюль отеля, предоставив мне, крайне смущенному ее неслыханным поведением, заглядывать его, насколько было в моих силах, попрощавшись более дружески, бормоча про

шок и горе. Что было равно далеко от правды.

Затем я также поспешил в шум Рассел-сквер, где леди Рейвенсклифф ждала меня с потемневшим от гнева лицом.

— Отвратительная женщина, — сказала она. — Да и как она посмела говорить со мной сверху вниз? Если ее отец был столь же вульгарен, как она... Безусловно, должно быть физическое сходство. Она выглядит как бульдог в оборочках.

— Она вела себя с заметно большим достоинством, чем вы, хотя разговор должен был быть для нее очень тягостным.

— А для меня нет? — Она обернулась в ответ на мои умиротворяющие слова. — Вы думаете, для меня все было гладко и легко? Узнать, что твой покойный муж имел ребенка, быть вынужденной общаться с такими, как эта...

— Я не имею в виду...

— Я наняла вас, Брэддок, не для того, чтобы вы видели обе стороны аргументов.

— Мистер Брэддок. И, собственно говоря, наняли вы меня именно для этого. Вы хотите, чтобы я установил правду, а не играл в вашего поборника.

— Это мои деньги, и вам платят. Вы будете делать то, что вам указывают.

— Я проделаю хорошую надлежащую работу или не стану делать ее вовсе. Пожалуйста, решите, что вам от меня требуется.

Опасный ход. Порой вспыхивающее во мне желание встать в позу было чревато риском. Конечно, я желал работать честно, но я желал и денег, хотя после мрачных предупреждений моего редактора я был бы рад, если бы проекту этому пришел конец. Ее идеальным ответом (по моему мнению) было бы, что она намерена заплатить мне солидную сумму, чтобы я убрался восвояси. К несчастью, мои благородные, мужественные слова произвели обратное действие. Она рассыпалась на моих глазах и тихо заплакала, а потому чисто инстинктивно я начал поддерживать и утешать, что, разумеется, только усугубило положение вещей. Я сунул ей носовой платок, к счастью, чистый. Затем я окончательно все погубил, взяв ее руку в свои и крепко сжав. Она ее не отдернула.

— Давайте пройдем на площадь и поищем, где бы сесть — предложил я. — Здесь на тротуаре слишкомлюдно.

Я увел ее на середину Рассел-сквер к маленькой палатке, обслуживающей клерков. Там я купил две чашки чая и одну подал ей. Я подумал, что, вероятно, она много лет не делала ничего столь экзотического

— она, никогда не делавшая ничего публично и ничего без слуг. Она с некоторым сомнением взглянула на старую надтреснутую чашку.

— Не беспокойтесь, — заверил я ее. — Это совершенно безопасно.

Она отхлебнула, поначалу ради меня, но затем с большей охотой.

— Прошу извинить мою грубость, — сказала она через пару минут. — И конечно, я вела себя ужасно с этой бедной женщиной. Я напишу и извинюсь. Пожалуйста, не думайте обо мне плохо. Меня все это так... так угнетает.

Я успокаивающе кивнул:

— Я понимаю. Нет, правда. Но пока мы в дружеском расположении духа, могу ли я возобновить просьбу, чтобы вы начали говорить мне правду?

Вспышка в ее глазах ясно показала, что усмирена она была отнюдь не окончательно. Я нажал, пока время еще не прошло.

— Мистер Корт, — сказал я.

— Что именно?

— Генри Корт возглавляет правительственный шпионаж. Мне его охарактеризовали как самого влиятельного и опасного человека в стране.

— Генри? — сказала она. — О, не думаю...

— Вы знакомы с ним много лет — так вы мне говорили. Я не верю, будто вы не замечали, что он совсем не тот, каким кажется.

Она призадумалась.

— Я думаю, что вы тоже были не вполне откровенны со мной, — возразила она. — Помнится, я спросила, почему Генри вас интересует, а вы ответили, что просто кто-то упомянул его фамилию. Не вижу, почему я должна быть откровенной с вами, если вы притворяетесь передо мной.

Неоспоримо.

— Ну хорошо. Говоря вкратце, Генри Корт наведлся в полицию через пару часов после смерти вашего мужа, и, возможно, именно он повинен в сокрытии известия о ней почти на трое суток. Тем временем банк «Барингс» принял меры, чтобы поддержать цену акций «Инвестиционного траста Риальто», который был финансовым инструментом вашего мужа для контроля над значительной частью британской индустрии.

— Я знаю, что такое «Риальто».

— Корт, кроме того, одно время работал в «Барингсе», — продолжал я. «Барингс» же, мы теперь знаем, выплачивает ежегодную ренту синьоре Винкотти. Я отказываюсь поверить, будто старый друг, с которым вы знакомы двадцать лет и больше, скрывал все это от вас.

Она тихо улыбнулась.

— Разумеется. Вы совершенно правы. Я не упомянула про это, так как не знала о его причастности, когда Джон умер. Кроме того, мистер Корт и я вовсе не близки.

— Значит ли это, что вы не нравитесь друг другу?

— Если хотите.

— Но почему?

— Это вас не касается. Джон вел с ним дела по необходимости, но я настаивала, чтобы ко мне это отношения не имело.

Я обдумал ее слова. Мне они ничуть не помогли.

— Почему? То есть какие дела?

— Джон производил оружие, правительство покупало его. Естественно, у них были общие интересы. О большем меня не спрашивайте. Я не знаю.

— Как вы познакомились с вашим мужем? Каким он был?

Она улыбнулась дорогим воспоминаниям.

— Он был добрейшим человеком, какого только можно вообразить, самым лучшим из всех, кого я знаю, — начала она. — Его репутация такой не была, и я чувствую, у вас о нем сложилось иное мнение, но вы ошибаетесь. Человек с деньгами и властью и человек, который разделял мою жизнь, ничего общего между собой не имели.

Она помолчала, глядя на площадь, на всех нормальных людей, неторопливо идущих или спешащих через нее. Судя по их виду, некоторые на время оставили читальню Британского музея, другие шли из магазинов и контор Холборна. Я даже надеялся — опять-таки признак, на который мне следовало бы обратить больше внимания, — что, быть может, бывлой коллега с Флит-стрит пройдет тут и увидит меня. То есть увидит меня с ней, собственно говоря.

— Я познакомилась с ним в поезде, — продолжала она, пока эта приятная и опасная фантазия мерцала у меня в уме. — В Восточном экспрессе.

— Правда, что у него был собственный вагон?

Она засмеялась, теперь с большей легкостью.

— Нет, конечно, нет. Я же вам говорила, что вкусы у него были самые невзыскательные. Разумеется, у него было отдельное купе. Не слишком приятно соседствовать с совершенно чужими людьми, если можно этого избежать. Показная роскошь была бы вредна для его дел; обычно во время таких поездок он старался выглядеть незаметным.

Может быть, она действительно его любила. Она улыбалась мелькающим воспоминаниям, образы мужа дарили ей радость, мысль о его смерти погружала в горе. Я предполагал брак по расчету, взаимное

расположение в лучшем случае. Богатый мужчина ищет красивую молодую женщину совершенно так же, как породистую лошадь или дорогостоящую картину. Разве это не так? А красивая молодая женщина предвкушает обеспеченное положение и роскошь. Без нежных привязанностей. Их (как я понимал) им приходится искать на стороне. Может, тут было иначе.

— Понимаете, Джон был столь же прост и в своих привязанностях. Он считал себя умудренным опытом, искушенным во всем, и в бизнесе, конечно, он и был таким. Но галантности в нем не было ни капли, он понятия не имел, как соблазнять, или обольщать, или казаться кем-то, кем он не был. Простота его природы меня очаровала.

Она посмотрела на меня и улыбнулась.

— Вижу, я вас удивила, — сказала она. — Вы думаете, меня привлек бы элегантный светский лев. Красивый, атлетичный, искушенный.

— Пожалуй.

— Боюсь, вы ничего не понимаете, мистер Брэдок. Ни меня. Ни женщин вообще.

Она сказала это мягко, как нечто само собой разумеющееся, но все равно я густо покраснел.

— Кто-то заметил, что оба вы нашли друг в друге ровню.

Она засмеялась.

— Кто, во имя всего святого, мог сказать такое?

— Мистер Ксантос. Вы его знаете?

Она кивнула.

— Не очень хорошо. Но мы часто встречались.

— Так что, его мнение верно?

— Ну, я вряд ли могу претендовать, что была ровней Джону. Что он еще вам говорил?

— Ну, что одно время вы были самой влиятельной женщиной во Франции или что-то в этом роде.

Тут она расхохоталась и чуть не захлебнулась своим чаем. Ее глаза искрились смехом, когда она осторожно поставила свою чашку и поглядела на меня.

— Боже праведный, — сказала она немного погодя. — Какая умопомрачительная идея. Да как только она могла прийти ему в голову?

— Он сказал, что вы были хозяйкой светского салона или что-то вроде.

— И это сделало меня самой влиятельной женщиной Франции?

— По-видимому.

— Ну, нет, — сказала она, все еще широко улыбаясь.

Пожалуй, я впервые увидел ее смеющейся искренне и раскованно. Она преобразилась.

— Нет, боюсь, что нет. У юной девушки из Венгрии не было ни малейшего шанса занять подобное положение в Париже. То есть если она дорожила своей репутацией.

— Простите?

— Некоторые из самых знаменитых салонных дам были куртизанками, во всяком случае тогда, не знаю, как теперь. Очень дорогими, но все же... Надеюсь, вы не думаете...

— Нет-нет! Разумеется, нет, то есть...

Я был красен как рак. Я чувствовал, как даже корни моих волос горят от смущения. Она смотрела на меня, смакуя мою растерянность, но затем тактично перевела взгляд на площадь, пока я справлялся с собой. Однако я видел, как подергиваются ее губы.

— Мистер Бартоли оказывает вам помощь? — спросила она, меняя тему.

— Мистер Бартоли меня не одобряет. Он дал понять, что помощь его будет самой минимальной.

Она подняла бровь.

— Предоставьте это мне, — был ее единственный ответ, и я понял, что мистер Бартоли доволен не будет.

— Я спрашивал про заботы вашего мужа.

— Про них мне ничего не известно. Знаю только, что последние месяцы перед смертью он был очень занят. Я упрекала его, говорила, что в его возрасте ему следует работать не больше, а меньше. Но он ответил, что таковы законы бизнеса и, если возникает что-то важное, нельзя откладывать из-за того лишь, что ты стареешь. К тому же он всегда утверждал, что работа сохраняет его молодым, и, думаю, в этом что-то было. Его разум ничуть не слабел, и не было никаких намеков на нездоровье.

— А это что-то важное?

— Скажите, мистер Брэдок, почему вы задаете столько вопросов о смерти моего мужа?

— Думаю, вы прекрасно понимаете почему, — сказал я. — Эти документы, исчезнувшие, когда он умер. У меня есть два пути вперед. Либо искать ребенка, либо искать документы, которые выполняют работу за меня. Поскольку по природе я ленив, то в первую очередь исчерпаю второй вариант. Кроме того, я даже не знаю, когда этот мальчик (или девочка) появился на свет. Очевидно, если произошло это в прошлом году, подход

требуется один, а если десять или двадцать лет назад, тогда совсем другой. Вы правда не знаете...

— Нет, — сказала она негромко и немного печально. — Абсолютно ничего. Это чистая правда.

Глава 14

Я сознаю, что в моем рассказе я мало сообщил о моей собственной жизни. Отчасти потому, что хочу поведать историю лорда Рейвенсклиффа, но главным образом потому, что сообщить мне особенно нечего. Жизнь репортера означала немереные рабочие часы: нередко я даже не возвращался в свое жилище, чтобы пообедать. И часто просыпался и уходил, когда миссис Моррисон еще не начинала готовить завтрак. Обедал и ужинал я в пабе или в баре; круг моих знакомств, если не считать других жильцов и коллег-репортеров, был очень ограничен. Я недолго принадлежал к кружку достойных социалистов, которые собирались для обсуждения книг о язвах капитализма, но я пропускал так много встреч и так редко находил время, чтобы прочитать книгу, выбранную для обсуждения, что постепенно вообще перестал ходить на собрания.

Родных поблизости у меня не было; мои родители жили в Мидлендсе, а я был единственным членом семьи, покинувшим мой родной город. Думается, я был первым в чреде бесчисленных поколений, кто удалился от центра Ковентри дальше чем на десять миль. Мы были не слишком близки, мое желание попытаться счастье в Лондоне было для них совершенно непостижимым. Как и для меня. Я не понимал, почему так жаждал уехать. Я знал только, что, если останусь, то кончу, как мой отец, клерком в конторе или как мои братья, тратящие свои жизни на фабриках и заводах этого города, потому что не посмели выбрать что-то еще. Я не поклонник приключений, но эта перспектива приводила меня в такой ужас, что я был готов проглотить свои страхи. Окончив школу, я год проработал в местной газете и внушил себе, что отлично справляюсь; еще лучше — я сумел внушить такое мнение другим настолько долго, что получил рекомендацию. Вооружившись ею и пятью фунтами, полученными от отца — который лучше, чем я тогда, понимал, почему я не хотел быть похожим на него, — я вскочил в лондонский поезд.

Ухнули два месяца и почти все мои деньги до того, как я получил первую работу — обслуживать страницу объявлений о светских событиях в «Кроникл». Позднее я перешел на футбол, на некрологи и почти через год мне наконец выпала удача. Репортер по криминалу был пьяницей выше среднего и валялся без чувств на тротуаре перед «Уткой», когда случились Мэрилбоунские убийства. Я вызвался заменить его, и Макьюэн согласился. Вне себя — подобные шансы выпадают редко — я чуть было не ляпнул:

«Позвольте мне, Кокс опять напился». Это поставило бы на мне крест. Но я энергично подчеркивал, что понятия не имею, где сейчас бедняга, и сказал, что, конечно, он занят сбором материала. Я буду замещать его, пока он не вернется.

Так и произошло, потому что он не вернулся. Макьюэну мое ябедничество не требовалось. Он прекрасно знал, какой материал собирает Кокс, и его терпение в конце концов лопнуло.

Я справился хорошо, посмею сказать, отлично, учитывая мою неопытность. Мне было велено продолжать, пока не найдется достойная замена, но она так и не нашлась. Постепенно редакторский интерес увял, и я продолжал заменять репортера по криминалу еще год, пока кто-то не вспомнил, что мне вообще заниматься этим не положено. Тогда меня повысили, назначили на соответствующую должность и велели продолжать.

Произошло это пять лет назад. В свое время я мечтал быть репортером лондонской газеты, и теперь я им был. Казалось бы, мое честолюбие должно быть удовлетворено. Но какой великолепной ни представляется работа, пока ее не имеешь, при более близком знакомстве она редко сохраняет свой блеск. Эта жизнь начала мне наскучивать, и даже самое зверское убийство казалось чуточку занудным. Но я пока еще не наметил новой цели, которая вновь разожгла бы мое честолюбие. Вот почему совершенно помимо денег я практически без колебаний принял предложение леди Рейвенсклифф.

Что до дела Рейвенсклиффа, мне требовалось тщательно осмотреть его кабинет. Может быть, документы все-таки там. Может быть, какой-нибудь дневник или письмо обеспечат всю требуемую мне информацию и решат задачу за несколько секунд. Я сомневался в этом. Его вдова была не настолько уж беспомощной, что умудрилась бы не найти их, и у нее были основательные причины искать тщательно. Я уже знал, что большая часть бумаг относится к финансам, что я могу потратить на просмотр их дни и дни, но скорее всего пропущу жизненно важную информацию, даже если она имеется. А потому я решил привлечь к делу Франклина.

Это оказалось непросто. И не потому, что он не хотел, но потому, что у него было мало свободного от работы времени. С восьми утра до семи вечера он трудился в банке, каждый день, шесть дней в неделю... А по воскресеньям он значительную часть времени проводил в церкви. Первоначально я думал, что тут кроется какой-то расчет. Франклин посещал церковь, среди прихожан которой были виднейшие банкиры Сити, и проделывал пару миль, чтобы попеть и помолиться в ней, хотя ему было

бы достаточно пройти сотню ярдов за угол до Святой Марии в Челси. Но ее посещали только лавочники и квартирные хозяйки. Однако со временем я понял, что был несправедлив к нему. Многие люди выбирают церковь, в которой обретают духовный приют. Одни ходят в старинные красивые храмы; некоторые выбирают церковь с хорошей музыкой; другие предпочитают красноречивого священника и ученые проповеди. Франклин убедился, что погружение в ауру денег пробуждает в нем религиозное благоговение. Сидя среди индивидов, манипулирующих десятками миллионов фунтов, он осознавал бесконечные возможности милости Бога и сложности Его Творения.

Звучит как искажение основ христианства. Игольное ушко и все такое. Но таков был характер Франклина, иначе он не мог. Как некоторые люди неспособны любить женщину, если она некрасива, так Франклин был способен воспринимать божественность только как бесконечное движение капитала. Его благочестивость не умалял столь странный ее источник, точно так же, как любовь мужчины к женщине не становится менее страстной от того лишь, что она для полного расцвета нуждается в солидном наследстве. Он верил, что богатые лучше бедных как люди и что пребывание возле них делает и его лучше. Богатство было и свидетельством милости Бога, и обеспечивало средства исполнять Его волю на земле.

Гарри Франклин, поймите, без малейшей запинки примирял Бога, Дарвина и Маммону; более того — каждый зависел от остальных двоих. Естественный отбор означал триумф самых богатых, что входило в Его план для человечества. Накопление было божественным повелением и как знак милости Бога, и как способ заработать еще больше благоволения. Правда, Христос был плотником, но живи Он в начале двадцатого столетия, Мессия, по убеждению Франклина, уделял бы достаточно внимания курсам Своих акций, неуклонно расширял бы Свой бизнес по изготовлению дорогой мебели, одновременно осваивая новейшие методы массового производства, получая дополнительный капитал игрой на бирже. Затем Он назначил бы управляющего, чтобы, освободив Себя, получить досуг для выполнения Своей миссии.

Неизбежно, я полагаю, мысль о том, что он будет допущен в священные кущи, где прежде ступали ноги верховного капиталиста эпохи, возобладала надо всем. Собственно говоря, самая идея Рейвенскилффа ввергала его в трепет, и когда утром в воскресенье он явился в дом на Сент-Джеймс-сквер, таким изнервничавшимся я его еще не видел. Он, казалось, съезжился, когда нас впустили, благоговейно озирался, пока мы

поднимались по лестнице, на цыпочках ступал мимо дверей парадных комнат второго этажа и не промолвил ни слова, пока я категорично не закрыл за нами дверь рейвенскиффовского кабинета.

— Мне не хочется нарушать твои грезы, — сказал я, — но не могли бы мы начать?

Он кивнул и тревожно посмотрел на стул — тот самый стул, — некогда покоивший божественную задницу, пока ее собственник штудировал свои книги. Я заставил его сесть на этот стул у письменного стола. Просто чтобы его помучить.

— Я буду читать письма, если ты займешься всем, где имеются цифры.

— Так что мне искать?

Он уже спрашивал меня об этом. Несколько раз, собственно говоря. Но до сих пор я избегал отвечать ему. Хотя я получил разрешение леди Рейвенскифф использовать его, мне не было дозволено сказать ему точно, в чем, собственно, вопрос.

— Мне нужно, чтобы ты высматривал какие-нибудь любопытные выплаты, — сказал я, споткнувшись. — Ничего связанного с его бизнесом, хотя, если желаешь, можешь знакомиться и с этим. Я хочу получить представление о том, как он тратил свои деньги. В надежде, что это подскажет мне, каким он был. Покупал ли картины? Делал ставки на лошадей? Сколько на вино? Жертвовал ли он деньги на благотворительность, или на больницы, или одалживал их друзьям? Был ли у него дорогой портной? Сапожник? Нарисуй мне финансовый портрет этого человека. Мне нужна любая информация, поскольку никто, с кем я разговаривал до сих пор, ничего путного мне не сказал. Только банальности. Я пока почитаю остальное и погляжу, не отыщется ли там что-либо.

Мысль о столбцах цифр несколько успокоила Франклина, хотя вторжение в частные документы Рейвенскиффа его пугало. Как и меня. Но где-то в этих бумажных кипах мог прятаться самородочек, который ответит на все мои вопросы. Я повторно обыскал кабинет накануне, но опять ничего не нашел.

Итак, мы взялись за работу, каждый на свой манер. Я работал как репортер: тратил десять минут на чтение, затем вскакивал и смотрел в окно, напевая себе под нос. Брал стопку, затем следующую, более или менее наугад, надеясь, что удача мне улыбнется и я наткнусь на что-то интересное. Франклин, по контрасту, трудился, как банкир, начиная с верхней строки первого листа и без пауз прорабатывая всю стопку, а затем берясь за следующую. Цифра за цифрой, столбец за столбцом, папка за

папкой. Он сидел неподвижно и невозмутимо, коротко что-то записывая в блокноте перед собой. Ни звука, ни шороха, он словно был погружен в сон — и в сон счастливый.

— Ну? — спросил я примерно полтора часа спустя, когда терпение мое иссякло. — Ты что-нибудь нашел? Я — нет.

Франклин поднял ладонь, требуя тишины, и продолжал читать. Затем сделал еще одну краткую запись.

— Что ты сказал?

— Спросил, что ты сумел отыскать.

— Я только приступаю, — начал он. — Ты не можешь ожидать...

— Я и не ожидаю. Но мне требуется перерыв. Ты имеешь представление, какой у него был скверный почерк? Каждое слово — пытка. Мне необходимо отвлечься на несколько минут. Дать отдохнуть глазам.

— Я могу прочесть их в следующий раз, — предложил он. — А это, напротив, увлекательно. Просто завораживает. Но подозреваю, для тебя тут ничего нет.

Я застонал. Худшее обоих миров: Франклин намеревался поведать мне о курсах акций.

И поведал. Через пару минут я мысленно ускользнул из кабинета, пока он лирично воспевал привилегированные акции, и выплаты дивидендов, и операции на бирже.

— Не так надежно, как все полагали, видишь ли, — продолжил он некоторое время спустя. Через десять минут или час, я не мог бы сказать.

— Что именно?

Франклин насупился.

— Да ты слушал?

— Конечно, — ответил я твердо. — Я вбирал каждое слово. Просто мне требуется краткий вывод. Я журналист, не забывай. И не люблю детализации.

— Ну хорошо. Краткий вывод. Предприятия Рейвенсклиффа в Англии жгли наличность. Он высасывал деньги из оборота в феноменальном масштабе почти год.

Я с надеждой уставился на него. Это было больше по моей части. Это я был способен понять. Рука, запущенная в кассу, чтобы оплачивать вино, женщин и песни. Игорные проигрыши. Скачки. Прыжок из окна, чтобы избежать позора разорения. Какое разочарование!

— Сколько?

— Примерно три миллиона фунтов.

Я поглядел на него с ужасом. Это сколько же скаковых лошадей?

— Ты уверен?

— Вполне. То есть я просмотрел отчеты за прошлые семь лет. Они очень сложны, но у него был личный итог за каждый год с учетом всех его операций. Полагаю, никто другой их не видел. Без них я вряд ли обнаружил бы, чем он занимался. Но они абсолютно ясны. Хочешь, я покажу тебе? — Он взмахнул толстой папкой с пугающего вида бумагами в мою сторону.

— Нет. Просто расскажи.

— Хорошо. Если взять сумму наличности в начале года, прибавить полученную наличность, вычесть стоимость операций и другие расходы, то получишь сумму наличности к концу года. Это ты понял?

Я осторожно кивнул.

— Официальный отчет использует одну цифру. Эти, — он снова помахал папкой, — используют другую, совсем не похожую. Все акционеры, за исключением Рейвенсклиффа, явно знавшего правду, верят, будто предприятие располагает куда большими деньгами, чем на самом деле. Три миллиона, сказал бы я.

— И это означает?

— Это означает, что стоит этому выплыть наружу, не только «Риальто», но все компании, акции которых ему принадлежат, обрушатся камнепадом, если ты меня понимаешь. — Франклин словно вдруг смутился. — Компании не обанкрочены, но стоят куда меньше, чем считают люди, включая и вот этих людей.

Я взглянул. Это был список фамилий с цифрами. Премьер-министр, министр иностранных дел, канцлер, виднейшие консерваторы. И многие другие члены парламента, судьи и епископы.

— А цифры рядом?

— Доли их акций в «Риальто». Помножь на цену. Премьер-министр в случае краха потерял бы почти одиннадцать тысяч фунтов. Лидер оппозиции — почти восемь.

— Достаточная причина, чтобы привлечь «Барингс» для поддержки.

— Более чем.

— Так что делать мне?

— Держать рот на замке. Если тебе требуется что-то делать, попытайся узнать, не продавал ли кто-нибудь из списка свои акции. У меня есть сбережения в семьдесят пять фунтов, и тридцать пять из них вложены в «Инвестиционный траст Риальто». Утром в понедельник я первым делом продам их. Чтобы накопить столько, мне потребовалось четыре года, и я не собираюсь их потерять. Думается, любой, кто знал про это, сделал то же.

Он готовился защищать свой запасец на черный день. Что до меня — ни пенни сбережений. Пока еще. Однако я легко мог вообразить, что почувствовал бы при угрозе лишиться плодов жестокой экономии на протяжении нескольких лет.

— Так куда девались эти деньги?

Он пожал плечами:

— Понятия не имею.

— И больше тебе нечего сказать? Представить себе не могу, что такая колоссальная сумма канула в никуда.

— Абсолютно согласен. Но об этом тут нет ничего. Во всяком случае, я не сумел ничего найти. Я же сказал тебе, что не закончил. И нескольких папок не хватает. Эту я нашел только потому, что она была не на своем месте.

— Так что мне делать?

— На твоём месте я бы забыл, что вообще её видел. Если ты словечко пикнешь, то породить такую финансовую бурю, какой Лондон не знал уже десятилетия.

Я видел, что он упивается этим соприкосновением с оккультными тайнами великих мира сего. В отличие от меня. Я понимал куда лучше, чем он мог предположить, с чем мы столкнулись. Он был прав: мне следовало все бросить. Забыть. Но я же был репортером. Я хотел узнать, что происходит, куда ушли деньги. То, что с ребенком Рейвенклиффа это никак связано не было, значения не имело. Я начисто забыл про маленького поросенка.

Франклин вернул меня к реальности.

— Мне пора, — сказал он. — Надо успеть в церковь.

Право, не знаю, как он мог думать о подобном, когда нашел доказательство, что те, с кем ему нравилось соседствовать на церковных скамьях, были не совсем тем, чем казались. Но Франклин по натуре не мог допустить, чтоб один грешник поставил под сомнение все его мировосприятие. Я подозревал, что он будет лихорадочно молить Бога, чтобы тот явил ему милость на следующее утро, дозволив выручить хорошую сумму за его ординарные акции «Риальто».

Я кивнул. Он ушел, но не без того, чтобы напомнить мне свой совет.

— Еще одно, — добавил он, открывая дверь. — Папки три-двадцать три. Личные расходы. Загляни в них. Помимо всего прочего, милорд последний год поддерживал Интернациональное братство социалистов.

Следующий час я сидел в кабинете Рейвенклиффа в дремотных грезах, иногда отрываясь, чтобы заглянуть в заметки Франклина. И с большим

успехом. Хотя, разумеется, не обнаружил никакой значимой новой финансовой информации. Куда мне! Но во всяком случае, я сумел понять кое-что. И, сравнивая почерки, я установил, что документы об истинном положении «Риальто» подготовил для Рейвенсклиффа Джозеф Бартоли, его правая рука. Мое простое решение задачи — просто спросить у Бартоли, что происходит, — увяло. Если Бартоли был участником некой сложной аферы, вряд ли я могу рассчитывать на его откровенность.

В конце концов я эту папку положил и взял 3–23. Это, как и сказал Франклин, были записи личных расходов Рейвенсклиффа — документ именно того рода, какой мне следовало проштудировать. Если имелись какие-то выплаты на незаконнорожденных детей, зафиксированы они должны быть тут, погребенные среди перечислений расходов на одежду, обувь, домашнее хозяйство, еду, жалованье слугам и так далее. Списки восходили аж до 1900 года, и многие графы были неясны. Через какое-то время я понял, что детальное штудирование ничего не даст: целая классная комната байстрюков могла прятаться под заголовками «прочие расходы» (1907; 734 ф. 17 ш, 6 п.). Из этого следовало только, что, по меркам богатеев (хотя, возможно, и не такого богатея, как я воображал), Рейвенсклифф вовсе не был расточителен. Самой большой статьей его расходов была жена (1908; 2234 ф. 13 ш, 6 п.), и на книги он тратил больше, чем на одежду. Выплаты, о которых упомянул Франклин, были на отдельном листе вверху папки. Несложные для понимания под заголовком «Предварительный список выплат Интернациональному братству социалистов». Тут никаких неясностей. Еще список дат и сумм. Любопытно. Немалые деньги. Почти четыреста фунтов за прошлый год. И они не фигурировали в более детализированных записях расходов на листах под ним. И с какой, собственно, стати человек вроде Рейвенсклиффа снабжал деньгами сообщество, которое, надо полагать, посвятило себя сокрушению всего, что знаменовал он? Снизошло ли на него озарение, будто на дороге в Дамаск? Не тут ли объяснение высасыванию денег из собственных компаний? Я вернулся к ежедневнику его встреч. И там кратенько за несколько дней до его смерти было записано: «Ксантос — см.».

Инстинктивно мне Рейвенсклифф не нравился, но я начал находить его завораживающим. Книгочей, меценат социалистов, обзаведшийся байстрюком капиталистический аферист. Уилф Корнфорд в «Сейде» сказал мне, что он занимался только деньгами, денежный мешок, и ничего больше. Но он начинал выглядеть не только им, совсем-совсем не только. И даже с избытком, собственно говоря.

— Мне сказали, что вы еще здесь, — услышался голос леди Рейвенклифф от двери.

Я поднял голову. В комнате сгустилась темнота, и я взглянул на часы на каминной полке. Почти восемь. Неудивительно, что мне было не по себе. Меня грыз голод. Только и всего. Большое облегчение.

— Заработался, — сказал я весело.

— И что-нибудь обнаружили?

— Касательно главного вопроса — нет, — сказал я, отвлекаясь от исчезнувших миллионов и решая последовать совету Франклина. — Всего лишь мелочи, пробудившие во мне старого любопытствующего журналиста.

Я вручил ей лист про «Братство». Она пробежала его глазами, очень мило подняв бровь, затем ее взгляд вернулся ко мне.

— В свои последние месяцы ваш муж не расхаживал, призывая к мировой революции? — спросил я. — Не сообщил дворецкому над блюдом из риса под красным соусом, что собственность суть кража и ему пора сбросить свои цепи?

— Нет, насколько я знаю. За завтраком он редко что-нибудь говорил. Он читал «Таймс».

— Тогда это странновато, вам не кажется?

Она снова посмотрела на лист.

— Действительно. Вы что-нибудь слышали об этих людях?

— Нет, — сказал я с некоторой досадой.

Хотя слышал — правду: такие люди обсуждались на собраниях моего читательского кружка социалистов. Если бы такое признание могло испугать ее, я, пожалуй, упомянул бы про это, но, я подозревал, что оно не вызовет ничего, кроме презрения или даже жалости. Преданные идее люди в потрепанной одежде в замызганной комнатухе дебатировали о положении вещей, изменить которое у них нет власти. Ну, так это выглядело.

— Полагаю, революционная группа какого-то толка, — сказал я неуклюже.

— Как странно! — Она отбросила лист и переключила тему. — Я подумала, что вы ведь не ели. И может быть, не откажетесь пообедать? Я не в настроении искать общества, но мне не хочется обедать одной. Вы окажете мне большую любезность, если согласитесь.

Я поднял глаза, наши взгляды встретились, и мой мир изменился навсегда.

Я был парализован, я буквально не мог шевельнуться. Казалось, я не

просто смотрю ей в глаза, но заглядываю глубоко ей в душу. Меня будто ударили кулаком в живот. Как это выразить? Леди Рейвенскифф исчезла из моего сознания, ее сменила Элизабет. Лучше описать преобразование моего восприятия я не способен. Полагаю, причастны тут были и ее хрупкость, и ее гордость, так же как ее красота, и ее голос, и то, как она двигалась. Прядка темно-каштановых волос, упавшая на ее левый глаз, решала все, как и легкий намек на ключицу над верхним краем ее темного платья. С ней что-то произошло, казалось мне, хотя я не мог бы сказать, было ли это реальностью или просто отражением того, что творилось в моей голове. Я не мог бы сказать, правда ли вижу что-то или лишь вообразил то, что хотел увидеть. В конце концов я отвел глаза, и если бы в эту секунду мне потребовалось сделать движение, не знаю, сумел бы я сделать его без трепета.

Я понятия не имел, что произошло, а вернее, как это произошло. Не знаю этого и теперь. Естественно, я сознавал, насколько это нелепо. Чтобы я, молодой двадцатипятилетний человек, был сражен женщиной старше меня почти на двадцать лет, аристократкой, моей нанимательницей, недавно овдовевшей. Женщиной, все еще искренне оплакивающей мужа, чья ежегодная сумма на карманные расходы далеко превосходила то, что я был способен заработать в ближайшие десять лет. Что могло быть смехотворнее?

Тут я осознал, что, хотя я и надеялся, что Элизабет ничего не заметила, она тоже умолкла и смотрит не на меня, а на огонь.

— Вы устали, — сказал я, стараясь взять сердечный тон, но не подавив нервозности. — Вы очень добры, что пригласили меня, но мне правда надо попробовать разобраться с этим вопросом завтра же.

Я хотел уйти из этого дома, уйти от нее как можно скорее. Я с трудом удержался, чтобы не кинуться стремглав к двери.

Она снова посмотрела на меня и бледно улыбнулась.

— Хорошо. Я пообедаю одна. Вы вернетесь с вашими открытиями?

— Только если будет о чем рассказать. Я не хочу отнимать у вас время по пустякам.

Мы встали, и я пожал ей руку. Она не смотрела на меня, а я на нее.

Я обливался потом, когда вышел на улицу, хотя воздух был прохладным. Меня томило ощущение, будто я только что спасся из доменной печи или от какой-то смертельной опасности. Всю дорогу домой ее лицо, и ее духи, и ее улыбка, и эти глаза кружили в моих мыслях и отказывались подчиняться моим требованиям оставить меня в покое. Они же фантомы, не более. В эту ночь я опять спал плохо.

Глава 15

Я не стану описывать следующий день. Не потому, что он не был интересным, но потому, что любое действие требовало невероятного усилия воли, когда я хотел лишь сидеть, смотреть перед собой и перебирать мысли, которые мне никак не следовало допускать в голову. И в шесть часов, когда я опять вошел в этот дом, я понимал, что весь день был потрачен, чтобы убивать время в ожидании мгновения, когда я смогу ее увидеть снова. И в нежелании этого, так как все, что могло произойти, должно оказаться разочарованием после вчерашнего вечера. Пусть даже тогда ничего и не произошло.

Она приняла меня; мы поговорили о том, что никакой важности не имело. В нашем разговоре пряталась неловкость, которой я прежде не замечал. Я не мог говорить с ней, как нанятый, как кто-то, выполняющий для нее работу, как эксперт в порученном мне деле. Но никакого другого тона я принять не смел, да и в любом случае не имел для этого достаточно опыта.

После особенно длительной паузы, на протяжении которой огонь в камине словно бы обрел чрезмерную значимость для нас обоих — это было лучше, чем избегать глаз друг друга, — она вновь обернулась ко мне.

— Могу я задать вам вопрос?

— Конечно.

— Вчера вечером вы хотели меня поцеловать?

Я не знал, что ответить. Сказать правду? Это изменило бы все абсолютно; я бы уже не смог стоять перед ней и разговаривать нормально. И я все еще не знал, как ответит она. Как я упоминал, пути аристократов, и иностранцев, и женщин, все еще были для меня тайной. Я абсолютно ее не понимал; я не мог отделить то, что думал, от того, что хотел думать. Я знал только, что внезапно опять дыхание у меня перехватило, а сердце заколотилось даже сильнее, чем в прошлый вечер.

— Да, — сказал я после долгой паузы. — Очень. — Снова долгое молчание. — Как вы поступили бы, если бы я сделал это?

Она улыбнулась, но только чуть-чуть.

— Я бы поцеловала вас в ответ, — сказала она. — Я рада, что вы удержались.

У меня упало сердце. Мой малый опыт ограничивался девушками, которые либо хотели поцелуя, либо нет. А не женщинами, которые одновременно хотели и не хотели. Но я знал, что она подразумевала.

— Миледи...

— Полагаю, что в данных обстоятельствах вы можете называть меня «Элизабет», — ответила она, — если хотите. И еще я думаю, что будет лучше перестать говорить об этом. Нам обоим ясно, что отношения между нами изменились. Было бы глупо не признать этого в какой-то мере.

«Но, — хотелось мне спросить, — как они изменились? Что я должен сделать? Чего вы хотите от меня?»

— Вы, наверное, думаете обо мне очень дурно. Я сама очень шокирована, хотя не так сильно, как следовало бы. Я безнравственная иностранка, и кровь сама говорит за себя. Но это не значит, что я чувствую себя свободной следовать своим желаниям.

Ну хоть что-то, хотя я не знал что. Голова у меня шла кругом от всевозможных объяснений. То ли женщина, обезумевшая от своей потери, бросающая вызов судьбе, позволяя себе подобные мысли, сознательно ведя себя так. То ли женщина, которая (так я предположил) много лет ни с кем любовью не занималась и больше уже собой не владела. Я даже взвесил, что могу ей нравиться, что я единственный, кто способен предложить ей понимание. Что я единственный, кто хоть что-нибудь знает о том, что она может чувствовать. Это был самый опасный, самый коварный вариант.

— Мэтью?

Она что-то сказала?

— Простите, — сказал я. — Я немного отвлекся.

— Я сказала: пожалуйста, сообщите мне ваши открытия.

Я чуть было не сказал: «Мои открытия? Да кто на свете ломаный грош даст за мои открытия!» Я хотел лишь объяснить ей, как хотел заключить ее в объятия и погрузить пальцы в ее волосы и чтобы она опять посмотрела на меня тем взглядом. Пропавшие дети, аферы, банкротящиеся компании, каким тривиальным вздором все это было в сравнении!

Но разговор вела она, а не я. И она лучше меня знала, как сохранять здравый смысл. Где она научилась этому? Как люди обретают интуицию, когда остановиться, а когда продолжать в подобных ситуациях? Или это просто возраст и опытность?

— А! Вы про них, — сказал я. — Ну, ничего интересного. Только пара моментов. Вы знаете, что «Инвестиционный траст Риальто» вскоре соберет ежегодное собрание?

— Нет.

— И тем не менее. Я подумал, что мне следует пойти, просто чтобы познакомиться с этими людьми. Мой ограниченный опыт в подобных вещах подсказывает, что ничего интересного произойти не должно, но как знать? И вы помните, миссис Винкотти сказала, что ее отец оставил ей кое-

какие деньги? Некоторую сумму, которую каждый месяц присылает «Барингс»?

Она кивнула.

— Это не ежегодная рента. Эти деньги посылал ваш муж. И, судя по ее словам, выплачивались они поквартально много лет. Записи имеются только за десять последних лет, но мы можем предположить, что с самого начала платил он.

Это ее как будто заинтересовало, но затем ее лицо вытянулось.

— Но чем это может помочь?

— Непосредственно — нет. Миссис Винкотти не может быть предметом наших розысков. Раз он платил ей деньги, то ему не потребовалось бы поручать душеприказчикам ее розыски. Она никак не может быть ни этим ребенком, ни его матерью. Объяснить эти выплаты я никак не могу и скажу только, что нам они не помогают. А потому я не намерен больше этим заниматься, если только какие-то новые факты не укажут на возможную связь.

— Видимо, жизнь Джона не была такой прямой, как я полагала, — сказала она. — Я не думала, что он имеет секреты от меня. Теперь, когда он умер, я ничего, кроме них, не нахожу.

Это, бесспорно, было самым большим секретом. Все мои инстинкты требовали развернуть это перед ней: ваш муж был обманщиком и аферистом. Он крал деньги собственных компаний в гигантском масштабе. Но как я мог сказать такое женщине с такими глазами? Если я промолчал, то не ради акционеров «Риальто».

— О Братстве, или как они там себя именуют, — сказал я торопливо, — я мало что узнал. Только группа эта, очевидно, настолько мала, что не представляет никакой угрозы дальнейшему маршу мирового капитализма, и состоит из таких фракционеров, что два года назад их за смутьянство вышвырнули из другой группы, именующей себя «Союзом Социалистической Солидарности». «Союз Солидарности», в свою очередь, вышел из «Интернациональной Организации Трудящихся»... ну, вы понимаете суть.

— Так сколько их там?

— Немного. Насколько я сумел установить.

— Интересными они тоже не кажутся, — сказала она спокойно. — Вы уверены, что это каким-то образом не связано с его репутацией капиталистического эксплуататора масс?

— Я ничего не могу предположить без дополнительной информации.

Она покачала головой.

— Пока оставьте это. Деньги невелики и, видимо, не имеют отношения к нашим розыскам.

— А мне уже было привиделся его давно утерянный сын в облике дикоглазого революционера.

— Но тогда ему было бы точно известно, кто он.

— Справедливо.

Она повернулась ко мне и взяла меня за руку.

— Мне необходимо разобраться с этим делом, — сказала она негромко. — Оно начинает меня преследовать. Мне нужно начать новую жизнь, а не тратить дни и дни, приводя в порядок прежнюю. Пожалуйста, помогите мне. Обещайте сосредоточиться на важном.

Конечно, я пообещаю. Что угодно. Вновь, пока она держала мою руку и смотрела на меня, я жаждал обнять ее и вновь не обнял. Но мое сопротивление уже убывало.

Глава 16

Я не целиком проигнорировал ее просьбу сосредоточиться на потерянном ребенке. Но на протяжении следующей недели мои розыски ничего не дали, и, кончив оттягивать, я сделал то, что делают в подобных обстоятельствах, — заплатил молодому человеку в регистратуре рождений и смертей, чтобы он просмотрел регистрационные книги неделю за неделей и месяц за месяцем, не был ли зарегистрирован ребенок с «Рейвенскилф» в графе «отец». Шансы, что это даст хоть что-то, практически равнялись нулю. В записи ставится фамилия ребенка, а этот почти наверное не носил отцовскую. Я навел справки у иностранных журналистов в Лондоне, как искать детей во Франции, Испании, Италии и других местах, и рассылал письма, прося о помощи. Опять-таки, это вряд ли могло принести результаты быстро даже в лучшем случае, но я решил выполнить свою работу досконально. Примерно неделю спустя осталась последняя возможность — написать во все сиротские приюты Европы. Я решил не браться за это как можно дольше.

Затем я возобновил свой интерес к деньгам Рейвенскилффа в немалой степени потому, что начал находить тему денег в целом завлекательной. Я проработал на леди Рейвенскилфф более месяца. На моем банковском счету теперь лежал 21 фунт, и каждую неделю мой доход настолько превышал мои расходы, что я даже завел привычку набрасывать столбики цифр, вычисляя, сколько я буду иметь в это время в будущем году или еще год спустя. Иметь деньги было куда интересней, чем не иметь. Я даже почти начал постигать (с низкой точки зрения), что движет людьми вроде Рейвенскилффа. И тут меня осенило: начало выкачивания Рейвенскилффом капиталов из компаний совпадает со временем, когда «Сейд» приступил к расследованию «Риальто» и внезапно его оборвал. Так решил владелец, Молодой Сейд, и было логично поразмыслить над ним.

Отец готовил его для их бизнеса, но, как сказал Уилф, склонностью к этому он не обладал. У него хватало ума не вмешиваться и предоставить все надежным людям, знатокам своего дела. Затем он отстранился, появляясь только на квартальных заседаниях правления, получая свои дивиденды и подписываясь на всех тех документах, которые требуют росчерка председателя. Если я создал образ типичного владельца компании второго поколения, медленно расточающего накопленное его отцом богатство на самоублажение и пустую роскошь, то образ этот был

абсолютно неверен. Ибо у Молодого Сейда имелась тайная жизнь. Он был англиканским приходским священником, найдя в этом свое призвание еще в юности. Только авторитет крайне решительного отца воспрепятствовал его рукоположению в ранней молодости, и едва авторитет этот исчез, Молодой Сейд принял сан почти с неприличной поспешностью. Странная смесь — церковные скамьи и кафедры с одной стороны, проверка корпорации с другой, но он, казалось, совмещал их безо всякого труда. «Церковный справочник Крокфорда» снабдил меня всеми необходимыми сведениями, чтобы его отыскать. Молодой Сейд жил в Солсбери.

— Я верю, что тружусь на Божьей ниве и там, и там, — сказал он с улыбкой, когда позволил мне войти (не без заметного колебания, надо отметить). — Сознание, что их грехи будут обличены, помогает и богатым людям соблюдать честность. А это значит, что с бедняками будут обходиться справедливее. И должен сказать, все то, что во время моего ученичества я узнал о людских слабостях и о соблазнах власти, было хорошей подготовкой для жизни в лоне Церкви.

Он мне понравился, чего я не ожидал, поскольку еле скрываемое неодобрение Уилфа заранее настроило меня против него. Однако Молодой Сейд (его отец скончался более десяти лет назад, но эпитет сохранился) произвел на меня впечатление. Более приходской священник восемнадцатого века, нежели член свежереформированной, мускулистой Англиканской церкви, — не для него проповедовать рабочим или туземцам. Нет, Сейд был счастлив оставлять людей в покое. Если к нему приходили, что же, прекрасно, но он не считал, что имеет право докучать людям без необходимости. Он крестил, бракосочетал и погребал своих прихожан; он читал свои книги и вел тихую, полную удовлетворения жизнь в обществе своей экономки, кота и друзей.

И издали следил за деятельностью своей компании. Вот почему я отправился на вокзал Ватерлоо и сел на утренний поезд в Солсбери.

Когда я оказался в его доме — прекрасной новой вилле на Мэнор-роуд, роскошной для приходского священника, но скромной для владельца компании, — и он распорядился подать мне чай, я сразу приступил к своей истории. В притворстве нужды не было. Поступить так с таким достойным человеком — ему тогда, видимо, было сорок с небольшим, и на его фигуре только-только начинали сказываться последствия беспечной жизни — казалось неблагоприятным. К тому же в поезде, глядя на проплывающие мимо уилширские пейзажи, я отрепетировал способы приступить к теме, не приступая к ней, если вы понимаете, о чем я, и не выбрал ни единого. Я не сумел придумать, как сформулировать вопросы так, чтобы получить

нужные мне ответы, избегая уточнений.

А потому я объяснил, что пишу биографию Рейвенсклиффа по поручению его вдовы, впрочем, предназначенную только для узкого круга. Я объяснил, что она открыла мне небывалый доступ ко всем его бумагам. Как некоторые не удалось найти. Как Уилф Корнфорд упомянул начатое «Сейдом» расследование около года назад, сразу же прекращенное.

Тут преподобный джентльмен словно бы встревожился. Но я тем не менее продолжал и сказал, что это крайне важно и что самое горячее желание вдовы — чтобы я узнал все, что только можно узнать.

— Это важно для моей работы, вы понимаете. Но это может также оказаться важным для душеприказчиков, то есть в зависимости от его содержания. Все это, видимо, крайне сложно.

— Да-да. И благодарение небу, что так. Иначе «Сейду» было бы вообще нечего делать.

— Значит, вы дадите мне заключение? Я так вам благодарен, и, разумеется, я буду соблюдать строжайшую...

Преподобный Сейд поднял ладонь.

— Боюсь, я не могу этого сделать, — сказал он мягко.

— Но почему?

— В Лондоне меня в моем клубе посетил человек, объяснивший, что он предпочел бы, чтобы это расследование прекратилось.

— И только потому, что некто совсем незнакомый...

— Вы тоже совершенно мне незнакомы, — сказал он. — И тот говорил гораздо убедительнее, чем вы.

— Как так?

Он беспомощно развел руками.

— И он работал на Рейвенсклиффа?

— Я решил последовать его просьбе.

— Но что он мог сказать такого, чтобы понудить вас? По какому праву?

Он опять ничего не ответил.

— Это заключение все еще у вас?

Он покачал головой.

— Я забрал все документы сюда. Две недели спустя мой дом был ограблен.

— Ах так, — сказал я негромко. — И вы думаете, Рейвенсклифф?

— Не знаю. Несомненно, это согласуется со всем, что мне известно про него. Он был ужасным человеком, мистер Брэдок. Абсолютно без принципов или чувства долга.

Атмосфера так сгустилась, что было трудно дышать. Сейд меня

напугал. Но и заморозил. Тут передо мной в воротнике священника сидел первый человек, который сказал о Рейвенскилле нечто отличное от клише. Справедливый, порядочный, замечательный муж, прекрасный начальник. Добрый. Волшебник во всем, что касалось денег. Все это повторялось без конца. Наконец я встретил человека с другой точкой зрения — и он не собирался объяснить мне почему. Я тут же решил, что не уйду, пока он мне не ответит.

— Как далеко продвинулось расследование?

— Не очень далеко. Не настолько далеко, чтобы в Лондоне кто-то мог понять, что к чему. Даже Уилф Корнфорд. Никто еще не собрал воедино все кусочки мозаики. Возможно, у них никогда не получилось бы, однако я собрал их, мистер Брэддок, — сказал он с вызовом.

— Я думал, вы ни к чему такому отношения не имеете.

— Мистер Корнфорд весьма низкого мнения о моей компетентности. Без всякого основания. Я много лет провел рядом с отцом до его кончины и очень много узнал о том, как оперируют современные компании. Кроме того, он учил меня, как толковать сводные балансы в возрасте, когда большинство детей играют или мучаются с неправильными латинскими глаголами.

— Вы должны сказать мне, что обнаружили. Должны!

Он покачал головой.

— Я сказал, кто я, — продолжал я в смутной надежде, что это что-то изменит. — Репортер, писатель. Я хочу правды, только и всего.

— Тогда вы очень наивны или очень смелы.

— Ни то ни другое. Если вы не хотите сказать мне, тогда ответьте на некоторые вопросы. Касалось ли ваше расследование того, как Рейвенскилл высасывал огромные суммы из своих компаний и обманывал своих акционеров?

Сейд замер, настороженно глядя на меня.

— Почему вы так говорите?

— Потому что он это делал, — сказал я бесшабашно. — Я обнаружил это. Началось это в тот момент, когда вы прекратили свои розыски. Поэтому? Это то, что обнаружили и вы?

Не лучший способ вести игру: пойти со всех своих козырей без гарантии получить что-либо взамен. Будь Сейд больше похож на Рейвенскилла, он бы улыбнулся, усвоил информацию и вновь отказался бы ответить. Возможно, такое намерение у него и было, но только он вообще ничего не сказал; нахмурился, судорожными, беспокойными движениями потер ладони, положил сахара в свой чай, затем несколько

секунд спустя добавил еще, отхлебнул результат и разом вернулся к действительности.

— Нет, — сказал он, — нет, вовсе нет. Но этим объясняется, почему кто-то был против расследования в тот момент. А вы знаете, почему он так поступал?

— Право, вы не можете ждать от меня ответов на ваши вопросы, если не отвечаете на мои. Это нечестно.

— Я пытаюсь защитить вас.

— Как и все, с кем я разговариваю. Такая доброта! Но мне не нужна защита. Мне нужно хорошо выполнить мою работу, на что опять-таки, по мнению всех остальных, я не способен.

— Гордость, э?

— Если хотите. Знаете, меня рекомендовали для этой работы, потому что мой редактор считает, будто я плохой репортер.

— Кто он?

— Макюэн. «Кроникл».

Это его как будто заинтересовало, но я продолжал:

— И с тех пор все разговоры начинаются с «почему вы?». «Почему вы?» «Почему вы?» Я этим сыт по горло.

— Фраза, достойная двенадцатилетнего подростка, — сказал он мягко.

Я смерил его свирепым взглядом.

— Но Макюэн прекрасный человек. Как любопытно! — Он впал в задумчивость и налил еще чая в чистую чашку.

— Вы считаете себя патриотом, мистер Брэддок? Лояльным англичанином?

— Естественно, — сказал я, несколько удивившись. — В такой мере, что никогда про это не думаю.

— Да, как и почти никто. Без сомнения, это изменится в будущие годы. А мистер Макюэн об этом думает. Прекрасный человек и надежный.

— Вы с ним знакомы?

— О да.

Перемена в нем была медленной, но явной. Если не считать одежды, от приходского священника в нем ничего не осталось. Мягкая медлительность манер сменилась сухой четкостью, на секунду меня ошарашившей.

— Расследование касалось кредитных линий, — начал он негромко. — То есть средств, которыми оплачиваются гигантские операции Рейвенскилфа. Всей структуры денежных потоков, кредитов, займов, которые он предоставлял, чтобы его продукцию покупали. Куда уходят деньги. Вам пока понятно?

— Он одалживает людям деньги на покупку его собственных товаров?

— В операциях Рейвенсклиффа вы видите материальную сторону. Заводы, продукция. Но есть еще одна сторона, банки и финансы. Деньги текли в банки, превращались в товары, которые продавались и превращались обратно в деньги. Никто толком не понимал этого, кроме него. Да никто и не способен, я полагаю. В этом главная цель. За последние два десятилетия Рейвенсклифф сотворил финансовую структуру настолько усложненную, что разобраться в ней практически невозможно.

— Но я читал отчеты.

— Нет, не знаю, что именно вы видели, но видеть вы могли только частичные отчеты. Прибыль или убытки одной компании ничего не означают. Так как они часть куда более огромного целого, которое раскинуто по всему миру. Вы знали, что Рейвенсклифф контролировал примерно шесть банков в Америке и Европе? Они были созданы исключительно для финансирования разнообразных сделок. Есть другие счета в других банках, десятки и десятки под контролем главного коммивояжера Ксантоса, существующие исключительно, чтобы совать взятку иностранным дипломатам, покупать президентов, оплачивать различные услуги.

— Я встречался с ним, — сказал я.

— И без сомнения, нашли его обаятельным человечком.

— А, да. Так и было. Вы намерены сказать мне что-то другое?

— Он мошенник, подкупающий тех, кто нуждается в подкупе. Сводник, поставляющий, когда требуется, проституток охочим государственным чиновникам. Вор, крадущий сведения о том, сколько другие компании предлагают за выгодный контракт. Жулик, фальсифицирующий сведения о качестве своих товаров. Что бы ни потребовалось сделать для получения заказа, мистер Ксантос сделает. Он торговец из караван-сарая с восточным отношением к правде. В этом была его ценность для Рейвенсклиффа, который смотрел в другую сторону, а потому не знал, каким способом получены те или другие заказы. О крупных подкупах Рейвенсклифф заботился сам. Я, знаете, сумел проследить все это. У каждого был свой почерк, и под конец я научился распознавать стиль каждого. Ксантос использовал несколько банков, главным образом «Банк Брюгге» в Бельгии, но также еще один в Милане и еще в Бухаресте, Манчестере, Лионе и Дюссельдорфе.

— Вы уверены?

Он не ответил.

— Мы начали распутывать все это, ниточку за ниточкой, но не

нащупали смысл. Вот что было загадочным. Для чего все это? Зачем он все так усложнил? Никто не сумел найти ответ. Уилф Корнфорд предположил, что все это было делом рук Гаспара Нойбергера, финансового директора, любителя сложностей ради сложностей. Но меня это не удовлетворило, и я продолжил.

— Надеюсь, вы не намерены перестать просвещать меня?

— Я расскажу, если вы хотите.

— Безусловно.

— Вы знаете, что такое субмарина?

— Конечно.

— Бесуикская верфь сконструировала одну из ранних достаточно практичных моделей. Американцы были первыми, но «Бесуик» почти не отстала. По большей части они были опаснее для собственного экипажа, чем для кого-либо еще. Однако «Бесуик» получила контракт от правительства на радикальные изменения в конструкции, чтобы их можно было вооружить торпедами. Как вы, возможно, знаете, «Бесуик» также принадлежит компания «Госпорт торпедо», и они искали новых рынков сбыта. Королевский военный флот решил купить несколько и финансировать разработку. Правительственный контракт должен был оставаться совершенно секретным. И главное — не должно было быть никаких продаж иностранным правительствам.

— Значит, не как с торпедами?

— Вот именно. Они получили свой урок. Флот даже на той ранней стадии понял, что эти новые суда могут стать исключительно грозным оружием. Рейвенскифф дал слово. Полгода спустя он уже строил верфь для русских, тогда наших самых ожесточенных врагов, для оснащения субмарин, изготовления торпед и всего прочего, что могло им понадобиться. Именно тогда его финансы затуманились. А причина — скрыть любой намек на государственную измену.

Я посмотрел на него внимательно.

— Вы не шутите? Не хотите же вы уверить меня, будто никто ничего не заметил? Когда же это произошло?

— В начале девяностых. Рейвенскифф так преобразил русский военный флот, что он мог бросить вызов Королевскому флоту в Черном море. И все это задолго до того, как Британия и Россия стали союзниками, а тогда она была одним из самых наших опасных врагов. Кто-нибудь заметил? Нет. Проследить что-либо до Рейвенскиффа было невозможно. Деньги были получены через выпуск ценных бумаг в Париже; компании зарегистрированы в нескольких разных странах, а их акции принадлежали

компаниям, созданным исключительно для этой цели, владельцы же их, в свою очередь, были замаскированы. Ничто не указывало, что Рейвенскифф имеет какое-то отношение к этим заводам.

— Так как же вы обнаружили правду?

— Для того мы и существуем. И как часто случается, слабым местом оказался человеческий фактор. Потребность в экспертах. Вы ведь не просто строите завод, нанимаете кучу неграмотных крестьян и начинаете производить сложное оружие. Вам нужны люди, чтобы обучать рабочих, надзирать за производством. Но у них нет управленческих навыков, специальности Рейвенскиффа. Я разыскал нескольких людей, которые работали на верфи, и они все пришли туда из «Бесуик». В конце концов один — один-единственный! — рассказал мне всю подоплеку.

— И вас навестил ваш визитер.

— Именно. А теперь вы тоже знаете всю подоплеку, так что вам следует быть осторожным. Рейвенскифф был сама целеустремленность. Он мертв, но его дух, как говорится, живет в людях вроде Ксантоса, Нойбергера и Бартоли. Он выбрал и обучил их. Организация воплощает его методы. Она обладает собственной жизнью и способна действовать без него. Можно сказать, он воплотил в нее свою душу и будет жив до тех пор, пока существуют его компании. Единственная форма бессмертия, которой может ожидать подобный человек, и более, чем он того заслуживает.

— Вы когда-нибудь с ним встречались?

Сейд покачал головой:

— Никогда. Я узнал его через числа. Не такой плохой способ знакомства. И более безопасный.

— Что ваши числа сказали вам? Видите ли, я в трудном положении. Ради чего все это? Я простой человек. Мечтаю о доме, и о саде, и о жене. Хочу иметь столько денег, чтобы ни о чем не нужно было бы беспокоиться. Я не хочу кончить в богадельне или в могиле для бедняков. У Рейвенскиффа все это было десятки лет назад. Чего ему не хватало?

Сейд задумчиво посмотрел на ковер.

— Ну, — сказал он, — не денег. Собственно, я полагаю, что у него не было большого интереса к деньгам. Так часто бывает с подобными людьми. И не к славе или положению в обществе. Он принял титул с величайшей неохотой и никогда не искал публичных должностей. О нем мало кто слышал, и это его вполне устраивало.

— Так что же остается? Власть?

— Нет, не думаю. Не сомневаюсь, это льстило его тщеславию, но не слишком. Нет, я думаю, его мотивацией было удовольствие.

— Простите?

Сейд улыбнулся.

— Удовольствие, мистер Брэдок. А вовсе не то, что, как я понимаю, обычно ассоциируют с тяжелой промышленностью или вооружением. Но он словно бы подходил к тому, чем занимался, примерно как инженер к решению задачи или художник — к воплощению замысла в картине. Он извлекал удовольствие из создания того, что было гармоничным, интегрированным и сбалансированным. Думаю, он мог бы стать архитектором. А может быть, его увлекла бы эта новинка — кроссворды, где удовольствие заключается в решении загадок. Ему нравилось браться за, казалось бы, неразрешимые проблемы и решать их. Не сомневаюсь, ему нравилось вызывать восхищение и, бесспорно, он никогда не отказывался от любых прибылей. Но подозреваю, он никогда бы не достиг того, чего достиг, если бы не извлекал наслаждение из самого процесса. Вы даже могли бы назвать его эстетом. Удовольствие заключалось в сознании. Он взялся за создание самой совершенной организации, какую только видел мир, и преуспел.

— Вам это говорят числа?

— Они намекают. Остальное — догадки и опыт.

— По-моему, я запутался даже больше, чем прежде.

— Возможно. Но это единственное объяснение личности Рейвенскилффа, отвечающее фактам. Теперь вы знаете в кратком изложении все, что знаю я. И как вы намерены на это ответить?

— Узнав его через числа, чем могу ответить я?

Я суммировал содержание единственной папки. Сейд слушал внимательно, сосредоточенно хмурясь.

— Значит, он жег свою наличность, так? Ну, на вашем месте я зачеркнул бы аферу.

— Почему?

— Он был слишком элегантен для подобных афер. Для него подобное слишком грубо.

— Значит?

— Он тратил эти деньги на что-то.

— На что?

— Откуда мне знать? Вы явно взяли этот труд на себя. Так узнайте, если хотите и если сумеете.

Интервью завершилось. Все репортеры с капелькой опыта понимают, когда больше информации извлечь не удастся, и я знал, что добился от Молодого Сейда всего, что он мог или хотел сообщить мне. Я встал.

Священник из вежливости тоже встал. Он не пригласил меня остаться, снова сесть.

Я направился к двери, затем обернулся.

— Еще один вопрос, ответ на который вас вряд ли затруднит. Человек, который подошел к вам в вашем клубе. Как он выглядел?

Сейд задумался, ища возражения, но ничего не нашел.

— Ему под пятьдесят, белокурые волосы, поредевшие на макушке. Среднего телосложения. Ни усов, ни бороды, большой, необычно большой рот. В целом ничем не примечательный. Я не знаю, кто он, и больше его не видел.

Глава 17

Я вернулся в Лондон в тот же вечер в восемь и отправился напрямик в особняк Рейвенсклиффа. Собственно, делать там мне было нечего, никакой причины не отправиться прямо домой с заходом в мясной ресторанчик или паб, а затем хорошенько выспаться. Единственной причиной, почему я отправился не в Челси, а на Сент-Джеймс-сквер, было желание увидеть ее. Я почти это осознавал.

Ключа у меня, разумеется, не было, но у меня было разрешение ходить по дому где угодно, приходить и уходить, когда мне заблагорассудится. Я заметил некоторое колебание, когда дверь открыла служанка, как будто она считала неподобающим, чтобы молодой человек являлся в дом траура так поздно вечером. Вероятно, она была права. Я осведомился о ее госпоже и услышал, что она уже удалилась к себе, и у меня оборвалось сердце. Тут я осознал, что мне нечего здесь делать, но я же не мог повернуться на каблуках и уйти, а потому я поднялся по лестнице в кабинет Рейвенсклиффа якобы заняться его бумагами.

Я ничем не занялся, а просто сидел в кресле у пустого камина и думал о его владельце. Как эстете и аскете по описанию Сейда, созидающем свою сложную, непостижимую организацию таким образом, что почти никто в мире не мог оценить ее по достоинству. Пожалуй, это все испортило бы. Возможно, скрытность того, что он делал, была источником наслаждения. Или нет. Я не знал. Это было много выше моего понимания. Не так давно мне было достаточно встать поутру, написать об очередных преступлениях, обычно совершенных простыми, не рефлексирующими людьми — и снова вернуться в кровать.

И что преобладало в моем сознании? Глаза вдовы почти вдвое старше меня. Легкий запах ее духов. То, как она двигалась. Белизна кожи над верхним краем ее дорогого, сшитого по мерке платья. Мелодичность ее голоса. Что она сказала мне. Что это подразумевает. К чему это может привести. На что я надеюсь.

Жуть. Жуть. Жуть. Я застонал про себя, думая об этом. Поистине мои 350 фунтов обойдутся мне дорого, если так будет продолжаться. Обычно бы я сделал то, что часто делал прежде, — составил бы список. Решил бы, какими важными делами надо заняться в первую очередь, и затем целеустремленно взялся бы за них. Я попытался выбросить мысли об Элизабет из головы и вновь думать только о леди Рейвенсклифф.

Разработать какие-нибудь практические способы покончить с этой работой побыстрее, чтобы освободиться, вернуться в «Кроникл» или устроиться в какую-нибудь другую газету, которая меня возьмет.

Итог оказался еще более гнетущим. Факт оставался фактом: по сути, я нисколько не продвинулся. Я тупо смотрел на полки записей и папок. Я не сомневался, что где-то тут что-то есть, но мысль о том, чтобы начать поиски, наполнила меня отвращением. Думается, я оставался там почти час: было так тихо, мирно, а вскоре и вовсе убаюкивающе. На каминной полке стояла фотография Рейвенсклиффа. Я вынул ее из рамки и долго смотрел на нее, пытаясь постичь характер за этим лицом, а затем сложил ее и сунул в карман.

В конце концов я сумел подняться с кресла и приготовиться к возвращению в мир; к тому, чтобы вернуться домой, лечь спать, а утром начать заново. Не так уж все и плохо. Худшим, что могло произойти, была бы полная неудача. Но я все-таки останусь при своих трехстах пятидесяти фунтах.

Я был почти умиротворен, пока спускался по парадной лестнице — медленно, поглядывая на картины по стенам. Я в них ничего не понимал; на мой взгляд, они были симпатичным украшением. Но, проходя мимо двери гостиной, я услышал шум. Ничего особенного, просто удар обо что-то и царапанье. Я понял, что она там, и заколебался, а тревога и растерянность снова нахлынули на меня.

Разумный человек продолжал бы спускаться. Следовало призвать на помощь дисциплину и самоотречение. Здравомыслящее понимание, что единственным способом сохранить мое спокойствие было держаться елико возможно дальше от нарушающей его женщины, держать ее на расстоянии, быть вежливым и профессиональным.

Быть таким или поступать так я категорически не хотел. Я коротко постучал в дверь, а затем прижал к ней ухо. Ничего. Я спросил себя: «И как ты поступишь теперь?» Удалиться на цыпочках, будто застенчивый школяр? Слишком унижительно, даже если никто про это знать не будет. Так ли ведет себя смелый влюбленный? Или открыть дверь и войти. У меня есть право. Она же посмотрела на меня.

Сердце колотилось, и я почти задохнулся, когда ухватил дверную ручку, повернул и толкнул. В комнате было темно: задернутые занавески, огонь в камине, почти угасший, и свеча. Дорогостоящее современное электрическое освещение не включено.

— Кто это?

Голос был ее, но каким-то другим. Глухим и без музыкальности,

обычно придававшей ему такое обаяние. Чуть-чуть невнятным, словно я вырвал ее из глубокого сна.

— А! Это вы, — сказала она, когда я вошел и достаточно света с площадки упало на мое лицо, чтобы она меня узнала. — Входите и садитесь. Дверь закройте, свет режет мне глаза.

Совсем не то, чего я ожидал. Очутиться в комнате, такой темной, что видел я только тени да тусклый огонек свечи, обескураживало, даже немного пугало.

— С вами все хорошо? Вы говорите как-то натужно.

Она тихонько засмеялась и подняла на меня глаза. Впервые ее волосы не были зашинеены и ниспадали ей на плечи густой волной, темной и пышной. На ней было что-то вроде легкого платья, чуть мерцавшее при ее движениях, с красными и голубыми вышивками в модном японском стиле. Она была экстравагантно, невысказанно красивой. У меня дух перехватило, пока я смотрел на нее, — ее глаза были темнее обычного, зрачки расширены так, точно что-то ввергло ее в ужас.

— Что случилось?

Она положила голову на спинку кушетки и заложила прядь за уши, но ничего не сказала, только улыбнулась.

— Прошу вас! Скажите мне.

— Да ничего нет. Немножко лекарства, чтобы успокоить нервы. Сильнодействующее, и я им не пользовалась много-много лет.

— Может быть, вам следует показаться врачу для другого рецепта? Я могу привезти врача очень быстро, если хотите.

Она опять улыбнулась и посмотрела на меня с выражением то ли нежности, то ли благодарности, то ли даже симпатии.

— Это лекарство не из тех, Мэтью, для которых требуется врач.

Она оттянула рукав пеньюара, и я увидел повыше локтя широкую опоясывающую полосу, а пониже — ранку со струйкой засохшей крови. Я ничего не понял, и она снова засмеялась.

— О мой Бог! Я заручилась услугами самого невинного мужчины в Лондоне, — сказала она. — Бедный милый мальчик. Вы же правда ни о чем понятия не имеете.

К этому времени я, должно быть, выглядел настолько полным ужаса, что ее веселость исчезла.

— Морфин, Мэтью, — сказала она серьезно. — Великий освободитель, утешитель замученных душ.

Если бы у меня было время привести мои мысли в порядок, я был бы шокирован, но в тот момент, собственно говоря, я вообще ничего не думал,

а просто сидел ближе к ней, чем когда-либо прежде, и сердце у меня гремело.

— Я вас пугаю? Или вы себя пугаете? — спросила она, но не тоном, который показывал бы, что она ждет ответа. — Сказать вам, что вы думаете?

Никакого ответа от меня. Я не чувствовал земли под ногами и знал: стоит мне шевельнуться, и я кану на дно и захлебнусь.

— Ты думаешь обо мне ночью и днем. Ты грезишь обо мне, о том, чтобы заключить меня в объятия и поцеловать. Вот что ты сказал бы, будь ты способен сказать хоть что-нибудь. Сейчас ты молчишь, но какая-то часть твоего сознания ищет, как бы обратить это себе на пользу. Вдруг это твой счастливый случай, вдруг я не стану противиться, если ты сейчас наклонишься и схватишь меня. Но ты, конечно, не хочешь просто поцеловать меня. Ты хочешь заняться со мной любовью; ты грезишь, что я стану твоей любовницей. Ты томишься желанием увидеть меня обнаженной перед тобой, нетерпеливо ждущей, чтобы ты овладел мной, разве это не правда, милый, милый Мэтью?

Ее голос был абсолютно ровным; ни в тоне, ни в выражении ничто не указывало, соблазняет ли она, или насмехается, или и то и другое вместе. Может быть, она была одурманена — иначе я и представить себе не мог, что услышал бы от нее подобное. Она и сама этого не знала. Так или иначе, ее слова и действия парализовали меня. Разумеется, все, что она сказала, было чистой правдой. Но в том, что она это сказала, крылась жестокость.

— Вы не находите слов, Мэтью? Вы полагаете, что, заговорив, можете допустить промах и погубить мгновение, исполненное таких чудесных возможностей? Вы так робки и так наивны с женщинами, что не знаете, как поступить? — Тут она положила ладонь мне на затылок, и притянула мою голову к себе, и зашептала мне на ухо слова, каких я никогда не слышал из уст женщины, даже самой непотребной. Ее голос перешел в почти змеиное шипение, усугубляя мое ощущение, что я добыча, которую парализуют.

Поэтому я схватил ее и принялся целовать все более жадно и грубо, а она не только не противилась, но отвечала мне. Только когда мои ладони скользнули вниз, чтобы ощутить ее тело, она напряглась, затем оттолкнула меня и встала. Затем отошла к камину и несколько секунд смотрела в зеркало.

— Я должна просить вас удалиться, — сказала она, даже не обернувшись.

— Что-о?

Она не ответила. Что произошло не так? Что я сделал? Я был уверен,

что не допустил никакой жуткой ошибки. Если я позволил себе лишнее, так только потому, что она меня спровоцировала, и она это знала. Так что же произошло?

— Время позднее, и я устала.

— Неправда.

— Убирайтесь вон!

— Элизабет...

— Вон! — взвизгнула она и обернулась ко мне, ее лицо горело огнем, она схватила с каминной полки голубую чашу. Ту самую чашу, ту, которой она воспользовалась, чтобы унижить меня, поставить на место. Чаша вновь послужила той же цели, когда ударилась в стену позади меня и разлетелась на сотни осколков. Она была ужасна, я был в ужасе. Затем ярость исчезла с ее лица, и она вновь стала спокойной. Будто меня тут не было, будто она разговаривала сама с собой. Возможно, причиной всего был наркотик. Может быть, я сам оказался под его влиянием, и все это было только кошмаром.

— Я должна попытаться заснуть сегодня. Надеюсь, я сумею.

Затем она перешла на французский, и я не понимал ни единого ее слова. В конце концов я осознал, что она полностью забыла про меня, даже не замечала, что я нахожусь в комнате. Я выскользнул из гостиной и из дома. Меня трясло.

Глава 18

Утром я был в жутком состоянии и убедил себя, что вина целиком моя. Она же вдова и все еще в шоке. Я же попытался воспользоваться этим. Во всяком случае, хотел. Наркотики внушали мне отвращение. Конечно, я знал, что они существуют, — криминальный репортер неизбежно сталкивается с ними. Но увидеть подобную женщину в таком состоянии было ужасно. И к тому же придавало ей еще большую обворожительность.

Моя мания даже усугубилась: неудача околдовывает больше успеха: я был способен думать только о том, что могло бы произойти, в памяти вновь и вновь переживая эту сцену, каждый раз с иным исходом. Я думал о случившемся так много и так напряженно, что уже почти не сомневался, что схожу с ума, пока ворочался и ерзал на своей неудобной постели, тщетно надеясь уснуть и обрести облегчение. В конце концов я встал с кровати. Было только пять с половиной, и в доме все еще спали. На цыпочках я вышел из комнаты — меньше всего я хотел столкнуться с кем-нибудь и быть втянутым в разговор — и покинул дом. Выпил чаю у палатки на Кингз-роуд, обслуживающей доставщиков утренних продуктов на пути к задним дверям клиентов, но и подумать не мог, чтобы съесть что-нибудь.

В половине седьмого я был на Сент-Джеймс-сквер — слишком рано, чтобы постучать в дверь, но не в силах ничем заняться. Я твердо решил вернуться и поговорить. Но надо было ждать. Я кружил по площади, иногда быстрым шагом, иногда еле волоча ноги. Проходивший мимо полицейский пристально меня оглядел. Я вошел в Сент-Джеймс-Пиккадилли, но воздух святости никак на меня не подействовал. Я глядел на витрины, посидел на Пиккадилли-серкус, наблюдая за проходящими мимо, торопящимися на работу людьми. Слегка накрапывал дождь, и я уже почти промок, хотя не замечал этого; ощущал только, что мне сыро и холодно, но происходило это будто с кем-то посторонним.

И в конце концов я решил, что время настало и можно постучать в дверь, не нарушая правил приличия. Было двадцать минут девятого.

— Господи помилуй, сэр, что случилось? Уличное происшествие?

Дверь открыла одна из горничных, веселая пухленькая девушка с деревенским выговором. Из тех, что в иной жизни могла бы мне понравиться.

— Нет. Почему вы спрашиваете?

Снимая пальто, я чуть повернулся, на секунду увидел свое отражение в зеркале и безошибочно понял, почему она спросила. Выглядел я ужасающе. Я не побрился, моя одежда была измята, воротничок грязен. Мешки под глазами от усталости, нездоровая землистость кожи. Я бесспорно выглядел жертвой уличного происшествия.

Меня охватила паника. В подобном виде я никак не мог начать мой тщательно продуманный разговор. Я хотел выглядеть невозмутимым, рассудительным. Светским человеком. А выглядел бродяга бродягой. Вот почему полицейский смерил меня таким профессиональным взглядом.

— Пожалуй, мне лучше уйти.

— Миледи распорядилась, чтобы я проводила вас в гостиную, когда вы придете, — сказала горничная. — Она сказала, что ожидает вас. Вы сами подниметесь?

Меня предвосхищали и опережали на каждом шагу. Настолько я предсказуем? Она должна была отдать это распоряжение еще перед тем, как легла спать, до того просто было читать мои мысли. Я испытал внезапный прилив гнева, но поступил так, как мне было велено. Я был волен уйти; я мог бы легко сказать, что передумал, и отправиться восвояси; я мог бы легко нарушить ее план и тем поразить ее, вновь завладеть инициативой, показав, что я не так-то прост. Но я отчаянно хотел увидеть ее. Я абсолютно был должен увидеть ее, иначе, подумалось мне, я погибну. Разумеется, время в промежутке минует впустую, интервал перед тем, как я вновь буду с ней в той же комнате. Только это и имело значение.

И я поднялся по лестнице, и мне было подано кофе на серебряном подносе. И поджаренные хлебцы, которые я съел. Камин топился, и я подсох. Насколько сумел, привел одежду в порядок. Только щетина на подбородке напоминала мне о моем недавнем виде.

И во всяком случае, не Элизабет, когда она вошла. Она закрыла дверь, распахнула объятия, подходя ко мне с улыбкой на лице, и поцеловала меня.

— Как чудесно видеть вас, Мэтью. Я так рада, что вы пришли.

Вновь попал пальцем в небо! Я-то ждал капризной жестокости вчерашней ночи, взвешивал возможность холодности и отчужденности. Даже виноватого смущения. Я надеялся, что она тоже не смогла заснуть. Я не предполагал, что она поведет себя как светская дама, здоровающаяся с другом. Все мои приготовления, заранее отрепетированные фразы утратили смысл, рухнули.

— Миледи, — сказал я каменно.

Она поглядела на меня с нарочитыми обидой и огорчением. Она вновь была сама собой, абсолютно. Наркотик исчез из ее кровотока, и она вновь

стала веселой, оживленной, сохраняя полный контроль над собой и ситуацией. И выглядела так, точно отлично выпалась. Видимо, одно из положительных качеств морфина, если принимать его с осторожностью.

— Ну-ка, сядьте возле меня, пока будете кончать свой завтрак. Вы здоровы? У вас немножко измученный вид, — добавила она.

Я сел в кресло, ощущая, что веду себя глупо. Она подталкивала меня разоблачить мою обидчивость и инфантильность. Мне это не понравилось.

— Вы расстроены, — сказала она на этот раз серьезно и ласково. — Полагаю, это неизбежно.

Я промолчал.

— Вы меня простите? Я вела себя отвратительно. Пожалуйста, поверьте мне, когда я скажу, что не желала причинить боли. Вы самый последний человек на свете, кого я хотела бы расстроить.

— Полагаю, вы намерены сказать, будто не понимаете, что на вас нашло. Что все это вина... вина наркотика, — сказал я каменно.

— Нет, я вовсе не собиралась этого говорить, — сказала она грустно.

Она на меня не смотрела. Я не мог это терпеть. Слишком грубое оружие для нее, каким бы эффективным оно ни оказалось.

— Я надеялась, что вы поймете, — сказала она, когда стало ясно, что я вообще ничего говорить не намерен. — Но вы не поняли.

— Нет.

Теперь она посмотрела на меня, но не так, как накануне ночью. На этот раз ее взгляд казался абсолютно невинным и полным сожаления. Но я все равно не осмеливался встретить его.

— Бедный молодой человек, — продолжала она. — Звучит снисходительно, если я так скажу?

— Конечно.

— Во все нет. Это только правда. Значит, мне следует говорить откровенно? Не как приличествует леди? Опять шокировать вас, касаясь тем, которые, по-вашему, из утонченности касаться мне не положено? Знаете, я ведь видела такое выражение на вашем лице. Вам мало что удастся скрыть от меня, как ни убеждаете вы себя в обратном.

Полагаю, я посмотрел на нее свирепо, поскольку она продолжила:

— Сейчас вы сбиты с толку и рассержены. Вы хотели заняться со мной любовью; я вас поощряла, а затем капризно повела себя иначе. Вы думали, будто знаете, что во мне происходило, на самом же деле вы не поняли ровно ничего. Иначе вы бы поняли, что я стараюсь защитить вас.

— Я не нуждаюсь, чтобы вы меня защищали, — сказал я каменно.

— Да не вообще защищала, а от меня, — поправилась она. —

Взгляните на себя. Одно маленькое недоразумение — и вы сокрушены. Всю ночь вы бредили мной. Вы не спали. У вас вид бродяги. Вы знаете, как легко было бы уничтожить вас полностью?

— Не думаю...

— Потому что вы не знаете, о чем вы говорите.

Наступил долгий перерыв, поскольку вошла горничная с еще одним подносом кофе. Элизабет поблагодарила ее и смотрела, как она разливает кофе, и говорила с ней, ожидая ее ухода. Я, наоборот, не произнес ни слова, буквально чувствуя, как источаю тоску в своем кресле. Наконец горничная ушла, дверь за ней закрылась. Элизабет некоторое время прихлебывала из своей чашки, потом поставила ее.

— Вам не кажется странным, что вдова, горюющая о своем недавно скончавшемся муже, ведет себя подобным образом? Или вы просто считаете, что для иностранки это естественно? Не соблюдать приличий, как англичанки? Я рассержена, Мэтью. Я испугана, и прошлой ночью мне необходимо было сорвать это на ком-нибудь. Как я уже сказала, мне стыдно за себя. Но не по тем причинам, которые вы вообразили.

— О чем вы?

— Джон умер глупейшим образом, какой только можно вообразить. Он был небрежен, ни о чем не думал. Его минута рассеянности означает, что мне придется провести всю оставшуюся жизнь без него. Разумеется, я знала, что со временем так должно случиться. Он же был гораздо старше меня. Однако я хотела провести с ним побольше времени. С единственным человеком в мире, кто был мне по-настоящему дорог. Когда-либо. У меня был долг, который я должна была уплатить. Он упал из окна и лишил меня этой возможности. Я хотела наказать его, но, конечно, я не могу. А потому подумала, что сорву зло на вас.

Она замолчала, и я открыл рот, чтобы ответить, но понял, что не знаю, что сказать.

— Это так легко! Нацеленный взгляд, провоцирующее движение. Искушающий вопрос. И вы лишаетесь сна и обретаете вид виляющего хвостом обожания, который я не терплю. Джон мертв, но я могла бы легко заменить его, хотя и вполовину не таким, каким был он.

Пожалуйста, не думайте, будто я все это обдумала заранее, будто я просто играла вашими чувствами. Я не знала, что делаю. А затем вчера ночью я опомнилась. Правда, в последний момент. Вы действительно думаете, что было бы лучше, разреши я вам заняться со мной любовью? Это ведь не помешало бы отвергнуть вас, а лишь оттянуло бы момент и сделало бы его в десять раз хуже, когда он настал бы. Это было эгоистично

и жестоко с моей стороны. Но я не прошу прощения за то, что спасла вас от последствий вашей наивности. Вы мне не ровня, Мэтью. И никто, кроме Джона.

— Вы очень высокого мнения о себе.

— Нет, — сказала она печально. — Самого низкого.

— Я ни слова не понимаю, о чем вы толкуете.

— Полагаю, что так. В один прекрасный день, когда вы будете таким же старым, как я...

— Вы красавица! — Слова эти вырвались у меня, и прозвучали они глупо.

Она улыбнулась.

— Было время, когда это порадовало бы меня, — сказала она. — Подобные слова, искренне сказанные, казались мне золотом, когда я была молода. Теперь они мне безразличны.

— Вы его любили?

— Да, — сказала она. — Очень сильно.

— Почему?

Она вздохнула и посмотрела через площадь на всех людей, чьи жизни не походили на ее собственную. Почти казалось, будто они ее интересуют.

— Он был моим утешением, моим другом, моим теплом. Осью вращения мира, и всегда на месте. — Она умолкла и посмотрела на меня почти лукаво. — У меня были любовники, знаете ли, в последнем десятилетии или около того. Искренне надеюсь, что мне снова удалось вас шокировать.

— Я учусь, — сказал я.

— Но я никогда никого другого не любила. Улавливаете разницу?

— У меня нет ни денег, ни досуга анализировать такие тонкости.

— Строгое осуждение. Ну, возможно, вы правы. Однако разница очень велика. Надеюсь, в один прекрасный день вы откроете это для себя. Потому что до той минуты никого не будете любить по-настоящему.

Она снова умолкла с выражением жуткой печали на лице.

— Вы верите мне, когда я говорю, что хочу, чтобы вы отыскали этого ребенка? Или вы полагаете, что за этим кроются какие-то другие побуждения?

— Я, честно, уже не знаю.

— Нет, я этого хочу. Когда Джон умер, это явилось страшным шоком. Полагаю, я все еще в шоке. Я навсегда потеряла его. Но когда я прочла его завещание, знаете, какой была моя первая реакция? Гнев? Стыд? Разочарование?

— Может быть, все вместе?

— Ни то, ни другое, ни третье. Я была счастлива. Где-то все еще жила его частица. Я мечтала, как найду этого ребенка, — иногда воображала десятилетнего мальчика, иногда молодую женщину, как раз достигшую совершеннолетия, как я, когда встретила Джона. Я даже надеялась, что детей окажется много. Как познакомлюсь с ними, как возьму жить к себе. Обрету семью в этом мире. Ведь у меня теперь нет ничего. Ничего значимого, только несметное богатство. И все это — вина Джона, понимаете?

Я поглядел на нее с недоумением.

— Он научил меня радости любви и товарищества, радости доверять людям и узнавать их. Прежде, когда я была молода, все исчерпывалось игрой. Кого ты знаешь, как пролагаешь дорогу в мире. Не было ни времени, ни пространства для подлинного тепла. Джон подарил мне целую вселенную любовных чувств, и я влюбилась в нее так же бесповоротно, как влюбилась в него. Вы знаете, какое наслаждение не делать ничего без участия другого, просто сидеть в одной комнате с ним? Или гулять вдвоем молча? Он научил меня всему этому, а теперь все это исчезло. И вновь моя реальность — этот мир. Я испугана и одна, Мэтью, больше, чем человек вроде вас способен вообразить.

— И у вас никогда не было детей?

Она чуть-чуть покачала головой.

— Я забеременела примерно через год после нашей женитьбы. Я была так счастлива, даже поверить не могла. Просто сидела, обхватив себя руками, и плакала от радости. Я думала, моя жизнь будет совершенной.

— Что произошло?

— Он родился, и они забрали его у меня. — Она помотала головой. — Акушерка укутала его и положила у огня, чтобы согреть его, и села рядом составить ему компанию, пока он не умер. Они не позволили мне еще раз посмотреть на него. Вот что они делают, вы знали?

Я промолчал.

— Доктор заверил меня, что больше мне нельзя иметь детей. Что новая беременность может меня убить. Так что, — продолжила она, оживляясь, ее глаза засияли, — это мой шанс, поймите. Потребовались годы, чтобы вполне оправиться. Джон оставался со мной каждую минуту, каждую секунду, возвращал меня к жизни. Во всяком случае, насколько это было возможно. Я тогда утратила мои мечты, и они уже не вернулись. Никогда.

— Я найду для вас этого ребенка, — сказал я. — Если он жив.

— Вы сомневаетесь?

— Многие дети умирают совсем маленькими, — сказал я.

Наступила очень длинная пауза. Она сидела молча, задумавшись, и я понял, что вернулся обратно — обратно под иго ее власти, если вас устраивает такое выражение.

— Скажите, — попросил я некоторое время спустя, — что вам известно о положении компаний вашего мужа теперь?

Она не проявила никакого интереса.

— Что его пакеты акций находятся в руках душеприказчика и так будет продолжаться, пока все не уладится.

— Вот именно. — Я вынул светло-коричневую кожаную папку из сумки, которую теперь всюду носил с собой. — Вот, взгляните.

Она взглянула, но быстро, ровно настолько, чтобы выразить полное недоумение.

— Отсюда следует, что из них изымались большие денежные суммы. И еще, возможно, это объясняет, почему сообщение о его смерти было задержано.

— Как так?

— Вы видели список виднейших акционеров? Они потеряют целые состояния, если курс акций «Риальто» упадет. Половина политиков в стране приобретала эти акции.

Она презрительно поморщилась.

— Приобретала? — фыркнула она. — Не думаете же вы, будто они их покупали?

— Но как же еще... — Тут я понял, о чем она говорит.

— О деталях бизнеса Джона я мало что знаю, но зато я знаю пути мира. Это были подарки. Улещивания. Взятки, если хотите быть честны. Они ждали вознаграждения за предоставление ему контрактов; он улаживал их и мог напомнить им о своей щедрости, если возникнет такая необходимость. Теперь, разумеется, то же самое могу делать я.

На миг ее глаза возбужденно блеснули, затем вновь потускнели.

— Такого намерения у меня нет, — сказала она. — Но вы правы, это достаточная причина, чтобы мистер Корт заинтересовался.

— А деньги?

— Этого я не знаю.

— Вы понимаете, что подразумевает содержимое этой папки?

— Пожалуй. Но может быть, вы поясните?

— Оно означает, что ваше наследство будет значительно меньше, чем вы полагаете. Более того, если ситуация станет достоянием гласности, компании могут обанкротиться и вы вообще ничего не получите.

— Понимаю. — Она, казалось, восприняла все это очень спокойно. — Ваши познания в законах не уступают вашим познаниям в финансах?

— Они равно крайне слабы, как вам известно. В данном случае я исхожу из того, что мне сказал солиситер вашего мужа.

— Так что мне следует делать?

— Не думаю, что вы что-то можете сделать.

— Боже мой, какое это время! — сказала она с улыбкой. — Сегодня вы говорите, что я вот-вот стану самой богатой женщиной в мире, а на следующий день предупреждаете, что я буду нищей. Никто не может обвинить вас в последовательности.

— Здесь есть много моментов, которые я не понимаю. Если хотите, я вам их изложу. Тогда вы должны будете принять решение. Желаете ли вы, чтобы я занялся ими, или же мне сосредоточиться на исходной задаче поисков ребенка?

— Продолжайте. Сбейте меня с толку еще больше.

— Интересовался ли ваш муж спиритуализмом?

Она уставилась на меня.

— Спиритуализмом?

— Да. Ну, вы знаете. Столоверчение. Сеансы. Ауры из потустороннего мира. И все такое прочее.

Это ее подбодрило. Она откинула голову и рассмеялась.

— Джон? Столоверчение? Ну конечно, нет! Он был самым практичным, безоговорочным материалистом, каких я когда-либо встречала. Он ни во что подобное не верил. И не интересовался. Абсолютно. Он даже в церковь не ходил.

— В таком случае зачем он посещал собрания спиритуалистов?

— Я уверена, что он их не посещал.

— А я уверен в обратном. Вот, послушайте. — И я прочел кое-какие выписки из его ежедневников.

— Мадам Бонинская? — сказала она, когда я дочитал.

— Иначе известная как колдунья. Ее нашли убитой через два дня после смерти вашего мужа.

На этот раз я заставил ее замолчать. Сказать ей было нечего. Она хотела бы счесть это забавным, но не сумела.

— Почему ваш муж обращался к медиуму? Следующий вопрос: есть ли тут какая-то связь с ее смертью? Или его?

— Позвольте рассказать вам одну историю, — сказала она. — Давным-давно, когда я была молодой и красивой, я жила в Париже. Я вела чудесную жизнь и часто приглашала гостей на обед. Друзей и знакомых.

Политиков, писателей, музыкантов. Вот причина несколько преувеличенного отзыва Ксантоса обо мне. Меня это очень забавляло, и когда я познакомилась с Джоном, то пригласила его. Думаю, я хотела щегольнуть. Может быть, даже заставить его ревновать, хотя в то время воспринимала его не более чем знакомого. Приятного человека, хорошего собеседника. С кем я чувствовала себя уютно.

Как бы то ни было, он навещал меня, хотя и не часто. Он не одобрял пустопорожние разговоры с артистическими натурами, и постепенно его скептицизм внушил мне ощущение, что глупо транжирить жизнь таким образом. Как-то вечером он пригласил меня пообедать в ресторане с некоторыми его деловыми знакомыми и некоторыми моими. Они плохо сочетались друг с другом. Некий доктор начал рассказывать о гипнозе, которым лечил своих пациентов, и упомянул спиритуализм. Ауры и эманации. Относился он к этому весьма серьезно и предложил всем отправиться на сеанс с медиумом, подвизавшейся тогда в Париже. Было это в те дни, когда мадам Блаватская наделала столько шуму и подражательниц ей нашлось хоть отбавляй. Вы помните Блаватскую?

— Я почитал про нее, чтобы представлять обстановку.

— Впрочем, не важно. Некоторые из гостей с энтузиазмом откликнулись на это предложение и заговорили о духовности и о нищете нынешнего века, лишившего человеческие души поэзии. Предоставляю их рассуждения вашему воображению.

Ничто не могло бы сильнее спровоцировать Джона. Он был рассержен, а то, что я была готова отправиться на этот сеанс, рассердило его еще сильнее. Он всегда утверждал, что все подобное — либо декадентское потакание собственной глупости, либо жалкие крестьянские суеверия. Будущее человечества обеспечивается ревом мартеновских печей, а не постукиванием чайных чашек. Его привело в ужас, что взрослые люди готовы принять всерьез очевиднейшее, как он считал, шарлатанство. Я впервые увидела его рассерженным, и мне показалось странным, что он так разволновался из-за того, что считает нелепостью. Разумеется, причина была в другом. Во мне. В том, чем я была. Тогда же произошла наша первая ссора. Она была некрасивой, недостойной и внушила мне, что он любит меня по-настоящему.

— Вы были... в этом вы согласны с ним?

— В молодости я таким интересовалась. Модно, увлекательно и, полагаю, остается таким и по сей день. Для меня это было тем же, что партия в бридж. Чем-то, чтобы развлечь гостей, позволяющим всем нам играть наши роли. Каждый вел себя так, будто верил, поскольку полагал,

что остальные верят. Ну, да это не важно. Суть в том, что Джон глубоко презирал все это и так просто своих убеждений не менял.

— Так, значит, маловероятно, чтобы он, например, обратился к медиуму в надежде установить личность этого ребенка? Может быть, чтобы поговорить с ним, если он знал, что тот умер?

— Джон, настолько удрученный потерей ребенка, не настолько ему дорогого, чтобы его разыскать, беседует с теньями через посредство шарлатанки? Нет! Это невозможно.

— Но ведь он пошел к ней.

— Так вы мне сказали. Если вы сумеете узнать почему и если это не отвлечет вас от главного направления поисков, так узнайте. Пусть еще один сюрприз добавится к тем, с которыми мне уже пришлось столкнуться. Что-нибудь еще?

— А морфин?

— Это вас не касается.

В ее тоне прозвучала ледяная окончательность, не допускавшая возражений. Я почувствовал себя надерзившим слугой и, полагаю, покраснел от смущения. Она ничем мне не помогла, не затушевала мой промах. Наоборот, она мгновенно приняла формальную, деловую манеру, подчеркивающую, что я наказан. Я осознал, что это было ее оружием, одним из многих в обхождении с мужчинами; она держалась интимно, дружески, с намеком на близость, затем делала шаг назад к формальности. Ее владение языком было безупречным в том смысле, что она умела намекнуть на интимность или отчужденность, дружбу или неодобрение сочетанием тона, слова и жеста. Легкая нота неодобрения — и я готов был сделать что угодно, лишь бы вернуть ее расположение. Не думаю, что ею руководила расчетливость; она просто не могла вести себя иначе.

Однако я был не вполне готов стусеваться. Если она умела быть твердокаменной, то и я сумею.

— Вы проинструктировали меня забыть о том, что ваш муж давал деньги анархистам, — продолжал я. — Полагаю, вам известно больше, чем мне, только вы считаете, что это к делу не относится. Пожалуйста, объясните, что вам угодно, и я подчинюсь вашим пожеланиям.

— Ах, Мэтью, мне так жаль, — сказала она умоляюще, мгновенно снова потеплев. — Пожалуйста, не сердитесь на меня, даже если я сержусь на вас. Вы же знаете, что приносите дурные вести. И не можете ожидать, что меня они обрадуют, а не рассердят. Не ваша вина, что последние несколько недель моя жизнь превратилась в кошмар, но это так. Я прошу вас быть мягче со мной.

— Но вы со мной не мягки.

— Я сожалею, если каким-то образом причинила вам боль. Я этого не хотела. Пожалуйста, поверьте мне.

Я не поверил, но самые слова, сказанные ласково и тепло, вновь преисполнили меня надеждой и смели все плоды моих усилий убедить себя, будто отношения между нами — нанимательницы и нанятого. И ничего больше.

— Конечно, я вам верю, — сказал я.

Перечитав это, я вижу, что выгляжу дураком. Возможно, я им и был. Я уже объяснял, что Элизабет принадлежала миру, о котором я ничего не знал. Полагаю, совершенно очевидно, что с самого начала мое презрение и подозрительность сочетались с равной долей замороженности. Ее образ жизни, деньги, слуги, туалеты, картины, досуг, да и просто изобилие всего, опьяняли самой близостью к ним. Отъединить ее от этого окружения было невозможно, но, думаю, ее обвораживающая загадочность не уменьшилась бы, даже будь она гораздо беднее. Она была пленительной. Смена настроений, вспышки гнева и такие же вспышки доброты; то, как ранимость сменялась стальной решимостью; чувство юмора, внезапно уступавшее место глубокой серьезности. Ее непредсказуемость гипнотизировала.

Даже то, как она третиговала других, подобно миссис Винкотти. Неприятное зрелище, но мне было важнее, что меня она не третирует, во всяком случае, не часто. Это внушало мне ощущение моей особенности. Я упивался им, потому что оно было мне необходимо; ничего подобного я прежде не испытывал. А когда все кончилось, я унес его с собой, как бесценное сокровище. Она заставляла людей — мужчин, будем точны — ощущать себя лучшими, чем они были на самом деле, более талантливыми, более красивыми, более достойными уважения. И это не было обманом, приемом подчинять других своей воле для достижения своей цели, хотя было и этим. Это было, я убежден, абсолютно подлинным, своего рода душевная щедрость, пусть она и пускала ее в ход себе на пользу.

— Ну, так последнее. Деньги.

— В каком смысле?

— Они, совершенно очевидно, куда-то ушли. Было бы полезно установить куда, если возможно. Мой друг Франклин...

— Нет! — сказала она резко. — Категорически нет. Вы дали мне слово, что будете хранить все в секрете, и должны его сдержать.

— Но это специальная область, — попытался я объяснить. — Бухгалтерские книги, высокие финансы и прочее в том же роде. Я ничего в

них не смыслю, и это не то, для чего вы меня наняли. Знай вы заранее, что вам понадобится кто-то способный выковыривать секреты из сводного баланса, не сомневаюсь, вы не выбрали бы меня.

— Вы умный человек, Мэтью. И мы должны выжимать все, чем располагаем. Я не отрицаю, что помощь эксперта была бы полезной, а говорю только, что вы не должны никому проронить ни единого слова.

Франклин, подумал я, мысленно застонав. Сейд. Оба узнали и поняли куда больше, чем я. Я думал, что могу положиться на них обоих, но вдруг я ошибся? Что, если Франклин решит блеснуть перед сослуживцами? А то и войти в милость к своему начальству? «Я думаю, вам следует сбыть ваши акции „Риальто“...»

— Я не знаю, как много выяснил Франклин... — сказал я, балансируя между откровенностью и притворством. Говоря, я ощутил тепло под воротничком, и она посмотрела на меня вопросительно. Оставалось надеяться, что я не такой плохой лжец, каким себя чувствовал. В конце-то концов, я был уверен, что сумею все-таки убедить Франклина помалкивать.

— Кто-нибудь еще?

— И мой редактор намекнул, что кое-кто считает вас агентом Двойственного союза и встревожен, что столь значительная часть военного производства Империи находится в ваших руках.

— Но ведь это не так, — коротко бросила она. — В настоящее время она в руках душеприказчика. И останется в них, пока это дело не будет улажено.

Я посмотрел на нее с любопытством.

— А-а! — сказал я.

— Найдите этого ребенка, мистер Брэддок, — сказала она с легкой улыбкой. — И благодарность кайзера вам обеспечена.

Я поглядел на нее с ужасом. Она раздраженно вздохнула.

— Шутка, Мэтью, шутка.

— А. Да. Отлично.

Глава 19

Расставшись с Элизабет, я отправился за угол в паб, чтобы вдохнуть вонючий воздух нормальности и привести свои мысли в порядок. Прошу, не думайте, будто на это были шансы. Я пропущу все лишнее и оставлю только факты, связанные с лордом Рейвенсклиффом. Правду сказать, я мозговал над ними лишь ничтожную часть моего времени. Остальное было почти маниакально занято чувствами к его жене. Не стану останавливаться на них; те, кто побывал в моем положении, прекрасно все поймут сами, а кто не побывал, не сумеют их вообразить. Вместо того я притворюсь, будто с ясной головой и упорядоченными мыслями принялся записывать в блокнотик факты и теории.

Одно было совершенно ясно: обстоятельства, сделавшие совершенно невозможным отыскать этого ребенка, означали, что контроль над бизнесом Рейвенсклиффа, его империей оказался полуперманентно в руках душеприказчика. А кто он, собственно, такой, этот Майкл Кардано?

Чем дальше я рассуждал над этим, тем во все большее волнение приходил. Вмешательство Корта, когда Рейвенсклифф погиб? Он скрыл этот факт на трое суток и благодаря выигранному времени обеспечил вмешательство банка «Барингс» и поддержание цены акций. Рухни цена, Сити потребовало бы полного отчета, гарантий, что предприятия держатся на прочной основе. А в подобной атмосфере легко могло выплыть, что основы этой вовсе нет. И даже хуже, быть может: прискорбная информация касательно неподкупной честности многих виднейших политических фигур тоже ведь могла стать достоянием гласности. Правительственный кризис в сочетании с крахом крупнейшего производителя оружия в стране — отнюдь не идеальная подготовка, чтобы помериться силами с нашим величайшим врагом. Нетрудно было увидеть, что человек, подобный Карту, счел бы кражу папки с документами мелочью по сравнению с предотвращением катастрофы. И я полагал, исходя из моей скудной осведомленности в этих вещах, почерпнутой из чтения шпионских романов, что проникнуть в дом и выкрасть документы особой сложности не составляет.

Во всяком случае, этот вопрос получил ответ, меня удовлетворяющий, хотя, пожалуй, и не вполне. Но оставалось еще много других.

Самый большой, разумеется, касался денег. Франклин не слишком обучил меня разбираться в финансах, но я понимал, что извлеченная из

компании крупная сумма должна куда-то попасть. Так куда девались миллионы Рейвенсклиффа? Затем оставались менее значимые проблемы анархистов и спиритуалистки. Почему Рейвенсклифф контактировал с людьми, которых предположительно презирал? На этот последний вопрос ответа у меня не было. Но раз уж мне не хватало опыта, чтобы попытаться взяться за первые, я решил, что имеет смысл начать с последних. Личности вроде этой колдуньи были как раз по моей части. В конце-то концов, я же освещал убийства. Я закрыл блокнот, сунул его в карман и допил пиво.

У меня оставались нацарапанные мною кое-какие сведения, и я перечитывал их, пока омнибус громыхал в направлении Тоттенхем-Кортроуд. Колдунья не была особо преуспевающим образчиком своей профессии главным образом из-за своей личности — мне не удалось заручиться ничьим мнением о качестве ее ауры или респектабельности спиритических посредников вообще. Хотя она звалась мадам Бонинская, фамилия, несомненно, была придуманной; все объявлявшие себя медиумами брали имена в таком роде, прозрачно намекая на цыганскую кровь, экзотическую родословную. Ничего другого и ждать было нельзя: кто бы поверил, что уроженка Тутинг-Бека обладает даром общения с потусторонними силами. Ее подлинное имя и возраст оставались тайной; полицейские врачи заключили, что ей по меньшей мере было за пятьдесят, хотя откровенно говорили (не для протокола), что ее распухшее дряхлое тело было так измождено пьянством, что она вполне могла быть на десять лет моложе или старше. Не установили и ее подлинную личность. Известно было лишь, что она приехала в Англию за несколько месяцев до смерти, а перед тем занималась своим ремеслом в Германии и Франции, водя за нос легковверных завсегдатаев таких курортов, как Баден-Баден или Виши. Они изнывали от ничегонеделанья и были рады поразвлечься, и она прилично зарабатывала на жизнь. Имелось легкое подозрение, что она поставляла девушек клиентам мужского пола, но поймана на этом не была. Почему она покинула Континент ради Англии, осталось неизвестным.

Но покинуть его она покинула и поселилась над лавкой, торговавшей зонтиками. Из этой выгодной позиции она взялась зарабатывать свой хлеб, принимая одиноких посетителей для разрешения их проблем или устраивая групповые сеансы для... я толком не выяснил чего, но предположительно, развлечения ради. В редких случаях она посещала клиентов на дому, но предпочитала принимать их в своей комнате, декорированной в темных тонах, где дни и ночи напролет горели ароматизированные свечи, а окна неизменно оставались задернуты тяжелыми гардинами. Полицейское расследование выявило, почему ей не нравилось колдовать где-либо еще.

Ведь тогда ей приходилось бы внушать доверие своим клиентам без помощи разных приспособлений и бутафории, найденных в смежной комнате. Шкафы с потайными дверями, колокольцы с веревочками, так что они могли таинственно позванивать под воздействием потусторонних сил; источник загадочного фиолетового свечения, похоже, купленный в театре; эхокамеры, чтобы ее подручная могла производить звуки невидимых духов.

Иными словами, женщина эта была законченной обманщицей, и, к несчастью, мы, репортеры, смакующие сочные истории о человеческой глупости, напечатали все это в веселых подробностях до того, как полицейские успели допросить ее клиентов и ее клиенток, поскольку многие из них отказались свидетельствовать из чистого смущения. А если у нее и был ежедневник, он исчез, как и подручная, которая, как выяснилось, была проституткой, попытавшейся вести более порядочную жизнь.

В целом — грязь грязью, какой была и ее смерть. Ее задушили бархатным поясом одеяния, в которое она облачалась для сеансов. Убийца действовал с силой и тщанием, дополнительно размозжив ей череп тяжелым медным подсвечником. Борьбы не было. В комнате царил практически полный порядок. И осталось неясным, когда именно произошло убийство. Было высказано предположение, что подручная — ее звали Мэри — могла вернуться туда чуть позже (кто-то сообщил, будто видел ее на улице), но, если так, значит, она предпочла не сообщать в полицию, а сбежать. И зря, потому что полиция ни секунды не считала ее виновной.

Так исчез наиболее ценный источник информации, поскольку только она одна из всех живых могла знать, кто приходил в этот день и в котором часу мадам Бонинская была убита и почему. Ничего больше никто в этот день не видел. А без ее показаний не было никаких шансов, что дело будет раскрыто. Пожалуй, с большей тревогой я осознал, что сообщил леди Рейвенскифф несколько неточные сведения. Найдена мадам Бонинская была через двое суток после того, как ее муж упал из окна, однако полицейские врачи не установили, когда именно она была убита. Такая неуверенность обозначала, что произойти убийство могло до того, как Рейвенскифф упал из окна, — возможно, после. Свои ограниченные усилия полиция сосредоточила на розысках Мэри, единственной, кто мог бы просветить их, а когда розыски эти ни к чему не привели, полиция более или менее закрыла дело. По общему мнению полицейских, Мэри должна рано или поздно объявиться, и тогда они опять его откроют. А пока

у них хватает и других дел.

Тогда я не проявил особого рвения. Убийства редки, а это обладало некоторой экзотичностью, преобразующей грязную смерть в интересную историю, но в целом мы следуем выводам полиции, если только нет веских причин для обратного. В данном случае официальная логика выглядела здоровой. Девушка была необходима, и пока она не материализовалась, копаться в случившемся было бессмысленно. В ожидании дальнейшего развития я написал заметку о медиумах и статью о модном увлечении оккультизмом, но ничего больше предпринять не мог. Если они не в силах ее найти, какие шансы есть у меня? И у меня не было свободного времени, чтобы попытаться.

Теперь оно у меня было, и гораздо более весомое побуждение, чем несколько строчек в «Кроникл». А потому я приготовился пустить в ход все репортерские штучки, от которых воздержался при первом заходе.

Для затравки следовало поговорить с соседями. Полиция их уже опросила, и я как-то вечером в пабе проглядел ее заметки, но теперь меня интересовали другие вопросы. Полицейские спрашивали, не был ли замечен кто-то, входивший или выходящий в день убийства. И все ответы были «нет». Никто конкретно. Однако меня-то теперь интересовали и два предыдущих дня, когда ежедневник Рейвенскилффа свидетельствовал, что ему назначена встреча. Это не сулило многого, но мне требовалось подтверждение, что он побывал там.

Поэтому я зашел в лавку зонтиков, поскольку ее владелец оказался наиболее полезным для полиции, и я надеялся, что для меня он окажется таким же. Собственно говоря, он был единственным, кто вообще хоть что-то заметил, а кроме того, именно он нашел труп. Это был день уплаты за квартиру, и он явился получить. Поскольку дама была чересчур равнодушна к материальной стороне этого мира, чтобы серьезно относиться к таким пошлостям, как уплата долгов, он не пожелал уйти, а продолжал стучаться к ней и в конце концов вошел. У нее, видимо, была привычка притворяться отсутствующей, когда он приходил, и она успела задолжать за три месяца.

Мистер Филпот принадлежал к людям, у которых нет крещеного имени. Из тех, чья жена называет его «мистер Филпот», едва они кончают заниматься любовью, если вообще ею занимаются. Он предмет насмешек тех, кто человечнее его и презирает ему подобных за респектабельность, отсутствие воображения и абсолютную скучность. Истинное воплощение английских средних классов низшего порядка; лавочник с моральными устоями, чтобы им следовать, и малюсеньким местом в обществе, чтобы

его защищать. Мне он понравился. Филпоты мира сего мне всегда нравились — их честностью, и надежностью, и приличностью. Мне даже нравится их мелкотравчатость, потому что они довольны тем, что имеют, и гордятся тем немногим, что им принадлежит. Только если это оказывается под угрозой, они становятся колючими, но какой класс человечества спокойно сносит такое? Они уважают тех, кто выше их, и страшатся тех, кто ниже. Они ходят в церковь, и почитают короля, и каждое утро подметают тротуар перед своими лавками. Хотят они всего лишь, чтобы их оставляли в покое, а взамен обеспечивают нации субстанцию и солидность. Если фабричный рабочий убивает жену или аристократ зачинает ребенка на стороне, это проходит почти не замеченным, но если это случается с каким-нибудь Филпотом... страшнейший шок! Филпотам предъявляют более высокие требования, чем подавляющей части человечества, и в целом они их оправдывают.

А потому я был предрасположен к тому, что мистер Филпот мне понравится в его аккуратном жилете и нарукавниках, оберегающих от беды сияющую белизной рубашку. С его тщательными усиками, и аккуратно подстриженными ногтями, и сверкающими черными штиблетами, и потому, что мне нравится его лавка, где сотни зонтиков до единого черные, за исключением ручек — каждая параллельно остальным, будто гренадеры в шеренге на параде, — обеспечивающих самую чуточку шика, чтобы оживить темный дуб прилавков и пола. Филпот внушил мне ощущение, что мир находится в хороших руках. До моей встречи с Элизабет я считал само собой разумеющимся, что со временем я женюсь на дочери какого-нибудь Филпота, столь же умелой в домашних делах, как ее отец — в управлении своей лавкой.

Мы некоторое время поговорили о том о сем, прежде чем я коснулся темы его былой жилицы. Всегда, если возможно, следует начинать таким образом, чтобы представить себя порядочным, прямым человеком. Я посочувствовал его смущению и озабоченности, когда внезапно его лавку упомянули газеты в связи со столь ужасным происшествием. Какой стыд, когда его соседи узнали, что он сдавал свою квартиру шарлатанке и проститутке. Возможно, со временем это забудется, но его доброе имя запятнано.

— И ведь я пустил ее жить тут только по доброте сердечной, — возмущался он. — Я не представлял, чтобы кто-нибудь сдал ей хоть что-то, а она умоляла меня не выгонять ее, когда я обнаружил, чем она занимается. Когда я впустил ее, мне и в голову не приходило, что она может оказаться непорядочной. Она была старухой. И я ее пожалел. Больше я такой ошибки

не допущу, позвольте вас заверить.

— Но вы знали, чем она занималась? Как зарабатывала деньги?

— Обнаружил со временем и сказал ей, что она должна съехать. Я не собирался терпеть подобного. И она согласилась. Сказала, что скоро освободит квартиру. Просто хотела остаться до конца месяца. А тогда она подыщет себе что-нибудь гораздо лучше.

— Но ведь вы сказали, что она не платила вам и за эту квартиру?

— Так и было. Но она сказала, что у нее есть друзья и они о ней позаботятся. Жаль только, что они о ней не заботились, пока она жила у меня.

— А что за друзья? Вы узнали?

— Да не было никаких друзей. Просто выдумка. Она считала, будто я совсем дурак, и наплела бы что угодно, лишь бы заморочить мне голову. И я попался дурак дураком.

— А какой она была?

— Старой.

— Знаю. Я хочу сказать, она произвела на вас хорошее впечатление, когда вы только с ней познакомились?

— Почему это вас интересует? Приходите сюда, задаете всякие вопросы и не объясняете почему. Мне и так неприятностей со всем этим хватает...

— Я вам весьма признателен, сэр, — сказал я. — И уверяю вас, никакой зловещей подоплеки тут нет. Но я помогаю другу, которого попутала эта женщина. Он доверчивый человек, чуть-чуть схож в этом с вами. Он боится, как бы что-то из того, что он говорил...

Филпот кивнул. Стыд и опасения — их он хорошо понимал.

— Хотя я считаю, что тот, кто прибегает к помощи подобной...

— Совершенно с вами согласен. Совершенно согласен. Как и он теперь. Но видите ли, он потерял жену... Трагический несчастный случай. И неутешен с тех пор. Она была ему дороже всего на свете, и он так и не пришел в себя. И рискнул поверить, что, может быть — только может быть, — ему будет дано поговорить с ней в последний раз.

— Ну, она бы предвидела, что он придет, это уж так, — сказал Филпот, но не без сочувствия. — Она выманила бы деньги из его кармана за две секунды и сказала бы ему все, чего он только хотел услышать, не сомневаюсь.

— Вот именно, — сказал я. — Так все и произошло. Он чувствует себя одураченным и очень сердит. Пока он не прочел о ней в газетах, он верил, будто говорил со своей дорогой усопшей, и утешался мыслью, что с ней

все хорошо. Впервые за годы и годы он почувствовал себя счастливым.

— Уж эти газеты! — сказал Филпот, покачивая головой. — Постыдились бы!

Я согласился.

— А теперь, — продолжал я, — он хочет, чтобы никто не узнал про его глупость, чтобы он мог горевать, не став предметом насмешек.

Это прорняло Филпота до мозга костей. Хороший человек, способный сочувствовать другим. Стать предметом насмешек — это же худшее из унижений.

— Понимаю, понимаю, — сказал он. — Да, конечно, он не может не бояться. Так задавайте ваши вопросы.

— Ну, я хотел бы узнать, не видел ли кто-нибудь, как он приходил и уходил ради этих... э... сеансов. Он среднего роста, седой, хорошо одет, выглядит очень достойно... Да у меня же с собой его фотография!

Я достал фотографию Рейвенклиффа. Филпот посмотрел, погладил свои усики большим пальцем и на минуту задумался. Затем кивнул.

— Да, я его помню, — сказал он. — Приходил пару раз, если не ошибаюсь. Он был одет настолько лучше, чем большинство тех, что поднимались по лестнице. И я заметил, зонтик у него очень красивый, немецкий, с резной ручкой красного дерева.

Поскольку его, несомненно, увлекало все, имеющее касательство к зонтикам, я продолжал надавливать, хотя и мягко.

— Вот-вот! Вы обратили внимание на его зонтик. А он, в частности, попросил меня заняться и этим. Видите ли, в последний раз, когда он приходил сюда, он был так потрясен словами, которые счел словами своей жены, что просто выбежал вон, забыв зонтик.

— Неужели!

— Да. А потому он попросил меня попробовать отыскать его. Он вообще-то взял его с собой только потому, что мадам Бонинская сказала, что вызов духа заметно облегчится, если в комнате будет предмет, которого она касалась при жизни.

Филпот сразу все понял и был шокирован подобным кощунством.

— Вам следует сейчас же пойти и поискать его, — сказал он немедленно. — Я настаиваю.

— Вы очень любезны. Я не решался попросить...

— Прекрасно понимаю. Бедняга! Вот возьмите эти ключи, идите и поищите.

Я вышел из лавки на свежий воздух — настолько свежий, каким бывает воздух вблизи Тоттенхем-Корт-роуд, — и поднялся по лестнице в узком

колодце за соседней дверью. Квартира оказалась душной, темной и гнетущей, причем была бы такой, даже если бы в ней не произошло убийство.

Я отдернул занавески, а затем открыл окна. Все выглядело прибранным, аккуратным, хотя и крайне прихотливым. Чучела животных, гравюры на стенах с изображением паранормальных явлений, какие-то приспособления, мебель с борю по сосенке. Обилие черного бархата.

Ничто из этого меня не интересовало. Я тотчас принялся выдвигать ящики, заглядывать под кровати и матрасы, осматривать бока кресел, щуриться под мебель — любой клочок бумаги, или записная книжка, или шкатулка для документов, или фотография — сгодилось бы все. Адресная книга, старый железнодорожный билет, контракт, какая-либо бумажка. Не было ничего. Абсолютно ничего.

Неестественно. Все люди что-то накапливают. Хотя бы старый омнибусный билет. А тут — ничего. Ни единого клочка. Я призадумался. Конечно, это могло быть делом рук полиции. Придется проверить. Но я еще ни разу не сталкивался с полицейским расследованием, когда забирали подчистую все, как тут.

— Вы нашли?

— Что?

— Зонтик. Вы нашли его? — Филпот неохотно просунул голову в дверь.

— А! Нет, боюсь, что нет. Он исчез. Извините, что я так замешкался, но эта комната такая угнетающая. Вероятно, я все обшаривал дважды, так как не мог сосредоточиться.

Филпот счел такую впечатлительность неподобающей и ничего не ответил. Я последовал за ним вниз по лестнице и на улицу.

— Мрачное место, — сказал я. — Но квартира будет очень уютной, едва ее очистят. Почему бы не позвать старьевщика, чтобы он забрал весь хлам? Неделю подержите окна открытыми. Наймите маляра. Скоро случившееся будет забыто.

Филпот был благодарен за поддержку, но покачал головой.

— Пока еще нет, — сказал он. — Пока еще я и подумать об этом не могу. Хотя последую вашему совету без долгих отлагательств.

— И ничего об этой девушке? Как бишь ее звали?

— Мэри. Нет. Исчезла без следа. По-моему, меня больше всего остального потрясло, когда я узнал, кем она была... — Вспоминая ее, он понизил голос и опустил глаза.

— Вы не знали, откуда она?

— Полицейские меня спросили: «Она вам говорила, где жила прежде?»
— «Нет, не говорила». Конечно, я знал, откуда она, но это их не интересовало. «Факты, мистер Филпот, факты, — твердили они. — Придерживайтесь фактов».

— Так откуда вы знали?

— Да по ее манере говорить, разумеется. Она выросла в Шордиче. Но я не утверждаю, что она жила там.

Глава 20

Настало время призвать рассыльных. Я вернулся в редакцию впервые после того, как уволился, и спросил в приемной про ребят. Некоторые были на Драгон-корт, заплесневелой вонючей маленькой площади прямо через дорогу, окруженной вроде бы заброшенными зданиями. Стекла были выбиты практически во всех окнах; ребята повыбивали их, гоня мяч или играя в крикет, — обычные их занятия, пока они ждали поручения. Их оказалось трое: один — безнадежный унылый типчик с малым умишком и без намека на инициативу, второй — бледный, прыщавый, недокормленный и заброшенный, в одежке на два размера больше его. А третий, Деррик, самый сметливый и надежный, вырос впоследствии в крайне успешного домушника.

— Слушайте, ребята, — сказал я. — У меня есть для вас работка. Плата вдвое выше обычной и гинея в премию тому, кто преуспеет.

От Элизабет я научился, что, если вам требуется мгновенное повиновение без возражений, надо платить, и платить так щедро, чтобы дух захватывало. Никто из этой троицы, подозревал я, никогда прежде даже не видел гинеи. Самая мысль о ней заставила их притихнуть в благоговении.

Я сказал им, что мне требуется, сказал им имя девушки, сказал им, что она из Шордича, сказал им про ее занятие — это же были не невинные ангелочки — и повторил ее описание, которое получил от полиции. Примерно двадцать лет, светло-каштановые волосы, голубые глаза и средний рост. Не много, но хотя бы исключало всех шестифутовых, оранжевоволосых и красноглазых проституток Шордича.

— А теперь внимание! — сказал я. — Это важно. Если вы найдете эту женщину, не напугайте ее. Никто не хочет ей ничего дурного. О полиции и речи нет. Я могу даже помочь ей, если она нуждается в помощи. Но я хочу поговорить с ней и заплачу гинею. Усекли?

Мальчишки закивали. Если они что-нибудь узнают, то найдут меня либо дома, либо в пабе, либо в особняке Рейвенклиффа. Покончив с этим, я направился в «Короля и ключи», чтобы снова поговорить с Хозвицки. Сомнительная надежда — не разговор с Хозвицки, я знал, что он там, — но что он может что-либо мне сказать.

— Чего ты хочешь? Ты так и не заплатил мне за прошлый раз.

— Верно, но я думал, старый товарищ по оружию... — Я замолк.

Нормально при таких обстоятельствах достаточно поставить выпить и повторить, и все будет тип-топ, но я знал, что и эта тактика не сработала бы.

— Поверь мне, — сказал я со всей искренностью, какую сумел выжать, — если бы я мог сказать тебе что-то, то сказал бы, но я не хочу подвергать тебя опасности.

Хозвицки посмотрел на меня скептически, но уши наострил.

— Ты и вообразить не можешь, насколько все оказалось сложнее. Я думал, что пишу биографию для горюющей вдовы. А теперь, сдается, за мной охотится шайка анархистов-убийц. Я не хочу, чтобы и ты оказался в подобном положении.

Он поглядел на меня.

— О чем ты говоришь?

— «Братство социалистов». Ты про него слышал?

Хозвицки смерил меня свирепым взглядом.

— По-твоему, если я поляк, то знаю каждого революционера в Ист-Энде?

— Да нет. Я хочу сказать, их такая уйма, что знать их всех ты никак не можешь, верно? Я просто подумал, может быть, ты слышал такое название?

— Так почему они за тобой охотятся?

— Не знаю.

— Но это имеет какое-то отношение к Рейвенсклиффу?

— Не знаю.

Хозвицки потер кончик носа и задумался.

— Никогда про них не слышал, — сказал он наконец.

— Нет, слышал.

— Да, слышал, но ничего тебе говорить не собираюсь.

— Послушай, Стефан...

— Если у них на тебя зуб, так держись от них подальше. Или раздобудь револьвер. У тебя есть револьвер?

— Разумеется, нет.

— Я назову тебе человека, который может достать его для тебя.

— Да не хочу я револьвера.

— Тебе виднее. Но он может тебе понадобиться.

— А кто они такие?

Хорошая и плохая стороны Хозвицки вступили в борьбу за его совесть, и ему пришлось нелегко. Он не отвечал очень долго. Собственно говоря, он вообще не ответил. Вместо того вытащил записную книжку, вырвал листок

и что-то нацарапал на нем.

— Вот, — сказал он, — помогать тебе я не собираюсь. Пойди туда и порасспрашивай. Это все, что я для тебя сделаю.

На листке был написан адрес. Клуб анархистов, 165, Джубили-стрит.

Те, кто забыл, каким был Лондон до войны, или вообще его не знал, сочтут самую идею дикой. Клуб анархистов. Большинство знает «Реформ» или «Атенеум», и когда они думают о клубах, то представляют себе кожаные кресла, портвейн и сигары. Бесшумных официантов, скользящих вокруг с серебряными подносами. Мысль об анархистах в таком окружении вызывает невольную улыбку.

И все-таки такой клуб существовал, хотя его закрыли, когда началась война, и снова он так и не открылся. Более того: он пользовался популярностью. В те дни Ист-Энд бурлил революцией: волна за волной иммигрантов накатывалась туда, принося евреев, националистов и революционеров, бежавших от властей в России или где-нибудь еще. И возникло большое напряжение. С одной стороны, это делало Британию крайне непопулярной в тех странах, которые предпочитали видеть своих революционеров мертвыми или в тюрьме. С другой стороны, множество людей, ищущих работу, раздражало наших собственных чернорабочих, когда их теснили с жильем, а заработную плату снижали. Но одно правительство за другим не желало принимать никаких мер. Нанимателей прельщала дешевая рабочая сила, и, подозреваю, министерству иностранных дел нравилось дергать за носы заграничные самодержавные правительства. Таким образом, они заключили своего рода пакт с нежеланными гостями. До тех пор пока последние не будут вызывать беспорядки в Англии, они вольны замышлять какие угодно кровавые бойни в своей родной стране. Тем не менее власти, насколько было в их силах, недремлющим оком следили за происходящим. Правда, как я знал, ничего, собственно, и не происходило. Эти латыши, и поляки, и пан-славяне, и русские, и кто там еще не только говорили на большом разнообразии языков, а часто и на загадочных диалектах, но они к тому же словно бы меняли имена с ошарашивающей быстротой. Несколько судимых преступников именовались только кличками — Слон, Жирняга, Кирпичник, — потому что власти понятия не имели, кто они такие.

Беда с революционерами заключается в том, что, привыкнув противостоять своим властям, они кончают противостоянием всему и вся. Иными словами, не успевала партия возникнуть, чтобы, например, утвердить принципы марксистского социализма или анархистской свободы

в освобожденной Литве, как она тут же распадалась на две по вопросу о том, что, собственно, такое социализм или анархизм. Или даже — что такое Литва. Вот так образовался Клуб анархистов. Взаимное братское отвращение приостанавливалось на время пребывания членов в его пределах. Там можно было услышать речи на всяческие темы, обязательно страстные и нереалистичные. Подходя к клубу в этот вечер (я проехал на omnibusе с Флит-стрит до Коммершиел-роуд и зашагал по Джубили-стрит), я старался вообразить лорда Рейвенсклиффа в шелковом цилиндре и кашемировом пальто, якшающегося с подобной публикой. Мне это чуть было не удалось, но в конце концов я сдался. Полнейший абсурд!

Клуб вонял, но не сильнее большинства пабов, а шума в нем было заметно меньше, но знобко и не слишком чисто. Анархисты не одобряют уборку, предоставляя ее своим женщинам, а в целом найдется мало женщин, настолько преданных великому делу, чтобы стряпать, прибирать, слушать риторику и подстрекать к революции, причем все это одновременно. По моей прикидке, в большой комнате находилось около тридцати мужчин и только четыре женщины. Все выглядели неряшливо и жалковато, и хотя некоторые претендовали на щеголеватость — нафабранные усы и петушиная походка, — в большинстве они казались пришибленными и двигались с опаской. Имитация кровожадных убийц не слишком убеждала. Все были иностранцами. По моей догадке, многие были евреями, причем не похожими на юнионистов или синдикалистов, о которых я писал в свои трудовые дни. Мало кто выглядел трудящимся; они не стояли и не двигались, как люди, работающие руками и телом. Вдобавок, судя по их виду, питались они значительно хуже: такие землистые лица!

— Могу я вам помочь? — Настороженный голос, сильнейший акцент.

Передо мной стоял коротышка без пиджака и воротничка, опасливо глядя на меня. И неудивительно. Одет я был, разумеется, не по моде, однако здоровый цвет моего лица и отсутствие заплат на одежде неопровержимо свидетельствовали, что я, во-первых, англичанин, а во-вторых, ни с какой стороны для этого места не подхожу.

— Я рассчитывал встретиться здесь с другом, — сказал я. — Стефаном Хозвицки. Вы его знаете?

— Знаю, но сейчас его тут нет, — ответил коротышка, слегка расслабляясь. Видимо, имя Стефана служило своего рода паспортом, гарантией моих добрых намерений. Любезно с его стороны, но таинственно. Если я не слишком вязался с обстановкой здесь, это, на мой взгляд, относилось и к Хозвицки.

— Вы тут прежде не бывали, — сказал коротышка. — Кстати, меня зовут Иозеф. Добро пожаловать.

— Спасибо. Меня зовут Мэтью Брэд...

Он поднял ладонь.

— У нас фамилий нет, — сказал он с улыбкой. — Это не по-товарищески, а к тому же очень многие не хотят их называть. Так что Мэтью будет в самый раз. — Его губы дернулись в улыбке, пока он наблюдал, как я стараюсь выглядеть по-товарищески.

Я проникся к нему симпатией. Он был низкого роста — всего лишь около пяти футов четырех дюймов, — чахлым, плохо питающимся, скверно одетым и далеко не здоровым. Все время его руки нервно подергивались, будто он старался стягивать перстни с пальцев, но в остальном он был неподвижен и спокоен. Его глаза, следящие за мной сквозь толстые линзы очков, казались добрыми и немного печальными.

— Вы пришли на собрание?

— Э... да, пожалуй. Правду сказать, я не совсем уверен, почему я тут.

— У товарища Стефана, конечно, есть свои причины.

— Я уверен, у товарища Стефана они есть, — сказал я и возгордился, что сумел подавить улыбку. Только потому, что растрогался. Хозвицки, как я упоминал, был не слишком дружелюбен. Он никому не доверял, а симпатизировал и того меньше. И порекомендовать мне пойти сюда, где он, конечно, знал, я услышу, как его называют товарищем Стефаном, значило подвергнуться риску стать мишенью насмешек или того хуже, если я расскажу про это в «Короле и ключах». Да, это был жест. Не совсем прямое предложение дружбы, но, вероятно, близкое к тому, что мне или кому-нибудь еще будет когда-либо предложено.

— Могу я спросить, кто сегодня выступает?

— О! — сказал он. — Товарищ Кропоткин.

Анархист-аристократ. Русский революционер. Анархист-князь. Сколько титулов нафантазировали авторы передовиц в «Дейли мейл», набившие руку в таких вещах. Станный тип по всем отзывам: подлинный русский князь, который предался сельскому коллективизму и революции. Он попал в тюрьму в России, был вышвырнут из Швейцарии, Франции и Америки и причалил в уютной части Брайтона, где совершал длинные прогулки со своей собакой и был абсолютно мил со своими соседями, когда не призывал повесить их на ближайшем фонаре.

— И о чем он будет говорить?

— О вреде дарвинизма.

— А он вреден?

— Товарищ Кропоткин в прошлом доказывал, что дарвинизм есть просто отражение капитализма, так как он ставит конкуренцию и борьбу выше сотрудничества и сосуществования. Он оправдывает эксплуатацию человека человеком и подкрепляет классовую идеологию угнетателей.

— Превосходно. Так что же новое будет сегодня?

— Это нам предстоит узнать. Если мы сумеем его понять. Тут столько людей столько разных национальностей, со столькоим числом разных языков, что понятен для всех может быть только английский. Не думаю, что вы говорите на сербско-хорватском?

— Собственно, нет.

— Жаль! Я бы привлек вас переводить на ходу. Наши сербы в языках не сильны.

— Кто еще... то есть какими другими языками тут пользуются?

Иозеф прищурил глаза, прикидывая.

— Ну, русские и немцы. Много латышей, и литовцев, и поляков. Несколько сербов. Один датчанин, но он редко приходит. Много англичан, хотя по какой-то причине ирландцев почти нет, что я нахожу странным, ведь они самые угнетенные. Несколько украинцев и совсем мало белорусов. Французы предпочитают оставаться во Франции. И конечно, у нас есть много, очень много людей, которые говорят только на идиш.

— Настоящий интернационал, — сказал я, надеясь, что тоном одобрения. — А полицейских сколько?

Он посмотрел на меня растерянно, однако прекрасно понял, что я шутливо затронул очень серьезный момент.

— Один сержант, но он еще не пришел.

— Вас не тянет вышвырнуть его вон?

— Ну, нет. Полиция же обязательно внедрит своего агента, так зачем тратить время? Ничто из того, чем мы тут занимаемся, для них особого интереса не представляет. Мы же тут не открытые дебаты по изготовлению бомб устраиваем.

— А на те ходят по особому приглашению?

— Вот именно, — сказал он со смешливыми искорками в глазах. — Seriously говоря, здешние власти глупы и готовы по любому поводу пустить в ход силу, но несколько мягче им подобным за границей. Пока мы не пугаем их, они оставляют нас более или менее в покое. А в первую очередь они пугаются своей неосведомленности. Вот тогда они напридумывают заговоры, козни и принимают меры. Ну, мы им и показываем, что бояться нечего.

— А ваш сержант знает, что вам про него известно?

— Тема эта никогда не всплывала, но, думаю, да. Хотите познакомиться с ним? Вы ведь журналист, насколько я понимаю.

— Откуда вы знаете?

— Да чуть вы рот откроете, как начинаете задавать вопросы. И явно ничего в анархизме не смыслите, и вы друг Стефана, а он тоже журналист. Вы не работаете в «Дейли мейл», верно?

— Конечно, нет, — сказал я, почти обидевшись.

— Это хорошо.

— Вы не против, что я тут?

— Да нет. Чем больше гласности, тем лучше. Товарищ Кропоткин написал много статей для газет — и здешних, и заграничных, — объясняя происхождение и суть того, во что мы верим. Он только что завершил длинную статью для «Британской энциклопедии». А теперь извините меня.

Учтивый анархист направился в сторону помоста. Я заметил, что он прихрамывает. Казалось, каждый шаг причиняет ему боль. Шел он зигзагами, часто останавливаясь, чтобы поздороваться с кем-то, похлопать по плечу, перекинуться двумя-тремя словами. Одной женщине он отвесил чудаковато-старомодный поклон. Она была одета просто, шея обернута шарфом, словно от простуды, и с цветком в волосах. Она на секунду прервала разговор с крупным небритым мужчиной, чтобы ответить Иозефу, полуповернувшись к нему и холодно кивнув.

— Эти, а?

— Что? — Я обернулся и увидел, что на меня пялится угрюмый мужчина так, будто я только что призвал к отмене налогов на землевладельцев. Могучий, умный, его глаза излучали раздражение, что он так плохо владеет английским. Он взмахнул рукой.

— Стулья. Их надо организовать.

Он говорил с таким явным и невнятным акцентом, что было трудно уловить, насколько рудиментарны его понятия об английской грамматике. Разобрать хоть что-то было почти невозможно.

— Что? — повторил я почти в панике.

Он поднял стул, сунул его мне в руки и грубо толкал, пока стул не оказался почти вплоты к стулу в прямом ряду, а тогда заставил поставить его. Затем махнул рукой на остальные стулья.

— Опять.

— А! Хорошо. — Он явно не потерпел бы отказа. Я почти ждал, что он выхватит револьвер и пристрелит меня, если я выкажу хоть какое-то неудовольствие. А потому я поспешил взять еще стул, затем третий и медленно составил их в ряд.

— Хорошо. Очень хорошо. — Громовый хлопок по спине и широчайшая улыбка означали, что мои труды на общее благо были одобрены. — Пить.

Он ткнул в меня бутылкой вопреки закону от 1892-го о регулировании употребления спиртных напитков и нахмурился, а может, это была улыбка. Трудно определить. Я улыбнулся в ответ, насколько сумел. Пить мне абсолютно не хотелось, но вновь я почувствовал, что отказаться было бы неразумно. Мы выпили за здоровье друг друга, опять улыбнулись, еще один хлопок по спине, и он отчалил.

— А вы, полагаю, товарищ Мэтью, друг-журналист товарища Стефана, — произнес холодный женский голос позади меня с сильным немецким акцентом, но грамматически правильно и удобопонятно.

Я стремительно повернулся. Я открыл рот, чтобы ответить. Учтивый, светский, способный с честью выйти из любой ситуации. Вот каким я хотел быть и категорически не был. Я не сумел выговорить ни слова.

— Вы пришли выслушать речь? Здесь у нас мы видим журналистов не часто, а потому, полагаю, вы здесь, чтобы увидеть товарища Питера.

Она говорила негромко и была из тех, кто не смотрит на того, с кем говорит. Сейчас она упорно смотрела на что-то над моим левым плечом, выражая презрение, которое точно гармонировало с жесткостью ее голоса.

— Э...

— Сядьте поближе, он мямлит.

Она откинула голову и одним пальцем вернула на место прядь волос, упавшую на глаза. Я же так настойчиво вглядывался в нее, запоминая каждый ее жест, — и вот этого она никогда не делала. Она будто заимствовала другую личность. Словно вообще была другой личностью. Я был полностью сбит с толку. Конечно же, этого быть не могло.

Одета она была, как и все в этой комнате. Негреющая, старая одежда, абсолютно не к лицу. Черные сапоги из грубой кожи. Застегнута до подбородка на многочисленные пуговицы, одна из которых не застегнулась, а другая и вовсе оторвалась. Суровое, крайне серьезное лицо, словно бы часто рассерженное. Кожа землистая, состарившаяся. Утомленность. В этой улыбке не было ни на йоту теплоты.

Нет, решил я.

— А вы?

— Называйте меня Дженни, — сказала она категорично.

— Это ваше настоящее имя?

— Какое это имеет значение? Для женщин имена — это клейма подчиненности. Кто был твой отец. Кто твой муж. Мы должны сами

выбирать свои имена. Вы согласны?

— Абсолютно. Я и сам так думал.

— Я не одобряю глупое острословие.

— Простите. Привычка.

— Избавьтесь от этой привычки. — Она вынесла приговор. И точка. —

При надлежащем внимании вы найдете этот митинг очень поучительным.

Она, готов поклясться, чуть было не щелкнула каблуками, а затем на краткую долю краткой доли секунды, пока она отворачивалась, я увидел ее глаз. Серый. И я испытал такой знакомый шок, пронизывавшее меня всего вяжущее чувство в животе, судорожный выдох, внезапное ускорение сердцебиения.

Стефан Стефаном, и вопреки бесспорной притягательности многочасовой речи русского анархиста я решил уйти, и побыстрее. По крайней мере я умудрился не побежать, а просто направиться к двери сквозь группы людей, идущих в противоположном направлении, настолько быстро, насколько мог. Иозеф остановил меня как раз, когда я вот-вот должен был обрести свободу.

— Вы же, конечно, не уходите?

— Боюсь, я должен. Я... — Я попытался, но не сумел придумать сколько-нибудь веской причины. — Я только сейчас вспомнил про неотложную работу. Страшно сожалею. Я так предвкушал...

— Ну, в другой раз, — сказал он без особого интереса. — Как видите, двери всегда открыты. Даже для журналистов.

— Спасибо. Вы очень добры. А я и то небольшое, что видел, нашел интересным, очень интересным. Скажите, кто вон та женщина?

Я кивнул так незаметно, насколько сумел.

— Почему вы спрашиваете?

— Ну, понимаете, мы поговорили. А здесь женщин так мало, вот я и любопытствовал.

— Если хотите узнать, вам надо самому ее спросить. К тому же я мало что про нее знаю. Она иногда заглядывает сюда последние полгода. Первое, что она сделала, когда сошла с парохода.

— Парохода?

— Да. Она немка, должна была уехать из-за... ну, это не важно. Но она непоколебима и предана делу. Если хотите узнать больше, спросите ее, но ответа не ждите.

Я не хотел слишком нажимать, а потому ушел. Ну хотя бы Хозвицки не появился. Меньше всего мне требовалось сочинить еще какую-нибудь отговорку.

Кропоткин прибыл менее чем через десять минут после моего ухода. Я увидел его с моего наблюдательного поста по ту сторону улицы. Часть тренировки — во всяком случае, часть того, как я себя вытенировал. Умение ждать. Искусством этим владеют лишь немногие. Большинству спустя две-три минуты уже надоедает, и они приходят в возбуждение и измышляют десятки весомых доказательств, что тратят время попусту, и все лишь просто чтобы уйти. Я же научился ну, не получать удовольствие, а вернее, позволять моим мыслям рассеиваться, так что время будто проходит быстрее. Некое успокоение. По-своему талант, я знаю, хоть и небольшой, которым я очень горжусь. А потому я нашел темный уголок в проулке, тянущемся сбоку от бакалейной лавки по ту сторону улицы. Оттуда все было отлично видно, а свет газового фонаря туда не достигал. Я поплотнее завернулся в пальто. И начал ждать. И ждал. Увидел, как торопливо вошел Стефан и еще несколько человек; увидел подъехавшую карету и вылезшего из нее высокого мужчину с густой пышной бородой. Вот, подумал я, Кропоткин. Предположим, десять минут на раскачку, затем по меньшей мере три часа митинга. Я вытащил карманные часы из жилета и прищурился на них. Восемь часов. Вечер предстоял долгий.

Таким он и был. Почти нескончаемым. Даже моей искусной безмятежности в подобных ситуациях еле достало, чтобы я дотерпел. Мои мысли увязли в этой Дженни. Они снова и снова к ней возвращались, и я не понимал ровнехонько ничего. И был твердо уверен лишь в одном: мне вновь солгали.

Вот так я ждал, замерзший, страшно голодный и расстроенный. Девять часов, десять часов, половина одиннадцатого. Время от времени из дверей выбредали люди; то ли слова князя их не ублажили, то ли они слышали их прежде. Некоторые, разговаривая, останавливались снаружи. Другие торопливо уходили. Для меня никто интереса не представлял.

В конце концов вышла Дженни. Закутанная в пальто, на голове шляпа, но не узнать ее было невозможно. С ней был мужчина, тот, который заставил меня «организовать стулья». Он тоже был в шляпе, надвинутой на глаза. Правая рука засунута в карман пальто.

И он прикасался к ней: поглаживал ее спину левой рукой. Неопровержимый жест близости. И она отзывалась, прилегалась телом к нему. Ошибки не было: я это не вообразил.

А потому я пошел за ними. Более горячий человек, чем я, мог бы заступить им дорогу. «Здрасьте, миледи, вот уж не думал увидеть вас тут!» Но я решил, что лучшей мезтью будет узнать все. Да, в первую очередь я разберусь что к чему.

А потому я последовал за ними на порядочном расстоянии, только чтобы не упустить их из виду, ныряя в тень всякий раз, когда мужчина останавливался, чтобы завязать шнурок или чиркнуть спичкой о стену, или когда они останавливались посреди тротуара, продолжая разговор. Никто так часто не останавливается. Но я учился у мастера. Джордж Шорт отточил зубы как рассыльный, прежде чем стать репортером. Он знал все хитрости, как вести слежку, оставаясь невидимым, и, подозревал я, как обчищать карманы и подслушивать разговоры в ресторанах и барах. Когда я начинал, он обучил меня некоторым из своих приемов. «Никогда не знаешь, когда что окажется полезным, — говаривал он. — Эти выпускники университетов верят, будто вся важность в хорошо построенных фразах. Да они не смогут сварганить историю, даже если она укусит их за ногу».

Его уроки никогда прежде не были такими уж полезными, но сейчас я оценил их сполна. Суть в том, чтобы попасть в ритм с тем, за кем следишь, внимательно вглядываться, так чтобы заранее предвидеть, как он поступит; двигаться в гармонии с ним и успеть скрыться среди теней даже прежде, чем он начнет оборачиваться. Знать, на каком расстоянии находиться. Знать, как двигаться неслышной походкой, но естественно, чтобы тебя не заподозрили, даже заметив.

Я шел за ними мило или около того по Джубили-стрит, вдоль Коммершиел-роуд, вверх по Тернер-стрит, затем по Ньюарк-стрит — ряд домов обветшалых и нищих. Они остановились перед домом, погруженным в полную темноту, продолжая разговор. Я ничего не слышал, но мне этого и не требовалось. Он хотел, чтобы она вошла с ним, это было несомненно. Вначале она отказалась, и я чуть ободрился. Но затем она взяла его за руку, позволила ему подвести себя к двери, и они исчезли внутри.

Если я до этого пребывал в состоянии потрясенного недоверия, оно не шло ни в какое сравнение с тем, что я испытал теперь. Я бы мог очень долго описывать мои чувства, но, в сущности, они были очень простыми. Я ревновал до безумия. Она была моей, твердил я себе. Еще одна ложь в растущем списке. И с таким? С такими людьми? Совершенно очевидно, выплаты Братству, заметки о которых я нашел в той папке, производил не ее муж, а она. Он обнаружил их и пытался установить, чем она занимается. Этот мужчина наверняка принадлежал к какой-то группе, и она платила ему. Меня затошнило от отвращения. Я разоблачу ее перед всем миром. Я сокрошу ее репутацию, и ей придется навсегда покинуть Англию. Как это осуществить? Через Хозвицки, совершенно очевидно; я же обещал ему материал, а о таком он и мечтать не мог. Затем «Сейд». Я буду разорять

компании ее мужа, пока их общая стоимость не уместится в моем заднем кармане вместе с остальной мелочью.

Эта мысль успокоила меня. Медленно мое терпение вернулось ко мне, и я обрел целеустремленность. Когда мужчина вышел, я следовал за ним, пока он не вернулся к тому, что явно было его жильем, а тогда сел в омнибус, чтобы добраться до Вест-Энда. Я зашел в утреннее кафе — было уже четыре — и позаимствовал у хозяина лист бумаги и конверт. Я взвесил длинное возмущенное обличие, но они неэффективны: пишущий выглядит истериком. А потому я был краток.

Дорогая леди Рейвенскифф!

Пожалуйста, примите мой отказ быть вашим агентом в деле о наследстве вашего мужа.

Искренне ваш, Мэтью Брэддок.

Я собственноручно доставил письмо в ее дом, а затем сел в омнибус и вернулся в Челси. Было всего лишь шесть, когда я тихонько проскользнул в дом, никто еще не встал, даже миссис Моррисон. На цыпочках я поднялся по лестнице, избегая самых скрипучих ступенек, и рухнул на кровать. Миновала вечность с тех пор, как я спал по-настоящему, но я полагал, что сон и теперь будет бежать меня. Мне не стоило тревожиться. Я все еще ждал бессонницы, когда мои мысли начали гаснуть и я провалился в забытье.

Глава 21

Если мне чудилось, что всему положен конец, я не мог бы ошибиться сильнее. Я проспал до двух часов дня, но сон, когда я наконец из него вынырнул, меня совсем не освежил. Еще пара минут пощады, прежде чем воспоминания о прошлом вечере не нахлынули во всей полноте. Но передышка мало что дала. Я был грязен, небрит, и все кости у меня ныли от усталости, когда я спустился вниз в поисках горячей воды. Нигде никого, что было необычно; нормально в это время дня миссис Моррисон полагалось на кухне спорить с полоумной судомойкой о том, как следует чистить морковь. А потому я сам поставил большую кастрюлю на плиту и зевал в ожидании, когда вода подогреется. На кухонном столе лежала телеграмма, адресованная мне. Едва ее увидев, я понял от кого она, и поднявшаяся во мне волна радости должна была бы предупредить меня, насколько непрочное мое решение, принятое лишь несколько часов назад. Я прикинул, не разорвать ли ее пополам и не выкинуть ли в мусорное ведро — мне она не нужна, с этим покончено! — однако мужественная категоричность не совсем удалась. А что, если телеграмма содержит доказательство, что я ошибся? Вот так я колебался, а вода кипела, и кухня наполнялась паром. В конце концов я достиг компромисса: я вскрою ее, прочту, а затем разорву в праведном гневе.

Приезжайте немедленно. Элизабет.

Достаточно было первого слова, чтобы моя стальная решимость рассыпалась горсточкой ржавчины. В голову мне хлынули всевозможные истории. Потерянная сестра-близнец. Разлученные любящие сестры, теперь воссоединившиеся. Полная чепуха. Этого не могло быть. Ведь правда? Сомнение было маленьким, но достаточным, потому что я хотел, чтобы было так. Я вымылся, побрился и надел чистую одежду. И к тому времени, когда я был готов встретить мир лицом к лицу, мое решение было принято. Я увижусь с ней. Так, на всякий случай. Но я заставлю ее ждать и использую это время, чтобы узнать побольше. В первый раз она хотела видеть меня больше, чем я ее, и ощущение это слишком мне нравилось, чтобы расстаться с ним чересчур быстро.

Я вернулся на Флит-стрит. Хозвицки в «Короле и ключах» не оказалось, а потому я пошел к «Телеграфу», поднялся по лестнице в общий зал и нашел его в укромном углу за пишущей машинкой. Только он один

во всей редакции пользовался ею; все остальные писали свои истории чернилами, и я заметил, что всякий раз, едва он нажимал на клавишу, остальные бросали на него злобные взгляды. Женская игрушка. Не для мужчин.

— Мне надо поговорить с тобой.

— Я занят.

— Мне все равно.

Должно быть, тон у меня был внушительный, потому что он перестал печатать и поглядел на меня.

— Так говори.

— Не здесь. Не хочу, чтобы твои коллеги узнали про товарища Стефана.

В мои намерения не входило, чтобы это прозвучало угрозой, но он воспринял мои слова именно так. И каменно уставился на меня.

— Пойдем прогуляемся. Это займет только пять минут.

Он секунду думал, потом встал и надел пиджак. Я видел, что он рассержен. Полагаю, я бы тоже рассердился. С его точки зрения, он протянул руку дружбы, а я использовал его жест для шантажа. Я почувствовал бы себя виноватым, будь у меня время думать нормально.

— Так что? Чего тебе нужно теперь?

Он стоял на тротуаре, а толпы прохожих обтекали нас справа и слева. Было ясно, что он не намерен больше сделать ни шагу. Мы стояли прямо перед дверями «Телеграфа».

— Я ведь не угрожал, — сказал я. — Не собирался сказать ничего такого. Но мне необходимо поговорить с тобой, а времени у меня в обрез.

— Что произошло вчера? Я слышал, ты пришел, потом ушел. Заскучал?

— Возможно, и заскучал бы, но до этого не дошло. Там была женщина. Она назвалась Дженни. Лет сорока с лишним. Немецкий акцент.

Он кивнул.

— Расскажи мне про нее.

— Зачем?

— Это не имеет значения.

— Нет, разве что...

— Нет! — перебил я. — Никаких игр. Не сегодня. Никакого торга. Никаких «почеши мне спинку» и прочей ерунды. Мне нужно знать теперь же. Я должен знать. Кто она?

Он внимательно посмотрел на меня, потом кивнул.

— И ты не скажешь, зачем тебе это знать?

— Ни одного, ни единого слова. Но ты должен сказать мне.

Он секунду-другую вперялся взглядом в тротуар, потом повернулся и пошел, свернул в Уайн-Офис-корт, мимо «Чеширского сыра», где кругом никого не было. В конце концов он остановился и обернулся.

— Ее имя Дженни Маннгейм, — сказал он. — Но это не настоящее ее имя. Она приехала из Гамбурга примерно шесть месяцев назад. Видимо, там она была замешана в убийстве и должна была бежать из страны. Добравшись сюда, она встречалась с некоторыми группами беженцев, но держалась подальше от немцев. Не хочет, чтобы кто-нибудь знал, что она здесь. Боится полиции или что ее убьют из мести. Она закаленная женщина, беспощадна в спорах и, сдается мне, вполне способна к беспощадным действиям. Ее жизнь — борьба. Ничто другое ее не интересует, и ни о чем другом она не говорит. Она абсолютно холодна и крайне неприятна. Так что, боюсь, ничего больше я тебе сказать не могу. Даже то, что я знаю, я получил не от нее. Я избегаю ее, насколько возможно. И тебе советую, если у тебя есть хоть капля здравого смысла.

— Так как же ты узнал про нее?

— Она контактировала с группами, которые... ну, они мало кому доверяют. Привыкли, что шпики и доносчики и полицейские агенты стараются примазаться к ним. Они осторожны. Естественно, они хотели удостовериться, что она та, за кого себя выдает.

— И как они это сделали?

— Да очень просто. Написали товарищам в Германию. Те проверили, что она была на пароходе, который назвала. Навели справки у кое-кого в полиции, правда ли она сделала то, про что сказала. Она сделала. Предельно непотребная, даже по меркам ее типа.

— Но очень милостива.

— Было бы интересно посмотреть, как она среагировала бы, скажи ты ей это в лицо.

— Вчера она ушла с мужчиной.

Я описал его как мог точнее, но этого и не требовалось.

— Ян Строитель, — без колебаний сказал Хозвицки. — Так его называют. Он иногда работает на стройках. Иозеф как-то указал мне на него и предупредил, чтобы я его остерегался. Опять-таки, настоящего его имени не знает никто. И поскольку ты уже знаешь, да, он — член, а возможно, и лидер Братства социалистов.

— А они?

Хозвицки поглядел на меня.

— Опасные люди, с которыми тебе незачем знакомиться. Помнишь грабеж на пивоварне Марстона? Вооруженное ограбление того ювелира в

Чипсайде около года назад?

Он назвал два преступления, сопряженных с насилием, но неудавшихся.

— То, что именуется экспроприацией ради финансирования общего дела. Анархисты расколоты надвое: одни считают подобные вещи оправданными и необходимыми, другие убеждены, что они губят все, чего мы стремимся достигнуть.

— Мы?

Он кивнул.

— Так расскажи мне о них побольше.

— Трудно. Они ведь себя не афишируют. Но их не может быть много. В большинстве литовцы или латыши. Они ненавидят Россию и все русское. И всех остальных. У них вроде бы есть деньги. Предположительно от грабежей. Сверх этого я тебе ничего сказать не могу. Просто не знаю. Слушать речи им неинтересно. Считают это буржуазным. Насилие, по их убеждению, единственно подлинная революционная деятельность. Думаю, если бы они могли, то с радостью убили бы Кропоткина, как и любого другого русского.

— Что все это значит для тебя, Стефан? — спросил я с искренним любопытством. — Почему ты участвуешь во всем этом пустозвонстве?

Он нахмурился, повернувшись ко мне.

— Я еврей, и я поляк, — сказал он. — Надо ли что-то добавлять? У меня нет желания убивать кого-либо, Мэтью. Я хочу сделать мир свободным, чтобы человечество могло полностью осуществить свой потенциал и жить в гармонии. Надежда, которую ты, конечно считаешь глупой, наивной и нелепой.

Я пожал плечами.

— Как надежда она не так уж плоха. Я лишь скептически оцениваю ее шансы на успех.

— Ты не единственный. Но компромисс... — Тут он обернулся, на губах у него играла улыбка, сильно изменившая его лицо. Улыбка у него была приятная. Ему, право же, следовало бы чаще улыбаться. — Компромисс — это орудие угнетения, применяемое капиталистами, чтобы ничто никогда не менялось.

— Бесспорно, это так, — сказал я от души. — И чертовски кстати.

Он ухмыльнулся.

— Теперь мы поняли друг друга, и я рад. Я всегда ценил твои старания быть добрым. Не думай, будто я к ним не восприимчив. Но я рос в мире подозрительности, а это привычка, от которой нелегко избавиться. Ты

хороший человек. Для прислужника системы.

— Принимаю это как комплимент, — сказал я. — А я, в свою очередь, ценю твою готовность разговаривать со мной. Информацией я воспользуюсь — с осмотрительностью, скажем так. И когда-нибудь объясню тебе все как следует.

Он кивнул.

— Если ты о себе хоть как-то заботишься, то будешь держаться подальше от Яна Строителя и всех, кто с ним связан.

— Мы старые собутыльники, — сказал я.

— И что бы ты ни делал, не строй глазки Дженни Маннгейм. Она съест тебя на завтрак и поковыряет в зубах твоими косточками.

Он кивнул и зашагал назад к работе, а я задумался над его последними словами. Они вернули меня к предмету моей одержимости. Я забыл про нее, пока разговаривал с ним. Теперь она вновь заполонила мое сознание. Сообщница Яна Строителя.

Я получил информацию, но не объяснение. Собственно говоря, я оказался даже в худшем положении, чем прежде. Всякий раз, когда я добавлял крупицу информации к моим скудным запасам, она делала их еще более непонятными. Теперь я знал побольше об этой банде анархистов, с которыми столкнулся накануне. Но я все еще понятия не имел, какая тут может быть связь с Рейвенсклиффом. Более того: меня это не интересовало: моя одержимость Элизабет настолько усилилась, что почти вырвалась из-под контроля. Я терзался в исступлении, отправиться ли увидеться с ней, как меня позвали.

Я знал, что рано или поздно, но пойду. Я знал, что не смогу воспротивиться. Но я боролся. Я не хотел принять мою судьбу с распростертыми объятиями или даже подчиниться без сопротивления. И пока ноги сами несли меня по Флит-стрит мимо Чаринг-Кросса вверх по Хеймаркет и к Пиккадилли-серкус, я твердил себе, что еще ничего не решил. И в любую минуту могу вскочить в омнибус и поехать домой. Я обладаю свободой воли. И решу, когда сочту нужным. Я перебрал все причины отнестись к ее требованию с тем презрением, которого оно заслуживало, и они были неопровержимы. Перебрал все причины послушаться ее, и они были хлипкими. И все-таки я шел, засунув руки в карманы, впериwв глаза в тротуар, с каждым шагом приближаясь к Сент-Джеймс-сквер.

Я все еще твердил себе, что не принял никакого решения, когда стоял на крыльце и когда позвонил в звонок. И это была святая правда — я ничего не решил. Решение я мог принять только одно: пойти в

противоположном направлении; нерешительность заставила меня сомнамбулически идти к ней, войти в двери, когда горничная их открыла, подняться по лестнице к малой гостиной, где она ждала меня. Не выдержи тут мое сердце, я не удивился бы и, возможно, не был бы неблагодарен, но оно выдержало, и я вошел и увидел, что она сидит у огня с книгой на коленях и глядит на меня очень серьезно. И я ощутил обычный прилив эмоций, пронизавших все мое существо, едва я понял, что нахожусь именно там, где должен быть.

— Садитесь, Мэтью, — сказала она негромко, указывая на место возле себя.

С невероятным усилием воли я сел в кресло напротив, чтобы не страдать от ее духов, от шороха ее одежды, чуть она шевельнется, или от ощущения, что достаточно самого легкого жеста, и я прикоснусь к ней. А тут я был в безопасности, неуязвим. Она, конечно, заметила и поняла, почему я поступил так; это было признание в слабости, а не вызов. Она угадала все это.

Она продолжала пристально смотреть на меня, но не пыталась заговорить. В ее взгляде была серьезность, намекавшая на сочувствие и понимание, хотя я слишком хорошо знал, что придаю чересчур большое значение подобным вещам и всегда стараюсь истолковать их в лучшую сторону.

— Вы попросили, и я пришел, — сказал я.

— Я написала потому, что получила от вас это тревожное послание. И подумала, что по меньшей мере могу ждать какого-то объяснения.

— Вы правда думаете, что нуждаетесь в нем?

— Конечно. Я была в полном недоумении.

Я впился взглядом в ее лицо, отчаянно пытаюсь увидеть скрытые за ним мысли. Я знал, что все зависит от того, что я скажу сейчас. Я не знал почему. Я был просто уверен.

— Вы когда-нибудь говорите правду?

— Ну, а вы когда-нибудь поступаете, как вам сказано? Если помните, я сказала вам без экивоков, что вы не должны уделять никакого внимания анархистам. Вы согласились, обещали и немедленно нарушили свое обещание. Думаю, у меня больше права сердиться, чем у вас, поскольку ваш поступок был преднамеренным.

— Значит, вчера вечером это были вы? — спросил я, все еще не в силах поверить до конца.

— Да, — сказала она, и ее голос, выражение лица мгновенно преобразились. Жутко и пугающе, будто восковая марионетка растопилась

и восстановилась совершенно другим персонажем. Изменения были тончайшими, но эффект — абсолютным. Морщины вечной нахмуренности у переносицы, очертание подбородка, легкая набряклость век, посадка головы и усталая сутулость позы. Совсем иные зачатки жестов преобразили ее из светской дамы с аристократическими манерами в угрюмую, с тяжелой жизнью, независимую ист-эндскую революционерку. Я все еще не мог поверить в это, и даже хуже — не сумел увидеть, как она обрела другую личность.

Затем во мгновение ока анархистка Дженни исчезла и вновь появилась Элизабет, насмешливо мне улыбаясь.

— На самом деле это не так уж и трудно, — сказала она. — Я всегда обладала талантом к мимикрии и умением играть роли. Надо было только подучиться, чтобы костюм, и облик, и мнения были бы именно такими. А по-немецки я говорю с рождения. Это был мой первый язык.

— Полагаю, будет слишком смелым попросить объяснения — честного, правдивого, — что вы делали там?

Она подумала.

— Нет. Пожалуй, так будет лучше. Удачная идея. Вы предпочтете длинную версию, указывающую на готовность забыть это злополучное ваше письмо? Или короткую?

— Длинную, — сказал я с легким оттенком неохоты.

Она нажала на серебряный звоночек на столе и распорядилась, чтобы подали чай, затем взяла мое письмо и бросила в огонь.

— По-моему, я говорила вам, что последние месяцы жизни Джон был чем-то поглощен. Одной из причин было следующее. Он всегда зорко следил за своими деловыми предприятиями; он считал своим долгом обеспечивать, чтобы они хорошо управлялись. Разумеется, он не мог следить за всем сам. Для этого у него были управляющие, и он полагался на то, что они будут докладывать ему о текущих делах и осуществлять его пожелания. Одновременно он часто навещал разные заводы и фабрики — померить температуру, как он это называл. Он любил эти поездки. Вы, без сомнения, думаете о нем как о финансисте, сидящем вдали от всего, манипулирующим абстракциями капитала. Ничего общего. А капитал ему нравилось вкладывать в операции. В верфи, в литейные и машиностроительные заводы. Он любил видеть, как его решение может гальванизировать тысячи людей. Он любил свои фабрики, и вы, конечно, не поверите, но он любил людей, которые работали там. Механиков, слесарей, строителей, квалифицированных рабочих. Он ценил их куда выше, чем людей своего собственного сословия. Дженни, анархистка,

ненавидит его, он был худшим сортом капиталиста, потому что верил, что это было много весомее просто эксплуатации. Он гордился тем, что платит больше, чем его конкуренты, гордился, что обеспечивает приличным жильем тех, кого нанимает.

В прошлом октябре он поехал на верфь в Нортумберленде и пробыл там почти неделю. Подобное случалось часто; думается, каждый год он проводил в отъездах недель десять, посещая то один завод, то другой. Иногда имелась веская причина — важное решение, связанное с инвестициями, проблемами, с контактом или еще с чем-либо в таком роде. А иногда никаких причин не было вообще. Ему просто хотелось побывать там, нюхнуть запахи, как он выражался. Он столько же времени проводил в заводских цехах, сколько в кабинетах и конторах; разговаривал с рабочими, стоял, наблюдая. Он верил, что можно определить здоровье компании по тому, как она выглядит и ощущается. Не обязательно заглядывать в бухгалтерские книги.

— Вы когда-нибудь ездили с ним?

— Не часто. Так и он не часто ездил со мной в мои поездки. У него и у меня были собственные, личные вселенные. Он был счастлив в своей, я — в моей. Были вещи, которые мы не могли разделять друг с другом. Он не хотел отвлекаться. Он повторял, что заводы будут говорить с ним и ему необходимо слушать. Бывает, они говорят одно, бухгалтерские книги — другое. Тогда он оставался, пока не выяснял, что к чему. На этот раз он вернулся озадаченный. Все было хорошо, сказал он. Верфь счастлива, работы выполняются без сучка без задоринки. Они недавно завершили гигантский проект по постройке нового дока, потребовавший углубить дно самой реки, чтобы корабли было легче спускать на воду. Цена дредноутов так непомерна, что я всегда дивилась его способности воспринимать ее по деловому. Джона она абсолютно не смущала. Для него крупные денежные суммы были всего лишь маленькими суммами, только с числом нулей побольше. Что-то было либо вложено удачно, либо нет. А шла ли речь о тысяче фунтов или о миллионе, принципа не меняло.

Все было хорошо. Он был удовлетворен. Кроме одной мелочи. В бухгалтерии уволили клерка за растрату. Мизерная сумма, не более двадцати фунтов, абсолютно незначительная. Но тот клерк был молодым человеком, многообещающим, и один из управляющих выделил его, считая, что после приобретения необходимых знаний на него с годами можно будет возложить ответственные обязанности. Управляющий чувствовал себя виноватым, что ошибся в молодом человеке. Он решил не доводить дела до суда, однако упомянул о нем моему мужу.

Большинство людей такого положения, как Джон, я уверена, не обратили бы на это внимания. Все компании теряют подобным образом какие-то суммы. Это считается неизбежным. Джон думал иначе. Он потратил годы на создание своей организации и добивался совершенства. Для него не имело значения, двадцать фунтов, двадцать тысяч фунтов или даже два шиллинга. Подобное не должно было быть возможным, а если пропали двадцать фунтов, могли пропасть и двадцать тысяч.

Поэтому он копнул поглубже и пришел к выводу, что это был не единичный случай, хотя установить подробности ему не удалось. Однако он узнал, куда девались эти деньги, адрес в восточном Лондоне. И самое небольшое расследование установило, что по этому адресу проживает человек, известный как Ян Строитель.

Разъясрило Джона то, что он не мог установить, каким образом эти платежи авторизировались. Ответственный служащий прикусил язык и отказывался сказать хоть что-то. Тогда он решил взяться за проблему с другого конца. И вот тут в игру вступила я.

— Да, — сказал я.

Наконец мы добрались до сути, до единственного, что меня интересовало. Растраты и накладки в бухгалтерских расчетах, конечно, важны, но я все же оставался зациклен на Красной Дженни, сверлящей ледяным взглядом в зале собрания.

— Почему вы в нее вступили?

— Крайне просто. Я предложила, а он принял мое предложение. Без охоты или одобрения, но я умею настоять. Несомненно, это еще больше все запутает. Потому что вы ничего про меня не знаете сверх того, что видите. Вы думаете обо мне как об избалованной, привыкшей проводить время на балах и банкетах, шокируемой буржуазностью буржуазного отеля. Ведь так?

Я попытался запротестовать, сказать, что ничего подобного, но по сути это было верное резюме.

— Как я сказала, вы ничего про меня не знаете. У меня длинное имя безупречного происхождения, но это подразумевает множество вещей. Венгерские аристократки не обязательно богаты или избалованны. И я не была богатой и избалованной. Джон не мог поручить никому из своих людей подобраться к этой группе; их бы с легкостью распознали. Эти выплаты производились изнутри его компаний, а потому он не хотел довериться кому-либо, связанному с ними. Ему требовался кто-то способный быть убедительным и кому он мог доверять. Он ни секунды не думал использовать меня.

Я решила сделать это. Я каждую осень езжу в Баден на воды (да, конечно, балую себя, но мне приятно вновь говорить по-немецки), и там я начала читать об анархизме, и марксизме, и революционной политике — кстати, очень интересное чтение. Там я заимствовала личность немецкой революционерки, тайно казненной полицией. Случайное падение с лестницы. Им было удобнее — и финансово выгоднее — дать понять, будто она была освобождена и отправилась в изгнание. Организовал это для меня Ксантос; полагаю, деньги переходили из рук в руки в его обычной манере. Я изучила одежду и жесты, привычки и речь. Отправилась в Гамбург, а оттуда на грузовом судне назад в Лондон. Я прибыла как Красная Дженни, грубая, бескомпромиссная, более фанатичная, чем большинство мужчин. Я познакомилась с этими людьми, и мало-помалу они начали доверять мне так, как не доверились бы никакому мужчине, а уж тем более англичанину. Джон не нашел бы никого, кто сыграл бы роль так убедительно.

Я был ошеломлен ее историей и гордостью, с какой она ее рассказывала. Поразительно до нелепости. Очень мило претендовать на тяжкое нищее детство, когда зимой, чтобы обогреться, топить можно только генеалогией, но мне все еще трудно было поверить этому.

— Ваш муж позволил вам сделать это?

— Нет. Категорически запретил.

— Так что...

— Мне никто не приказывает, мистер Брэддок, — сказала она почти тоном Красной Дженни. — И уж конечно, не Джон. Когда я предложила идею, это была почти шутка. Его противодействие внушило мне решимость проверить, возможно ли это. Мы часто расставались, и отсутствие на пару месяцев воспринималось естественно. Я укрепилась в моей новой личности задолго до того, как он хотя бы обнаружил, что я пошла наперекор ему, и поскольку я преуспела и твердо намеревалась продолжать, что бы он ни говорил, ему оставалось только принять мою помощь.

— Но почему вы упорствовали?

— Потому.

— Потому?

— Потому, что я так хотела. Может быть, мне все немножко прискучило. Я вряд ли вызову у вас сочувствие, если скажу, что жизнь, которую я веду, имеет свою скучную сторону.

— Ни малейшего.

— Тем не менее так и есть. Большинство моих знакомых вполне

довольны коротать жизнь, играя в бридж и разъезжая по гостям. У меня нет вкуса ни к чему подобному, вот почему для стимулирования мне нужно ездить в Париж или в Италию. Джон в целом понимал это и позволял мне приезжать и уезжать, как я хотела. Он позволил мне сделать это для него, пусть и против воли, потому что доверял мне и знал, что ему меня не остановить. У меня ведь никогда прежде не было возможности делать для него что-то, помимо того, что и так входит в обязанности жены.

Я помотал головой, пытаюсь вытрясти из нее все противоречивые мысли, чтобы разбираться дальше. Итак, Элизабет, леди Рейвенсклифф, урожденная графиня Элизабет Хадик-Баркоци фон Футах унс Сала преобразила себя в Красную Дженни, революционную анархистку из Франкфурта. Повторите эту фразу и посмотрите, насколько легко вам будет ей поверить. Тогда вы поймете мои затруднения.

— Скажем для удобства, что я нахожу все это убедительным, — сказал я, — хотя и не нахожу. Так что вы обнаружили?

— Вкратце, я обнаружила, — сказала она, явно забавляясь, — что Ян Строитель входит в группу, именующую себя Интернациональным братством социалистов, и они мало чем отличаются от преступников. Фанатики, само собой разумеется. Они предельно озлоблены судьбой своей страны, в данное время не существующей. Но свой гнев они используют для оправдания всего, что они делают, а это включает убийства, грабежи и вымогательства. Они склонны к насилию, подозрительны и в большинстве не слишком умны. Умен только Ян, но он же самый свирепый из них всех. Фанатизм он сочетает с хитростью и беспощадностью. Магнетическая личность. Женщины на него просто вешаются.

— Включая Дженни?

— Это вас не касается, — сказала она негромко. — Вы свободны верить тому, что вам представляется наиболее вероятным.

От смущения я покраснел до ушей. Она опять ввергла меня в смятение. Ей это было так легко, а мне нечем было обороняться. Я даже подумал, что, наверное, извлекаю какое-то удовольствие, что меня так мучают; бесспорно, я очень часто ставил себя в такое положение.

— Что еще? — спросил я.

— Я обнаружила, что деньги поступали регулярно, что на это имелась какая-то причина и что пока деньги будут поступать, они воздержатся от каких-либо экспроприаций. Иными словами, они не затрудняли себя ограблениями ювелирных магазинов или убийствами. Однако у них есть внушительный запас оружия. Я занималась вместе с ними стрельбой в

Ромни-Марше.

— По фазанам? — сказал я с надеждой.

— Нет, по людям. Хотя и не настоящим.

— Не говорите таким разочарованным тоном. Это шантаж? Платеж, чтобы воспрепятствовать им предпринять какую-нибудь операцию против компаний вашего мужа?

— Я пока еще не выяснила. Знает только Ян, а он не скажет. Я пыталась вызвать его на откровенность, но боюсь пробудить в нем подозрения, если буду излишне настойчива. Вот почему я продолжаю и после смерти Джона. По-моему, я вот-вот узнаю, что все это означает. Зайдя так далеко, я теперь не остановлюсь.

Я попытался прогнать все мысли о том, как именно она могла пытаться вызвать его на откровенность. И признаюсь здесь — с глубоким стыдом, — что нашел эти мысли неотразимыми, волнующими, а не омерзительными, как следовало бы. И не сумел отвергнуть их за абсурдность с той категоричностью, как был бы должен.

— Такой была моя помощь, а Джон погружался в финансы, чтобы вычислить, кто посылает деньги. Никому больше он про них не говорил. Это была его тревога.

— Не понял.

— Он думал, что создал чудовище. Что его компании обрели собственную жизнь. Что они больше не подчиняются его распоряжениям, а следуют собственным инстинктам. Вот почему он никому об этом не говорил. Он не знал, кому бы он мог сказать.

— Полагаю, он мог открыть, что стояло за этим, — ответил я. — Встретиться с Ксантосом он должен был из-за этого. Но погиб.

— Когда он вернулся, я видела его недолго, всего несколько часов, и у нас не было времени толком поговорить. На субботу-воскресенье я отправилась к Ротшильдам в Уэйленсдон. Очаровательные люди. Вы их знаете? Они не были банкирами Джона, но их общество так приятно. Они бы вам понравились.

Опять! Едва я приспособивался разговаривать с одной личностью, как она преображалась в какую-то другую. Из горюющей вдовы, утомленной английскими обычаями, — в критикующую снобку, которая была так жестока с бедной миссис Винкотти, в Дженни-анархистку, в похотливую женщину, которая довела меня до бессилия, а теперь в великосветскую кумушку. «Вы знакомы с Натти Ротшильдом, дорогой? Такой прелестный человек...» Конечно, я не был знаком с Ротшильдами и был уверен, что очаровательными они мне не покажутся. Я чувствовал, будто разговариваю

с актрисой, которая играет несколько ролей одновременно, и все из разных пьес.

Я сверкнул на нее глазами, это было лучшее, что я сумел сделать, так как скрытые за этим взглядом чувства заняли бы слишком долгое время и сказали бы слишком много. Кроме того, я не сомневался, что она совершенно точно знает, какие чувства я испытываю.

— По-моему, совершенно очевидно, что мне следует поехать в Нортумберленд. Не смогу ли я обнаружить то, что обнаружил он? Отправлюсь завтра. Это то, что я умею делать хорошо, и будет приятно разок ощутить себя компетентным.

— Вы хотите, чтобы и я поехала? — спросила она.

При одном лишь упоминании об этом мое сознание утонуло в вихре чудеснейших фантазий, и впервые я был к ним готов. Я покачал головой:

— Нет. Абсолютно нет.

Глава 22

На следующий вечер я ночным поездом отправился в Ньюкасл, отбив с вокзала Кингз-Кросс в десять пятнадцать. Я еще ни разу не ездил ночным поездом и поймал себя на том, что по-детски радуюсь такому приключению. И не только этому. Ехал я первым классом — о деньгах вопроса не вставало, и я решил побаловать себя. Мои расходы оплачивались, а я теперь имел (как банк известил меня письмом) на моем счету 36 фунтов, 14 шиллингов, 6 пенсов. Я очень устал, что сильно подпортило праздничность. Я бы с восторгом не смыкал глаз до утра в хрустящих льняных простынях, слушая перестук колес, и смотрел бы, как мимо окна в темноту уносятся искры из паровозной трубы, будто устроенный только для меня фейерверк. Купе было двухместное — я еще не настолько освоился со своим новым статусом, чтобы купить одноместное, — и моим попутчиком оказался солиситер из Бервика, пожилой мужчина с женой и четырьмя детьми, его отец и отец отца были солиситерами в Бервике до него. Мы беседовали за бренди, который предоставляла «на сон грядущий» Большая Северная и который подавался на подносе красного дерева, вносимым проводником, и беседу я нашел приятной и успокоительной.

Он был счастливым человеком, этот мистер Джордан, сотворивший светскую вселенную в своем глухом городишке. При иных обстоятельствах, полагаю, я мог бы найти его нудным: его жизнь, состоящая из партий в бридж и ужинов в гостях, мне никак не подошла бы. Но я черпал утешение в том факте, что ему она нравилась, и обнаружил, что мои симпатии отдают грустью. Я страшился за мистера Джордана: я чувствовал, что анархисты и Рейвенклиффы преуспеют в том, чтобы рано или поздно смести все это, и мир обеднеет из-за такой потери. Затем я заснул тем сном, который абсолютно идеален. Это было великолепно, и, помню, в глубинах моего забытья я подумал: если смерть обладает каким-то сходством с этим сном, бояться ее нечего.

Когда я проснулся, солнце светило жиденько, а вчерашний проводник — свежесбривший и аккуратный — легонько меня расталкивал.

— Утренний чай, сэр? Гости? Вашу газету? Горячая вода ожидает на полке. Спешки нет никакой, сэр, но если бы вы встали до истечения часа...

Мой попутчик уже сошел, купе было всецело в моем распоряжении, и я воспользовался этим в полную меру. Вагон отцепили и отогнали на

запасной путь, где стояла тишина, нарушаемая лишь птичьим щебетом да иногда шумом поезда, проходящего мимо. День выдался чудесный, чему только способствовал тот факт, что я абсолютно не вспоминал, зачем, собственно, я тут, пока пил чай, читал газету, брился и одевался с неторопливостью, подобающей человеку со средствами.

Я вручил проводнику щедрые чаевые, затем безмятежно покинул вокзал и очутился посреди Ньюкасла. Воздух казался тяжелым, в нем висел запах угля, чего в купе я не заметил. Здания были вычернены сажей, десятилетиями оседавшей на всех до единого. Архитектура выглядела мрачной и зловещей. Ни намек на светлую штукатурку западного Лондона, пусть она часто и отливала копотью: на улицах мало деревьев и еще меньше людей. Только рассыльные да редкие велосипедисты. Ньюкасл был рабочим городом — городом рабочих, и в это время дня он работал. Я несколько минут озираю этот пейзаж, крепко держа чемодан, и решил, что торопиться некуда. Я ведь солидный делец. Вот почему на мне мой лучший костюм — мой похоронный и свадебный костюм, в который я переоделся перед отъездом. Он был чертовски неудобным, но не зря: напоминал мне о моей задаче и о моей роли.

Я вел себя так, как, по-моему, мне следовало себя вести, вошел в отель «Королевский вокзал» прямо через улицу и снял номер на ночь. Затем следующий час потратил, распаковываясь и лежа на кровати, поупивался богатством и комфортом. Я еще никогда не останавливался в отелях. В приличных отелях вроде этого. В тех случаях, когда я путешествовал, я останавливался в мебелированных, сдающих комнаты на одну ночь. Всегда дешевых, иногда чистых и обычно содержавшихся кем-нибудь вроде моей лондонской квартирной хозяйки. Здесь все было по-другому, и я не торопясь осваивался и с номером, и с вестибюлем, а затем усмотрел ресторан. Да, не так уж и трудно, решил я. Если Элизабет способна притворяться немецкой анархисткой, то и я сумею на несколько часов замаскироваться под профессионала среднего класса.

Затем я был готов. Распорядился вызвать кеб и велел кучеру отвезти меня на верфь «Бесуик», где мне предстояла встреча с мистером Уильямсом, генеральным управляющим. Мои разговоры с ним я буду излагать вкратце, поскольку большого значения они не имели. Накануне я послал телеграмму с сообщением, что душеприказчик Рейвенскилфа поручил мне прояснить кое-что касающееся завещания. Я дал понять, что я юрист, поскольку выдай я себя за кого-нибудь еще, разоблачить мое невежество было бы слишком уж просто. Но даже и под этой личиной неловких моментов хватало, так как о коммерческом праве мистер

Уильямс знал куда больше, нежели я. На первый взгляд, угрюмый, собранный коротышка, которому отнюдь не нравилось попусту тратить свое время. Только в течение нашего разговора я осознал, что он куда сложнее. В сущности, очень интересная личность, а его начальная колючесть порождалась главным образом тем, что он не терпел людей вроде меня, а вернее, людей, к которым я якобы принадлежал. Лондонцев. Денежных людей. Юристов. Не понимающих промышленного производства и не питающих к нему симпатии. У Уильямса было больше общего с тружениками его цехов, чем с банкирами Сити, хотя те и другие его явно доводили. Он был посредником, допекаемым со всех сторон.

В конце концов я его завоевал. Признался, что не имею ни малейшего понятия о Сити, рассказал ему о моем собственном происхождении среди велосипедных мастерских Мидлендса, представил себя, насколько удалось, более похожим на него, чем на банкиров его воображения. В конце концов он расслабился и начал говорить более свободно.

— Собственно, зачем вы тут?

Я постарался выглядеть пристыженным.

— Крайне глупо, — сказал я. — Но закон требует, чтобы душеприказчики подтвердили существование завещанной недвижимости. То есть, если покойный оставляет пару запонок другу, душеприказчик обязан подтвердить существование этих запонок. Я здесь всего лишь для того, чтобы подтвердить, что верфь существует. Это ведь так? Она не мираж воображения? Мы тут не допускаем никакой ошибки?

Мистер Уильямс улыбнулся.

— Существует, существует. А поскольку закон — зверюга требовательный, я ее вам покажу, если желаете.

— Еще как желаю, — сказал я с энтузиазмом. — Это будет замечательно.

Он извлек из кармана часы и посмотрел на них, затем вздохнул, как человек, убедившийся, что день транжирится впустую, и встал.

— Ну, так идемте. Обычно я совершаю обход в обеденный перерыв, но почему бы и не изменить слегка мой распорядок?

— Ваш обход? — спросил я, когда мы покинули контору, после того как Уильямс предупредил своих клерков, куда он направляется. — Вы говорите, как врач.

— В некоторых отношениях суть та же, — ответил он. — Очень важно, чтобы тебя видели, а также ощутить общий дух. Приходится делать это все чаще, ведь все больше наших рабочих присоединяется к профсоюзам.

— Это вам досаждают?

Он пожал плечами.

— На их месте я в профсоюз вступил бы, — сказал он, — хотя мне он жизнь и усложняет. Но я всегда делаю обходы. Его милость считает... считал, следовало бы мне сказать, что это очень важно.

— Вы хорошо его знали? — спросил я. — Мне не довелось встречаться с ним. Он кажется интересной личностью.

— Он был куда больше, — сказал Уильямс. — Но его никогда не оценят по достоинству. Артистов все знают, не то что промышленников, хотя именно они создают богатство, оберегающее нас от бедности.

— Что же в нем было такого великого?

Уильямс задумчиво посмотрел на меня, затем сказал:

— Вот сюда.

Он провел меня в дверь, по коридору, затем вверх по лестнице. Затем еще одна, и еще, и еще. Взбирался он с достаточной легкостью, я пыхтел позади в темноте, гадая, куда мы идем, пока наконец он не остановился перед еще одной дверью, не открыл ее и не вышел на яркий солнечный свет.

— Вот что было в нем великого, — сказал он, когда я вышел наружу.

Такого захватывающего зрелища я еще никогда не видел и даже вообразить не мог. Я знал — все школьники знают — про британскую промышленность. Как она ведет за собой мир. Мы знали про становление заводов и про массовое производство. Про сталелитейные заводы, и текстильные фабрики, и про железные дороги. И ежедневно мы видели результаты. Шеффилдскую сталь, локомотивы из Карлайла, суда, построенные на десятках верфей по всей стране. Мы видели чугунные фермы мостов, посещали Хрустальный дворец и знали про другие чудеса века. Как все это осуществилось, таким людям, как я, преподавалось редко. Просто существует, и дело с концом. Я видел только фасады промышленных предприятий, а в Лондоне их было мало, причем никаких сколько-нибудь масштабных. Даже в моем родном городе самый крупный работодатель «Старли метеор» нанимал только пару сотен человек.

Я смотрел в полном ошеломлении, прямо-таки благоговейно. Верфь была такой огромной, что, казалось, ей нет конца; в какую бы сторону вы ни повернулись, она просто тонула в море солнечного света и дыма. Нескончаемое нагромождение машин, подъемных кранов, стапелей, складских зданий, сборочных цехов, контор простиралось перед моими глазами во всех направлениях. Из десятка труб вырывались плюмажи густого черного дыма; со всех сторон доносились лязг, грохот, скрежет и дребезжание машин. Зрелище выглядело хаотичным, даже дьявольским, —

то, как ландшафт исчез под рукой человека, но была и своя необычайная красота в этом лабиринте, в кварталах кирпичных зданий на фоне жестяных крыш, и ржавеющих ферм, и бурой коричнево-красной реки, слабо темнеющей на востоке. И ни единого дерева, ни птицы, ни даже клочка травы. Природа была отменена.

— Это Бесуикский судостроительный завод, — сказал Уильямс. — Творение лорда Рейвенсклиффа, более чем кого-либо еще. И лишь часть его интересов; такие заводы он создавал по всей стране и по всей Европе, хотя этот, бесспорно, самый большой. То, что вы видите, не предприятие — это цепь предприятий, и каждое тщательно увязано с другими, а само оно, в свою очередь, связано с другими по всему континенту. Самая сложная, тщательно продуманная структура из всех, когда-либо созданных человечеством.

— И вы управляете всем этим? — спросил я, искренне ошеломленный.

— Я управляю этим заводом.

— Как? То есть как может один человек иметь хоть малейшее представление о творящемся в этом... этом хаосе, имею я в виду?

Он улыбнулся.

— Именно в этом и заключается гений Рейвенсклиффа. Он изобрел способ его контролировать, и не только это, но и все свои предприятия, таким образом, чтобы в любой момент можно было узнать, что происходит и где. Так, чтобы хаос, как вы его назвали, мог быть укрощен и скрытые механизмы из людей, машин и капитала действовали бы наиболее целесообразно и эффективно.

— Элегантно? — подсказал я.

— Слово, которое бизнесмены употребляют нечасто, но да: и элегантно, если хотите. Мало кто хочет или способен понять это, но я бы даже сказал, что в этом есть своего рода красота, только бы все работало слаженно.

— И причина всего этого...

Мистер Уильямс указал на восток в сторону темно-серой громады.

— Вы видите его?

— Смутно. Что это?

— Корабль его величества «Ансон». Дредноут. Двадцать три тысячи тонн водоизмещения. Три миллиона различных деталей необходимы, чтобы этот корабль выполнял свою работу. И каждая должна работать безупречно. Чтобы корабль выполнял свое предназначение, каждая должна быть придумана, начерчена, изготовлена и установлена на свое место. Он должен плавать в тропических морях и в арктических. Он должен быть

способен стрелять из всех своих орудий в любых условиях. Он должен быть готов развить полную скорость всего за несколько часов; быть способным плавать несколько месяцев без ремонта. И все эти детали должны быть собраны воедино и закреплены на своих местах в установленный срок и в пределах бюджета. Вот суть всего, что перед вами. Хотите его осмотреть?

Уильямс повел меня вниз по лестнице и через булыжную дорогу к месту, смахивавшему на извозчичью стоянку.

— Длина верфи три мили, а ширина две, — сказал он, пока мы усаживались на заднее сиденье ожидавшей там коляски. — Я не могу тратить время на пешую ходьбу, а потому мы обзавелись такими вот экипажами. Лошади к шуму привыкли.

И мы покатали. Ехали мы словно через город, но очень странный город — без магазинов, почти без прохожих и без женщин. Все одеты в рабочие комбинезоны. Вместо домов — склады, огромные и без окон; конторские помещения, крайне мрачные с виду, и всякие таинственные здания, на которые мистер Уильямс то и дело указывал.

— Литейная номер один, — сказал он, — здесь изготавливается броня... Орудийная, предназначенная для сборки орудий...

Вот так мы ехали под перестук копыт старой клячи. Я на заднем сиденье слушаю объяснения мистера Уильямса, испытывая то лихорадочный восторг перед поразительными достижениями, то холодный озноб при мысли о могуществе этой колоссальной организации.

— А вот, — сказал мистер Уильямс с легкой дрожью в голосе, когда мы повернули за еще один угол, — причина существования всего этого.

Очень многие видели дредноут далеко в море или даже в порту. И тогда от вида дредноутов дух захватывает. Но только если видишь его вблизи и вне воды, по-настоящему понимаешь, насколько он колоссален. Ведь тогда становится видимым то, что обычно скрыто от глаз ниже ватерлинии, — весь необъятный корпус. Он уходил вверх, вверх, вверх, теряясь в облаках. Такой длинный, что нос вообще не был виден; он исчезал в пелене дыма, изрыгаемого заводскими трубами. Я понятия не имел, насколько завершена постройка; судя по его виду, должны были потребоваться еще годы, прежде чем он будет готов; но я был не в силах вообразить, что даже тогда подобное сооружение будет держаться на воде, не говоря уж о том, чтобы двигаться.

Я высказал свое недоумение, и мистер Уильямс рассмеялся.

— Через десять дней мы спустим его на воду, — сказал он. — От закладки киля до последних подгонок требуется двенадцать месяцев. Мы

завершили восьмой месяц и, рад сказать, выигрываем время. Каждый лишний день обходится нам в потерю тысячи ста фунтов прибыли. Ну-с, что скажете?

Я потряс головой. Я искренне верил, что это был один из самых замечательных моментов моей жизни: оказаться перед неопровержимым доказательством человеческого дерзновения и изобретательности. Как у кого-то хватило духа замыслить подобную постройку, было непостижимо для моего воображения. А затем я увидел людей. Крохотные фигурки сновали вверх и вниз по лесам, крича крановщикам, пока гигантские квадраты брони поднимались на место: клепальщики методично забивали заклепку за заклепкой в уже высверленные отверстия; прорабы, и монтеры, и слесари наслаждались перерывом в своих трудах. Сотни людей, машин от огромных гидравлических кранов до маленькой дрели — все, работающие вместе, все, видимо, знающие, что им надо делать и когда. И все ради того, чтобы создать это чудовище, которое отправилось в свой долгий путь в открытое море по решению, принятому Рейвенклиффом за месяцы или годы до этого момента. Он сказал, и это было исполнено; тысячи людей, миллионы фунтов пришли в действие из-за его решения, и продолжали исполнять его распоряжения даже после его смерти.

О чем я думал? Ни о чем. Меня ошеломили масштабы увиденного, могущество, созданное одним человеком. Теперь впервые я осознал, почему все отзывы о нем использовали превосходную степень. Могущественный, устрашающий, гений, монстр. Я слышал или читал эти определения. И все они были верными. Только такой человек дерзнул бы.

— Боюсь, я не могу пригласить вас осмотреть корабль, — сказал мистер Уильямс, отвлекая меня от грез. Я заметил, что он доволен моей реакцией. Думаю, мое лицо выражало восторженное потрясение; мое молчание было красноречивее любых слов. — В такое время это опасно, и, собственно говоря, ничего интересного, кроме как для специалистов по строительству военных кораблей. Я просто хотел, чтобы вы увидели его поближе. Внушительное зрелище, вы согласны?

Я кивнул, но продолжал смотреть вверх и вдоль, чтобы воспринять всю огромность колосса. Было темно; корпус полностью заслонял солнце, а глубины огромного рва, в котором корабль обретал свою форму, были холодными, и ветреными, и темными. Меня пробрала дрожь.

— Да, тут холодно. Иногда в сухом доке даже моросит дождь, хотя погода снаружи ясная. Работы сопряжены с высокими температурами и испарениями, которые конденсируются по сторонам и падают дождевыми каплями. Иногда это создает серьезные проблемы. Одна из тех небольших

трудностей, которые не способны предвидеть даже самые предусмотрительные планировщики. Кстати, надеюсь, вы теперь убедились, что верфь реально существует?

Я кивнул.

— Полагаю, душеприказчики могут признать это, — сказал я с неопределенной улыбкой. — И я должен поблагодарить вас за уделенное мне время. Так любезно с вашей стороны!

— Нисколько. Как вы могли заметить, я очень горжусь верфью. И для меня большое удовольствие похвастаться ею.

— А ваши рабочие? Они тоже гордятся?

— О да, думаю, да. Как же иначе? Они ведь знают, что они лучшие в мире. И они хорошо оплачиваются. Мы не можем допустить сюда хотя бы одного некомпетентного клепальщика или механика. Им необходимо платить хорошо и держать их под строгим надзором. Когда мы в прошлом году спустили на воду «Бесстрашного», город просто замер, чтобы все могли посмотреть. Они знают, что приложили руки к чуду. Идемте.

Мы вернулись к коляске, и лошадь устало поплелась на этот раз другой дорогой. Несколько минут спустя мистер Уильямс велел кучеру остановиться.

— Прошу прощения, — сказал он с улыбкой. — Мне надо проверить тут одного из наших людей. Прошу, войдите, если желаете.

Я последовал за ним в служебные помещения, примыкавшие еще к одному гигантскому зданию таких размеров, что при обычных обстоятельствах его одного было бы достаточно, чтобы задуматься. Но теперь я уже почти свыкся с ними. Еще одно здание размером с собор Святого Павла. Ну и ладно. Мне требовалось подзакусить. Мистер Уильямс провел меня в лабиринт служебных помещений, где десятки клерков сидели за рядами конторок, каждый со своими стопками бумаг. Затем через другие, где мужчины наклонялись над чертежными досками. Мистер Уильямс сунул голову в одну комнату и вызвал какого-то чертежника наружу.

— Мне надо несколько минут поговорить с мистером Эшли. Не покажете ли вы мистеру Брэддоку наш маленький арсенал?

Молодой человек явно обрадовался, что выбран для подобного поручения, что на него обратил внимание один из самых влиятельных людей на Северо-Востоке, и сказал, что будет в восторге. Фамилия его Фредерикс, сообщил он мне по пути. Он старший чертежник по орудийным башням. В «Бесуик» работает двенадцать лет, а начал в четырнадцать. Его отец тоже работал на верфи. Как и его братья и дядя.

— Значит, семейная фирма, — сказал я, просто чтобы что-нибудь сказать.

— Думаю, в Ньюкасле не найдется семьи, чтобы хоть кто-то не работал на верфи, — ответил он. — Ну, вот мы и пришли.

Он потянул на себя тяжелую деревянную дверь и вошел, пропустив меня вперед. Вновь я был ошеломлен, хотя мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, на что я смотрю. Пушки. Но не обычные пушки, выставленные в музеях или на обозрение в лондонском Тауэре. Эти больше походили на древесные стволы из какого-то дремучего леса; двадцать, тридцать футов в длину, три фута в толщину, сужающиеся жутковато и угрожающе к жерлу. Десятки и десятки их; некоторые длинные и почти элегантные, другие короткие и пузатые. Ряды и ряды на огромных козлах.

— Вот наше самое большое, — сказал Фредерикс, указывая на самое длинное в центре здания, тускло поблескивающее защитным слоем смазки.

— Двенадцать сорок пять, образец десять. Вместе с казенной частью весит пятьдесят восемь тонн, способно стрелять снарядами в восемьсот пятьдесят фунтов почти на одиннадцать миль с попаданием в пределах тридцати футов от цели. Если канониры будут знать свое дело. А они, уж конечно, его знают.

— И все для «Ансона»?

— Он заберет дюжину их. Подумайте, а каков будет эффект бортового залпа. А стрелять они могут семь раз в минуту. Так мы полагаем.

— Вы полагаете? У меня сложилось впечатление, что работающие здесь знают все точно. Мне казалось, что догадки не допускаются.

Это его как будто обескуражило.

— Ну, понимаете, речь идет не об орудиях. Они в порядке, мы знаем. Вопрос в наведении. Гидравлика. «Ансон» получит совсем новую систему. Беда в том...

— Вы не можете провести предварительную проверку?

Он кивнул.

— Это то, над чем я работаю. Думаю, все будет в порядке. Но если нет...

— Ну, а для чего остальные? Если дюжину заберет «Ансон», этих огромных тут останется пара дюжин.

Он пожал плечами:

— Кто знает? Нам ведь не говорят. Но на верфи повсюду одно и то же. Орудий, брони, брусьев хватит на постройку военного флота из одних только запасных частей с изготовлением дополнительных. Но больше нет заказов.

— Откуда это известно?

— Слухи. Сплетни. Как знать, кто их сеет. Люди опасаются увольнений, как только «Ансон» будет закончен.

— А заграничные заказы?

Он покачал головой.

— Может, они засекречены?

Он засмеялся.

— Вы не знаете верфей, сэр. От рабочих секретов не бывает. Вы думаете, есть хоть что-то касающееся рабочих мест, о чем мы не знаем?

Я задумчиво оглядел ряды металлических громадин, заполняющие гигантское ледящее помещение, и содрогнулся. Тут царило спокойствие, почти мир, и атмосфера эта не вязалась с предназначением орудий и тем, что они могли натворить.

— Не могли бы вы мне помочь, — сказал я. — Найти человека по имени Джеймс Стептоу. По-моему, он работает где-то тут.

Выражение лица Фредерикса моментально изменилось.

— Нет, — сказал он отрывисто. — Его тут больше нет.

— Вы не ошибаетесь? Я абсолютно уверен.

— Да, прежде работал. Его уволили.

— О? Почему?

— За воровство.

Он отвернулся, и мне пришлось схватить его за рукав.

— Я хочу поговорить с ним.

— А я нет. Кому надо якшаться с вором?

— Тем не менее я должен поговорить с ним... А! Вот и мистер Уильямс. Возможно, он скажет мне.

— Веллингтон-стрит, тридцать три. Его адрес, — сказал Фредерикс торопливо. — Пожалуйста...

— Ни гу-гу! — шепнул я в ответ.

Затем мистер Уильямс приблизился, и наш разговор оборвался, но в некоторых отношениях это была самая интересная часть моей поездки. Жалею, что у меня оказалось так мало времени для разговора с молодым человеком, таким серьезным и наблюдательным.

— Удивляюсь, что вы допустили меня сюда, — сказал я, пока мы шли назад к коляске. — То есть я начитался из газет про шпионов, старающихся выкрадывать секреты пушек и тому подобного.

Мистер Уильямс засмеялся.

— Да крадите, пожалуйста, если вам хочется. В том, что вы видели, ничего такого уж секретного нет. Внешний вид орудия ничего вам не

скажет. Важно, как варится металл, как работает гидравлика, как обеспечивается точность прицела. Вот это подлинные секреты. И тут мы крайне осторожны. Кроме варки металла.

— Почему?

Он подмигнул и заговорщицки наклонился ко мне:

— Потому что немцы уже знают.

— Каким образом? — оживился я, надеясь услышать шпионскую историю.

— А процесс-то разработали они. Мы украли его у них. — Он откинул голову и испустил смешок. — Они же тут лучшие в мире, немцы то есть. Очень продвинулись.

— Так у вас есть шпионы в Германии?

— Боже мой, нет. У лорда Рейвенсклиффа была доля в акционерном капитале. Это куда лучше. У него был пакет акций «Круппа», немецкой стальной компании. Не на его имя, разумеется. Через посредство банка в Гамбурге. Им удавалось получать все, чего бы ни требовалось. То же со «Шнейдером» во Франции.

Я был изумлен. Мне и в голову не приходило, что это устраивается подобным образом.

— А немцы не узнают здешние секретные процессы тем же методом, только наизнанку?

Мистер Уильямс был шокирован.

— Разумеется, нет. Его милость был англичанином и патриотом.

Справедливо, подумал я. С другой стороны, как быть с историей о субмаринах, которую рассказал мне Сейд? О субмаринах, строившихся для русских? Еще одно свидетельство патриотизма?

— Так скажите мне, мистер Брэддок, — начал управляющий, когда мы направились назад к воротам верфи, — что в «Бесуике» вы сочли наиболее внушительным? «Ансон», я полагаю?

Я взвесил.

— Бесспорно, зрелище потрясающее, — сказал я. — Просто не верится. Только ради этого уже стоило приехать сюда. Но, как ни странно, самым впечатляющим оно мне не кажется. Самым замечательным я считаю само существование верфи, создающей такие суда. То, что кто-то способен организовать этот муравейник, вот самое удивительное.

Я сказал именно то, что следовало. Уильямс прямо-таки просиял от моих слов.

— В этом заключалась гениальность лорда Рейвенсклиффа, и сказать, что его отсутствие пройдет незамеченным, — величайший комплимент его

талантам. Не поймите меня неверно, — продолжал он с улыбкой, когда я поднял бровь. — Именно этого он и хотел. Создать организацию настолько совершенную, что она могла бы действовать сама по себе или, точнее, под надзором только управляющих, знающих каждый свою область дела. Я верю, что он преуспел.

— Как так?

— Задача любой компании в конечном счете сводится к тому, чтобы получать наибольшую прибыль. До тех пор пока это главная цель управляющих, руководить нужды нет. Они коллективно возьмут на себя право принимать решения.

— И вы вскоре узнаете, так ли это.

Мы подъехали к воротам. Кеб, один из нескольких, терпеливо ждал, чтобы отвезти меня назад в центр Ньюкасла. Уильямс вежливо придерживал дверцу, пока я садился.

— Да. Узнать это будет очень интересно. Счастливого возвращения в Лондон. Надеюсь, вы приятно провели время.

Глава 23

В восемь часов, наскоро перекусив, я снова ушел — на этот раз пешком от верфи к рядам жилых домов к западу от центра города. Мистер Джеймс Стептоу жил где-то в этом лабиринте. Монотонное путешествие по красно-кирпичным улицам: каждый дом — точная копия соседнего; все, подозревал я, построены верфью и для верфи. У каждого дверь и два окна, выходящие на улицу. Все двери зеленые, все окна коричневые. Полное отсутствие деревьев, редкие заплатки зелени и на удивление мало пабов; полагаю, не без вмешательства верфи, наложившей запрет на подобные значные места, чтобы держать свою рабочую силу в трезвости и полной готовности. Или она пеклась об их здоровье, взяв на себя ответственность за него. Решайте сами.

Но все, бесспорно, было аккуратно и упорядочено, а несколько улиц с домами поновее свидетельствовали об ином подходе. Арочный вход, более прихотливая крыша. Достаточно маленькие и, без сомнения, достаточно убогие, но тем не менее такие, где можно жить вполне уютно. Тут были церкви, школы и магазины — все расположенные заботливо и обдуманно. Я насмотрелся на много худшее в Ист-Энде, который был адским, сбитым всмятку кошмаром в сравнении с этими дисциплинированными, упорядоченными жилищами — пусть они и были бараками, но хотя бы позволяли их обитателям притворяться, будто это не так.

Нужный мне дом находился не на главной улице. Все улицы тут были названы в честь имперских героев и событий не такого уж далекого прошлого. Я прикинул, многие ли обитатели замечали это спустя какое-то время. Переполнялись ли их сердца гордостью, что они живут на Виктория-роуд? Работают ли они усерднее или пьют меньше оттого, что живут на Хартум-плейс? Становятся ли они лучшими мужьями и отцами оттого, что на работу идут по Мейфкинг-роуд, затем сворачивают на Гордон-стрит? Был ли мистер Джеймс Стептоу, думал я, стуча в дверь, более уважаемым и патриотичным англичанином, потому что жил в доме номер 33 на Веллингтон-стрит?

Трудно сказать. Дверь открыла его мать, и она, бесспорно, выглядела достаточно уважаемым, когда неуверенно прищурилась на меня. Беда была в том, что я практически не понимал, что она, собственно, говорит. Полагаю, говорила-то она по-английски, но акцент был настолько непреходимым, что она вполне могла бы быть очередным сербско-

хорватским анархистом. Этой трудности я не предвидел. Однако пусть мне не удавалось понять ее, она меня вроде бы поняла в достаточной мере и проводила в маленькую гостиную, предназначенную для уважаемых гостей. Некоторое время спустя вошел Джеймс Стептоу, настороженно и опасливо; сложен он был по-бычьему; почти так же широк, как и высок, с толстой шеей, вздымающейся из рубашки без воротника, с черными волосами, покрывающими руки сразу под засученными рукавами. Мохнатые черные брови, тень щетины у рта и на подбородке. Он больше походил на регбиста или шахтера, чем на человека, занятого записями и квитанциями.

Я пожал ему руку и представился.

— Вы из полиции?

Короткая фраза, сердито произнесенная, но принесшая великое облегчение: мистер Стептоу был двуязычен.

— Конечно, нет. Почему вы так подумали?

— У меня обед, — сказал он.

— Прошу извинения, что побеспокоил вас. Я могу либо уйти на время, либо подождать — как пожелаете, — но, боюсь, мне необходимо поговорить с вами сегодня вечером. Завтра утром я возвращаюсь в Лондон.

Он внимательно меня оглядел.

— Есть хотите?

Если в моей записи его речь нормальна и я сказал, что понимал ее, не думайте, будто она была нормальной и удобопонимаемой. Ничего подобного: время, проведенное в обществе мистера Стептоу, было триумфом сосредоточенности, а заметная часть того, что говорили члены его семьи, полностью оставалась за пределами моего понимания. Я ответил, что поел, благодарю, но могу поесть и еще.

Он кивнул и провел меня по маленькому коридорчику на кухню. Это немножко смахивало на представление ко двору: восемь лиц повернулись, восемь пар глаз впились в меня, когда я вошел и остановился немного смущенно возле маленькой плиты. Я ощущал себя бесцеремонным, иностранцем, страшной угрозой.

— Отец, это мистер Брэддок из Лондона. Это моя мать (старушка безмятежно улыбнулась), моя сестра Энни, мои два брата Джек и Артур, Лили, моя невеста, и дядя Билл. Джек, встань-ка, мистеру Брэддоку нужен твой стул.

— Лондон? — сказал отец, имевший склонность говорить фразами в одно слово.

— Именно, — сказал я. — Здесь я для того, чтобы разобраться с

парочкой юридических вопросов, касающихся имущества лорда Рейвенсклиффа. Мне нужно обсудить кое-что с вашим сыном.

— Про это все знают, — сказал Джеймс. — Не думайте, будто вам надо что-то скрывать от них. Что еще сказать? Меня судили и признали виновным, верно? Все знают. Или он узрел свет и оставил мне кое-какие деньги?

— Боюсь, что нет, — сказал я с улыбкой. — И мне он тоже ничего не оставил, если это может послужить вам утешением.

— Тогда что?

— Лорд Рейвенсклифф считал вас невиновным в приписанной вам растрате.

Это вызвало реакцию.

— Мог бы, черт дери, сказать мне про это, — буркнул Стептоу-младший.

— Насколько я понял, он пришел к такому выводу за три дня до смерти. У него не было возможности сказать вам.

Все вокруг стола переглядывались, отчасти довольные, отчасти сердясь, что у меня есть власть так воздействовать на их жизнь.

— Вот тут возникает трудность, — продолжал я. — Хотя лорд Рейвенсклифф, возможно, так и считал, но не записал этого по каким-то причинам. А потому мне поручено проделать те же розыски. Другими словами, выяснить, что же происходило. И от вас мне требуется полный отчет. Когда это будет завершено, леди Рейвенсклифф напишет мистеру Уильямсу на верфь, он восстановит вас на работе и, я уверен, сполна возместит вам неполученное жалованье.

Щедрое предложение, делать которое я уполномочен не был, но сработало оно лучше некуда. С этой минуты они из кожи вон лезли, чтобы сообщить мне все, что мне требовалось узнать.

— Одно вранье, — сказала мать вызывающе. — Джимми бы никогда...

— Да, матушка, кажется, мы все в этом согласны, — сказал он терпеливо. Затем немного задумался, с легкой улыбкой обвел взглядом свою семью и попросил мать заварить еще чаю. Пока она наполняла чайник водой из большого чана возле задней двери и подвешивала его кипятиться, он начал:

— Я бухгалтер, вы знаете, — сказал он. — Моему папаше, вот тут, это не нравилось, он ведь корабел, котлы делает, и ему не по вкусу было, чтоб я работал в костюме. Думал, я зазнаюсь, нос задеру. Но я успевал в школе. Всегда получал самые высокие отметки по арифметике и правописанию, и почерк у меня был четкий, каллиграфический, если я старался. Моему

учителю я нравился, и он замолвил за меня словечко на верфи, так что меня взяли в контору. Начал я работать там восемь лет назад и научился ведению книг. Я даже курсы посещал, чтоб подучиться, и преуспевал. Меня повышали, платили больше. И не зазнался вроде бы.

Его отец благодушно нахмурился, будто невольно соглашаясь.

— Обязанностью моей было оплачивать поступающие счета. Не очень большие, вы понимаете. Дополнительные и побочные выплаты — вот моя область, и по большей части это полнейший хаос. И вот когда я получил этот счет на двадцать пять фунтов, я уплатил по нему наличными в конверте, который отправил по адресу, указанному на счете. Через пару недель остались только двадцать пять фунтов дефицита и достаточно доказательств, что я — тот, кто забрал их, так как все остальные листы бумаги исчезли. У меня потребовали объяснения. Никто мне не поверил, и я был уволен с назиданием, что я должен радоваться, раз не оказался в тюрьме.

Я до того расстроился, что чуть не заплакал, да и заплакал, сказать правду. Поверить не мог, что со мной случилось такое, и даже прикидывал, а не допустил ли я какой-нибудь ошибки. Но этого быть не могло. Существовали только две возможности: либо я украл эти деньги, либо требование платежа действительно поступило. Я знал, что ничего не крал, а это означало, что его изъяли. Я ошибок не делаю, понимаете? Но я надеяться не мог получить другую работу в Ньюкасле. Скоро все что-нибудь да услышат, так уж заведено. Я уж думал поселиться у троюродного брата в Ливерпуле, начать все заново и надеяться, что никто ничего не узнает. Я даже вел себя так, будто был виновен. Только они все, — он указал на сидящих за столом, и все закивали, — встали за меня горой. Даже профсоюз не помог. Они ворами не помогают, сказали мне. Только время зря тратить, а у них хлопот хватает и с теми, кто помощи заслуживает.

Он горько усмехнулся и отхлебнул чаю. Его отец явно испытывал неловкость.

— И тут получаю это короткое письмо с просьбой — с приказом, вернее сказать, — явиться в «Ройал». Ни подписи, ничего. Я чуть было решил не ходить, однако подумал, а почему нет? Понимаете, я задумался, а что бы это значило, ну и делать мне все равно было нечего. Ну, я и пошел, и постучал, а там его милость... Рейвенсклифф то есть. Совсем один.

Перепугался я до смерти, не стану от вас скрывать. Даже комната была страшной. Я никогда прежде таких не видел, попышнее даже мюзик-холла, с бархатными занавесками и раззолоченной мебелью. А Рейвенсклифф...

Он смолк, неуклюже поерзал на стуле и подложил еще сахару в чашку.

— Вы говорите, вы с ним никогда не встречались? Не то я мог бы ничего не добавлять. Он был страшным человеком, грузным, но не толстым. И почти не двигался. Ему этого не требовалось; только глянет на тебя, и этого достаточно. И говорил негромко, заставлял слушать себя. Ничего не делал, чтоб устроить тебя поудобнее или успокоить. Только сказал, чтоб я сел, а потом смотрел на меня долго-предолго. И все это время хоть бы один мускул у него дернулся, а у меня кожу под воротником жжет, и я все больше и больше пугаюсь.

«Я этого не делал, — выпалил я не стерпев. — А вы, если хотите сдать меня полиции, так валяйте!»

«Я что-нибудь сказал про полицию?»

«Так зачем я тут?»

«Не для полиции, — сказал он негромко. — Я мог бы распорядиться, чтобы вас арестовали и посадили в тюрьму, знаете ли, и не уезжая из Лондона. Вы здесь потому, что я хочу задать вам вопросы».

«Какие вопросы?»

«Не о том, почему вы так поступили. Это меня совсем не интересует. Но вот как вы это осуществили, прямо меня касается. Контроль должен быть надежной защитой от таких, как вы, но не был. А потому в обмен на вашу свободу я хочу узнать, как вы это осуществили».

Ну, и я снова сел.

«Хотя бы в последний раз услышите, что я вам толкую. Я ничего не делал, я ничего не украл. Ни пенни, ни даже полпенни».

— Это правда, — перебила мать, одобрительно кивая головой. — А когда он мне рассказал, я была так им горда!

— Рейвенскифф уставился на меня без всякого выражения. Я не мог догадаться, о чем он думает. Это было страшно, знаете ли. Обычно что-то замечаешь и понимаешь, насколько тебе верят. Но только не с ним. Угадать ничего было нельзя.

«Докажите», — сказал он.

«Не могу, — сказал я горько. — В том-то и беда». — И я рассказал ему, что произошло. Все то, что рассказал вам, и больше. Он кивал на мои слова, и было ясно, что процедуру он знает досконально. Затем он начал задавать мне вопросы.

«На каждом счете штампуется его порядковый номер. Если один счет изъять, это будет очевидным. То же относится и к выплатным квитанциям».

«Я знаю, — сказал я. — И могу предположить, что на нем

проштемпелевали дублирующий номер, так чтобы в случае изъятия пробела в нумерации не возникло бы. А это означает, что кто-то преднамеренно изготовил фальшивый счет, а затем изъясил его. А также что это не был я».

«Почему не вы?»

«Да потому что сам бы я его оплачивать не стал, верно? Я бы изготовил счет, позаимствовал штемпель, поставил бы дублирующий номер, а затем подсунил для оплаты на стол кому-нибудь еще. В конце дня, когда деньги уплачены, было бы нетрудно отыскать счет в подшивке и изъясить его. Затем отправиться по адресу и забрать деньги».

«Это убедительное объяснение, мистер Стептоу, — сказал он. — Но оно означает, что вы обвиняете кого-то, кто работает с вами в одном отделе».

«Нет, — сказал я быстро, так как не хотел никого обвинять. — Весь день в отдел заходят разные люди».

«Так-так», — сказал Рейвенскифф и, отойдя к окну, посмотрел наружу. Я был сбит с толку, но спросить не решался. И все еще недоумевал. Это же был богач, тревожащийся из-за двадцати пяти фунтов. Оно конечно, позаботься о пенни, а фунты сами о себе позаботятся, но выглядело все это очень глупо.

А потом он велел мне уйти. Ничего больше не сказал. Просто отослал, будто лакея. Я тут же решил, что докажу. Я засел дома, жалел себя, но он меня взбесил. Я не собирался позволить, чтоб меня заклеямили вором, ни ему, ни кому-нибудь еще. Вернулся домой и потолковал с папашей. Он сказал мне, чтоб я постарался. И мы поговорили с моим двоюродным братом, другим, не ливерпульским, а который работает в ночную. Он потолковал кое с кем...

— В Ньюкасле найдется кто-нибудь, кто про это не знает? — перебил я.

Он, казалось, удивился.

— Я никому не говорил. Только моим близким. Им-то я, конечно, сказал. Они имеют право знать. Их это, знаете ли, чернит не меньше, чем меня. Иметь в семье вора... Но они за меня горой. Конечно, я им рассказал.

— Понимаю. Извините. Продолжайте.

— Ну, все было организовано. Я пойду в ночную смену с дядей и двоюродным братом и пройду в контору. Это было просто. Требовалось только взять ключ у ночного сторожа, зятя моей тети Бетти. Потом я сяду просматривать книги и уйду утром вместе со сменой.

— И? — подтолкнул я.

— И времени потребовалась уйма. Я просмотрел каждый лист за

месяцы и месяцы вспять, а потом сравнивал с расписаниями смен, кто тогда работал. Все до единой строчки, чтоб не пропустить чего-нибудь.

Я кивнул. Мне было понятно, что он чувствовал. Я прикинул, не завел ли Рейвенсклифф обыкновения каким-то образом принуждать совершенно чужих людей делать за него всю черную работу. Как-никак Элизабет проделала то же самое со мной.

— В конце концов я выискал. Шесть платежей от двадцати одного до тридцати четырех фунтов, все с разными адресами. Мне стало ясно, что тот, кто этим занимается, знает, как работает отдел. Потому что платежи свыше тридцати пяти фунтов визируются старшим клерком. И алчности он воли не давал.

— Но вы не узнали, куда отправлялись деньги?

— Не совсем.

— Не совсем?

Он поднял ладонь, прося тишины.

— Я попросил троюродного брата Генри...

Я застонал.

— ...он тоже работает в отделе, последить повнимательнее, и наконец случай выпал. Само собой, забрать его Генри не мог, но он сделал точную копию, и адреса для выплаты тоже.

— Вы этот адрес помните?

— Конечно. Тот, который я назвал лорду Рейвенсклиффу. Пятнадцать, Ньюарк-стрит, Лондон, В.

Дом, в который на моих глазах вошел Ян Строитель.

Стептоу встал и исчез. Он вернулся несколько минут спустя с конвертом.

Я взглянул на лист бумаги внутри. Счет на 27 фунтов 12 шиллингов 6 пенсов в уплату за разные мелкие поставки. Датирован 9 января 1909 года с номером в правом верхнем углу, и Стептоу объяснил, что это был номер в папке накладных и был сдублирован с подлинного счета. Внизу была пометка «н. уплату б. Гам. 3725». Я спросил, что это означает.

— Еще один способ проследить деньги, — объяснил он. — Это указывает, что деньги в конце концов можно получить с банковского счета, принадлежащего другой части организации.

— Ах так! И это означает...

— Выплата наличными Гамбургским банком со счета тридцать семь двадцать пять.

Я задумался. Итак, этот молодой человек обнаружил, что выплаты делались часто шайке анархистов в Лондоне через лазейку в

рейвенскиффовской гордости и радости — организационной структуре, которую он создавал годы и годы. И делал это кто-то, хорошо ее понимавший, быть может, даже лучше самого Рейвенскиффа.

— И вы знаете, кто это делал?

Молодой человек кивнул:

— Да.

— И вы сообщили об этом компании?

— Нет.

— Почему?

— Потому что не мое дело выдавать боссам моих товарищей по работе. Я был счастлив очистить свое имя, но не ценой того, чтоб очернить кого-то еще.

Вокруг стола все согласно закивали. Я совершенно забыл о них, но, очевидно, они уже обсуждали то, что я сейчас услышал от Стептоу. Это было не просто его решение, но семейное. А потому я тоже одобрительно кивнул, как будто считал, что ему следовало принять именно такое решение. Да, собственно говоря, возможно, так оно и было.

— Хотя вам я могу сказать, кто стоял за всем этим.

— Ну, так позвольте, я попробую отгадать. — Я поглядел на него. — Совершенно очевидно, не ваш товарищ по работе. Значит, вы сейчас скажете мне, что это был кто-то из самих боссов. Иначе вы и словечка не проронили бы. Верно?

Он ухмыльнулся мне подкупающей мальчишеской ухмылкой.

— Вот-вот, — сказал он с некоторым смаком. — Как только я докопался, он мне все рассказал. Месяцев шесть назад его вызвали и приказали заняться этим. Подсовывать фальшивые накладные в подшивки, а потом вынимать их оттуда. Естественно, он спросил зачем, хотя ответа получить не ожидал.

— Почему?

— Потому что нам положено исполнять то, что нам велят делать. А не понимать причины. Он думал, что ему прикажут заткнуться и исполнять то, что велено, а не задумываться зачем да почему. Не его это дело. А вместо того он получил длинное разъяснение.

— И кто объяснял?

— Мистер Ксантос. А он босс. Самая верхушка.

— Понимаю. А что дальше?

— Ну, так мистер Ксантос сказал, что люди думают, будто продавать такой товар, как военные корабли и орудия, очень просто. А это требует много такого, о чем людям лучше не знать. Например, задабривать

покупателей небольшими подарками. Ну, и делать еще всякое необходимое.

— И выплаты предназначались для этого?

— Так он сказал. Небольшие подарки влиятельным людям, чтоб обеспечить заказы и гарантировать рабочие места по берегам Тайна на годы вперед. Конечно, не стоит, чтоб люди про это знали. Делать это надо втайне. И помалкивать, если кто-нибудь пронюхает.

— И ваш друг ушел, думая, будто он помогает компании чуть-чуть отступить от правил ради обеспечения рабочих мест. И проделывалось это с одобрения компании?

— Вот-вот. Но Ксантос предупредил его, что никто другой знать про это не должен. Мистер Уильямс и все прочие не желают знать про это и не скажут ему спасибо, если он проболтается. И мне он сказал, только когда я ему задал вопрос в пабе. Это было нелегко. Меня теперь не очень-то привечают в пабах. В тех, которые обслуживают заводы. Было это за неделю или около того до несчастного случая.

— Какой еще несчастный случай?

— Хуже некуда. И ожидать-то было никак нельзя. Бедняга! Но он возвращался домой после конца рабочего дня через литейный двор, и тут вроде бы столб, подпиравший балки, сломался, и они раскатились в разные стороны. А он оказался как раз там. Никаких шансов.

— И это произошло?

— Около трех недель назад. Похороны были устроены — лучше некуда. Оплатила компания и еще деньги его матери выделила, он был ее единственной опорой. Так оно и следует, да только многие палец о палец не ударили бы. Сказали бы, что он сам виноват, что ему быть там не полагалось.

Когда он договорил, наступила минута молчания.

— А несчастных случаев много? На верфи то есть.

Отец пожал плечами.

— Да бывают, конечно. Другого и ждть нельзя. Два-три в год. Чаше по их собственной вине.

— А этот человек, который погиб, он никому больше не собирался рассказывать про эти выплаты, а? Сказал кому-нибудь еще, кроме вас?

Стептоу покачал головой:

— Нет. Слишком боялся потерять работу. Да и кому он мог рассказать? Я ведь выведал это у него потому лишь, что ему совестно было из-за меня.

— Значит, не скажи он вам, так никто бы не мог узнать? И если бы несчастный случай произошел чуть раньше...

Стептоу кивнул.

— Вы кому-нибудь говорили, не считая вашей семьи то есть?

Он ухмыльнулся.

— Даже и им. Ну, не всем.

— Могу я посоветовать, чтобы вы и дальше так поступали? Я не хочу, чтобы балки и на вас попадали.

Улыбка угасла.

— О чем это вы?

— Еще только один человек знал про это, лорд Рейвенсклифф, и он упал из окна.

Я встал и смахнул с колен крошки пирога.

— Спасибо, мистер Стептоу, и спасибо вам всем, леди и джентльмены, — сказал я, поклонившись всему столу. — Вы были так добры, поговорили со мной и угостили чудесным пирогом. Не могу ли я сделать для вас что-нибудь?

— Я хочу, чтоб меня восстановили.

— Я поговорю с леди Рейвенсклифф, — сказал я, — чтобы она приняла меры. Об этом не беспокойтесь. А пока, пожалуйста, напишите отчет, тщательно, со всеми подробностями, и пошлите его мне. Я намекну ей, что следует оплатить ваши услуги. Так будет только честно.

Глава 24

Ежегодное собрание «Инвестиционного траста Риальто» должно было состояться в одиннадцать утра на следующий день после моего возвращения. До того я присутствовал только на одном подобном событии, и оно было смертельно и беспредельно скучным. Это было собрание акционеров некой южноафриканской горнодобывающей компании, и меня откомандировали потому, что бедолага, обычно освещавший их, заболел. С самой Англо-бурской войны южноафриканские горнодобывающие компании притяжали на место в новостях так, как никогда не сумели бы большинство угольных шахт или хлопковых компаний. Поэтому я пошел — со строжайшей инструкцией не заснуть. «Просто запиши правильно фамилию председателя и запомни главное — доходы за этот год и за предыдущий, дивиденды за этот год и за предыдущий. Больше никого не интересуется».

Поэтому я пошел и сделал, как сказано, и, сидя в одиночестве (настоящие акционеры меня избегали так, словно от меня дурно пахло, и чая с печеньем я тоже не получил), записал все, что мне было велено. Я до сих пор считаю, что не моя вина, что я пропустил обсуждение выпуска новых акций для привлечения капитала. Даже не засни я, все равно бы тогда не понял, о чем говорилось.

Но теперь я считал себя почти экспертом во всех финансовых вопросах. Слова и выражения вроде «временный сертификат на владение акциями» и «акции без специального обеспечения» срывались у меня с языка с той же легкостью, как и «нанесение тяжких телесных повреждений» и «оскорбление действием» всего несколькими неделями ранее. И, просто для верности, я уговорил пойти со мной Уилфа Корнфорда в качестве толмача. Я пришел с блокнотом, снова выдав себя за репортера; как Уилф проник на заседание, мне неизвестно. Помимо нас присутствовали с десяток других журналистов — само по себе примечательно, так как обычно подобные собрания привлекают одного-двух, — и по меньшей мере сотня акционеров. Последнее, как сказал Уилф, было беспрецедентно. Что-то, сказал он, заваривается.

И заварилось, хотя пока происходило, казалось столь же увлекательным, как собрание подкомитета в муниципалитете: сплошь внесение поправок и реплики из зала, так плотно упакованные в запутанные фразы, что их смысл несколько терялся. Номинальным

председателем собрания был мистер Кардано, душеприказчик Рейвенсклиффа. Я подумал, что он хорошо себя проявил: выступил с краткой и совершенно пустой речью о превосходных качествах и способностях Рейвенсклиффа (речь, как я заметил, была встречена подозрительным молчанием), а после передал бразды Бартоли, который сидел слева от него с видом деланно нейтральным. Тогда этот джентльмен отгарабанил ежегодный отчет с такой скоростью, что вернулся на место всего несколько минут спустя. По достоинству я оценил лишь его последнюю фразу: «и ввиду отличного года и хороших перспектив на следующий мы рекомендуем увеличить дивиденды на двадцать пять процентов, до четырех фунтов и пенни на каждый номинальный фунт». Сел он под толику аплодисментов.

Далее последовали вопросы — хотя и не от журналистов, которым говорить не позволялось (противоестественное положение вещей, что толкнуло их болтать между собой, выказывая свое недовольство). Когда распорядятся завещанным имуществом Рейвенсклиффа? Очень скоро, пообещал мистер Кардано. Может ли душеприказчик заверить акционеров в удовлетворительном состоянии финансов «Риальто»? Абсолютно; цифры доступны всем и каждому; в заверениях нет решительно никакой необходимости. А как насчет компаний, в которые инвестирует «Риальто»? По этому вопросу он не может дать ответ, вопрос должно адресовать означенным компаниям. Однако опубликованные ими отчеты предполагают, что дела у них идут успешно. И так далее и тому подобное. Голосовали по тому вопросу и по этому. Поднимались и опускались руки. Кардано временами бормотал «принято» и «не принято». Уилф ерзал на стуле. И наконец проголосовали за закрытие, и все встали.

Я постарался подобраться поближе к Кардано, но его окружили другие члены совета — почти как преторианская гвардия императора, и журналистам к нему было не пробиться. Подошел только один человек: когда он был всего в нескольких футах, Кардано посмотрел на него, на лице у него ясно читалось: «У меня получилось?» Человек кивнул, тогда Кардано расслабился и покинул зал.

Выходит, важная птица, но кто же он? Я не терял его из виду, пока его омывал поток пробирающихся к выходу. Правду сказать, ничего примечательного: средних лет, худощавый, короткие волосы, редящие на макушке. Среднего телосложения. Ясное открытое лицо, ни бороды, ни усов. Смутная улыбка на благородных, красивых пропорций губах. Повернувшись, он отвесил полупоклон тучному старику лет семидесяти с круглым лицом и белыми усами-щеткой, выглядевшему как отставной

подполковник пехотного полка, — привлекая к себе внимание в толчее, старик тронул его за плечо. Всего разговора я не расслышал, но уловил достаточно.

— Рад вас видеть, Корт, — пророкотал подполковник.

После они отошли за пределы слышимости. Мне бы очень хотелось послушать еще, но хватило и этого: фамилия обрела лицо. Теперь я знал, как выглядел таинственный Генри Корт. Мне он не показался слишком уж страшным.

Тут меня утащил Уилф, который вроде был сильно взволнован, и заявил — совершенно беспрецедентное проявление эмоций, — что ему надо выпить. Я и вообразить себе не мог его пьющим, не то что нуждающимся в выпивке, но кто я, чтобы отказывать?

— Ха! — сказал он, когда мы уселись в пабе за углом, излюбленном местечке людей из «Шредера» в послерабочие часы, но сейчас пустом. — Такая битва не скоро забудется!

Я озадаченно нахмурился.

— О чем это ты?

— О собрании, мой мальчик! В жизни ничего подобного не видел!

— Мы в одном зале сидели?

Он вытаращил глаза.

— Ты разве не видел, что там происходило?

— Я посмотрелся достаточно, чтобы упасть со стула от скуки, если ты об этом.

— Господи всемогущий!

— Ну? В чем дело? Что я пропустил?

— Нападение из засады, старина! Контрнаступление! Разгром сил противника! Разве ты ничего не понял?

Я затряс головой.

Уилф горестно вздохнул:

— Тебе это не по зубам, сам знаешь.

— Просто расскажи, — огрызнулся я.

— Ну ладно. Надеюсь, ты заметил, что совет директоров откупился от акционеров, заткнув им рот деньгами?

— Дивиденды?

— Они самые. Из баланса было очевидно, что реально поднимать выплаты следует всего процентов на десять. А они подняли на двадцать пять, и теперь им придется основательно залезть в резервы. Уверен, идея была заставить акционеров молчать до выплат — недель через шесть. Это кое-кого нейтрализовало, и ход был умный: с самого начала выбить у врага

почву из-под ног. Но враги все наступали.

— Да? Как?

— А к чему, по-твоему, были все эти поправки, предложения и вопросы?

— Я понятия не имею.

— У одних, и их немало, акционеров появились подозрения, а другие хотят захватить контроль надо всем «Трастом». Они объединились — по всему Сити на прошлой неделе, наверное, встречи шли. Готов поспорить, была заключена некая договоренность, и они были уверены, что она продержится. Проголосовать за новое правление, потом внимательно проверить балансовые книги. После, возможно, распустить «Траст» и выплатить деньги. Не знаю. Значения это не имеет, потому что их победили.

— Правда?

— Правда-правда. Этот Кардано не дурак. Без сомнения, в отца пошел. Но там явно шли и другие дебаты. Двадцать пять процентов он контролирует как душеприказчик, и другие группы голосующих блокировали каждое предложение, зато проголосовали за то, чтобы отложить все решения до тех пор, пока не будет улажено завещание Рейвенсклиффа. Если хочешь знать мое мнение, довольно много акционеров голосовало в ущерб собственным интересам.

— И ты сейчас скажешь, что не знаешь почему. Вот уверен, скажешь.

— В точку. Но я выясню, так что помоги мне. Зато я могу сказать кто — ну по крайней мере про некоторых. Во-первых, банк «Барингс». Я не до конца сообразил, что к чему, но, похоже, банк аккумулировал пай приблизительно в пять процентов. Конечно, это только догадка. Но через несколько дней смогу получить подтверждение. Я даже не знал, что у них тут что-то есть. Они организовывали выпуск акций, но я полагал, что с тех пор давно уже продали свою долю.

— Они купили что-то на следующий день после смерти Рейвенсклиффа, — сказал я, испытывая немалую гордость: ведь знал что-то, чего не знал Уилф. И в награду получил заинтересованный взгляд. — С чего ты взял, что это был «Барингс»? — не унимался я.

— Но ведь это было проявление силы, так? Сам Том Баринг явился голосовать. Мол, не лезьте, только время зря потратите. Так давалось понять.

— И кто из них был Том Баринг?

— Под семьдесят, лысеющий. Тот с орхидеей в петлице.

— Отставной подполковник, разговаривавший с Кортотом?

— Кто такой Корт?

— Никто. Это не важно. А кто, собственно, этот Том Баринг?

— Один из клана Барингов. Исключительная личность. Знаю, о чем ты, когда говоришь про отставного полковника. Он как раз так выглядит. Но он один из лучших в стране экспертов по китайскому фарфору. Мне это, конечно, без надобности.

— Конечно. Так он большая шишка?

— Один из директоров. Разумеется, это уже не семейное партнерство. Банк преобразовали в компанию, когда лет двадцать назад его постигла катастрофа, но семья до сих пор имеет огромное влияние. А что до Тома Баринга, то он ленив. Действует безошибочно — когда его удастся растолкать, а это случается не слишком часто. Что он здесь появился, мощный знак. «Барингс» считает происходящее достаточно серьезным, чтобы Том бросил свой фарфор и приехал в Лондон присутствовать. Он так поступает, только когда дело жизненно важно.

— Застольная тема на многие годы, — заметил я.

— Вот-вот. Но нечего ерничать. Это еще долго многим не даст покоя.

— Так что, по-твоему, это значит?

— Понятия не имею. Только что пока за «Риальто» стоит «Барингс» и хочет, чтобы все это знали. Но очевидно, есть что-то еще. Кто-то пытался устроить переворот. Верховодил по большей части человек из «Андерсона»...

— Который тоже покупал акции «Риальто» сразу после смерти Рейвенскилфа, — вставил я. И снова произвел впечатление на Уилфа, я был очень доволен собой.

— Но от чьего имени выступает «Андерсон», а? — спросил он.

— Как насчет того, кого выдвигали в председатели?

Уилф посмотрел презрительно.

— Пустышка. Лицо, ничего больше. Нет, друг мой, это кто-то еще. И долго он от меня ускользать не сможет. Вот увидишь.

Он забарабанил пальцами по столу. Странный огонек сверкал у него в глазах, когда он основательно отхлебнул из стакана.

— «Барингс» хочет ясно дать понять, что убежден — с «Риальто» все в порядке. Но поступает так, возможно, только потому, что прекрасно знает, что на деле что-то очень и очень не в порядке, и готов потерять свой пай, лишь бы это скрыть. А какой мотив может быть у банка для готовности потерять деньги? А? Вот ты мне скажи?

— Перспектива потерять еще больше денег?

Он потер руки.

— Ха, вот это будет интересно.

Ну и ну, подумал я, пусть докапывается. Я не собирался делиться с ним моим коронным знанием. Но я думал, что знаю, в чем тут дело. По сути, это было очевидно. Любое должное расследование «Риальто» выявит тот факт, что отчеты — липа и что из дочерних компаний были выкачаны миллионы. Но — и это было очень и очень весомое «но» — какой смысл? Разве это не простая оттяжка неизбежного?

Я неспешно пошел домой, думая провести спокойный часок перед обедом. Или даже целый вечер, когда совсем не надо будет думать ни о деньгах, ни об аристократах. Почти с удовольствием я повернул ключ в замке дома на Райской Аллее и вдохнул вонючий воздух коридора.

Но удовольствие продлилось недолго. Миссис Моррисон ворвалась в коридор, едва услышала шум открываемой двери, и налетела на меня с суровым, измученным видом, совсем не похожим на ее обычную дружелюбную манеру.

— Мистер Брэдок, — начала она. — Я крайне огорчена. Крайне огорчена. Как вы могли проявить такое неуважение, даже не знаю. Я очень в вас разочарована. Боюсь, я должна просить вас покинуть мой дом.

— Что? — пораженно спросил я, останавливаясь снять пальто. — В чем, скажите на милость, дело?

— Я всегда давала моим мальчикам полную свободу и ожидаю от них уважения к этому дому. Приглашать неподходящих лиц неприемлемо.

— О чем вы говорите, миссис Моррисон?

— О той женщине!

— Какой женщине?

— Той, что в гостиной.

Леди Рейвенскилфф, подумал я, но прилив радости быстро угас в смятении, что она увидит, в каких обстоятельствах я живу. Скучность, убогость. Я огляделся: крашенные коричневой краской деревянные панели, выцветшие обои, дешевые эстампы по стенам, сама миссис Моррисон — и почти покраснел.

— Мне очень жаль, что она сюда пришла, — пылко сказал я. — Но не бойтесь. Она совершенно респектабельна. И уж конечно, ее никак нельзя назвать «неподходящей».

— Она гулящая, — сказала моя домохозяйка, запнувшись на последнем слове, но потом решив, что оно оправданно. — Не притворяйтесь передо мной, мистер Брэдок. Уж я-то гулящую узнаю, а она именно такова. Я этого не потерплю.

Я скорее ожидал, что миссис Моррисон будет вне себя от волнения при

мысли, что принимает в своем доме настоящую леди, и с моим облегчением, что Элизабет не подвергли цирку с чаем и печеньем, могло сравниться только уныние, что ее характеризовали подобным образом. Будь она гулящей, она была бы мне никак не по карману — даже с тремястами пятьюдесятью фунтами в год.

— Но, миссис Моррисон, она моя нанимательница.

Теперь домохозяйка вытаращилась на меня с неприкрытым изумлением. Мы очутились в тупике, в котором ни один не понимал, о чем говорит другой, пока недоразумение не разрешил звук шагов. Девушка, показавшаяся на пороге гостиной, была далеко не леди. На деле характеристика миссис Моррисон была вполне здоровой. Девушка двадцати, я думаю, лет была одета убого и безвкусно и держалась с развязным нахальством, к которому примешивались осторожность и подозрительность. Не знаю, почему я так говорю, но такое сложилось у меня впечатление.

— Кто ты, черт побери? — недоверчиво спросил я.

— Вы ведь обо мне спрашивали, верно?

— Нет.

— Мне сказали, вы заплатите мне гинею.

Гинею? Ей? До такого я еще не дошел. И вполне понял, почему миссис Моррисон так на меня сердита. Женщины были единственным, чего она не позволяла. И уж конечно, такие.

— Заверяю тебя, я... — И тут мне вспомнилась гинея. — Кто сказал, что я заплачу тебе гинею?

— Джимми.

— Какой Джимми?

— Никогда его раньше не видела. Мальчишка.

И тут меня осенило.

— Тебя зовут Мэри?

— Конечно.

Я облегченно вздохнул.

— Возвращайся в гостиную и подожди меня там, хорошо?

Я почти затолкал ее в комнату, захлопнул дверь и повернулся к миссис Моррисон.

— От всей души извиняюсь, миссис Моррисон. Не могу выразить, насколько мне жаль. Поверьте, эта женщина не та, чем кажется. Она очень важный свидетель, абсолютно необходима в данный момент для моей работы. Я весь город перерыл, пока ее искал, и мне надо с ней поговорить, пока она не испугалась и не сбежала. Позвольте мне это сделать, а потом я

все объясню лучше. Пожалуйста...

Домохозяйка колебалась, а потому я успел улизнуть в гостиную и закрыть дверь. Мэри стояла у погасшего камина, сжимая сумочку так, словно это единственная ее защита. Я молча смотрел на нее. Она не была уродливой, сообразил вдруг я, если забыть о недокормленности и общей хмурости. Многие мужчины... Выбросив это из головы, я предложил ей сесть. Сам я стал у камина, чтобы смотреть на нее сверху вниз.

— Так, значит, ты была подручной мадам Бонинской, — сказал я. — Ты знаешь, что тебя разыскивает полиция?

Она кивнула.

— Не беспокойся, я тебя не выдам. Хотя должен сказать, что они никоим образом не думают, будто ты ее убила. Ты им нужна как свидетельница, ничего больше.

— Им всегда нужно больше, — сказала она. У нее был тусклый, монотонный, совершенно непривлекательный голос, хорошо подходивший к туповатому взгляду. — И они не так хорошо платят, как вы.

— Сколько я тебе заплачу, зависит от того, сколько ты мне расскажешь, — возразил я. — Поэтому пока не слишком заносись. Где ты была, когда убили твою хозяйку? Ты видела, кто это сделал?

— Нет. Я ничего не видела. Меня не было дома. Я вернулась, нашла ее и подумала, что обвинят меня, поэтому убежала.

— Вполне понятно, — заметил я. — Но ты знаешь, кто это сделал?

Она покачала головой.

— У нее не было на свете врагов. Она была чудесной женщиной. — Она поглядела на меня, как птица на червяка. — Гинею.

У меня в комнате действительно имелись деньги, но мне было неприятно отдавать их ей. Я вздохнул, быстро взбежал по лестнице и по возвращении отсчитал монеты на стол.

— Не трогай, — предостерег я, когда она за ними потянулась. — Какой она была?

— Коровой. Подлой, злобной коровой. Я ее ненавидела. Я едва не заплясала от радости, когда увидела, как она лежит на полу. Она всегда была пьяной, от нее воняло, а как она говорила... Словно ты грязь у нее под ногами. Я ее ненавидела.

— А разве в ее профессии не надо быть очаровательной с клиентами? Я говорю про предсказание судьбы?

— О да. Недолго. Когда хотела, она умела пресмыкаться не хуже других. Пока не запускала в них когти, а потом все как рукой снимало. Когда она выжимала из них деньги, ничего такого не было и в помине.

— О чем ты?

— Она заманивала людей на свои сеансы и делала так, что они выбалтывали все свои секреты, думая, что разговаривают с духами. А потом говорила, вы ведь не хотите, чтобы ваша жена, или ваш партнер, или ваши родители про это узнали, правда?..

— Приведи пример.

— Была одна женщина, ее она вынудила рассказать, что у нее есть друг. Ну, знаете какой. Она была замужем, понимаете. И хозяйка выудила у этой женщины драгоценности, кольца, все ее деньги. А потом женщина покончила с собой, ведь когда хозяйка выжала ее досуха, то все равно написала грязное письмо мужу. Мне пришлось его доставлять. Хозяйка показала мне объявление в газете. Его она вырезала и приколотла к стене — как приз за большое достижение. Она им гордилась.

— А ты?

Она пожала плечами:

— А мне какое дело?

— Больше, чем ты готова признать. Ну, да не важно. Я хотел спросить тебя про одного мужчину, который к ней приходил. Вот про этого.

Я показал ей фотографию Рейвенскиффа.

— Да, я его помню.

При этих словах меня охватило возбуждение.

— Расскажи мне все. От этого зависят деньги на столе.

— Это был не клиент, — сказала она, немного подумав. — Он приходил не ради столоверчения и всего такого. Обычно она ради этого расфуфыривалась, надевала особое платье и начинала говорить эдаким голосом — старалась быть позагадочней и пожутковатей. Сами знаете. Но тут было другое. Они разговаривали.

— Ты знаешь, о чем?

— Нет. Но она хотела от него денег.

— И получила?

— В тот раз, когда я там была, нет. Он из-за чего-то злился, это я слышала. «Если не скажешь, ничего не получишь».

— А ты знаешь, про что он говорил?

Она покачала головой.

Не слишком полезно.

— А про саму мадам Бонинскую ты что-нибудь знаешь?

— Мало что. Я про то, она ведь мне ничего особо не рассказывала, так? Обращалась со мной как с грязью. Она либо смотрела на всех сверху вниз, либо старалась их стащить на дно. Слышали бы вы, что она говорила про

людей, которые к ней приходили. С ними она была такая милая и полная сочувствия, пока не запускала в них когти. А тогда они узнавали ее с другой стороны.

— Продолжай.

— Даже не знаю. Русской она не была. Вообще не была иностранкой. Но долгое время жила за границей. Сама мне рассказала. При русском дворе, во всяких аристократических местах в Германии, так она говорила. Все любили мадам Бонинскую.

— Так почему она вернулась в Англию?

— Наверно, до всех там дошло, кто она такая, и больше ей поехать было некуда. Но она считала, что тут напала на золотую жилу. Она собиралась составить себе состояние. Она свое получит, твердила она мне. И, конечно же, получила. Кто-то ее убил. А если это ей не по заслугам, то уж не знаю что.

— Так у тебя нет догадок?..

— Я же сказала, она ничего мне не рассказывала. Я была прислугой. Вот и все. Думаю, мне больше нравилось на улице. Но я держалась за место на случай, вдруг она говорила правду. Вдруг она разживется деньгами.

— Когда полиция нашла тело, денег в квартире не было.

Она пожала плечами. Я не мог ее винить.

— Сколько ты украла? — тихонько спросил я.

— Ничего.

Она явно лгала, поэтому я ей улыбнулся.

— То, что тебе недоплатили?

— Если хотите.

— А эта золотая жила? Как по-твоему, она имела какое-то отношение к тому человеку?

Опять пожатие плечами. Очень хотелось бы, чтобы она перестала. Она умудрялась создать впечатление, что ей вообще ни до чего на свете нет дела. Что, разумеется, могло быть правдой.

— Думаю, да. Она была в большом возбуждении, когда он ушел.

— А эти деньги, которые ты не крала. В ящике было еще что-нибудь?

— Какие-то бумаги, но я не смотрела. Ничего важного.

— Ты их взяла?

— Нет.

Они тоже пропали. Меня опережали на каждом шагу. Всякий раз, когда я что-то делал, о чем-то думал, кто-то уже успевал побывать там до меня. За свою гинюю я установил лишь то, что Рейвенскиффа мир духов не

интересовал, но это я знал и так; что эта женщина что-то знала, но я понятия не имел что. Возможно, она узнала что-то в России или в Германии. Что такого она могла знать, что было бы важно для человека вроде Рейвенскилфа?

— Насколько хорошо они были знакомы? Были на короткой ноге? Холодны друг с другом? Как незнакомые?

— Он... ну, он разве что нос не зажимал, когда с ней разговаривал. Отказался пожать ей руку и все такое. Нет, ему что-то было нужно, и глаза бы его ее не видели.

— Он это получил?

— Не знаю. Я слышала только, как она бормотала себе под нос: «Почему? Почему? Почему это?» Все бормотала и бормотала.

— Наверное, слишком было бы надеяться, что ты знаешь, о чем она говорила.

Она пожала плечами. Я вздохнул.

— Скажи, — рискнул я, совсем пав духом, — ты кого-нибудь из этих людей узнаешь?

Я показал ей фотографию леди Рейвенскилф. Она покачала головой. Потом я предложил ей групповой снимок совета директоров «Бесуика», она посмотрела и снова пожала плечами.

Глава 25

Вечер на Райской Аллее оказался богатым на события, вероятно, самым странным, какой только знал этот маленький дом. Только я уговорил миссис Моррисон, что над репутацией ее дома никакая серьезная угроза не нависла, как в дверь позвонили — факт беспрецедентный и невообразимый. Респектабельные люди не звонят в дверь без предупреждения в восемь часов вечера. К респектабельным людям не приходят неожиданные посетители в восемь часов вечера. Уже сам звук наделал большой переполох.

А посетитель тем более. Это был Уилф Корнфорд, явившийся с блаженным видом, который пропал, едва он увидел меня. Тогда он неодобрительно нахмурился.

— Я, право, полагаю, что ты не выполнял своих обязательств по нашему договору, юноша, — строго сказал он. — Я думал, ты будешь рассказывать мне все важное. И обнаруживаю — или, во всяком случае, подозреваю, что ты этого не делал.

— Как так?

— Потому что я разговаривал с заведующим отделом продаж в «Черчилле», там производят металлорежущие станки. И он мне сказал, что «Глиссонская сталь» почти три года назад заказала три новых токарных. Из тех, которыми растачивают оружейные стволы.

— И что?

— А то, что потом я зашел в паб на Мургейт и поговорил с брокером, занимающимся подобным товаром, который со всей решимостью заявил, что своих старых станков «Глиссонская сталь» не продавала. На деле те станки, которые у нее уже имелись, в точности такие, как новые.

— Это интересно?

— Зачем «Глиссонской стали» восемь токарных станков? Чтобы растачивать стволы для боевых кораблей, когда у нее нет заказов на боевые корабли?

— Я правда не притворяюсь, когда говорю, что понятия не имею.

— Ты, уж пожалуйста, поделись со мной. Что еще ты раскопал, о чем мне не рассказывал?

Немного подумав, я ринулся головой в омут.

— Я раскопал, что за последние полтора года из компаний Рейвенскиффа выкачали пару миллионов и что верфь завалена запчастями. — Я как мог объяснил увиденное. — А еще — что у каждого политика в этой стране есть акции «Риальто». А если хочешь незначительных деталей, то Рейвенскифф обнаружил какую-то дырку в своей структуре управления и не мог понять, откуда она взялась, и еще его имущество в подвешенном состоянии из-за доли наследства ребенку, который скорее всего мертв.

Откинувшись на спинку стула, Уилф довольно вздохнул.

— О да, — сказал он. — Великий человек, даже в своем падении великий.

— Прости?

— Если бы ты с самого начала мне это рассказал, я, знаешь ли, гораздо раньше бы увязал все.

— Да не хотел я, чтобы что-то увязывали, — раздраженно отозвался я. — Моим заданием было найти ребенка, а не расследовать деятельность компаний. Мне было наплевать и на «Бесуик», и на «Риальто». Кстати, а что именно ты увязал?

— Рейвенскифф был игроком. Он пошел на самый большой риск в своей жизни и проигрывал. Интересно, сколько бы еще ему удалось продержаться.

— А ты не мог бы просто сказать, о чем ты говоришь?

— Разве ты не понимаешь? Он строил себе военный флот.

— Что?

— Это же очевидно. У него нет новых заказов, прибыли сходят на нет, кораблестроители повсюду в отчаянии. А он заказывает новые станки, новую броню, заводы ломаются от деталей. Как по-твоему, для чего все это? Как по-твоему, сколько запасных орудий кому-то нужно? Ну, три от силы. Нет, друг мой, он строил корабли. Он вложил пять-шесть миллионов, и у него не было ни единого шанса получить их назад. Вопрос был только в том, как долго он сможет продержаться, прежде чем все рухнет. А самое примечательное — что «Барингс» и ему подобные по-прежнему делают вид, будто все в порядке.

— Ты уверен, что он просчитался?

— Разве ты не читал последний бюджет?

— Нет.

— Правительство столько денег потратило на пенсии по старости, что вообще ничего не осталось. Изменить ситуацию может только война, а она в настоящий момент не слишком вероятна.

— Но Рейвенклифф был умным человеком.

— Самым умным.

— И не беспокоился. Будь ты на его месте и в таком положении, что бы ты сделал?

— Ничего. Я ничего не мог бы сделать. Разве что, может, выпрыгнуть из окна.

— Или продолжать, как раньше, и надеяться на войну.

Он воззрился на меня.

— Абсурд, — сказал он. — Должно быть какое-то еще объяснение. А кроме того, как это объясняет собрание акционеров?

— Я не собственное мнение выдвигал, знаешь ли, а только твои слова повторил. Так что там с собранием акционеров?

— Я обнаружил, кто стоял за попыткой переворота.

— Очень надеюсь, что ты со мной поделишься.

— Теодор Ксантос. — При этих словах вид у него сделался ужасно самодовольный.

— Но он же просто переговорщик, — пренебрежительно отмахнулся я.

Теперь настал черед Уилфа принять вид надменной снисходительности.

— Просто переговорщик? На Ксантосе половина продаж «Риальто». Одиннадцать миллионов в год. Последние двенадцать лет.

— И что с того?

— Он получает один и три четверти процента комиссионных. Сам посчитай.

Закрыв глаза, я попытался приложить мои новообретенные финансовые навыки.

— Это около... Господи милосердный! Это больше двух миллионов фунтов!

— Так, значит, не просто переговорщик, а? Да, конечно, взятки ему приходится давать из этой суммы...

— Правда?

— Разумеется. Ведь нельзя же, чтобы их проследили до компании, так?

— Наверное, так. — Однако замечание заставило меня задуматься.

— Вот именно. Но даже если бы он тратил по пятьдесят тысяч фунтов в год...

— На взятки? — недоверчиво переспросил я.

— О да. Как минимум, — беспечно отозвался Уилф. — Это совершенно в порядке вещей.

Я покачал головой. Я не так представлял себе порядок вещей.

— Суть в том, что Ксантос часто проводит операции через некий банк в Манчестере, и именно оттуда поступили выплаты «Андерсону» на покупку акций «Риальто». Я напомнил кое-кому про пару-тройку прошлых услуг и получил подтверждение. А значит, Ксантос пытался захватить контроль над «Риальто».

— И как это укладывается в остальное?

Но Уилф уже встал и потянулся за шляпой.

— Понятия не имею, мой милый юноша. Я надеялся, ты мне скажешь.

Глава 26

На следующее утро я отправился повидать Элизабет. На мой звонок никто не ответил, поэтому я впустил себя сам и поднялся в маленькую гостиную подождать хозяйку. И когда переступил порог, испытал больше потрясения. На диванчике сидел Теодор Ксантос.

— Мистер Брэдок, — любезно сказал он, когда я вошел.

— Какой приятный сюрприз.

— Я тоже удивлен видеть вас, — ответил я. — Вы пришли с визитом к леди Рейвенсклифф?

— А, да, но, боюсь, нас обоих ждет разочарование. Мне только что сказали, она уехала.

— Правда?

— Да, уехала. Как мне сказали, в Каус. На неделю. Они с Джоном ездили туда каждый год. Это был любимый курорт лорда Рейвенклиффа. Он любил море. Что мне всегда казалось любопытным.

— Почему?

— Он был неохоч до природы, знаете ли. И большим романтиком тоже не был. Прелести стихий его не слишком привлекали. Однажды мы вместе пересекли на поезде Альпы, и, кажется, он ни разу даже глаз не поднял. Такие ландшафты, такое величие и великолепие, а он от книги не оторвался. А вот море производило на него очень странное действие.

— Какое же?

— Почти гипнотизировало. Что-то в нем. Ох уж вы, англичане, со своим морем. Такая эксцентричность. А вот мы, греки, совершенно к нему не восприимчивы, знаете ли, хотя и бороздили моря, когда ваши предки еще копались в лесах.

— Когда она уехала?

— Кажется, сегодня рано утром. Надо думать, ее багаж отбыл вчера.

— И когда она вернется?

— Не знаю. В прошлом году они провели там неделю, потом месяц путешествовали по Франции.

— Месяц?

— После он вернулся сюда, а она поехала на воды в Германию.

— В Баден-Баден.

— Да, кажется, так. — Он помедлил, вид у него стал хитроватый. — Ага! Вы в замешательстве, не знаете, как же будете без нее обходиться все это время. А ведь я вам говорил. Я пытался вас предостеречь. Но она совершенно неотразима.

— Я хотел проконсультироваться с ней по важному делу...

— И я тоже! И я тоже! Вот мы оба — брошены и тоскуем. Ну да ладно. Надо извлечь лучшее из ситуации. Тут превосходный кофе. Я его не просил, но леди Рейвенклифф так хорошо вышколила слуг, что они угадывают пожелания посетителей.

Он жестом указал на поднос, потом разлил по чашкам кофе — изящно, не пролив ни единой капли.

— Как продвигается сбор материала? Я полагаю, вы были в Ньюкасле. Произвело впечатление?

Я посмотрел на него.

— Откуда вы узнали?

— Господи милосердный, мистер Брэдок! Как вы можете спрашивать?

Леди Рейвенскилфф начинает вдруг вести себя на очень странный манер, нанимает человека, решительно неподходящего для задания, которое она ему дает, и вы думаете, что кто-то вроде меня не заинтересуется? Конечно, я постарался узнать о вас все возможное. Вы ведь не так-то хорошо умеете замечать следы.

— Я и не знал, что мне полагается их замечать.

— Конечно, не знали!

— Я нашел Ньюкасл очень интересным.

— А мистера Стептоу? Он тоже был интересным? Бедняга.

Неожиданность вопроса сбила меня с толку. Естественно, поразила. Я был совершенно к нему не готов, да и вообще едва ли натерел в искусстве притворства. Журналисту в этом нет большой необходимости. Мне хватило ума понять, что Ксантос старается меня напугать, хватило ума признаться самому себе, что он преуспел, и главное — смекалки, чтобы сообразить, что лучшим ответом станет не играть по его правилам. Я поглядел на него вопросительно.

— Ужасный несчастный случай, как мне говорили. Переехан на улице телегой с лошадьё. Колеса прокатились прямо по нему, сломали спину. Мертв, бедолага. — Он печально улыбнулся.

Я уставился на него с ужасом.

— Как жаль, что Элизабет не была чуть щедрее с пирогом, — сказал он, махнув на пустое блюдо. — Я весь съел. Надеюсь, вы не в обиде. Любопытный способ составлять биографию, не написав ни единого письма семье ее героя в Шропшир.

Я сосредоточился на кофе, стараясь унять дрожь в руках.

— Мой редактор говорил, что, собирая материал о чьей-либо жизни, лучше всего начинать с конца и двигаться к началу. Я всегда следую его советам.

— Вы когда-нибудь путешествовали, мистер Брэддок?

— Не далеко.

— Обязательно попробуйте. Это расширяет кругозор. И полезно для здоровья.

— А остаться в Лондоне — нет?

— Ах, Лондон, город, полный насилия. Уличная преступность. На невинных людей нападают, невинных людей убивают — и все ради их бумажников, а зачастую и сущего пустяка. Случается сплошь и рядом.

— Ну не так уж часто, — возразил я. — Вы забываете, я специализировался на уголовных делах.

— Верно, верно. Я упомянул про это только потому, что мне нужно,

чтобы один контракт доставили на подпись в Буэнос-Айрес. Надежному человеку, который его отвезет, хорошо заплатят.

— Вот как?

— Семьсот фунтов. Судно отплывает из Саутгемптона через несколько дней.

— А не то меня ждет та же участь, что и мистера Стептоу?

— Странные слова, но, полагаю, это риск, на который мы все идем. Господи милосердный, уже так поздно? Мне пора бежать.

Встав, он стряхнул с пиджака несуществующие крошки, поправил галстук и глянул на себя в зеркало.

— Где чаша?

— Какая чаша?

Он указал на каминную полку.

— Ах, та. Она разбилась.

Он воззрился на меня.

— Это был всего лишь горшок.

Он помешкал, но оправился.

— Конечно, конечно.

Достав из кармана конверт, он положил его на стол и вышел. Конверт был адресован мне. В нем лежали чек на семьсот фунтов, выписанный на «Банк Брюгге» в Лондоне, и билет на «Манитобу», отплывающую из Саутгемптона через два дня.

Глава 27

Полагаю, незачем описывать, как я был взбудоражен, встревожен и напуган. Случившееся настолько выходило за рамки привычного, что я не имел ни малейшего понятия, что мне делать. Ксантос дал мне денег и сказал, что, если я их не возьму, он меня убьет. Или прикажет меня убить. Не этими самыми словами, но суть я уловил. Бедный мистер Стептоу уже был мертв. И еще кто-то на верфи. И Рейвенсклифф. А когда умирают подобные люди, кто я такой, чтобы считать себя в безопасности?

Мне требовалось время, а еще место, где я мог бы избавиться от назойливого ощущения, что за мной наблюдают, что за мной следят. Это не было безумием с моей стороны: применив науку Джорджа Шорта наоборот, я обнаружил, что это правда. Их даже было двое; впервые я задумался, а как давно они неприметно ходят за мной по пятам. Они шли за мной до самой Пиккадилли, но я завел их на мою — не на их — территорию, в окрестности, где я знал каждый закоулок и многих людей на улицах. С каждым шагом я чувствовал себя все в большей безопасности, все менее одиноким. Не такие уж они были умелые, и от этого я почувствовал себя сильнее, менее беспомощным. Я беспечно, словно их не замечаю, свернул на Стрэнд, оттуда на Флит-стрит и юркнул в «Утку», всегда почти пустовавшую в это время дня, — а значит, можно быть уверенным, что меня не застанут врасплох. Я заказал выпивку, в которой очень нуждался, и устроился в тихом уголке. Покой. В нем я нуждался не менее, чем в виски.

В сочетании они понемногу сделали свое. Я успокоился, а потом определенно разозлился. Да как он смеет? Не самая разумная реакция, ведь очевидно, что он слишком уж легко посмел, но она привела меня в чувство, на время усмирила дрожащую, перепуганную и слегка постыдную тварь, которая завладела моим рассудком. Ксантос мне угрожал, черт бы его побрал! Но почему? То же самое он мог сказать на любой стадии за последний месяц или около того. Потому, что его махинация на собрании акционеров не удалась и он планирует иной способ получить желаемое? И где Элизабет? Она действительно поехала в Каус или?.. При этой мысли я похолодел от ужаса. Ксантос старался захватить контроль над компаниями Рейвенсклиффа, а она наследница Рейвенсклиффа...

Странно, но именно воспоминание о том, как спокойно маленький грек сидел на ее диванчике, решило дело. Хотелось бы сказать, что меня

побудили отвага, патриотизм, или галантность, или еще какая-нибудь мужская добродетель, но нет. Мою решимость распалило ощущение, что меня вытеснили, что запятнали прекрасный образ в моих мыслях. Да будь я проклят, если поеду в Саутгемптон, не говоря уже о том, что сяду на корабль в Южную Америку. Я один против всех, пусть так. Домой я вернуться не мог, а потому написал письмо Макюэну и оставил его бармену, чтобы тот передал, когда редактор придет. В нем я насколько мог полно изложил все, что мне было известно, и предоставил Макюэну самому решать, что с этим делать. Затем я послал весточку рассылным. За пять шиллингов каждому они согласились взять на себя соглядатаев, а также позаботиться, чтобы их отвлекли, пока я буду выходить из паба через черный ход. Кажется, одному угодил в лицо булыжник, и он попал в больницу. У другого украли бумажник, и вор бежал вприпрыжку по улице, размахивая добычей над головой и бросая содержимое на мостовую, пока преследователь не оказался чересчур близко, а тогда был вынужден показать, как быстро умеет улепетывать.

К тому времени я был уже далеко, пробирался через темные улочки и закоулки к реке. Потом свернул на запад, но не к дому: туда я идти не решался. Вместо этого я пошел в универсальный магазин «Уайтли» в Бейсуотере, купил чемодан и кое-что из одежды (какая прекрасная вещь деньги!), оттуда — на вокзал Ватерлоо и поспел на поезд без четверти два в Саутгемптон. К тому времени я почти свыкся со своей новой ролью. Впервые за несколько недель я знал, что делаю и почему. А еще я был совершенно уверен, что за мной не следят, ведь рассылный, которому я заплатил, чтобы он шел за мной, подал знак, что все чисто.

Но наличие денег и поглощенность высшей целью не означали, что я был избавлен от гнета английской классовой системы. Что ты можешь позволить себе билет первого класса, еще не дает тебе право сесть в купе первого класса или по крайней мере не означает, что тебе там будет комфортно. Я протерпел полчаса, пока мы не проехали Уокинг, а потом встал и прошел в более обшарпанные, но много более уютные недра второго. Английский правящий класс на отдыхе внушает трепет, в немалой степени потому, что он вовсе не на отдыхе. Эти люди едут в Каус (или, может быть, в Хенли и Аскот) с той же железной решимостью, с какой гренадеры маршируют на вражеские пушки. Они у всех на виду, они работают, по сути, это единственная их работа. Выглядеть элегантно, говорить нужные слова, быть с нужными людьми — для них так же жизненно важно, как расставить все запятые для меня или должным образом подсоединить трубу для водопроводчика; вот только

водопроводчики и журналисты снисходительнее и больше склонны прощать. Одна промашка, и люди из высшего общества обречены — так, во всяком случае, кажется.

Неудивительно, что они щебетали так нервно; неудивительно, что большую часть времени поглядывали на свое отражение в окне, за которым проплывали унылые предместья южного Лондона. Семья из пятерых человек: мать, три дочери (две на выданье) и сын, которому пошло бы на пользу, если бы его одели в старые штанишки и отправили бегать по улицам швырять камни в окна. Несчастное дитя: он вел себя так примерно, что находиться с ним в одном купе было почти невыносимо.

А вот во втором классе было совсем иначе, и я углядел двух поденщиков из «Таймс», которые сидели, закинув ноги на скамьи, в задымленном купе. Я почувствовал себя как дома и в безопасности, едва сел рядом с ними, хотя (при обычном раскладе) они были журналистами не моего толка. Гамбл был полевым репортером, поэтому я вообще не понимал, как он тут очутился. Джексон занимался уголовными делами, но исчез из виду с полгода назад. Он почти смутился, увидев меня, и потребовалось некоторое время, чтобы выяснить почему.

Наконец после многих расспросов он вздохнул, достал блокнот и дал мне прочесть.

— «Каково бы ни было ее мнение относительно истинных радостей моря, женщина, принимающая приглашение прокатиться на яхте, должна позаботиться о соответствующем туалете», — прочел я. Я поднял на него глаза, и он, извиняясь, скорчил гримасу. — «Одна новая модель для Кауса выполнена в щегольском синем маркизете поверх атласа. В мелкую складку в соответствии с модой, чтобы создать приятный глазу тонкий и прямой силуэт. Воротник-стойка из кружев и крошечная округлого края шемизетка...» Бедняга! — воскликнул я, и он уныло кивнул. — Что, скажи на милость, ты натворил?

— Пропустил вердикт по Осборноскому убийству, — сказал он. — Шесть месяцев в отделе моды, чтобы наставить меня на путь истинный.

Я стал читать дальше:

— «Были дни, когда саржевые ткани были единственными, какие допускались для подобных прогулок, но погода на этой неделе позволит лен, туссоры, шантунги и фуляры...» Я даже не знаю, что это такое.

— И я тоже, — ответил он, забирая блокнот и снова заталкивая его в карман. — Я это взял из журнальчиков модисток. Понятия не имею, о чем тут речь.

Я повернулся к Гамблу:

— Но ты-то, надеюсь, не впал в немилость?

— Боюсь, что да. Я был в Афганистане, репортажи отсылал, думаю, неплохие.

— Но в Афганистане же нет войны? Или есть?

— В Афганистане всегда война. Так или иначе, это долгая история. Если ты думаешь, у Джексона неприятности, что ты скажешь на это?

Он тоже достал свой блокнот, и я опять стал читать:

— «В числе гостей на званом обеде их величеств присутствовали наследные принц и принцесса Швеции, принцесса Виктория и принцесса Виктория Патриция Коннафт, главнокомандующий в Портсмуте, герцогиня Текская и Элизабет, леди Рейвенсклифф. Сегодня утром они поднялись на борт королевской яхты, где состоялось богослужение, которое провел адъютант его величества, контр-адмирал сэра Колин Кеппел. Присутствовали...» Проклятие! — не сдержался я.

— Знаю. Два года уворачиваться от пуля на перевале Хибер...

— Нет, я про леди Рейвенсклифф.

— Почему ты ею интересуешься? Ах да, конечно, ты прав. Она же в трауре. Но она так вхожа в ближний круг, что, наверное, без нее не могли обойтись. Даже не знаю, куда катится мораль. Но мне есть дело? Никакого.

— Ты, случайно, не знаешь, где она будет в Каусе?

— Поедет ли она на регату? Крайне неуместно. Но конечно, она может гостить на «Виктории и Альберте».

Сердце у меня упало. Я думал, достаточно будет поехать в ее отель и постучать в дверь. Но если она в полумиле от берега, на королевской яхте, все будет обстоять сложнее, чем я предполагал.

— Знаешь, — продолжал он, — думаю, ты первый, кто вообще заинтересовался этой ерундой.

Я отдал ему блокнот. Я и не подозревал, что она вращается в столь высоких кругах. Кто бы мог подумать?

— Так ты просто едешь делать репортаж на остров Уайт?

— Э, нет! Я надеюсь написать что-нибудь интересенькое про царя. Если смогу что-то раздобыть, получу и известность, и фавор. А как насчет тебя? Вроде поговаривали, что тебя уволили?

— Я сам ушел. И я собираюсь... По правде говоря, все немного сложно.

— Ты где остановился?

Я пожал плечами:

— Понятия не имею. Я думал, сниму номер в гостинице...

Переглянувшись, они рассмеялись.

— Надеюсь, тебе понравится спать на скамейке в парке, — сказал

Джексон. — Если найдешь незанятую.

— Об этом я не подумал.

— Можешь завалиться к нам. Мы в «Георге». Если у тебя нет отвратительных привычек...

— Никаких. И спасибо.

— Пожалуйста. Будешь спать на полу и платишь половину издержек. Квитанцию забираем мы.

Справедливо. С издержками «Таймс» была щедрее других газет. Остаток пути прошел почти приятно. Мои два товарища наскоро ввели меня в курс Каусской недели — единственно неосвященным осталось все, связанное с судами, поскольку в тот год «Таймс» решила не трудиться посылать кого-то знающего толк в гоночных яхтах. Слишком затратно. Они даже предложили мне подработать, написать про кое-какие гонки: гандикап в 65 футов или (еще лучше) Королевский кубок. Я же не хочу попробовать себя с *bal masque*^[3] у миссис Годфри Баринг, правда? От судов я отказался, ведь в жизни ни на одном не был и не имел ни малейшего понятия, даже как определить, кто победил, но поразил их, согласившись взять бал. Если Элизабет в Каусе, если она еще жива, то как раз на таком событии будет присутствовать.

Каус был переполнен, Солент напоминал площадь Пиккадилли оживленным вечером пятницы. Небольшой паром, доставивший нас и наш багаж с материка, вынужден был лавировать между сотнями яхт — больших и малых, одномачтовых и трехмачтовых, длинных, элегантных и современных, старых и довольно потрепанных — и еще через похоже половину Королевского флота, ставшего в миле от берега для парада. На берегу было еще хуже; паром был так набит, что казалось, в любой момент может затонуть, и на сушу нас выбросило в толпу: женщины рука об руку под зонтиками, мужчины в белых парусиновых брюках и летних пиджаках, отдыхающие в канотье, детишки, няни и слуги. Джексон повел нас в «Георг», маленькую гостиницу возле типографии, очень дорогую и далеко не роскошную. Комнатенка на троих была, очевидно, в сезон верхом роскоши, даже если мы едва в ней помещались. Бросив чемоданы на кровати, мы спустились в бар. После трех пинт осборнского светлого мы сочли, что достаточно оправились и готовы к битве. Я почти забыл, зачем приехал. Я больше не боялся. Во всяком случае, в тот момент.

Джексон и Гамбл хотя бы знали, что им делать: Джексон занял удобную позицию, чтобы набрасывать заметки о том, что миссис Олджерон Данвезер мира сего считают уместным для послеполуденной прогулки (сдается, состоятельным женщинам положено менять туалеты по

шесть раз на дню, вот почему дома поближе к центру шли так дорого), а Гамбл неспешно направился в контору «Каус газет» за сегодняшней рекогносцировкой, чем титулованные особы займутся сегодня вечером.

Я же растерялся: воображение смутно рисовало мне, что я просто встречу леди Рейвенсклифф, прогуливающуюся по променаду, но, очевидно, такого не случится. Раздумывая над этим, я медленно шел по Эспланаде к Египетскому дому, современной громадине с имитацией тюдоровской кирпичной кладки, которую на неделю сняли Баринги. Порассматривав ее какое-то время, я перевел взгляд на пролив Солент, где стояла на якоре «Виктория и Альберт», и неспешно вернулся в центр городка. Я пробовал расспросить гребца с королевской яхты, но он понятия не имел, кто гостит на чертовой посудине, да и кто я такой, что спрашиваю.

Сплошные разочарования, и я ловил себя на том, что меня понемногу одолевает лень, хотя у меня достаточно было на уме, чтобы держаться настороже и нервничать. На взморье я по-настоящему бывал лишь пару раз — воскресные вылазки в Саутенд, промотать деньги и убить время. И даже там — в не самом элегантном месте — я обнаружил, что движение моря обычно наводит на меня сонливость и отупение: оно всегда на меня так действовало и действует до сих пор. Возможно, у меня с Рейвенсклиффом было больше общего, чем я сознавал. Внесло свою лепту, конечно, и пиво, и к тому времени, когда я повернул назад к «Георгу» (не так уж далеко была гостиница), я отупел настолько, насколько вообще возможно. Я заставлял себя передвигать ноги, так как знал, что если лягу, то засну на много часов, и все шел, пока опять не вышел к воде — узкому заливчику, разделяющему Каус надвое. Моста там не было, его заменяло странное сооружение, похожее на плавучий деревянный сарай, который перетаскивали взад-вперед на цепях, чтобы перевозить пассажиров с одного берега на другой. Примостившись на кнехте, я стал смотреть на людей: мальчиков и девочек в матросских костюмчиках, мужчин из шляпочных мастерских, женщин из богатых и более скромных домов, возвращающихся с покупками или идущих домой, чтобы приготовить обед или съесть обед, ими приготовленный. А потом вдруг рывком очнулся и поглубже надвинул на глаза шляпу, втянул голову в плечи, лишь бы меня не заметил мужчина, который уже поднялся по трапу и теперь обернулся посмотреть, как закрываются деревянные ворота сарая, — эти выглядели так, словно их позаимствовали на скотном дворе.

Это был он. Тут ошибки быть не могло. Ни малейшей. Одет он был иначе и теперь, в темном костюме и накрахмаленном белом воротничке, смахивал на банковского клерка на отдыхе. Он побрился и напмадил

волосы, чтобы не выбиваться из роли. Но все равно выглядел как чернорабочий и ни за что не сошел бы за англичанина. Все те же неподвижные черты лица, отсутствие выражения в глазах, которые каждую секунду осторожно оглядывали все кругом, а не смотрели в пустоту перед собой, как, уверен, до сего момента это было с моими. Ян Строитель достал сигарету и закурил, когда паром отчалил от берега, но ничего странного во мне не заметил.

Я сделал все возможное, лишь бы не смотреть слишком внимательно, когда паром причалил на той стороне и пассажиры сошли, чтобы тут же смениться новыми. А потом старался не упускать его из виду, когда паром вернулся и я наконец сам мог туда подняться. Но лишь зря потратил время. Десять минут (и два пенса) спустя я достиг противоположного берега, а он исчез. Я быстро прошелся по главной дороге, ведущей из города, обратно вернулся по боковым улочкам, обрамленным приморскими виллами большего или меньшего великолепия, плутал более часа, но ничего. Не будь укол, какой я почувствовал в груди при виде его, таким острым и болезненным, я бы заключил, что обознался. Но нет. Я был уверен, что нет.

В свое время я прочел немало приключенческих романов, и многие перипетии в них проистекали из того факта, что главные герои, если натываются на какой-то подлый поступок, никогда не идут открыть душу полиции. Нет, они держат информацию при себе, от чего случаются всевозможные беды. Разумеется, под конец они, как и подобает мужчинам, всегда во всем разбираются сами; но я часто спрашиваю себя, насколько проще было бы, если бы власти были поставлены в известность заранее.

А кроме того, я не горел желанием самому во всем разбираться — подобает оно мужчине или нет. Поэтому я вернулся в город и отправился напрямик в полицейский участок. И там уразумел, почему дюжие герои романов не тратят свое драгоценное время на подобное занятие. Властям, по сути, неинтересно. Если бы я заявил о пропаже собаки, либо краже зонтика, либо потере записной книжки, то, не сомневаюсь, констебль Армстронг разом ринулся бы в бой. А так он посмотрел на меня, будто проблема как раз во мне, задумчиво пожевал губами и нахмурился на манер, заставлявший всерьез предположить, что он считает меня человеком, с которым надо помягче.

— Полагаю, даже у анархистов бывают выходные, — сказал он шутливо. — Наверное, у них работа тяжелая, свержения и все такое.

— Это не шутки.

— Прекрасно. Расскажите, что вас тревожит.

И я рассказал, но к тому времени, когда полицейский понял, что я

только с чужих слов знаю, что Ян Строитель анархист-революционер и что настоящее его имя мне неизвестно; что опять же с чужих слов слышал, что у него есть пистолет; не знаю наверняка, есть ли у него пистолет при себе сейчас; видел его только со значительного расстояния; а до того только один раз; и не могу поклясться, что он тут не на отдыхе, он начал терять терпение.

— Не объявлять же нам на основании ваших слов военное положение, правда, сэр? — прокомментировал он.

Помрачнев, я тяжелым шагом вышел из участка.

Глава 28

— Зачем, скажи на милость, ты так вырядился? — спросил Джексон.

Лицо у меня сделалось удрученное. Времени было начало девятого, я еще не ел, я почти готов был к выходу.

— Ты ведь просил заняться балом, так?

Он уставился было на меня, потом расхохотался.

— Тебе положено о нем написать. Не ходить на него, идиот ты этакий! Неужто ты думал, что тебя пустят? Тебе полагается стоять у ворот и составлять список гостей по мере их появления. А не отплясывать с герцогиней Девонширской.

— А-а.

Я посмотрел на себя в зеркало. До его слов я гордился своим видом. Я был одет рыбаком — наспех подкупил старика в порту, чтобы он одолжил мне дождевик и шляпу. На последнюю я нацепил уйму мушек и прочих пустячков, которыми, как мне думалось, пользуются рыбаки. Еще у меня была большая плетеная корзина с гипсовым омаром, которого я купил в лавке, торговавшей сувенирами для туристов.

— И вообще, — презрительно сказал Джексон, — это *bal masque*, а не костюмированная вечеринка.

Я недоуменно воззрился на него, кажется, он услышал, как я сдуваюсь.

— А есть разница?

— На такой бал мужчины одеваются как обычно. Женщины приходят в масках. Вот почему он называется бал-маскарад.

— Мне надо туда попасть, — сказал я. — Даже если придется тайно проникнуть в дом. Мне надо найти леди Рейвенсклифф.

— Зачем?

— Ей... Не важно. Мне надо ее найти.

— Сомневаюсь, что ты найдешь ее на балу. Считается, что она в трауре.

— Она обедала с королем.

— Это другое дело. Это дозволяется, едва-едва. Но бал? Это был бы скандал. Плохо уже то, что она вообще сюда приехала. Если приехала.

— Я хочу сказать, если все в масках... Она как раз из тех, кто проскользнул бы. Кто-нибудь там точно знает, где она. Мне нужно пойти. На всякий случай.

— Только не как представителю «Таймс». Мое место мне дороже.

Вид у меня, наверное, сделался откровенно отчаянный, потому что он

оставил пренебрежительно-насмешливый тон и глянул на меня проницательно.

— Вы с Гамблом приблизительно одного роста. Надень его смокинг.

— А ему он не понадобится?

— Нет.

Открыв шкаф, он начал вытаскивать одежду.

— Тебе лучше поспешить. Он здорово рассердится, когда узнает.

Так час спустя, когда сумерки только-только переходили в ночь, я поднимался по Эджипт-хилл, улице, которая вела прочь от набережной и огибала сады при доме, снятом Барингами. Я подумал было — не попытаться ли заговорить зубы на входе, но отказался от этой затеи: журналисты умеют многое — пробираться в залы суда, полицейские участки, в чужие дома — благодаря чистому нахальству, но появление незваным на великосветском празднике требует, рассудил я, большой практики. А потому, вновь прибегнув к мудрости Джорджа Шорта (зачем напрямик, когда можно в обход), я присматривался к стене, пока не нашел местечко с подходящим деревом, чьи ветви свисали над кирпичной кладкой. Полминуты спустя я был в саду, где поправил галстук-бабочку, отряхнул смокинг Гамбла и с решимостью, которой не чувствовал, направился к дому.

Никто не обратил на меня внимания. Сработало превосходно; я взял бокал шампанского с подноса у проходившего мимо официанта и неспешно прошел в главный зал — уже полный людей и пьянящий запахом духов, — где прислонился к стене и стал смотреть, стараясь сориентироваться и определить, как именно мне себя вести. Не забудьте: подобный прием был для меня так же дик, как свадьба у эскимосов, и следовало держаться настороже. А еще я чувствовал себя нелепо. Смокинг — не постоянная моя одежда; мне много комфортнее было бы в рыбацком дождевике. То, что большинство женщин выглядели нелепо настолько, что мне и в страшном сне бы не привиделось, нисколько не утешало. Почему они вообще идут на такие абсурдности, как можно считать их верхом моды, не поддавалось моему разумению. Обладай они элегантностью Элизабет Рейвенсклифф, то, возможно, преуспели бы. Но большинство выглядели как пухлые англичанки средних лет в масках. Не впервые я порадовался, что живу в мире пабов и комнат для прессы. Да и как вообще функционирует высший свет? Позволительно ли просто подойти к кому-то и заговорить? Учиню ли я скандал, если заведу беседу с молодой девушкой?

Выполнив поставленную цель и попав на праздник, я понял, что даже не задумывался, что делать дальше. Мне хотелось увидеть Элизабет, предостеречь ее, поговорить с ней. Но даже если она здесь, как ее найти? Все женщины были в масках, и даже исходя из твердой уверенности, что ее туалет будет красивее других, я не мог определить, которая из дам она. Некоторые маски были крошечные и нисколько не скрывали женские лица, но значительное число были очень и очень большими. Я мог лишь слоняться по залу, надеясь, что она сама меня заметит. Если она была там, то не заметила. А может, была, но не снизошла. Я быстро начинал чувствовать, что появление здесь не самая удачная моя идея.

— Рад, что вы смогли прийти, — произнес сердечный голос рядом со мной, когда я снова удалился к стене и постарался держаться на виду.

Я привлек не того человека. Подле меня стоял с видом смутной надежды высокий седой мужчина со щетинистыми усами и красным лицом — в основном из-за воротничка на два размера меньше, так что толстая шея практически нависала над ним. Происходящее как будто ему наскучило, и он отчаянно искал причину не рассыпаться в комплиментах перед очередной нелепицей в оборках.

— Добрый вечер, сэръ, — сказал я и тут вспомнил, кто это. — Рад снова вас видеть.

Том Баринг всмотрелся в меня неуверенно, в лице у него промелькнула смутная паника. Он меня знал, встречался со мной, забыл, кто я. Я знал, именно так он думает. Нет большего конфуза, чем заставлять кого-то напрягать память.

— Собрание в «Барингсе» в прошлом году, — неопределенно сказал я. — Нас не представили.

— Ах да, припоминаю, — отозвался он — на удивление убедительно при таких обстоятельствах.

— Семейные обязательства, сами понимаете...

Он поглядел чуть заинтересованнее. У меня была семья с обязательствами.

— Правду сказать, на собрании меня обрадовало только одно: вдруг представится шанс попросить у вас совета. По поводу фарфора. — Довольно неловкая попытка завоевать его доверие и завязать знакомство, но ничего лучше мне на ум не пришло. И как будто получилось. Он сразу просиял.

— Прекрасно. Буду очень рад. Спрашивайте, не стесняйтесь.

— Это своего рода блюдо или миска. Мне ее подарили. Она китайская.

— Правда?

— Считается, что китайская, — продолжал я с совершенно искренней невнятиностью. — Понимаете, мне его подарили, и я не доверился бы первому встречному замшелому антиквару, не зная, скажет ли он мне правду. Боюсь, меня слишком легко обмануть. Может быть, вы посоветуете мне честного.

— Таких не существует, — весело ответил он. — Все они проходимцы и мошенники. А вот я точно скажу вам правду. Разве только ваше блюдо очень ценное, а тогда я скажу, что оно никчемное, и предложу избавить вас от него. — Он сердечно рассмеялся. — Расскажите о нем побольше.

— Дюймов девять в диаметре. С голубой листвой — бамбук, фрукты, что-то в этом роде.

— Есть отметины? Клейма?

— Кажется, да. — Я силился вспомнить.

— М-да, не много. По вашему описанию, это могут быть тридцатые годы пятнадцатого века, или блюдо могли изготовить в прошлом году и продавать в любой чайной. Мне придется на него посмотреть. Откуда оно взялось?

— Мне его подарили. Раньше оно стояло на каминной полке в гостиной леди Рейвенсклифф. — Сказать, что она мне его подарила, было возмутительной натяжкой.

Он поднял бровь.

— Неужели Остроковская чаша?

— Думаю, она самая.

— Господи милосердный! Это один из самых красивых образчиков фарфора династии Минь в мире. Во всем мире. — Он посмотрел на меня с новым интересом и с немалой долей любопытства. — Я много раз просил продать ее, но мне всегда отказывали.

— Я с нее завтракаю.

Баринга передернуло.

— Мой милый мальчик! Когда я увидел ее впервые, я едва не лишился чувств. Он ее вам подарил? Вы хоть представляете себе, сколько она стоит? Что такого вы могли сделать для Рейвенсклиффа?

— Боюсь, я не вправе это обсуждать.

— А-а! Да, весьма корректно. Весьма, — сказал он все еще в большом возбуждении. Мысль о моих яйцах в мешочек так его разволновала, что он уже не вполне владел собой.

А на меня нахлынуло воспоминание о том, как чаша пролетела мимо моего плеча и разбилась о стену. Экстравагантный жест. Я почти почувствовал себя польщенным.

— Ну... мне не следовало бы. Но... м-мм... Боевые корабли.

— А, так вы про частный флот Рейвенсклиффа?

Улыбнувшись, я постарался сделать равнодушное лицо.

— Полагаю, вам про него известно?

— Разумеется. Меня должны были вести в курс дела из-за перемещения денег. Должен сказать, очень сомневался, но, как вы, вероятно, знаете, мы очень многим обязаны Рейвенсклиффу.

— Конечно, конечно.

— А чем именно вы занимаетесь...

Я сделал осторожное лицо.

— Приглядываю за тем и сем. Незаметно, если вы понимаете, о чем я. Во всяком случае, приглядывал для лорда Рейвенсклиффа. До его смерти.

— О да!.. Огромная потеря. И как неловко. Как не вовремя.

— Э... да.

— Проклятое правительство, как можно так колебаться. Хотя Рейвенсклифф держался на удивление благодушно. Все будет хорошо, говорил он, не беспокойтесь. Он прекрасно знает, как уговорить их на решающий шаг... И вдруг умирает. Типично для него, но он предусмотрел даже такую возможность. Должен сказать, услышав, мы едва не запаниковали. Если бы акционеры узнали, что происходит...

— Щекотливое положение, — сочувственно сказал я.

— Можете себе представить? Как сказать акционерам, что облигации займа, как они полагали, для южноафриканской золотой шахты, на самом деле для частного военного флота? Я бы уже щипал паклю в Редингской тюрьме. Но хотя бы в хорошей компании.

Он рассмеялся. Я присоединился, вероятно, несколько излишне сердечно.

— И тем не менее вы здесь.

— Как вы говорите, я здесь. Спасибо Рейвенсклиффу, что внес в свое завещание какую-то нелепицу, чтобы какое-то время никто до книг не добрался. Это дало нам время. Хотя и немного. Я чертовски из-за этого беспокоюсь.

— И, как я понимаю, его вдова тоже, — сказал я.

— О да. Насколько мне известно, она может знать больше, чем следует. Рейвенсклифф мало чего ей не рассказывал.

— То есть?

— Не знаю, конечно, что в точности он ей говорил, но я слышал, она наняла человека искать то дитя. Что, разумеется, придало мифу реальности. Чем больше бедолага напугает, задавая вопросы, тем лучше.

«О Господи!» — подумал я.

— С вами все в порядке? — спросил Баринг.

— Не совсем. У меня весь день немного желудок болит. Вы не сочтете меня ужасно грубым, если я откланяюсь?

— Очень жаль. Разумеется.

— Кстати, а леди Рейвенсклифф здесь?

— Конечно же, нет. Она в трауре. Ее даже в Каусе нет.

— Правда? А мне сказали, она гостит на королевской яхте.

— Определенно нет. Я пил чай там сегодня. Нет, думаю, она все еще в Лондоне. Знаю, она не поборница условностей, но даже она не стала бы...

Стала бы, не стала — мне было все равно. Повернувшись, я вышел из бального зала настолько медленно, насколько мог себя заставить, добрался до большого французского окна, открывавшегося в сад и, когда меня уже не было видно, бросился бежать к стене, через которую попал сюда.

Там я сидел час или больше, вполуха слушая звуки оркестра, случайные шаги, когда мимо проходила пара или когда мужчины выходили покурить сигару, а женщины подышать воздухом, но все это меня не трогало.

Все были правы. Меня выбрали за мою полнейшую непригодность. Моей настоящей задачей было все запутать. Ребенок не существовал, его никогда не существовало; это была подстраховка, задуманная для защиты компаний Рейвенсклиффа на случай, если он умрет до того, как его великий проект будет завершен. Правительство нуждалось в дредноутах, но не решалось их заказать. «Барингс» и Рейвенсклифф раскошелились и поставили на то, что правительство передумает. Разумеется, все надо было делать в тайне; малейший шепоток мог бы обрушить правительство и империю Рейвенсклиффа.

А меня хотя бы на йоту это заботило? Нет. Я утешал ее в горести, сочувствовал ее утрате, отчаянно трудился, лишь бы найти нужные ей сведения, приходил к ней со своими маленькими открытиями, был обманут благодарностью в ее взгляде, когда заверял ее, что все будет хорошо. А когда я начал узнавать больше, чем следовало, объявился Ксантос, чтобы меня припугнуть. Господи милосердный, как же я их всех ненавидел. Пусть без меня друг с другом грызутся.

Наконец я встал, затекший и окоченевший, хотя вечер был теплый, и переполз через стену на свободу нормального, ординарного, земного мира, где люди говорят правду и подразумевают то, что говорят, где честность идет в счет, а приязнь неподдельная. По сути, в мой собственный мир, где мне было привольно и комфортно. Но вина в действительности лежала на мне. Мне следовало бы прислушаться.

Я уже упоминал, что имею обыкновение спать хорошо — по большей части. По счастью, великий дар не покинул меня и той ночью. Хотя Джексон адски храпел и пол был жестким, я уснул уже к двум и спал так, словно все в мире замечательно. Утром мне пришлось потрудиться, чтобы извлечь воспоминания о предыдущем вечере, но, выудив их, я обнаружил, что они меня не мучают. Да, меня выставили дураком. Манипулировали мной, использовали меня, обманывали. Не в первый раз и не в последний. Я хотя бы сам обо всем догадался. Даже мысли о мщении, мелькавшие у меня в голове накануне, утратили свою притягательность. Да, я мог бы рассказать все двум моим храпящим товарищам. Но зачем трудиться, а кроме того, какой от этого будет прок? Я мог бы уничтожить компании Рейвенскилффа, но на смену им тут же придут другие — точно такие же.

И было чудесное, ясное утро, из тех, когда жизнь прекрасна. Я даже не обиделся ни на жалобы Гамбла, что украл его одежду, ни на настоятельное требование отдать ему гипсового омара как сувенир. О том деле я решил больше не вспоминать. Я потрачу деньги Элизабет Рейвенскилфф. Я не буду больше думать о дредноутах, не говоря уже о медиумах, анархистах или прочей чепухе. Все это меня не касается. Мне нет до этого дела. Я снова стану журналистом, вернусь к прежней жизни, несколько богаче, чем был до того. И вообще какие у меня причины жаловаться? Я хорошо оплачивался, и если платили мне за то, чтобы я выставлял себя дураком, пусть так. По крайней мере я был хорошо оплачиваемым дураком. А вечером, решил я, я поеду в Саутгемптон, сяду на корабль и поплыву в Южную Америку, но прежде перешлю чек Ксантоса в мой банк. Еще деньги. Если хотят раздавать их направо и налево, почему я должен отказываться? Я их заслужил.

Я купил моим товарищам завтрак — хороший завтрак, лучший, какой подавали в Каусе, с обилием бекона, кровяной колбасы, яиц, тостов, жареных томатов, чая и тостов с мармеладом и всего такого, а потом решил — поскольку Джексон хотел принять участие в экскурсии на «Штандарт», поехать с ним. Мне все равно нечем было заняться. Я свободный человек, безработный, сам себе хозяин.

Ах да. Царь всея Руси Николай II. Вы, без сомнения, подумали бы, что присутствие столь выдающегося джентльмена произведет фурор. Не каждый же день величайший самодержец мира, последний настоящий абсолютный монарх в Европе заглядывает в крошечный городок на южном побережье Англии. Правду сказать, он не заглянул. Он даже на берег не сошел. Единственным свидетельством его присутствия был лишь силуэт имперской яхты «Штандарт» в полумиле от берега, которая стояла на

якоре в нескольких сотнях ярдов от «Виктории и Альберта» среди канонерок флота в сторожевом дозоре. В подачку журналистам, которым надо заполнять чем-то ежедневные бюллетени, обещалась экскурсия на яхту. Я ожидал, что Гамбл тоже с нами поедет, но тот воротил нос от самой мысли.

— Не думаете же вы, что царь останется на борту, когда по яхте будет слоняться орава потных журналистов? Либо вся семья найдет убежища на «В и а», либо сойдет на берег. И хотя я, возможно, низко пал в глазах моих редакторов, будь я проклят, если потрачу время, разглядывая императорские занавески. Я прогуляюсь в Осборн. Если он на суше, то будет там.

Поэтому мы поехали вдвоем: я — с любопытством, Джексон — стараясь делать вид, что без оного. Одно я вынес с того утра: что у меня склонность к морской болезни на очень маленьких лодках — нас повез весельный катер с яхты, и все шло хорошо, пока мы не отплыли на сотню ярдов от берега. Дальше пошло хуже. Единственным утешением мне служило, что половина сливок прессы — ну, четверо нас из десяти или около того — тоже начали храбро улыбаться.

Да и экскурсия того не стоила; Гамбл был совершенно прав, предположив, что императорской семьи не будет и в помине, даже императорская няня не осталась на борту. Нам досталась лишь кучка русских матросов, чью откровенную враждебность к лояльной прессе его величества можно было почти потрогать руками. По апартаментам нас провели с военной быстротой; ни на что не указывали и ничего не объясняли, вопросов не принимали, фотографировать не позволяли. Из экскурсии я вынес только некое удивление, как же тут все не по-морски: парадные апартаменты были обставлены как обычный дом на Мейфер тридцать лет назад, сплошь мягкие кресла, люстры и даже камин в углу. Только пугающее покачивание напоминало, что вы вообще на корабле — прошу прощения, на яхте.

А потом нас посадили в катер и отправили на берег. Даже стопку водки не налили, хотя Джеремейя Хопкинс по меньшей мере отомстил, наблевав на дно посуды перед самой высадкой.

— С наилучшими пожеланиями от «Дейли мейл», — пробормотал он, переступая через свое пожертвование. — Грязное это дело — свобода прессы, — добавил он, поправляя одежду, и нетвердым шагом направился в ближайших паб.

Я со своей стороны не считал, что это станет действенным решением проблем с моим желудком; твердая почва и свежий воздух показались

лучшим лекарством, поэтому я решил сходить в Осборн поискать Гамбла. Пока он своими суждениями попадал в точку, возможно, не ошибается и на сей раз. Я дошел до парома, был перевезен на тот берег и неспешно направился по Йорк-авеню к главным воротам. Я был не один; по всей очевидности, распространились слухи о каком-то событии.

— Королевская семья и императорская семья, — сказала одна женщина тоном приглушенного благоговения, когда я случайно оказался рядом. — Они будут выходить, когда закончат визит. Они проедут по Эспланаде перед тем, как вернуться на свои яхты. Как мило с их стороны так заботиться о своих подданных!

Мы шли вровень: благоговеющая мать семейства и я неспешно прогуливались, как старые друзья, под теплым полуденным солнцем. Она рассказала (как она умудрилась собрать столько сведений у себя на кухне, затрудняюсь сказать, ей бы следовало быть репортером), что обе королевские семьи прибыли к частному причалу Осборна в шлюпке, но намерены показаться в городе перед возвращением. Два монарха, два консорта и уйма детишек будут выставлены на всеобщее обозрение; я не мог понять, что такого упоительного в том, чтобы просто посмотреть, как мимо тебя кто-то проезжает, но здесь я явно был в меньшинстве. Когда мы прибыли на место, там уже собралась толпа в несколько сотен человек — по виду, местных горожан, — обступивших деревянный настил, который вел от дороги к парадным воротам.

Гамбл тоже был тут и выглядел крайне недовольным происходящим. Его просьбу пустить его внутрь решительно отклонили, интервью не будет, и ему пришлось стоять как обычному приказчику из лавки без малейшего шанса найти хотя бы что-то, о чем стоило бы писать.

Я выразил мои соболезнования.

— Но он все равно не сказал бы ничего интересного, — завершил я.

— Не в том дело. Мне нужно было интервью. Что бы он ни говорил, значения не имеет.

— Всегда можно взять из головы, — предложил я.

— Это-то и навлекло на меня беду, — неохотно признался он. — Я процитировал слова хана Хабибуллы о реформах, которые он проводит в Афганистане. К несчастью, его в то время не было в стране, и он только что отменил реформы, поэтому пожаловался...

— Не повезло.

— Да. А значит — пока никаких вымыслов. Очень бы хотелось, чтобы они пошевеливались. Есть хочется...

Я перестал слушать. Я всматривался в противоположную шеренгу

зрителей, расплывающиеся очертания выжидающих, терпеливых лиц. За исключением одного, которое резко сфокусировалось, едва я посмотрел, а после посмотрел снова. Бедно одетая женщина в дешевой шляпке, надвинутой на глаза, сжимала сумочку. Я знал, что она меня заметила. Я видел, что мое лицо не ускользнуло от ее внимания, что она надеется, что я ее не видел: она сделала шаг назад и исчезла за дородным мужчиной и парой визжащих ребятишек, размахивавших флажками на палках.

— О Господи, — сказал я и прошелся взглядом взад-вперед по рядам людей, проверяя, не смогу ли отыскать ее снова. Ничего. Зато я увидел Армстронга, моего вчерашнего скептического констебля.

— Все еще ловим анархистов, не так ли, сэр? — весело спросил он, когда я подошел к нему (в те времена не было еще ни заграждений, ни контроля толпы).

— Констебль...

— Значит, он здесь?

— Я его не видел, но...

— Скажите, когда увидите, и мы с ним разберемся, — самодовольно отозвался он.

— Но я уверен, что он здесь.

Вид у Армстронга стал недоверчивый, но чуточку обеспокоенный.

— Почему?

— Я видел одну его знакомую.

Я показал, где ее видел, и он подозвал другого дежурного полисмена. Двоим они начали обходить зрителей, выискивая любого, на их взгляд, подозрительного.

Они не заметили ничего и не нашли никого к тому времени, когда величественные ворота распахнулись и по толпе прокатилось выжидательное бормотание. Вдалеке, в начале подъездной дорожки тронулся кортеж из трех черных «роллс-ройсов»; парусиновые верхи были откинуты, чтобы не загораживать вид. Когда авто проходили поворот, я увидел на заднем сиденье первого двух мужчин, ослепительных в парадных мундирах; во втором сидели две женщины в шляпках, поверх которых были завязаны шарфы.

— Во имя всего святого, констебль! Остановите авто! — крикнул я, подбегая к Армстронгу. — Закройте ворота!

Армстронг запаниковал. Он умел справляться с толпой, пока все шло хорошо, но был неспособен на большее, нежели наблюдать за людьми и успокаивать себя, мол, все в порядке.

— Не волнуйтесь, — сказал он. — Не волнуйтесь, не волнуйтесь...

И его губы двигались, даже когда он перестал говорить, будто он повторял про себя молитву.

Все равно было уже слишком поздно. Большой черный автомобиль, проезжая ворота, замедлил ход, давая толпе возможность поглазеть и поаплодировать. Давая вторым двум нагнать себя и должным образом восстановить кортеж. Я пробежал глазами по лицам, отчаянно выискивая Элизабет, убежденный, что вот-вот случится нечто ужасное. То, как она сжимала сумочку, беспокоило меня больше всего; мысленным взором я видел только ее руки, побелевшие костяшки пальцев, когда она крепко вцепилась в дешевую парусину, держа сумочку перед животом, чтобы легко было опустить в нее руку...

Авто двигались теперь со скоростью не более двух миль в час, флаги развевались, толпа кричала «ура». Король Великобритании и Ирландии, император Индии сидел справа, вид у него был скучающий. Царь всея Руси сидел слева и смотрел в толпу с видом человека, которому все это народонаселение несколько опротивело, и тут я осознал мою ошибку. Я увидел, как в нескольких ярдах от меня мужчина, рослый мужчина в костюме, как у банковского клерка, делает шаг вперед, пряча руку под пиджаком. Я крикнул, и он обернулся, но тут же сбросил меня со счетов. Нас разделяло десять ярдов, и он был лишь в десяти ярдах от авто, но оно все приближалось, а я стоял на месте, неподвижный и потерявший дар речи.

Но человек способен бежать быстрее медленно едущего авто. Гораздо быстрее, если преисполнен ужаса. Я побежал, и чем больше приближался, тем лучше видел. Я видел, как его рука вынырнула из-под пиджака, видел черный предмет в ней, приблизился еще и увидел ствол. И увидел, как пистолет поднимается и нацеливается, а я уже был всего в одном прыжке, услышал взрыв, когда упал, потом еще один, когда я рухнул на землю. И почувствовал невероятную, неслыханную боль, которая заслонила почти все, кроме одного последнего образа, когда я поднял глаза от пыли и гравия и увидел, как надо мной с пистолетом в руке и диким взором стоит Элизабет.

Глава 29

За годы я прочел много глупостей про огнестрельные раны: по большей части, во-первых, что сначала не больно, а во-вторых, что звук напоминает слабый хлопок, а не удар гонга. Ерунда. Во-первых, шум выстреливающего пистолета прозвучал как трубный глас: я был уверен, что у меня барабанные перепонки лопнули. Во-вторых, боль была адской, причем с того самого момента, как пуля вошла мне в плечо. А после болело еще сильнее, пока я не потерял сознание, и еще сильнее, когда я очнулся в больнице. В моем по крайней мере случае неправдой было и то, что я ничего не мог вспомнить, недоумевал, где я и что случилось. Нет уж, благодарю покорно, я все прекрасно помнил. Потом я заснул.

Наверное, было утро, когда я снова пришел в себя и уставился в потолок, собираясь с мыслями прежде, чем подать признаки жизни. Но когда я повернул голову, чтобы оглядеться, меня ожидал неприятный сюрприз. Рядом со мной сидел, читая газету, невысокий, почти изящный человечек — я знал, что это Генри Корт. На столике подле него стояла чашка чая.

— Мистер Брэдок, — сказал он с легчайшей улыбкой. — Как вы себя чувствуете?

— Не знаю.

— А-а. Тогда позвольте я вам скажу. В вас стреляли.

— Это мне известно.

— Полагаю, да. Рад отметить, что рана не слишком серьезная, хотя пуля оставила пренеприятное отверстие, и вы потеряли много крови. Не очутись рядом ваш друг мистер Гамбл, который знает кое-что об огнестрельных ранениях по своему пребыванию в Афганистане, вы скорее всего истекли бы кровью. Однако врачи говорят, что со временем вы полностью поправитесь.

— Она в меня стреляла.

— Да, сдается, что так.

— Что произошло?

— Почему бы вам не прочесть вот это? Это отчет, отправленный мистером Гамблом в «Таймс», так что мы знаем, что он совершенно достоверен.

Он подал мне утреннюю газету и позвал сестру, чтобы она помогла мне приподняться и сесть. Это потребовало уймы времени, но хотя бы дало мне

шанс несколько взять себя в руки. Боль тоже помогла — была не слишком сильной, но напомнила мне, что я все еще жив. Мне принесли воды, подложили подушек, заправили одеяло и премило за мной ухаживали. На все ушло полчаса, и это время Корт сидел совершенно бесстрастно, не делал ничего и умудрился не выглядеть скучающим. Потом, когда я снова почувствовал себя более или менее человеком, он опять протянул мне газету.

— «Возмутительная феминистская выходка в Каусе», — прочел я. Я поднял на него глаза.

— Ужасные женщины, а?

Нахмурившись, я прочел еще:

«Каус. Возмутительное происшествие учинено сегодня в присутствии наших высочайших гостей одной суфражисткой и повсеместно сочтено ребяческим и недостойным проявлением эмоций. Попытка поставить в щекотливое положение народ нашей страны, выставив перед его гостями предполагаемые обиды, расценивается как еще один удар, который женщины-суфражистки нанесли собственному делу. Мисс Мюриэл Уильямсон взорвала шутиху вблизи королевского кортежа, когда он покидал Осборн-хаус, воздав почести усыпальнице нашей покойной королевы в манере, намеренно пугающей. Тот факт, что дело могло обернуться много серьезнее, дает значительные основания для беспокойства. Мисс Уильямсон, которая, насколько нам известно, лишь недавно была выпущена из психиатрического заведения...»

— Постыдился бы, — слабо сказал я.

— О, ему стыдно, — отозвался Корт. — Правда стыдно. Пришлось его поуготоваривать, чтобы он это написал.

— А зачем ему это писать?

— Потому что я сумел убедить его, что неудавшееся покушение на царя на английской земле не принесет пользы нашему положению в мире. И разумеется, перспектива получить пост за рубежом по весомой рекомендации Форин оффис...

— Почему Элизабет в меня стреляла?

— Еще один интересный вопрос, — задумчиво сказал Корт. — Она говорит, вы попались под руку. Вы героически бросились на убийцу, но недостаточно быстро, чтобы помешать ему прицелиться в его жертву. Она сочла, что разборчивость была бы слишком рискованна, а потому для верности выстрелила в вас обоих. Она убила Яна Строителя, значит, можете считать, вам повезло. Но вопрос, который я до сих пор не могу для

себя разрешить, звучит иначе: кто стоит за всем этим?

— Разве вы не знаете?

Я снова лежал, глядя в потолок, и слышал его слова, но не мог видеть его лица. Любопытное было ощущение, словно беседуешь с самим собой. И пока я говорил с самим собой и настолько тихо, насколько хотел, оказалось, что говорить не так уж сложно. Корт придвинул стул поближе к кровати.

— Я исходил из предположения, — сказал он, — что это организовал Рейвенсклифф, чтобы сделать потребность в своих дредноутах чуть более настоящей. Но если так, то почему его жена остановила покушение и почему в такой драматичной манере? А потому мы приходим к вам.

— Ко мне? Ко мне это вообще отношения не имеет.

— Разумеется, нет! Нет, я лишь надеялся, что вы сможете пролить кое-какой свет на произошедшее.

— Почему вы не спросите леди Рейвенсклифф?

— Учитывая, что она недавно выстрелила в двух человек, сомневаюсь, что ее слова заслуживают большого доверия. Затрудняет все, конечно же, и тот факт, что она утверждает, будто действовала из уверенности, что за всем стоял я.

— Почему?

— У нее долгая память, — загадочно ответил он. — Значения это не имеет. Но сами понимаете, каково положение. Она считает, что виновен я, я считаю, что она. Вас же, с другой стороны — жертву, невинного очевидца, так сказать, — можно считать объективным. Выходит, я прав, и за всем этим действительно стоял Джон Стоун, который хотел переложить вину на немцев?

— Почему вы так думаете?

Корт пожал плечами.

— Джон Стоун чувствовал себя преданным. Его уговорили строить дредноуты на средства частных лиц, и его ожидали серьезные затруднения, так как правительство тянуло с размещением обещанных заказов. По этой причине он решил организовать международный кризис, который нужные заказы породил бы.

— Кто уговорил его строить корабли?

— Группа обеспокоенных граждан. Должен сказать, влиятельных, которые считали военно-морскую политику правительства катастрофично недальновидной.

— Но правительство было избрано... а, да не важно. — Это была правда. Мне действительно не было дела.

— Как я говорил, — продолжал Корт, — я надеялся, что вы сможете предоставить крупицу информации, которая позволила бы мне...

Вот оно. Крупица. Все, чего каждый от меня ожидал. Какой-то фрагмент, о значении которого я даже не подозревал. Только человек вроде Корта поймет его важность. А я слишком тупоумен, чтобы сам разобраться.

— Никакого отношения к Рейвенсклиффу это не имело, — сказал я, все еще негромко, но теперь намеренно, ведь говоря тихо, заставлял его наклоняться все ниже, чтобы расслышать.

— Вы уверены?

— Да. Знаю, на первый взгляд кажется, что так. Царь умирает, убийц арестовывают или убивают, их дома обыскивает полиция и — какой сюрприз! — находит документы, указывающее на то, что они оплачивались «Банком Гамбурга». Возмутительный заговор немцев, как раз такого и ждешь от подобных варваров.

В отместку возмущенные русские объявляют войну. Их примеру следуют французы, затем, возможно, присоединяются и англичане. Каков бы ни был исход, Рейвенсклифф в выигрыше. Ему принадлежат акции всех крупных компаний, производящих вооружения, и многие он контролирует. А еще он по хорошей цене продаст дредноуты.

Но если бы кто-нибудь присмотрелся внимательнее, то заметил бы за всем этим руку Рейвенсклиффа. «Банк Гамбурга» — его личный банк в Германии. Выплаты авторизовывались «Бесуикской верфью». Он попал бы под серьезное подозрение.

А впрочем, была ли бы разница? Разве правительство признало бы, что один из его граждан совершил подобное? Или оно похоронило бы информацию?

— Вы меня спрашиваете? — сказал Корт. — Или вопрос риторический?

— Спрашиваю.

— Официально, полагаю, все похоронили бы. Не могу себе представить, чтобы какое-либо правительство признало подобное. Разумеется, таковы были бы мои рекомендации. Однако в частном порядке ему бы это не сошло с рук.

— Вот именно. Рейвенсклиффа незаметно устранили бы. Как бы это случилось? Падение под поезд? Сердечный приступ?

Корт пожал плечами.

Я продолжил:

— Проблема в том, что Рейвенсклифф умер до того, как афера состоялась, и вел он себя не как человек, вынашивающий адский план

разжечь войну на Континенте. Отнюдь. Он отчаянно старался выяснить, что происходит. Он узнал, что что-то странное творится внутри его компании: порядочные молодые люди превращаются в воров, выплаты делаются без визирования. Но такого быть не могло. Любая выплата требовала визирования. А это означало, что кто-то, причем довольно высокопоставленный, должен их визировать. Но Рейвенскифф не знал кто. Он знал лишь, что это не он.

Тут я замолчал и попробовал повернуться на бок, но не смог. Корт приподнял мою голову и помог мне отпить воды из стакана на маленькой прикроватной тумбочке. Делал он это на удивление мягко, от чего я почувствовал себя в безопасности. Опасное ощущение.

— Поэтому вместо того, чтобы прибегнуть к обычным для такого человека средствам в подобных делах, он обратился к единственному лицу, которому, как он знал, он может доверять абсолютно: к своей жене. Она попыталась узнать правду и ее узнала — до определенной степени. Она установила, что деньги уходят к Яну Строителю, но до самого последнего момента не знала почему. Все держалось в большом секрете.

Когда Рейвенскифф умер, началась схватка за контроль над «Риальто». С одной стороны, «Барингс» скупал акции... Это вы устроили?

Он кивнул.

— С другой стороны, покупал кто-то еще. Теодор Ксантос попробовал воспользоваться смертью своего нанимателя и был остановлен только «Барингсом» и вами. Потом он постарался организовать мятеж акционеров и снова был блокирован, так как имущество находится в подвешенном состоянии. Рейвенскифф запутал свое завещание, чтобы в случае его смерти было выиграно время, — нечто подобное он, вероятно, предвидел или, во всяком случае, рассматривал такую возможность.

Ксантос также попытался отвлечь Рейвенскиффа и повел наступление на единственное, что было ему дороже компаний. В Германии он случайно наткнулся на женщину-медиума и привез ее в Англию. Она, думаю, пыталась шантажировать леди Рейвенскифф. Леди Рейвенскифф сказала, что у нее были романы; медиум была как раз из тех, кто станет выкапывать такую информацию.

Корт одобрительно улыбнулся. Я, во всяком случае, счел это за одобрение.

— Она вам нравилась? — спросил я.

— Мне? — переспросил Корт. — Почему вы об этом спрашиваете?

— Вы забрали все ее бумаги. Это ведь были вы, верно?

— Верно. Я не хотел, чтобы они случайно попали в руки кого-то вроде

вас. Но в них нет ничего интересного. У вас очень странное обо мне представление, мистер Брэддок. Думаю, вы слишком много слушали леди Рейвенскилффа.

— Как будто никто к вам большой любви не питает.

— Я уязвлен, — сказал он и выглядел почти так, словно это правда.

— Почему вы угрожали бедному мистеру Сейду?

Вид у него стал недовольный.

— Бедный мистер Сейд, как вы его называете, много лет состоит на жалованье у немцев. Не думаете же вы, что он занялся расследованием дел «Риальто» случайно?

Я посмотрел на него с недоумением.

— Так кто же ее убил?

Он пожал плечами.

— За годы я научился сосредоточиваться на важном. И вам то же предлагаю. — Голос у него тихий и мягкий, подумал я. Абсолютно разумный.

— Но вы ведь украли бумаги Рейвенскилффа?

— Они у меня. — Он как будто был не в настроении пояснять.

— Так или иначе, — продолжал я, стараясь переварить услышанное, — на мой взгляд, к Рейвенскилффу случившееся отношения не имело. Он был слишком надменен, чтобы не сомневаться в своем суждении. Он не мог поверить, что какое-либо его решение могло оказаться неверным. Он был твердо убежден, что его интрига будет иметь успех. Нет никаких признаков того, что он из-за нее тревожился.

Но он силился справиться с единственным, чего страшился более всего на свете. Его компании обрели собственную жизнь, он сотворил монстра, и этот монстр действовал в собственных интересах, больше не подчиняясь приказам. Его работа — максимизировать прибыли; Ксантос увидел способ поднять их до астрономических, а заодно и обогатиться самому. И когда Рейвенскилфф пригрозил положить конец махинациям, думаю, собственное детище его убило. Сомневаюсь, что Ксантос лично выбросил его из окна, но в общем и целом уверен, что за падением стоял он. Несколько дней назад он угрожал убить меня. Человек по имени Стептоу был убит им несколько дней назад; погиб и еще один работник «Бесуика». Не знаю, действовал ли он заодно с другими управляющими. Бартоли, Дженкинс, Нойбергер, возможно, были посвящены, а возможно, еще меньше самого Рейвенскилффа знали о том, что происходит. Мне, по сути, все равно. Это ваша работа.

— Так это, по вашему пониманию, произошло?

— Да. Рейвенсклифф был слишком умен, чтобы проводить деньги на покушение через собственные банки. Он был гением в искусстве скрывать много большие суммы. Вам полагалось проследить деньги. Господи, даже мне это удалось.

— Интересно. Я полагал, что Ксантос действует по распоряжениям Рейвенсклиффа. Вы уверены, что это не так?

— Едва ли ему понадобилось тратить столько времени на выяснение, что делает Ксантос, если бы он уже знал. И леди Рейвенсклифф никак вчера в Каусе не оказалась бы. Я хочу сказать, почему бы не предоставить покушение профессионалам?

Он задумался.

— В таком случае я, наверное, обязан принести извинения леди Рейвенсклифф. Она, вероятно, очень дурного обо мне мнения. Благодарю вас, мистер Брэдок. Вы многое мне сообщили. Жаль, что я не побеседовал с вами раньше. Вы должны простить меня: я предполагал, что у вас есть какая-то скрытая роль. Несомненно, вы приложили немало труда, чтобы привлечь к себе внимание.

— Я полагал, что действую как можно незаметнее.

— Да? М-м-м... Тут, боюсь, мы расходимся.

Встав, он свернул газету.

— Надеюсь, вы вполне поправитесь и выздоровление будет скорым. Но боюсь, я должен попрощаться. Мне многое предстоит сделать; освобождение леди Рейвенсклифф, разумеется, в самом начале списка.

И он тихонько оставил меня наедине с моими мыслями, которые после всего, что я наговорил, были в некотором смятении. От разочарования и растерянности я так ударял кулаком в матрас, что рана в плече опять открылась и меня пришлось перевязывать медсестрам, которые отругали меня, а потом дали отвратительное на вкус лекарство, от которого я снова впал в дрему.

Когда я проснулся снова, была ночь, и она была рядом. Небо, она была прекрасна! Так хрупка и так мила, когда сидела и глядела в окно, а я мог долго любоваться ею, — единственный раз, когда я поймал ее на том, что она не сознавала, что за ней наблюдают. Я смог увидеть ее такой, какая она есть.

Не было ничего: она просто сидела, ждала, совершенно неподвижная, без какого-либо выражения на лице, без движения. Само совершенство, ни больше ни меньше: произведение искусства, столь изысканное, что захватывало дух. Я никогда не видел женщины такой красоты и за все последующие годы не встречал ни одной, которая пусть отдаленно

сравнилась бы с ней.

А когда я шевельнулся, она повернулась и улыбнулась. Я почувствовал, как во мне разливается счастье только лишь от того, что на меня обращены такие тепло и забота; мне сразу полегчало.

— Как вы себя чувствуете, Мэтью? Я так за вас волновалась. Не могу выразить, как мне жаль.

— Думаю, да, — сказал я с попыткой на улыбку. — Вы же в меня стреляли.

— И так себя из-за этого мучила. Ужасно. Просто ужасно. Но вы все еще с нами... и царь тоже.

— Когда вы узнали, что он мишень?

— Только когда Ян выступил вперед. Он велел мне поехать с ним: мол, дело важное. На ночь мы остановились в меблированных комнатах. Он был необычайно молчалив, в дурном настроении. Но отказывался что-либо говорить. Я пыталась как могла, тогда он стал угрожать. Поэтому у меня не было выбора. Мне пришлось просто оставаться с ним. Я знала: что-то случится, и начала беспокоиться, что бы это могло быть. Только когда он выступил вперед, я поняла, что должна сделать. Одновременно догадались и вы. Мне очень жаль, что я в вас стреляла, но вам с ним было не справиться. Он убил бы царя, даже если бы вы повисли на нем. Я не могла так рисковать.

— Я вполне понимаю, — галантно сказал я. — И что такое ранка от пули в сравнении с войной в Европе.

— А теперь я обязана вам еще и свободой. Мистер Корт передал мне, что вы сказали.

— Да, — ответил я. — Как раз это все еще для меня загадка.

— Почему?

— Обычно я говорю правду, — ровно сказал я. — Лгать я начал, только когда познакомился с вами.

Она нахмурилась в легкой обиде и растерянности — ровно настолько, чтобы на переносице возникла привлекательная морщинка, — а потом опять улыбнулась.

— Понимаете, когда вы в меня стреляли, я смотрел на вас. Я видел выражение ваших глаз. Я действительно думаю, что вы не пытались не попасть в меня.

— Конечно, пыталась, — сказала она чуть капризно. — Я окаменела от ужаса, вот и все. Вы прочли в моих глазах то, чего там не было.

— Это самые прекрасные глаза, какие я только видел. Я часто старался заставить вас посмотреть на меня, лишь бы испытать ту дрожь

возбуждения, какое возникает от вашего взгляда у меня внутри. Когда я закрываю свои глаза, то вижу ваши. Они мне снятся. Я хорошо их знаю.

— Но зачем мне в вас стрелять? Я хочу сказать, взаправду стрелять. Сами понимаете.

— Как часто вы ездите на воды в Баден-Баден?

С мгновение она смотрела растерянно, потом ответила:

— Каждый год. Я езжу осенью. И делаю так уже много лет. Почему вы об этом спрашиваете?

— А мистер Ксантос? Он тоже любитель водных процедур?

— Нет. Уверена, что не любитель.

— Но прошлой осенью вы оба были там.

— Да.

— Странно, что торговец оружием поехал в такое место. Если только не навестить кого-то. Вас, например.

Она подняла бровь. Ее лицо, такое выразительное, становилось холодным.

— И пока вы были там, то оба привлекли внимание мадам Бонинской, известной также как медиум. Пренеприятная личность, которая недурно зарабатывала шантажом. Она умела разглядеть золотую жилу. Она последовала за вами в Англию и постаралась испробовать свое ремесло на вас. Как долго вы платили, прежде чем отказались?

— Что за глупости, Мэтью! Может, сестры что-то подлили вам в чай?

— Может, морфин? — спросил я, довольно ядовито. — Попробуйте. Про такое вам известно больше, чем мне.

Это положило конец ее игре в добродушие, а потому я продолжил:

— Она написала вашему мужу, который пошел с ней повидаться. Тогда она рассказала ему подробности. Что у его любимой жены роман с другим мужчиной. Его собственный служащий его предает, намерен отобрать у него не только компанию, но и жену тоже.

Лорд Рейвенклифф был не из тех, кто сдается без боя. Он уже изменил завещание так, чтобы в случае его смерти все попало в руки душеприказчика. Я почти уверен, что, если бы на следующий день у него состоялась встреча с Ксантосом, Ксантос был бы уволен. А потом он вышвырнул бы и вас. Я слышал достаточно, чтобы понимать, что человек он был дотошный и безжалостный. Когда он брался за дело, то действовал быстро и решительно. И более всего ненавидел нелояльность.

Вы были ему ровней, так сказал мне Ксантос, и был прав. Вы тоже действовали быстро. Одно стремительное движение, и он за окном. Вы обняли его и сказали, как его любите, прежде чем чуть подтолкнуть? Или

был какой-то спектакль с открыванием окна и угрозами выброситься самой, пока он не подошел остановить вас и не совершил ошибку, повернувшись к вам спиной?

А до того вы предложили — какой любящий жест! — выяснить, что замыслил Ксантос. Убедили мужа, что он никому больше не может доверять. И тогда оказались на положении посредницы, передавая распоряжения Ксантоса Яну Строителю. Никакой чепухи про то, что вы занялись этим лишь бы выведать его планы. Царь будет убит, разразится война, а обвинят Рейвенскиффа — но тихо, без огласки. Ксантос заберет себе его компании. Тогда вы выйдете за него замуж...

Она меня ударила, ударила так сильно, что у меня голова закружилась от боли, а из носа хлынула кровь. И когда я говорю «ударила», то имею в виду не изящную пощечину, какую может дать разгневанная особа женского пола. Я хочу сказать, она ударила меня кулаком. И ударив раз, ударила еще — даже сильнее. Потом стояла надо мной, сверкая глазами от холодной ярости и стискивая зубы. Она стояла надо мной, тяжело дыша. Я взаправду думал, что вот-вот умру.

Но она прошла к двери, открыла ее и обернулась на пороге.

— Как вы смеете говорить так со мной? — выдохнула она. — Что вы о себе возомнили?

Я не мог говорить. Я перхал в простыню, которой воспользовался как импровизированной повязкой. Боль была такой сильной, что даже затмила боль от раны. Мне пришлось в голову, что наговорить такого, что сказал я, когда мы в комнате одни, было не самым разумным. По сути, я еще легко отделался. Остальным посчастливилось меньше.

— Вы сделали свои выводы. Я не стану их оспаривать. Я сказала вам, что люблю мужа. Вы от этого отмахнулись. Теперь вы намерены побежать к Генри Карту?

Я затряс головой.

— Почему нет? Почему? Так ведь поступил бы хороший англичанин, да?

— Потому что все вы одинаковы. Ни с кем из вас не хочу иметь дела. С меня хватит.

Я почти ожидал холодного и высокомерного презрения, ледяного пренебрежения. Его не было. Она наградила меня последним взглядом, одним из тех темных, гипнотических взглядов, которыми так хорошо владела, и я едва-едва успел уловить, как быстро она отвернулась, чтобы я не увидел ее лица, — словно чтобы скрыть слезы. Она всегда была хорошей актрисой.

Больше я Элизабет не видел, ни в одном из ее обличий. Как мне сказали, в тот день она покинула Каус и вскоре закрыла дом на Сент-Джеймс-сквер и уехала на Континент, где прожила до конца своих дней. Дела по завещанию Рейвенсклиффа были улажены, и (как он и рассчитывал) к тому времени, когда его корабли были почти готовы, правительство убедили в их необходимости. Он с самого начала был прав: дредноуты были спущены на воду в августе тысяча девятьсот четырнадцатого года и вошли в состав Большого флота в заливе Скапа-Флоу, дабы охранять Северное море от германской угрозы. Уверен, не один я думал, что в поводе к войне чувствовался некий знакомый стиль.

Если так, то ответственность за события в Сараево лежит не на Теодоре Ксантосе. Компании Рейвенсклиффа во время войны процветали, но уже без помощи переговорщика, поскольку его постиг трагический конец: однажды поздним вечером пятницы, через месяц или около того после моего возвращения из Кауса, он упал под колеса поезда подземки на станции Оксфорд-серкус. Как писалось в его некрологе, крайне несчастливое стечение обстоятельств, поскольку это был единственный раз, когда Ксантос вообще спустился в подземку. Другие управляющие продолжили свою работу, поэтому я предположил, что они полностью оправданы.

Когда я достаточно оправился — моя квартирная хозяйка упивалась моим статусом инвалида и месяц кормила меня исключительно крепким говяжьим бульоном с крекерами, — я решил наконец отправиться путешествовать. Банк на Слоун-сквер написал мне почти почтительное письмо, сообщая, что на мой счет поступила сумма две тысячи триста восемьдесят фунтов и что они будут рады (на деле они буквально истекали слюной) узнать мои распоряжения. Так же они обналичили чек от мистера Ксантоса.

Я чувствовал, что заработал каждый пенни, а потому оставил все себе. Несколько лет я путешествовал по миру, осматривая чудеса Империи, о которых читал, но которые и не мечтал увидеть своими глазами. Я написал книгу путевых заметок, которую приняли довольно вежливо, и получил увольнение от военной службы в тысяча девятьсот четырнадцатом на основании моего ранения. На краткое время это ранило мою патриотическую душу, но по мере того, как поступали вести с фронтов, мне было непросто подавить ощущение, что огнестрельная рана от рук леди Рейвенсклифф была в сущности самой большой удачей, какая мне только выпадала. Потом я вернулся к работе журналиста, освещал

кампании в Африке, а после на Ближнем Востоке. Позднее, после женитьбы и рождения моего первого сына и поскольку у меня был достаточно приятный голос, я стал пионером радионовостей, эта работа принесла мне толику славы и стала причиной, почему ко мне обратились на ее похоронах почти полвека спустя.

Такова моя история; даже тогда, в то мгновение, когда я в последний раз смотрел на эту пленительную женщину, я знал, что понял лишь часть произошедшего. Но пересматривать те события мне не хотелось. Люди вроде Корта и Рейвенклиффов отняли у меня достаточно сил и едва меня не убили, хотя я был не настолько глуп, чтобы забыть, что встреча с ними преобразила мою жизнь — и к лучшему. После я был свободным человеком, мои горизонты расширились, мои устремления изменились. Но чем больше я путешествовал, тем больше мог забыть о них о всех. И на много лет преуспел, пока ко мне не обратились на похоронах и пока большая, тщательно упакованная в оберточную бумагу посылка с обратным адресом «„Тендерсон, Лэнсбери, Фентон“, 58, Стрэнд» не была доставлена к моей двери.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Вудсайд-коттедж Уик-Риссингтон Глочестершир Июнь, 1943

Дорогой Брэддок, вы, возможно, удивитесь, получив эту посылку, — если когда-нибудь ее получите. Прошу извинить меня за мелодраму, но, пробыв хранителем этих документов много лет, я теперь должен решить, что с ними делать. Врачи сообщают, что сейчас это вопрос настоятельный. Я думал, что лучшим выходом будет костер, но не смог заставить себя совершить такое жертвоприношение. А потому перекладываю ответственность на вас.

Я умираю, в то время как наша общая знакомая, насколько мне известно, в добром здравии и обрела счастье на склоне лет. Я нисколько не желаю его нарушать, и не только потому, что прилежно продолжаю исполнять инструкции Джона Стоуна. Соответственно, я отдал распоряжение моему солиситеру мистеру Гендерсону (которого вы, возможно, помните) не передавать вам документы до тех пор, пока она тоже не умрет. Я оставил на его усмотрение, что делать, если она переживет и вас тоже, — на что она вполне способна: как вы помните, она женщина нестигаемая.

В посылке две связки: одна — история моей молодости (вы были бы поражены, узнай вы, сколько среди шпионов *authors manque*,^[4] в которой она до некоторой степени фигурирует. Я записал ее в тысяча девятисотом, когда вернулся в Англию с Континента, и так и не смог заставить себя исправить написанное в свете более поздней информации.

Другая содержит бумаги Джона Стоуна, которые вы так ревностно искали, будучи на жалованье у его жены. Прошу прощения, что не просветил вас относительно их, но, надеюсь, вы вполне поймете мои резоны, их прочитав. Моя история прольет свет на женщину, которую я всегда считал самой примечательной из всех, каких я только встречал. Надеюсь, прочитанное хотя бы отчасти изменит ваше мнение о ней, которое, как я с огорчением узнал, было в конечном итоге весьма неблагоприятным. Я готов смириться, если по прочтении ваше мнение обо мне ухудшится еще более; не стану делать вид, будто эта история выставляет меня иначе, нежели в неприглядном свете.

Ваш отчет о событиях, в которых вы приняли участие, был безупречен за вычетом того, что вы не сумели понять, какая глубокая любовь связывала Джона Стоуна и его жену, однако одна эта малость меняет все. Боюсь, ваши тогдашние предрассудки не позволили вам отнестись к ней с достаточной серьезностью.

Я с большим интересом следил за вашей карьерой в последние годы и получал немалое удовольствие, слушая ваши сообщения по радио. Единственно уверенность, что вы не слишком обрадуетесь, получив от меня известие, помешала мне возобновить наше краткое знакомство.

Со всей искренностью,

Генри Корт.

Париж, 1890 г.

Глава 1

Мой отец — самый мягкий из людей, но всегда был подвержен вспышкам безумия, лишившим его способности работать. Он происходил из небогатой семьи и воспитывался у тети и дяди, но впоследствии унаследовал достаточно, чтобы обеспечить скромную жизнь. Он обучался на архитектора, предполагалось, что он унаследует фирму моего двоюродного деда, но болезнь помешала ему продолжительно заниматься каким-либо проектом. Он тихо жил в Дорсете, где временами брался за расширение какого-нибудь дома или надзирал за перекрытием церковной крыши. Большую часть времени он читал или работал в саду. Поскольку я привык к его долгим молчаниям и внезапным отказам отвечать на вопросы, то не видел ничего необычного в поведении, которое остальным казалось определенно странным.

Моя мать умерла, когда я был очень юн, и помимо этого я мало что про нее узнал. Только то, что она была красива и что мой отец любил ее. Думаю, ее смерть разбила ему сердце; несомненно, что он заболел приблизительно в то время. Он частично оправился, но течение моего детства прерывали внезапные периоды исчезновения, вызванные (как мне говорили) тем, что отца отзывают для «работы над проектом». Только позднее я узнал, что это время он проводил в особой больнице, где его терпеливо и медленно возвращали к здоровью.

Родительский дом я покинул в восемь лет, чтобы отправиться в школу, и, по сути, больше туда не возвращался. Мой лучший друг (в школе он был несчастлив, как я) приглашал меня на каникулы к себе, именно у него я осознал, какой тягостной — по контрасту — была жизнь в моем собственном доме. У него был отец, веселый и скорый на шутку, и мать, ставшая моей первой любовью: заботливая, изящная и целиком посвятившая себя семье. В зимние месяцы они жили в большом особняке в Холленд-парк, а в летние — в изящном неоклассическом доме у границы с Шотландией. Они стали моей семьей, так как миссис Кэмпбелл практически похитила меня, сказав отцу, что будет совершенно счастлива, если я останусь у них на неопределенный срок. Отец счел, что для меня так будет лучше, и меня уступил. Он был хорошим человеком, но обязанности отцовства были непосильны для его хрупкой конституции. Я навещал его каждое лето, но с каждым разом он был все более рассеян и со временем, думаю, вообще перестал меня узнавать; ясно было, что ему нет дела, приезжал я или нет.

Деньги — не из тех материй, которые заботят совсем юных: что больничные счета отца оплачивались, что плата за мое обучение вносилась, не пробуждало любопытства в моем ребяческом уме. Мне не приходило в голову задуматься, как это получалось. Я полагал, что Кэмпбеллы взяли на себя и эту обязанность тоже. И тем больше их за это любил, и искренне думаю, что ни один мальчик не был более предан своим настоящим родителям, чем я этим очаровательным людям.

Тем не менее я дурно им отплачивал и вечно попадал в затруднения. Я был плохо дисциплинирован, вечно дрался, пускался в эскапады, которые были часто опасными и временами противозаконными. Ночью я вламывался в кабинет директора просто из удовольствия, что сумею улизнуть непойманным; уходил из дортуара, чтобы тайком бродить по местному городку; портил одежду и имущество старших мальчиков, которые донимали моих друзей. Мои успехи в учебе колебались от посредственных до неудовлетворительных, и хотя меня считали умным, было очевидно, что мне не хватает усердия, чтобы стать серьезным учеником.

Мальчик малых лет неизбежно — преступник неудачливый: способность оценивать шансы в эти годы еще недостаточно развита. Меня наконец изловили в квартире старшего воспитателя (не моего воспитателя, который был человеком вполне порядочным, а того, которого повсеместно не любили) за очевидной попыткой разграбить его скромный винный погреб. На самом деле ничего я не грабил, потому что никогда не любил спиртное. Я был занят тем, что подливал в бутылки уксус при помощи шприца собственного изобретения, что, как я полагал, позволит ввести отраву, не потревожив пробку. Такое наказание я определил ему за безжалостную порку, которой он подверг одного мальчика в моем дортуаре, несколько застенчивого, напуганного парнишку, который привлекал к себе обидчиков так же естественно, как голова лошади мух. Я не мог его защитить — и несправедливость воспитателя чувствовал сильнее, чем страдания мальчика, — но сделал все возможное, чтобы его мученья не остались без какого-нибудь ответа.

Меня должны были бы исключить, разумеется, проступок это более чем оправдывал, особенно из-за подозрения, что его раскрытие послужило также разгадкой тайны, кто запер двери часовни и спрятал ключ, тем самым поставив под угрозу спасение душ трех сотен учеников, пока его не нашли четыре дня спустя; кто проколол все мячи для регби в ночь перед турниром с пятью другими школами и кто совершил ряд прочих преступлений против общего благополучия. Я ни в чем не признавался, но

с каких это пор директора школ строго придерживаются юридической процедуры?

Однако отделался я легко. Основательная порка, домашний арест на семестр, и более ничего. Несколько синяков и шишек в дополнение к следу от ожога на руке, который я приобрел, когда младенцем опрометчиво сунул ее в огонь. Вот и все. Я не понял, что произошло, и поскольку Кэмпбеллы никогда о случившемся не упоминали, я молчал тоже. Но кто-то обо мне пекся.

Внезапная смерть Уильяма Кэмпбелла, когда мне было шестнадцать, стала одним из самых больших для меня потрясений, и атмосфера отчаяния и уныния в доме сказывалась на всех. Нас — я имею в виду себя и моего названного брата Фредди — держали в полном неведении; это наши школьные товарищи (как добры бывают мальчики) рассказали, что он вышиб себе мозги, потому что не мог снести позора разорения. Когда мы им не поверили, они с большой предупредительностью снабдили нас подробностями.

И это было правдой: мистер Кэмпбелл оказался замешен в Дунберийском скандале, и его состояние пошло прахом. Это, однако, было не самое худшее; перешептывались, что он был замешан в мошенничестве с целью лишить крупных сумм остальных вкладчиков. Точные обстоятельства так и не стали мне вполне ясны, историю замалчивали (он и остальные виновники принадлежали в то время к правящей партии), и в любом случае я был слишком юн, чтобы понять. Молодые люди моего склада склонны не вдаваться в детали и свою лояльность отдавать, невзирая на любые свидетельства. Я запомнил его как самого доброго человека на свете. Ничто больше для меня не имело значения.

Однако было ясно, что мои школьные дни подходят к концу. Миссис Кэмпбелл заверила меня в наличии средств на дальнейшую оплату моего обучения, но я чувствовал, что не могу больше злоупотреблять ее добротой. Мне нужно самому пробивать себе дорогу в мире, и потому я начал обдумывать, как к этому подступиться. Мне не было отказано в помощи. Одна эксцентричность англичан — в том, что они скоры — зачастую чрезмерно — осуждать в теории, но возмещают это личной добротой. Фамилия Кэмпбелла практически больше не упоминалась, он словно бы перестал существовать для своих друзей и политических соратников. Однако тем, чьи жизни он разрушил, предлагались неумное сочувствие и тактичная помощь.

Сама миссис Кэмпбелл отказывалась принять какую-либо поддержку; она оставалась столь же верна памяти мужа, сколь любила его, пока он был

жив. Она отклоняла любые предложения помощи, основанные на мнении, что и она тоже была жертвой своего мужа, и падение приняла с гордостью и вызовом. Она сменила особняк на более скромное жилище в Бейсуотере, где держала дом не с двадцатью, а всего с двумя слугами и до конца своих дней вела исполненное достоинства, хотя и стесненное существование. Полагаю, ей по меньшей мере один раз предлагали руку и сердце, но она отказалась, не желая оставлять фамилию, которую дал ей муж. Это, по ее словам, стало бы последним предательством.

Я настаивал, что Фредди следует окончить школу и учиться в университете; он был колоссально талантлив и, что важнее, предан учебе. Мои аргументы возобладали, он отказался от благородных фантазий работать, чтобы содержать семью, и со временем поступил в оксфордский Баллиол-колледж, чтобы изучать философию и древние языки, позднее сдать экзамен на степень бакалавра и в конечном итоге стать членом совета Тринити-колледжа, проведя свою жизнь в академическом довольстве и редко выбираясь за пределы узкого пяточка, замыкаемого Хай-стрит на юге и Крик-роуд на севере. Со временем мать переселилась к нему и умерла в прошлом году; с годами она производила все более странное впечатление, когда бесцельно семенила по улицам во вдовьем твиде двадцатилетней давности.

Что касается меня, то я отказался от перспективы сходной траектории лишь с символической неохотой: я никогда не был ни так умен, как Фредди, ни так дисциплинирован, хотя моя любовь к чтению не уступала его, а мои способности к языкам даже превосходили его. Но частица меня всегда тосковала по чему-то большему, хотя я никогда не мог решить, что же это было. Несколько месяцев я работал в конторе архитектора, но нашел ее чуждой мне по духу, хотя рисование доставляло мне удовольствие и до сих пор доставляет. Затем я поступил на службу в один крупный финансовый дом Сити, но обнаружил, что, хотя стратегия крупных финансовых операций не лишена интереса, повседневный унылый подсчет денег приводил меня в отчаяние. Из меня вышел бы отличный Баринг, но бытность одним из клерков семейства меня измучила.

Тем не менее я проработал там несколько лет и многое из того почерпнул: я провел целый год в Париже, много времени в Берлине и даже однажды два месяца в Нью-Йорке. И ни на одном из поприщ мне не приходило в голову, что меня примечательно выделяют для молодого человека без связей, не зарекомендовавшего себя способностями и с минимумом опыта. Я сознавал, что большинство людей моего разбора проводят по шесть дней на неделе в безотрадной конторе с восьми утра до

семи вечера, но полагал, что мне просто повезло, раз я не один из них. Я был представлен на одно место, хорошо себя зарекомендовал и был представлен на другое. И так далее. Предположение, что тут сказывается какой-то иной фактор, в моих мыслях не возникало.

Но в июле тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года я получил письмо от некоего мистера Генри Уилкинсона. Это случилось вскоре после моего двадцать четвертого дня рождения. Поистине важная персона, заместитель помощника министра иностранных дел — пост, который он занимал двадцать с чем-то лет. Он был не слишком известен за пределами крошечного мирка дипломатии, и его фамилия ничего мне не сказала, но я знал, что приглашение на ленч нельзя игнорировать. И когда я попросил у своего начальства разрешения отлучиться, дано оно было крайне быстро. Никто как будто не интересовался, в чем тут дело. Что, по сути, неудивительно, оно и так уже прекрасно знало.

В следующую среду я отправился в ресторан «Атенеум» и там познакомился человеком, который будет моим работодателем до самой смерти на своем посту полгода назад. Бытует представление, что государственные служащие — люди холеные и благовоспитанные, обходительные в манерах и склонные ядовито бормотать, не позволяя себе вольность обычной речи, как большинство народонаселения. Такие люди существуют, но в те дни на дипломатической службе еще находилось место для эксцентриков и чудаков и — по крайней мере в случае двух людей из тех, с кем я сталкивался, — клинически помешанных.

Генри Уилкинсон не походил на высокопоставленного государственного служащего. Для начала, одет он был в твидовый пиджак, что нарушало все правила хорошего тона, с точки зрения его класса, его места службы и его клуба, который бы отказал в доступе большинству своих членов, посмей они совершить подобное святотатство. Он был предрасположен к хмыканью и громким восклицаниям. Его эмоции, далекие от тщательного контроля и дисциплины, выплескивались на всю комнату, а его реплики перемежались громким смехом, стонами, побряхтываньем и вздохами. Он непрестанно егозил, настолько, что я даже начал страшиться ленча в его обществе, ведь, пока он слушал, его руки вечно хватали солонку и ударяли ею о стол или вертели вилку. Или он клал ногу на ногу, ставил ее на пол, потом клал снова, откидывался на спинку стула и, говоря, подавался вперед. Он никогда не сидел спокойно, никогда не расслаблялся, даже если получал явное удовольствие. Еще он практически ничего не ел: ленч заключался в гонянии кусочка мяса по тарелке несколько минут перед тем, как с величайшей неохотой он

соглашался положить в рот кусочек моркови или крошку картофелины. Потом, несколько мгновений спустя, он отодвигал тарелку, словно говоря: «Хвала небу, все позади!»

Он был жилистым, с худым лисьим личиком, которое спасала лишь очаровательнейшая улыбка. А еще у него была докучная привычка почти никогда не смотреть прямо на собеседника — последнее он приберегал для особых случаев, но когда все-таки смотрел, то казалось, его взгляд буравит тебя насквозь, так что сквозь твою голову он может сосчитать точки на обоях. Во время нашего ленча ему то и дело кланялись тактично важные персоны, но он ото всех отмахивался, даже не взглянув в их сторону.

Это был не столько ленч, сколько устный экзамен. Мои вопросы не приветствовались, а когда я их задавал, игнорировались. Каково мое мнение о месте Британии в мире? Кто наши величайшие враги? Кто наши соперники? Каковы их сильные и слабые стороны? Как наилучшим образом употребить нам на пользу их рознь? Как благосостояние нашей промышленности соотносится с долговечностью Империи? Какие отношения с Континентом Британии надлежит поддерживать? Считаю ли я, что нам следует и впредь укреплять позиции Османской империи или лучше поспособствовать ее падению? Каково мое мнение о стабильной конвертируемости бумажных денег в золото? А по вопросу биметализма? А относительно эффективности действий Английского банка в недавнем кризисе на американском рынке? Относительно использования финансовой мощи как уместного инструмента дипломатии?

Уверен, на большинство этих вопросов я ответил плохо. Я не был дипломатом, читающим секретные донесения послов со всех точек земного шара: большинство моих познаний можно было почерпнуть из утренней «Таймс». Возможно, я чуть лучше был информирован в финансовых делах, но под долгим обстрелом вопросами, ответы на которые не производили на мистера Уилкинса какого-либо видимого впечатления, я начал падать духом, что, без сомнения, сделало мои ответы еще неудовлетворительнее.

— Если бы правительство попросило вас совершить преступление, мистер Корт. Вы бы его совершили или нет? Какие факторы определили бы ваш ответ?

Это прозвучало как гром с ясного неба после вопроса, считаю ли я дивиденды по акциям Североамериканской железной дороги обеспеченными (этот был легкий: конечно, нет), и застало меня врасплох настолько, что я едва знал, что ответить.

— Это зависело бы от моей позиции в отношении правительства, — сказал я, помолчав. — Полагаю, солдат, вторгающийся в чужую страну,

совершает преступление, но не считается виновным лично. Частное лицо, не имеющее официального статуса, может очутиться в менее выгодном положении.

— Предположите, что вы частное лицо.

— Тогда это зависит от того, кто меня просит. Полагаю, это преступление во благо страны. Тогда мне понадобилась бы глубочайшая вера в суждения человека, обратившегося ко мне с подобной просьбой. Почему вы задаете такой вопрос?

На той стадии это была уже моя вторая попытка выяснить причину нашей встречи. От нее отмахнулись, как и от первой.

— Ваш долг по отношению к стране сводится к личному? — спросил он, поднимая бровь, как мне показалось, пренебрежительно.

К тому времени я начал немного раздражаться, выдержав бесконечные вопросы более часа, так что моя тарелка оставалась почти столь же нетронутой, как и его; я считал, что был удивительно терпелив.

— Да, — отрезал я. — Мы не о стране говорим. Мы говорим о ее представителях, лишь некоторые из которых наделены властью или способностью решать, что является благом нации. А также я говорю как подданный ее величества королевы, который имеет право на собственное мнение в подобных вопросах. Кроме того, я не подозревал, что наше правительство совершает преступления.

Я смотрел на него сердито, он же мило улыбался, словно я только что сказал, какая хорошенькая у него дочка. (Я однажды познакомился с его семьей, сколько-то лет спустя. Его дочь, чуть старше меня, была самой устрашающей женщиной, с какой я когда-либо сталкивался: ум отца, помноженный на поразительную силу характера матери. Однако она была не слишком хорошенькой.)

— Батюшки! — улыбнулся он. — Ушам своим не верю! Разумеется, совершает. Но конечно, в том случае, если их нельзя избежать. Давайте приведу вам пример. Предположим, мы узнаем, что Франция, наш величайший, цивилизованный, но решительно докучливый сосед, разработала планы вторжения. Предположим, нам известно, как заполучить эти планы. Следует ли нам это сделать?

— Конечно. Это вопрос войны.

— Нет, — ответил он и осуждающе погрозил пальцем. — Никакая война не объявлялась. Мы бы совершили откровенную кражу у страны, которая не причинила нам вреда и правительство которой в настоящий момент вопреки расхожему мнению настроено к нам почти сердечно.

— Его сердечность может обернуться всего лишь уловкой. Законность

попытка узнать, желает ли тебе кто-то зла, очевидна. Разумеется, украсть эту информацию позволительно.

— А если кто-то попытается помешать этой краже? Охранник или солдат? Даже гражданское лицо? Какие меры следует принять против них?

— Любые, какие потребуются.

— Включая убийство?

— Очень надеюсь, что этого можно будет избежать. Но если это единственный способ добыть сведения, способные спасти тысячи жизней, то да.

— Понимаю. Тогда перевернем вопрос. Предположим, француз приезжает в нашу страну, чтобы украсть наши планы вторжения во Францию. Какие меры следует принять против него, если его местонахождение и намерения станут известны?

— Мы планируем вторгнуться во Францию? — спросил я изумленно. И вновь моя реакция его позабавила.

— Следовало бы, — сказал он со смешком. — Задача армии — готовиться к таким вероятностям. Однако я очень сомневаюсь, что подобный план существует. У наших генералов давняя традиция быть удручающе неготовыми, и вообще они как будто считают, что стрелять по людям, вооруженным лишь копьями, и так достаточно сложно. Тем не менее такие планы следовало бы составлять, так как очевидно, что рано или поздно в Европе будет новая война, и мы не знаем, сможем ли остаться в стороне и наблюдать. Не важно. Предположите, если сумеете, что генералы дальновиднее и лучше подготовлены, чем есть на самом деле. Как реагировать на присутствие этого француза на нашей земле?

— Остановить его.

— Как?

— Любыми необходимыми средствами.

— Но он лишь пытается сделать то, что вы только что объявили законным.

— Я действую, чтобы спасти жизни моих соотечественников. И в данном случае поступил бы так же.

— Жизни англичан ценнее жизней французов?

— Возможно, не в глазах Всевышнего, но у меня нет обязательств поддерживать благосостояние французов — в отличие от жителей этого острова.

— Итак, вы совершили уже два убийства. А ведь вы кровожадный малый, верно, мистер Корт?

— Ни в коей мере, — сказал я. — Моя специальность —

синдицирование международных займов.

— Верно, верно. И по роду деятельности вы много путешествуете. Франция, Германия, даже Италия. Полагаю, вы также владеете языками этих стран.

— Да.

Он улыбнулся.

— Я бы хотел, чтобы вы сделали мне небольшое одолжение, — сказал он, вдруг меняя тему. — Я был бы очень благодарен, если бы вы забрали для меня посылку, когда на следующей неделе будете в Париже. И привезли ее сюда. Вы мне окажете такую услугу?

— Планы вторжения в Англию? — спросил я.

— Силы небесные, конечно, нет! Они у нас уже есть, и, надо сказать, они вполне здравые. Нет, это нечто совершенно иное. Большой секретности или важности посылка не имеет, просто рутинная корреспонденция, и все. Мне лишь хочется, чтобы она попала сюда быстро. Я планировал просить об этом другого, но, увы, с ним произошел небольшой несчастный случай, и он не может меня выручить.

— Был бы счастлив, — сказал я. — Вот только я не еду в Париж на следующей неделе. Думаю, у моего начальства нет решительно никаких планов меня куда-либо посылать.

Он мило улыбнулся.

— Вы были так добры, что пришли, — сказал он. — Наш разговор доставил мне большое удовольствие.

Я не мог взять в толк, как понимать эту странную встречу, и мне не терпелось обсудить ее с моим начальником, мистером Гектором Сэмсоном из синдикации. Но он хотя обычно бывал очень строг в вопросах пунктуальности, ни разу не заговорил о моем многочасовом отсутствии, а когда я сам о нем упомянул, сменил тему так быстро, что я понял: он даже не желает знать. Единственным указанием на то, что моему начальству известно о встрече, стало письмо, положенное мне на стол под конец рабочего дня. Мне предписывалось в ближайший понедельник отправиться в Париж, чтобы проследить за окончательной доработкой документов по выпуску займа для американской железнодорожной компании, той самой с ненадежными дивидендами, хотя, разумеется, о подобных опасениях остальным участникам сделки сообщать не полагалось. Это была их проблема; «Барингсу» же нужно было только как можно скорее избавиться от ее акций. Так или иначе транзакция была не крупной и уже завершенной, центром ее должен был стать Лондон с лишь небольшим участием одного парижского банка. Подобными делами могли — и регулярно занимались

— собственные корреспонденты «Барингса» во Франции, а «Барингс» славился прижимистостью, когда речь шла о таких роскошествах, как отправка служащих в поездки. Даже я мог сообразить, что произошло.

Недавно на обратном пути из Калькутты я большую часть времени провел за чтением шпионских романов, которые так популярны сегодня и которые немало меня позабавили. Иногда я спрашиваю себя, неужели те, кто подозревает об истинной моей деятельности, думает, что я живу равно увлекательной жизнью. Счастлив сказать, что нет. Погони по пустыням и чудеса храбрости в стычках со зловещими иностранцами и тайными обществами прекрасно развлекают, но я не знаю ни одного разумного человека, который так вел бы дела. Разумеется, все правительства могут прибегнуть к услугам людей, которые в определенных обстоятельствах действуют мышцами более умело, нежели головой, но прощупывание намерений и потенциала противника в целом ведется на более цивилизованный манер. Обычно это так же опасно и так же будоражит нервы, как напряженный день на Балтийской бирже.

То есть за вычетом моей первой вылазки в эту сферу, которая едва не привела к тому, что я решил вообще никаких дел с Генри Уилкинсоном не иметь. Провалилась эта Империя, было мое мнение, если она зависит от такого.

Случилось все так. Следуя распоряжениям начальства, я сел на поезд в Дувре, пересек Ламанш на пароходе до Кале и прибыл на вокзал Гар-дю-Нор в шесть вечера. Оттуда я поехал в гостиницу на рю Нотр-Дам-де-Виктуар. Гостиница оказалась далеко не роскошная, семейство Барингов слишком уж осторожничало с деньгами, чтобы позволить роскошь; именно поэтому многие стремились работать у Ротшильдов, которые выше ценили комфорт своих служащих. Но там имелся водопровод, было чисто, и находилась она на небольшом расстоянии от Парижской фондовой биржи; я останавливался и во много худших. Мои дела как таковые могли быть улажены за полчаса следующего утра, а потому вечером я мог располагать по своему усмотрению. Или откликнуться на записку, которую подсунули мне под дверь через десять минут после моего прибытия. Там значились адрес и время. Ничего больше. 15, рю Пуллетье. Девять часов.

Так вот, герой шпионского романа сумел бы разузнать, где находится указанный адрес, и попасть по нему с легкостью, не стоящей даже упоминания. Мне же понадобилось сорок пять минут, чтобы обзавестись картой, где данный адрес хотя бы значился (в приключенческих романах магазины никогда не закрываются; увы, в реальности их двери запирают ровно в половине восьмого), и еще час, чтобы добраться на место.

Возможно, имелся трамвай, который меня бы туда отвез, но я его так и не обнаружил. Шел дождь, мелкая, неумная, гнетущая морось, и все фиакры расхватали. У меня не было зонта, я пришел пешком (в отсыревшей шляпе и пальто, похожем на промокательную бумагу) в район Парижа, куда раньше не заглядывал даже в дневные часы.

Это был остров Сен-Луи, наводненное паразитами и крысами логово преступности и подстрекательства, лежавшее в самом сердце города. Когда-то он был преуспевающим и модным, но те дни давно миновали. Каждое здание осыпалось от небрежения, фонарей на улицах не было (и, как предположил я, внедрение современной канализации также не слишком продвинулось), и тут царил смертельная тишина. С заката до рассвета парижская полиция на остров не заглядывает; в темноте он превращается в независимую страну, не признающую никаких властей, и любой, кто туда отправляется, должен в полной мере брать на себя ответственность за собственную участь. Большинство революционеров, многие анархисты и преступники, чьи подвиги украшают страницы невзыскательных газет, в качестве адреса указывают остров Сен-Луи; они населяют роскошные особняки, в которых когда-то звучал смех аристократов и которые теперь поделены на десятки жалких комнатенок, сдаваемых на месяц, день или час. Это пристанище головорезов и тех, кто скрывается от закона, идеально подходящее людям, которым нужно или хочется отчаяться. Искомый адрес лежал в самом его сердце — за мечеными оспой женщинами, стоявшими в переулках, за узколицыми мужчинами, которые провожают тебя подозрительными взглядами, за длинными тенями и внезапными шумами чего-то, что движется у тебя за спиной; за тихим смехом, который едва слышишь из подворотен.

Это место нагоняло ужас. Никогда в жизни я не испытывал такого страха, и если это вас разочаровало, то извините, что еще более развенчаю ваши иллюзии относительно какого бы то ни было героизма. Я в банковский дом не для того поступил, чтобы мне разmozжили голову в вонючем парижском переулке. Я проклинал себя и отвратительного государственного служащего, что сюда попал. Я мог бы развернуться и уйти, ведь до берегов Сены было не более ста ярдов, а там хотя бы будут фонари. До моста Иль-де-ля-Сите было несколько минут ходу. Даже меньше, если бежать в полнейшей панике, напрочь позабыв про достоинство. Я этот путь не выбрал. Нет, я останавливался у каждого лучика света из открытого окна, чтобы, смахивая с лица капли, справиться с картой, и так медленно подвигался вперед, все более приближаясь к месту назначения, гоня из головы мысли о том, что вообще найду, его достигнув.

Упрямство всегда во мне сидело — иногда оно бывает недостатком.

Я не мог решить, исполнен ли я мужской решимости либо ребяческой глупости. Я все шел, пока не оказался у двери слева, упомянутой в сжатых инструкциях. Я осторожно ее толкнул. Она была не заперта. Петли разъела ржавчина, и на месте она держалась лишь под собственным весом и была прислонена к косяку. Стучать в данных обстоятельствах мне показалось слегка нелепым, поэтому, навалившись плечом, я приподнял ее и подвинул, так что образовалась щель, в которую я смог проскользнуть.

В коридоре внутри было совершенно темно, пахло сыростью и запустением. Я подождал, давая глазам привыкнуть, но темнота была такой полной, что и это ничего мне не дало. В отличие от хорошо экипированных агентов из романов спичек у меня при себе не было. Тишину не нарушало ни звука, кроме шороха дождя снаружи и бульканья бежавшей по улице воды. Больше всего я сознавал, что ноги у меня промокли и холодны как лед. Поскольку стоять, испытывая холод и страх, ничем бы мне не помогло, я осторожно двинулся вперед, как слепец, выставив перед собой руки, и наткнулся сперва на одну стену, потом на другую. Затем, поворачиваясь, я задел что-то локтем и догадался, что это перила. Тут лестница! Осторожно я поставил ногу на первую ступеньку, думая, что поднимусь тихо. Без толку: когда на нее опустился мой вес, доска скрипнула с шумом выстрела из пушки, поэтому я оставил всякие мысли о скрытности и сосредоточился на том, чтобы не упасть, ступеньку за ступенькой нащупывая дорогу наверх, пока не поднялся на площадку. Тут лестница закончилась, и тут же слева я нащупал дверь. Если предположить, что я на нужной улице и в нужном здании (в чем у меня не было ни малейшей уверенности), я, наверное, прибыл на место. Я осторожно прислушался, но ничего не услышал. Тогда я постучал, сперва тихонько, но после с раздражением и усталостью забарабанил в дверь, что было мочи.

После первого стука я услышал низкий стон, после второго — шум, словно кто-то упал с кровати, потом бормотание. Затем звуки, словно кто-то тошнит, потом — словно кто-то мочится в эмалированный горшок. Дверь открылась — сперва на щелку, потом шире. Поднялась повыше масляная лампа, чей резкий свет не давал мне увидеть, кто ее держит.

— Ну, такходи, — услышал я.

Хриплый голос так жевал французские слова, что я едва их разобрал.

И так я вошел.

Никогда раньше я не бывал в комнатенке такой грязной или такой вонючей, и первым моим побуждением было развернуться и сбежать. Ее

хозяин прочел это по моему лицу, но не обиделся, а нашел настолько смешным, насколько способен человек, у которого жуткое похмелье. По крайней мере он был одет (до некоторой степени), хотя и небрит и, как я догадался, не брился уже несколько дней, поскольку седая щетина у него на подбородке (ему было за пятьдесят) поблескивала в лучиках тусклого света от дымящей лапы, которую он поставил на колченогий стол.

Он был невысоким, широкоплечим и кряжистым, сгорбленным, но с живым, острым взглядом, который ни на чем не задерживался подолгу. Лицо с глубокими морщинами, с тонким шрамом вдоль левой щеки, в остальном же изрытое следами выпивки и тяжелой жизни. Но, невзирая на окружение и вульгарную неотесанность, вид у него был целеустремленный, почти уверенный. Все это отпечаталось в моем мозгу за несколько секунд, и должен сказать, что осознал это лишь много позднее. В тот конкретный момент я заметил лишь запах и грязь.

— Я пришел от мистера Уилкинсона за посылкой, — сказал я.

— Ты новый мальчишка, да? — спросил он с тяжелым вздохом глубокого разочарования. Изучив меня острым взглядом, он перешел на английский. Я заметил в его речи слабый иностранный акцент. Безусловно, не французский, но его родной язык так затерся от времени и неупотребления, что трудно было определить, каков он был. — У тебя для меня что-нибудь есть?

— Нет.

— Никакой записки, никакого еще письма?

— Нет. Зачем?

— Затем. Как иначе мне проверить, что ты правда от мистера Уилкинсона? Может, ты работаешь на французское правительство, а для нас это совсем нехорошо.

Произнес он это негромко, что само по себе таило серьезную угрозу.

— Никаких доказательств у меня нет, — ответил я. — И сомневаюсь, что представил бы их вам, даже если имел бы.

— Как тебя зовут?

— Корт, — ответил я. — Генри Корт.

— Странная фамилия. Не очень-то английская. Голландская? Фламандская?

Тут я слегка ощетинился.

— Уверяю вас, я стопроцентный англичанин, — сказал я чопорно. — Семья моего отца прибыла в Англию из Нидерландов, спасаясь от гонений, но это было почти два столетия назад.

— Твой отец еще жив?

— Да, хотя страдает от постоянного нездоровья. Моя мать умерла.

При этих моих словах он, как мне показалось, встрепнулся, хотя ничего особенного в его интересе как будто не было.

— И чем занимается твой отец?

— Он архитектор, когда здоровье позволяет. Но по большей части слишком слаб, чтобы работать.

— Понимаю. И ты родился в...

— Тысяча восемьсот шестьдесят третьем...

Откинувшись на спинку стула, он уставился в потолок, размышляя над этими сведениями. Потом подался вперед, схватил меня за левую руку и оттянул рукав пиджака. Фыркнул, ударил себя ладонями по коленям и поднял взгляд.

— Прошу прощения за допрос, хотя и не за сомнения. Если не станешь таким же подозрительным, как я, долго в этой игре не протянешь.

— Я не намерен играть ни в какие игры, — ответил я. — А еще не понимаю, как то, что я только что сказал, могло убедить вас в моей честности.

Этой вспышке он почти улыбнулся.

— Позволь мне хранить мои секреты. Но мистер Уилкинсон знает, что делает. Он не послал удостоверений твоей личности, потому что твое существование само по себе удостоверение. — Он встал. — Не гляди так озадаченно. Значения это не имеет. Ты уже делал такое раньше?

Я ни слова не понимал из того, что он говорил. Я знал только, что даже опасности одинокой прогулки по острову Сен-Луи были предпочтительнее, чем оставаться в этой грязной комнатенке хотя бы еще минуту.

— Насколько я понимаю, мне полагается забрать какое-то письмо. Если это так, пожалуйста, отдайте мне его, и я уйду.

Фыркнув, словно я сболтнул самую большую глупость на свете, он сунул руку под матрас своей кровати. И тут я заметил, что из-под серой подушки выглядывает рукоять пистолета.

— Ага, вот оно, — сказал он. — Забирай и уходи. Доставь мистеру Уилкинсону как можно скорее. Не останавливайся, не выпускай его из рук ни на секунду.

Он протянул письмо, и я на него посмотрел.

— Но это же не для него, — запротестовал я. — Оно адресовано какому-то мистеру Роббинсу. Я никого такого не знаю.

Он поднял глаза к потолку, словно призывая Бога разразить его на месте.

— Да, — сказал он с нажимом. — Как странно. Однако, по счастью,

твоя работа не думать, а шевелить ногами в нужном направлении, пока не выполнишь задание. И если я говорю, что его следует передать мистеру Уилкинсону, к мистеру Уилкинсону оно и должно попасть. Понял? А теперь уходи.

Он повернулся и с тяжелым вздохом лег на кровать. Беседа была окончена.

Я посмотрел на него со всем высокомерием, на какое был способен, повернулся и ушел. Мое достоинство было уязвлено стычкой не менее моего обоняния. Я решительно спустился вниз, радуясь только, что снова выйду на свежий воздух, мысли мои были заняты колкими ответами, которые поставили бы этого ужасного человека на место и напомнили ему, что он имеет дело с джентльменом. Не с каким-то там слугой, что было его собственным (как я — безуспешно — старался себя убедить) положением.

Я шел к реке и безопасности, двигался быстрее обычного, ведь чем скорее я выберусь с этого вонючего острова, тем счастливее стану. Раздражение вытеснило у меня из головы всякие мысли об опасности, и с каждым моим шагом настроение у меня прояснялось.

Помимо сильного удара по голове и ощущения, что я валюсь ничком на мостовую (брусчатую, отметил я, с сорняками, растущими из трещин и одним забрызганным грязью пурпурным цветочком), это было последнее, что я помнил некоторое время. Даже больно не было — вначале.

Глава 2

Когда я очнулся, голова у меня раскалывалась; перед глазами плясали огненные точки, и я чувствовал, как в висках стучит кровь. Я огляделся по сторонам, насколько осмелился, сочтя вполне вероятной возможность, что голова у меня может совершенно отделиться от тела. По большей части я видел потолок, а из этого заключил, что я уже не на улице, что кто-то подобрал меня и принес в дом. Что я тут делаю? Что я до того делал? Застонав, я попробовал сесть, но снова рухнул. Именно запах заставил меня осознать, где я нахожусь.

Тут я вспомнил. Письмо. Моя рука поспешно скользнула в карман и стала шарить в надежде на утешительное шуршание бумаги. Ничего. Я проверил другой, потом третий, потом на всякий случай еще раз первый. Ничего. Письмо пропало.

— О Господи, — сказал я, когда меня осенило. — О нет!

— Это ищешь?

Я лежал на его кровати, от которой пахло псиной и невымытым мужиком.

Повернув голову, я увидел, как мужчина, с которым познакомился не более часа назад, спокойно сидит на стуле, а на коленях у него лежит письмо, которое он мне дал. Облегчение, какое я испытал, не поддавалось описанию.

— Благодарю вас, сэр, — сказал я с искренним чувством. — Вы спасли меня от тех негодяев. Кто на меня напал? Вы их видели? Кто меня ударил?

— Я ударил, — все так же спокойно ответил он.

— Что?

Он никак не попытался мне помочь.

— Почему вы меня ударили?

— Чтобы украсть это письмо.

— Но вы же только что его мне дали.

— Отлично подмечено.

Что на меня напали таким манером, было само по себе плохо; но что надо мной смеются, было почти непереносимо, и я решил, что пора преподать этому человеку урок, который он не скоро забудет. В школе я много боксировал и считал, что легко одолею сопротивление человека, чьи лучшие годы уже позади. Поэтому я начал подниматься, но обнаружил, что ноги не желают меня держать; я замахнулся в его сторону, и когда он лениво, с презрительным видом толкнул меня на кровать, понял, сколь бесконечно нелепым, наверное, кажусь.

Я обмяк, голова у меня кружилась, и я застонал.

— Голову между коленей, пока не перестанет тошнить. Кожу я не рассек, кровотечения нет.

Потом он терпеливо ждал, пока я не смог снова поднять голову и посмотреть на него.

— Ладно, — сказал он. — Я ударил тебя по голове, потому что не хотел умереть из-за того, что связался с идиотом. Твое поведение было не только ребяческим, но и опасным. У тебя что, в голове ветер? У тебя и тени подозрения не возникло, что я за тобой иду, хотя я из кожи вон лез, чтобы как можно лучше тебя предостеречь. Ты ничему не научился? Ничего не запомнил? Ты хоть раз, хоть разочек оглянулся, чтобы проверить, не идет ли за тобой кто? Нет. Ты фланировал по темному переулку, руки в брюки, как тупоголовый турист. Уверен, я ударил тебя сильнее необходимого. За это прошу прощения. Но я был так возмущен, что хотелось ударить тебя еще сильнее, и тебе следовало бы поблагодарить меня за сдержанность.

Если голова у меня шла кругом от нанесенного удара, то теперь она закружилась еще сильнее, когда я попытался понять, о чем, черт побери, он говорит.

— Меня просили прийти к вам на квартиру, сэр, — чопорно сказал я, — и забрать некое письмо. Вот и все. Никто ничего не говорил про игру в прятки на улицах с кровожадным сумасшедшим.

Он помедлил, потом поглядел на меня серьезнее.

— Так ты не... О Боже! Кто ты? Что ты?

Я объяснил, что я банковский служащий, что я работаю в «Барингсе». Он фыркнул, потом расхохотался.

— В таком случае я должен попросить у тебя прощения, — сказал он с видом человека, который ничуть не считает, будто что-то подобное мне должен. — Ты, наверное, считаешь меня очень странным типом.

— Думаю, я сумел бы подыскать для вас описание получше, — сказал я.

— Пойдем.

Он помог мне подняться, поддержал, когда я едва не упал опять, и провел к двери и вниз по лестнице.

Он отвел меня в бар — своего рода. Было почти десять часов. Усадив меня за столик в темном углу, он крикнул, чтобы принесли бренди. В тот период я бренди не пил, но он настоял, и очень скоро я обнаружил, что голова у меня болеть перестала, а язык развязался.

— Итак, — снова начал он. — Извини. А еще за мной объяснение. У меня создалось впечатление, что ты знаешь, что делаешь. О чем думал мистер Уилкинсон, посылая ко мне кого-то, настолько неготового, даже гадать не возьмусь. Он знает, как я...

Ход его мысли прервался, когда он одним глотком опрокинул свой бренди и крикнул, чтобы принесли еще. Место, где мы сидели, было из тех заведений, куда мне и в голову бы не пришло зайти — во всяком случае, в то время. Мне чудилось, что все до единого здесь — а были тут только мужчины — головорезы, сутенеры и грабители того или иного пошиба. Позднее я узнал, что то мое предположение было совершенно верным.

Он хмыкнул.

— Меня зовут Жюль Лефевр... Это не настоящее мое имя, ну да не важно. Сойдет. Я поставляю правительству ее величества некую информацию, которую иными средствами ему получить довольно затруднительно.

— Вы француз? — спросил я.

— Возможно. Так вот, важно, чтобы информация, которую я поставляю, попадала по назначению. Также важно, чтобы она не попала в чужие руки, так как по природе своей конфиденциальная. Ты меня понимаешь?

— Думаю, да.

— В таком случае важно, чтобы люди, которые перевозят эти письма, умели их сохранить. Ты согласен, что это важно?

— Абсолютно.

— Хорошо. Вот это и просил меня сделать с тобой Уилкинсон. Научить тебя заботиться о себе самом.

— Вы уверены?

— Он сказал, мол, посылает ко мне кое-кого для завершения подготовки, и этого человека я опознаю по тому, что он явится просить пакет. Похоже, это ты.

— Знаю, но мне он ничего про это не говорил. Мне кажется, со мной должны были посоветоваться...

Я понимал, что каждое следующее мое слово звучит все более капризно и вздорно, и решил придержать язык. Можно сказать, мое будущее решилось исключительно желанием не показаться глупым человеку, которого я едва знал.

— Значит, не посоветовались. Полагаю, на то была веская причина. Так вот, то, что я с тобой сделал, легко сделал бы кто угодно. И твоя невнимательность могла бы иметь серьезные последствия. Единственной пользой от них было бы то, что ты был бы мертв и ничего больше не напортил бы.

Голова у меня все еще кружилась и ужасно болела, хотя бренди немного заглушило боль. Зато пустой желудок у меня запротестовал, что в него залили спиртное. Лефевр поглядел на меня с любопытством.

— Ты не знаешь, о чем речь?

— Нет.

Глаза его сузились, словно он задумался, что бы это значило. Потом он потрянул головой.

— Нет смысла стараться разгадать пути великих и праведных. Таково его решение, и, надо полагать, мне придется с ним жить. Сдается, ты будешь моим учеником, поэтому лучше начинать сразу. Будь на вокзале Гар-де-Лэ завтра в восемь утра. Я буду ждать тебя в буфете. Ты меня не узнаешь и никоим образом здороваться не будешь. Но когда я выйду, ты пойдешь за мной. Понял?

— Понял, но не уверен, что согласен, — ответил я. — Что вы имели в виду, говоря про ученика? И что насчет начала? Что мы начнем?

— Учиться, как оставаться в живых, разумеется.

— До встречи с вами я неплохо справлялся. И что, если я не хочу быть вашим учеником?

— Тогда не приходи. Вернешься к своей службе в банке и до конца жизни будешь заполнять гроссбухи или что там ты еще делаешь. Так или иначе, мне все равно. Но больше объяснений у меня не проси, у меня их нет.

Он встал.

— У тебя есть время до завтрашнего утра. Хочешь — приходи, хочешь — нет.

— Минутку, — сказал я несколько саркастично.

Он оглянулся.

— А как насчет этого несчастного письма? — Я указал на конверт, принесший мне столько бед. — Не можете же вы порицать меня за беспечность, если сами так забывчивы.

Глянув на стол, он пожал плечами.

— Там просто старая газета, — сказал он. — Ничего важного. Ты же не думал, будто тебе доверят что-то важное, правда?

И он ушел, оставив меня в том притоне беззакония, которое, едва его защита исчезла, показалось вдруг очень страшным.

Как можно незаметнее (то есть бросаясь в глаза всем) я тоже вышел, чувствуя, как в меня впиваются десятки глаз и замирают разговоры, пока я продвигался к двери, а завсегдатаи поворачиваются на меня посмотреть. Я ощутил, как шея у меня сзади заливается краской, и едва не сиганул оттуда со всех ног.

Ночной воздух, пусть и с привкусом приторного запаха канализации, значительно меня освежил, и, постояв некоторое время, прислонившись к стене, я почувствовал себя много лучше. Была уже почти полночь, и на острове царила жутковатая для центра крупного города тишина. До моей гостиницы было не близко, и у меня не было иного выхода, кроме как идти туда пешком. Голова у меня тупо ныла, меня мучил голод, и чувствовал я себя совершенно несчастным. А еще я боялся, что тот ужасный человек снова на меня нападет, а потому не мог даже сосредоточиться на мысли, что со мной обошлись несправедливо, пока добирался до моста, чтобы по нему вернуться к цивилизации.

Глава 3

Надо ли говорить, что ночью я не заснул, хотя и сумел добраться в гостиницу. Но к тому времени было уже два часа ночи, и я понял, что встать мне надо будет рано, если хочу попасть на встречу в восемь. Что на нее можно не явиться, мне все еще в голову не приходило; мое беспокойство ограничивалось лишь тем, как бы не опоздать, как бы не выставить себя дураком снова. Смятение прошлого вечера и страх проспать не прогнали усталость, лишь, возможно, ее умилили, и к шести утра я поймал себя на том, что на цыпочках спускаюсь по лестнице и выхожу на только-только занимающийся рассвет нового дня.

К месту назначения я поехал на омнибусе, табличка спереди гласила, что он идет к Гар-де-Лэ, и я ей поверил, поэтому умудрился продремать хотя бы двадцать пять минут, пока он туда тащился. Однако это счастливое совпадение означало, что я прибыл на час раньше, и делать мне было нечего, только слоняться по улицам, чтобы согреться, или сидеть возле жаровни в пустом зале ожидания, пока я все больше и больше сознавал, как пусто у меня в желудке. Мне было холодно и скучно, хотелось есть, и я был растерян — и все равно не задумывался, что делаю. Ни разу я не встряхнулся и не подумал о том, чтобы вернуться напрямиком в банк и к повседневной работе.

Но инструкциям я не последовал совершенно: вместо того чтобы ждать в вокзальном буфете, я пристроился в укромном месте снаружи, так как почему-то счел, что было бы раболепством прийти на встречу первым. Мне хотелось, чтобы Лефевр пришел и понервничал, а вдруг я не приду, вдруг он не сумел меня заманить. Тогда я войду и с ним поздоровуюсь.

Увы, он тоже не явился. Вокзал понемногу заполнялся людьми: пассажирами, сошедшими с поездов, и пассажирами, собирающимися в поезда сесть. Я рассматривал всех до единого, кто входил в буфет, и поскольку дверь была только одна, я никак не мог его пропустить. Мне сделалось нехорошо. Впервые на меня обрушилась нелепость самой ситуации. Я же в банке работаю, ради всего святого. Что, скажите на милость, я тут делаю? Выпью кофе, съем рогалик, а потом вернусь к нормальной жизни. Хватит с меня этой чепухи. И так трудно будет объясняться.

Я встал в ожидании у стойки рядом с джентльменом, так же наспех подкрепляющимся чашкой кофе. Мы не обращали друг на друга внимания, совершенно незнакомые друг с другом люди, до тех пор, пока он не

закончил и не расплатился.

— Ну так пошли, — сказал он вдруг. — Не то на поезд опоздаем. У тебя багаж есть?

Я уставился на него во все глаза. Хорошо одетый господин при дорогом галстуке и блестящем цилиндре, в безупречно вычищенных ботинках и в тяжелом сером пальто. В ответ на мой взгляд он чуть кивнул, здороваясь. Красивый, чисто выбритый, лет пятидесяти, но с аурой силы. На щеке тонкий шрам. Невзирая на годы, никто не назвал бы его старым. Вокруг него витал слабый аромат одеколona, как вокруг человека, который тратит время и деньги на внешность.

— Хочешь сказать, что не узнал меня?

Это был Лефевр, столь же элегантный сейчас, сколь неряшлив был раньше, столь же выхолен, как раньше был небрит, столь же буржуа, сколь раньше был плебеем. Только глаза, светлые и рыщущие, и шрам напоминали о человеке, с которым я познакомился вчера вечером.

Я покачал головой.

— О Господи, — сказал он негромко. — Непростая предстоит работенка.

И без дальнейших слов повернулся и вышел на перрон. Я последовал за ним, как от меня, надо думать, и ожидалось, и с каждой минутой все больше сердился. Нагнав, я схватил его за локоть. Стряхнув мою руку, он пробормотал:

— Не здесь, идиот!

И направился на платформу 3, где уже под парами стоял поезд. Беспечно помахивая тростью, он подошел к вагону первого класса и поднялся по ступенькам. Я последовал за ним в пустое купе и ждал, пока он ушел условиться о нашем багаже с носильщиком. Потом он вернулся, закрыл дверь и, опустив шторку, сел напротив меня.

— Не злись так, — сказал он, опять переходя на английский. — У тебя такой вид, словно ты вот-вот взорвешься.

— Да я сейчас сойду с поезда и поеду в контору, — сказал я. — Ваше поведение крайне бесцеремонно и... и... — Не успел я выпалить, эти несколько фраз, как понял, насколько ребячески они звучат.

— Ну так поплачь, — предложил Лефевр невозмутимо, но без тени сочувствия. — Уверяю тебя, я так же не рад твоему присутствию, как ты быть здесь. Но сдастся, нам придется работать вместе.

— И что, скажите на милость, мы будем делать? — воскликнул я. — Просто скажите, что я тут делаю и почему?

— Потише, пожалуйста, — устало попросил он.

На перроне возникла внезапная суета, послышались свистки. Поезд содрогнулся и в облаке дыма и ужасающего скрежета рывком сдвинулся на несколько дюймов, потом еще на несколько. Мы тронулись — хотя я и не знал куда.

Лефевр не обращал на меня внимания, пока поезд выезжал из закопченного, задымленного вокзала на свет утра.

— Я люблю поезда, — сказал он. — В них мне всегда комфортно. Никогда не понимал людей, которые считают их пугающими или опасными.

Он замолчал, глядя, как мимо медленно уползают прочь парижские улицы, пока мы не проехали предместья и не очутились за городом. Потом со слабым вздохом он повернулся ко мне.

— Ты зол и возмущен, так?

Я кивнул.

— А вы на моем месте не были бы?

— Нет. В твоём возрасте у меня за спиной было уже два года войны. Однако поскольку тебе нужно выпустить пар, а мне — чтобы в следующие несколько недель ты был спокоен и сосредоточен...

— Следующие несколько недель?! — прервал я его, боюсь, с пискom тревоги.

— Пожалуйста, постарайся придержать ненадолго язык, — сказал он. — Я объясню, насколько смогу. А после тебе решать, что ты предпримешь. Когда мы прибудем к месту назначения, ты можешь либо сесть на следующий же поезд назад в Париж, либо остаться со мной. Мистер Уилкинсон, по всей видимости, желает, чтобы ты выбрал второе. По твоему поведению до сих пор я предпочел бы первое.

Начнем с начала. Ты был выбран за особые качества, которые мне пока не проявил, чтобы стать тем, что раньше называлось тайным агентом, а сейчас довольно вульгарно именуется шпион. Британия одинока в мире, окружена теми, кто завидует ее богатству и бескрайности ее Империи. Многие желают их подорвать. Она должна уметь полагаться на свои силы и никого не может считать своим другом. Она должна знать все и иметь возможность сеять раздор среди своих врагов. Это, коротко говоря, твоя работа.

Я воззрился на него недоуменно. Что это? Дурная шутка?

— Наконец-то молчание, — продолжал он. — Ты учишься. Если мистер Уилкинсон решит, что интересам страны лучше всего послужит мир на Континенте, ты приложишь все усилия — на свой малый, но отведенный тебе лад, — чтобы этого добиться. Если он вдруг передумает и

сочтет, что необходима война, ты постарайся настроить одного соседа против другого. И превыше всего ты будешь пытаться узнать, кто, что и когда думает.

— Я?

— Хороший вопрос. Очень хороший. Ты, по всей очевидности, никуда не годен. Но вероятно, у тебя есть качества, благодаря которым можешь быть полезен.

— Например?

— Деньги.

— Прошу прощения?

— Деньги, — устало повторил он, глядя в окно, точно смотрел, как мимо проходит золотой век. — Все в мире теперь обратимо в деньги. Власть и влияние, мир и война. Раньше они определялись единственно числом людей, которые ты мог вывести навстречу врагу. Теперь все зависит от конвертируемости твоей валюты, ее репутации у банкиров. Это кое-что, в чем я не смыслю, а ты разбираешься.

Он улыбнулся, и улыбка вышла не слишком счастливая.

— Мир изменился. В Америке, лет тридцать назад. Наверное, нам следовало бы это разглядеть, но нет. Та война была выиграна или проиграна не благодаря храбрости, или умению, или числу людей, но благодаря заводам и золоту. Это была война промышленности против фермеров, рот против всадников. У проигравшего было меньше ресурсов, меньше возможностей изыскивать средства для ведения войны. А те, кого мы считали друзьями, бросили нас ради торговли с более богатой стороной.

— Мы?

Он пропустил вопрос мимо ушей.

— И то, что впервые испробовали там, тем более проявятся здесь в следующий раз.

— Вы считаете, здесь будет война?

— Уверен. Не может не быть. Если думаешь, что все будет как прежде, то не станешь трудиться это предотвратить. В следующий раз сражаться будут не армии, а экономики. Бесконечное противостояние золотохранилищ, пока все не истощатся. Страны Европы будут воевать до тех пор, пока больше не смогут себе этого позволить.

— Думаю, многих в Сити это уже тревожит.

— Но над ними возобладают те, кто на войне наживутся. Виккерсы, Круппы, Шнейдеры. Люди вроде Джона Стоуна с его оружием. Банкиры, их кредитующие, инвесторы, получающие свои пятнадцать процентов

дивидендов. Вопрос войны и мира будет решать движение капитала.

— А при чем тут я?

— Ты этот мир понимаешь, я нет. И не хочу.

— Вы говорите «наш» и «мы» и имеете в виду две разные страны.

Он кивнул.

— Я человек без страны. Не француз, не англичанин, даже не американец, хотя когда-то был им. Я работаю по найму и предоставляю качественные услуги.

Я задумался. Я сомневался, что мне нравится этот человек, зовущий себя Лефевром, и я определенно ему не доверял, но в нем было что-то, что невозможно было игнорировать. Он умел отдавать приказы, и подчиняться им было комфортно. Но я был совсем не уверен, разумно ли это.

— А если кто-то предложит больше?

— Тогда я рассмотрю предложение. Люди без дома должны заботиться о себе, потому что не могут черпать утешение в патриотизме. Однажды я это сделал и больше ошибки не повторю. Но я не наемник. Качественные услуги предполагают лояльность. И мои хозяева — и твои, как сейчас кажется, тоже — мне платят.

Я откинулся на сиденье и, как он, стал смотреть на проплывающий за окном пейзаж. Поезд шел теперь быстро, и город давно остался позади. Мы направлялись на восток — в Мец, так, во всяком случае, следовало из указателя на станции.

Но если Лефевр видел, как исчезают миры, я, пока неостановимо двигался в неизвестность, улавливал иную аналогию. Почему я так легко поддался его приказам? Дело обстояло просто: я скучал и жаждал чего-то иного. Я даже готов был отказаться от места в банке, которое находил утомительным. Я рожден, чтобы договариваться о дисконтах для североамериканских железных дорог? Моим вкладом в судьбы человечества суждено стать купону на три и восемь процентов по облигациям акционерного общества «Лидский водопровод»? Мальчиком я никогда не мечтал о приключениях: в отличие от моих товарищей мое воображение не наполнилось тем, как я бодрым шагом иду во главе (бесконечно преданных мне) солдат на опасную битву и выхожу победителем благодаря собственным доблести и мужеству. Но я мечтал о чем-то, а от неоформившейся мечты отказаться гораздо труднее, поскольку ее нельзя разоблачить как пустое ребячество.

Лефевр в своей запущенной комнатенке, Лефевр, чувствующий себя как рыба в воде среди мошенников и негодяев, Лефевр со своей (такой легкой) метаморфозой в джентльмена, затронул во мне некую струну. Не

поймите меня превратно. Безрассудство мне несвойственно. Думаю, никто, выросший в семье, подобной моей, никогда не был бы так глуп, чтобы рисковать без необходимости. Я — к тому же с самым малых лет — знал, сколь хрупко основание, удерживающее уважаемых от падения в пропасть. Начало болезни, неудача на бирже, несчастный случай, глупая ошибка, и все может пойти прахом. Хотя наниматели достаточно хорошо мне платили, я никогда не транжирил деньги и свои накопления лелеял с осторожностью и заботой. Я легко мог предвидеть время, когда они понадобятся бы.

А потому меня тем более заинтересовал человек вроде Лефевра, который при всем его естественном желании выжить явно относился к жизни совершенно иначе. Не для него осторожность и уважения, не для него страх перед нищетой или жажда комфорта. Он был словно другой породы, хотя я и не мог сказать, выше она или ниже моей. Разумное мое «я» предостерегало, мол, моя дорога более ответственная, мол, я лучше подхожу для среды и эпохи, в которой живу. Но другое мое «я» манило как раз безответственность, безрассудство пути Лефевра. Такова была противоречивость моей натуры, которую, казалось, Генри Уилкинсон заметил и решил использовать. Человек, более довольный своими видами на будущее, никогда бы не очутился в том поезде.

Странная штука — память. Я помню почти каждую минуту той бесконечной поездки: плоский пейзаж, остановки, чтобы высадить и забрать пассажиров, тянущиеся мимо виноградники и поля пшеницы, вагонный запах, ленч в вагоне-ресторане, натянутые разговоры. А вот последовавшее затем вспоминается лишь с усилием. Не в том дело, что я забыл, но в том, что думаю я об этом отвлеченно, тогда как воспоминание о поездке уносит меня в прошлое, словно я все еще в том купе.

А ведь то, что произошло после того, как мы сошли с поезда, по обычным меркам, было много интереснее. Лефевр (до более уместного момента я буду звать его так) начал обучать меня искусству выживания в самом прямом смысле этого слова. И если я так никогда и не овладел всеми его премудростями, то потому, что даже в самых отчаянных моих мечтах и кошмарах не мог вообразить себе, что они могут мне пригодиться. Он отвез меня в Нанси, тогда прифронтовой городок, стоявший много ближе к немецкой границе, чем ему хотелось бы. А потому, как сказал Лефевр, он хорошая отправная точка для всего, что нам надо сделать.

Граница тогда охранялась не так надежно, но области по обе ее стороны кишели солдатами, поскольку повсеместно предполагалось, что следующий акт извечного конфликта между Францией и Германией

начнется здесь. Но когда? Как? Это будет взвешенная политика, принятая в верхах той или иной стороны, или досадная случайность, несколько слов, сказанных сгоряча, ответное оскорбление, потасовка, несколько выстрелов — а потом целые армии на марше, генералы и политики тянутся следом, отчаянно силясь овладеть ситуацией, вышедшей из-под контроля.

— Люди совершают ошибку, приписывая армиям слишком многое, — однажды вечером сказал мне Лефевр. — Для начала они полагают, будто генералы знают, что делают и что происходит. Они полагают, что приказы спускаются сверху, гладко и упорядоченно. И главное, они полагают, что войны начинаются только, когда люди решают их начать.

— Вы собираетесь сказать, что это не так?

— Войны начинаются, когда они к этому готовы, когда человечеству нужно кровопускание. Короли, политики и генералы тут мало что решают. Когда война надвигается, она витает в воздухе. Тогда видишь нервность и напряжение в лицах рядовых. Рядовые способны войну учуять так, как не в силах политики. Желание причинять боль и разрушать распространяется по региону и войскам. А тогда генералы могут только надеяться, что у них будет хотя бы толика представления, что они делают.

— Тогда какой смысл собирать сведения?

— Для большинства людей, тех, кто хотя бы признает, что люди, подобные мне, вообще существуют, я таков, каким ты видел меня тогда в Париже. Немногим больше мошенника, вора, а может, чего похуже. На самом деле гораздо хуже. Тебе предлагается стать тем, кого общество презирает. Респектабельное место ты в нем сохранишь, лишь скрывая, кто ты такой. Но зато ты ошупью найдешь себе дорогу к душе этого ужасного Континента. Представь себе врача. Ты же не идешь к нему и не говоришь: «Я умру в ближайший четверг», — и не надеешься, что он что-то сделает. Нет, ты являешься, чувствуя себя чуть-чуть не в своей тарелке. А он тебя осматривает, измеряет тебе давление и пульс, расспрашивает тебя о сне и аппетите. Тебе трудно подниматься по лестницам? Ты хорошо ешь? Головные боли есть? И из этих обрывочных сведений, по отдельности бессмысленных, он делает вывод: у тебя больное сердце. Возможно, это не отменит твою смерть в ближайший четверг, но послужит каким-то утешением.

И это твоя, наша работа. Не думай, что когда-нибудь наткнешься на меморандум, где говорится «Мы вторгнемся на следующей неделе». Нет, ты почувствуешь напряжение в казармах, ощущение, что что-то происходит, ведь солдаты восприимчивее всех к изменению атмосферы. Потом ты, возможно, заметишь, что поезда отменяют. Возможно, что

больше контрабандистов ловят при переходе границы. Ты услышишь, что в гарнизонных городах стало больше драк в барах. Или что отменяют увольнительные. И, сложив все вместе, придешь к выводу, что кто-то где-то вот-вот бросит кости.

— Это только ваша идея, или вы можете это продемонстрировать?

— О, еще как могу. На примере больших войн и малых. Хотя, надо думать, ты предпочел бы допить бренди? И выспаться перед тем, как услышишь про истоки последней войны между Францией и немцами. Но я там был, я все видел. И в следующий раз будет немного иначе.

— Но в том случае, полагаю, император решил объявить войну, и все его поддержали.

— Верно. Но почему он так решил? И почему именно тогда? Особенно если учесть, что даже поверхностное изучение ситуации показало бы, что пруссаки французов растопчат. Потому что это витало в воздухе. Это было необходимо. Так судили боги.

Одним махом допив бренди, он иронично кивнул:

— Марионетка, как и все мы. Твоя работа сообщать, что поделявают одни куклы, другим куклам. Занятие достойное и полезное. А еще такое, ради которого тебе надо выспаться. Завтра я отравлю тебе жизнь. Поэтому не засиживайся за ведением дневника. Ты же не ведешь дневник, правда?

— Нет.

— И то слава Богу.

Глава 4

Его словоохотливость и почти хорошее настроение долго не продлились, увы. Со следующего дня началось то, что я считаю самыми скверными и самыми необычными шестью неделями моей жизни. Он будил меня на рассвете и объявлял, что на сегодня моя задача принести хлеба из городка в пяти милях по ту сторону границы, с оккупированной части Эльзаса. Однако совершить это я должен без каких-либо документов, которые дали бы мне свободный проход через границу, без денег и без карт. Потом требовал, чтобы я украл бюст Марианны из ратуши соседнего городка. Потом — чтобы провел две ночи, не выходя из укрытия и считая людей, пересекающих границу. Потом — чтобы оставил пакет высоко в балочных фермах моста через Рейн. Потом — чтобы выкрал из банка папку с документами, содержащими выписки из счетов человека, имя которого он мне назвал. И мы повторяли такое снова, и снова, и снова. Как следить за человеком, чтобы он не знал, что ты за ним идешь. Как избавиться от того, кто следит за тобой. Мы днями гонялись друг за другом по различным городкам, пока я не наострился не хуже его. Потом он отправлял меня ходить за армейским офицером, которого выбирал более-менее наугад. Потом то же самое, но за немецким офицером по ту сторону границы. Потом вломиться в его дом. В промежутках между такими диковинными занятиями он водил меня в лес и учил стрелять из пистолета. В стрельбе я так и не стал профессионалом, да и особого удовольствия не получал никогда: я предпочел бы попасть в руки врагу, лишь бы у меня в ушах не гремел этот жуткий шум. Или мы проводили вечер в солдатском баре, ставя всем выпивку и выслушивая жалобы и похвальбу. Или он показывал, как уговорить кого-то стать информатором, предателем своих друзей и страны. Это последнее во многом было самым ужасным умением, какое он заставил меня перенять. К моему удивлению, я в большинстве преуспел. Хотя я никогда прежде не считал себя прирожденным преступником, все указывало, что у меня немалый дар в этой области. Ограбление банка или ратуши не сильно отличалось от моих ребяческих школьных набегов, и еще в юности я узнал, что колоссальные прогулки по суровой местности в Уэльсе или северной Англии (на сотню или более миль, которые затягивались на несколько дней, когда я ночевал где придется) — действенное лекарство от невзгод юности. Позднее я обнаружил, что всевидящий мистер Уилкинсон знал об этих моих занятиях (он был хорошо знаком с директором моей школы) и учел их в своих

расчетах. По всей очевидности, подростковая преступность была в его глазах лучшей рекомендацией, чем более традиционные добродетели, связываемые обычно с государственной службой.

За вычетом стрельбы я мог делать многое, и делал это хорошо. Но вечер с Вирджинией все переменял. Это случилось до того, как наши с Лефевром пути начали расходиться и я стал приобретать собственное мнение о заданиях, выполнения которых требовали от меня другие.

По словам Лефевра, она была швеей, из тех, что тысячами водятся по всей восточной Франции, добывая себе скудный хлеб ручным трудом, постоянно под угрозой голода, и готовы обменять все, чем владеют, на чуточку защищенности. Те, кому судьба улыбается, находят любовника, студента из буржуазной семьи например, и обзаводятся хозяйством. Что до глупой мечты о замужестве, то наиболее практичные понимают, что их связь не продлится долго и что рано или поздно мир респектабельности отберет у них защитника. Большинство тогда останутся снова перебиваться как могут, если только не удастся уговорить бывшего любовника давать деньги на детей, которые могли быть произведены на свет.

Другие, кому посчастливилось меньше, начинают продавать себя, и благодаря огромному числу солдат вдоль границы торговля идет бойко. Жизнь их жестока и нередко коротка. Удивительно, сколькие тем не менее сохраняют человечность: искру ее не так легко затушить, даже когда зачастую мало что ее поддерживает. Женщина, к которой Лефевр меня повел, была из таких. Вероятно, она была внебрачной дочерью, которая однажды произведет на свет новых таких же. Она очутилась в Нанси и неизбежно искала защиты у солдат.

Но она была еще молода, нова и свежа, как говорит пословица, и метила повыше, чем просто выжить. Жизнь пылала в ней, и погасить ее было совсем нелегко. Ее пронизательность удивляла: мыслила и выражалась она гораздо сложнее представительниц своего пола, класса и возраста. Послушайте:

«Не думайте, будто я не понимаю, что делаю. Я могла бы стать цветочницей, продавщицей или работницей на фабрике. Я могла бы найти какого-нибудь пьяного солдата, который бил бы меня и бросил. Или была бы вынуждена жить с человеком много глупее себя и мириться с его тупостью в обмен на обеспеченность. То, чем я живу сейчас, возможно, не даст мне продержаться долго. Я могу пасть на самый низ и доживать свои дни, выклянчивая несколько су у еще более отвратительных мужчин. „Эй, миленький, хочешь позабавиться?“ Я все это видела. Это одно из будущих, которое может стать моим.

Но только одно из них, и оно не неизбежно, как бы ни думали и ни надеялись моралисты. Я, возможно, добьюсь большего. Я готова рискнуть, и если не получится, то окончу свои дни в канаве, хотя бы зная, что пыталась».

Лефевр сделал ей предложение. Он будет ей платить за любую информацию, которую она нам поставит. Золото за предательство; самая насущная из человеческих сделок, но он постарался замаскировать ее красивыми словами и тщательно построенными фразами. Она сразу его раскусила.

— Какого рода информацию вы имеете в виду? Мы в приграничном городке, где полно солдат. Полагаю, вам нужны такого рода сведения.

— Сплетни в кафе, рассказы о передвижении войск, маневрах. Кто в армии идет вверх, кого затирают.

Она поджала губы. Красиво очерченные губы, полные, с изгибом и лишь с малой толикой помады.

— Надо думать, все это прекрасно, но едва ли так уж ценно. Из какой вы страны? На кого работаете? На немцев я шпионить не стану.

— Мы не работаем на немцев, — ответил он.

— Тогда, вероятно, на англичан. Или на русских. — Она задумалась. — Думаю, я справлюсь. Разумеется, это зависит от цены. Но полагаю, вы слишком низко метите.

— То есть?

— Здесь же ставка. Не лучше было бы получать информацию оттуда, чем из болтовни к кафе?

Лефевр не ответил.

— Вы сделали мне предложение, мсье. И я сделаю ответное. Я не хочу провести мою жизнь в обществе солдат. Но чтобы войти в лучшее общество, мне нужны платья, драгоценности и более престижное жилье.

Она остановилась, ведь, что у нее было на уме, и так было достаточно ясно.

— И о какой сумме ты говоришь?

— Около тысячи франков.

Он рассмеялся, потом покачал головой:

— Не думаю, деточка. Я не располагаю такими суммами и, даже дай я ее тебе, сомневаюсь, что увижу тебя снова. Ты окажешься в следующем же поезде под другой фамилией. Ты считаешь меня идиотом?

Я сокращаю, и моя память не сохранила точных слов, но суть разговора я передал. Он на многое пролил свет: я считал, что Лефевр совершает ошибку, а сам я разглядел кое-что, в чем он ограничен. Возможно, он был

прав, и опыт научил его не доверять ни мужчинам, ни женщинам. Но мне казалось, я увидел нечто, чего он не уловил или пожелал отбросить.

Девушка была умной. Я имею в виду не проницательной или хитрой, хотя жизнь научила ее прибегать и к этому, когда было необходимо. Нет, она обладала интеллектом. Она увидела свой шанс. Она, как я заметил, не угрожала, не сказала, что пойдет к властям и на нас донесет, — и к лучшему для нее. Она верно оценила ситуацию.

И даже в ее положении (которое было бедным и легко могло бы считаться нищенским) она сумела подняться над обстоятельствами. Она хорошо одевалась, со скидкой, конечно, на качество материи ее платья; она сидела и говорила правильно. Во взгляде у нее были живость и выражение, заставлявшее тебя забыть, что она не слишком красива и не слишком привилегированна. Даже Лефевр не обращался к ней слишком уж резко или грубо. В целом она была личностью, и я считал, что жаль было бы упустить такой шанс.

Вы заметили, что здесь я ни разу не упомянул про моральную сторону. Позвольте перефразирую: мы говорили с потаскухой о том, как ей преуспеть в ее ремесле, и я всерьез подумывал, что в каком-то смысле нам стоит действовать как ее сутенеры. Обрисуйте ситуацию такими словами, и она шокирует — я уже проделал большой путь от дома. Тем не менее я не видел, как ее жизнь может ухудшиться или как ее душа может подвергнуться еще большему риску на дороге, которую она желала избрать. И выгоду могли получить все. После я привел мои доводы Лефевру.

Он от них отмахнулся.

— Тысяча франков? Для девки, которая берет два франка за ночь? Ты серьезно?

— Как долго мы тут пробудем?

— Пока не закончим.

Я нахмурился.

— Скажите же.

— Зачем?

— Мне хочется еще раз поговорить с девушкой.

Он покачал головой:

— Нет. Я запрещаю.

Я нашел ее на следующий вечер, она пересекала площадь Станислава. Даже с расстояния я заметил, какое впечатление она производила: мужчины, шедшие ей навстречу, замедляли шаг; некоторые кивали, не зная

точно, подает ли она им знак. Да, она была бедной, но была настолько выше своего окружения, что зарождались сомнения. Она не была ни дерзкой, ни вульгарной, она привлекала напускной ранимостью и изяществом. Я подумал об участи, которая ее ждет, как изящество будет сломлено и растоптано, и меня передернуло. Днем раньше я прочел по ее глазам, что она в точности знает, во что может вылиться ее будущее.

Пока я подходил ближе, с ней заговорил мужчина. Я немного ошетинился, оскорбившись, и потому приветствовал ее громче, чем сделал бы в иных обстоятельствах.

— Добрый вечер, мадам. Простите, что заставил вас ждать.

Впечатление это произвело восхитительное: он застыл от ужаса, что совершил очевиднейшую ошибку, бросил на меня короткий взгляд и ушел как можно скорей. Вирджиния посмотрела на меня холодно.

— Вам придется за это заплатить, — сказала она.

— Я и намереваюсь. Вы уже ели?

К тому времени было почти восемь вечера, уже было темно и холодно.

Она еще не ела, поэтому я повел ее в ресторан. Умеренно дорогой и тщательно выбранный, так как мне хотелось посмотреть, как она себя поведет, имеет ли представление о манерах.

Хотя одета она была много хуже остальных женщин, она не позволила себе устыдиться своей очевидной бедности. С официантами она держалась с подобающей любезностью, не позволяла себе говорить громче, когда алкоголь проник ей в кровь, еду выбирала осторожно, но хорошо, ела изящно. И официанты откликнулись: она с ними не флиртowała, но сделалась привлекательной на отдаленный, недоступный лад, и обслужили ее лучше, чем меня, а к концу ужина внимания ей уделяли больше, чем кому бы то ни было в зале.

Посреди первой перемены блюд я сообразил, что начисто забыл, кто и что она, и рывком вернул себя на землю.

— Я должен попросить у тебя кое-какие сведения, — сказал я. — Боюсь, я совершенно тебя не понимаю, и это могло бы стать серьезной помехой любой деловой договоренности между нами.

Она посмотрела на меня ровно, без тени озадаченности, словно уже далеко перешагнула эту стадию. До сих пор она не задала ни одного вопроса, что было хорошим знаком.

— Я много думал о том, что ты сказала вчера, — продолжал я. — Моего партнера (никаких имен мы ей не называли) твое предложение не заинтересовало, но я вижу кое-какие возможности.

Много позже она мне рассказала, как взволновало ее это замечание:

настолько, что она не знала, как сумела не разрыдаться. Я же могу сказать лишь, что ее самообладание было достойным удивления, ни тени эмоций не скользнуло по ее лицу. Знай я, насколько хорошо она дисциплинирована, нанял бы ее не раздумывая.

— Но мне нужны ответы.

— Какие именно?

— Мне необходимо знать, в состоянии ли ты будешь выполнять ту роль, которую для себя желаешь. Ласковый нрав и хорошенькое личико — только полдела. Ты также должна быть...

Я помедлил, не зная, как выразиться.

— Хороша в постели? — негромко спросила она.

Я едва не пролил вино.

— Нет. Решительно нет. Ну да, конечно. Я имел в виду, иметь определенное воспитание. Уметь вести себя в обществе. Быть той, в ком можно быть уверенным, что она не выставит себя на посмешище, той, кто сумеет тактично извлечь информацию так, чтобы ее не заподозрили. По сути, сделать работу, ничем себя не выдав.

Она кивнула.

— Пока ты вела себя безупречно. Что представляется мне экстраординарным в беглой работнице, или кто ты там еще.

— Будь я беглой работницей, вы были бы правы, — сказала она с улыбкой.

— Насколько я понял...

— Это ваш друг так предположил, и я не сочла нужным рассказывать ему историю моей жизни. Едва ли это его дело.

— Так твоя история...

— Не та, которую я стану вам рассказывать.

Я нахмурился.

— Нет необходимости так на меня смотреть. Просто примите на веру, что у меня веские причины быть той, кто я есть. Что до остального, вы видели, как я стою и хожу, как я разговариваю, ем и пью. Вы нашли какой-то изъян?

— Абсолютно никаких.

— Вы считаете меня нелепой, неспособной привлечь тех мужчин, которых мне нужно будет найти?

— Нет.

— Хотите сами узнать, насколько я хороша?

Я воззрился на нее в некотором ужасе.

— Ну же, мсье. Мы говорим о деловом предприятии. Я намерена войти

в дело, кое-что продавая, а вы, так сказать, вкладчик. Без сомнения, разумно было бы убедиться, что товар высокого качества.

От этого я залился краской — от ее спокойствия в той же мере, как от ее предложения.

— Я правда считаю, что в этом нет необходимости, — пробормотал я.

— Вы находите меня непривлекательной?

— Напротив!

Она слабо улыбнулась.

— Понимаю. Вы считаете себя джентльменом.

— Нет, — ответил я. — В это становится все труднее поверить. Но я предпочитаю считать вас леди.

Улыбка пропала. Она опустила взгляд на стол и некоторое время молчала, потом посмотрела мне прямо в глаза.

— Я это запомню.

Над столом повисло долгое неловкое молчание, потом я кашлянул и попытался возобновить разговор. Я лишь смутно сознавал, что теперь она стала главной: готовность шокировать и удивлять, изящное проявление чувств, намек на таинственность, все это сбило меня с толку так, что я позволил ей завладеть разговором.

— Мое... э... капиталовложение. Как ты намерена его потратить?

Она испытала такое же, как и я, облегчение, что мы возвращаемся на нейтральную почву.

— Все на одежду, но чтобы немного осталось на духи. Драгоценности я могу взять напрокат, как только у меня будет одежда, которая позволит мне выдать себя за леди. Буржуазность кредитоспособна.

— Мне мало что известно про женскую одежду, но маловероятно, что во Франции она дешевле, чем в Лондоне. Сомневаюсь, что ты многое купишь на тысячу франков. Мне бы не хотелось, чтобы предприятие провалилось от недостатка в капиталах.

— Так дайте мне больше.

— На мой взгляд, пять тысяч будет более реалистичной суммой, — продолжал я. — Я устрою так, чтобы деньги были завтра.

— Вы можете подарить столько денег?

— Господи милосердный, нет! Деньги не мои, а банка.

— Банка?

— Долгая история. Но я уполномочен делать выплаты, которые нет необходимости объяснять сейчас же. И я ничего не дарю. Однако мне понадобится строгое расписание выплат, иначе возникнут вопросы. Ты послужишь многим людям, но наше знакомство надо будет держать в

тайне. Полагаю, я сумею потерять тебя среди счетов.

— А если я возьму деньги и исчезну?

— Ты этого не сделаешь.

— Откуда вы знаете?

— Потому что это твой шанс. Единственный, какой у тебя когда-либо будет, и ты это понимаешь. А еще потому что однажды ты можешь случайно снова столкнуться с моим другом.

— Сколько вы тут пробудете?

— Не знаю. Еще несколько дней.

— И где я могу найти вас после?

Я дал ей адрес корреспондентского банка в Париже.

— Ты будешь посылать письма туда, а об остальном я позабочусь.

— Тогда нам больше нечего обсуждать. Я заберу ваши деньги и их потрачу. Вам придется надеяться, что я настолько честна, как вы полагаете. — Встав, она закуталась в свой тонкий платок. — А я, знаете ли, честна, когда могу.

Я проводил ее на ночной холод, и она ускользнула в темноту.

Лефевр был в ярости на меня по стольким пунктам, что трудно даже вспомнить, какой представлялся ему наихудшим, но все его возражения проистекали из гнева, что я поступил наперекор его желаниям. Я здесь не для того, чтобы действовать самостоятельно, а чтобы у него учиться. Он час меня бранил, и размах его ярости открыл мне многое. Он был человеком, склонным к насилию, исполненным такой злости на мир, что позволил ей заслонять здравый смысл. А еще, решил я, он не понимает людей. Он никого не считает достойным доверия, а потому даже не пытается. Людей следует подчинять себе либо угрозами, либо шантажом — его методам не хватало тонкости.

На все это у меня был один ответ. Я не подозревал, что я у него на жалованье, и не понимаю, почему обязан подчиняться его приказам. Я рискнул не его деньгами и даже не деньгами правительства, а взял риск на себя. Разумеется, это было не совсем верно, но так лучше звучало. Я буду осуществлять роль брокера между той женщиной и правительством. Если она раздобудет полезную информацию, я ее перепродаю, а деньги пушу на возвращение долга. Если она попадется или окажется не столь достойной доверия, как я предположил, никто не сумеет проследить ее до правительства ее величества. И даже лучше, я устрою так, чтобы все деньги выплачивались через парижское отделение «Банка Бремена», иными словами, если подозрение и возникнет, то падет на немцев. В целом

я гордился своей идеей.

Его она не умиротворила. Мысль, что я все продумал, даже еще больше его разозлила.

— Ты слаб и глуп, — заорал он, потом его голос упал до шепота: — Яблочко от яблоньки, — прошипел он.

— Это еще что?

— Твой отец — тряпка, всегда был таким. Не мог позаботиться о себе, не мог позаботиться о тебе...

— Он болен...

— Он слаб на голову. Я многое знаю про твоего отца. Рвать цветочки — это все, на что он когда-либо был годен.

Я его ударил. Обстоятельства были более благоприятные, чем в прошлую мою попытку, и мне даже не пришлось раздумывать: я просто размахнулся, и мой кулак врезался ему в лицо. Большинству людей этого бы хватило, но не Лефевру. Он был гораздо крепче большинства. Я причинил ему боль, но недостаточную, чтобы остановить. Он отступил на шаг, а потом налетел на меня как паровоз, обхватил поперек туловища и отбросил на комод. Но если на его стороне были сила и горы горечи, то на моей — проворство и недели закипающей обиды. Извернувшись, я ударил его головой об стену, и он откатился на другой конец комнаты. Он бросился на меня и начал молотить мое лицо кулаками, а я инстинктивно ударил его коленом в живот. Зеркало упало со стены и разбилось, когда он буквально швырнул меня через комнату; кровать развалилась, когда мы на нее упали, причем я сдавливал ему рукой горло.

Он победил. Просто у него было больше выдержки, он мог снести боли больше, чем я. Он оставил меня почти без сознания хватать ртом воздух на полу и застыл надо мной, но сам едва держался на ногах, из носу у него лилась кровь. Потом он опустил на колени и несколько секунд держал у моего горла нож прежде, чем, спотыкаясь, выйти из гостиничной комнаты.

— Если еще когда-нибудь тебя увижу, убью, — сказал он на пороге. — Ты меня понял?

Я не сомневался, что он совершенно серьезен.

Больше я его не видел ни в ту ночь, ни на следующий день. Он просто исчез, не написав записки и предоставив мне расплачиваться по счету и объяснять разорение номера. Задним числом я соглашаюсь, что был не прав. Если бы случилось что-то дурное, его жизнь подверглась большому риску, чем моя, и последние четверть века он провел, осторожничая и выживая. Если он не доверял никому, то не по врожденной недоброжелательности, а по горькому опыту. Он старел, я напоминал ему,

что его силы слабеют, и о том, как далека его нынешняя жизнь от прежних, более оптимистичных ожиданий. Будь он не столь замкнутым, не столь недоверчивым, мы, возможно, пришли бы к полезному сотрудничеству, основанному пусть не на теплых отношениях, но на взаимном уважении.

Но тогда я был менее чуток. Теперь мы были врагами на одной стороне, и я был просто рад, что он исчез. В предыдущие несколько недель он обходился со мной чудовищно и пренебрежительно. Он жестоко и без необходимости подвергал меня всевозможным превратностям и даже опасности, отмахивался от моих успехов и смеялся над моими промахами, вел себя оскорбительно на любой лад, какой только мог придумать, и я ненавидел его сильнее, чем кого-либо прежде.

Я отказывался признать, даже допустить, что он действительно был очень хорошим учителем.

Глава 5

Мое вложение окупилось: в последующие несколько месяцев от Вирджинии поступал непрерывный поток информации (какая-то была полезной, какая-то нет), что подтвердило мои суждения. Это укрепило мнение о Леферве и обо мне самом. Систему я установил такую: каждое послание перенаправлялось из «Банка Бремена» в «Барингс», а оттуда ко мне. Я его прочитывал, потом передавал мистеру Уилкинсону, который покупал те сведения, которые считал полезными, — обычно за сумму не больше нескольких сотен франков зараз, но однажды она поднялась до тысячи. Небольшие суммы для правительства, но огромные для женщины, пробивающейся наверх на границе чужой страны. Их я переводил на счет, который открыл в третьем банке, дабы понемногу покрывать начальный дефицит, равно как и погашать проценты «Барингсу». Из таких мелочей и складывается на самом деле мир шпионажа. Я не имел с ней прямого контакта до того момента, когда долг был наконец выплачен.

Но я читал ее письма. В них она выказывала недюжинные ум и талант. Она обладала инстинктивным пониманием того, что от нее требуется, и выражалась кратко. Судя по качеству ее информации, я мог догадываться, что ее план улучшить свое положение в обществе успешно воплощается. Через месяц стали поступать сведения от майора кавалерии о маневрах и новых боевых построениях, которые разучивались. Затем последовали характеристики новой пушки, предоставленные подполковником артиллерии. И наконец, она достигла своей цели: целый поток информации исходил от влюбленного генерала восточной армии, которому Нечем было заняться, так как никто не намеревался просить армию сделать что-либо. В подробнейших деталях она подтвердила свидетельства из иных источников, что в настоящее время Франция решила избегать войны с Германией из-за настоящего соперничества с Англией и страха, что ни на одном участке пока недостаточно сильна, чтобы возобновить наступление.

Эти сведения составляли основу ее корреспонденции; гораздо интереснее — со многих сторон — были психологические зарисовки, которые она включала в сами письма. Сложись ее жизнь иначе, она могла бы стать французской Джейн Остен. Она инстинктивно проникала в человеческие драмы, которым становилась свидетельницей. Соперничество одного офицера с другим; амбиции третьего; причины вульгарного поведения четвертого. Денежные расстройства, несбывшиеся мечты о

повышении, политические устремления. Она видела и каталогизировала все, и ее небольшие словесные портреты всплыли в моей памяти (возможно, даже чересчур живо), когда позднее я встретил многих из тех, кто был выведен в ее письмах. На генерала Мерсье, хотя он и был одним из самых высокопоставленных чинов в армии и видной национальной фигурой политики, я никогда не мог смотреть, не вспоминая ее рассказ о том, как по утрам он с усилием натягивает бандаж от грыжи. Жажда богатства бизнесмена Дольфуса порождалась капризами ипохондричной жены, чьего общества он не переносил. Одни мечтали о жене-аристократке, у других были пороки столь омерзительные, что они ужасно и потенциально выгодно могли стать мишенью для шантажа.

Вирджиния видела все и не порицала ничего. Она набрасывала общество в целом и воспроизводила его картину так живо, что ее письма я читал не только ради содержащихся в них сведений, но и из чистого удовольствия. Позднее я узнал, что и с мистером Уилкинсоном дело обстояло так же и что он позаботился, чтобы их сохранили полностью. Где они сейчас, для меня загадка, но Форин оффис ничего не выбрасывает. Мне приятно думать, что они уцелели где-то в недрах того мрачного здания и ждут, чтобы их обнаружили и прочли заново.

Они иссякли через девять месяцев с небольшим. Мне приказали заручиться дальнейшими ее услугами, но я этого не сделал. Наша договоренность основывалась на честном слове обеих сторон, и мне хотелось, чтобы она такой и оставалась. Соответственно, я написал ей — на бумаге банка, — что ее долг погашен, так как полная сумма займа выплачена с процентами, и осведомился о ее намерениях. Естественно, банк был бы рад продолжить вести дела с таким надежным клиентом.

В ответе банк благодарили за предупредительность, а также говорилось, что по взвешенном размышлении она решила закрыть свой счет. Ее финансовое положение упрочилось, и она больше не нуждается в кредитном учреждении такого характера. Тем не менее она благодарна ему за поддержку и рада, что сотрудничество было взаимовыгодным.

После от Вирджинии я не получал больше ничего.

Такова была более отрадная сторона моего возвращения в Лондон, менее позитивной стала глубокая немилость у начальства, весьма негодовавшего на мое исчезновение. Отпустить меня на несколько дней — это одно; но чтобы я исчез почти на полтора месяца — совершенно иное, и мне сказали, что не видят причин оплачивать мою отлучку. Акции мои настолько упали, что меня на девять месяцев сослали в отдел внутренних

счетов, в чистилище банковского дела, где сидишь час за часом, изо дня в день в огромном унылом зале и занят исключительно проверкой цифр, пока они не заскачут у тебя в голове и тебе не захочется закричать.

Хуже того, Уилкинсон не видел оснований за меня заступаться, поскольку (по его словам) он не предполагал для меня ничего иного, кроме поездки в Париж и скорейшего возвращения. Вина целиком и полностью моя. Но по крайней мере никто не провел аудиторскую проверку банка до того, как я выплатил долг, возникший из-за моего займа для Вирджинии. Позднее мне пришло в голову, что если бы ее провели, у меня были бы очень серьезные неприятности. Перед моим мысленным взором промелькнула картина, как я стою у скамьи подсудимых, стараясь объяснить скептическому судье, что я выдал — без какой-либо санкции — пять тысяч франков из денег «Барингса» французской проститутке. Ради блага страны. Честное слово, ваша честь. Увы, доказательств у меня нет. К несчастью, моя французская шпионка исчезла, а Форин оффис заявил, что вообще меня не знает.

С другой стороны, это окончательно мне доказало, что изъять денежные суммы из самого уважаемого банка мира на удивление легко. И со временем мой тюремный срок в бухгалтерии подошел к концу, и я был восстановлен в фаворе, хотя и не до такой степени, чтобы мне позволили снова поехать во Францию. За год или около того мои познания в банковском деле возросли — как и степень скуки. Я даже начал с нежностью подумывать о холодных ночах, которые просиживал под мостом через Рейн, хотя воспоминания о кислой физиономии и саркастических окриках Лефевра быстро возвращали мне здравомыслие.

Я надеялся, что меня снова позовут к Уилкинсону, но ни слова, и я не знал, где его искать; министерство иностранных дел утверждало, что у них в здании нет такого лица, и он словно сквозь землю провалился. Со временем я решил, что с тем диковинным приключением покончено; я подозревал, что Лефевр высказался обо мне столь уничижительно, что по какой бы причине ни выбрал меня тогда Уилкинсон, он с тех пор передумал. Я был непригоден.

Я почти забыл ту историю, когда она началась сызнова. Опять вызов, опять письмо, опять ленч.

— Надеюсь, вы не собираетесь опять просить меня стать для вас курьером, — сказал я, когда с обменом любезностями было покончено. — Я все еще расплачиваюсь за прошлый раз. Из-за вас меня уже год как не выпускают из Лондона.

— Аха-ха, какая жалость. Но это правда не моя вина. Я же не просил

вас шляться по Франции, — сказал он. — Боюсь, тут какая-то путаница.

— Возможно. Но до встречи с вами я был банковским служащим с видами на хорошую карьеру, а через несколько месяцев после нее проводил дни за мелкими выплатами.

— Немного заскучали, так?

— Очень.

— Хорошо. Почему бы вам не пойти работать ко мне?

— Вы, верно, шутите.

— Я серьезно. Ваш парижский друг очень высоко отзывался о ваших способностях, хотя и не о вашем характере.

— Я скорее в канаве бы умер, — с отвращением ответил я. — Кроме того, на меня не слишком большое впечатление произвело комедианство мистера Лефевра, или как там еще его зовут.

— Мистер Дреннан.

— Прошу прощения?

— Мистер Арнсли Дреннан. Так его зовут. Теперь он уже не часто пользуется этим именем, но нет причин, почему бы вам его не знать. Он американец. Он приехал в Европу, когда его сторона проиграла войну. Так о чем вы говорили?

— О комедианстве, — раздраженно повторил я. — Слоняться по барам, слушать сплетни. Пустая трата времени.

— Вы смогли бы работать лучше?

— С легкостью. Хотя и не намереваюсь. Я не желаю иметь дел с Лефевром. Или с Дреннаном.

— Вам и не придется. Мистер Дреннан... э... нашел иное, более доходное место.

— Правда? Разве это не...

— Да, щекотливая ситуация. Боюсь, он поставил нас в затруднительное положение. Он многое о слишком многом знает, понимаете ли. К несчастью, мы не смогли найти его, чтобы обсудить ситуацию.

— Не могу поверить, что он вообще находил для вас что-то полезное. На мой взгляд, его клоунада была совершенно нелепой.

— Вот как?

— Именно.

— И что бы вы сделали иначе?

Вот это мгновение изменило мою жизнь навсегда, потому что тогда я несколькими словами сделал первые шаги, придавшие имперской службе шпионажа большую последовательность, я бы даже сказал, профессиональность, хотя это сочли бы оскорблением. Мне следовало бы

придержаться язык и уйти. Мне следовало бы счесть, что Уилкинсон не тот человек, с кем стоит поддерживать знакомство. Но мне хотелось поддаться. С тех самых пор, как я видел, как Лефевр — или Дреннан — договаривался с Вирджинией, я понимал, что могу сделать то же лучше, и происходящее нашел опьяняющим.

А еще я осознал, что Генри Уилкинсон не восседает, как я некогда предполагал, пауком в сердце огромной сети тайных агентов по всей Европе, бдящий, не возникнет ли опасность или не представится ли удобный случай. Не будучи ни всевидящим, ни всемогущим, он был практически слеп. Он не имел собственного ведомства, не имел бюджета, не имел каких-либо полномочий. Безопасность величайшей Империи, какую когда-либо знал мир, зависела от горстки друзей и знакомых, проходимцев и неудачников. Поток тайных сведений зависел от услуг и просьб. Не было стратегии, не было тактики, не было никаких очевидных целей. Служба была любительской и почти бесполезной. Они во мне нуждались, решил я со всем высокомерием, на какое способен двадцативосьмилетний человек. Гораздо больше, чем я нуждался в них.

Поэтому я изложил вкратце мое видение имперской разведки. Уилкинсона мой анализ как будто очень даже удовлетворил.

— Да, да, — весело сказал он, — думаю, это очень мило обрисовывает нынешнюю ситуацию. И если я не поставил вас об этом в известность, то уверен, вы прекрасно понимаете почему. Если я не могу иметь организацию на деле, то довольствуюсь видимостью оной.

— И как это функционирует?

— По мере сил, — ответил он. — Правительство не верит, что подобная деятельность необходима, да и в любом случае не сумело бы убедить парламент выделить на нее средства. Кое-какая организация может быть создана на фонды, одобренные для армии или флота, но ни та ни другой не видят особой нужды. Последние пятнадцать лет я вел дела без какой-либо легальной основы или финансирования. У нас есть люди, собирающие сведения по всей Империи, в Индии, в Африке и в Европе, но координации нет никакой. Я должен просить вас просмотреть все, что у них есть. Я не могу приказывать им повиноваться или даже объяснить, что им следует искать. В настоящий момент, например, Индийская армия отказывается с нами разговаривать. Я все еще не уверен почему. На мои письма не отвечают.

— Значит, вы, как и я, знаете, что вся это беготня по Франции, сборы слухов в барах бесполезны.

— Нет, далеко не бесполезны, — рассудительно ответил он. — Мы

делаем, что в наших силах, но трудимся не по воле наших хозяев, а вопреки оной. Тут нет ничего необычного. Многие правительственные ведомства считают так же. Думаю, это — расхожее умонастроение государственных служащих. Все это представляется вам неудовлетворительным?

— Мне это представляется жалким.

— Вы могли бы лучше? Учитывая, что политика правительства едва ли изменится.

— Послушайте, — сказал я. — Я работаю в банке. Это коммерческое предприятие, которое, по сути, покупает и продает деньги. Это все, что я умею. У системы есть свои слабые стороны, но она работает. Если вам нужна информация, настоящая информация, а не сплетни, уверен, вы могли бы ее купить. Моя договоренность с Вирджинией существовала на сугубо коммерческой основе, ради взаимной выгоды. Вот почему получилось удачно. Информация — это товар. Им торгуют, как и любым другим, и для нее есть рынок.

— И что бы вы предприняли?

— Я стал бы брокером. Находил бы тех, кто желает продать, и покупал бы за хорошую цену. И за цену же продавал бы дальше.

— И это все?

— Это суть. Разница в том, что для создания подобного предприятия потребуется значительный капитал. Ты получаешь то, за что платишь.

— Вы говорите как предприниматель.

— И вам тоже, боюсь, нужно мыслить как предприниматель. Я не о стоимости крейсера говорю, знаете ли.

— Даже небольшие суммы должны быть оприходованы. Вы удивились бы, узнай, как правительство любит следить за государственными фондами. И тем не менее это, возможно, осуществимо. Не будете ли так добры изложить на бумаге — разумеется, конфиденциально, — в чем заключается ваше предложение и какие вы планируете шаги? Тогда я, вероятно, смогу представить бумагу кое-каким друзьям и спросить их мнения.

Вот так я стал писать меморандумы для правительства. Надо ли трудиться подчеркивать контраст с полетом фантазии, расцветивающим страницы наших романистов? Разве их герои засиживаются за полночь, составляя проекты бюджетов? Или излагая пути перевода денег из одного банка в другой? Перечисляя способы учета выплаченных сумм?

А ведь этим я занимался. Я начал с изложения проблемы — а именно, необходимо установить, каковы намерения Франции (хотя на тот момент

можно было бы вставить название любой страны), — затем указал, что мы живем в эпоху промышленного производства. Правительства не могут ни с того ни с сего вывести на поле армии. Последние необходимо стягивать и экипировывать. На это требуется время. По моим выкладкам, между решением об объявлении войны и собственно ее объявлением должно пройти по меньшей мере девять месяцев, а это возможно отследить, изучая перечни заказов компаниям, поставляющим вооружение, расписания железнодорожных сообщений, данные по закупкам лошадей и так далее. Занято ли правительство получением долгосрочных займов? Требуется ли дополнительных полномочий, чтобы ввести добавочные налоги? Какая война будет вестись, также возможно определить: ассигнуются ли диспропорционально большие суммы на верфи или производителям пушек? Техническую информацию о том, как действует то или иное оружие, (если таковая потребуется) также лучше получать коммерческим путем, а не стараться завербовать офицеров вооруженных сил. Каковы резервы боеприпасов в войсках противника? Если он объявит войну, как долго он сможет вести военные действия?

Значительную часть этой информации, доказывал я, возможно купить за верную цену. В дополнение, многие политики в той или иной мере могут быть склонены к сотрудничеству угрозой раскрытия их финансового положения; также я советовал потратить деньги и время на сбор подробной информации о взятках и прочих стимулах, которые, как известно, принимают политики. Это возможно будет использовать как контрмеру недружественным действиям противника или для получения более конкретных сведений, если таковые потребуются. Наконец, я рекомендовал, чтобы все средства переводились через немецкие банковские учреждения, чтобы создать видимость, будто не мы, а они ведут подобную деятельность.

Получилось, если будет позволено сказать, весьма внушительно. По сути, революционно: сколь бы очевидным ни казалось все это сейчас, применение коммерческой логики к тому, что до тех пор было сферой военных и дипломатов, вызвало некоторый переполох. Из тех, кто видел мою записку, одни были возмущены, другие потрясены, а кое-кто заинтригован. Многие сочли мои аргументы отталкивающими и вульгарными — впрочем, большинство их вообще не одобряло шпионаж в какой-либо форме.

Глава 6

А кое-кто готов был финансировать операции. Я получил инструкции от мистера Уилкинсона, что меня поддержат друзья, что мне полагается поехать в Париж и что теперь я буду журналистом, работающим на «Таймс», — довольно резкое понижение в статусе после «Барингса». От меня требовалось встретиться с редактором, чтобы выяснить, как это будет улажено, когда его проинформируют, что ему полагается меня нанять. Потом меня вызвали на еще один ленч. Я ожидал мистера Уилкинсона, а вышло так, что я впервые встретил Джона Стоуна.

— Ваш главный инвестор, — сказал Уилкинсон, махнув ему. — Потенциальный. Он счел, что следует посмотреть, стоите ли вы затрат, прежде чем вкладывать в вас деньги.

Я внимательно его изучал, когда Уилкинсон ускользнул из комнаты, чтобы оставить нас наедине. Ему было под пятьдесят, и внешности он был решительно непримечательной. Выбрит, с редующими волосами, которых коснулась седина, и одет прилично, но совершенно безлико. Запонки, как я заметил, были с простым узором и недорогие; колец он не носил, в нем не было ничего от лощеного преуспеяния, какое исхитрялись излучать люди вроде лорда Ривлстока, председателя «Барингса». Никакого запаха одеколона, даже самого слабого, никаких признаков помады для волос, дорогой или иной. Он мог бы сойти — за кого пожелал бы. И разумеется, он не привлекал к себе внимания.

Итак, физически он был ничем не примечателен. Не слишком красив и не безобразен. Взгляд у него был внимательный и останавливался на человеке или предмете с большой пристальностью, движения — медленные и отмеренные. Ничто его не торопило, если он сам того не желал. Его спокойствие отдавало уверенностью в себе и (я бы сказал, не будь определение нелепым) удовлетворением.

Я слышал эту фамилию, но не мог вспомнить, в связи с чем. Стоун тогда не был силой, которой стал с тех пор в британской промышленности; его репутация искусственного денежного воротилы росла, но еще не достигла того предела, когда он уже не мог дольше скрывать свои достижения. Его знали как человека, соединившего «Глиссонскую сталь» с «Бесуикской верфью», но пока не было причин считать его кем-то иным, нежели честолюбивым и умелым промышленником. Соответственно, хотя я и был вежлив, но не благоговел от знакомства.

Однако он меня удивил. С промышленниками говорить тяжело, эти

всего добившиеся своими силами люди, для которых промышленность все, считают, будто беседы для слабых. Они презирают банкиров в целом за то, что те ничего не привносят в общество, и за то, что они паразитируют на их предприятиях. Либо подобные Уилкинсону их подавляют, либо они чересчур агрессивно проявляют свое презрение. Стоун не принадлежал ни к первым, ни ко вторым. Держался он мягко, словно бы я делал ему одолжение. Долгое время разговор шел о чем угодно, кроме причины нашей встречи.

— Так вы планируете поехать в Париж? — наконец спросил он, хотя я обмолвился о своем желании осмотреть достопримечательности.

— Через неделю или около того, если все пойдет хорошо.

— А «Барингс»? Банк не расстроен, что приходится отпустить столь многообещающего служащего?

— Банк как будто вполне готов стойко снести утрату, — ответил я с оттенком легкой горечи. Когда я сказал о моем решении в «Барингсе», там только кивнули и приняли мое прошение об отставке. Даже не попросили объяснений, не говоря уже о попытках меня разубедить.

— Понимаю. На деле их нельзя винить. Защищать Империю — занятие, достойное восхищения, но заниматься этим в оплаченное «Барингсом» время — совсем иное дело. Не судите их слишком сурово. В банковском деле нет места для индивидуальности. Даже Ривлсток полагает, что инициатива и отвага должны быть исключительно его привилегиями. И это большая ошибка с его стороны. Полагаю, он обо мне столь же невысокого мнения.

— Могу я спросить почему?

— О, он считает меня выскочкой. — Стоун произнес это со слабой улыбкой, но не стремился создать впечатление, что от того Ривлсток меньше достоин презрения. Скорее он сообщил это совершенно нейтрально, даже если в мнении председателя «Барингса» был резон. — Ничего личного, сами понимаете. Но он считает, я не понимаю смысла денег.

— А вы, по-вашему, понимаете?

— Думаю, я понимаю людей, и Ривлсток слишком часто рискует. На этом он заработал очень много, а потому расхрабрился и хочет заработать еще больше. Он считает себя непогрешимым, а это предвещает крах — рано или поздно. Гордыня, знаете ли, может уничтожить и банкира, а не только древнегреческого героя.

Рядом с человеком, критикующим лорда Ривлстока, всем миром признанного величайшим банкиром в истории, мне стало немного не по

себе.

— Он, несомненно, величайший реформатор банковского дела нашего времени, — сказал я.

— Он величайший игрок, — кисло отозвался Стоун. — И пока ему сопутствовало величайшее везенье.

Я попытался сменить тему.

— А лояльность, — заметил Стоун. — Недурное качество. Но вполне возможно быть одновременно и лояльным, и критически настроенным. По сути, на этих двух качествах я настаиваю. Подхалим — наихудшее из зол в любой организации. Я ни разу не увольнял никого за то, что он со мной не согласился. Я уволил нескольких за готовность согласиться, когда они доподлинно знали, что я не прав.

— Раз уж мы коснулись этой темы, какая именно роль отведена мне? — спросил я несколько раздраженно. — Рискую ли я быть отозванным назад в Англию, если в чем-то буду с вами согласен?

— Я вообще никаких полномочий иметь не буду, — хладнокровно ответил он. — Вы будете работать не на меня, а на мистера Уилкинсона. Я лишь предоставлю вам средства. В порядке эксперимента. Вполне очевидно, что если мистер Уилкинсон решит, что эксперимент провалился, или если расходов на него будет больше, чем пользы, тогда нам придется все пересмотреть.

— Почему вы предоставляете капитал? Это очень большие суммы.

— Не такие уж большие, — сказал он. — И это деньги, от которых я не обеднею. Ваш подход показался мне интересным, и мне претит дилетантство, где бы я с ним ни столкнулся. Я почти считаю своим долгом его устранять. А если не долгом, то хобби.

— Дорогостоящее хобби.

Он пожал плечами.

— Настолько дорогостоящее, что я не вполне вам верю.

— Тогда назовите меня патриотом.

— Я мало что знаю про ваши компании, мистер Стоун. Подобное вне моей компетенции. Но помнится, я читал, что вы поставляли оружие всем до единого противникам, с какими могут столкнуться наши армия и флот. Это действия патриота?

Замечание было оскорбительным и было сделано намеренно. Мне нужно было выяснить, во что я пускаюсь.

— Не моих компаний задача — укреплять безопасность Британии, а долг Британии — обезопасить мои компании. Вы понимаете превратно, — негромко сказал он. — Задача компании умножать капитал. Это ее альфа и

омега, и глупо и сентиментально применять к ней мораль, не говоря уже о патриотизме.

— Мораль должна быть применима ко всему. Даже к деланию денег.

— Странное заявление из уст банкира, если позволите. И это не так. Мораль применима только к людям. Не к животным, и еще менее к машинам.

— Но вы человек, — указал я, — вы производите оружие, которое продаете любому, кто хочет его купить.

— Не совсем, — с улыбкой возразил он. — Он еще должен быть в состоянии себе его позволить. Но вы правы. Я так поступаю. Но задумайтесь вот о чем. Если одна из моих торпед будет выпущена и достигнет своей цели, многие люди умрут. Ужасное событие. Но следует ли винить торпеду? Она лишь машина, сконструированная перемещаться из точки А в точку Б и там взрываться. Если она взрывается, это хорошая машина, которая выполняет свое предназначение. Если нет, это провал. Где тут место для морали?

И компания тоже лишь машина, удовлетворяющая чьи-то потребности. Почему не винят правительства, которые покупают эти торпеды и приказывают выпускать их, или людей, которые голосуют за избрание этих правительств?

Мне следует перестать производить оружие и отказать правительствам в шансе убивать своих граждан дешевле и эффективнее? Разумеется, нет. Я должен его производить. Так диктуют законы экономики. Если я этого не сделаю, спрос останется неудовлетворенным или может случиться так, что деньги будут потрачены на менее эффективную машину, что будет неэффективным использованием капитала. Если у людей не будет торпед, они станут использовать пушки. Если не будет пушек, то лук и стрелы. Если не будет стрел, камни, а если не будет камней, то закусуют друг друга до смерти. Я лишь преобразую желание в его наиболее эффективную форму и извлекаю из процесса капитал.

Для того и существуют компании. Они созданы для умножения капитала, что они производят, не имеет значения. Торпеды, еду, одежду, мебель. Все едино. Ради этой цели они сделают все, что угодно, чтобы выжить и процветать. Они сделают больше денег, используя рабский труд? Если да, то должны его использовать. Они смогут повесить прибыли, продавая то, что убивает других? И опять же должны это делать. Что с того, что они опустошают ландшафты, уничтожают леса, сгоняют поселения и отравляют реки? Они вынуждены делать все это, если могут увеличить прибыли.

Любая компания — нравственный дегенерат. У нее нет понятия о правильном и неправильном. Любые ограничения должны исходить извне — от законов и обычаев, воспрещающих ей те или иные действия, которые общество не одобряет. Но как раз эти ограничения сокращают прибыли. Вот почему компании будут вечно стремиться избавиться от пут законов и действовать без стеснений в погоне за преимуществом. Единственно так они способны выжить, поскольку сильные поглощают слабых. А еще потому, что такова природа капитала, который необуздан, жаждет свободы и тяготится любым наложенным на него ограничением.

— Вы оправдываете продажу оружия врагам своей страны?

— Вы имеете в виду французов?

— Да.

— И немцев, и итальянцев, и австрийцев? — добавил он.

— Да. Вы это оправдываете?

— Но они не враги моей страны, — сказал он с легкой улыбкой. — Мы не воюем.

— Вполне возможно, скоро будем.

— Что ж, верно. Но как по вашему, с какой страной?

— Это важно?

— Нет, — признал он. — Я продавал бы ей оружие, даже если бы знал, что воевать с ней мы будем через полгода. Внешняя политика — не моя забота. Подобные продажи не противоречат закону, а все, что не запрещено, разрешено. Если правительство решит наложить запрет на поставки во Францию, я подчинюсь закону. На данный момент, например, я вижу, что много денег можно заработать на строительстве верфей для Российской империи. Но правительство не хочет, чтобы у России была судостроительная промышленность. Мне бы хотелось поставить царю наши новые субмарины, так как русское правительство щедро за них заплатит. И опять же, я этого не делаю.

— А есть закон воспрещающий?

— Ну разумеется, нет. Законы страны — не только те, что содержатся в своде, одобренном парламентом. Но мне дали понять, что пострадает мой бизнес здесь, и, разумеется, я прислушиваюсь к подобным предостережениям. По моему мнению, это ошибка. Россия неизбежно научится строить дредноуты и субмарины; мы лишь оттягиваем это на несколько лет, а заодно превращаем их во врагов и отказываем себе в значительных прибылях.

— Вы очень откровенны.

— Не всегда. Только когда нет причин не быть откровенным.

Я задумался: страстная речь, произнесенная на бесстрастный, сухой манер, — и попытался во всем этом разобраться. Говоря о капитале, Стоун говорил не как бизнесмен, а скорее как поэт-романтик.

— И какова тут моя роль?

— Ваша роль? Вы, если сделаете свою работу хорошо, облегчите правительству принятие верных решений. В то же время вы дадите лучшие прогнозы на будущее, так что я смогу планировать точнее.

— Надо полагать, вы желаете конфликта.

— О нет. Это мне совершенно безразлично. Я просто хочу быть готовым к тому, что случится. Что бы ни случилось.

— А как же безопасность страны? Империи?

Он пожал плечами.

— Будь мое дело решать, я сказал бы, что Империя малопроизводительна и расточительна. У нее нет цели и слишком мало оправданий своего существования. Без сомнения, стране без нее будет лучше, но не ожидаю, что найдется много тех, кто когда-либо разделит это мнение. Единственное ее оправдание в том, что Индия хранит свое золото в Английском банке и это обеспечивает колоссальное расширение нашей торговли в мире за счет укрепления фунта стерлинга.

Я находил мистера Стоуна пугающим. Я предвидел, что буду работать на правительство, — патриот, трудящийся на благо общества. Но не на человека вроде Джона Стоуна. Лишь под конец нашего разговора я разглядел в нем кое-что еще: озадачивающее и неожиданное.

— Скажите, — попросил он, когда мы встали прощаться, — как ваш отец?

— Как всегда, думаю, — ответил я.

Я чувствовал себя столь же виноватым, сколь и пойманным врасплох: уже некоторое время я не навещал отца в Дорсете и, как я уже упоминал, с каждым следующим посещением в поездке было все меньше смысла.

— Понимаю.

— Вы его знаете?

— Мы были знакомы когда-то. До его болезни. Мне он нравился. Вы очень на него похожи. Но в вас нет его характера. Он был мягче вас. Вам следует остерегаться.

— Чего?

— Ну, не знаю. Уйти слишком далеко от характера отца, возможно.

На том он кивнул, сухо и безлично пожелал мне всего наилучшего и ушел.

Глава 7

Осудив остальных за неумелость и пообещав совершенно новый подход к сбору информации, я обнаружил, что в результате оставлен безо всякой помощи или инструкций. «Так покажите же, как надо», — как будто звучало общее мнение, и позднее я обнаружил, что немало (среди тех немногих, кто вообще знал про наш эксперимент) было таких, кто желал мне прискорбного провала.

Говорить, что будешь делать, на бумаге, — одно, делать это — совсем иное, и я не имел ни малейшего представления, с чего начать. Вполне очевидно, что первым шагом был отъезд в Париж. После придется импровизировать по ходу дела. Мои официальные наниматели были мне несколько полезнее: Джордж Бакль, редактор «Таймс», воспринял мое внезапное вторжение в свою жизнь с примечательным спокойствием и передал меня младшему репортеру по фамилии Макюэн в обучение, чтобы он объяснил мне, как писать для газеты, а также преподал практические знания, как пользоваться телеграфирующей машиной для передачи любых статей, какие мне захочется написать. Тот факт, что от «Таймс» не требовалось мне платить, без сомнения, примирил Бакля с моим существованием.

Потом я уехал и прибыл в Париж однажды в среду утром. Мой багаж доставили заранее, и никакие чемоданы меня не стесняли. Поэтому я сразу отправился в контору «Таймс» — такое название не совсем подходило одной единственной комнатке, на назначение которой не указывало ничего, кроме стоп старых французских газет на полу. Дверь была не заперта, сама комната пуста, но на столе лежала адресованная мне записка: не буду ли я так добр присоединиться к ее автору, Томасу Барклаю в ресторанчике неподалеку за ленчем?

Я был так добр. Официант проводил меня к нужному столику, и я сел напротив человека, который был — теоретически — моим новым коллегой.

На тот момент Томасу Барклаю было под пятьдесят. У него были прекрасная волнистая красно-рыжая борода, огромные уши, странно острый нос и лоб интеллектуала. Он часто хмурился, выставляя напоказ свою серьезность — подозреваю, эту склонность он приобрел от слишком долгого изучения немецкой философии в Йене, — хотя в результате производил впечатление скорее растерянности, чем глубокомыслия.

По счастью, он был столь же серьезным журналистом, как и я, но к тому времени провел в Париже почти двадцать лет. В начале семидесятых

он опубликовал книжную рецензию в журнале «Спектейтор» и, поскольку проявил готовность жить за границей, на ее лишь основании получил место парижского корреспондента «Таймс». Сообщения от него поступали немногочисленные и нечастые и всегда изложенные столь запутанно, что зачастую трудно было понять, о чем, в сущности, идет речь. Для Баркля важность события напрямую зависела от важности лица, сообщившего ему информацию, поскольку он был пре-ужасным снобом и мог довести себя до горячки из-за приглашения в престижный салон или на обед в доме сенатора. Слова своих собеседников он воспринимал как тончайшую золотую пыль, но был настолько тактичен, что не мог излагать их, не облекая крупицу информации в такое многословие, что значимость их терялась совершенно. Кроме того, он недавно стал президентом Британской палаты коммерции в Париже и сей пост воспринимал крайне серьезно, полагая — довольно странно, — что это пост высочайшей политической и дипломатической важности, а не просто председательство в обеденном клубе для иностранных торговцев.

Он был счастлив меня видеть и ни в коей мере не смущен ни тем, что никто не спросил его мнения о моем приезде, ни полнейшим отсутствием у меня опыта.

— Очень немногие в Англии интересуются тем, что творится за пределами Империи, — весело сказал он, — пока их самих это не касается. По большей части можете писать, что пожелаете, а для всех важных событий прекрасно подойдет дословный перевод из почтенной парижской газеты. На вашем месте я не стал бы тратить силы, бегая в поисках интересных историй. Никто не будет их читать, и скорее всего их не опубликуют. Единственное, ради чего стоит трудиться, — скандал в высшем свете. Они всегда хорошо проходят, так как подтверждают мнение наших читателей о безнравственности французов. Книжные рецензии, если вы не против, я оставлю за собой. И театр, но только если участвует Бернар.

Я сказал ему, что все книжные рецензии он может оставить себе.

— Я думал, — осторожно начал я, — не написать ли мне несколько статей о Фондовой бирже.

Он нахмурился.

— Валяйте, если хотите. Мне это особо интересным не кажется. Но разумеется, на вкус и цвет.

— Мне назвали несколько имен, — добавил я. — Было бы невежливо не нанести визит.

— Господи милосердный, разумеется. Идите. Не думайте, пожалуйста,

что я намереваюсь как-либо вами руководить. Пока вы пишете по статье примерно раз в две недели, все будут довольны.

— Постараюсь, — пообещал я.

— Вчера я уже одну я написал, — сказал он. — Поэтому еще некоторое время мы чисты. Если вы напишите следующую...

Я сказал, что, на мой взгляд, сумею написать что-нибудь за пару недель, и он, просияв, откинулся на спинку стула.

— Замечательно. Значит, с этим улажено. А теперь, где вы остановились?

Остановился я в гостинице и, так уж получилось, прожил там следующий год: это был самый дешевый выход, так как мне не хотелось тратиться на дом и прислугу, а номер был вполне приемлемым. Домашний очаг никогда не был моим величайшим желанием в жизни и уж точно в ту пору: удобная кровать и приличная еда — мои единственные потребности, и отель «Фарос» (на самом деле несколько комнат над кафе с услужливым домохозяином, чья жена согласилась стирать мне белье и иногда готовить) давал и то и другое.

Рассказ о моей повседневной жизни я опушу, поскольку большого интереса она не имела и состояла главным образом в создании тех сетей информаторов и завязывании знакомств, которые необходимы журналистам и прочим алчущим сведений. Как это делается — вполне очевидно и заключается в основном в том, чтобы представить себя как можно более привлекательным и безобидным, создавая пустоту, которую другие стремятся заполнить болтовней. В сплетнях проскальзывают намеки и зацепки, которые — иногда — приводят к чему-то более важному. Я заводил знакомства в самых разных кругах, так как нашел французов — вопреки их репутации — и очаровательными, и гостеприимными. Я обхаживал торговцев на Фондовой бирже, драматургов Латинского квартала и политиков, дипломатов и солдат — в самых разных районах города. Все они, полагаю, считали меня немного скучным и не имеющим собственного мнения: иметь мнение в мою роль не входило.

И в августе поехал в Биарриц, куда отправлялись нувориши республики отдыхать в окружении старых имен и титулов и держаться на должном расстоянии от Народа, класса, которым они восхищались в принципе, но с которым не желали иметь ничего общего. Упоительное зрелище, если наслаждаться им недолгое время, доказательство состояний богатых и умения французов развлекаться. Все, кто что-либо значил во французском свете, стекались на отрезке побережья, ограниченном отелем «Дю Палэ» на севере и отелем «Метрополь» на юге; гостиницы разделяли с миллю или

около того прекрасного пляжа и многие десятки вилл прихотливой и причудливой постройки. Городок тогда был на пике своего процветания: сама королева Виктория приезжала с визитом годом ранее, и принц Уэльский показывался ежегодно. Наталия Румынская, принцесса в изгнании, занимала красивую виллу на холме, начали приезжать первые русские великие князья. Англичане колонизировали целый регион от По и Пиренеев до побережья, очевидно, забыв, что Аквитания им больше не принадлежит.

Неделя за неделей, днем и ночью тут кружил бесконечный вихрь удовольствий для тех, у кого были связи, и даже для тех, кого, как меня, можно было в наличии этих связей заподозрить. Доступ в общество я получил при посредничестве мистера Уилкинсона, который устроил так, чтобы принцесса Наталия пригласила меня на один свой прием. С этого момента быстро прошел слух, будто я некто, с кем следует иметь знакомство, — хотя никто не знал почему. Меня готовы были принимать, чтобы попытаться разгадать мой секрет. Мне по очереди приписывали то, что я чудовищно богатый банкир, то, что я внебрачный сын герцога Девонширского, то, что я заводчик скаковых лошадей или владею огромными землями в Австралии. Все указывало на то, что меня следует приглашать на званые вечера, и я приходил, старательно уклончивый в ответах на любые вездливые вопросы, и постоянно настаивая, что я всего лишь журналист «Таймс». Никто не верил.

Увы, бедная принцесса была безотрадной и скучной. Женщина с прекраснейшим характером и добрейшей души, но за этой самой душой у нее были лишь ее трагические обстоятельства и титул, чтобы побаловать очень и очень требовательных французов, которые ожидают от своих женщин красоты, ума, элегантности и шарма в любое время и в любой ситуации. Принцесса была вдумчивой, невзрачной, серьезной и редко улыбалась из страха показать дурные зубы. Но она была принцессой, а потому неминуемо пользовалась уважением этих приверженцев эгалитаризма.

Ее положение самой важной женщины в Биаррице было столь же шатким, как и притязания на трон Румынии: то и дело возникали претендентки, чтобы бросить ей вызов. И никто не был опаснее графини Элизабет Хадик-Баркоци фон Футах унс Сала, женщины исключительного обаяния, которая в тот год впервые совершила поездку в Биарриц и из-за которой весь городок потерял голову от восторга. Французский свет (гораздо больше английского) на удивление умел брать под свое крыло подобных людей. Они становились фокусом внимания мужчин, давали

другим женщинам понять, что следует носить, порождали сплетни для заполнения обеденных разговоров и вызывали — просто и однозначно — восхищение. Одни были искусственными созданиями, немногим выше куртизанок, с ужасными манерами и отсутствием воспитания, которые пылали ярко, но падали на землю, едва скука брала свое. Другие — такие, как, согласно всеобщим сведениям, графиня, — были глубже.

Стать предметом увлечения — немалое достижение: оно требует безупречных манер, искрометной беседы, изящества и красоты. А еще необходимо то магическое нечто, которое не поддается определению, но которое, едва его увидят, распознается без труда. Одним словом, присутствие: способность быть в комнате так, чтобы все и каждый об этом знали, сколь бы тихо вы ни вошли или незаметно держались. Способность тратить щедро, но не напоказ; получать лучшее во всем, какова бы ни была (высокая или низкая) цена. Умение быть простой, когда это удобнее, экстравагантной, когда необходимо, и никогда, ни разу не сделать неверного шага.

Такова, одним словом, была эта графиня с впечатляюще длинной фамилией, и рядом с ней бедная румынская принцесса увяла, как цветок в засуху. Разумеется, все это меня не касалось: я приехал сюда по совершенно иной причине; светский водоворот был театральным задником моей деятельности, и я интересовался им лишь постольку-поскольку. Я слышал о видных персонах городка, но разговаривал лишь с немногими из них. Причина моего пребывания тут была вполне конкретной: мне нужно было выяснить кое-что про уголь. Равно мне представился случай встретиться с мистером Уилкинсоном, который каждое лето отправлялся в пешее путешествие по Пиренеям: он был большим знатоком флоры и фауны этого края и незадолго до смерти опубликовал книгу о его дикорастущих цветах, которая сейчас стала основополагающим трудом по данному вопросу для тех, кто подобным интересуется, — к ним я, должен сознаться, не отношусь.

Но уголь был основной причиной и оправданием недели в отель «Дю Палэ» за счет Джона Стоуна. Британия переживала очередной период беспокойства из-за Средиземноморья. Разумеется, она всегда их переживала, но нынешние тревоги были сильнее обычных: страх, что произойдет еще одно наступление на позиции Британии на Ближнем Востоке, когда Российская империя и французы объединятся против наших интересов на Черном море и в Египте и, соответственно, наших путей сообщения с Индией по Суэцкому каналу. Хотя Королевский флот с легкостью справился бы с атакой любого чужого флота, велик был страх,

что русские и французы объединятся, а иметь дело с обоими одновременно стало бы затруднительно. Вот почему правительство более всего желало помешать России построить верфь на Черном море и тем самым иметь возможность удовлетворять в будущем потребности крупного флота в регионе. Как раз потому русские именно этого желали.

Так французы подумывают вывести свой флот из Тулона? Вот что мне полагалось разузнать. Все обычные источники информации не дали ничего: если что-то планировалось, слух еще не просочился к рядовым. Но вероятно, и не просочился бы; я сомневался, что решение материализуется до будущей весны, самое раннее — месяцев через семь. Проблема заключалась в том, что, если Британии нужно усилить свой средиземноморский флот, знать об этом следует заблаговременно, чтобы успеть отозвать корабли из Вест-Индии, заново переоснастить их и опять выслать. На это также уйдет несколько месяцев.

Отсюда мой интерес к углю. Боевые корабли потребляют поразительные объемы топлива, и держать их в море, в боевой готовности — масштабная операция логистики. Требуется десятки тысяч тонн угля, и, когда понадобятся, запасы должны ждать в угольных хранилищах. В наше время нельзя уже просто выслать корабли: необходимо заранее проделать уйму работы, так как боевой корабль, мертво лежащий на воде, неспособный двинуться с места, никому не нужен. И хотя все флоты держат соответствующие объемы угля в различных хранилищах по миру, даже Королевский флот не имел наготове такие объемы повсюду, где они могли бы понадобиться.

Французский флот заказывает уголь крупными партиями? Он привлекает посыльные суда из средиземноморского торгового флота, чтобы доставлять его на боевые корабли? Перенаправляются ли запасы из атлантических портов в средиземноморские? Если бы я знал ответы на эти вопросы сейчас, то мог бы не только сообщить в Лондон правительству, что французский флот будет делать в будущем году, но и рискнуть выдвинуть предположение о французской внешней политике на ближайшее будущее.

Чтобы выяснить это, я в один августовский вечер очутился за обеденным столом с капитаном французского флота и его любовницей. Он был мягким, любезным малым, которому ни за что не следовало поступать на воинскую службу: в нем не было ни толики воинственности, и морским вояжам с целью взять врага на абордаж он предпочитал коллекционирование. Но семейная традиция и властный отец-адмирал постановили иначе. В обычных обстоятельствах я бы потратил время на

попытка стать, так сказать, борт о борт с отцом, но капитан Люсьен де Келетер на тот момент достаточно меня интересовал. Ведь бедняга был чудовищным неудачником. Неспособность командовать другими означала, что флот — с некоторой прозорливостью — отказался подпускать его к чему-либо, что действительно плавало; вместо этого ему дали место в Париже, где он проводил свои дни, стараясь избежать разочарованных гримас отца и (что важнее) организуя поставки, в частности, угля. К этому он имел значительный талант: нехватку решительности и напора он восполнял дотошным вниманием к деталям и всепоглощающей заботой о заполнении формуляров.

Еще он был интересным собеседником; он понимал, что стал горьким разочарованием для своей семьи, но относился к этому философски.

— Знаю, прозвучит абсурдно, но я действительно верю, что будущее флота за тем, чем я сейчас занимаюсь. А вовсе не за кораблями, — сказал он.

— И чем же вы занимаетесь? — невинно спросил я.

— Снабжением. Углем по большей части.

— Но разве флоту не нужны корабли?

— По сути, нет. Если вдуматься, французский флот ни для чего со времен Крымской войны не использовали, и мало шансов, что используют снова. Если корабли никогда не выйдут из гавани, ничего не изменится.

— Но если так, то и вам делать будет нечего, — указал я.

— Э, — он погрозил мне пальцем, — даже когда корабли на рейде, все равно нужно, чтобы их котлы работали. Этого достаточно, чтобы меня занять. А после, что происходит? Если флот вообще выведут из гавани, командование вдруг решит, что угля нужно еще. Представляете себе, сколько угля требуется флоту, если он выходит в море?

— Нет. Понятия не имею.

— Около двух тысяч тонн в месяц на корабль. Флоту, скажем, из десяти дредноутов, пятнадцати эскадренных миноносцев и тридцати или около других кораблей понадобится около сорока пяти тысяч тонн в месяц. И все их нужно будет изыскать без проволочек. Вот почему от него такое беспокойство.

— Тяжело, — сочувственно сказал я. — Это усложняет вам сейчас жизнь?

— К счастью, нет, — сказал он, и я расслабился: я попал в цель. — Поговаривали, будто что-то произойдет в Средиземноморье — учения или что-то вроде того. Поэтому я пошел к адмиралу и спросил, что от меня требуется. Ничего, ответил он. Сплошные слухи, ничего больше. Он даже

сказал, что я могу немного сократить резервы, просто чтобы наказать поставщиков, которые взвинтили цену на высококачественный уголь в прошлый раз, когда сочли, что флот могут вывести в море.

— И кто ваш адмирал? — спросил я.

Этот адмирал как будто был хорошо осведомлен, нужно будет как-нибудь с ним познакомиться. А кроме того, мне надо было удостовериться, что мой собеседник действительно знает, о чем говорит.

Люсьен, благослови его небо, назвал мне фамилию, и я понял, что мои поиски завершены. Адмирал командовал тулонским флотом и имел хорошие связи во французском министерстве иностранных дел, иными словами, человек с будущим, который знает, о чем говорит, и не совершает ошибок вроде не ко времени брошенных слов, в результате которых флот не будет в боеготовности, когда потребуется. Теперь нужно было только сравнить эту информацию с колебаниями цен на крупные партии антрацита на угольной бирже в Париже, и я смогу отослать доклад в Лондон. Я сменил тему и начал стараться завоевать его любовницу, которая как будто совсем отчаялась от скуки нашего разговора. Она пришла в дурное настроение, начала дуться и постаралась, чтобы за нашим небольшим столиком несколько раз воцарялось ледяное молчание. В один из таких моментов я увидел, как Люсьен смотрит на другой стол с едва заметной улыбкой интереса.

— Морис Рувье с дамой, — обрадованно сказал он. Легкий упор на последнем слове заставил меня тоже повернуться и посмотреть. — Она для него старовата. Насколько я понимаю, он предпочитает чуть моложе.

Рувье был министром финансов; я знал его в лицо, хотя пока не был ему представлен. Он не пользовался всеобщей любовью. Помимо толики непристойности, на которую намекнул Люсьен, о нем также ходили слухи, что и в обращении с мужчинами он далеко не прямолинеен. Иными словами, он был неискренен даже по меркам политиков; его ждала долгая и успешная карьера. Его присутствие здесь само по себе свидетельствовало о важности каникул в нужных местах: Рувье был уроженцем юга, средиземноморцем по происхождению и тем самым ассоциировался с пренебрежением приличиями, которое обычно причисляется к свойствам таких людей. Однако он был (и это нехотя признавалось) человеком способным: министром финансов, который взаправду в финансах разбирался, что было необычно, и знал банковское дело. И он преуспел в карусели французской политики: уже отбыл один срок на посту премьер-министра и с тех самых пор с большой регулярностью получал министерские портфели. Он не имел известных политических взглядов;

единственное его твердое убеждение лежало в яркой оппозиции подоходному налогу. В остальном он поддерживал все и вся, лишь бы оно способствовало его карьере.

Внимание Люсьена было, однако, обращено не на человека, который временно держал в своих руках финансы страны, а на его собеседницу через стол на шесть человек, стройную, высокую женщину с темными волосами и в платье с глубоким декольте, открывавшем исключительно красивые плечи и длинную шею, которую подчеркивала одна нитка самых крупных бриллиантов, какие я когда-либо видел. Она была молода, чуть старше двадцати, и даже на расстоянии остальные казались на ее фоне блеклыми. Ее окружали мужчины, в основном среднего возраста, и было ясно, что целью всех разговоров было привлечь ее внимание.

Я бросил на нее взгляд, отвернулся, потом оглянулся посмотреть снова.

— Неприлично так тарашиться, — со смешком сказал мне на ухо Люсьен. — А она картинка, верно?

Его любовница, чьего имени я так и не узнал, нахмурилась и еще глубже погрузилась в угнетенное молчание. Бедняжка, контраст между ними слишком разительно бросался в глаза.

— Кто она?

— О, какой вопрос! Действительно — кто? Это знаменитая графиня Элизабет Хадик-Баркоци фон Футах унс Сала.

— А, — сказал я. — Так это она, да? Я столько про нее слышал.

— Сенсация сезона. Покорила Париж с быстротой и апломбом, который так и не удался прусской армии. Говоря иными словами, она произвела фурор в высшем свете, разбила сердце каждому мужчине на расстоянии ста метров и выставила своих соперниц старыми, неотесанными и вообще лежалым товаром. Разумеется, каждая женщина в городе ее ненавидит.

— Я поражен.

— И все остальные тоже.

— Расскажите мне еще.

— Слухов много, но доподлинно не известно ничего. Она, кажется, вдова. Трагическая история: молодожены, муж падает с лошади и ломает себе шею. Определенно богата и приехала в Париж, потому что... Никто не знает почему. Она вращается в самых лучших кругах и, без сомнения, вскоре выйдет замуж за герцога, либо за политика, либо за банкира — в зависимости от ее вкусов. У нее есть любовник? Никто не знает. Она окружена тайной — как и вы, но (если вы простите мои слова) гораздо красивее.

— Мне бы хотелось познакомиться с этой женщиной.

Люсьен фыркнул.

— А мне выпить чаю с королевой Викторией — ни того ни другого не случится. Все про нее знают, кое-кто был в одной с ней комнате, но мало кто с нею знаком.

— Так в чем секрет?

Он пожал плечами:

— Кто знает? Она не красивее многих. Говорят, она остроумна и обаятельна. Но таких много. Не знаю. Она — из тех, с кем хочется быть.

— В таком случае, — усмехнулся я, — я у нее спрошу.

И я встал от своего стола и подошел прямо к ней. Кашлянув, чтобы привлечь ее внимание, я поклонился министру и улыбнулся, когда она посмотрела на меня.

— Добрый вечер, принсипесса, — сказал я тактично, но достаточно громко, чтобы меня услышали сидящие поблизости. — Могу я засвидетельствовать мое почтение самой прекрасной женщине Франции?

— Можете, когда ее найдете, — ответила она, сверкнув глазами.

На том я откланялся, чтобы, довольный успехом, вернуться за свой стол.

— Поверить не могу, что вы это сделали, — сказал Люсьен со смесью шока и упрёка.

— Она женщина, не Афина Паллада, — ответил я и вернулся к обеду, который теперь показался мне много вкуснее, чем раньше, и остаток вечера посвятил комплиентам его любовнице, которая как будто была благодарна мне за внимание.

К себе в гостиницу я вернулся часа три спустя, и на стойке портье меня ждал конверт. Внутри лежал листок бумаги, на котором было написано: «Завтра. В два часа. Вилла „Флэри“».

Глава 8

— Про принцессу мне понравилось, — сказала она при встрече. — Сгущает тайну. По всему Биаррицу уже говорят, что венгерка это только для отвода глаз, а на самом деле я неаполитанская принцесса, живущая инкогнито из страха перед мужем.

Я покачал головой.

— Уж на неаполитанку ты никак не похожа.

— Я и по-венгерски не говорю, — отозвалась она. — Что тебе нужно?

Ее резкость была понятной. Я, вероятно, был последним человеком на свете, кого она хотела бы встретить.

Ее обстоятельства изменились так же, как и ее внешность, — иными словами, преобразование было полным. Она жила на элегантной новой вилле в нескольких сотнях ярдов от отеля «Дю Палэ», в сердце самой модной части города. Виллу построил лет пять назад один банкир, который редко ею пользовался и в свое отсутствие сдавал за головокругительную сумму. Обставлена она была неброско и со вкусом, и Вирджиния (или точнее Элизабет, как мне следовало теперь ее называть) подходила ей так же полно, как и изготовленная на заказ мебель и ручной работы стекло в стиле арт-нуво, который как раз входил в моду. Ни дом, ни она сама не имели ни малейшей связи с претенциозной броскостью, обычно соотносимой с *grandes horizontales*,^[5] у которых вульгарность составляла часть шарма.

То же касалось ее манеры держаться, чему я короткое время был свидетелем накануне. Иные ее толка постарались бы привлечь внимание, разбрасывая по ресторану брильянты ради удовольствия посмотреть, как мужчины бросятся их подбирать, или увидеть пренебрежение и ярость на лицах их женщин от демонстрации того, как легко повелевать такими мужчинами. Другие бы говорили громкими голосами или вставали танцевать одни, устраивая сцену как раз тем, что выставляют себя напоказ. Они обещали наслаждение, но лишь на одну ночь. Эта же женщина безмолвно предлагала гораздо большее.

Уже то, как она сидела, производило впечатление. Несомненно, ей было не по себе, она нервничала, была немного напугана. Могло ли быть иначе? Но ни в лице, ни в ее осанке я не заметил ни тени этого. Ее самообладание было исключительным, почти сверхчеловеческим.

— Я ничего не хочу, — просто ответил я. — Я узнал тебя и не смог отказать себе в удовольствии поздороваться. Вот и все.

— Все?

Я задумался.

— Наверное, нет. Мне было любопытно. И если позволишь, на меня больше впечатления произвели твои успехи. Мне хотелось каким-то образом тебя поздравить. А еще возобновить знакомство.

Она позволила себе полуулыбку.

— И что ты тут делаешь?

— Я журналист, в какой-то мере.

Она подняла тонко выщипанную бровь.

— В какой-то мере? Звучит так, словно на деле никакой ты не журналист.

— Нет, правда. Я работаю на «Таймс». Через несколько дней смогу в доказательство предъявить тебе статью про рынок угля.

— Я тебе не верю.

— И я не верю, что ты венгерская графиня. У нас обоих в прошлом есть секреты. Скажу еще раз — в прошлом, и пусть там остаются. Хотя мне интересно знать, откуда у тебя такое имя. Элизабет Хадик?

— Баркоци фон Футак унс Сала, — закончила она за меня.

— И не выговоришь. Тебе не кажется, что-то попроще было бы лучше?

— О нет. Чем длиннее фамилия, тем лучше. А кроме того, такая женщина действительно существовала, я однажды встретила ее мать. Она рассказала, что у нее была дочь, которая была бы одних со мной лет, если бы не умерла. Поэтому я решила ее воскресить.

— Понимаю.

— Я ничего больше для тебя делать не буду, — сказала она вдруг.

— Я тебя не просил. И не собирался, хотя перспектива и искушает. Не сомневаюсь, что мои хозяева, если бы они у меня, конечно, были, очень бы не одобрили мою слабость. Но у меня никогда не было склонности заставлять людей делать что-либо. Полагаю, в прошлом я обходился с тобой прямо и честно.

Она кивнула.

— Пусть так и остается. Но мне бы хотелось знать, как тебе удалось так подняться с нашей последней встречи. Твои обстоятельства тогда были несколько иными.

Она рассмеялась, и хотя ее лицо ни на йоту не изменилось, я уловил, что она расслабилась. Она мне поверила и — в очень незначительной степени мне доверилась. Что было оправданно, ведь, произнося эти фразы, я говорил серьезно. Но подспудно понимал, что в один прекрасный день возможно предам это доверие. Я не любил шантаж, но достаточно знал

мир, чтобы понимать, насколько это действенное оружие. В свою защиту скажу лишь, что надеялся, что такая необходимость никогда не возникнет.

— Не хотите ли чаю, мистер Корт?

— Благодарю вас, графиня. Кстати, это моя настоящая фамилия. Не вижу смысла играть с вымышленными. Тут, думаю, мы расходимся во мнениях.

Она позвонила в колокольчик на столике и отдала распоряжение слуге, который появился с большой расторопностью. Я очень надеялся, что он не из тех слуг, кто подслушивает под дверьми.

— Не беспокойтесь, — сказала она, умело прочитав по моему лицу. — Дерево очень толстое, и у нас обоих голоса не слишком четкие. Кроме того, хотя у Симона острый слух, он хорошо оплачивается и имеет собственные секреты, которые лучше бы не выставлять на всеобщее обозрение. Что до моей маленькой уловки, мое собственное имя мне дверей не откроет. Что прекрасно делает в этой республиканской стране благородный титул, сколь бы фальшивым он ни был. Делаешь то, что необходимо.

Внесли чай — с изящными фарфоровыми чашечками и серебряным чайником. Очень мило, но не для серьезного любителя чая. Что ж, приходится идти на уступки.

— Хотите, перейдем в сад? — спросила она. — День хороший, и у меня отличный вид на море. Тогда я расскажу кое-что из своей истории, если пожелаете.

Она кивнула слуге, который вынес поднос на террасу, и когда все было приготовлено, мы последовали за ним. Было восхитительно: вилла стояла на склоне невысокого холма, поднимавшегося над пляжем, имела большой и хорошо разбитый сад с газоном и растениями, более привычными к теплым краям. Было тут и высокое дерево для тени, под ним мы сели за изящный металлический столик с видом на море, которое радовало глаз бурной игрой волн, хотя там, где сидели мы, было тепло и тихо.

— Тут, сам видишь, мы можем быть вполне уверены, что нас не подслушают, — сказала она, кивнув, чтобы я налил ей чаю. — Странно, но едва опустишь детали, которые показались бы тебе отталкивающими и неподобающими, рассказывать почти нечего. Говорить буду твоим языком, поскольку я переняла твой подход. Я реинвестировала мои прибыли и накопила капитал, потом решила перенести мои операции в другую область. Как звучит?

— Звучит весьма похвально, хотя совсем ничего мне не говорит.

— Начало моей истории тебе и так известно; я поднималась вверх по

табели о рангах войск в Нанси и по ходу сделала великое открытие. А именно: много прибыльнее быть чьей-то любовницей, нежели шлюхой. Прости мне такое выражение. Мужчины делают своим любовницам подарки, а женатые мужчины готовы далеко зайти, чтобы заставить их молчать. А поскольку свободные часы, которые они могут провести в обществе мне подобных, ограничены, у нас остается много свободного времени. Итак, я пришла к выводу, что могу безраздельно принадлежать одному в понедельник, другому во вторник, третьему в среду и так далее. Пока ни один не знает о существовании остальных, дела идут хорошо. Все мои акционеры, как я их называю, согласились взять меня на содержание, поэтому мой заработок увеличился пятикратно, и львиную его долю составляла чистая прибыль. Поскольку двое были исключительно щедры, я вскоре накопила достаточно, чтобы задуматься о независимом существовании.

— Достаточно для всего этого?

— Нет. В настоящий момент денег у меня очень немного. Все мои заработки я снова вложила: драгоценности, платья, эта вилла, дом в Париже. Я перебиваюсь на диете из долгов и пожертвований. Но уже не боюсь канавы.

— Очень за тебя рад.

Она кивнула.

— Так ты по-прежнему...

— Да?

— Как бы это сказать? Жонглируешь клиентами? Сколькими?

— Четырьмя. С большим числом есть опасность не справиться. И я действительно нахожу что мне нравится свободное время. Два-три дня в неделю я оставляю для отдыха и выходов в свет. Сейчас у меня каникулы. Своего рода.

— Своего рода?

— Другое мое великое открытие — что мужчины гораздо щедрее с женщинами, которым их щедрость не нужна. Говоря иными словами, щедрость соотносима с положением женщины в обществе. Ты, например, одолжил мне пять тысяч франков — больше, чем я просила, конечно, и достаточно, чтобы преобразить мою жизнь. Но пришло бы вам в голову, что за такую сумму можно купить графиню Элизабет Хадик-Баркоци фон Футак унс Сала? Про которую известно, что она стоит по меньшей мере миллион?

— А ты правда стоишь?

— Я сказала — известно. Я не говорила, что у меня такое состояние.

Репутация важнее реальности, мистер Корт.

— Понимаю. И ответ на твой вопрос — нет. Впрочем, я очень и очень сомневаюсь, что мысль купить графиню вообще пришла бы мне на ум.

— Тогда ты не похож на многих мужчин, для которых чем недостижимее трофей, тем более он им необходим.

— Мсье Рувье?

Она укоризненно подняла палец.

— Я готова обсуждать дела в общих чертах, мистер Корт. Но подробности должны остаться моим секретом.

— Мои извинения. Если мой вчерашний знакомый прав, то ты быстро становишься самой недоступной женщиной Парижа.

— И следовательно, самой дорогой, — с улыбкой сказала она. — А это требует денег. Пребывание месяц в этом доме, роскошные приемы стоят целое состояние. Но и делают мужчин щедрее.

— Мне трудно поверить, что каждая заинтересованная сторона не подозревает о существовании остальных.

— Разумеется, они друг про друга знают. Но каждый считает себя единственным обладателем, а остальных просто ревнивцами.

— Не понимаю, как подобное предприятие может выдержать сколько-то времени, не дав сбой.

— Вероятно, не может. Но я полагаю, что еще через год это не будет иметь значения. Я накоплю достаточно денег, чтобы жить в достатке, а потому надобность в предприятии отпадет. Не думаю, что подобная жизнь может продолжаться вечно, а мало что есть хуже потаскухи средних лет.

Такие слова настроили ее на задумчивый лад, и я почувствовал, что ей от них стало не по себе.

— Надеюсь, вы не сочтете меня грубой, если я скажу, — добавила она, переходя на светское «вы», — что вам пора уходить, мистер Корт. Сегодня у меня работа.

Встав, я чуть запнулся, говоря, что, разумеется, понимаю.

Она улыбнулась.

— Нет. Вы неправильно меня поняли. Я ведь сказала, я на отдыхе. Мне нужно на прием к принцессе Наталии. Скучная и удивительно глупая женщина, но мне необходимо ее одобрение. А потому, — весело добавила она, — нужно ехать и ее очаровать или по меньшей мере скрыть презрение.

— Прошу, приходите снова, — сказала она, когда я готовился уходить. — Завтра я устраиваю на вилле прием — в девять вечера. Вы будете желанным гостем.

— Я польщен. Но я думал...

— ...что я захочу держаться от вас как можно дальше? Разумеется, нет: приятно найти кого-то, чей образ жизни еще безнравственнее моего. А кроме того, по-моему, лучше за вами приглядывать. И вы мне нравитесь.

Странно, как простая фраза способна произвести огромное впечатление: из ее уст она сильно на меня подействовала. Я подозревал, ей мало кто нравился: жизнь научила ее, что мало кто достоин симпатии и еще меньше доверия. И все же она предложила мне и то и другое. Это был расчет? Если да, искусством было дать понять, что это не так, что слова исходят от чистого сердца.

Читая эти слова, вы считаете меня наивным, если меня так легко провели уловки бывшей потаскушки? Что ж, вы ошибаетесь, но сами попались бы, если бы познакомились с ней, когда она была в зените своей власти. И она сама не была ни кроткой, ни ранимой, сколь бы таковой ни представлялась. Она научилась выживать, бороться и не сдавать ни пяди враждебному миру. Сколь бы мягкой и женственной она ни казалась, нутро у нее было крепче стали. Никто ее не знал, и, уж конечно, никто ею не злоупотреблял. Во всяком случае, дважды.

Со мной она к доверию подошла ближе, чем с кем-либо из всех, кого знала. Надеюсь, я не льщу себе, говоря, что доверие было заслуженным, а не просто следствием того, что мою тайну она знала так же хорошо, как и я ее, хотя, без сомнения, и это отчасти явилось причиной. Я имел возможность обойтись с нею дурно и отказался от этой возможности. Я обошелся с нею справедливо и не злоупотребил своей властью над ней. Я обращался с нею так, как заслуживал ее характер, а не как позволяли ее обстоятельства. Она мало к кому проявляла лояльность, но когда наделяла ею, лояльность была безграничной.

Глава 9

Прием обернулся большим событием. Лишь с толикой преувеличения скажу, что он преобразил мой собственный статус во Франции и (одновременно) внес важный вклад в историю французских куртизанок. Большую часть дня я отдыхал: читал за утренним кофе газеты, гулял по пляжу, провел несколько минут за разговорами с недавними знакомыми, которых встречал по пути. А после, за ленчем, состоялась моя встреча с Уилкинсоном: мы сидели в городском ресторанчике и вели исключительно приятный и совершенно бесполезный разговор. Он распространялся про какую-то редкую птицу, которую обнаружил в горах, и был в таком возбуждении (очевидно, ее не видели с тех самых пор, как один легендарный испанский орнитолог описал ее в пятидесятых, и Уилкинсон полагал, что теперь завоевал себе бессмертную славу в мире любителей птиц), что мало о чем другом способен был говорить. Я рассказал ему про уголь, и он остался доволен, но, выслушав мой отчет, быстро вернулся к своим птицам, сказав только: «Хорошо, хорошо. Очень мило». У него не было пожеланий относительно того, что правительству требовалось знать еще. Очевидно, мне стали доверять определять это самому.

Но ленч был довольно приятным и избавил меня от написаний уймы утомительных памятных записок позднее, поэтому и я был доволен. Также я упомянул мою примечательную встречу днем раньше, ведь мне хотелось рассказать кому-то, а я знал, что Уилкинсон, пожалуй, единственный человек в мире, которому можно без оглядки довериться. В конце концов, он тоже на свой лад помог Вирджинии расплатиться с долгами и начать свою головокружительную карьеру. А еще я ею гордился и хвалил себя за проницательность, что распознал нечто, что Лефевр проглядел совершенно.

— В таком случае я должен с ней познакомиться, — весело сказал он, и у меня упало сердце. — Прием, говорите? Великолепно, я пойду с вами...

— Но я правда не...

— Я давно хотел на нее посмотреть, у меня такое чувство, что я уже хорошо ее знаю.

— Очень сомневаюсь, что она захочет с вами познакомиться.

— Она ведь, надеюсь, не знает о нашем сотрудничестве?

— Конечно, нет.

— В таком случае какие у нее могут быть возражения? Мне бы хотелось ее отблагодарить, и, думаю, я знаю наилучший способ это

сделать. Не беспокойтесь, Корт. Я не собираюсь губить ваш талисман. Совсем напротив. На какой-то стадии она может оказаться очень полезной.

Я не смог его разубедить и от всего сердца раскаивался в моей внезапной болтливости. Мне следовало бы хранить полнейшее молчание; но скрытность, в какой мне приходилось жить, была совершенно противоестественной. По натуре своей я не склонен к сплетням, но всем мужчинам надо с кем-то поговорить. Во Франции у меня не было никого, и внезапное появление Уилкинсона заставило меня отнестись к нему с большим доверием, чем следовало бы. Вреда тут никакого, но все же я совершил ошибку, проистекавшую из юношеской наивности. Больше я ее не повторял.

В тот вечер в девять часов я зашел за ним в его пансион (проживание там неделю обходилось меньше, чем в моем день, на что он не преминул указать) и по крайней мере утешился, найдя его должным образом одетым. Я опасался, что он пойдет в твидовом пиджаке и тяжелых ботинках, но он где-то раздобыл обязательный смокинг. И хотя он был не из тех, кто способен выглядеть элегантно, но был совершенно презентабельным.

К большому моему удивлению, он оказался блестящим импровизатором, ведь подобные мероприятия не более чем театр. Если моим стилем было молчать и слушать, Уилкинсон внезапно открыл шумно-хвастливую сторону своего характера. По-французски он говорил громко и плохо, разнообразными жестами восполняя грамматические чудачества; он рассказывал сомнительные анекдоты престарелым вдовам, и те гуляли от удовольствия; он с жаром перескакивал с темы на тему, плел лошадиные байки заядлым лошадиникам, птичьим — охотникам и политические — политикам. Он действительно имел большой успех; тем больший, когда на полчаса покинул прием и вернулся с принцем Уэльским.

Позднее я понял, что в этом и была соль: так проявилась его благодарность. Мне следовало бы догадаться, что он знаком с принцем, который приехал в Биарриц лишь днем раньше, и с радостью говорю, что Уилкинсон был гораздо бесчестнее меня. Его высочество остался в неведении, кто такая на самом деле эта графиня. Сопровождайся ее имя хотя бы с намеком на скандал, он никогда не показался бы на публике с такой персоной, хотя, как известно всему миру, кого он терпел в частном порядке, совсем иное дело. Но он пришел, и его появление дало понять всему французскому свету, что Элизабет совершенно, полностью и абсолютно респектабельна. Много больше того: она могла приглашать самого знаменитого мужчину мира на свои приемы, и он приходил. *Coup de theatre*^[6] Уилкинсона вознесла ее в стратосферу европейского общества.

Раньше она добивалась всего собственными силами, и существовали те, кто сомневался в ее верительных грамотах. Если бы кто-то усомнился в ней после того приема, это уже не имело значения. Подарок был щедрым — пока оставался подарком.

Даже в те дни, даже на курорте появление такой фигуры, как принц Уэльский, сопровождалось некоторой помпой и церемониями: обычно факт его приглашения заранее обсуждался несколько дней; хозяйка заботилась о том, чтобы все о нем знали, сколь бы тактично ни распространялась новость. Гости ждали, предъявят ли им важную персону; и сперва прибывали кареты и придворные, чтобы нагнести напряжение перед его появлением. Приедет ли принц? В хорошем настроении? Во что он будет одет? Таково будет содержание разговоров, пока часы отсчитывают минуты. И существовала также равно будоражащая возможность, что он вообще не покажется. В таком случае репутация хозяйки рухнет: добрые души пособолезнуют, не столь добрые почуют кровь, и все будет зависеть от того, как она снесет столь горькое и публичное разочарование. Будет по ней заметно? Или она сделает храброе лицо? Все эти подробности отмечались, и их общая сумма изменяла баланс власти в маленьком, но напряженном мирке высшего света.

Поэтому появление принца на приеме Элизабет стало полнейшей сенсацией. Никакого предупреждения, никаких предварительных слухов или уведомлений — он просто вошел, поздоровался с ней, как со старым другом, поцеловал ей руку, потом поговорил с ней дружески и уважительно целых четверть часа прежде, чем начать обход зала, пока все остальные медленно, но неуклонно боролись за место, кто будет следующим в очереди за королевским словом. Позднее Элизабет рассказала, что, по ее прикидкам, это повысило ее стоимость эдак на три четверти миллиона франков, и, вероятно, занизила сумму.

И с моим положением в обществе это тоже сотворило чудо, ведь после Элизабет наибольшего внимания удостоился я. Небольшого, но я сразу стал лицом, чьего знакомства следует искать, лицом, которое известно.

— Корт, э? «Таймс»?

— Да, ваше высочество.

— Так держать.

— Непременно, сэр.

— Великолепно. — И он напоказ мне подмигнул, давая понять, что прекрасно знает, кто я, но всеми присутствующими это было расценено как личная близость.

— Очаровательная женщина, — продолжал он, указывая взглядом на

Элизабет, которая теперь тактично предоставила его работе. — Весьма очаровательная. Венгерка, кажется?

— Да, думаю так.

— Гм-м. — Он с мгновение глядел рассеянно, словно пролистывал в уме «Готский альманах», но не мог найти искомую страницу. — Много народу в Венгрии.

— Думаю так, сэр.

— Ну, ну. Рад был встрече.

И он ушел, чтобы попрощаться с хозяйкой, поцеловав Элизабет руку с пылким восторгом истинного ценителя.

А она, должен сказать, держалась просто поразительно и повела себя с полнейшим самообладанием. В ее лице не отразилось ни тени шока, хотя он, вероятно, был немалым. Она не проявила ни неуместной фамильярности, ни удивления или радости. Она приняла его с обаянием, предоставляя другим думать что хотят. Знает она его или нет? Какова причина его прихода? Она настолько вхожа в его круг, что может относиться к нему как к обычному гостю? На следующий день ударные волны изумления распространились по Биаррицу (принцесса Наталия, которая отклонила приглашение, чтобы поставить Элизабет на место, лишь с большим трудом скрывала огорчение), а в последующие недели по Франции и Европе, когда сезон подошел к концу и временные обитатели городка начали разъезжаться по обычным своим странам, увозя с собой известие о новой звезде.

— Это был необычный поступок, — сказал я Уилкинсону, когда на следующий день мы ехали в Париж.

Он улыбнулся.

— Принц и впрямь любит полусвет, и он очень ценит красоту, — сказал он.

— Он знает?

— О Господи, нет. Если он когда-нибудь услышит, мне очень долго придется объясняться. И если он когда-нибудь выяснит, что я сознательно...

— Тогда кто она, на его взгляд?

— Мелкая аристократка, чье происхождение слишком низко, чтобы ее включили в «Альманах». Недостаток голубой крови восполняется сияющей красотой. Вы вроде говорили, она не красавица.

— Ну, не была таковой. Во всяком случае, когда я с ней познакомился.

— Так или иначе, это было не вполне моих рук дело. Он пригласил меня на обед, я сказал, что иду на такой-то прием, а он пожелал

познакомиться с этой женщиной. Понимаете, он про нее слышал, а сами знаете, каков он. Кстати, скажите ей, пусть даже не задумывается. Если она хотя бы попытается с ним сблизиться, я это пресеку.

Я резко за нее возмутился.

— Вам прекрасно известно, что я имею в виду, — строго сказал он. — Я доподлинно знаю, чем она зарабатывает. Пока она ограничивается жителями Континента, это меня не касается. У принца есть известная слабость, и он любит бывать в Париже.

— Так поэтому?..

— Мне показалось, это станет полезной страховкой. Теперь она у нас в долгу, и часть цены — никакого скандала. Рано или поздно они встретятся в Париже, а когда дело доходит до женщин, он как ребенок в кондитерской. Он действительно не способен устоять. И тем более перед ней. Вы понятия не имеете, сколько времени посольство тратит на сокрытие обстоятельств таких романов. А этому я хочу положить конец заранее. Будьте добры, передайте ей это.

— Очень хорошо.

— Кроме того, он славится скупостью. Она гораздо больше заработает на том, что с ним знакома, чем от того, что с ним спит.

— Я ее извещу.

Глава 10

Если я не описываю восторги жизни шпиона на службе Британской империи, а столько времени трачу, отклоняясь на рассказ об этой женщине, то по двум причинам. Во-первых, эта женщина имеет отношение к моей истории, и, во-вторых, она была гораздо интереснее моей повседневной рутины. Например, по возвращении в Париж немало часов заняли последние штрихи к моему докладу о военно-морской политике Франции, а это потребовало длительных бесед с различными людьми (в моей роли журналиста) на Угольной бирже и просматривания ежедневных бюллетеней оптовых продаж. Увлекательно? Будоражит нервы? Хотите услышать еще? Я так и думал, что нет.

По сути, уголь сам по себе тема более интересная, чем люди, которые им торгуют. Каждый товар и финансовый инструмент привлекают разные типы людей. Торгующие бонами отличаются от торгующих акциями; те, кто торгует товарами, опять же иные, и у каждого товара и каждой биржи свои векселя и свои тратты; у резины, у хлопка, у шерсти, угля, железной руды — свой собственный характер. Уголь скучен, а люди, которые покупают его и продают, еще скучнее. Их мир пылен, лишен красок и удовольствий. Нахальные юнцы, которые начинают продавать нефть и создавать совершенно новый рынок из ничего, гораздо интереснее: в них есть дуновение пустыни, в то время как торговцы углем исполнены уныния угольных шахт Пикардии или методизма Южного Уэльса.

И два дня в неделю я участвовал в торгах — но на свой лад. Вероятно, мне следует остановиться на этом поподробнее, так как оно лучше другого иллюстрирует истинную природу шпионажа. Едва приехав, я арендовал захудалую маленькую контору на рю Рамо, тщательно выбранную с тем, чтобы имела несколько выходов и возможность просматривать улицу внизу в обе стороны — Арнсли Дреннан обучил меня даже большему, чем я сознавал. Контора была хмурая, неудобная и дешевая — идеальная для моих нужд. Потом я зарегистрировал себя как Жюля де Брункера, маклера по экспорту-импорту, и от имени этого вымышленного джентльмена неопределенно голландского происхождения, написал некоему молодому человеку в немецком посольстве, который любительски занимался сбором информации. Этот приятный, но не слишком далекий малый пришел меня повидать, и я предложил ему информацию о будущих учениях британского флота. Сведения были интересные, хотя и совершенно безопасные, но он был счастлив их получить. На следующей неделе за ними последовали еще,

и через неделю — новые, пока не настал момент, когда он начал задумываться, а что же мне нужно.

Ничего, сказал я, но сочту разумной платой любую информацию, какая ему попадется о передвижении французских войск в Северной Африке. Подобная информация не имела стратегического интереса для немцев, поэтому, недолго обдумав ситуацию, его начальники согласились.

Затем я связался с офицером в русском посольстве, в австрийском посольстве и во французской разведке и предложил им всем ту же самую информацию. Все достаточно заинтересовались, и от русских я со временем получил взамен сведения о новой французской пушке, от австрийцев — сведения о французской и немецкой дипломатической корреспонденции, а французы выдали мне характеристики немецкой брони — упорядоченная, эта информация была передана в компании Джона Стоуна и помогла устранить некоторые недостатки в производстве британской стали.

Так оно и происходило: я действительно был брокером, покупал информацию и перепродавал ее. Достоинство информации в том, что в отличие от золота ее возможно воспроизвести в точности. Одни и те же данные о кораблестроении в Британии, например, можно обменять на сведения из полдюжины различных источников, и каждое из них, в свою очередь, способно многократно умножиться. Поэтому я поставил информацию о новой двенадцатидюймовой пушке «Виккерса». А взамен получил подробные сведения о новой гаубице на вооружении немецкой армии, потребностях австрийской армии в лошадях, позиции итальянского правительства по переговорам в Северной Африке и истинной политике французского правительства в отношении британского влияния на Верхнем Ниле. Характеристики немецкой гаубицы были обменены затем на новую информацию. Прелесть системы заключалась в том, что ни от кого конкретно я не требовал сведений, способных нанести вред его собственной стране, а запрашивал материал сам по себе безвредный (пока не будет совмещен со сведениями из других источников) или потенциально опасный для иностранного соперника. Шпионы в большинстве бюрократы; у них есть хозяева, которых надо удовлетворять, и при ведении дел они должны принимать это в расчет; поставляя информацию, я облегчал им жизнь, поэтому они считали меня человеком, с которым полезно вести дела. Разумеется, практичной моя система оставалась ровно до тех пор, пока я обладал монополией на метод, иначе одна и та же информация всплывала бы снова и снова.

С очень небольшим, так сказать, начальным капиталом я стал пожинать

недурные прибыли, и не думайте, что от меня укрылось сходство моего подхода с подходом Элизабет. Мы оба торговали специализированным товаром и использовали слабости рынка, чтобы продавать одно и то же многим потребителям одновременно. Успех зависел от того, чтобы каждый потребитель не подозревал о существовании остальных. Эта опасность подстерегала нас обоих.

Так, в тот период, когда я старался увлечь себя Угольной биржей, единственное мое истинное отвлечение исходило от Элизабет. Меня заинтересовали ее акционеры. Надеюсь, вы понимаете, что не из каких-либо вуайеристских соображений, а ради самой информации. А потому, вернувшись в Париж, я велел Жюлю, моему верному и натасканному пехотинцу, занять позицию вблизи ее дома, чтобы наблюдать за посетителями.

Полезный парнишка, этот Жюль. Он был сыном Роже Маршана, отставного солдата с неизлечимой неприязнью к дисциплине, связанной как с армией, так и с более обычной оплачиваемой работой, которого держал у себя на неполный день Томас Барклай.

— Поскольку ногами работать будете вы, пусть Роже вам помогает, — умолял Барклай, хотя одного взгляда на Маршана (который слегка покачивался, когда нас познакомили) хватило, чтобы я сказал, что никак не могу лишиться его столь полезного сотрудника.

Главной проблемой являлся не Роже (хотя понятие «абсолютная надежность» к нему было неприменимо), а его жена и несколько детей, чьи потребности сильно превосходили способности бедолаги их прокормить. Коробка с деньгами на мелкие расходы «Таймс» постоянно подвергалась набегам — сначала Барклая и позднее меня самого в отчаянной попытке выдворить несчастную из конторы, куда она являлась, когда считала, что до голодной смерти остается всего несколько часов. Роже относился к этому на удивление беспечно. Обязанности семейной жизни, по его мнению, не подразумевали, что он обязан семью кормить.

Озарением с моей стороны было решить проблему, наняв в помощники сына и тем самым гарантировав поступление дохода в руки матери, чтобы денежный поток не отводился бы на утоление жажды отца, а заодно я заручился услугами одного из самых полезных людей, кого когда-либо знал.

Мне несвойственно тратить время на описания характера шестнадцатилетних подростков, но поскольку молодой Жюль теперь влиятельная фигура во Франции и поскольку я с гордостью могу претендовать на то, что сделал его таким, думаю, стоит ненадолго

отвлечься на надлежащий рассказ о нем.

Как я и говорил, он был старшим сыном в бедной семье, с отцом ленивым пьяницей дружелюбного нрава, и матерью, суевливым комком нервов, которая жила в вечном мареве кризиса и отчаяния. В одной комнатухе ютились родители и пятеро детей, некоторые из них были самыми плохо воспитанными и омерзительными младенцами, каких я только встречал. Что они не закончили свою жизнь в тюрьме или хуже того, они обязаны главным образом трудам Жюля, который взял на себя тяготы родительства, по праву принадлежавшие другим. На деле к двенадцати годам он был закоренелым преступником, экспертом по части краж овощей и фруктов с рыночных прилавков, молока из молочных, сосисок и мяса из фургонов поставщиков, одежды из магазинов. Также он совершенствовался в карманничестве, пока я не убедил его, что эта карьера не слишком разумна.

— Риск чересчур велик, а прибыль не поддается подсчету, — строго сказал я, грозя ему моим бумажником. — И, как я понимаю, наказание во Франции за подобную деятельность исключительно сурово. Ты слишком молод, чтобы следующие несколько лет провести в тюрьме. Ее вообще лучше избегать.

Он не вполне понимал, как расценивать мои замечания: в конце-то концов, я поймал его руку у себя в кармане и крепко сжал запястье, чтобы он не сбежал. Он пискнул от боли, стараясь вывернуться и привлекая взгляды прохожих на рю де Ришелье, по которой я возвращался с ленча. Я подождал, пока он поймет, что от меня не освободиться, и не успокоится.

— Хорошо, — сказал я, когда трепыхания стихли. — Насколько я разбираюсь в подобных вещах, никогда, никогда не следует работать в одиночку, тебе требуется кто-то, кто бы отвлекал внимание лица, чьим бумажником ты восхищаешься. Во-вторых, неразумно красть у джентльмена: джентльмены гораздо нелюбезнее и более склонны к насилию, чем простой рабочий люд, и не помешкают вызвать полицию. Собственностью владеет только тот, кто умеет эту собственность сохранить. В третьих, как и большинство хорошо одетых людей, я держу в бумажнике очень немного наличных денег, а гораздо больше — в банке. Если хочешь серьезный куш, предлагаю тебе обратить свое внимание вон туда.

Я махнул ему за спину на фасад «Креди Лионэ», едва видимый на бульваре позади нас.

Он тараторил на меня со все возрастающим сомнением и начал опасно переминаясь с ноги на ногу.

— Ты голоден? У тебя изможденный вид. Возможно, ты крал, чтобы купить себе сносный обед?

— Нет, — презрительно отозвался он. — Я хочу сказать, я голоден, но...

— В таком случае, молодой человек, позволь предложить тебе добрую миску супа и хлеб. Содержимое этого бумажника почти уже было твоим, и, на мой взгляд, такая близость к триумфу не должна остаться без возмещения.

Он посмотрел на меня прищурясь, но не возразил, когда я повел его — все еще очень крепко держа за запястье — вверх по лестнице в bouillon^[7] на противоположной стороне улицы.

Свободных мест там было немного, но мы без труда получили столик в уголке, где я усадил мальчишку спиной к стене, чтобы он не смог сорваться, едва представится шанс. Я заказал ему большую миску лукового супа, хлеб и воду и с удовлетворением смотрел, как он ест.

— Надеюсь, все это заставит тебя понять, что я не намерен звать полицию, не собираюсь даже сообщать о твоих занятиях отцу. Хочешь стать таким, как он, когда вырастешь? — мягко спросил я.

Он поглядел на меня с мудростью и печалью превыше своих лет.

— Нет, — ответил он с толикой стали в голосе. — И не стану.

Пока он ел свой суп, я размышлял. Он был очень голоден и ел с шумом и жаром; предложение второй миски было встречено с пылом. Удивительно, сколь многое можно узнать о человеке за короткое время и несколько слов. Мальчишка был храбрым и дерзким. Он знал, что такое верность, пусть даже предмет ее подобного не заслуживал. Он был готов взять на себя ответственность, действовать там, где другие, возможно, сдались бы и приняли свою участь.

— Теперь послушай меня, — сказал я серьезно. — Я не без причины заплатил за то, чтобы ты вливал в себя литрами суп. Я вот подумал, и у меня есть к тебе предложение. Хочешь его услышать?

Он осторожно кивнул.

— Ты умеешь сносно писать и считать? Я знаю, что читать ты умеешь.

Он кивнул:

— Конечно, умею.

— Хорошо. В таком случае ты уже можешь бросить школу. Больше она ничего тебе не даст. Тебе нужна настоящая работа, которую я тебе и предлагаю.

Он посмотрел на меня тем же ровным взглядом, но никак не отреагировал. Просто терпеливо ждал.

— Как тебе, возможно, известно, я журналист...

— Не люблю англичан, — заметил он, хотя и без личной враждебности.

— От тебя и не требуется. По роду деятельности мне бывает необходимо отправить сообщения или доставить письма. Иногда мне нужно, чтобы были выполнены другие поручения. Ходить за людьми, наблюдать за ними так, чтобы тебя не видели. Возможно, даже проникать в их дома и брать кое-что.

Он нахмурился.

— Вы такое делаете?

— Журнализм — странная профессия. И нет, я такого не делаю. У тебя возражения есть?

Он покачал головой.

— Оплата будет приемлемой, даже щедрой, а именно около ста франков в месяц. Тебя это устраивает?

Он уставился на меня во все глаза. Я знал, это было почти столько, сколько зарабатывал его отец.

— Ты будешь пунктуален всегда и во всем, начинать работать, когда я скажу, и заканчивать, когда я скажу. Выходных не будет, если я не скажу.

Он кивнул.

— Ты согласен?

Он кивнул опять. Я протянул руку.

— Тогда скрепим рукопожатием. Приходи ко мне в гостиницу завтра в восемь.

Поверх шеренги суповых мисок он схватил мою руку, и впервые его лицо сморщилось в широкой счастливой ухмылке.

Глава 11

Жюль действительно объявился на следующее утро и более или менее с того момента, как переступил порог, преобразил мою жизнь. Мне лишь раз приходилось объяснять ему, как выполнить такое-то задание или куда что-то следует положить. Все, чего бы я ни попросил, он делал быстро и хорошо. Он никогда не опаздывал и был столь же аккуратен, сколь я безалаберен. По собственной воле он начал учить себя английскому, позаимствовав томик «Давида Копперфильда» и словарь, и выказал немалую способность к языку. Когда ему нечего было делать, он садился в уголок и тихонько читал, когда было, он выполнял без лишних вопросов.

И потому, когда акционеры графини Элизабет Хадик-Баркоци фон Футака унс Сала разбередили мое любопытство, я, естественно, послал Жюля узнать, кто они. В качестве проверки его изобретательности я не объяснил, как ему следует поступить, но предоставил самому изыскать лучший способ выполнить задание.

У него ушло две недели, что в целом было неплохо, и к концу этого срока он представил список из четырех имен. На меня это произвело впечатление, ведь профессионализм в любой области достоин восхищения: за сравнительно короткое время Элизабет покорила графа из русского посольства и банкира, одновременно женатого и баснословно богатого. В дополнение имелся композитор прогрессивного толка, который ограниченный финансовый успех восполнял наличием очень богатой жены; а четвертый был наследником, иными словами, вполне вероятным получателем огромного состояния, но без каких-либо личных достоинств. К тому времени, когда Элизабет с ним покончила, состояние значительно уменьшилось. И это произошло еще до того, как она приобрела репутацию знакомства с принцем Уэльским. Вскоре после ее возвращения в Париж композитор был заменен (в этих делах она была совершенно безжалостна) на министра финансов, в чьем обществе я встретил ее в Биаррице, а еще через несколько месяцев был выброшен наследник с истощившимся состоянием. Каждый из них делал ее богатой. Все вместе они быстро сделали ее необыкновенно богатой: например, каждый полностью брал на себя аренду особняка, платил ее слугам и подносил ей щедрые подарки драгоценностями, которые она хранила в негораемом шкафу и каждая из которых имела ярлычок с именем дарителя, чтобы она не ошиблась в выборе, когда к ней приходили с визитом. Четыре пятых ее дохода после уплаты части долгов были умело вложены.

К тому времени, когда я получил доклад Жюля, я познакомился с тремя из этих лиц на различных приемах, на которые она меня приглашала; и должен сказать, все они вели себя с таким тактом, что я никогда не догадался бы о причинах их присутствия. Каждый обходился с Элизабет с величайшими уважением и учтивостью и без малейшей тени неуместной фамильярности. Если кто-то подозревал о роли остальных, то, опять же, не позволял себе даже намека, но беседовал свободно и вежливо, как с любым другим знакомым.

Взамен она была абсолютно тактична и никогда не давала повода для смущения или неловкости — хотя по меньшей мере один или два были бы счастливы, если бы стало известно, что они ее покорили. Каждый был человеком высоких личных достоинств — я говорю не в финансовых терминах, хотя, безусловно, были применимы и они, — но с точки зрения характера. Если не считать Рувье, чье появление показалось мне странным отсутствием вкуса с ее стороны. Где бы она ему ни обучилась, Элизабет владела искусством выбирать. Своих акционеров она в дополнение к прочим оказываемым услугам одаривала своего рода лояльностью, и они откликались.

Каждую неделю она приглашала с десяток гостей. Исключительно мужчин: если у Элизабет и было «слепое пятно», то заключалось оно в почти полнейшем пренебрежении остальными женщинами. Мужчины не пробуждали в ней ни зависти, ни соперничества; женщины делали это часто и остро. Не рискну зайти так далеко, чтобы сказать, что она презирала особ своего пола, но была невысокого о них мнения. Следует сказать, что многие женщины сполна отвечали ей тем же, инстинктивно питая неприязнь к ней, подозревая ее или боясь. Многие были бы рады способствовать ее падению. Это было ее уязвимое место, и еще более потому, что сама она его не сознавала: неожиданная близорукость у той, которая в остальном видела так ясно.

Через месяц или около того я удостоился быть принятым во внутренний круг поклонников, которые проводили в ее обществе вечер каждого четверга. Мне никогда не предлагалась, да я бы и не принял, роль одного из ее акционеров. Во-первых, у меня не хватило бы средств, а кроме того, мне больше нравилось существующее положение вещей.

Она хорошо руководила своими вечерами. К обсуждению допускалась любая тема; она лишь настаивала, чтобы разговор велся на самый цивилизованный манер. Споры она допускала как основу беседы, но любой пыл или эмоции воспрещались совершенно. Я встречал многих мужчин, которые деловые переговоры вели с меньшим умением, чем она свои

вечера. Она умела убедить приглашенных, что они члены особого кружка, невероятно проницательные, остроумные и здравомыслящие, и что эти качества на какой-то таинственный лад особо блистали в ее присутствии. Я уж точно считал, что в те вечера мои замечания были остроумнее, мои шутки искрометнее, мои суждения о мире глубже, а ведь я был много осторожнее большинства остальных.

Еще вечера у нее были неподдельно интересными и приятными. Заведенный порядок оставался неизменным: ужин из отличных блюд в сочетании с лучшими винами, на выбор которых она тратила значительную часть предыдущего дня, так чтобы у ее повара все было наготове, затем беседа, длящаяся до половины двенадцатого, а тогда хозяйка вставала и говорила нам — совсем просто, — что настало время уходить. Вечер мог бы показаться бесформенным: иногда мы распадались на группки и обсуждали разные темы, иногда разговор становился всеобщим. Сама Элизабет редко высказывала собственное мнение, она скорее задавала вопросы, иногда уважительно, иногда в шутку, выказывая свою точку зрения реакцией на мнения других. Лишь в вопросах литературы она выражала свои суждения и в них продемонстрировала, что на удивление хорошо начитана на французском, русском и немецком языках. В то время, как вы помните, Русская Душа и Духовность были в большой моде, и все обязательно должны были уметь процитировать наизусть большими кусками «Анну Каренину». Английскую литературу Элизабет в то время не знала вовсе.

Многократно повторялось и что французы самые искусные собеседники в мире, и что искусство беседы умирает. Первое верно, и если правда, что с Революции искусство приходит в упадок, то беседы *ancien régime* были поистине великолепны. Я начал предвкушать приемы у Элизабет как пик своей недели зачастую бесприбыльных трудов. Зимой они проходили в гостиной особняка, который она сняла на рю Монтестье, где десятки свечей и огонь в камине приносили в беседу ощущение уюта. Это был большой зал с высоким потолком, около пятидесяти футов в длину и тридцати в ширину. По одной длинной стене тянулись окна, выходившие на застекленную веранду с пальмами и птицами; в стене напротив широкая дверь открывалась в гостиную поменьше. Повсюду — фарфор, камеи и серебро, стены были увешаны гобеленами и картинами, в большинстве итальянскими и французскими. Многие из обстановки сдавалось вместе с домом, который она сняла у маркиза д'Алансона, жившего тогда в Мексике, где он скрывался от полиции. Но она привнесла собственные штрихи, и как раз они были выбраны с большим тщанием —

опять же, где она научилась разбираться в таких вещах и как избежала вульгарности прошлых товарок, я понять не мог.

Звучит очень деланно, и отчасти было таковым: деланным в той же мере, в какой опера или симфония отличны от какофонических завываний оркестра мюзик-холла. Кое-кто глумится над такими собраниями, порицая за церемонность и недостаток спонтанности; они считают, что убеждения лучше всего проявляются посредством громких голосов и резких словесных выпадов, что вежливость обеспечивает победу банальности. Отнюдь. В ее салоне я узнал, что учтивость — тяжкая наука, что убеждать других, не прибегая к уловкам демагогов или крикунов, требует большого ума, особенно если аудитория умна и образованна. Учтивость поднимает мысль на высочайший уровень, особенно когда тема беседы спорна. И салоны, бывшие тогда главными палатами прений французской политической, финансовой и интеллектуальной элиты, гораздо более важными, чем палата депутатов, всегда ставили учтивость превыше всех прочих качеств.

Это не означало, что беседы были пресными, ни в коей мере. Зачастую они были наэлектризованными, особенно в том, что касалось меня. Это был период — один из многих, — когда антианглийские настроения были особенно сильны во Франции, и многие были бы более чем рады любому вооруженному конфликту, чтобы дать выход своему возмущению привычным превосходством Англии. Часто целью бесед было убедить меня, что моя страна — главный источник хаоса в мире, и во многих случаях мне приходилось оправдывать мою страну перед друзьями: ведь невзирая на наши различия, они действительно стали таковыми.

Возьмем, для примера, воззрения Жюля Лепотра, депутата от Кана в Нормандии, для кого Англия и англичане (за исключением присутствующих, *cher Monsieur*^[8]) были воплощением всех зол. Мы не пришли на помощь Франции в 1870 году и определенно поощряли Германию к разделу страны; мы заманили Францию подписать катастрофический коммерческий договор с единственной целью подорвать ее промышленность; мы купили Суэцкий канал, чтобы задушить Французскую империю еще до того, как она сумеет по-настоящему стать на ноги; мы вмешиваемся в дела Восточной Европы и интригуем, чтобы вытеснить Францию из Египта.

По многим пунктам я соглашался, но в ответ спрашивал: что же можно поделывать? Британия и Франция не могут вести войну, даже если бы захотели.

— Почему?

— Потому что война возможна, только если обе стороны в основе своей схожи. Где могли бы воевать наши две страны и чем? Франции, надеюсь, хватит ума никогда не затевать войну на море: небольшого подразделения Королевского флота хватит, чтобы за несколько часов уничтожить все французские корабли. И зачем Англии воевать с Францией на суше? Это была бы неравная борьба, и даже если мы бы смогли вторгнуться, не вижу никаких преимуществ во вторжении. Равно я не вижу и вероятности вторжения Франции в Англию. Она не преуспела в этом за последние девятьсот лет, и сомнительно, что в ближайшем будущем перспективы изменятся. Так какая же возможна война? Гораздо лучше признать невозможность оной и стать друзьями. Вся французская армия плюс британский флот, кто сможет тогда устоять перед нами?

Этот разговор, который начался однажды холодным вечером конца сентября 1890 года, я упомянул не из-за мудрости моих замечаний, поскольку их было немного, и не потому, что они верно отражали мою точку зрения, что было не так. Скорее причина во вмешательстве Абрахама Нечера, тогда главы Парижско-Нидерландского банка и нечастого гостя в доме Элизабет.

— Думаю, двое моих друзей увлечены здесь боем с тенью, — сказал он безмятежно, отпивая бренди.

Он был красивым мужчиной, рослым и внушительной осанки, с высоким лбом и пронзительным взглядом. На самом деле это объяснялось его близорукостью и тщеславным нежеланием носить очки на людях. Соответственно, у него была манера всматриваться в собеседника, а иногда останавливаться взглядом чуть выше правого или левого его плеча — обескураживающая привычка, поскольку создавалось впечатление, будто он говорит с кем-то еще.

Во многих подобное тщеславие было бы лишено достоинства, но никто не подумал бы такого про мсье Нечера, едва познакомился с ним поближе. Он обладал исключительным умом и сочетал его со способностью к большой мудрости и огромным опытом, пережив несколько режимов и поколений политиков — и обогатившись при них.

— Вы оба слишком узко определяете войну, — продолжал он, — и, простите мне такие слова, крайне старомодны для столь молодых людей.

На тот момент Нечеру было чуть за семьдесят, но ему еще оставалось добрых десять лет прежде, чем угасающие силы вынудили его уйти на покой.

— Марши армий — обычно для того, чтобы захватить территорию или деньги. В нашем случае, как вы говорите, ни Франция, ни Англия

подобных замыслов в отношении друг друга не лелеют. Но боюсь, это не потому, что страны стали менее алчны, а потому, что богатство теперь заключается уже не в землях или казне. Франция, например, могла бы вторгнуться и аннексировать весь Корнуолл или Шотландию и Ирландию, и это не нанесло бы никакого урона Англии, разве что ее гордости. Ее сила заключается в накопленном богатстве, а его армиям не украсть. Лондон — центр мира денег. Он сам по себе империя; по сути, реальная Империя существует лишь для того, чтобы обслуживать нужды Лондона. Вся сила Англии проистекает из непрекращающегося движения капитала.

Но эта власть непрочна. Никогда за историю человечества столько власти не создавалось столь хрупким инструментом. Поток капитала и производство прибыли зависят от доверия, от веры в то, что слово лондонского банкира равнозначно его долговой расписке. На такой эфемерной гарантии зиждется вся промышленность, вся торговля и сама Империя. Решительный и здравомыслящий враг не станет тратить время и средства на удар по флоту или вторжение в колонии. Он постарается подорвать репутацию десятка лондонских банкиров. Тогда сила Англии развеется, как туман поутру.

— Думаю, такой враг обнаружит, что система много жизнеспособнее, чем вы говорите, сэра, — предположил я. — Одно лишь то, что эту силу нельзя потрогать или подержать в руках, еще не означает, что она нереальна или непрочна. Самый долговечный институт в мире — церковь, которая для своего выживания основывается на одной лишь вере и которая переживала империю за империей почти две тысячи лет. Я был бы доволен, если бы влияние лондонского Сити продержалось хотя бы половину этого срока.

— Верно, — согласился он. — Хотя, учитывая, что папа заперт итальянскими войсками в Ватикане, что по всей Европе священникам запрещают доступ в школы и учение церкви подвергается сомнению историками, лингвистами и учеными по всему миру, я нахожу это недостаточным аргументом. Сомневаюсь, что доживу до того дня, когда последняя церковь закроет свои двери навсегда, а вот вы — возможно.

Старик разбередил мое любопытство. Я на мгновение задумался, не пришел ли он в тот вечер именно ради того, чтобы завести со мной этот разговор, но со временем отшел такую мысль. Я был уверен, что моя тайная жизнь не может быть раскрыта. Никто не связывал меня — журналиста-дилетанта из «Таймс», вращающегося в кругу аристократов и принцев, — с владельцем маленькой конторы на рю Рамо, который покупал и продавал информацию у дипломатов, солдат и других шпионов.

Тем не менее я несколько дней обдумывал его слова, и чем больше я размышлял, тем больше убеждался, что они отражали что-то, что говорилось ему, либо что он мимоходом услышал.

Может ли подобная попытка увенчаться успехом? Разумеется, не так, как предсказывал мсье Нечер, тут он преувеличивал. Но несомненно, было правдой, что серьезный урон лондонскому Сити принес бы больше вреда, чем разгром английской армии, если она когда-либо будет столь глупа, что ввяжется в войну с кем-либо, кроме самой скверно вооруженной страны. Каждую неделю сотни миллионов фунтов текли через Лондон, его банки и учетные конторы, расчетные палаты и депозитарии. Весь мир получал синдицированные займы через Сити. Решение банкира могло определить исход войны или начнется ли эта война вообще. Войны велись в кредит; отрежьте кредит, и армия остановится так же верно, как если бы у нее закончились провиант или боеприпасы.

Наступление на репутацию Сити обошлось бы сравнительно недорого и не имело бы последствий, если бы провалилось. Но как его возможно осуществить? Я не понимал. «Если что-то можно вообразить, можно и совершить». Кто-нибудь уже воображает? Я несколько дней над этим размышлял, потом сообразил, что умопостроения ни к чему не приведут. Мне надо было поработать.

Попытки выяснить что-нибудь, изучая карьеру мсье Нечера, оказались тщетными: он так долго вращался в финансовых кругах, что знал абсолютно всех и слышал все. Тут простого решения не было; поэтому мне пришлось вернуться на несколько лет вспять и установить, кто были его враги и соперники; но это тоже не принесло ничего особо интересного. Однако подобные гипотезы преследовали меня в последующие дни, а в тот вечер ничего интересного больше не произошло. Но я написал краткий отчет о разговоре и отослал его Уилкинсону — я уже стал достаточно хорошим бюрократам и понимал, как важно переложить на плечи других ответственность за то, где я бессилен.

Вечера по четвергам стали частью моей жизни, я предвкушал их и радовался им — отчасти из-за бесед, но много больше из-за Элизабет, чье присутствие я начал находить странно умиротворяющим. Я получал удовольствие, наблюдая за ней в ее новой, так сказать, естественной среде, за тем, как своим салоном она руководила подобно дирижеру — незаметно и никогда не выходя на передний план. Я наблюдал за ней с чем-то сродни привязанности, по мере того, как она все больше вживалась в свою роль, становилась увереннее в себе, виртуознее в своей профессии. По большей части я вообще забывал, что именно это за профессия. Невозможно было

думать о ней как-либо иначе, нежели как о той, кем она желала быть.

Но однажды вечером салон завершился иначе. Она была тиха, необычно сдержанна весь вечер; ее поклонники словно бы ощущали, что их чем-то обделили. В обычный четверг она овладела бы ситуацией, разговорила бы их, успокоила, польстила и умиротворила, но в тот она казалась напряженной, ей словно бы было не по себе, словно бы хотелось, чтобы они ушли.

И наконец они ушли — все, кроме меня: она тихонько подала знак, что просит меня задержаться, и потому я мешкал, пока мы не остались одни, пока дверь во внешний мир не захлопнулась. Я на мгновение задумался, не обратится ли вечер в ночь удовольствий, но мне быстро стало ясно, что у нее на уме большая — для нее — близость.

— Боюсь, мне стыдно за себя, — сказала она, когда мы перешли в малую гостиную, которую она держала для себя одной. — Когда я сказала, что не стану помогать тебе в твоей работе, мне и во сне бы не приснилось, что мне самой понадобится помощь. Но она мне нужна.

— А вот я счастлив. Чем могу служить?

— Мои дневники исчезли. И Симон тоже.

— Ты ведешь дневник? — На мгновение перед моим мысленным взором замаячило лицо Арнсли Дреннана, его глумливая мина, с которой он поздравлял меня, что я хотя бы не так глуп, чтобы вести дневник.

— Это все твоя вина, — продолжала она с укоризной. — Началось с писем, которые я писала тебе из Нанси. Мне нравилось их писать, и я продолжала даже, когда наше сотрудничество завершилось, но с тех пор исключительно для себя. Я не смею иметь конфидентов, настоящих друзей, семью. У меня есть только я. Поэтому я пишу себе.

— Ты, наверное, очень одинока.

— Нет, — сказала она, — конечно, нет. С чего бы?

— Ты никогда не желала большего?

— У меня никогда не было друга, который меня не предал бы. Или которого не предала бы я. Поэтому я такого не допускаю.

— Полагаю, я твой друг.

— Это лишь поднимает вопрос: ты меня предашь? Или я сначала предаю тебя? Ты же знаешь, рано или поздно это случится. Всегда случается.

— В каком холодном мире ты живешь.

— Вот почему я должна в первую очередь заботиться о себе. Я блюду мои обещания, но не обязана ни за кого тревожиться.

— Я тебе не верю.

Она пожала плечами.

— В настоящий момент это не важно.

Я подумал, что нет ничего важнее, но не стал нажимать.

— Эти твои письма самой себе. В них содержатся подробности всего, что ты сделала? Рассказывается обо всех, с кем поддерживала связь? С чем мы имеем дело? Их много?

— Немало. Два тома, приблизительно по триста страниц в каждом.

— Они откровенны?

— Правдивый рассказ о моей жизни. — Она улыбнулась. — Там про все и про всех. Во всех мыслимых подробностях. Они многих поставили бы в крайне неловкое положение. Откровенно говоря, мне нет дела — это лишь то, чего они заслуживают. Но будет разрушена и моя жизнь.

— И полагаю, в них много говорится о моей деятельности во Франции?

— Не слишком. Я начала их писать лишь после того, как наша договоренность утратила силу. Но думаю, там достаточно, чтобы навлечь на тебя неприятности. Если это послужит утешением, я очень тепло о тебе отзывалась.

— Не послужит.

— Что мне делать? — спросила она.

— Ты сказала, Симон исчез. Кто он?

— Мой слуга. Помнишь, ты видел его в Биаррице? У него было много неприятностей с законом. Я наняла его потому... Ну, я подумала, когда-нибудь мне может потребоваться такой человек. Он всегда был мне верен.

— Ты нашла его в Нанси?

— Нет. У меня нет контактов с кем-либо оттуда. Он парижанин.

— Его лояльность к тебе как будто иссякла. Он про дневники знал?

— Я думала, что нет. Но полагаю, знал.

Я постарался переварить неприятные новости.

— Так, — сказал я наконец. — Самое очевидное и самое простое, что следует делать, — ничего. Если дневники когда-либо будут опубликованы, ты приобретешь большую славу — дурную, должен сказать, — чем имеешь сейчас. Полагаю, они будут иметь немалый литературный успех.

Она улыбнулась, но едва заметно.

— Это не та репутация, какой мне хотелось бы. Кроме того, слишком многое не пропустит цензура. Будь это все, я сказала бы, что ты прав. В наше время приемлема любая форма разврата, лишь бы он приносил известность. Но я предпочитаю быть тем, что есть сейчас, пусть даже это иллюзия. Я не хочу возвращаться назад.

Редко когда мне было так покойно и привольно, как в той комнате.

Может показаться странным, даже бессердечным, но тут я должен быть честен. Было тепло, освещение было мягким, кресло, в котором я сидел, — удобным. Элизабет, одетая в тот вечер в простое платье из голубого шелка, была красива, как никогда, а ее тревога породила между нами некоторую близость, даже заставившую меня пожалеть, что я отклонил предложение, которое она однажды сделала и которое, как я знал, никогда не будет повторено. Я с готовностью провел бы остаток вечера, всю ночь, просто разговаривая ни о чем и глядя, как мерцает в камине огонь. В моей жизни, думаю, только Фредди Кэмпбелл умел создать для меня такое ощущение комфорта и безопасности — почти семьи, — или я так воображал, ведь у меня и семьи-то настоящей не было, чтобы я со знанием дела мог высказаться по этому вопросу.

— Предположим, ты права, и Симон украл твои дневники, но найти его будет практически невозможно. Нам придется ждать, пока он сам не объявится. До тех пор это будет все равно что искать иголку в стоге сена. Исчезнуть в Париже просто. По сути, мало что может быть проще.

— Он уже объявился. — Она протянула мне конверт. — Это пришло сегодня. Единственная причина, почему я подошла к бюро и проверила. Иначе я, вероятно, не заметила бы пропажи до воскресенья, когда я обычно записываю события за неделю.

Я внимательно изучил содержимое. Это была газетная вырезка, некролог некоего доктора Штауффера из «Journal de Lausanne».^[9] Ни даты, ни чего-либо еще. Ни записки, ни требования денег.

— Что это значит?

Она тряхнула головой, отмахиваясь от вопроса, как от гудящей вокруг нее мухи.

— А ведь очевидно, что для тебя это что-то значит.

— Он был человеком, которого я когда-то знала, который когда-то был добр ко мне. Ничего важного, но доказывает, что дневники у Симона. Вырезка была заложена в них. Он старается меня напугать. Начинает с безобидной информации, заставляет нервничать, думать, что последует. Ты мне поможешь?

Я кивнул.

— Если сумею. Но тебе, вероятно, придется заплатить, и заплатить немало. Я не рекомендую тебе платить шантажисту, это только поощрит дальнейшие требования. Но выкуп всего разом — другое дело. Ты готова на высокую цену?

Она кивнула.

— Тогда я попытаюсь. Первое, что нам нужно, — связаться с ним. Я на

всякий случай поставлю кое-кого у твоей двери. Когда услышишь что-то новое, немедленно дай мне знать.

— Спасибо, друг мой.

Это слово нечасто срывалось с ее губ. Из ее уст оно звучало странно, словно она не слишком хорошо знала, что оно значит.

Глава 12

На следующий день я задал задачу Жюлю.

— Пора отрабатывать плату, мой мальчик. Помнишь дом графин фон Футак?

Жюль кивнул. Как и следовало, ведь он уже квартировал без удобств под стенами этого дома больше времени, чем хотел бы.

— Боюсь, тебе снова туда дорога. Я хочу, чтобы ты последил за воротами. Кое-кто может лично доставить письмо. Я хочу знать кто. Кто бы ни клал что-либо в почтовый ящик, мне нужен полный отчет: кто, когда, вообще все. И нет, — сказал я, увидев, что он собирается открыть рот. — Я не объясню зачем. Если тебе повезет, проведешь там всего день или около того.

Жюлю повезло: понадобилось только несколько часов. Около полудня было доставлено еще одно письмо, и Жюль отправился за человеком, который быстро бросил его в почтовый ящик и поспешил дальше. Описание подходило к Симону, и Жюль проследил его до самого Бельвиля, где тот снимал комнату в ночлежке для поденных рабочих. Письмо, как я позднее узнал, содержало требование выплатить десять тысяч франков, что вселяло надежду: враг переходил к делу и, казалось, хотел лишь малости. Возможно, он не вполне понял, насколько ценны дневники. Или, возможно, это было только начало.

Мы с Жюлем съели в моей комнате ленч, который он принес из кухни. В номерах гостиницы имелся водопровод, но не горячая вода. Хозяин был так добр, что провел мне газовую трубу и небольшую горелку, потому что я снял комнаты на год. На ней я заваривал чай и разогревал достаточно воды, чтобы помыться и побриться, поскольку санитарные удобства были несколько ограниченными. Это не имело большого значения, щедрые дозы одеколона скрывают множество грехов.

— Послушай, — сказал я, пока Жюль накрывал маленький столик у окна, — у меня для тебя еще задание. Любишь путешествовать?

Жюль оживился.

— Ты часто бывал за пределами Парижа?

Он пожал плечами.

— Никогда, — наконец признал он.

— Никогда?

— Ну, однажды я ездил в Версаль, чтобы разыскать отца.

— И понюшка чужих краев не разбередила желания большего?

— Не особенно.

— Жаль. Потому что я хочу, чтобы ты поехал в Лозанну. В Швейцарию.

Жюль разинул рот. С тем же успехом я мог бы сказать, что хочу послать его на Луну.

— Пора тебе немного повидать мир. Не можешь же ты всю жизнь провести в Париже. На дорогу туда у тебя уйдет день, столько же, чтобы вернуться, и столько, сколько потребуется, чтобы закончить мое поручение. Я дам тебе денег на железнодорожный билет, на пансион и стол там.

Жюлю было явно не по себе. Он был уличным сорванцом, пусть даже и с амбициями. Мысль о том, чтобы покинуть привычную территорию, улицы и проулки, которые он так хорошо знал, нагоняла на него ужас. Но будучи храбрым парнишкой, он быстро оправился. Я видел, как он мысленно говорит себе, что это необходимо. Необходимо сделать. Я посочувствовал его ужасу и сделал вид, что ничего не заметил.

— Когда будешь в Лозанне, я хочу чтобы ты разузнал все возможное про человека по фамилии Штауффер. Мне ничего про него не известно, только то, что он умер. Начни с местной газеты, спроси некрологи и тому подобное. Выясни, кем он был. Про его жену, детей и родственников, особенно про детей. Любые необычные истории, скандалы и происшествия. По сути, вообще что угодно.

Жюль осторожно кивнул.

— Можно спросить зачем?

— Нет. Зачем — не важно. Считай это просто хорошей практикой для твоей карьеры журналиста в будущие годы.

— Какой карьеры?

— Ты просто создан для нее, милый мальчик. Когда ты от меня уйдешь, как, без сомнения, однажды случится, тебе придется найти настоящую работу. Ты станешь отличным журналистом, и, когда будешь готов, я порекомендую тебя редактору. Тебе придется начинать с самого низа, после дело за тобой. Что такое? Тебе бы хотелось заниматься чем-то другим?

Жюлю пришлось сесть на кровать, его лицо побелело от шока.

— Я не знаю, что сказать... — наконец пробормотал он.

— Если не хочешь...

— Конечно, хочу. — Он поднял просительный взгляд. — Конечно, хочу.

— Великолепно, — ответил я. — Значит, договорились. Советую тебе за время дороги подготовиться. Купи все до единой газеты и внимательно прочти от корки до корки.

Удовольствие у него на лице, пока он хлопотал, доставая деньги из ящика на оплату своего путешествия, стоило щедрости. В сущности, мысль только-только пришла мне в голову, и я предложил ее несколько поспешно. Но идея была удачная. Жюль был рожден для такой деятельности — отсюда и его нынешний успех. Это вдохнуло в него новые силы и сделало еще более усердным у меня на службе. Я был его билетом в новую жизнь, и он твердо решил, что она ни за что не ускользнет у него из рук. Он ушел полчаса спустя, чтобы собрать воскресную одежду и отправиться в Лозанну.

А я выбросил всю историю из головы, чтобы сосредоточиться на работе. «Последние перемены во французском банковском секторе». Очередная многословная, велеречивая статья, которые так любит «Таймс». Я никогда не понимал, кто, на взгляд редакции, их должен читать. В последнее время я был слишком занят догадками по поводу сделанных Нечером замечаний и почти забросил остальные дела.

Снова браться за банковское дело было непросто, ведь мне нечего было продать. Я написал Уилкинсону, но не рассчитывал на ответ. Если была возможность увильнуть, он никогда не отвечал. Отчасти это обескураживало: я был высокого мнения о собственных успехах, но не имел ни малейшего понятия, замечает ли их кто-нибудь. Поэтому я написал Джону Стоуну, единственному человеку, кому мог довериться. Не знаю, почему я так поступил: у меня нет привычки в случае затруднений бежать к вышестоящим, но я испытывал потребность обсудить с кем-то вопрос, услышать мнение извне, так сказать.

Он остановился в «Отель дю Лувр»: там для него более или менее постоянно держали апартаменты на время, когда он приезжал по делам в Париж. Поэтому я условился о ленче, хотя и не в шумном ресторане. Мне не хотелось выставлять напоказ, что я вожу знакомство с подобными людьми — как ради них, так и ради меня самого.

Это был приятный ленч — к моему большому удивлению, поскольку в первую нашу встречу Стоун не слишком мне понравился. Он сказал, какое впечатление на него произвели мои успехи, как доволен мистер

Уилкинсон, который всем в Уайтхолле трубит про своего юного гения.

— Которого, разумеется, ставит в заслугу себе одному, — сухо добавил Стоун.

— Вы очень добры, — сказал я. — Я не знал, обращают ли хотя бы какое-то внимание на то, что я делаю.

— Бог мой, конечно. Вас уже считают сущим оракулом. Разумеется, у вашего метода еще остается значительная оппозиция, но его успех не слишком оспаривают. Итак, что я могу для вас сделать?

— Трудно сказать. Не знаю, есть ли тут вообще что-то. Возможно, просто пустые химеры. Дело в случайном замечании, которое я услышал на званом обеде в салоне графини фон Футака...

— Вы посещаете ее салон?

— Э... да. Ну, не часто. Иногда. А в чем дело?

— О, ни в чем. Продолжайте. И это замечание?

Я рассказал ему про старого Абрахама Нечера и про его рассуждения о уязвимости лондонского Сити. Прозвучало довольно убого.

— Понимаю, — сказал Стоун, когда я закончил. — И вы думаете, что...

— Не взаправду, не всерьез. Но мне пришло в голову, что это был бы поразительный маневр, если бы кто-то осмелился его провернуть. Но, кроме замечаний вскользь, у меня ничего нет.

— У меня много знакомых в банковских кругах, — задумчиво протянул Стоун, — включая Нечера, прекрасный человек. Но сомневаюсь, что кто-нибудь расскажет мне про подобную махинацию, даже если бы она существовала. Буду слушать с большим вниманием, чем обычно. И, если желаете, с радостью дам вам рекомендации к кое-каким полезным людям.

— Вы очень добры.

От этого он отмахнулся.

— Теперь расскажите мне про графиню.

— Почему?

— О ней судачит весь Париж; мне бы хотелось знать почему.

Я описал Элизабет насколько мог, то есть изложил официальную версию и упомянул про ее триумф (его я приписал не Уилкинсону, а ей) в Биаррице с принцем Уэльским. Я ловил себя на том, что ревную к ее репутации и хочу оставить мои знания о ней исключительно для себя.

— Большого вам не известно? — спросил Стоун, впервые за время нашего знакомства проявляя любопытство.

— А вам?

— Она венгерская графиня, которая решила путешествовать, когда ее муж умер. Думаю, ее семья не одобряла ее брак, и, когда он умер, она была

не расположена им про-стать. Я познакомился с ней несколько месяцев назад и подобно вам нашел ее совершенно очаровательной.

Он задумчиво кивнул.

— Через четыре дня я даю небольшой обед для друзей, — сказал он вдруг. — Не хотите ли прийти? Там будет несколько человек, с кем вам, возможно, полезно познакомиться.

— Вы очень добры.

— И не окажете ли вы мне большую услугу, проводив вместо меня графиню в ресторан? Боюсь, у меня весь день будут встречи, и я не знаю точно, когда они закончатся. Хотя сама она любит опаздывать, но весьма не одобряет тех, кто заставляет ждать ее.

— С удовольствием, — сказал я без малейшей заминки, которая выдала бы мое удивление. Не тем, что он ее пригласил, и не тем, что она, по всей видимости, приняла приглашение. Меня поразила неловкая, почти мальчишеская застенчивость в его лице.

Глава 13

Сопровождать на обед женщину, подобную Элизабет, — ощущение, которое хотя бы раз в жизни должен испытать каждый. Я лишь мельком видел ее в роли истинной светской львицы на приеме в Биаррице, и на сей раз все было иначе. Как требовалось, я прибыл в экипаже в восемь, проведя послеобеденные часы за приготовлениями, к которым был совершенно непривычен. Я, как мне представлялось, был сама элегантность, или элегантен настолько, насколько для меня возможно: облачаться в вечерний туалет никогда не принадлежало к излюбленным моим занятиям, и я вполне готов признать, что у меня нет ни малейшего чувства стиля. Но под конец я выглядел вполне сносно, или я так считал. Я, казалось, часы и часы провел за чисткой одежды и борьбой с запонками и галстуком. Мне даже пришлось позвать жену домовладельца, чтобы она мне помогла. Наконец я сдался: если узел моего галстука чуть кривоват, а на пальто остались пылинки, так тому и быть.

Сколь бы я ни гордился своей внешностью, мое ощущение собственной внушительности померкло, когда по лестнице, у подножия которой я ее ждал, спустилась Элизабет. От ее вида перехватывало дыхание: собранные в высокую прическу волосы открывали длинную белую шею, платье на ней было такой красоты, что я не мог понять, как его могли даже придумать, не говоря о том, чтобы сшить.

Тут мне следует объяснить, что в вопросах туалета она была своего рода революционеркой; моду она изучала так же прилежно, как акционер курсы акций или игрок состояние лошадей. Она была не просто на вершине моды, Господи, нет. Она моду определяла и тем самым творила себе эфемерную власть, которая возносила ее на вершину света, наделяя центральной ролью в его механизме. Она принадлежала к тем немногим и примечательным людям, чей выбор туалета диктует остальным, что им следует носить, детально и непреклонно постановляет, что есть красота и элегантность. Иными словами, она была абсолютно профессиональна и досконально серьезна в своем бизнесе и заставляла его казаться естественным, простым и бездумным.

Когда она хотела произвести впечатление, то всегда выбирала серое, и в тот вечер надела платье серебристо-серого шелка, расшитое жемчугом (сотнями жемчужин) с декольте почти непристойно низким, без рукавов, но с длинными перчатками на полтона темнее. Само платье льнуло к ее телу (возмутительно льнуло, учитывая, что носили каких-то девять месяцев

спустя) и было подернуто изумительно замысловатой вышивкой. Туалет завершали тесное ожерелье под горло из пяти нитей, в которых чередовались жемчужины и бриллианты, изящная диадема под стать и расписной веер эпохи Людовика XV.

— Вы изысканны, мадам, — сказал я, и каждым словом говорил правду.

— И я так считаю, — улыбнулась она. — Едем?

И мы поехали — в «Лаперуз» на Левом берегу, ресторан, который был достаточно моден, но не того сорта, где обычно появлялись великие куртизанки Парижа. Тем местом был и до сих пор остается «Максим», любимое пристанище подобных людей; «Лаперуз» же был для политиков, и эрудитов, и литераторов высокой серьезности, совершенно не укладывающейся в безвкусную фривольность, характерную для полусвета.

— Я и не знал, что ты знакома с Джоном Стоуном, — сказал я, пока экипаж катил по Елисейским полям. Уже давно стемнело, и я лишь смутно видел ее лицо, хотя сидел всего в футах и напротив нее.

— Сейчас ты уже, наверное, понимаешь, что я знакома с очень многими. Я познакомилась с мистером Стоуном в поезде. Я совершала путешествие в Вену...

— Без сомнения, навестить семью?

— Без сомнения. На самом деле меня повез туда один акционер, но затем поехал на Дальний Восток. Поэтому я была одна, а мистер Стоун возвращался откуда-то с Балкан. Поездка была долгой и скучной, если не любить чрезмерно поезда, поэтому мы занимали друг друга беседой. Я нашла его весьма воспитанным и истинным джентльменом.

Мне отчаянно хотелось спросить, но я сдержался.

— Нет, — сказала она.

— Прошу прощения?

— Ответ на вопрос, который ты стараешься не задать.

— О!..

— Мне нравится его общество, как нравится твое. Про мою жизнь ему известно только то, что я ему рассказала, то есть немного. Я очень надеюсь, что так и останется впредь.

— Тогда, если он услышит, то не от меня.

— Я знаю. Ты продвинулся в...

— Я знаю, где живет Симон, и планирую вскоре его навестить, — сказал я. — Если он будет разумен, то есть умеренно алчен, все завершится довольно скоро.

— Спасибо. — Она произнесла это слово просто, почти гордо, но для

меня оно многое значило.

Потом экипаж замедлил ход, и мы остановились у ресторана. Вся манера Элизабет изменилась, она преобразила себя, я бы даже сказал, преобразовала у меня на глазах. Она готовилась выйти на свою сцену.

Если в ней еще оставалась толика неуверенности, она никоим образом ее не проявила. Не позволила она и проскользнуть хотя бы намеку на огромное напряжение, в котором жила из-за своих дневников. Она была великолепна, беззаботна, восхитительна. Каждый мужчина в зале (Стоун снял один из частных) подпал под ее чары уже через несколько секунд, а она не делала ничего, разве только дышала. Она была очаровательна, умна, остроумна, серьезна — в зависимости от той или иной ситуации. Никогда не кокетлива — это было бы неуместно, — но всегда любезна и вдумчива в манерах. Ей даже удалось смирить свое отвращение к другим приглашенным женщинам: с ними она была вежлива, и лишь однажды промелькнуло, что их присутствие она считает пустой тратой пространства. Зачем кому-то больше одной женщины в комнате, если эта женщина она? Она превратила обед, который иначе был бы довольно скучным собранием бизнесменов, в полный жизни и блеска прием. Стоун не был прирожденным хозяином, и я не понимал, ему-то зачем понадобился этот обед. Он предоставлял фон, на котором могла блистать Элизабет, и она ухватилась за такую возможность, исполнив роль безупречно и ни разу не оступившись.

Я оказался на конце стола между женой одного банкира и старшим биржевым брокером из «Петье-Крамштейна», в то время одного из самых надежных игроков на французской Бирже. Первая была забавной, второй — полезным. Иммунитет к хотя бы тени ревности или зависти мадам Колвиц порождался тем, что она была приземистой, лет пятидесяти пяти и даже в молодости не красавицей. Это позволило в полной мере проявиться ее обильному юмору и проницательности.

— Вот вам приходится разговаривать со мной, тогда как вы предпочли бы вращаться вокруг солнца, — сказала она, подмигнув, когда мы покончили с обычными любезностями.

— Разумеется, нет... — бодро начал я.

— Разумеется, да. Кто не предпочел бы? Она очень хороша собой и, по всем рассказам, крайне мила. Разве не так?

— Полагаю, она очень приятна.

— Женщина, которую любят все мужчины. Ужасная судьба для любой молоденькой девушки, на мой взгляд. Но уверена, она способна о себе позаботиться. Скажите, вы не знаете, насколько в действительности

увлечен ею мистер Стоун?

— Я и не знал...

— Для журналиста вы крайне ненаблюдательны, — заметила она. — За последние две недели она дважды выезжала с ним в оперу, а из надежных источников известно, что оба оперу ненавидят. Каждый ходит, чтобы доставить удовольствие другому. Как по-вашему, следует намекнуть им, что они подвергают друг друга пытке без веской на то причины?

— Меня увольте.

— И я того же мнения. И все-таки какое было бы благо, разве не так? Еще одно оскорбление Франции от ее врага — если он похитит нашу самую блистательную драгоценность.

— Сомневаюсь...

— Да взгляните же на него! — пренебрежительно сказала она, отменяя мои сомнения. — Если сделать скидку на тот факт, что он понятия не имеет, как ухаживать за женщиной или ее соблазнить, посмотрите, как он с ней разговаривает. Надо признать, он, возможно, рассказывает ей о ставках прибылей в производстве пулеметов, но посмотрите, как его голова поворачивается к ней, посмотрите на его глаза! Посмотрите, как легко она с этим справляется: не отвергает, но и не поощряет. Несчастный! Это может обойтись ему в кругленькую сумму.

— Прошу прощения?

— Вы никогда не задумывались, дорогой мальчик, откуда берутся все эти брильянты?

Она поглядела на меня жалостливо.

— Э... мм...

К счастью, моим вниманием завладел брокер справа, разговор с ним был менее увлекательным, но более полезным. Мы представились друг другу, причем я подчеркивал мои нынешние потуги писать о развитии банковского дела во Франции, эволюции рынков капитала, удручающем состоянии французской Биржи в сравнении с энергичностью лондонского рынка ценных бумаг. Он удивился, что журналист интересуется подобными вещами.

— Например, — сказал я, — французские банки так и не воспользовались шансами, какие предоставляла империя. Я бы подумал, что возможность займов колониям стимулировала бы огромнейшую активность на столичных рынках ценных бумаг, а я не вижу почти никакой.

Мсье Штейнберг кивнул.

— У нас тут риска чураются, — сказал он. — Слишком много было

катастроф, чтобы люди поверили в кредитные рынки. Все это вопрос доверия. Нашим собратьям в Лондоне тут тревожиться нечего. Банки Лондона преуспевают в самых рискованных операциях, потому что люди считают, что они преуспеют. Ваши банки могут опираться на вековое доверие. Но иногда они им злоупотребляют, что когда-нибудь им аукнется, и, возможно, раньше, чем они думают.

— Правда? И почему?

— Ну, — он чуточку подался вперед, — странные слухи ходят, знаете ли. Про «Барингс».

— Господи всемогущий! Что теперь они удумали?

— Хороший вопрос. Я слышал, у «Барингса» могут возникнуть неожиданные затруднения с поиском подписчиков на аргентинский заем, бумаги по которому они выпускают.

— Тут нет ничего сверхординарного. Это часть переговорного процесса, разве нет? А учитывая, каково положение в Аргентине...

— На мой взгляд, все несколько серьезнее. Я слышал, «Креди Интернасьональ» вот-вот наотрез откажется от каких-либо облигаций. Очень невоспитанно с их стороны.

— Что это за заем?

— Для «Аргентинской водопроводной компании», пятипроцентный.

— А причины?

— Аргентинское правительство на грани краха, министр финансов отправлен в отставку, слишком много долгов, фискальная политика нежизнеспособна. Обычное дело. Но это уже какое-то время было известно, и никогда раньше никого не отпугивало. Вопрос в том, последуют ли другие за «Креди Интернасьональ» или магия «Барингса» снова развеет все сомнения. Но я никогда не слышал, чтобы раньше кто-то мешкал.

И я тоже. Не слышал я и о том, чтобы какой-то банк предал огласке (как бы то ни было тактично) свои колебания, принимать ли участие в операциях «Барингса». Как сказал мсье Штейнберг, это отдавало дурным тоном. И при сделках с «Барингсом» отказ обычно расценивался как слабость того банка, который отказывался.

— Крайне увлекательно, — сказал я. — Как раз то, что очень заинтересует читателей «Таймс». Как по-вашему, председатель «Креди Интернасьональ» согласится со мной встретиться?

Мсье Штейнберга как будто шокировала сама мысль.

— Должен же быть какой-то способ разузнать побольше, — сказал я. — Вы мне не поможете? Я был бы очень вам обязан.

В практике шпионажа попросить о помощи — зачастую самый эффективный способ добиться результата. И опять приключенческие романы обычно рисуют ложную картину, живописуя обманы и уловки, заумные стратагемы и коварные манипуляции. Надеюсь, из моих записок вполне ясно, что, напротив, самое эффективное оружие в арсенале разведчика — деньги и добрая воля. Если не можешь купить то, что тебе нужно, попроси. Если попросишь верного человека, верный ответ получишь почти во всех важных делах.

Мсье Штейнберг, например, был счастлив помочь. А почему бы нет? Ему так же сильно, как и мне, хотелось знать, что происходит, и пока я обещал делиться с ним любыми своими находками, он был вполне готов адресовать меня в нужном направлении. Через несколько минут у меня было имя высокопоставленного чиновника в «Креди Интернасьональ» и информация, что у него большая слабость к скачкам и потому его можно найти в Лоншане всякий раз, когда назначен забег, а также фамилии чиновников других банков, которые в прошлом вели дела с «Барингсом».

Мне предстоял день на ипподроме, и у меня было такое ощущение, что я наконец сдвинулся с мертвой точки. Я расслабился и начал получать удовольствие от обеда как такового, а не по профессиональным соображениям. Сам обед был великолепен, главным образом благодаря тому, как руководила им Элизабет: не оставалось ни тени сомнений, что хотя платил Стоун, это был уже не его прием. Он был ее гостем в той же мере, что и я. И как будто не возражал. Наедине он был весьма приятным собеседником, пусть и чуточку серьезным, но в обществе съезжился, подавал краткие и резкие реплики, не умел обращаться ко всему столу в целом, а напротив, останавливался на одном человеке зараз. Я видел, каких усилий ему стоило не сосредоточить все свое внимание на женщине подле себя. Чуть разговор снижал, он оборачивался к ней за помощью. Мадам Колвиц была права: он был очень и очень увлечен. Не знаю, были ли у нее вакансии, но если таковая имелась, Стоун выглядел так, словно согласился бы заплатить немалые деньги, лишь бы попасть в список. Но достаточно ли он ей нравился? Она была веселой, забавной, дружелюбной, участливой, но, когда требовалось, могла держаться так и с теми, кого презирала.

Когда обед все же подошел к концу и собравшиеся готовились разойтись, один гость, врач, с которым я не разговаривал, упомянул, что у него есть приглашение на развлекательный вечер, и спросил, не хочет ли кто-нибудь пойти с ним.

— Спиритический сеанс, — сказал он со смехом. — Столоверчение. Духи. Мадам Бонинская. Говорят, она очень хороша.

— Я пойду, — сказала Элизабет. — Почему бы нет? Хотите проводить меня, мистер Стоун? — продолжала она игриво. — И мы выведем все ваши секреты.

Реакция Стоуна оказалась неожиданной.

— Нет, — отрезал он. — И вы тоже не пойдете.

Элизабет едва удалось совладать с яростью, которая промелькнула у нее на лице, как грозовая туча, и все же она не сдержалась:

— Прошу прощения? — В ее голосе звенел лед.

Я знал ее достаточно долго, и мне захотелось подать знак Стоуну, что лучше бы ему оставить эту тему, и побыстрее. Он же был совершенно невосприимчив к тонкостям интонаций и равно неспособен истолковать выражение ее лица. Возможно, он просто не слишком хорошо ее знал.

— Это шарлатанство. Чепуха, существующая исключительно для глупцов. Любой разумный человек... Я видел, что делают эти люди со слабыми или восприимчивыми натурами.

— И кто же я из двух? Глупая или слабая? — надменно спросила Элизабет.

— Если верите в подобное? И та и другая.

— Вот как?

— Да. Не ждите, что я стану потакать вашей жажде модных развлечений.

— А при чем тут вы?

— Вы, кажется, меня пригласили.

— Мистер Корт, — произнесла вдруг жена банкира, которая разговаривала со мной за столом, а сейчас, взяв под руку, потянула прочь, — не окажете ли вы мне большую услугу, проводив меня домой? Мой муж решил бросить меня и вернуться в контору. Поэтому я совсем одна и нуждаюсь в эскорте.

— Почту за честь, — ответил я.

Хотя, должен сказать, испытал скорее облегчение: мне не хотелось наблюдать ссору между Стоуном и Элизабет. Нет, конечно, хотелось, она завораживала, но я понимал, что безопаснее будет уйти с линии огня. Я подозревал, что ни один не пойдет легко на уступки и оба могут быть неприятны, когда их авторитет ставят под сомнение. Оба вели себя неподобающе и нескромно, а Элизабет ни того ни другого себе не позволяла. Стоун сумел затронуть ту ее сторону, которую никогда, никогда не показывали публике, и вынудил ее выйти на свет. Он разоблачил ее и тем самым ослабил. Ему нелегко будет заслужить прощение. Я покинул их как можно поспешнее (впрочем, ни один не заметил): лицом к лицу они —

на учтивейший манер — готовились к схватке не на жизнь, а на смерть.

— Я решила вас спасти, — сказала мадам Колвиц, когда мы сели в ее экипаж и покатали по набережной Сены. — На самом деле я вполне способна сама найти дорогу домой. Я после многих обедов так делала. Но вы так пристально их рассматривали, а это невежливо, знаете ли.

— Полагаю, что да, — сказал я. — И думаю, на том все и кончится.

Она с жалостью вздохнула.

— Что я такого теперь сказал?

— По-вашему, подобная женщина станет когда-либо ссориться с человеком, к которому ничего не испытывает?

— Но он... Ну, он намного ее старше. А кроме того, она не... Не тот тип...

— Посмотрим. Кто знает? Возможно, на сей раз она встретила себе ровню. Мистер Стоун не ведет себя при ней как комнатная собачонка. В отличие, к примеру, от мсье Рувье. Мне почти кажется, что ее долг — обобщить его до нитки, хотя я никогда бы не подумала, что он так глуп.

— О чем вы? Министр финансов?

— Конечно.

— Разве он не женат?

Она опять рассмеялась.

— Конечно, он женат. Я о том, что он небогат. А если верить слухам, он дает ей по пятьдесят тысяч в месяц.

— Что?

— Вы правда настолько наивны?

— Наверное, да, — признался я, вероятно, очень убедительно, так как на ее лицо вернулось прежнее жалостливое и презрительное выражение. — Уверен, это никак не может быть правдой.

— Вот это, — она похлопала меня по руке, — очень мило с вашей стороны.

— Но даже будь это правдой, где он их берет? Я имею в виду Рувье.

Она пожала плечами:

— Понятия не имею. А где министр финансов может взять деньги? Трудный вопрос, верно?

— Неужели есть что-то, чего вы не знаете?

— Про вас мне ничего не известно, молодой человек. Но опять же, возможно, вы не слишком интересны. Возможно, и знать-то нечего.

— Наверное, вы правы.

— У каждого в Париже есть тайна, и каждый думает, что про нее никому не известно. Даже мой муж считает, что я верю ему, когда он

говорит, что возвращается на час в контору. — Она произнесла это беспечно, но отвернулась посмотреть в окно. — Держитесь журналистики, мистер Корт, где вам никогда не придется ничего понимать. Не то вы обнаружите, что Париж — жестокое и безжалостное место. И передайте это своей загадочной графине. Ее новизна сходит на нет, и многие получают слишком уж большое удовольствие от ее падения.

Я попрощался с ней у двери ее дома, ее слова эхом отдавались у меня в ушах. Было поздно, и на следующее утро меня ждала работа. Мне хотелось выспаться.

Глава 14

Отправляясь в Бельвиль навестить Симона, я взял с собой пистолет. Я упоминал, что не любил огнестрельное оружие, я до сих пор его не люблю. Но на той стадии я не мог ни к кому обратиться за помощью в подобном деле, а Симон (как мне помнилось) был очень крупным мужчиной. Я был гораздо проворнее и, как я думал, вероятно, опытнее, но если мне действительно приходится драться, я предпочитаю, чтобы исход был вне сомнений. В подобных случаях мало проку от победы едва-едва.

Встреча, по сути, прошла очень легко: Симон не имел опыта в притворстве. Он просто-напросто снял комнату под вымышленным именем, этим его меры предосторожности исчерпывались. Надо было только подождать и удостовериться, что он дома, потом подняться по лестнице и войти. Это были захудалые мебелишки, неосвещенные и запущенные, хозяева которых сдавали комнаты постоянным и сезонным рабочим без излишних вопросов. Приют безнадежности и отчаяния, холодный и гнетущий. В такое время суток он почти пустовал, только консьержка сидела на первом этаже, а комната Симона была на самом верху, так что она все равно ничего не услышит. Мне не помешают.

— Доброе утро, Симон. Полагаю, ты в добром здравии. Графиня о тебе беспокоится. Тебе правда не следовало так сбегать, знаешь ли. Даже не предупредив как полагается, что хочешь уволиться.

Он вытаращился на меня изумленно — был слишком туп, чтобы понять, как легко было его найти. Моего внезапного появления у него на пороге самого по себе было почти достаточно, чтобы выиграть схватку: он с самого начала растерялся и — благоразумно или нет — решил, что лучшим ответом будет запирательство. Однако он выдал взгляд коровьего непонимания, от которого его лицо стало настолько глупым, что трудно было не расхохотаться.

— Можно, я сяду?

Не дожидаясь ответа, я занял единственный в комнате стул, шаткую конструкцию, казавшуюся крайне ненадежной. Для убедительности я достал пистолет и положил его на стол. Я не касался его, но лежал он так, что целил в Симона.

— Графиня тревожится, что ты не получил жалованья за последнюю неделю, — сказал я. — Поэтому попросила меня тебя навестить и убедиться, что с тобой все в порядке.

На мгновение он было решил, что, невзирая на пистолет, легко отделался, но потом даже до него дошло, что это еще не все.

— Она беспокоится, что ты нечаянно мог взять кое-что из ее имущества. Она хочет получить это назад.

— Я ничего не брал. — У него был низкий, странно культурный голос, и почти казалось, что голос этот исходит от совершенно иного человека.

— Ну же, Симон. Мы оба знаем, что это не так. Я пришел забрать эти вещи. Взамен я уплачу тебе сумму, которая тебе причитается.

Он пожал плечами, к нему возвращалась уверенность.

— У меня ничего нет. Что вы сделаете? Позовете полицию?

Я задумался.

— Полагаю, что нет. Тебе, как и мне, известно, что это была бы неудачная мысль.

— Значит, вам не повезло.

— Нет. Я тебя застрелю.

Взяв со стола пистолет, я театрально проверил, заряжен ли он.

— Сначала колени, потом локти. С чего хочешь начать?

Тут я немного подредактировал. Произнося эту фразу, я был далеко не спокоен: отчаянно потел и едва-едва сдерживал дрожь в голосе. Вероятно, это сделало свое дело, убедило его, что я говорю серьезно. Нервный человек при оружии — гораздо опаснее спокойного и уравновешенного.

Симон был не слишком умен, зато хорошо умел оценивать свое положение. От сопротивления он ничего не выигрывал. Только глупая гордость могла бы помешать ему подчиниться моим требованиям.

— Где дневники? — спросил я.

— У меня их нет.

— Но ты их украл?

— Она не графиня.

— Конечно, нет, — ровно ответил я. — Она просто шлюха. Ты же не думал, что тебе взаправду за них заплатят, верно? Где они?

— О нет, тут больше. Гораздо больше, — начал глумиться он. — Вы

многого про нее не знаете.

— Без сомнения, но не могу сказать, что это меня беспокоит. Где они?

Он усмехнулся:

— Я же сказал, их у меня нет.

— У кого они?

— У одного человека. Моего друга. Хорошего друга. Он для меня их бережет.

Ах вот как! Время было позднее, я устал. Раздраженно вздохнув, я взял пистолет.

— Кто он? — повторил я.

— Десять тысяч, — ответил он с вызовом.

— Ты, наверное, глупцом меня считаешь. Просто скажи, где они?

— Они для вас десяти тысяч стоят, мистер Корт, — сказал он. — Я и про вас тоже читал.

Это было ошибкой. Я взял пистолет, подумал с минуту, потом выстрелил ему в ногу — в точности, как меня учили. Симон рухнул на пол, зажимая бедро и вопя; я затолкал ему в рот тряпку и прижимал к полу, пока он не замолк, но старался по возможности избегать расползающейся по полу лужи крови. Теперь я был совершенно спокоен.

— Кто он? — еще раз спросил я.

Понадобилось много времени, чтобы выбить из него признание, но от того, что он наконец сказал, у меня упало сердце. Арнсли Дреннан вернулся в мою жизнь. Этот человек зовет себя Лефевром, сказал Симон. Лет пятидесяти, светлые волосы. Тонкий шрам на щеке. Он познакомился с ним в баре, они разговорились. Лефевр предложил помочь, был очень убедителен...

Не замечая его стонов, я снова опустился на стул. Это были плохие новости. Случайный вор, заделавшийся шантажистом, вроде Симона, — простая задачка, а вот Арнсли Дреннан — совсем иное дело, враг гораздо внушительнее.

— Где он?

И опять на внятный ответ ушло немало времени.

— Я не знаю. Я правда не знаю, — заскулил он, когда я предупредительно поднял пистолет. — Я же сказал, я познакомился с ним в баре.

В том самом баре, куда водил меня однажды Дреннан. Смешно было бы надеяться, что он снимает ту же комнату, но попытаться стоило. Я с сомнением посмотрел на Симона. Он вполне способен рассказать про мой визит Дреннану. Он многое знает про Элизабет. И про меня.

В здании было тихо, когда через несколько минут я спустился по лестнице и вышел на улицу. И на второй выстрел тоже никто внимания не обратил.

Остаток дня я провел, разыскивая Дреннана, но тщетно. Он давно уже съехал с комнаты, где я увидел его впервые. Больше я ничего не узнал, но к тому времени я был не в лучшей форме. У меня был шок. Кажется, я ясно дал понять, что я не человек действия. Я не люблю насилия, оно меня возмущает. Меня ужаснуло содеянное, когда вполне до меня дошло, хотя я и очень старался не думать про сцену в той жалкой комнатенке, про последнее выражение на лице Симона. Более всего меня пугало отсутствие эмоций. Я не промедлил, не попытался найти иной выход, даже не рассмотрел иные варианты. Симон стоял на пути. Проблема. Угроза. Теперь нет. Я не испытывал раскаяния, а следовало бы; я был не тем человеком, которым себя считал. Ночью я спал так же хорошо, как если бы вечер провел, обедая с другом, без тени забот на целом свете.

Глава 15

Наутро, когда я спустился в бар ради кофе с булочкой, владелец, который был также моим домохозяином, протянул мне конверт. Некоторое время я его игнорировал, пока мой организм не усвоил достаточно кофе, чтобы я снова стал человеком, и вскрыл его только тогда, когда был уверен, что смогу с полным вниманием прочесть содержимое. Письмо было от Жюля.

«Уважаемый мистер Корт,

как видите, я пишу вам из Лиона, и прошу прощения, что трачу столько времени на поручение, которое вы мне дали, и столько ваших денег. Мне хотелось должным образом завершить работу. Надеюсь, вы не в обиде.

Как вы распорядились, я поехал в Лозанну, на что ушло очень много времени, потом у меня возникли затруднения с поиском сведений про доктора Штауффера: он не числился ни в одном из справочников городской библиотеки, хотя они постоянно обновляются. Наконец я нашел фамилию в перечне, устаревшем года на четыре. Перечень я прилагаю, и надеюсь, вы не сердитесь, что я вырвал его из библиотечной книги. Я знаю, что мне такое делать не полагается. Потом я пошел в его бывший дом, где живут совсем другие люди. Судя по всему, доктор Штауффер умер года три назад.

Потребовалось время, чтобы я смог выяснить, от чего он умер, и выходит, что он повесился и похоронен на муниципальном кладбище за пределами города. Цветочница из лавки по соседству с домом рассказала его историю. Доктор Штауффер так и не оправился после гибели своей жены, сказала она, и со временем жизнь стала для него невыносима. Газеты рассказали мне чуть больше, когда я прочел их в библиотеке. Он умер в 1887 году, а мадам Штауффер была убита в 1885-м. Согласно газетам, она была убита служанкой по имени Элизабет Лемерсье. Служанку девочкой взяли в дом и обращались с ней со всей возможной добротой. Но кажется, у нее были от природы преступные наклонности, и она обратилась против своей хозяйки и заколола ее насмерть ножом с кухни. После она скрылась, и больше ее не видели, но я наткнулся на сообщение, что она была замечена в Лионе, вот почему теперь я здесь и пытаюсь выяснить правду. Надеюсь, вы не сочтете, что я превысил ваши инструкции.

Я нашел женщину, которая работала в доме у Штауфферов. У меня

ушло некоторое время и много ваших денег, но я ее разговорил. Мне пришлось сказать ей, что я младший репортер в газете „Таймс“; я добавил, что меня прогонят с места, если я не соберу сведения, которые вам нужны, потому что вы человек ужасный, и так склонил ее помочь. За это я прошу прощения.

Она сообщила, что газеты значительную часть истории опустили, щадя то немногое, что осталось от репутации доктора Штауффера. Она сказала, что служанка Лемерсье была соблазнена доктором, что он дарил ей дорогие подарки и что жена однажды все узнала. Когда мадам Штауффер вывела их на чистую воду и пригрозила сообщить о девушке в полицию (по всей очевидности, здесь за такое поведение могут послать в тюрьму или в сумасшедший дом), та ударила ее ножом и сбежала. Весь город заключил, что доктор Штауффер виноват, раз завел интрижку у семейного очага (хотя я полагаю, в вину ему ставили скорее то, что его разоблачили), а значит, его больше нельзя приглашать на обеды. Как раз это пренебрежение и заставило его в конечном итоге повеситься.

Сообщение о том, что Лемерсье бежала в Лион, насколько я могу определить, ни на каких фактах не основано. Предположение проистекает из того, что одного жителя Лозанны нашли мертвым в недорогом отеле этого города, и из того, что он был другом семейства Штауфферов. Я думаю, что журналист, писавший заметку, мог преувеличить, чтобы привлечь читателей. Тем не менее я в Лионе и могу сообщить, что отель, в котором был найден лозанец, некий мистер Франц Вихманн, сорока шести лет, очень похож на дом терпимости. Этого в газетной заметке не было.

Здесь я должен извиниться за то, как мне пришлось потратить часть ваших денег, сэр. Очень надеюсь, что вы меня простите. Но я в полном неведении пошел в тот отель, и только когда переступил порог, начал понимать, что это за место. Но к тому времени женщина, которая им заправляет, потребовала от меня денег, и я ей заплатил, считая, что снимаю комнату. Только когда меня попросили выбрать девушку, я осознал мою ошибку».

Прервав чтение, я усмехнулся. Поистине Жюль был очень плохим лжецом; но я невольно восхитился его нахальством.

«Натурально, я пришел в ужас, но решил скрыть мое потрясение, чтобы иметь возможность задавать вопросы. Поэтому старухе я сказал, что хочу подождать и поболтать. Она сочла, что это нервы — мне и правда было весьма не по себе, — и прислала девушку составить мне

компанию.

Не буду входить в детали, если вы не против, но какое-то время мы поговорили. Она правда была очень милая. И прекрасно помнила смерть мистера Вихманна. Возможно, неудивительно, так как полиция на время закрыла дом, и всем, кто тут работал, пришлось искать работу на улице, что им не слишком нравится.

Ту девушку звали Вирджиния — ни у кого здесь фамилий как будто нет, — но она мало что еще про нее знала. Похоже, здесь не любят говорить про свою жизнь. Мистер Вихманн не был постоянным посетителем, он пришел однажды, поднялся наверх с одной из девушек и, уходя, очевидно, мельком заметил Вирджинию. На следующее утро его нашли в собственной комнате мертвым, с ножевой раной в сердце. Вирджиния исчезла.

По крайней мере так сказала та девушка. Девушку по имени Вирджиния больше не видели, и не думаю, что полиция сильно ее искала. По всем рассказам, она была тихой и вела себя примерно. Она мало общалась с товарками и в ожидании клиента предпочитала сидеть за книгой. У товарок она большой любовью не пользовалась, так как они полагали, что она мнит себя выше их.

Надеюсь, мистер Корт, вы не сочтете, что я даром потратил мое время и ваши деньги, выясняя все это, и что вы одобрите мои старания. Завтра утром я сяду на обратный поезд».

Прочитав внимательно письмо, я его тут же сжег: я не храню случайные бумаги, если в них нет необходимости. Потом я задумался. Связь между Элизабет Лемерсье, Вирджинией и графиней Элизабет Хадик-Баркоци фон Футак унс Сала увидеть было нетрудно. Если все это или хотя бы достаточная часть содержалось в дневнике, то Элизабет было из-за чего беспокоиться. Если Жюль верно восстановил события, ее, возможно, ждет гильотина.

Но времени предпринять что-либо сегодня у меня не оставалось, да и делать было нечего. Тем не менее я тщательно обдумывал задачу, направляясь после ленча на ипподром Лоншан. Предстоящего я не предвкушал. Я ненавижу скачки: никогда не видел в них смысла. Лошадей я люблю (гостя в юности у Кэмпбеллов в Шотландии, я много ездил верхом), и мало что сравнится с наслаждением сесть с восходом на хорошего коня и поскакать на пустоши. Животные наделены личностью и характером: они могут стать настоящими друзьями, если знаешь, как с ними обращаться. Но скакать по дорожке под крики тысяч разодетых,

избалованных зрителей? Животные много достойнее этих людей, которых, как правило, сами лошади не слишком интересуют. Эти люди ходят на ипподром, чтобы показать себя и потратить деньги. День в Лоншане удовольствия не сулил.

У меня выдалось напряженное утро, проведенное за сбором сведений о Франсуа Юбере — больших, чем мог дать мне мсье Штейнберг. Я еще не оправился от шока после столкновения с Симоном; оно глубоко меня потрясло; я не видел, что мог бы сделать иначе, но легкость, с какой я пришел к этому выводу и начал действовать исходя из него, казалась мне крайне тревожной. А потому с Франсуа Юбером я был неряшлив: позволил себе заплатить слишком много за незначительную информацию, слишком многое раскрыл сам, потому что спешил и чересчур устал.

По меньшей мере мои труды принесли достаточно, чтобы питать уверенность в успехе. Мсье Юбер возглавлял департамент бонов в «Креди Интернасьональ»; именно в его ведении находилась подписка банка на займы, и он определял объемы участия в них своего банка. Ничего необычного: у большинства банков теперь есть такие служащие, и их значимость все растет. Само по себе это мало что давало. Гораздо важнее был тот факт, что для человека своего положения мсье Юбер слишком любил азартные игры и что к целой веренице женщин внимания проявлял больше, чем полагается женатому мужчине. Сложите одно с другим, и получите человека, глубоко залезшего в долги, а тогда, конечно, начнете задумываться, откуда брались деньги. Такого можно без особых трудностей склонить отвечать на вопросы.

Оставалась, разумеется, проблема, как его найти. Я читал Золя и прекрасно помнил сцену в «Нана», описание огромных толп, бесчисленных повозок, от фиакров до телег, масс простолюдинов, буржуазии, gratin^[10] — все в отличающем их от других платье, со своими особыми повадками, и все толкуются бок о бок, сведенные вместе азартом. Я предчувствовал затруднения, видел, как проталкиваюсь через толпу и никак не нахожу искомую добычу. Я подумывал, не попросить ли Элизабет пойти со мной, чтобы за поисками рассказать ей про Симона, но она бы отказалась.

Идея обладала определенным шармом: она была Нана своего времени, но много утонченнее и увереннее в себе. Не для нее участь шлюхи Золя, созданной исключительно для того, чтобы запротokolировать ее падение, чтобы продемонстрировать, какой жестокой бывает жизнь. Элизабет посвятила себя доказательству обратного, того, что личность способна одержать победу, что судьба не predeterminedena. Я желал ей удачи. И беспокоился из-за предостережения мадам Колвиц. И из-за дневников. И

из-за Дреннана.

Но Элизабет ненавидела лошадей, как она сказала мне однажды, и не любила азартные игры. Она не играла со случаем — это было главное ее свойство. Она была не Нана, пожирающая людей ради самого пожирания, доводящая их до бедности или самоубийства только потому, что способна. Она принадлежала к иному поколению, к эпохе бизнеса. Она покупала и продавала и преумножала свой капитал. Дальновидная и, несомненно, более умная, чем плод фантазии Золя, и, уж конечно, с меньшими шансами на одинокую смерть в гостиничном номере. Элизабет не намеревалась сиять ярко и умереть молодой.

Но проблема, как найти мсье Юбера, оказалась много проще, чем я ожидал. Золя (неспособный удержаться от безвкусного и вульгарного) описал одно из больших событий ипподромного года, собирающее орды зрителей. Однако в большинстве Лоншан был много неприятнейшей: повседневные скачки привлекали лишь поистине увлеченных или поистине одержимых. Некоторые лошади выглядели так, словно предпочли бы доживать старость на каком-нибудь лугу, и по меньшей мере три жокея принесли бы своим хозяевам больше, если бы ели поменьше. В общем и целом атмосфера была как на деревенском празднике, а не на известном ипподроме: орды исчислялись парой сотен человек, а букмекеры явились скорее по долгу службы, чем ради перспективы серьезного заработка. Огромные кафетерии были закрыты, прилавки пусты, никакого гуда предвкушения. Настроение было скорее меланхоличным, зрители знали, что больших переживаний им ждать не стоит, и слишком хорошо понимали, что здесь они только потому, что не могли удержаться. Даже день был далек от приятного, когда теплое солнышко отчасти компенсировало бы отсутствие иных удовольствий. Но нет, небо было низким и серым и грозило дождем в любой момент; в ветре чувствовался холодок, и я пожалел, что не надел более теплое, зимнее пальто.

Зрители в большинстве принадлежали к разряду лавочников, в их аккуратности сквозило отчаяние, да и сами они казались тут не вполне к месту: лица — слишком изнуренные либо слишком розовощекие, голоса — слишком громкие либо слишком тихие. Всех их я оглядел быстро и так же быстро отшел. Один вполне сошел бы за старшего служащего «Креди Интернасьональ», и он стоял в сторонке, изучая программу скачек со спокойствием профессионала, не выказывая ни эмоций, ни интереса к тому, что делает. Он совершенно ничем не выделялся, и, будь толпа больше, у меня не было бы ни единого шанса его найти. Я посмотрел, как он подошел к букмекеру, сколько-то заплатил с тяжелым вздохом и

удалился, но не для того, чтобы наблюдать за забегом. Его интерес был отвлеченным, казалось, он способен провести полдня, ни разу не дав себе труда взглянуть хотя бы на одну лошадь. Он был одержим не спортом, а числами.

Я последовал за ним, когда, заложив руки за спину, шагом неспешным и бесцельным он направился прочь от беговой дрожки, а после нагнал его и кашлянул.

— Мсье Юбер?

Он повернулся на меня посмотреть, но не улыбнулся, вообще никак не отреагировал. Словно даже не заинтересовался.

— Простите, что к вам обращаюсь, — сказал я. — Меня зовут Корт, я журналист из «Таймс» в Лондоне. Если можно, я хотел бы задать несколько вопросов.

Юбер был озадачен.

— Уверен, что нельзя, — ответил он. — Хотя понятия не имею, о чем вы захотели бы спросить.

— Об аргентинском водоснабжении.

Вид у Юбера сделался настороженный.

— Мне решительно нечего вам сказать. Это было бы совершенно неуместно.

— Заверяю вас, ваше имя нигде не будет упомянуто...

— Это не имеет значения. Прошу вас, оставьте меня.

— ...но если я не смогу написать эту статью, мне, вероятно, придется написать другую. Про Амелию Фельман. Про ваши долги. И тому подобное.

Он уставился на меня в полнейшем потрясении. Слишком уж легко, подумал я: он просто жалок. Мог бы по крайней мере попытаться дать отпор. Теперь мне даже не придется ему платить.

— О Господи Боже, — сказал он с дрожью в голосе. — Кто вы?

— Как я и говорил, я работаю на «Таймс». Я пишу статью о банковском деле во Франции. И я хочу знать все — я имею в виду все — про аргентинский заем. И вы мне расскажете.

Я ожидал хотя бы нескольких минут сопротивления, но он просто сломался, руки у него дрожали.

— Я знал, что рано или поздно такое случится, — сказал он. — Я так и знал...

— Значит, вы были правы, — безжалостно ответил я. — Случилось. Поэтому считайте, что вам повезло, что мне нужна только безобидная информация, и ничего больше.

Он оглянулся по сторонам так, словно ему чудилось, что его начальство где-то рядом, слушает и наблюдает.

— Пойдемте прогуляемся, — предложил я. — Хотя сомневаюсь, что здесь есть кто-то, кто увидит, как вы со мной разговариваете. А я ничего не стану разглашать. Слово журналиста, если сомневаетесь в моей чести.

Он тяжело вздохнул и сдался. Капитуляция была полнейшей, и я видел, что теперь он расскажет мне все, о чем бы я ни спросил. Я был невысокого мнения о нем. Я думал бы о нем лучше, если бы он сперва попытался сбежать или меня ударить.

— Итак, начнем. Аргентинский заем. Почему ваш банк не участвует? Это было ваше решение?

— О нет. Не мое. У меня недостаточно высокое положение, чтобы решать такие дела. По собственному почину я никогда бы не посмел бросить вызов «Барингсу». Я улаживаю практические частности подписки на заем, но никак не решаю, на какой заем мы подписываемся.

— Вот как? Кто же решает?

— Обычно для обсуждения каждого займа собирается комитет. В этом случае решение принял лично председатель.

— Это необычно?

— Неслыханно.

— Как это произошло?

Он огляделся по сторонам, снова занервничав.

— Мне велели написать письмо с отказом от подписки. А также распорядились не указывать причин такого решения. И опять-таки, это нечто из ряда вон выходящее. Обычно вежливость требует привести объяснение, пусть даже и неофициальное.

— И опять же инструкции поступили от председателя?

— Да. Он лично меня вызвал. Я спросил почему, ведь в прошлом операции с «Барингсом» приносили большую прибыль. Он сказал только, что на сей раз никто в долю не войдет. Ни одно финансовое учреждение Франции и пальцем к займу не притронется.

— Почему?

— Именно это я и спросил. «С займом что-то не так?», — спросил я. «Ах нет, — ответил он. — Ничего особенного в займе нет. Вот почему для „Барингса“ это будет таким ударом. И кое для кого еще», — добавил он.

— Что он имел в виду?

— Он ничего больше не сказал. Но меня это озадачило так же, как, вижу, озадачивает вас. Поэтому, понимаете, я начал слушать и задавать вопросы моим коллегам в других банках. И знаете, что я обнаружил?

Теперь он явно разговорился, хотел рассказать мне то, о чем я даже не спрашивал.

— Понятия не имею.

— Это правда. Все крупные банки Франции откажутся от каких-либо бумаг «Барингса». Более того, я знаю про два банка в Бельгии и один в России, которые тоже отклонят предложения.

— Насколько велик этот заем?

— В общем и целом около пяти миллионов фунтов. Очень большая сумма, но не больше, чем многие южноамериканские займы, и с лучшими перспективами по выплатам, чем у многих. Конечно, можно доказывать, что в Аргентину и так уже вложено слишком много, и такой точке зрения я посочувствую. Рано или поздно рынки не выдержат. Но это весьма опрометчивый способ сокращать собственные пассивы.

— Как так?

Ответ я знал заранее, но также и понимал, что чем больше он мне скажет, тем более откроет еще. Он даже не заметил, что я не веду записи.

— Потому что мы многое разузнали про южноамериканские облигации и наши клиенты много через нас купили. Провал может вызвать панику во всем секторе и, соответственно, всеобщий обвал цен. Мы можем потерять очень крупные суммы. Гораздо разумнее было бы сначала избавиться от нашей доли акций.

— А этого не сделали?

— Кое-что продали, но недостаточно.

Верно, если южноафриканские боны рухнут, французские институты потеряют много. Но гораздо, гораздо меньше, чем английские. Изо всех бонов, продававшихся за последнее десятилетие, с тех пор как «Барингс» открыл Южную Америку, облигации по меньшей мере на половину от суммы были проданы в Англии, остальное пришлось распространить на Европу и Северную Америку. Хотя я не мог вспомнить точные цифры, было очевидно, что на рынках это вызовет панику, которая станет распространяться волнами. Но ничего такого, с чем Сити не справился бы. Крах американских железных дорог нанес не менее тяжелый удар, но был преодолен без особых трудностей. А тут последствия скажутся по всему Континенту. Зачем банкам без необходимости стовариваться об искусственном вызывании потерь в ущерб себе же? Как сказал мсье Юбер, есть много более разумных способов уйти с рынка, если боишься, что приближаешься к его пику. Но обрушивать его тогда, когда сам попадешь под удар, глупо — по меньшей мере.

Но ему больше нечего было мне сообщить. Свои интересы он

ограничивал бонами и облигациями, лошадьми и любовницей. Он не мог ни назвать причин, ни предложить гипотез. К догадкам он был не склонен. В конечном итоге я даже проникся восхищением к его пустячным грешкам. Они доказывали, что он не вполне автомат. Где-то в нем прятался маленький бесенок, понукавший его переступить черту, и после многих лет он сдался. Я очень надеялся, что он получает удовольствие, так как он плохо это умел. Рано или поздно его выведут на чистую воду, и его мирок рухнет.

— Спасибо, — сказал я, когда стало очевидно, что я истощил его познания. — Видите, вы не сказали мне ничего особо опасного. Это мелкое прегрешение в сравнении с вашими прочими. И останется много более тайным, чем они.

— О чем это вы? — с дурным предчувствием спросил он.

— Просто о том, что, если я смог разузнать без особого труда, смогут и другие. И разузнают.

Я поклонился и ушел, оставив его смотреть мне вслед. Рад сказать (в каком причудливом мирке безнравственности я стал жить!), что мсье Юбер внял моему предостережению. Всех подробностей я не узнал, но очевидно, что все свои весьма значительные таланты он употребил на то, чтобы в течение следующего года присвоить много большие суммы. Когда банк наконец обнаружил, что счета не совсем таковы, как следовало бы, мсье Юбер уехал в Буэнос-Айрес и исчез навсегда.

Мне предстояло над многим поломать голову, а думается мне лучше всего на ходу. Поэтому я пошел через Булонский лес назад в Париж и дальше, через все сокращающиеся поля и убогие домишки, составляющие еще дальнюю западную окраину города, пока не решил отдохнуть в кафе. Там я сидел среди смеха и дыма, размышляя над рассказанным мсье Юбером. Несомненно, я извещу «Барингс». Со слов мсье Юбера выходило, что банк уже, возможно, знает, но еще не понимает, с трудностями какого порядка ему предстоит столкнуться.

Но я по-прежнему не мог найти смысл. Банки словно бы действовали заодно, но вели себя как отъявленные любители — почти так, будто хотели выбросить на ветер собственные деньги. Если на мгновение допустить, что банкиры не сущие кретины (что порой большое искушение в случае банковских служащих, но редко бывает с высокопоставленными среди них), на то должна быть причина. Но что это может быть за причина? «Барингс» выпускает заем, половину которого забирают в Англию, и у него остается два с половиной миллиона фунтов стерлингов для размещения на внешних рынках. Кое-что, без сомнения, продается. Так,

предположим, дефицит в два миллиона. Гигантская сумма. И доставит немало трудностей, поскольку «Барингс» явно не способен покрыть ее из собственных ресурсов. Но подобное уже случалось прежде, пусть и не в таком масштабе. На крайний случай есть Английский банк, который ссудит «Барингсу» золото из своих запасов. Безусловно, «Барингс» за это дорого заплатит, зато устоит. Его репутация ловкого маневрирования понесет урон, зато его титаническая мощь будет продемонстрирована всему миру. Единственным результатом станет то, что все потеряют огромные суммы. Какой в этом смысл?

Две большие кружки пива не приблизили меня к ответу, поэтому я продолжил прогулку. Она доставила мне удовольствие: та часть Парижа, которую пересекает авеню де ля-Гран-Армэ, за последние десять лет или около того стала гораздо безотраднее. Тогда это был очень пестрый квартал, где, скажем, огромный жилой дом с одного боку обрамлял коровий выпас, чтобы снабжать город молоком, а с другого уютилась мастерская каменщика или еще какая-нибудь мелкая лавочка. Вокруг высоких, в шесть этажей, зданий притулились одноэтажные хибары рабочих, которые еще не успели смести застройщики. Один пустырь обжил цыганский табор, другой — мюзик-холл под открытым небом, а между ними — модная, поразительно уродливая церковь, выглядевшая отчаявшейся и заброшенной, хотя и была с иголки новой.

Было почти шесть вечера, так что у меня как раз хватало времени (если найду фиакр) поспеть в контору «Барингса» возле Биржи. Сушая доука, так как я не видел смысла в спешке, но подумал, что стоит сейчас спихнуть дело, не то оно нарушит мои планы на завтра. А я планировал посетить общественные бани, чтобы хорошенько отмокнуть, и рано лечь спать. Я был измотан. Должен сказать, что я все еще сомневался, помогать ли «Барингсу»: я не вполне простил банк за скорую готовность меня уволить. Но от старых обязательств трудно избавиться: о многих моих коллегах я вспоминал тепло и, возможно, по-детски считал, что будет приятно показать им, что они потеряли.

Я прогромыхал до Биржевой площади и поднялся по лестнице в небольшую контору, занимаемую «Барингсом». Опять же не забудьте, что дело было несколько лет назад: даже самый могущественный банк в мире не видел необходимости производить впечатление роскошью обстановки и уж тем более держать легион служащих, которые вели бы его дела за границей. Тогда «Барингс» держал в Париже десять человек, из которых четверо были простыми клерками, а двое — членами клана Барингов на обучении. А оставшиеся четверо выполняли всю работу. Эти последние —

в традициях «Барингса» — были завалены делами и плохо оплачивались. Самый заваленный делами и плохо оплачиваемый, увы, меня ненавидел.

Со всей честностью могу сказать, что ни одна мысль о Роджере Фельстеде несколько лет мне на ум не приходила. Он был человеком такого усердия, положительности и полнейшей скуки, что про него можно было забыть, даже с ним разговаривая. Он верил в порядок. Он верил в правила. Он верил в процедуры. Он верил в лояльность и еще более свято — в то, что она будет вознаграждена. Увы, всякий раз, когда он считал, что ему полагается награда, эта заслуженная награда отдавалась мне. Он хотел ехать в Германию, послали меня. Он очень жаждал провести какое-то время в Нью-Йорке, но на корабль сел не он, а я. Он оставался в Лондоне, методически изучал свое дело, выполнял свои обязанности и выказывал полнейшую лояльность, а я носился по миру, пожиная незаслуженные лавры.

Я не любил Фельстеда. Фельстед не терпел меня. Вот от таких мелочей может зависеть судьба империй.

— Теперь журналистом заделался, да? — сказал он, даже не пытаясь скрыть высокомерного сострадания в тоне.

— Ага, — весело ответил я. — Книжные рецензии, интервью с актрисами и светские сплетни. Замечательно.

— Мне было жаль, когда я услышал про твой уход, — сказал он, подразумевая прямо противоположное. — О нем много говорили.

— Приятно слышать. Печально было бы, если бы никто не заметил.

— Тебя правда вышвырнули? Я ведь вот что слышал. Мол, ты напортачил что-то с контрактом.

— Определенно нет, — сказал я. — Нет. Это было потому, что я позаимствовал деньги банка, чтобы заделаться сутенером.

Он моргнул, не зная, как реагировать. Потом идиот решил, что я шучу.

— Что, пришел посмотреть, чего лишился? Без тебя дела идут как будто гладко.

— Отлично. Насколько я понял, вы выпускаете большой заем для аргентинцев. Водопроводная компания?

Он кивнул.

— Самый амбициозный из всех. И мне поручено синдицировать французских участников. Большая ответственность, скажу тебе.

— И как проходит?

— О, прекрасно. Очень даже неплохо. Конечно, понадобится время, чтобы всех собрать. Ты же знаешь французов. Никакой дисциплины. Никакой способности принять решение. Хотят, как Шейлок из

«Венецианского купца», свой фунт мяса. Чтобы мы помучились прежде, чем они сделают как сказано. Pour l'honneur du pavillon,^[11] сам знаешь. — У него был странный, раздражающе визгливый смех, почти как крики стаи уток в полете.

— Так если бы я сказал, что через мои контакты до меня дошло, что «Креди Интернасьональ» решил не участвовать в займе, что на деле ни один банк во Франции и близко к бумагам «Барингса» не подойдет, что русские и бельгийские банки тоже заколебались, ты мне ответишь, что это пустые биржевые сплетни и на самом деле все идет гладко?

Он побледнел, и по его реакции я понял, что ничего из этого ему не известно. Ни один банк пока от участия официально не отказался: они приберегали отказ как большой сюрприз. Я задумался, а когда этот сюрприз огласят.

— Непременно отвечу, — сказал он, хотя уверенность в его голосе давала о себе знать как раз своим отсутствием. — Кто тебе рассказал?

— Один информатор, — сказал я. — Такое бывает, когда выходишь в свет. Тебе стоит попробовать. По-твоему, это чушь?

— Абсолютная. Полнейший абсурд. Когда это ценными бумагами «Барингса» пренебрегали? Случается иногда, какой-нибудь банк снижает долю своего участия. Это нормально. Ты сам знаешь. Но несколько банков разом? Им известна наша репутация. Разве лорд Ривлсток хотя бы раз оступился? Ха, да он же гений! Ты сам все знаешь и тем не менее веришь каким-то сплетникам? Ясно, что ты не для банковского дела создан, мой мальчик, если склонен к подобной панике.

Мне хотелось ответить, что, вполне очевидно, и он тоже, если склонен к подобному тупоумию. По сути, он мне напомнил, что я не любил в «Барингсе»: самодовольство и уверенность в собственной непогрешимости. Баринги были властителями fin de siècle.^[12] Но опять же в начале его правили Ротшильды, а сейчас стали консервативной тенью самих себя. Неужели «Барингс» думает, что будет господствовать вечно?

— Отрадно слышать, — ответил я. — Так, по твоему, мне следует отмахнуться от этих историй? Я подумывал написать что-нибудь для «Таймс»...

— Нет-нет, ни в коем случае! — поспешно сказал он. — Это была бы грубейшая нелояльность. Если станет известно про проблемы, то...

— Так проблемы есть?

— Я же сказал, дело движется медленно. Но заем непростой. Огромная сумма. Трудности неизбежны.

— Так «Креди Интернасьональ» отказался?

— Определенно нет.

— Согласился?

— Пока нет. Там говорят, у них административные затруднения. Но заверили меня, что беспокоиться не о чем. Окончательный ответ будет в следующий четверг утром.

В следующий четверг. Через шесть дней. Это даст два полных биржевых дня, чтобы рынки охватила паника, если все выйдет так, как мне кажется.

— Слушай, — сказал я. — Я не шучу. Я думаю, надвигается буря. Тебе надо послать телеграмму в Лондон, чтобы там могли подготовиться.

Он уставился на меня с пренеприятнейшей недоверчивой ухмылкой.

— Предупредить? О чем? О байке, принесенной журналистом? Ты думаешь, лорд Ривлсток откажется от уикэнда из-за того, что ты слышал на приеме у какой-то вдовы?

— Тут нечто большее.

— Не имеет значения. Никто не может тронуть «Барингс». Тебе-то следовало бы это понимать. Что до телеграммы, в жизни не слышал ничего абсурднее. Держись-ка своих актрис, Корт. Оставь серьезные дела людям, которые понимают, что делают.

Я пожал плечами:

— Прекрасно. Послушаюсь твоего совета. Мне то-то и то-то рассказали, а я передал тебе. Делай со сведениями что угодно. Ты, без сомнения, в своей оценке прав. Как ты говоришь, ты опытнее меня.

— Вот именно, — удовлетворенно сказал он. — И не думай, что я не благодарен тебе за заботу. Очень мило с твоей стороны было прийти. И если в будущем услышишь еще какую-нибудь мелочь, не бойся, приходи, рассказывай мне, сколь бы нелепой она ни была. И позволь как-нибудь поставить тебе выпивку — в награду за труды.

В это мгновение перед глазами у меня замаячила упоительная картина: «Барингс» идет на дно со всем экипажем и Фельстед тонет первым. Я желал французам удачи.

— Замечательная мысль, — сказал я. — Но не сегодня. В настоящий момент ты оказал бы мне большую услугу, дав взглянуть на бюллетени Фондовой биржи. Я собираю материал о позиции Франции по вопросу двойной конвертируемости. Мне нужна кое-какая базовая информация. «Таймс» ее публикует, но полезно было бы найти все в одном месте.

Утвердив свое превосходство, Фельстед стал сама любезность. К счастью, он не хлопнул меня по спине, пока вел к столу, прежде чем

достать банковские бюллетени. Поступи он так, я, возможно, все испортил бы, его ударив.

Ежедневные бюллетени Фондовой биржи — самое скучное чтение из всех: цены на десятки правительственных ценных бумаг, цены на бесчисленные иностранные акции и облигации предприятий общественного пользования. Дисконтные ставки и процентные ставки, применимые к сотням различных финансовых инструментов в десятках стран. Извещения об эмиссиях, и выпуске новых ценных бумаг, и выплатах дивидендов. Но, внимательно изучив их, здравомыслящий человек может заработать себе состояние. Так говорят, но самым слабым моим местом на банковской стезе было то, что меня все это нисколько не интересовало. Я вынудил себя это понимать, но оно не приносило мне ни удовольствия, ни удовлетворения, какое даровало многим моим коллегам.

Я терзал себя, читая столбцы цифр, цены и ставки, в надежде найти какой-то намек на то, как будет разворачиваться вторая стадия этой авантюры. Ведь вторая стадия неизбежна. Мсье Юбер был прав: зачем делать что-то, что едва-едва навредит «Барингсу», зато может стоить тебе кучу денег? Но если банки по всему Континенту действительно выступают сообща, происходит нечто серьезное, и можно предположить, что организуют это очень и очень неглупые люди.

Потребовалось почти два часа, но я нашел. И даже я испытал шок. Я предполагал, что найду какое-то свидетельство вторичного наступления на «Барингс», но на деле ситуация была гораздо серьезнее. Она была настолько серьезной, что на существенные цифры поначалу я даже не посмотрел: мне в голову не приходило, что они имеют значение.

Мишенью был не «Барингс». Метили в сам Английский банк.

Едва я их заметил, цифры говорили сами за себя. На протяжении последних двух месяцев из Английского банка откачивались драгоценные металлы. Деньги выводились, новые депозиты не делались или задерживались. Банк Франции, ссылаясь на потребность в золоте для восполнения недособранных налогов вследствие неурожая, отложил депозит десяти миллионов фунтов стерлингов; Русский банк изъясил пятнадцать миллионов. Частные банки, которые в обычных обстоятельствах держали бы в Лондоне меньшие, но все равно значительные суммы в золоте на депозите, уходили: сто тысяч фунтов тут, двести тысяч там. В общем и целом (взяв лист бумаги и карандаш, я начал складывать цифры за полтора месяца) было выведено семь миллионов. Согласно моим подсчетам, в сейфах Английского банка осталось меньше четырех миллионов золотом.

И на следующей неделе самый могущественный банк в мире испытает потрясение, от которого пошатнется, что вызовет панику на всех лондонских рынках. Когда люди паникуют, то хотят получить назад свои деньги. Они хотят золото. А «Барингс» захочет одолжить это самое золото, чтобы закрыть бреши в своих позициях. Он обещал «Аргентинской водопроводной компании» пять миллионов. Он должен заплатить, и у него не будет достаточно денег. Каждая акция, зарегистрированная на Бирже, упадет в цене. Банки и их клиенты запаникуют. Очередь из банкиров выстроится у дверей Английского банка, а у того не окажется достаточно золота, чтобы удовлетворить спрос. Ему придется приостановить конвертируемость, сказать, что перестает обменивать банкноты на золото, и репутация всего лондонского Сити рухнет, а первым будет «Барингс». «Обещается выплатить подателю сего сумму в один фунт по требованию». По требованию. Золотом. Вот только гарантия будет разоблачена как ложь. Не стоящая бумаги, на которой напечатана, так что бумажные деньги стремительно обесценятся.

План был головокружительно дерзкий. И простой. И сработает. «Решительный и здравомыслящий враг не станет тратить время и средства на удар по флоту или вторжение в колонии. Он постарается подорвать репутацию десятка лондонских банкиров». Вот что сказал Нечер, и был совершенно прав. Так и случится. А этот идиот Фельстед отказывается мне верить.

Красота аферы заключалась в том, что даже если кому-то рассказать о ней, это не устранит, а лишь приблизит панику. В Лондоне недостаточно золота, и этого никак не изменить.

Я пришел к выводу, что — пусть даже уже слишком поздно — необходимо хотя бы поставить в известность мистера Уилкинсона, а для этого мне требовалось содействие Джона Стоуна. «Таймс» не могла мне помочь, так как обычно мы посылали статьи публичным телеграфом: шли на местную почту и отправляли их слово за словом. Не слишком секретно, а еще было общеизвестно, что телеграфисты получают небольшое жалованье от полиции, сообщая ей взамен все интересное. Фельстед не поможет, а вот Стоун, подумал я, согласится. И я знал, что у его компаний есть собственные линии телеграфной связи, сообщения по которым, вероятно, можно перехватить, но которые с большей вероятностью пройдут незамеченными.

Однако найти Стоуна оказалось непросто. Я знал, что он держит контору рядом с Пале-Рояль, но она была закрыта — было уже так поздно, что я поехал туда скорее из дотошности, чем в надежде на успех. Еще я

знал, что обычно он останавливается в «Отель дю Лувр», но и в апартаментах его не оказалось. Потребовался изрядный подкуп, чтобы мне позволили подняться и поговорить с его камердинером.

— Боюсь, мне неизвестно, где мистер Стоун, сэр, — сказал этот тип, с каменным лицом глядя мне прямо в глаза.

— Нет, известно, — укоризненно ответил я. — И сколь бы похвальной ни была ваша ложь в обычных обстоятельствах, но не теперь. Мне нужно увидеться с вашим хозяином, и как можно скорее. Это дело величайшей срочности, и он не поблагодарит вас, если вы не скажете мне, где его найти.

Слуга несколько секунд помедлил, потом с величайшей неохотой сказал:

— Думаю, он приглашен на чай к графине фон Футак. Но я не знаю, где...

Я широко улыбнулся.

— Зато я знаю. Молодчина, спасибо. Я позабочусь, чтобы он узнал о вашем безупречном умении оценить ситуацию.

Я не сбежал бегом по лестнице, но спешил и определенно оттолкнул пожилого господина, ждущего, чтобы его подсадили в фиакр у парадного. Он нахмурился, я сделал извиняющийся жест, когда запрыгивал внутрь и называл адрес.

Понадобилась четверть часа, чтобы доехать до особняка Элизабет, и я колотил в дверь, пока меня не впустили, а тогда потребовал, чтобы меня провели к ней и к Стоуну. Тут мне пришло в голову, что я, возможно, ставлю их обоих в крайне неловкое положение. Элизабет говорила, что принимает посетителей только в определенные дни и в определенные часы. В остальное время у нее есть собственные дела. Этот вечер был не из тех, когда она принимала кого-либо, помимо акционеров. Значило ли это, что Стоун приобрел акции? Странно, но, ожидая в передней, я очень надеялся, что нет. Впрочем, у меня не было времени задуматься, почему для меня это важно.

К счастью, замешательства не возникло. Меня провели в малую гостиную, которую Элизабет держала для себя одной, очаровательную комнату, обставленную по ее вкусу, а не в соответствии с модой. Там я их и нашел: они сидели бок о бок на двух стульчиках, как обычная семейная пара, обсуждающая прошедший день и наслаждающаяся обществом друг друга. Разница в ней поразила меня сразу: она была не напряжена, не насторожена и совершенно в мире сама с собой. Сомневаюсь, что я когда-либо видел ее такой раньше. И уж конечно, не в моем обществе. Я всегда

ощущал напряжение, словно она ожидала, что ей придется защищаться. Я испытал укол ревности, хотя тогда не отдал себе в этом отчета.

Но едва я вошел, настороженность вернулась, и Стоун встал мне навстречу, разрушив впечатление интимности.

— Прошу прощения у вас обоих, — сказал я. — Я не пришел бы сюда без приглашения, не будь мое дело столь важным. Мистер Стоун, пожалуйста, на два слова наедине.

Элизабет встала.

— Оставайтесь здесь. У меня есть дела наверху. Я вам не помешаю.

Она быстро вышла из комнаты, и Стоун посмотрел на меня со смесью любопытства и (я видел) немалого раздражения.

— Как я и сказал, прошу прощения. Однако мне нужно послать телеграмму Уилкинсону так, чтобы никто больше ее не прочел. Мне бы хотелось воспользоваться вашим телеграфом.

— Ну разумеется, буду счастлив услужить, — сказал он. — Полагаю, вы хотите послать ее сейчас, сию минуту?

— Сию минуту, — ответил я, — или хотя бы как можно скорее. Думаю, до завтра она ждать не может.

— Вы в состоянии сказать мне, о чем она? Разумеется, я помогу вам в любом случае, но, сами понимаете, вы разбередили мое любопытство.

— Думаю, могу. Полагаю даже, это удачная мысль. Мне нужно удостовериться, что я не попал впросак. Дело в «Барингсе».

Я сел и рассказал ему про замечание Штейнберга на его обеде, про мою встречу с Юбером на ипподроме и про заключение, к которому пришел, изучив вывод драгоценных металлов из Английского банка.

— И вы полагаете, это скоординированное наступление на Лондон?

— Да, полагаю, хотя у меня нет доказательств. Несомненно, удивительное было бы совпадение, если бы дела обстояли иначе. В настоящий момент это не имеет значения. Важно другое: в четверг станет ясно, что выпуск «Барингсом» облигаций займа провалился; люди начнут спрашивать себя, достаточно ли у него денег, чтобы покрыть обязательства, — вполне оправданно, поскольку денег у него доподлинно недостаточно. Начнется погоня за золотом — и в «Барингсе», и во всех прочих учреждениях Сити. Английский банк не сможет обеспечить требуемое золото; «Барингс» рухнет, и Английскому банку придется приостановить конвертируемость. Предоставляю вам решать, каковы будут последствия.

Стоун потер подбородок и задумался.

— Довольно просто. Банковские ставки взлетят, учреждения пойдут ко

дну, вкладчики обанкротятся, компании лишатся финансирования, торговля будет подорвана. Возможные последствия будут множиться и множиться. Впечатляет.

— Прошу прощения?

— Я говорю отвлеченно. Трудно не восхищаться отличной и хорошо проделанной работой. Но, как вы говорите, не имеет значения, спланировано это или нет. Вопрос в том, возможно ли как-нибудь это остановить. Например, будет ли — и какая — разница от того, узнает ли Уилкинсон, а через него, полагаю, Английский банк, правительство и «Барингс», что вот-вот произойдет?

— Если они будут готовы, то по крайней мере смогут привлечь все золото, какое сумеют в других банках. Его, возможно, хватит, чтобы остановить разрастание паники.

Стоун покачал головой:

— Очень сомневаюсь. Если вы правы, многие иностранные учреждения в Лондоне уже имеют подписанные требования на выдачу золота и только ждут случая их предъявить. Чтобы с лихвой подстегнуть панику. Я хочу сказать, попробовать, разумеется, стоит, если власти так решат, но, сомневаюсь, что получится. Гм-м.

— Что?

— Извините, — сказал он с тенью улыбки. — Я просто подсчитывал, насколько пострадаю я сам. Какая жалость, что вы не узнали этого вчера. Тогда я мог бы вовремя уйти с рынков. А теперь, сдается, я потону со всеми остальными; моя участь связана с падением этого глупца Ривлстока. Что за докучная личность. Тем не менее, полагаю, если я прикажу моим людям продавать с раннего утра в понедельник...

— Но это только прибавит паники... — не веря своим ушам, сказал я.

Стоун посмотрел на меня удивленно.

— Возможно, но не понимаю, почему я должен обанкротиться из-за самонадеянных амбиций и недальновидности лорда Ривлстока.

Я уставился на него во все глаза. Я прекрасно знал, что мягкая манера Стоуна только скрывает натуру и поступки одного из самых безжалостных коммерсантов. Но никогда не ожидал, что он будет настолько непатриотичен.

— Не тревожьтесь, — сказал он, словно прочитав мои мысли. — Самосохранение и патриотизм не полностью несовместимы. Меня это не обанкротит. С другой стороны, я окажу любое посильное содействие. Я вполне — вероятно, больше вашего — сознаю, сколь огромным вредом все это может обернуться. Крах финансовой системы Империи не в моих

интересах. Совсем наоборот. Я завишу от рынков в плане денег, от поставщиков в плане выполнения поставок, от правительства, чтобы у него были гарантированные налоговые поступления для военных заказов. И я завишу от репутации Британии, чтобы мои компании получали преимущество на внешних рынках. По этим причинам я помогу, если сумею.

Он встал.

— И начать мы можем, поехав в контору и послав вашу телеграмму. Мне придется поехать с вами. Вы умеете обращаться с телеграфом?

Я кивнул:

— Думаю, да.

— Хорошо. Она попадает в мою контору в Лондоне, дальше ее придется доставлять из рук в руки. Не волнуйтесь, Бартоли, мой человек там, исключительно лоялен и тактичен, и я отправлю ему распоряжение доставить телеграмму лично и ни с кем про нее не разговаривать. Он сделает как сказано.

Этого должно было хватить. Мы вышли и велели принести пальто. Пока мы одевались, спустилась Элизабет.

— Вы уходите? — спросила она с явным разочарованием.

— Боюсь, что так, графиня, — ответил Стоун. — Мистер Корт умеет убеждать, и я ни в чем не могу ему отказать, даже под угрозой лишиться вашего общества.

— Но вы вернетесь?

— Буду счастлив.

Меня она не пригласила, заметил я, чуть раздраженный, что меня обошли вниманием. Я застегнул пальто, и Стоун вышел первым. Тут она взяла меня за локоть.

— Какие-нибудь новости? — негромко спросила она.

— Мне нужно с тобой поговорить.

— Возвращайся, как только сможешь.

У Стоуна, разумеется, был собственный экипаж — фиакры не для него. Очень удобный, хорошо защищенный от звуков и сквозняков внешнего мира.

— Обаятельная женщина эта графиня, — сказал я без какой-либо причины, кроме желания посмотреть, как он отреагирует.

— Несомненно, — ответил он.

— Очаровательная собеседница, — добавил я.

— Несомненно.

— И на удивление хорошо начитана.

Стоун посмотрел на меня внимательно.

— Поосторожней, мистер Корт.

— Извините, — сказал я, улыбаясь. — Но я считаю ее другом.

— Я подумываю купить себе автомобиль. Недавнее новшество, — сказал он, пока мы громыхали по мостовой. — Когда-нибудь в таком катались?

Сдавшись, я покачал головой.

— Они воняют, они медленно ездят и часто ломаются, — продолжал он. — Думаю, у них большое будущее. Позор, что наше правительство упустило возможность сделать Британию ведущим их производителем. Мы подумывали начать производство — в малых масштабах, разумеется, — но отказались от этой идеи.

— Почему?

— Нет рынка сбыта. И не будет, пока правительство не позволит авто ездить быстрее четырех миль в час. Во Франции, в Италии они уже движутся со скоростью двадцати. Они идут вперед семимильными шагами, а нам приходится сидеть и смотреть. Кому захочется ездить со скоростью четыре мили, когда лошадь повезет быстрее? Мы не можем производить вещи, которые не станут покупать.

— Добейтесь изменения закона.

Он фыркнул.

— Не так просто. Люди думают, что бизнесмену достаточно щелкнуть пальцами, и правительство сделает как приказано. К несчастью, дело обстоит иначе. Чем больше правительству нужно голосов людей, которые вообще ничего не думают или не понимают, тем хуже оно становится.

— Возможно, оно боится, что погибнут люди.

— Оно боится, что погибнут избиратели. А они погибнут. Но каждый год лошади затаптывают сотни людей, а их скорость не ограничивают.

Он умолк на некоторое время, а экипаж двигался по улицам Парижа.

— Возможно, вам будет интересно узнать, — сказал он наконец негромко, — что я просил графиню фон Футах стать моей женой.

— Хорошо... я хотел сказать, мои поздравления, сэр, — произнес я в полнейшем изумлении. — Она?..

— Она просила неделю на раздумье. Полагаю, такова привилегия женщины, и уверен, она должна учитывать тот факт, что для нее это будет своего рода шаг вниз в глазах света. Так или иначе, мы на месте.

Я вообразил себе, как повар готовит для Элизабет обед, и задумался, а что сам буду есть сегодня вечером. Ничего изысканного, подумал я. Мне все еще не представился случай рассказать ей, что Симон больше не причинит ей неприятностей. Равно как и что ее неприятности стали теперь намного серьезней. Стоун меня ошеломил, но явно уже сожалел о своем доверии и не желал возвращаться к теме. Бедолага, подумал я. Я был уверен, что знаю, каков будет ее ответ. Она хотя бы проявила доброту, не расхохотавшись сразу, а сделав вид, что обдумает предложение. Но в настоящий момент поводов для смеха у нее было мало. Предложение Джона Стоуна развеется, узнай он содержание дневников, а если я не смогу найти Дреннана, он скоро узнает.

Стоун открыл дверь и первым вошел внутрь. И зажег свет. Ну разумеется, у него в конторе было электрическое освещение. Ему нравилось все современное. Даже столы, за которыми работали клерки, были столь же обтекаемыми, новыми и сконструированными с учетом эффективности.

— Вон туда. — Он повел меня через комнату, потом еще через одну и, наконец, в закуток с телеграфной машиной. — Не спрашивайте, как она работает. Я никогда ею не пользовался. Но это самая последняя модель, и, думаю, если нажимать туда, — он указал на клавишу, — а потом щелкнуть кнопки здесь, — он указал на ряд переключателей и кабелей, поднимавшихся над столом огромным технологическим утесом, — она будет передавать.

— О Боже, — сказал я. — Сомневаюсь, что у меня получится.

Я никогда раньше не видел подобной машины. Я понятия не имел, как она работает. Я осторожно нажал кнопку. Ничего не произошло.

— Кто обычно тут сидит?

Стоун пожал плечами:

— Откуда мне знать? Разве вам не полагается уметь с ней обращаться?

— Давайте откажемся от этой мысли, — наконец сдался я. Но у меня не было никакой другой на замену.

Стоун поджал губы.

— Единственным выходом было бы написать письмо и передать с кем-нибудь. Тут я могу посодействовать. То есть могу предоставить вам бумагу, перо, конверт и надежного человека. — Он посмотрел на часы. — Пожалуй, он сумеет поспеть на одиннадцатичасовой поезд. Если повезет, ваше письмо будет доставлено к ленчу в субботу. Если сможете найти кого-то, кому его доставить.

Он поглядел на мою удрученную мину.

— Чудеса прогресса, — сказал он. — Когда я был молод, дорога от Парижа до Лондона занимала почти двадцать четыре часа.

Я вздохнул.

— Значит, иного выхода нет. Тогда ладно. Напишу письмо.

Стоун кивнул.

— Поедем ко мне в отель, сделаете это там. Ксантос его отвезет. Когда закончите, передайте конверт ему.

Так я и поступил. Следующий час я провел в апартаментах Стоуна в «Отель дю Лувр», тщательно составляя письмо Уилкинсону, в котором излагал, что именно я обнаружил, что подозревал и что, на мой взгляд, следует предпринять. В последней части я выражался несколько туманно, поскольку, по правде говоря, понятия не имел, что может быть сделано. Даже будь Ксантос столь расторопен, как утверждал Стоун, времени было очень и очень мало. На то, чтобы найти владельцев «Барингса» и директоров Английского банка, потребуется время. Собрать их, выработать курс действий...

Стоуну, по всей видимости, пришла в голову та же мысль.

Он, подозревал я, тоже писал письма, впрочем, мне казалось, я знаю, что в них. Он хотел выйти на рынки с приказом продавать с раннего утра в понедельник, чтобы избавиться от как можно большего числа своих акций прежде, чем кто-то еще заподозрит, что может произойти. Конечно, я не мог его винить.

— И не потеряйте их, Ксантос, — сказал Стоун, отдавая письма своему секретарю. — Жизненно важно, чтобы они как можно скорее попали к Уилкинсону и Бартоли.

Секретарь тщательно убрал конверты во внутренний карман пиджака.

— Многообещающий молодой человек, — сказал Стоун. — Вам нечего тревожиться. Ему так не терпится в Лондон, что он переплывет Канал, если понадобится, чтобы выполнить работу. Выпьете, мистер Корт?

Я был на пределе, день выдался напряженный. Но я все равно согласился.

— Интересная история, — сказал он, едва слуга подал напитки и удалился. — Придает совершенно новый смысл концепции современного ведения войны. Захватывающе! Только подумайте, каковы могут быть мотивы замешанных тут людей.

— Они хотят уничтожить Лондон и Империю.

— Да, конечно. Но почему? Из того, что вы говорили, как будто следует, что русские и французы действуют заодно. А это любопытно, верно? Единственная республика Европы и великий деспот Востока?

Маловероятная пара, на мой взгляд.

Я пожал плечами.

— Французы ненавидят нас из-за Империи, немцы из-за войны, а русские — из-за своего политического строя. Впрочем, значения это не имеет. Я так далеко не заглядываю. Меня интересует, как это остановить.

— Возможно, это нельзя остановить, — мягко ответил он. — Пока вы писали свое письмо, я перепроверил цифры. Вы совершенно правы. В настоящий момент золота недостаточно, чтобы сдержать наступление на банки. Даже если всех банкиров согнать в одну комнату и все они согласятся объединить резервы, этого не хватит.

Некоторое время мы сидели в молчании, размышляя над ужасными перспективами, ждущими нас на следующей неделе. Меня захлестнуло ощущение поражения. Если бы только я выяснил на несколько дней раньше — даже два дня все изменили бы! Но я тратил время на пустяки: старался разузнать технические характеристики и назначение нового французского крейсера, который заложили на верфях Бреста, и особенно отвлекся на проблему дневников Элизабет — а потому не сумел разглядеть, что происходит. Я считал это отвлеченной проблемой, а не чем-то реальным и неминуемым.

— Но вот мне интересно... — начал я.

— Что вам интересно?

— Я ведь рассказывал вам про мой разговор с Нечером, верно? Разговор, с которого все началось?

Стоун кивнул.

— Он был бы не в восторге от такой идеи. А он человек влиятельный.

— И очень умный к тому же, — добавил Стоун. — Я питаю к нему большое уважение. Среди банкиров он один из лучших. Хотя, как вы понимаете, в целом я их не жалею.

— А что, если есть другие, похожие на него? Такие, кто сочтет, что это подорвет упорядоченность мировой торговли, станет непозволительным вторжением политики в чистый и неиспорченный мир денег.

— Продолжайте.

— У кого больше влияния? У людей вроде Нечера или у тех, кто организует наступление?

— Поскольку мы не знаем, кто за этим стоит...

— Я про другое, разве у нас тут не борьба фракций? Деньги против политики? Речь идет о последовательной политике страны или об акции отдельных лиц? Иными словами, возможно ли обратить это вспять, если обратиться к верным людям?

Стоун задумался.

— Смотри какую заплатить цену, верно? Чего хотят французы, русские? А кроме того, это ваша работа. Разве вам не стоит пойти в посольство и предоставить им этим заниматься?

Такая мысль мне в голову не приходила, но от нее нетрудно было отмахнуться.

— Вы знакомы с послем?

Стоун кивнул.

— Нужно ли тогда говорить больше?

Он улыбнулся.

— Согласен, он не самый деятельный человек. Тем не менее, думаю, его надо поставить в известность.

— Думаю, я повидеюсь с Нечером, — сказал я. — Я все равно не разглашу ничего, что не станет общеизвестным через день-другой. Кроме того, он, возможно, уже прекрасно осведомлен. Если удастся уговорить его как-то помочь...

Стоун встал.

— Попробовать, наверное, стоит. Как вы сказали, большого вреда это уже не принесет. А теперь, если простите меня, я приглашен на обед.

— О, прошу прощения! — сказал я. — Я и так занял слишком много вашего времени.

— Напротив, это было крайне интересно. Э...

— Да?

— Вам, возможно, понадобится связаться со мной в ближайшие несколько дней. Если меня не будет здесь, вы можете оставить мне сообщение в доме графини.

Он произнес это совершенно спокойно, но я ясно ощутил за словами неловкость. Стоун не принадлежал к светским людям, он был совершенно неспособен бросить подобное замечание небрежно, сколь бы ни старался.

Глава 16

Почему французские банкиры стремятся за город? Самые богатые полностью мигрировали из Парижа и слетелись в местечко Сен-Жермен-ан-Лэ, в нескольких милях вверх по реке. Там у них были свои карманные замки, обширные угодья, дети и слуги, весь простор, какой им требовался, — помимо еще более дальних поместий, которые они держали в провинции, виноградников в Бордо или в Бургундии. Насколько проще было бы, если бы они скучились во французской разновидности Мейфэра

или Белгравии, как банкиры английские.

Когда после жалких нескольких часов сна я встал на следующее утро и сел в трамвай до Сен-Жермен, у меня не было ни договоренности о встрече, ни гарантии, что я застаю Нечера дома. Я не был уверен, что вообще сумею миновать главные ворота и попасть в особняк. Но мне удалось, хотя пришлось перелезть через забор, преодолеть лающих собак, практически целый школьный класс вопящих детишек, трех горничных и няню (все обслуживали потомство Нечера), прежде чем я попал в сам дом, постучал и сел (с видом раздраженным и взъерошенным и чувствуя себя сродни коммивояжеру) в вестибюле.

Нечер, однако, был джентльменом: мое неожиданное появление и слегка усталый вид ни в коей мере его не смутили, даже несмотря на то что была суббота. Напротив, он провел меня в свой кабинет и исчез, чтобы извиниться перед семьей. Потом вернулся и объявил, что попросил принести в кабинет завтрак.

— Вы не похожи на человека, способного снести встречу с моими внуками, — улыбнулся он.

— Вы очень добры. Прошу прощение за мой приход. Но я считаю, что дело важное. Помните разговор, который состоялся у нас некоторое время назад в салоне графини фон Футака?

— Разговор о?..

— Об уязвимости лондонского Сити.

— Ах да. Прекрасно помню. Кажется, вы были весьма скептически настроены.

— Вам известно, что происходит? Или, точнее, что произойдет?

— Я слышал, что «Барингс» может столкнуться с трудностями при поисках подписчиков на аргентинский заем, который он предлагает. Вы об этом?

— Да. Последствия вам, полагаю, понятны?

Он кивнул.

— Вы это имели в виду в салоне графини?

Он поглядел на меня внимательно, явно взвешивая следующие свои слова. Этого, конечно, было достаточно, но не для того, чтобы продолжить разговор.

— Это определенно укладывается в нарисованную мной картину.

— Едва ли я разглашу большую тайну, сказав, что Английскому банку затруднительно будет удовлетворить требования, которые, по всей вероятности, будут предъявлены ему в течение недели или около того. И что отказ от подписки и вывод драгоценных металлов слишком уж явное

совпадение, а потому указывают на согласованные действия.

— И это тоже приходило мне в голову.

— Английскому банку понадобится содействие. Чтобы в трудную минуту вокруг него сплотились друзья.

— Ага, — протянул он, — но при всем уважении, каким пользуется Английский банк среди себе равных, к Англии, думаю, относятся в целом не столь хорошо. Таковы, как вам, без сомнения, известно, умонастроения французов при любом правительстве. Разумеется, у Английского банка есть друзья, но, увы, у самих этих друзей друзей немного.

— Что именно это означает?

— Видите ли, сударь, Франция в трауре. Она жаждет мести, но пока не вполне понимает, как получить желаемое. Она понесла поражение в тысяча восемьсот семидесятом, и не просто поражение, а унижение. Она уступила некоторые самые ценные провинции Германии. Ей пришлось заплатить захватчику, чтобы он ушел. Пять миллиардов франков за вторжение немцев в нашу страну и кражу наших земель. Удивительно ли, что в умах народа преобладает лишь одна мысль? Вы были на площади Согласия? Видели статуи великих городов Франции? Статуя Страсбурга навеки окутана черным; к ней ежедневно кладут цветы, как на могилу. Мечь, сударь. Мы хотим мести.

Он помолчал, проверяя, достаточно ли у меня еды, потом захлопотал и извинился, что не предложил ничего выпить. Закутанные от холода дети все еще играли в саду на слабом утреннем солнышке. Их радостный визг проникал даже сквозь закрытые окна.

— Но как отомстить? — помолчав, продолжил он. — Если мы будем одни сражаться с Германской империей, то опять потерпим поражение. У нас нет друзей, помимо стран вроде Италии или Испании, от которых нам мало толка. Габсбургская империя привязана к Германии, русские нам отвратительны, англичане противодействуют нам на каждом шагу по всему миру. Поэтому кое-кто начинает бормотать; мол, выхода нет, мол, есть лучший способ, нежели война, возратить то, что мы потеряли. Забудем на время про Германию и сплотимся против Англии. Подружиться с Россией, ослабим Англию, потом вернемся к проблеме Германии.

А вторая группа полагает, что все это фантазии, рисовка тех, кто ничегошеньки не смыслит в том, как устроен мир, кто думает, будто конфликт наций не изменился со времен Наполеона. Такие люди говорят, что Франция не будет сильна, когда одержит победу, но одержит победу, когда будет сильна. А страна набирает силу в период мира, когда может всецело посвятить себя накоплению капитала и развитию

промышленности. Как делала Англия.

— Вы говорите про банкиров?

— Самых презираемых из всех. Это люди вроде Ротшильдов создали из воздуха пять миллиардов франков, чтобы в семидесятых откупиться от кайзера, а их поносят как евреев-эксплуататоров, жиреющих на чужих трудах. Социалисты сновали по Парижу выкрикивая лозунги; политики ежились от страха в Бордо; генералы искали отговорки; а банкиры занялись изгнанием врага с эффективностью, которую армия даже вообразить не способна. И тем не менее — кем восхищаются, а кого ненавидят?

Не деньги развращают политику, а политика развращает деньги. У всех политиков есть своя цена, и рано или поздно они приходят с протянутой рукой. Вы думаете, можно развратить Ротшильда, Райнаха или Баринга? С точки зрения нравственности банкир и нищий схожи: деньги их мало волнуют. У одного они есть, другому они не нужны. Только те, кому нужны деньги, но кто их не имеет, подвержены коррупции. Иными словами, огромнейшая часть человечества и почти все политики, кого я когда-либо встречал.

— И клоните вы...

— К тому, что естественных союзников Англии во Франции, к несчастью, ненавидят больше всех. Вполне очевидно, что крах лондонского кредитного рынка будет катастрофой — для торговли, для капиталовложений, для промышленности. Все страны будут ослаблены; капиталы, копившиеся поколениями, будут растрачены впустую. Увы, слишком много находится тех, кто не понимает, что краткосрочная победа, купленная ценой долгосрочной нищеты, заведомо невыгодная сделка. И любой банковский дом во Франции, кто придет на помощь своим братьям в Лондоне, будет немедленно объявлен врагом отчизны. Особенно если принадлежит евреям.

— Так вы не поможете?

— Вынужден помогать. «Барингс» надменен и глуп, но он не должен пасть, сколь бы того ни заслуживал. Однако содействие будет возможно только в том случае, если за ним будет стоять правительство; усилий одних только банков тут недостаточно.

Это выходило далеко за рамки моей компетенции, и мне пришлось очень потрудиться, чтобы сохранять ясную голову.

— И какова была бы цена?

Нечер улыбнулся.

— Высокая.

— Но кто они? Мы имеем дело с политикой правительства или нет?

— Вы исходите из того, что правительство — это единое целое. Много лучше предполагать наличие фракций. А фракции распадаются и образуют новые. Вопрос скорее в том, как раздробить существующие и сложить их снова так, как больше устраивает вас. Например, если бы парижские финансисты обратились в Банк Франции и выступили бы сообща, сказали, что он должен прийти на помощь Английскому банку, то наше мнение, без сомнения, услышали бы. Однако есть и другие, которые будут требовать более драматичных мер.

— Мы говорим про мсье Рувье?

— Он честолюбив, тщеславен. Он видит прекрасный шанс разгромить противника и превознести себя. Его, вероятно, удастся переубедить, но глупо было бы делать вид, будто это будет нетрудно.

— А что русские от этого выигрывают? Они хотят получить займы на огромные суммы для финансирования своих армий и экономики. Как они их получают, если разрушат рынки, которые их поставляют?

— Боюсь, об этом вам придется спросить у них.

Глава 17

Когда я уходил, он садился за письма коллегам и партнерам, чтобы начать зондировать почву; я даже не задумался, как вышло, что он не удивлен, что простому журналисту известно так многое или что он так тревожится. Сейчас я спешил: мне многое нужно было сделать. Сначала мне надо было заглянуть в английское посольство, но, как я и предвидел, оно было закрыто (так ведь это английское посольство), и не нашлось никого, готового объяснить мне, где я могу найти посла. Он был человеком, ценившим свой досуг, и не допускал, чтобы его нарушали ни при каких обстоятельствах. Мне придется подождать.

Следующим было русское посольство, также закрытое. Не совершенно, в подобных местах так не бывает: я вошел и бродил по помещениям, пока не нашел кого-то, чтобы спросить, где мне найти военного атташе. Ответ последовал довольно быстро: бульвар Осман, 27, второй этаж, сказали мне. Туда было добрых полчаса пешком, быстрее фиакром, но ни одного не оказалось поблизости, так что в три часа пополудни я постучал в дверь графа Гурунжиева и был впущен слугой, который выглядел так, словно только что слез с седла после долгой скачки по степи.

Апартаменты были роскошно обставлены, и в них витал странный, почти пряный аромат, не похожий ни на один запах, какой можно найти в доме, где живут французы. Я так и не узнал, что это, но последующей беседе он придал отчетливую атмосферу заморского приключения. Запах был не слишком неприятным, но не из тех, который забывается, едва к нему принюхаешься. Мне ужасно хотелось знать, что это, но я не мог найти ни одного бесспорно тактичного способа спросить.

Раньше я Гурунжиева не встречал: он не посещал салон Элизабет, а навещал ее, когда она была одна, обычно по вторникам после полудня. Позднее из источников, о которых не хочу распространяться, я узнал, что он всегда был одним из наиболее щедрых ее поклонников, хотя и далеко не самым расточительным. Я ожидал увидеть рослого мужчину офицерского сословия, нечто среднее между героем романа Толстого и портретом Александра II верхом, но ничего подобного. Гурунжиев, наверное, был довольно хорош собой, но не особенно высок ростом, не слишком правильного сложения и без какой-либо военной выправки. Никак не казацкий тип. Напротив, его отличало лицо, изобилующее таким добродушием, что даже на минуту невозможно было проникнуться к нему неприязнью: ясный лоб, увенчанный темными волосами, глубоко

посаженные карие глаза, прямой нос и изящный, почти женственный рот. На долю секунды мысль о его близости с Элизабет скользнула у меня в голове, но она повредила бы моей цели, поэтому я постарался ее прогнать. Это было прискорбно, потому что он был обаятельнейшим человеком, и я прекрасно понимал, почему Элизабет считала его вполне подходящим на роль акционера. Единственным сюрпризом было то, что ей удалось не влюбиться в него как следует.

— Это крайне необычный визит, — начал граф с теплой улыбкой. Он, казалось, был ничуть не раздражен, хотя я прервал его обед. Голос у него был сочный и культурный, французский выговор — великолепный, и он самым естественным жестом предложил мне сесть. — Кто вы?

— Я пришел к вам, потому что слышал про вас от графини фон Футах.

— Разумеется, любому другу графини в моем доме рады, — невозмутимо отозвался он. — Хотя я не подозревал, что о нашей дружбе широко известно.

— Напротив, ваше сиятельство. Я говорил с графиней о деле, которое несколько меня заботило, и она тогда открыла, что знакома с вами, считает вас другом и посоветовала сообщить вам об этом деле, которое я считаю весьма настоятельным.

— Понимаю. И ее совету всегда должно следовать. Когда закончите, надеюсь, присоединитесь ко мне за обедом. Моя семья всегда рада новым знакомым.

«Видите, я готов поверить в вашу абсолютную сдержанность, потому что неколебимо верю в нее, — вот что он подразумевал. — Вам, без сомнения, будет нетрудно проявить равное понимание».

— Боюсь, я уже ангажирован, иначе я с большим удовольствием принял бы ваше приглашение. Но благодарю за любезность.

— Тогда начинайте.

— Прекрасно. Вы должны понять, что то, что я собираюсь вам рассказать, строго конфиденциально. Разумеется, нет нужды говорить это человеку вроде вас, но мое начальство, если узнает, сочтет мое поведение сомнительным — в лучшем случае. Вам самому придется найти объяснение, как вам стало известно то, что я сейчас расскажу.

Он жестом дал понять, что подобное вполне понятно.

— Хорошо. Я журналист и работаю на «Таймс». В дополнение я работаю на министерство иностранных дел Великобритании.

— Вы шпион?

— Я занимаюсь приобретением любой информации, которая может упрочить благополучие Британии и ее владений. Прошу, не поймите меня

превратно, если я скажу, что сведущ в моем деле и что на этом поприще я также — неизбежно — узнаю разное, касающееся также других стран.

— Например, России?

— В самом начале я перенял мое место у человека по имени Арнсли Дреннан, который впоследствии нашел себе применение, продавая свои услуги тому, кто больше предложит. Он человек крайней жестокости и низкой морали. Его история — войны, обман и убийства. Он американец.

— Продолжайте.

— О нем мне известно сравнительно мало. Как и всем прочим. Ему под пятьдесят, и некогда он воевал на Гражданской войне в Штатах. Там, полагаю, он начал приобретать свои навыки убийцы. Несомненно, он знаток в избранной профессии. Он способен незамеченным скользнуть за спину человеку и перерезать ему горло так же быстро и тихо, как мышь. Для многих его ценность заключается как раз в том, что он не предан никому и, следовательно, его трудно найти или выследить.

— И зачем правительство ее величества пользуется услугами такого человека?

— Уже давно не пользуется. Но вполне возможно, что его место занял кто-то схожий. Как и на службе правительств Франции и России.

Услышав такое, он заметно ошетинился и начал отрицать.

— Вам прекрасно известно, что это так. Полгода назад пара эстонских националистов утонула в Дунае. Вы действительно думаете, что они просто пьяными упали в реку? В прошлом месяце в Роттердаме нашли революционера с перерезанным горлом. И опять же, вы действительно думаете, что преступление совершил любящий диспуты товарищ? Что подобных людей нейтрализуют исключительно через суды?

Тут ему определенно стало не по себе, но в самой его позе я уловил также и дрожь возбуждения. Всех людей (всех мужчин, следовало бы сказать, поскольку я обнаружил, что женщины в общем и целом неподвластны чарам шпионажа) легко увлечь подобными байками. Им нравится сама мысль, что они владеют тайным знанием. Только очень здравомыслящие предпочитают не знать. Только святые поистине ужасаются. Если повезет, я смогу обернуть себе на пользу эту слабость и немало сделать для решения двух насущных проблем разом. Если буду осторожен и если мне повезет.

— Продолжайте.

— Его нынешние хозяева — люди, не питающие любви к России. Уверен, вы сознаете, что различные революционные группировки очень мало преуспели в разжигании беспорядков внутри самой России. Они

много шумят, но мало чего добиваются. В их рядах столько осведомителей, что им удастся лишь немного, прежде чем их обнаруживают. Анархисты различных мастей умудряются время от времени взорвать рестораны или кафе, но в том, что они делают, особого прока нет.

— Да, все это мне известно.

— Хорошо. Позвольте говорить напрямик. Группа русских эмигрантов заручилась услугами мистера Дреннана для осуществления злодейского преступления против России во Франции.

Это заявление было встречено молчанием — граф смотрел на меня, атмосфера в комнате внезапно помрачнела и посерьезнела.

— Могу ли я спросить, откуда вам это известно?

Трудный вопрос, ведь я сам не знал: на самом деле все от начала и до конца было соткано из лжи.

— Россия — не единственная страна, присматривающая за этими людьми, — беззаботно сказал я. — И я приглядываю за мистером Дреннаном. Для моей собственной безопасности, поскольку он сильно негодует на мое существование. А мне не хотелось бы стать его следующей жертвой.

— И это злодейское преступление?..

— Боюсь, сэръ, тут я должен прерваться и несколько подпортить себе репутацию. Эту информацию я должен обменять, а не подарить.

Его красивое лицо потемнело.

— Не тревожьтесь, — мягко сказал я. — Даже если вы не сможете пойти мне навстречу, я все равно расскажу вам все, что вам нужно знать, дабы предотвратить трагедию. Но мне хотелось бы заручиться вашим словом, что вы мне поможете, если будете в силах. Большого я не прошу.

Его глаза сузились, пока он обдумывал мое предложение, я видел, что он просчитывает возможные варианты. Он далеко не столь прям и откровенен, подумал я, как заставляют предположить его манеры.

— Хорошо, — согласился он. — Почему бы вам не сказать, что вам нужно, а тогда посмотрим, сможем ли мы договориться. Пожалуйста, не забывайте: я заметил, что вы не предоставили мне ни малейших доказательств.

— Они последуют. Я никоим образом не ожидаю, что вы станете действовать на основании непроверенных слов совершенно незнакомого вам человека. Что ж, хорошо. Полагаю, вы слышали про банк «Барингс».

Он был изумлен внезапным поворотом разговора, но кивнул.

— Через несколько дней у «Барингса» возникнут значительные затруднения. Он должен сделать платеж, но не имеет для этого средств.

Как бывает в подобных обстоятельствах, он обратится за содействием в Английский банк. Новость о затруднениях просочится, и многие захотят перевести свои средства в нечто посущественнее бумаги. Другие учреждения также захотят получить золото из сейфов Английского банка.

Он кивнул, но осторожно. Было очевидно, что он с трудом понимает, о чем я говорю.

— У Английского банка золота не хватит. Не нужно быть экспертом, чтобы понять трудности, какие возникают, когда у банка не хватает средств расплатиться по обязательствам.

— Я не понимаю...

— В прошлом месяце государственный банк России изъясил значительные объемы золота, которые обычно держит на хранении в Лондоне. Он вывел деньги из Английского банка, а также из самого «Барингса». Уверен, по самой веской причине, но если бы он смог заявить, что возвращается к прежней политике, то проблема существенно уменьшилась бы. Это все, о чем я прошу.

Я понимал, что потерял его. Он был человеком дипломатических раутов и переговоров между великими мира сего. Он ничего не смыслил в том, как на самом деле создаются империи или как страны удовлетворят желания и потребности своих народов. Ему никогда не приходило в голову спросить, а как еда попадает ему на стол, как она выращивается и производится, перемещается из региона в регион и от торговца к торговцу по великим путям невидимых денег, которые опутали планету, связывая воедино каждого человека и каждый городок так надежно, что большинство даже не подозревает об их существовании. Их он принимал как должное. А мы никогда не ценим того, о чем никогда не задумываемся.

— Вы хотите, чтобы Россия перевезла золото...

Я подавил стон.

— Нет, ваше сиятельство. Нет необходимости его перевозить. Просто слов о том, что вы не будете его перемещать, будет вполне достаточно. Где дело касается денег, вера не уступает реальности.

Он нахмурился.

— Как видите, мистер Корт, я мало что понимаю в таких вещах. И не слишком ими интересуюсь. Без сомнения, упущение с моей стороны. Но это означает, что я не имею ни малейшего понятия, малой услуги вы от меня просите или огромной. Мы оба хотим совершить обмен, но он зависит от справедливой цены для каждой стороны, а я не знаю ценности того, чего вы просите.

— Тогда предлагаю вам проконсультироваться у кого-нибудь в

посольстве, кто знает, ваше сиятельство, — сказал я. — Но я бы просил, чтобы вы сделали это быстро. Время — фактор величайшей важности.

Тут он меня удивил. Он был совсем не того сорта, как я вообразил вначале. Он тут же встал и позвал слугу.

— Приготовь мне одеться. Мне нужно немедленно ехать в посольство. И пошли курьера к... — Тут он одним духом выпалил перечень русских имен. — Пусть они ждут меня там через час.

Повернувшись ко мне, он улыбнулся.

— Я встречу с моими людьми и попытаюсь понять, в чем дело, — сказал он. — Возможно, мне понадобится с вами связаться, поэтому если бы вы оставили свой адрес...

Я кивнул.

— И я ловлю вас на слове, мистер Корт. Я должен получить вашу информацию вне зависимости от того, смогу ли оказать вам содействие.

— Я предоставлю ее с радостью, — сказал я. — В настоящий момент мне известно только то, что Дреннан, вероятно, живет на острове Сен-Луи и что трагедия разыграется на следующей неделе в русском соборе. Пожалуйста, поставьте вокруг него охрану. Круглосуточную. — Я дал описание Дреннана. — Он не принадлежит к православной церкви, ему безразлична пасхальная музыка, и он равнодушен к современной церковной архитектуре. Если он вообще там появится, то не ради спасения души.

— Тогда вы задали мне немало работы, — сказал он. — Дипломатам следует должным образом одеваться, а на это уходит огромное количество времени.

Мне позволялось откланяться, поэтому я поблагодарил его, вышел из комнаты и направился домой.

Я продвинулся вперед — или так считал. То есть я связался с двумя могущественными людьми в русском и французском лагере и начал переговоры. Следующим шагом будет выяснить их цену, если они действительно готовы продавать. Однако я понимал, сколь мало могу предложить взамен.

А если цена будет слишком высока? Что случится тогда? Я зашел в кафе на рю дю-Фобур-Сент-Оноре и заказал омлет и бокал красного вина; я с утра не ел и был отчаянно голоден. Вполне возможно есть и думать одновременно.

Британия, конечно, будет чудовищно ослаблена; объем мировой торговли сократится; заводы закроются; корабли станут на якорь. Люди будут терять работу. Доходы правительства и его способность оплачивать

Королевский флот упадут. Колонии станут уязвимы и беззащитны — Индия, Южная Африка, Дальний Восток, — и французы и русские поспешат воспользоваться преимуществом. Что мы можем сделать? Помимо того, что пойти с шапкой в руках к немцам, прося назвать их цену? Без сомнения, они для начала захотят свободы рук в Восточной Африке, а возможно, и гораздо большего. И захотят ли они вообще помочь, зажатые между Россией на востоке и Францией на западе?

И все из-за нескольких тонн металла. А теперь еще и я запутал ситуацию, привнеся историю с предполагаемым злодеянием, которое мне теперь придется спланировать. О чем я только думал? Это сильно осложнит мне жизнь. Однако волноваться об этом я буду, когда все закончится. Ждать и наблюдать, не делая ничего, если нет необходимости; таковы всегда были мои главные принципы в сборе информации. Именно это отличало меня от других, от таких, как Дреннан, который, несомненно, сперва что-нибудь бы взорвал, дабы привлечь внимание.

И тут я улыбнулся, заказал еще бокал вина и потребовал подать бумагу и конверт.

«Дорогой Дреннан, — *написал я.*

Я был привлечен общим другом уладить вопрос одного литературного произведения, о котором вам, возможно, известно. Думаю, нам нужно обсудить его, и поскорее. Нейтральное место встречи, полагаю, устроит нас обоих. Я буду у входа в православный собор на рю Дарю в четверг в половине шестого вечера.

Ваш

Корт».

Листок я вложил в конверт, потом прошелся на остров Сен-Луи и оставил его, адресованный мсье Лефевру, в баре. Он довольно скоро его получит.

Оттуда я вернулся к Элизабет; когда я прибыл, было начало десятого, но казалось, что уже три ночи — столько всего произошло за день. От усталости у меня кружилась голова, и, думаю, мои умственные способности были далеки от идеала. Мне бы следовало отправиться в постель и отдохнуть, но я помнил горестное выражение ее лица, когда она тронула меня за локоть и попросила вернуться. Ничто не помешало бы мне поехать к ней. Я даже спросил себя, что бы подумал Стоун, знай он...

Элизабет разбудила кухарку, чтобы та приготовила мне перекусить, и воздерживалась от разговора, пока я не поел. За это я был благодарен и заставлял ее ждать, пока ужинал перепелиными яйцами, небольшим

паштетом и выпил бокал вина — быстро и не особо церемонясь.

— У кого ты ищешь утешения? — спросила она, когда я закончил. — У тебя есть братья, сестры, родители?

— Мой отец жив, но мы не близки. У меня есть своего рода сводный брат. Я почти все могу ему рассказать, и он мне тоже.

— Тогда тебе повезло. Какой он? Похож на тебя?

— Нет. Он трудолюбивый и серьезный и гораздо больше привязан к каминам и креслам. А ты?

— Никого. В настоящий момент только ты.

— Мне очень жаль.

— Чего?

— Что я лучшее, что у тебя есть. Послушай, у меня нет хороших новостей.

Она овладела собой: лицо застыло, чуть бледна.

— Симон мертв, — сказал я. — Не важно, как это случилось. Но дневников у него не было. Он их продал. Он практически мне это сказал.

— Кому?

— Человеку по имени Арнсли Дреннан. Иначе известному как Жюль Лефевр. Ты познакомилась с ним тогда же, когда со мной в Нанси.

Она едва заметно кивнула.

— Намного более опасный тип. Гораздо умнее и в деньгах не заинтересован. Беда в том, что я не знаю, где он. Я уже предпринял кое-какие шаги, и, возможно, они дадут результат. Но в следующие несколько дней — по меньшей мере — не берусь сказать, что случится. Очень сомневаюсь, что он в этом деле ради денег. Это не закончится просто тем, что ты отдашь сколько-то банкнот.

Приложив руки к щекам, она закрыла глаза. И я почувствовал себя преме́рзко, виноватым, что ее разочаровал.

— Понимаю. Что ему может быть нужно?

— Я. Это главная моя забота. В твоих дневниках он может увидеть средство добраться до меня. Они разрушат твою репутацию, но заодно разоблачат меня и уничтожат все, что я здесь делал. Еще это поставит в крайне неловкое положение британское правительство, к тому же в период, когда Британия никак не может себе этого позволить. Французы, без сомнения, знают, что здесь есть шпионы. Но сейчас крайне неловко будет, если об этом протрубят все газеты.

— Мне очень жаль.

— Не твоя вина. Однако было бы неплохо, если бы я знал, насколько действенное оружие эти дневники, — добавил я. — Расскажи про доктора

Штауффера.

— Это важно?

— Думаю, да.

— Почему?

— Мне нужно все знать заранее. Я не хочу увидеть неприятный сюрприз, когда однажды утром открою газету.

— Пойдем сядем, — сказала она и повела меня в малую гостиную, сейчас освещенную лишь парой свечей и огнем в камине. Было тепло, и я беспокоился, что могу заснуть. По крайней мере — пока она не начала говорить, а заговорила она вполголоса и повернувшись к камину, точно меня тут не было.

— Тогда слушай, — сказала она. — Вскоре после того, как моя мать умерла, меня отправили в приют.

Последовало долгое-долгое молчание, которое я не стал прерывать. Она размышляла, и она выглядела несказанно прекрасной, словно никакие сущие тревоги не способны ее коснуться.

— Так как же ты стала... тобой?

Вопрос как будто ее озадачил, она задумалась.

— Потому что когда-то кто-то был добр ко мне, — просто сказала она. — Поэтому я знаю, что это возможно, как бы жесток ни был мир.

Я не нашелся что на это ответить, и промолчал.

— Это было ужасное место. Если Господь накажет меня, как я, без сомнения, заслуживаю, то пошлет меня обратно. Оно было холодным и голодным, а те, кто им заправлял, суровыми. Они и детей поощряли на жестокость друг к другу. Не стану на нем останавливаться, ведь хорошего сказать о нем нечего. Кроме того, что была одна женщина, попечительница, назначенная городским советом, которой происходящее не нравилось. Однажды она со мной поговорила, а я была так несчастна, что потом боготворила ее за эти несколько слов. Всякий раз, когда она приезжала, я наблюдала за ней, смотрела, как она одевается и двигается, как слегка наклоняет голову, когда с кем-то говорит. В дни, когда устраивались инспекции попечителей, я поднималась ни свет ни заря и тщательно причесывала волосы, а потом стояла у ворот на улицу, чтобы она увидела меня, когда придет. Я надеялась, что она заметит меня, мне улыбнется, даже снова со мной заговорит.

И однажды она заговорила. Она спросила, как меня зовут. Я была так счастлива, что не смогла ответить, только смотрела на нее. Поэтому она очень терпеливо спросила, хорошая ли я девочка и делаю ли я все, что говорят мне воспитатели. Усердно ли я работаю, тихая ли я и послушная.

Я сказала, что пытаюсь.

И что я хочу делать, когда вырасту?

Я понятия не имела. Я никогда про это не думала. Поэтому я выпалила единственное, что пришло мне в голову. «Уйти отсюда, мадам», — сказала я. И по выражению лица воспитательницы поняла, что, когда придет время, меня за это накажут.

Она тоже это заметила. И поняла в точности, что случилось, и наклонилась поближе к моему уху.

— Посмотрим, нельзя ли что-нибудь сделать, а? — прошептала она.

И предоставила меня моей участи, которая была достаточно ужасна. Тогда мне было почти одиннадцать, и сомневаюсь, что ты можешь вообразить себе, как жестока может быть женщина к слабой и молодой. Это были не синяки или порезы, холодная вода или голодовка. Есть много вещей похуже.

Она помолчала, потом улыбнулась мне.

— Говорят, что чем горше страдания, тем меньше они длятся. Не знаю, почему так говорят, ведь это неправда. Но со временем они действительно кончились — через неделю или около того.

Моя спасительница вернулась за мной. Ей нужна была служанка, и она практически меня купила. В обмен на ее пожертвование я получила разрешение муниципалитета уйти из приюта и работать в ее доме, делать, что потребуется.

Работа была тяжелая, но в сравнении с приютом ее дом казался раем. Меня кормили, одевали, повариха была доброй и не слишком требовательной. Остальные служанки были такими, как следовало ожидать, но со мной не слишком подлыми, ведь к тому времени я научилась избегать неприятностей и не обращать внимания на обидные замечания.

И мадам Штауффер была доброй, пусть сухой и отчужденной. В доме говорили по-французски; до тех пор я говорила только на швейцарском немецком, и мне пришлось усваивать новый язык, но я быстро выучилась. Мадам была француженкой и ввела свой язык во всем доме, хотя ее муж был немцем. Настоящим немцем. Он был стряпчим, они жили в большом особняке, где было все на свете: прекрасная мебель, сады, слуги. Все, кроме детей, — ведь поговаривали, что мадам бесплодна и в отчаянии от своей неспособности подарить супругу детей, которых хотели оба. Возможно, поэтому она взяла меня к себе, не знаю. О ней нечего больше сказать, только то, что она была ко мне добра.

Ее муж — другое дело. Его я находила пугающим. Он был старше

мадам, лет сорока пяти, и замкнутым. Он редко бывал дома, только по вечерам, и мало говорил. Когда он приходил, они вместе обедали, потом он шел к себе в библиотеку и остаток вечера проводил там, читая, пока не наступало время ложиться спать. Они мало разговаривали и спали в отдельных комнатах, но как будто питали друг к другу привязанность. Он был всегда уважителен и вежлив, предупредителен к ней. Большого я не знала, да и не хотела. К слугам он обращался лишь изредка и не был ни хорошим, ни дурным влиянием в доме, поскольку вообще ничего не знал о том, как ведется хозяйство.

Однажды я вытирала пыль в библиотеке, как делала каждую неделю, и нашла на полу книгу, которую подобрала, чтобы положить назад на столик. Я открыла ее посмотреть, что это — если книга была юридическая, ее следовало положить на письменный стол, — и увидела, что это роман. Это был Бальзак. «Отец Горио». Ты его читал?

Я кивнул.

— Он навсегда изменил мою жизнь, — просто сказала она. — Такие вещи взаправду случаются, хотя это было очень неожиданно. Я никогда не любила читать; в приюте чтение воспрещалось, за исключением молитвенников. Там не понимали, зачем нам читать, если наше назначение в жизни работать и повиноваться. Нас учили лишь с неохотой. Поэтому я понятия не имела, что такое литература, до того момента, как прочла первую фразу: «Престарелая вдова Воке, в девицах де Конфлан, уже сорок лет держит семейный пансион...»

Книга приковала меня к месту, я не могла оторваться. Я читала так быстро, как только могла, перескакивая через слова, которых не понимала. Я провалилась в иной мир и не желала из него уходить. Ты, наверное, в своей жизни тоже такое испытывал? Все остальное исчезло, была только история, с которой я не могла расстаться.

Но конечно, пришлось: заглянула самая старшая горничная, увидела меня, раскудахталась и ужасно отругала за дерзость. Она меня не ударила — такое в том доме не дозволялось, но нагоняй мне устроили.

Мне было нипочем. Если это был грех, тогда я созрела для ада. Весь день я могла думать только о том, как бы пробраться назад в библиотеку хозяина и снова найти ту книгу. Ночью я не могла спать. Спали мы на чердаке, все четыре женщины в крохотной мансарде, и обычно храп мне не мешал. В ту ночь он сводил меня с ума, и когда я удостоверилась, что все в доме заснули, я встала и на цыпочках спустилась по черной лестнице. Помню, холод был лютый, а я шла босиком, и к тому времени, когда спустилась в хозяйские комнаты, ноги у меня онемели. Это не имело

значения; я нашла книгу, села в кресло у камина и читала.

Знаю, ты получил образование. Для тебя книги — вещь обычная, они воспринимаются как должное. Но для меня книги были как для усталого путника оазис посреди пустыни. Я была зачарована, взбудоражена. Я ступила в иной мир, полный удивительных вещей и замечательных людей. Я влюбилась в Растиньяка и в нем увидела первый проблеск собственного честолюбия. Он не имел ничего и желал завоевать Париж. Он научил меня, что мягкость и доброта мало чем мне послужат. Тем не менее он сохранил нечто доброе, чего не смог вытравить мир. Книги рассказали мне про дружбу и верность, про предательство и про то, как подозревать остальных. И они научили меня мечтать — о мирах, и людях, и о жизнях, о существовании которых я не подозревала.

Она замолчала, словно на краткий миг к ней снова вернулась радость того открытия, мгновение, которое до конца жизни останется немеркнущим сокровищем. Что бы еще с ней ни случилось и ни случится в будущем, у нее было то мгновение упоения в кресле, с заледеневшими ногами и коптящей свечой.

— Я читала почти до рассвета, а после заставила себя подняться наверх и немного поспать. На следующий день мне следовало бы быть измученной, такой усталой, что я едва могла бы пошевелиться. Но нет, я была в восторге, в упоении. Это было как первая любовь. Это и была первая любовь — к Растиньяку и к тому, как мы встретились.

Но теперь я встала на путь преступления. Я не могла читать каждую ночь, потому что даже мое молодое тело не могло вечно обходиться без сна, но каждую ночь, когда удавалось, я ускользала вниз. Я прочла еще Бальзака, все, что могла найти в библиотеке, пробовала Виктора Гюго, Флобера. Меня так тронула судьба бедной мадам Бовари, что я проплакала несколько дней и считала себя в трауре.

Но через неделю случилась одна очень странная вещь. Однажды ночью я обнаружила на столике новую книгу — роман Стендаля — и толстое одеяло на кресле. Я немного испугалась, но искушение было слишком велико, поэтому я завернулась поплотнее и устроилась читать. Книгу я проглотила, как все остальные, и жалела, что не знаю людей, таких интересных, как герцогиня Сансеверина, или таких ярких, как Фабрицио. Несколько ночей спустя, когда я почти закончила роман, на столике у кресла я нашла еще один — и стакан молока.

Так и продолжалось, пока однажды, когда, потянувшись, чтобы завернуться поудобнее, я не опрокинула стакан. Молоко разлилось по ковру, раздался ужасный звон, когда стакан разбился. Час был не поздний,

ведь я осмелела и спускалась все раньше и раньше. Еще не все уснули. Я запаниковала, так как знала, что если меня обнаружат, то вышвырнут за порог. В коридоре раздались шаги. А потом я услышала шаги в самой комнате. Это была из тех комнат, где книг так много, что полки поднимались до потолка и на середине стены был встроен уступ, к которому вела железная лестенка. Как раз по этой лестенке спускался сейчас доктор Штауффер.

— Скорей, — вполголоса сказал он. — Наверх и спрячься за бюро. И не шуми.

В уголке стояло небольшое бюро — я никогда не видела, чтобы им пользовались, оно вечно было погребено под грудями бумаг, которые никогда не перекладывали.

Я во все глаза уставилась на хозяина, а он настойчиво жестом велел мне делать как сказано. В несколько секунд я взлетела по лестнице и присела за бюро. Постучала и вошла вечерняя служанка, в чьи обязанности входило закрывать дом на ночь.

— Все в порядке, — сказал он. — Боюсь, я опрокинул стакан. Пожалуйста, не беспокойтесь. Время позднее, и я работаю.

Служанка присела в поклоне и ушла. Дверь закрылась, и я услышала, как поворачивается в замке ключ.

— Можешь спуститься, теперь безопасно.

У него был ласковый голос, совсем не как у человека, который вышвырнет меня в ночь, но я тем не менее оцепенела, дрожа от страха и холода.

— Стань у камина и согрейся, — сказал он. — И не бойся. Я тебя не съем.

Я забормотала извинения, от которых он отмахнулся.

— Я уже несколько дней за тобой наблюдаю, — сказал он с едва заметной улыбкой. — Мне было интересно, кто переставляет мои книги, но, раз ничего не пропадало, я был не против. Потом, позапрошлой ночью, я работал наверху и увидел, как ты вошла и свернулась в моем кресле. Мне это показалось столь очаровательным, что я не мог себя заставить тебя потревожить. А еще мне стало очень любопытно. Почему ты столько времени проводишь за чтением?

Я боялась открыть рот, не знала, что ответить.

— Ничего не могу с собой поделать, — сказала я наконец.

Ответ как будто доставил ему удовольствие.

— И какая из книг тебе понравилась больше всего?

Мне хотелось крикнуть: все.

— Те, где есть Растиньяк.

— Правда? Ты не сочла более привлекательными истории про то, как молодые девушки находят истинную любовь? Почему тебе нравится Растиньяк?

— Потому что он старается чего-то в жизни добиться.

Ответ показался ему любопытным, и, подойдя ко мне, он сел напротив и пристально на меня посмотрел.

— Экстраординарно, — сказал он. — Удивительно. Ну-ну...

— Мне правда очень жаль, сударь, мне очень стыдно...

— За что?

— За мою дерзость.

— Нет, тебе не стыдно. Во всяком случае, я очень надеюсь, что тебе не стыдно. Так тебе стыдно?

— Нет.

— Ты заметила, что библиотека у меня ужасно неряшливая и захлавленная? Не говоря уже о том, что пыльная?

Оглянувшись по сторонам, я не увидела ни одной книги или безделушки не на своем месте. Что до пыли, то сомневаюсь, что тут нашлось хотя бы пятнышко.

— Думаю, мне нужно, чтобы тут почаще прибирались. Когда работа сделана, нет причин, почему бы этой девушке не занять оставшиеся часы книгой. Если, конечно, она будет возвращать ее на положенное место. Когда закончит. Как по-твоему, знаешь какую-нибудь подходящую?

Я едва верила своим ушам.

— О, сударь...

— Ты будешь так добра и мне поможешь? Что скажешь?

Я даже не подозревала, что возможно такое счастье, какое испытала я тогда. Мысль, что я по многу часов каждый день буду проводить в той комнате, просто читая и прибираясь, заставила меня подпрыгивать и петь, когда я поднималась по черной лестнице. Такое не привиделось бы мне и в самых радужных снах, и это был не сон. На следующий день старшая горничная дала мне наставления и велела не оступиться, работать тщательно, быть тихой, быть послушной. В кои-то веки я намеревалась делать именно это.

Почти весь день каждый день я проводила в той библиотеке. Доктор Штауффер сказал, что поручит мне стереть пыль со всех полок, переставить все книги и сделать их каталог. Он полагал, на это уйдет год. Так и вышло бы, если бы он взаправду этого хотел. Иногда он просил убрать бумаги в папки или что-нибудь найти, но в остальном я просто

читала. И разговаривала с хозяином.

Остальные слуги негодовали за меня, мол, меня заставляют чересчур много работать, но я не стала их просвещать. Каждый день я уходила в библиотеку в восемь утра и читала. Часть времени я читала что хотела, но еще должна была читать то, что он мне назначал, а он, по всей очевидности, решил дать мне образование. Мои знания о мире были почерпнуты исключительно из книг и понемногу углублялись. Он давал мне Вольтера и Монтеня, потом Шекспира в переводе, Виктора Гюго, Дюма, Шатобриана. На немецком Гёте, Шиллера и другие книги тоже, историю, философию. Он предложил Гомера, Цицерона, Платона. Одних я понимала, других нет, но все меня увлекали, и часто по вечерам он подзывал меня к себе поговорить о них. Что я думаю о том или другом отрывке? Прав ли автор? Почему он такое сказал? Уверена, мои мысли и ответы были глупыми и наивными, но он, казалось, не сердился и никогда меня не поправлял и не говорил, какой ответ будет правильным. Так продолжалось месяцы и месяцы, это было самое счастливое время в моей жизни. Впервые я чувствовала себя так, словно любима, словно кому-то есть до меня дело. Я даже представить себе не могла, что можно быть такой счастливой.

Нужно ли говорить, что я влюбилась в него, в человека под пятьдесят, я, пятнадцатилетняя девчонка, какой была тогда? Он был всем, в чем я нуждалась и о существовании чего даже не подозревала. Он был даже более одиноким, чем я, и плохо знал, как заручиться дружбой и расположением себе равных. Поэтому он обратился ко мне и искал близости через книги и мысли. Ему нравилось, когда я рядом. Мне понятна радость наблюдать, как другой открывает для себя удовольствия, которые сам когда-то обнаружил в юности. Видеть, как кто-то растет и расцветает у тебя на глазах. Когда-нибудь у меня будут дети. Я знаю, что будут. И я буду смотреть, как они растут.

Теперь я совсем запутался, ведь она рассказывала историю про спасение, словно бы взятую из тех романов, которые она так жадно глотала. Хорошенькая сиротка, усыновленная добрым стариком, наделенная образованием и любовью. Я знал эту историю: она выросла подле своего преданного опекуна и заботилась о нем в старости или вышла замуж за какого-нибудь респектабельного, честного юнца, совсем такого, как он. Это была история защищенности и довольства. Добрых чувств и исполнения желаний. Она не заканчивалась на улицах приграничного городишки зимой.

Сейчас Элизабет была в собственном мире, и я ее не прерывал. Мне не

хотелось, и я слишком устал; правду сказать, я даже не слышал ее слов, они просачивались в меня, пока я сидел рядом с ней на диване. Не думаю, что, начиная, она собиралась рассказать мне ее всю. Она просила о помощи, а не доверялась. Но едва она начала говорить, то уже не могла остановиться. Думаю, я был единственным, кто когда-либо слышал эту историю до конца.

— Он научил меня и другому, — продолжала она. — Всему про гравюры и картины, про статуи и соборы. Про фарфор и драгоценности. Он был человеком огромной культуры и эрудиции и имел небольшую коллекцию картин. Он клал передо мной папку гравюр и заставлял меня на них смотреть, описывая, что я вижу, высказывать мое мнение. Такое мне никогда хорошо не давалось; думаю, в этой области он считал меня довольно слабой. Но он настаивал и как будто получал удовольствие, что сидит со мной рядом. Однако мало-помалу картинки, которые он мне показывал, изменились. Он начал показывать мне гравюры Буше с изображениями обнаженных тел и сцен соращения и просил меня описывать их в мельчайших подробностях. Я слышала, как, пока я говорила, дыхание его становилось учащеннее, и не знала почему. В приюте про такое вообще ничего не говорилось, а в доме Штауфферов служанки были крайне добропорядочными и чопорными. Мое невежество было полным; я знала только, что тогда на меня находила какая-то игривость, и я поняла, что чем больше описываю, тем больше могу сделать так, что ему будет не по себе. Его руки на ее грудях. Белизна кожи. Волосы, падающие на шею.

— Как, по твоему, что тут происходит?

— Не знаю, сударь. Но наверное, ей очень холодно сидеть так без одежды посреди поля. Надеюсь, картину рисовали в теплый летний день.

— Но как по-твоему, ей нравится?

— Не знаю, сударь.

— А тебе бы понравилось?

И он положил руку мне на грудь и начал ее поглаживать. Теперь он взаправду тяжело дышал, и я застыла от растерянности. Мне не понравилось, но я знала достаточно, чтобы понимать, что должно. Поэтому я вообще ничего не сказала, только задрожала, пока его руки спускались вниз по моему телу.

Я его не поощряла. Я вообще ничего не делала. Я не знала, что делать. Я просто сидела, застыв, а он принял мою недвижимость за согласие. Потом затряслась дверная ручка, это одна из служанок открывала дверь, чтобы внести его утренний кофе. Он быстро убрал руку и встал. Я все еще

очень плохо понимала, что происходит, но по его поведению видела, что происходить такого не должно. Что он делал что-то дурное.

Эта сцена не повторялась очень долго; внешне мы вернулись к заведенному порядку, и он был добр и внимателен, как всегда. Но разумеется, все изменилось. Я впервые мельком увидела мою власть; я знала, что могу заставить его трепетать. И я практиковалась. Взглядами, жестами, тем, как сидела и говорила. И я научилась делать так, чтобы ему было не по себе. Я не сознавала, что делаю, у меня не было злого умысла. Но тем не менее, думаю, я подвергала его мукам ада. Однажды вечером, когда его жена была в театре, он больше не мог мне сопротивляться.

Было больно. Правда, знаешь ли, больно, и я плакала. Он был вне себя от раскаяния, все гладил меня по волосам и говорил, как ему жаль и прощу ли я его когда-нибудь. В конечном итоге это я его утешала и просила не тревожиться. Мол, это не важно. Тогда он пересел в кресло подальше и посмотрел на меня с ужасом. Я никому не должна говорить. Это будет наша тайна. Иначе мне не позволят вернуться сюда и читать книги.

Вот так я стала потаскухой. В возрасте пятнадцати лет. Я скорее бы умерла, чем отказалась от книг, и если такова была необходимая плата, я была к ней готова. Я заверила его, что не скажу ни слова, и паника в моем голосе заставила его понять, что я говорю серьезно. Я была полностью в его власти, и он это знал.

Вот так завершилось мое образование. Все вернулось к прежнему: я читала, и мы разговаривали. Только в некоторые дни, обычно по вечерам, я улавливала перемену в его голосе, особое выражение глаз. Платила я ему, или платил он мне? Это был обмен. У каждого было нечто желанное другому. Я не чувствовала себя ни дурной, ни грешной, хотя знала, что следовало бы, и я не могла спросить чьего-либо мнения. Если бы остальные служанки узнали, они, уверена, тут же меня приструнили бы. Но они не знали. Еще одно, чему я научилась, — умению молчать и быть абсолютно сдержанной. Я знала достаточно, чтобы понимать: от моего молчания зависит все, что делает мою жизнь стоящей.

Доктор Штауффер был по-своему хорошим человеком, но слабым. Со мной он в зависимости от настроения бывал галантным любовником или отцом, и я играла ту роль, какую он просил.

Я взрослела и быстро училась и начала презирать Штауфферов. Мне не следовало бы: такого в пьесе, которая разыгрывалась в голове доктора, не значилось. Но мне не было простора, чтобы расти и меняться. И я видела, как держатся супруги наедине и на людях, и поняла, что этот столь завидный брак — сплошь видимость и притворство. Вероятно, они хорошо

уживались, но следует помнить, что я была воспитана на романах: мадам Бовари была моей лучшей подругой, Растиньяк — истинным возлюбленным. Едва скрываемая ненависть, скреплявшая брак Штауфферов, начала пробуждать во мне презрение и отвращение. Я буду любить или буду свободна. Цена освобождения будет высока: человек, готовый ее заплатить, исключительным. Не таким, как доктор Штауффер с его усами и толстым брюхом, с запахом сигарет и неловким хрюканьем, когда меня тискал.

Но был еще один по фамилии Вихманн, человек, которого я ненавидела больше всех на свете. Он был хитрым, лживым, жестоким. Грязный человечиска с грязной душонкой. Он пронюхал про нас с доктором Штауффером и назвал цену за свое молчание. Этой ценой была я, и доктор Штауффер ее заплатил. Он получал меня всякий раз, когда меня желал. При всех своих недостатках доктор Штауффер был человеком добрым, Вихманн — нет. Он любил делать ужасные вещи, и меня такие заставлял делать. Но он тоже многому меня научил: я узнала, что могу контролировать даже такого человека, делая больше, чем он хочет, и позволяя ему делать, что пожелает. Хочешь послушать, чему я научилась в его руках? Я тебе расскажу, чтобы тебе угодить. Расскажу все, что ты захочешь услышать.

Я покачал головой.

— Думаю, я от тебя такого не заслужил, — ответил я укоризненно.

Она тряхнула головой.

— Ты необычный мужчина.

— Возможно.

— Потом я поняла, что больше не могу это выносить. Поэтому положила всему конец. Не намеренно, не продуманно: я, по сути, не понимала, что делаю, но нас поймали, и это была моя вина. Доктор Штауффер становился все смелее, и я понукала его рисковать все больше. Однажды его жена собиралась завтракать вне дома, но я слышала, что завтрак отменили и она решила отправиться на короткую прогулку, а после вернуться домой. Доктор Штауффер этого не знал, а я побудила его меня желать. Теперь это уже давалось мне легко.

И так нас застали в самом непристойнейшем виде. Его жена вошла, посмотрела и вышла. Она была доброй, но довольно глупой женщиной, щедрой к юным сиротам, однако не способной понять взрослых или себя саму. Сомневаюсь, что ей когда-либо приходило в голову, что ее благотворительность и ленчи, возможно, оставили брешь в жизни ее супруга, которую он стал заполнять на стороне. Женщина более

умудренная закатила бы ужасный скандал и оставила все как есть. Но не эта. Она пожелала развестись, и после я узнала, что для доктора Штауффера это было бы катастрофой. У него не было собственных средств, семейное состояние принадлежало ей, и она намеревалась дать ему почувствовать это сполна. Подробностей я не знаю; я, разумеется, собирала вещи. Доктор Штауффер уволил меня через несколько секунд после того, как его жена вышла из комнаты, еще прежде, чем я успела опустить юбку. Он собирался переложить вину на меня. Уловки искусительницы. Конечно, собирался, я не могла его винить.

Но не вышло. Я могу лишь смутно догадываться, что произошло, но, думаю, она отказалась принять его отговорки. Она была глупа, но не настолько. Это все, что мне было известно; что произошло потом, больше меня не касалось. Мне надо было уйти, и уйти быстро. Было очевидно, что другого места в Лозанне мне ни за что не получить. Поэтому я уехала из города, уехала из Швейцарии.

— Ты не убивала мадам Штауффер?

— Откуда тебе про это известно?

Она про смерть мадам не рассказывала, ее раскопал Жюль. Теперь Элизабет сделалась подозрительной, вот-вот замкнется в себе.

— Откуда тебе про это известно?

— Узнать было нетрудно, — сказал я. — И это не имеет значения. Ты должна рассказать мне все. Хорошее, плохое, постыдное. Я ведь не в том положении, чтобы судить.

Еще несколько минут она смотрела на меня холодно, потом расслабилась.

— Пожалуй, нет, — сказала она тихонько. — Хорошо. Ответ на твой вопрос — нет. Я бы никогда так не поступила. Она была ко мне добра. Я не желала ей никакого зла. Ты мне веришь?

Я пожал плечами.

— Выслушай остальное и тогда решай. Раз уж я открываю тебе душу, можешь узнать и остальное.

— Хорошо.

— У меня не было ни гроша, не было даже имени. Я слышала про смерть мадам Штауффер и про то, что винят меня. Я даже не могла больше звать себя Элизабет Лемерсье. К счастью, таких девушек, как я, тогда было десятков на дюжину. Никому нет дела, кто они или как их зовут. Мы можем обходиться без документов, вообще безо всего. Поэтому я выбрала себе новое имя: Вирджиния, — ведь я читала Руссо и все еще мечтала найти моего Поля. В целом мире я могла полагаться только на себя. Я

перебралась во Францию, а об остальном, наверное, можешь догадаться сам. Я вкусила достаточно комфорта, чтобы не желать снова идти в услужение, но я мало что умела и мало что могла предложить, однако я знала, как привлечь мужчину. Насколько мне это легко, я поняла однажды в Лионе, когда я шла по улице, и один мужчина начал пожирать меня глазами. В конечном итоге я очутилась в доме терпимости, где провела около полугода прежде, чем мне пришлось бежать снова.

Меня разоблачили. Все было довольно просто. Меня нашел Вихманн; не думаю, что он меня искал, но был из тех, кто посещает бордели в любом городе, куда бы ни приехал, и он приехал в Лион. Когда он заметил меня и узнал, то увидел свой шанс. Он сказал, что мне придется выполнять все его желания, не то он пойдет в полицию. Думаешь, этого хватило, чтобы я впала в панику? Нет. Но тогда не было ничего, чего бы у меня ни попросили и что бы я ни сумела сделать, сколь бы ни отшатывались в ужасе обычные люди. Я легко могла бы согласиться, имей я уверенность, что он сдержит слово. Но я знала, что он не сдержит. Он был одним из очень немногих людей, кто знал меня по Лозанне, и никогда бы меня не отпустил.

— Поэтому ты его убила.

Она кивнула:

— Убила. Хладнокровно и преднамеренно. Ударила его ножом в сердце и смотрела, как он умирает. Тебя это ужасает?

Тут мне вспомнился Симон.

— Не знаю, — сказал я негромко.

— Я переоделась, собрала сумку и ушла, заперев за собой дверь. К тому времени, когда его нашли, я была уже далеко от Лиона; я остригла волосы, изменила манеру одеваться. Я взяла другую фамилию, но оставила имя Вирджиния. Мне оно нравилось, это было мое тайное имя, то, которое я сама себе дала.

— А убийство мадам Штауффер?

— Не знаю. Полагаю, ее убил муж; Вихманн практически признал, что по-прежнему его шантажирует, но поскольку его интрижка со мной к тому времени вышла наружу, было, наверное, что-то еще, что-то серьезное, чем он мог его пугать.

— Кто стал бы убивать жену из-за такого?

— Если жена принесла в брак деньги, а теперь грозит разводом? Доктор Штауффер жил безбедно и работал мало. Многие убивали ради меньшего. Впрочем, думаю, это не имеет значения. Раз я откровенно призналась в одном убийстве, то нет причин не признаваться в другом, если бы я действительно его совершила. Я его не совершала.

— Полиция тебя не искала?

— Да, но не слишком усердно. Иностранец, найденный мертвым в борделе, едва ли стал для нее делом величайшей важности. И ускользнуть от полиции нетрудно, если знаешь как.

— Расскажи.

— Во-первых, не привлекай к себе внимания. Измени манеру одеваться, смотреть и держаться. Если захочешь, стать совершенно иным человеком просто. Знаешь, я была очень расстроена, когда ты узнал меня в Биаррице. Несколько месяцев назад я встретила на одном балу генерала Мерсье. Хотя он интимно знал каждую часть моего тела, он ни на мгновение не связал меня с женщиной, с которой был знаком в Нанси. Как ты меня узнал?

Я постарался вспомнить.

— Не могу точно сказать. Определенно внешне ничто не напоминает о том, чем ты была. Манеры у тебя теперь графини, голос другой, манера ходить и двигаться — все изменилось. Точно помню, это произошло не сразу. Что тут скажешь? Я просто знал. Но не так твердо, чтобы рискнуть представиться иначе, нежели на самый двусмысленный лад, — на случай если я ошибся. Что твои бывшие любовники тебя не узнают, свидетельствует не в их пользу.

— Это потому, что их никогда не интересовала я, только они сами. Когда они были со мной, то думали, какие они замечательные, что у них в спутницах такая красивая женщина. Когда они занимались со мной любовью, то думали лишь, какие они чудесные любовники. И поверь, я заботилась о том, чтобы они так считали.

— Входит в обслуживание?

Она кивнула:

— Тогда и сейчас.

Я опустил взгляд, изучая ногти, чтобы не пришлось смотреть на нее.

— Зачем ты мне это рассказываешь?

— Ты спросил. Кроме того, мне нужна помощь. Она не бывает бесплатной.

Я нахмурился.

— Не у всего на свете есть цена, знаешь ли.

— Мало что в этой жизни ее не имеет.

— Мрачный взгляд на мир.

— Нет. Освобождающий, когда к нему привыкнешь. И уберегает от разочарований.

Я невольно с шумом вздохнул — от разочарования и почти отчаяния. Она меня победила. Всякий раз, когда мне казалось, что я ее понимаю, истинная женщина ускользала, оставляя по себе очередной фантом. Теперь вот это: циничная, холодная, готовая на убийство. А еще — ранимая, ребяческая, невинная. Это ли проникновение в глубины ее души и ее истинную природу?

И вдруг меня осенило. Подняв глаза, я увидел ее лицо: это было подвижное лицо, лицо актрисы, способное проявить любое чувство, любую черту характера. Но она не заметила, что я смотрю, и не была готова. И я уловил проблеск чего-то, что уже видел однажды, когда в ресторане в Нанси назвал ее леди.

— Ты опять мне лжешь.

— Не лгу. Я не убивала мадам Штауффер.

— Я не про это. Я про то, что ты стараешься меня оттолкнуть, вызвать во мне отвращение, заставить меня назвать тебя чудовищем. Ты самой себе стараешься доказать, что все мужчины в конечном итоге одинаковы. Зачем? Чтобы и дальше жить не меняясь, никого к себе не подпуская?

— Перестань, пожалуйста.

— И зачем тебе это? — беспощадно продолжал я. — Дайка посмотрю...

— Замолчи, — повторила она еще настойчивей.

— Очевидно, не из-за меня. Я тебе нравлюсь, ну и что? Мы достаточно давно знакомы. Наверное, тут что-то другое. Или кто-то другой.

— Я велела тебе замолчать! Просто закрой рот!

Ее лицо преобразилось; голос стал гневный, яростный, но на лице отражался чистейший ужас. Впервые она выглядела тем, чем была.

В это мгновение я оправдал самое худшее ее мнение о мужчинах. Я наслаждался. Я раздавил ее; она бушевала и плакала, она утратила контроль над собой — действительно утратила контроль, а не разыгрывала поддельные страсти, которые оптом продавала тому, кто даст наибольшую цену. Это была настоящая Элизабет, напуганная, беззащитная и совершенно одинокая. Наконец я пробился за все ее барьеры. Я не гордился собой, но не мог остановиться. Я хотел столкнуть ее за грань.

— Кто-то другой? Скорее всего. Кто-то, кто не укладывается в этот идеал жестокости. Кто не заслуживает того, как ты относишься к людям, и ты напугана. Явно это не женщина. Значит, мужчина. О Боже! Вот оно!

Это же очевидно. Ты влюблена. Ты наконец по-настоящему влюбилась.

Она сползла с канапе, скорчилась на коленях на полу, спрятав лицо в ладони, все ее тело сотрясалось от рыданий, когда она залилась слезами страдания и ненависти. Тут меня захлестнула волна сочувствия, и я раскаялся в своих словах. Но лишь немного. Ощущение триумфа было слишком сильно.

— Я тебя ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!

Она бросилась на меня, молотя кулаками, ударяя по лицу, по плечам, по груди. Она была искренна в каждом слове. И умела драться. Мне пришлось схватить ее за обе руки, чтобы остановить, но она все равно силилась высвободиться и возобновить нападение. Тогда я прижал ее к себе, обхватив руками так, что она едва могла шевельнуться, а потом должен был еще лечь на нее, чтобы выдавить воздух из ее легких, когда она постаралась вывернуться.

— Послушай меня, — сказал я ей на ухо, когда метанья утихли настолько, что я смог говорить. — Тебе нужно кое-что уразуметь. Я твой друг. Не знаю почему, но я твой друг. Знаю, ты мало что понимаешь в дружбе. Пора учиться. Я не сужу тебя и не критикую. Никогда так не поступал. Никогда так не поступлю. Сколько ты меня знала, ты от меня пряталась. И это тоже не имеет значения. Но пора перестать. Ты в кого-то влюбилась. Поделом тебе. Теперь ты знаешь, что это не просто слово в книжке. Твоя жизнь изменится навсегда, и давно пора. Тебе придется дать больший простор доверию и щедрости. И возможно, душевной боли и разочарованию. Не бойся их. А теперь... могу я отпустить тебя, не рискуя, что меня постигнет участь герра Вихманна?

Она шмыгнула носом, что я расценил как «да», поэтому осторожно разжал руки. Она тут же снова бросилась ко мне и проплакала у меня на плече добрых десять минут.

— Извини. Я никогда раньше так себя не вела.

— И ты меня извини, что ты никогда раньше так себя не вела, — сказал я с улыбкой. — Кто же то воплощение мужских доблестей, кто украл твое сердце, тогда как все остальные потерпели неудачу?

Последовало долгое-долгое молчание, прежде чем она наконец подняла лицо, шмыгнула носом (даже это она умудрялась делать привлекательно) и посмотрела на меня с вызовом.

— Мистер Стоун.

Мне едва-едва удалось не расхохотаться.

— Ты... я хочу сказать, правда?

— Не смейся.

— Я и не смеюсь. Правда не смеюсь, — хотя я смеялся. — Просто я воображал... вот если бы русский граф. Он красивый, богатый.

— А еще женатый. Кроме того, я не хочу уезжать в Россию.

— Но ведь Стоун... знаешь...

— Среднего роста, мешковат, резковат, малообщительный, несветский и старый, — ответила она с вымученной улыбкой.

— Да. Так...

— Он единственный — помимо тебя, — кто не видит во мне потенциальную собственность. Он добр и ничего не просил взамен. Думаю, я ему нравлюсь, а ему не нравится все, что очаровывает других. Он совершенно неуклюж и неловок, но как будто не хочет ничего большего, как только быть со мной. Он не акционер и никогда им не станет. Я правда его люблю. Я поняла это сразу, едва с ним познакомилась. Я никогда не встречала таких, как он, никогда ни к кому ничего подобного не испытывала.

— Он знает про...

— Про меня? Нет. Ничего. И не должен узнать. Я хочу быть любимой. По-настоящему любимой. Им.

— Тебе стыдно?

— Конечно, мне стыдно! Я хочу быть тем, кем он меня считает. Обещай ничего ему не говорить. Пожалуйста!

Я кивнул.

— Я познакомился с тобой несколько месяцев назад. Я вообще ничего больше про тебя не знаю. Но на данный момент твоя забота не я, а Дреннан.

Подтянув к груди колени, она обхватила их руками, потом положила на руки голову. Она выглядела той, кем ей следовало бы быть, — молодой девушкой, невинной и наивной.

— Я так устала, — сказала она. — И я не знаю, что делать. Я просиживаю дома в надежде, что он придет меня повидать. Всякий раз, когда звонят в дверь, я надеюсь, что это он. Каждый раз, когда приносят письмо, я надеюсь, что от него. Я ничего не могу с собой поделать. Впервые в жизни я не могу ничего, только надеяться.

— Классические симптомы. Ты же сама должна знать. Ты же романы читала.

— Я никогда не думала, что будет так. Это так больно. И мне никогда не было так страшно. В прошлом я всегда умела овладеть ситуацией или придумать, как выпутаться. Сейчас я не могу ничего. И он про меня узнает, я знаю, что узнает. А тогда я больше никогда его не увижу.

— Ну, — протянул я, — это не обязательно так. Я же не ушел, возмущившись.

— Но вы, мистер Корт, лжец и преступник с нравственностью трущобной крысы.

— Ах да, верно. Я про это забыл. — Я с улыбкой взял ее за руку. — И мы, трущобные крысы, должны держаться заодно. На меня по меньшей мере можешь рассчитывать.

— А как же ты?

— О чем ты?

— Ты читаешь мне нотации про любовь, но кого любишь ты? Ты говоришь про доверие и дружбу, но кому доверяешь ты?

Я пожал плечами.

— Твой мир такой же холодный, как и мой. Единственная разница в том, что я свой не выбирала и теперь хочу из него выбраться.

— Мне нужно идти. У меня завтра много дел.

— Останься со мной.

Искушение было велико, поверьте мне, велико. Но я покачал головой:

— Думаю, будет лучше, если за мной останется исключительная честь быть единственным мужчиной на свете, который тебе отказал.

— Уже дважды.

— Так и есть. Считай это знаком моего уважения.

Наклонившись, она очень нежно поцеловала меня в лоб, потом я увидел, как она быстро смахивает слезу.

— Удачи, друг мой.

Я поцеловал ее в щеку и ушел. Я чувствовал себя совершенно разбитым. Мне следовало думать о судьбе империй и состояниях великих мира сего. А единственным образом в моих мыслях был образ молодой женщины, прекрасной и заплаканной.

Глава 18

На следующий день — рано настолько, насколько допускали правила хорошего тона, — я нанес визит сэру Эдварду Мерсону, послу ее величества во Франции. Я был более или менее уверен, что это обернется пустой тратой времени, но достаточно провел среди английских государственных служащих, чтобы понимать: необходимо использовать все возможности, заградить все пути, откуда могут пойти обвинения. Если дело примет скверный оборот (а я не исключал такую возможность), причиной, почему все вышло именно так, без сомнения, назовут то, что я не поставил в известность британское посольство.

Утро выдалось странное — островок безмятежности среди окружавшего меня хаоса. Сэра Эдварда не было на месте — был сезон охоты, а он не принадлежал к тем, кто позволит делам встать между ним и перепелкой. Поэтому я оставил сообщение и, не зная в точности, что делать дальше, прогулялся до английской церкви, где по воскресеньям собирались — само собой разумеется — все английские эмигранты (кроме меня), чтобы послушать слово Божье и вдохнуть аромат Родины. Я словно бы ступил в иной мир. Церковь была отличной имитацией английской готики, которую за последние полвека выдумали люди вроде моего отца. Я отсидел всю службу — впервые за многие годы. Отец, возможно, перестраивал церкви тут и там, но редко посещал их по причинам иным, нежели профессиональные. Кэмпбеллы в вере были прилежны и брали меня с собой в Сент-Мэри в Бейсуотере каждое воскресенье, но не усердствовали сверх меры в своей религиозности. А служба в школьной часовне (двадцать минут молитвы, гимн, проповедь) по утрам была столь обыденной, что, полагаю, большинство мальчиков даже не понимали, что она имеет какой-либо религиозный смысл. Это была просто часть дня, время, когда можно уйти в свои мысли и помечтать.

Но я поймал себя на том, что отдыхаю. Накатывающие звуки хорошего гимна, плохо спетого, особенно пробуждают воспоминания. Проповедь удачно сочетала в себе комичные пустячки со скукой, что сделало ее приятной, и сам запах того места напомнил мне про Англию так, что совершенно застал меня врасплох. Созерцание мужчин в воскресных костюмах, женщин, приложивших столько стараний к своим туалетам и все равно выглядевших чуть нескладно в сравнении с француженками, непослушных детей (которые, как ни старались, не могли усидеть на месте, и потому вся служба перемежалась негромкими утешительными шлепками

ладони по задней части штанишек) странно успокаивало. Очень далеко было от здешних скамей до участи пятипроцентного займа «Аргентинской водопроводной компании», но они были тесно связаны.

Наконец служба завершилась, последний гимн был пропет, тарелка для пожертвований заполнилась, благословения даны и получены. Послышалась оживленная болтовня, и органист похвалялся владением инструментом, пока паства потянулась к выходу. Я выждал несколько минут, пропуская ее. Навстречу мне от входа шел священник и меня остановил.

— У вас угнетенный вид, молодой человек.

— Ах, преподобный. Вы даже не представляете...

Кивнув, я пошел дальше. Да и что я мог ему сказать? С чего было бы лучше начать? С неминуемой атаки на финансовую систему Британии? Или с попыток помочь потаскухе, чьим сутенером я был вскоре после того, как она совершила убийство, выйти замуж за английского промышленника и обо всем забыть? Или упомянуть, как несколькими днями раньше хладнокровно убил человека? Это, как я очень надеялся, выходило за рамки опыта служителя англиканской церкви.

Из церкви я уходил недовольный собой. Я сделал все, что мог. Теперь не моя вина, если мир рухнет потому, что никто меня не слушает. Я (так я полагал) раскрыл огромный заговор и передал информацию по назначению. И тем не менее мне казалось, что я должен сделать что-то еще. Гордыня, если хотите. Никто не любит чувствовать себя беспомощным. А еще патриотизм, странно усиленный посещением той странной английской церковки. В то мгновение (одно из немногих таких в моей карьере) я ясно понимал, почему делаю мою работу.

А это породило желание сделать больше, решительно выйти из моей роли сборщика информации, ступив на иную и много более тернистую стезю. Но как подступиться? Я считал, что сумею достучаться через Нечера, и я связался с русскими, но трудность заключалась в том, как уговорить их воспринять меня всерьез. У меня не было никакого официального статуса. Что я предлагал? Начать переговоры от собственного лица? Утверждать, что лично выступаю от имени Империи? Почему кто-то должен мне верить? Мой особый статус в данный момент опирался единственно на знание, а через каких-то несколько дней, когда в четверг утром начнутся торги, этим знанием будут обладать все на свете. Мне нужно было больше полномочий, а чтобы их получить, придется поехать в Лондон.

Поэтому я снова сел на ночной поезд и утром в понедельник сошел на

вокзале Виктория, откуда отправился прямо в Форин Офис, чтобы встретиться с Уилкинсоном. Я не спал, пока поезда громыхали по рельсам и корабль мягко покачивался по волнам, бороздя Канал. Цифры и факты роились у меня в голове, пока я старался сложить их так, чтобы они подтвердили, что я ошибаюсь, что ничего подобного не происходит. Я не находил иного объяснения, но все равно не верил до конца в очевидное.

Я понятия не имел, какой прием встретит мое внезапное появление. Мой доклад прочтен? На него хотя бы обратили внимание? Или надо мной посмеются: «Ах, милый мальчик, это происходит сплошь и рядом. Не волнуйся, Банк знает, что делает». Или даже: «Лорд Ривлсток в ярости, что ты испортил ему уик-энд, и потребовал твоего немедленного увольнения». Все эти возможности приходили мне в голову, пока поезд и корабль приближали меня к Лондону Сам Форин Офис — не то место, которое способно внушить посетителю уверенность в себе. Он был построен, чтобы запугивать, и свое дело делает очень хорошо. Его стены и мраморные колоннады спроектированы с прицелом на вечность, творение нации, которая никогда не отступает, никогда не совершает ошибок. Обитатели подобного здания никогда не допустят колоссального промаха, который, как мне казалось, я обнаружил. Я, наверное, ошибаюсь.

Встречу с Уилкинсоном я едва не начал с извинений. Но когда я посмотрел на него, когда он поднял глаза от бумаг, я сразу понял, что он не спал. На лице у него залегли морщины усталости, появилась одутловатость, которая берется лишь из тревоги или изнуренности.

— А, Корт, — сказал он измученно, жестом предлагая мне сесть. — Хорошо. Я надеялся, что вы объявитесь, но поскольку в письме вы не упоминали...

— Мне пришло в голову только позднее. Когда я понял, как мало могу сделать в Париже без дальнейших инструкций, поэтому...

— Да. Ну, я рад, что вы здесь. Хотя как гонец с дурными вестями вы не можете ожидать, что другие будут рады вас видеть.

— Я не ошибся?

— Вы сомневались?

— Нет. Но это не означает, что я был прав.

— И то верно. — Встав, он потянулся. — В половине восьмого утра сегодня один французский банк сообщил письмом «Барингсу», что прекращает операции с аргентинскими и уругвайскими ценными бумагами. В восемь утра еще два сделали то же самое. Все сходится к тому, что ни один континентальный банк больше к ним не притронется. Что это означает?

— Что это только начало и будет еще хуже. Стоимость южноамериканских ценных бумаг упадет, поэтому когда «Барингсу» потребуется представить в четверг солидную сумму, он мало что сможет предложить в качестве дополнительного обеспечения.

— Да, в этом отношении вы правы. Надеюсь, я не увижу у вас на лице удовольствие от собственной пронциательности.

— Сколько в настоящее время ему нужно?

— В одиннадцать часов, если, конечно, не произойдет никакого сбоя, ему даст кредит на восемьсот тысяч фунтов «Глин Миллс», выступающий по доверенности от Английского банка, чтобы избежать огласки. Насколько я понимаю, кредит пройдет сегодня. Сколько в точности ему понадобится в течение следующей недели, нам неизвестно.

— Сейчас у «Барингса» более чем достаточно активов.

— Верно. И тут вы должны помнить, что я мало что смыслю в финансах. Но насколько я понимаю, банк также получил письмо от русского правительства с просьбой об изъятии драгоценных металлов с депозитного хранения.

— На какую сумму?

— На миллион фунтов. В довершение всего вы, возможно, заметили, что в Аргентине практически идет война. Цена на аргентинские бонны и ценные бумаги падала еще до того, как французские банки преподнесли свой маленький сюрприз. Едва о провале подписки на заем станет общеизвестно, пойдет лавина.

— А это только вопрос времени.

— Полагаю, что так. Английский банк переговорил с редакторами здешних газет, и газеты будут молчать. Но мы не можем влиять на французов, которые, вполне возможно, проинструктированы заранее. Прошу, пойдете со мной.

Встав, он надел теплое зимнее пальто, в котором вдруг показался маленьким и съезжившимся от тревог.

— У меня совещание, — прояснил он. — Мне бы хотелось, чтобы вы присутствовали и, если к вам обратятся, высказали свое мнение.

— Вы быстро это организовали, — сказал я, когда мы входили в Уайтхолл: Уилкинсон, укутанный так, словно собирался ехать на Северный полюс, я — далеко не столь хорошо и от того больше мерзнущий.

— Вы понятия не имеете, какой учинили переполох, мой милый мальчик. В субботу я обедал с управляющим Английским банком и дал ему прочесть ваше письмо. Он едва не подавился. С тех пор чиновники мечутся как безголовые курицы. Ривлстока почти насильно вытащили из

кровати; лорду-канцлеру пришлось прервать воскресную охоту; премьер-министр дуется и начинает принимать грозный вид. Выражаясь попроще, лорд Солсбери считает себя корифеем внешней политики и ни на минуту не задумывался, что такая мелочь, как деньги, может иметь какое-то для нее значение. Он умудряется быть встревоженным и возмущенным одновременно, и покатаются головы, если проблема не будет улажена быстро. Разве только, конечно, его покатится первой.

Сердце у меня упало, когда до меня начала доходить серьезность того, что я затеял.

— Куда мы идем? — спросил я.

— Просто за угол.

«Просто за углом» находились Даунинг-стрит и дом лорда-канцлера. Было еще тихо, хотя девять уже пробило, и полицейский на посту, проводший здесь всю ночь, не обращал на нас ни малейшего внимания, пока мы неспешно прошли мимо дома премьер-министра и постучали в дверь с номером 11. Никто не отозвался, поэтому Уилкинсон повернул ручку и вошел.

Со временем кто-то все-таки появился — с видом раздраженным, что его потревожили так рано. И Уилкинсон назвал себя.

— Полагаю, канцлер нас ждет.

Нас провели в зал на втором этаже — на удивление захудалое помещение, украшенное только большим столом, несколькими стульями и чудовищными портретами прошлых канцлеров, каждый из которых усиленно изображал многомудрие и взирал в вечность, как государственный муж, а не политик, которым являлся на деле. Здесь уже были трое: лорд Ривлсток, управляющий Английским банком Уильям Лиддердейл и канцлер казначейства^[13] Джордж Гошен. В отдалении застыл над протоколом секретарь.

Меня представили; управляющий и канцлер казначейства удостоили меня кивком, Ривлсток смотрел так, словно понятия не имел, кто я.

— Ну так продолжим, — сказал Гошен. — Лиддердейл?

Управляющий Английским банком поднял взгляд.

— Сегодняшнее утро мы выдержали, — начал он. — Однако становится очевиднее, что это лишь временная передышка. Подробности еще не достигли бирж. Когда это случится, новости пронесутся по Сити как ударная волна. Насколько я понимаю ситуацию, у «Барингса» есть краткосрочные обязательства почти на семь миллионов. Только это сумел установить Ривлсток. Это совершенно невероятно. Никто в настоящий момент не знает, каковы активы банка, известно лишь то, что они падают в

цене и в большинстве неликвидны. Управление банком велось так непродуманно, что нанесло бы урон любой компании.

Я ожидал, что Ривлсток — привыкший не к критике, а к рукоплесканиям и похвалы своей деловой сметке принимавший как нечто само собой разумеющееся — запротестует. Тот факт, что он вообще ничего не сказал, лишь еще более прояснил серьезность ситуации.

— Подведем итог. Если «Барингс» не сумеет взять в долг очень крупную сумму, он рухнет, — заключил Лиддердейл. — А он не получит ее без гарантий, что правительство поддержит заем.

— Невозможно, — прервал министр финансов. — Решительно невозможно, и вы это знаете. Поручиться репутацией страны за частную фирму? Которая к тому же попала в подобную ситуацию из-за некомпетентности управляющих? Это не пройдет палату общин, и в любом случае государственное субсидирование причинит Сити вреда столько же, сколько, ожидаемо, предотвратит. Нет. Решительно нет. Сити должен сам выпутываться, и, что важнее, нужно, чтобы видели, что он справляется.

— Тогда мы пропали! — воскликнул Лиддердейл мелодраматичным тоном, какой обычно не ассоциируется с банкиром.

— Я не говорил, что правительство не окажет содействия, — саркастически отозвался Гошен. — Только лишь, что нельзя, чтобы это видели. Могу поручиться, что, разумеется, будет сделано все возможное.

— Но только если это ничего не будет вам стоить.

— Совершенно верно.

Лиддердейл погрузился в молчание, а Ривлсток — который, как мне показалось, лишился чувств под таким давлением — продолжал смотреть в окно. С его лица не сходила странная пустая улыбка. Он не произнес ни слова, словно бы даже не обращал внимания на переговоры. Создавалось впечатление, что он не в силах принять происходящее, что он пришел к выводу, что попал в кошмарный сон и самое лучшее не делать ничего, пока не проснется.

— Неплохо было бы, — сказал Лиддердейл, — если бы мы заранее об этом узнали. — Тут он уставился на меня. — Что нас поставили известность за каких-то несколько дней, практически бесполезно. Разве вам не за это платят?

— Нет, — отрезал я. — Мне платят совсем не за это. И о том, что мне стало известно, я уже проинформировал Форин оффис какое-то время назад. Тогда мои сведения были неполны, но содержали достаточное предостережение, если бы кто-то обратил на него внимание.

— Это было в памятной записке, переданной вам почти полтора месяца

назад, — произнес вполголоса Уилкинсон. — В той самой, прочесть которую вы не удосужились.

Лиддердейл свирепо нахмурился, Ривлсток смотрел сны наяву, Гошен барабанил пальцами по столу.

— Но ведь для «Барингса» может быть организован фонд спасения? — спросил я, недоумевая, а уместно ли вообще мне что-либо тут говорить.

— Может, — ответил Лиддердейл, — но банки примут участие в нем, только если будут уверены, что им не понадобятся резервы для защиты собственных позиций. А они будут не в состоянии сделать это, если Английский банк не заверит их, что обладает ресурсами для поддержания конвертируемости.

— Что проблематично.

— Совершенно верно. В настоящее время мы наскребли резервных двенадцать миллионов в драгоценных металлах. Что, позвольте сказать, было чертовски трудно. Банк Франции желает забрать три миллиона и еще три держит на депозите, который может потребовать в любой момент. Это оставляет нам надежных шесть миллионов. А таковая сумма изымается ежедневно. Если инвесторы запаникуют и решат, что им нужно золото, оно закончится за несколько часов. Буквально — часов.

— Так, значит, проблема в самом Английском банке, — сказал Гошен.

— Нет, — отрезал Лиддердейл. — Проблема в «Барингсе».

— Но «Барингс» невозможно укрепить, если у людей нет доверия к Английскому банку.

— Да, но...

— Прошу прощения, — вмешался я.

Внезапно воцарилась тишина, когда препирающиеся государственные мужи замолкли и повернулись ко мне.

— Да?

— Вы забываете о главном, а именно, что это умышленные действия. Что некие лица во Франции преднамеренно используют сложившуюся ситуацию, чтобы подорвать доверие к Лондону. «Барингс» сыграл им на руку и создал такую возможность, но сама ситуация не возникла бы без чьей-то сознательной политики. В нынешнем положении вы ничего не можете сделать. Вам это известно. Единственный мыслимый выход — сдать на наилучших условиях, какие сможете выторговать.

Эти слова были встречены ужасающим молчанием, словно я окатил собравшихся ведром ледяной воды.

— Прошу прощения?

— «Барингс» рухнет, если его не спасти. Банки могли бы объединиться

и набрать достаточно денег, но не рискнут. Возникнет дефицит золота, так как французы и русские изымают крупные суммы как раз для этой цели. Скоро «Барингс» пойдет на дно и утащит за собой кредит доверия к Лондону и всю структуру финансирования мировой торговли.

Стужа не отступала.

— Вам нужны поступления золота, и нужны они вам самое позднее к утру четверга. И есть только два места, откуда вы можете их получить: Банк Франции и Государственный банк Российской империи.

— Берлин? Вена? — спросил Уилкинсон. — Традиционной политикой Британии всегда было искать союза с противниками тех, кто нас атакует.

Тут Гошен шевельнулся.

— Полагаю, невозможно. Даже если бы они пожелали нас выручить, в чем я сильно сомневаюсь, Берлинский Королевский банк создавался с тем, чтобы не позволить ему — даже сделать противозаконным — операции на международном рынке. Даже если заем будет получен, на его организацию уйдут недели. То же касается Австрии, а у итальянцев золота так мало, что они не могут его одолжить. Мистер Корт прав в своей оценке.

— Тогда есть два варианта, — продолжал я. — Либо Франция и Россия решительно настроены довести задуманное до конца — в таком случае мы ничего не можем поделаться, и нам придется просто принять нашу участь. Либо их можно уговорить от этого отказаться. В таком случае необходимо обсудить, что им нужно. И дать это им.

Гошен повернулся к Уилкинсону:

— Думаю, это ваша область. Чего они могут хотеть?

Уилкинсон втянул воздух.

— Если это так серьезно, как вы все считаете, они могут просить чего угодно. Русские могут потребовать свободу рук на Черном море и в Афганистане. Французы — сходного невмешательства в Египте, Судане, Таиланде.

Гошен слегка позеленел. Лиддердейл побелел как бумага. Ривлсток мило улыбнулся.

— Нам же, — сказал я, — остается только самсоново утешение, что за собой мы утащим столько врагов, сколько сумеем. Иными словами, нет сомнений, что если катастрофа уничтожит нас, то она обернется бедствием и для французских банковского дела и промышленности, а еще начисто лишит кредитов Россию в тот момент, когда она отчаянно в них нуждается. Я предполагаю — по сути, могу утверждать, — что во Франции есть люди, которые такого не желают. Нам необходимо обратиться к ним и быстро перетянуть на свою сторону. И нужно привлечь Ротшильдов.

При одном только упоминании этой семьи атмосфера просветлела. Как бы ни затмил (как выяснилось, временно) «Барингс» в последние десятилетия Ротшильдов, их имя все еще отдавало магией. Богатство, деловая хватка и истовая вера в то, что они все знают и видят благодаря обширной частной сети информаторов и корреспондентов, превращали их в легендарные фигуры, которыми восхищались и которых поносили в равной мере. Если Ротшильды на вашей стороне, все возможно; если они ваши враги — крах неминуем.

Главой английского отделения в то время был Нэтти Ротшильд, дородный малый, ведущий семейные дела здесь вот уже более десяти лет. У него были обширные политические интересы, хотя он никогда не ладил с Гладстоном, и во многих случаях он проявлял патриотизм: это Ротшильды, а не «Барингс» раскошелились, чтобы Дизраэли мог купить Суэцкий канал; в восьмидесятых опять же Ротшильды вмешались, чтобы стабилизировать финансы Египта, а после выпустили заем, принесший ему не так много прибыли. Диковинная пара (действующие заодно еврейский банкир и католический кардинал Мэннинг) уладила проблему с чудовищной забастовкой портовых рабочих в 1889 году. В общем и целом Нэтти Ротшильд доказал, что всерьез воспринимает свой долг и умеет объединить его с потребностью в личной выгоде. Лишь в двух случаях в игру вступали эмоции: Нэтти Ротшильд ненавидел русских, но еще больше презирал «Барингс».

Он приехал после ленча, и просто удивительно, как управляющий Английским банком и министр финансов склонились перед его мнением. Он был не самым сердечным человеком, хотя я слышал, что в обществе умел быть и приятным, и обаятельным. Он держался с отчужденностью, которую трудно было не считать за пренебрежение и высокомерие. Бедный лорд Ривлсток уж точно сник еще больше, едва Нэтти Ротшильд переступил порог зала. Как ему и следовало: битва за превосходство между домами закончилась раз и навсегда, и «Барингс» проиграл. Осталось лишь выяснить, отреагирует Ротшильд великодушием или мстительностью.

Сначала его ввел в курс дела Гошен, потом — более досконально — Лиддердейл, потом меня попросили представить мою интерпретацию. Ротшильд слушал в полнейшем молчании, время от времени поглаживал коротко стриженную голову, но в остальном почти не шевелился. Когда я закончил, он налил себе еще чаю и методично его помешал.

— Увлекательно, — сказал он наконец. — Весьма увлекательно. Вы вполне в этом уверены?

— Я уверен в фактах, — ответил я. — Разумеется, истолкование мое

собственное. Но оно укладывается в то, что происходило на рынках сегодня утром.

Он кивнул.

— В данный момент насущная проблема — как стабилизировать ситуацию здесь.

— Мистер Корт выступает за капитуляцию, — кисло сказал Гошен.

Я покраснел.

— Если я не ошибаюсь...

— Вы хотите подорвать стратегическое положение Британии во всем мире.

— Если ставки настолько высоки, то правительство, конечно, должно вмешаться.

— Я уже объяснил, почему его вмешательство невозможно, — сказал Гошен. — И почему оно даже нанесет вред. Дело должно быть улажено силами самого Сити.

— Мистер Корт, — сказал Ротшильд, не обращая внимания на протестующий хор остальных, — как-нибудь вы должны рассказать мне, кто вы такой и как здесь очутились. В настоящее время присутствующие как будто считают, что у вас есть право говорить. Расскажите мне — собственными словами, — что вы рекомендуете.

— Сити должен организовать фонд для спасения «Барингса». Или по меньшей мере чтобы он продержался следующие несколько недель, пока не сможет реализовать свои активы и обанкротиться упорядоченным, должным образом. Сделать это возможно только — у вас едва-едва хватит на это времени, — если Банк Франции изменит свою политику по выводу драгоценных металлов из Лондона. И если русские перестанут изымать золото из «Барингса». Еще лучше было бы, если бы они заявили о своих намерениях внести на депозиты еще. В сложившихся обстоятельствах процент, какой они могут потребовать, будет высоким и может выражаться не исключительно в деньгах. Но по крайней мере нам необходимо знать их условия. Могу я спросить, известно ли что-либо вашему банку?

— Мне ничего не сообщалось. Но тут нет ничего удивительного. Отношения между нашим домом и Банком Франции в настоящее время прохладные. Во Франции немало таких, кто терпеть не может Ротшильдов, так же как и англичан. Вопрос в том, что с этим делать. Поскольку, сдастся, Британская империя не настолько важна для правительства, чтобы оно рискнуло своей репутацией, то я, как и вы, считаю, что у нас нет выхода и необходимо рассмотреть иные варианты.

На том совещание завершилось. Мне было предписано как можно

скорее вернуться в Париж с письмом к Альфонсу де Ротшильду и инструкциями выяснить, на какую цену пойдут (если вообще согласятся) французы. В то же время я должен был организовать настоящее восстание денежной элиты Франции и отправить ее штурмовать баррикады Банка Франции с требованием спокойствия на рынках. При том никак не опираясь на полномочия от британского правительства. Это должно было стать сделкой между банкирами. Это не должно было иметь никакого отношения к внешней политике. Тут никаких уступок сделано не было.

Мои шансы? Я оценивал их как нулевые. У меня было несколько дней на то, чтобы обратить вспять крупномасштабную акцию французской внешней политики и неизвестно как создать беспрецедентный альянс из людей, которых я вообще не знал. Даже Нэтти Ротшильд, казалось, был настроен пессимистично. Он вышел с Уилкинсоном и со мной, потом спросил, не хочу ли я прогуляться с ним по Грин-парку, прежде чем вернуться на вокзал Виктория.

— Неблагодарная задача, мистер Корт, — проворчал он, пока мы шли в направлении Грин-парка. Было зябко, смеркалось, улицы опустели, если не считать случайного конторского клерка или гувернантки с коляской. — Если вы преуспеете, никто не узнает; если потерпите неудачу, обвинят, без сомнения, вас.

— Это придает уверенности. Благодарю вас.

— Что приводит к очевидному вопросу. Почему вы выбрали такую работу? Странную вы ведете жизнь.

Он явно знал обо мне больше, чем я думал.

Я пожал плечами:

— Не знаю. Банкир из меня вышел не слишком хороший...

— Весьма неудовлетворительный ответ.

— Тогда она мне нравится. Мне нравится заставлять людей делать то, что они не хотят, нравится узнавать то, что мне знать не положено. Думаю, мне нравится обращать дурные дела на добрые цели. Так часто видишь обратное. Но я могу взять ложь и предательство и превратить их в патриотизм.

— Не наоборот?

— Нет, в моем случае нет.

— Понимаю. Думаю, на следующей неделе вам понадобится все ваше искусство. Вы попытаетесь соединить внешнюю политику и финансы и ловко контролировать получившуюся смесь. Как по-вашему, вы достаточно поднаторели на своей стезе?

— Не знаю.

— Мой кузен предоставит вам любую посильную помощь и немало здравых советов. Ему вы можете доверять. Я прошу лишь об одном: если вы потерпите неудачу, дайте ему знать. Будь я проклят, если дом Ротшильдов разорится из-за «Барингса».

Глава 19

В Париж я вернулся в шестом часу утра вторника. Я был совершенно измучен. Два раза за сутки я пересек Канал, двое суток почти не спал, а оставшееся время провел по большей части на совещаниях. Строго говоря, следовало немедленно взяться за дело, но я был не в состоянии. Я сумел найти кого-то, кто отнес бы записку Альфонсу де Ротшильду, еще одну послал мсье Нечеру — но и все. Я больше не мог обходиться без сна. И, рискну добавить, спал прекрасно; на удивление хорошо в подобных обстоятельствах.

Совещание с Ротшильдом и Нечером началось после ленча. Я едва не дискредитировал себя, опоздав, но прибыл к особняку Ротшильдов в Восьмом районе с запасом в несколько минут. Присутствовало четверо: «комитет по защите» — так я начал их про себя называть. Те самые, кто желал разрешить кризис, если бы только сумел, не навлекая на себя национальный позор. Все были фаталистично настроены и невысокого мнения о многих своих коллегам, о политиках и народе Франции вообще. Они глупцы, — таков был общий вердикт, — ничего не смыслящие в деньгах, понятия не имеющие, сколь тонки и хрупки финансовые структуры, столь надежно поставляющие роскошь и предметы первой необходимости, от которых они все больше зависели. Будь прогресс предоставлен политикам, сказал Нечер, большинство человечества по сей день добывало бы себе хлеб на полях, облаченное в лохмотья и страдающее от голода и болезней. Политиков нужно спасать от них самих.

Пока полное согласие. Было ясно, что все присутствующие — представлявшие самые могущественные финансовые институты Франции — готовы всемерно поддержать прошение, чтобы Франция помогла Английскому банку. Но равно ясно было и то, что ни один не сделает этого, не зная, будет ли принята просьба.

— Лично я, — сказал Альфонс Ротшильд, — готов предоставить полмиллиона золотом на общую защиту банковской системы; я уже послал телеграмму моему кузену, чтобы информировать его, что переведу деньги в его отделение сегодня же.

Нечер улыбнулся.

— Это защитит дом Ротшильдов, мой дорогой Альфонс, — заметил он. — Но мало кого еще.

— Пока вы не можете ожидать от меня большего, — возразил Ротшильд. — Во всяком случае, пока не будет достигнуто общее соглашение. Помните, если ведется наступление на банки в Британии, оно и здесь может спровоцировать панику. Мы не можем себе позволить подорвать собственную оборону.

— Банк Франции или ничего. Верно? — прокомментировал я.

Все они кивнули.

— Я не знаком с управляющим, — сказал я.

— Мсье Маньян, — отозвался Нечер. — Хороший человек. Любопытно, что начинал он как фабрикант скобяных изделий. В нем осталось еще кое-что от крестьянина, но на него можно положиться. Он как раз из тех, кто в полной мере знает цену крепкой валюте. И понимает, как слабость на кредитных рынках способна сказаться на промышленности. По сути, в том-то и проблема.

— Почему?

— Потому что, по моим представлениям, он уже отреагировал бы. Уверен, интуиция диктует ему поддержать Лондон. Это по-добрососедски и полезно для бизнеса. Он этого не сделал. А это наводит на мысль, что у него есть иные инструкции. Он не независимый человек, сами понимаете. Банк Франции — в отличие от Английского банка — не частная компания. Его единственный акционер — правительство, и в конечном итоге мсье Маньян должен поступать так, как ему прикажут.

— Значит, мы говорим о правительственной политике?

Нечер вздохнул.

— Не думаю. Поверьте мне, мистер Корт, я, все мы стараемся разузнать. Но пока я ничего не выяснил.

Тут Ротшильд улыбнулся с некоторым превосходством.

— По счастью, магия дома Ротшильдов еще не выдохлась, — негромко произнес он. — Полагаю, я могу сказать, что происходит. На такую политику Рувье уговорили около полугода назад. Министерство иностранных дел не вмешивается, так как считает неразумным не воспользоваться любой слабостью, какую может проявить Британия. Неурядицы в «Барингсе» назревали уже несколько месяцев, и министерство иностранных дел понемногу готовило почву. Все выросло из промаха Бисмарка три года назад, когда он отказал России в доступе на берлинские кредитные рынки. Его место занял Париж, который ссудил русскому правительству крупные суммы. Это, разумеется, создало узы

дружбы, не говоря уже об общих интересах. Я даже рискнул бы предположить, что со временем, возможно, будет достигнуто какое-то взаимопонимание в военной сфере. В данном случае вполне очевидно, что ослабление Великобритании будет выгодно обеим странам.

— Но Россия отчаянно нуждается в инвестициях. Если она не получит кредиты, ее армия откатится назад в семнадцатый век. Какая польза от подрыва кредитных рынков?

— Вопрос настолько здрав, что, боюсь, я не могу на него ответить. Я обращался в русское посольство, но там отказались со мной разговаривать. — Сюрприз был явно болезненным. Никто не отказывается разговаривать с одним из Ротшильдов.

— Однако они согласились говорить с британским правительством. Что само по себе указывает, какая важность придается этому делу. И насколько хорошо они подготовлены.

— Но тогда переговоры будет вести сэр Эдвард Мерсон.

— Я на это указал, и у них нет никакого желания говорить с сэром Эдвардом Мерсоном, поскольку он не поймет, о чем идет речь. Нет. Вам придется представить кого-то повыше рангом и с большими полномочиями. Я бы предложил Гошена. Он вправе заключить сделку, и у него достаточно власти, чтобы убедить премьер-министра ее принять.

— Вы ожидаете, что министр финансов будет пресмыкаться публично?

— Я бы ожидал, что он приедет так тихо и незаметно, что никто и не догадается о его присутствии в Париже.

— И говорить он будет...

— Вполне очевидно: с главой Банка Франции. По чистейшему совпадению, не сомневаюсь, заместитель главы Банка Москвы сейчас в Париже, навещает родных. И конечно, Рувье. Уверен, мы с мсье Нечером тоже были бы рады присутствовать.

— Где?

— Где-нибудь, где они не будут замечены.

Глава 20

Я не забыл про Элизабет и ее дневники, но остаток вторника и большая часть утра среды ушла на приготовления. Телеграфист Стоуна вернулся на рабочее место, поэтому я хотя бы мог быстрее отправлять сообщения, и если моих собственных увещаний не хватило бы, состояние рынков убеждало больше. Час от часу новости становились все хуже. Все больше людей подозревали, что надвигается какой-то ужасающий кризис. Кредиты

иссякали: подозрения уже начали сосредоточиваться на «Барингсе», который выступал с официальными заверениями, что ничего необычного не происходит, а в частном порядке паниковал и старался собрать столько денег, сколько удастся. Члены семьи закладывали дома, лошадей, произведения искусства. Взыскивались долги и обязательства, имущество предлагалось по бросовым ценам, но все это только разжигало домыслы, что надвигается нечто ужасное. Понемногу паника начала распространяться; процентные ставки росли, объемы продаж на рынках стали бешено скакать, за ними последовали цены. Время истекало. Гошен решил ехать в Париж. У него не оставалось иного выбора.

Переговоры должны были состояться в таком месте, которое никак нельзя было заподозрить в том, что там способно разыгаться событие подобной значимости. Когда я попросил, Элизабет согласилась без промедления и тут же энергично взялась за дело, закупая провизию, напитки и все остальное, что могло бы понадобиться. Совещание не многим отличалось от ее салонов по четвергам, лишь тема беседы будет более серьезной. После долгих часов работы я отвлекся — назначенное мной Дреннану время приближалось. Пора было идти.

Признаю, план был несколько шаткий, но попробовать стоило. Я определенно не желал рисковать столкнуться с Дреннаном лично — я слишком хорошо его знал. В последнюю нашу встречу он меня избил, и у меня не было уверенности, что он не сделает этого снова. Неплохо было бы знать, что именно он затевает, но я заключил, что без этой роскоши могу обойтись. Последнее, что нужно Британии, — это шпионский скандал, который настроит общественность Франции против всего английского как раз в тот момент, когда Францию просят о помощи. На деле я все больше убеждался, что одно с другим взаимосвязано.

К рю Дарю я подошел на полчаса раньше со стороны бульвара де Курсель, потом свернул на рю Пьер-ле-Гран и вошел в жилой дом на углу. Напротив меня через улицу возвышался собор Александра Невского. Восточные и совершенно неуместные в строгом и упорядоченном квартале жилых зданий разноразмерные купола и золотые мозаики смотрелись так, словно случайно были сброшены с неба. Собор, построенный несколькими десятилетиями ранее русской общиной в Париже в ознаменование своего присутствия и как средоточие своего мирка, пользовался исключительным успехом, даже несмотря на то что местные жители как будто не вполне его одобряли.

Я поднялся по черной лестнице на задах вестибюля — на все семь пролетов выскобленных ступенек дешевого дерева среди плохо

покрашенных стен (какой контраст с отполированной до блеска, устланной коврами парадной для жильцов), пока не достиг коридора на верхнем этаже, который вел в крошечные каморки, где под крышей спали слуги. На середине коридора имелось слуховое окно, которое я открыл. Шуму я наделал много, но знал, что здесь нет никого, кто бы меня услышал, а потому спокойно выбрался на крышу и примостился так, чтобы ясно видеть собор.

Стараясь не высовывать голову, я в бинокль оглядел небольшую площадь перед входом; слабые отзвуки пения подсказывали, что идет служба. По площади слонялись несколько человек, и мне подумалось, что я увидел искомое. Хорошо одетый мужчина сидел на скамейке с газетой; еще один, стоя у дверей собора, читал расписание служб в застекленной витринке. Еще двое разговаривали под деревом слева.

У меня упало сердце. Какое дилетантство! Дреннан слишком стар, чтобы на такое попасться. Мужчина читает газету в сумерках? Еще двое беспечно болтают на холодном ветру? Он и близко к собору не подойдет. Один взгляд, и он сбежит.

И тут я его увидел; он тоже пришел до условленного срока. Шел, укутанный, по улице, надвинув на лоб шляпу, одетый неприметно — ни неряшливо, ни респектабельно. Как лавочник или клерк. Его выдавала только походка — размашистый, широкий шаг. Он тоже захотел прийти первым, иметь возможность увидеть меня раньше, чем я увижу его. Этому он меня научил; я его опередил.

Он не принял мер предосторожности: не прибег ни к одной из уловок или хитростей, которые так упорно и болезненно в меня вдавливал. Не оглянулся по сторонам, не помедлил, чтобы осмотреться, ничего. Просто перешел улицу, пересек маленькую площадь и начал подниматься по ступеням. Я был озадачен. Он шел на встречу со мной, но не осторожничал, словно бы мы были на одной стороне, словно он не считал меня угрозой.

Стоявший у витринки мужчина двинулся ему наперерез, подошел совсем близко, взял за локоть; я увидел, как мужчина на скамейке бросил газету и встал; беспечные болтуны разошлись каждый в свою сторону, замыкая Дреннана сзади.

Дреннан повернулся, его рука скользнула в карман пальто. Я ничего не услышал, было слишком далеко, но он упал на колени, запрокинул голову. Человек с газетой подошел к нему вплотную сзади, вытянул руку к его голове, и Дреннан рухнул на каменные ступени собора.

Сделано. Хотя бы одной проблемой меньше. Я вернулся в дом

Элизабет, помылся и сменил одежду как раз вовремя, чтобы приветствовать Уилкинсона и Гошена, когда в восемь часов они прибыли в экипаже Джона Стоуна с вокзала Гар-дю-Нор.

Глава 21

Такие приемы не забываются. Гости прибывали один за другим, и я жалел только, что прием должен остаться строго конфиденциальным. Он сделал бы для репутации Элизабет больше, чем появление принца Уэльского. Мало найдется уличных потаскух, принимающих у себя разом канцлера казначейства, иными словами министра финансов Англии, британского и русского послов, французских министра финансов и министра иностранных дел, управляющего Банком Франции и столько-то Ротшильдов и других банкиров. Собрались они, конечно, не для светских бесед: это были деловые люди, и свое дело они знали хорошо. Я рискнул бы даже предположить, что все они получали удовольствие. С девяти вечера до пяти утра они сходились в уголках, исчезали парами или группами в смежные комнаты, кричали друг на друга, смотрелись напряженно, гневно, встревоженно, ликующе и расслабленно и отпускали шутки, а после начинался новый раунд переговоров. Те, кто не был занят ими, собирались вокруг Элизабет, как цыплята вокруг наседки, и она отвлекала их беседой и шармом, создавая непринужденную атмосферу так, как умела лишь она одна. Ее повар, несравненный мсье Фавр, превзошел самого себя, а ее винный погреб произвел впечатление даже на мсье де Ротшильда. Я твердо уверен, что ощущение спокойствия, которое она понемногу создала, содействовало успеху больше любого другого фактора.

Со своей стороны я был не занят ничем, но мне была дарована привилегия присутствовать на частных совещаниях английской делегации и на более общих, когда — изредка и более или менее случайно — к ней присоединялись другие стороны. Однако мне ясно дано было понять, что собственного мнения от меня не ожидается. И мне нечасто выпадала возможность поговорить с кем-либо из русских или французов.

Граф Гурунжиев, однако, взял меня за локоть вскоре по приезде.

— На два слова, мистер Корт, — вполголоса произнес он. — Кажется, вы были правы. Сегодня вечером у входа в русский собор был застрелен мужчина. У него не было при себе ни документов, ни чего-либо, что удостоверило бы его личность, но он в точности соответствовал вашему описанию. И у него был заряженный револьвер.

— Надеюсь, он не причинил вреда?

— Нет. После вашего предостережения мы решили не рисковать. Его задержали, но он пытался бежать и был убит. В настоящее время мы убеждаем полицию, что это было убийство одного вора другим, о котором

лучше забыть. Уверен, там согласятся: слишком много в последнее время случилось подобных инцидентов, и они не захотят излишней огласки. Непонятно только, что он замышлял.

Он ушел поздороваться с Элизабет, а я испытал одно лишь глубокое облегчение. Теперь мне оставалось только выяснить, где жил Дреннан, и забрать дневники, а на это у меня теперь достаточно времени. Хотя бы одна настоятельность отпала.

А тем временем конференция шла полным ходом; англичане собрались в большой зале, французы заняли библиотеку, русские закрылись в гостиной. Столовая служила нейтральной территорией, где все могли говорить свободно. Нелепое количество времени было потеряно на светскую болтовню, расспросы о дороге из Лондона, серьезные заверения, что пожелания благополучия передаются всем от президента и царя до жен, сыновей и дочерей. Говорили про охоту и политику, неспешно оценивая друг друга, исподволь подбираясь к главной теме, которая, как все знали, рано или поздно неизбежно возникнет, а потом отступали снова.

Все это было необходимо, задавало тон, прощупывало эмоции и нервы. Потом внезапно, словно принялось невидимое решение или был подан какой-то знак, граф Гурунжиев начал:

— Боюсь, мистер Корт пытался ввести меня в заблуждение, когда мы встретились позавчера, — начал он. — Я установил, что то, что он так ловко поднес мне как мелкую бухгалтерскую проблему, таковой не является.

— Как же так? — спросил Гошен.

— Я не разбираюсь в финансах, тут мистер Корт был совершенно прав. Но вы совершаете ошибку, считая, что я не разбираюсь в политике или дипломатии. Его небольшая бухгалтерская проблема как будто касается фундаментального переворота в российской внешней политике. И во французской тоже.

— Полагаю, это преувеличение.

«Ну вот, сейчас», — подумал я. Они все обсудили, они договорились о совместной стратегии. Рувье, как мне было известно, целый день бомбардировали Ротшильды, и остальные банкиры один за другим настаивали на вмешательстве, на изменении политики и предлагали бог знает какие стимулы; он был единственным старшим чином среди французов, который здесь отсутствовал. Задержался в палате депутатов, сказал кто-то. Придет, когда сможет ускользнуть. Нет сомнений, те, кто желал продолжить наступление на Сити, тоже приводили веские доводы. Граф сейчас сделает первый намек на то, какая сторона победила.

— Надо думать, процентная ставка, какую запросит Банк Франции за заем Английскому банку золота, будет очень высока. Разумеется, вы не можете ожидать, что русское правительство согласится на меньшее.

Лучше, чем заявление, что вообще никакой сделки не будет. Однако он мог затребовать цену столь высокую, что ее нельзя будет заплатить.

— Я ни минуты о таком не помышлял, — несколько ворчливо отозвался Гошен. — Разумеется, ваше содействие будет вознаграждено и, если пожелаете, оценено официально.

— Способны вы привести мне хотя бы одну причину, почему мы тем или иным способом должны помогать Великобритании?

— С вашей точки зрения или с нашей? Мне на ум приходят десятки.

— Вот как? В интересах России ослабить Британию настолько, насколько возможно. Индия, Османская империя, Средиземноморье, Балканы. Во всех этих регионах ваша и наша политика диаметрально противоположны.

— Верно. Но сомневаюсь, что ваше правительство полагает, будто Афганистан в настоящий момент крупная ваша проблема.

— Почему вы так говорите? Что навело вас на такую мысль?

— Бисмарк больше нет. С ним канул и ваш договор с Германией. У вас нет союзников, нет друзей и гигантская по протяженности граница, за которой стоит самая мощная армия в мире.

— И Англия придет нам на помощь в обмен на несколько слитков золота?

— Нет. Не больше, чем поможет Франции вернуть Эльзас. Но вам как человеку военному известно, что российская армия плачевно не готова к ведению современной войны. У нее нет железных дорог для транспортировки войск и боеприпасов, недостаточно фабрик для производства вооружения и флот такой, что едва ли обеспокоил бы Нельсона, пусть даже ваш личный состав хорошо обучен. Вы — гигантская империя и военный пигмей. У вас есть люди, но у вас отсутствует более важный фактор современного ведения войны. А именно — деньги.

«Веский довод, — подумал я, — и ловко поданный». Гошен проявлял бойцовский дух, которого я в нем не подозревал.

— Наше предложение сводится к следующему: мы позволим французам вам помочь. Они как будто открыты для переговоров.

— Вы хотите купить нас чужими деньгами?

— Британские банки — главенствующие в мире. За последние двадцать лет они зарабатывали огромные суммы, извлекали капитал из Южной Америки. Этому, как вам известно, внезапно пришел конец. Поэтому они

станут искать новые рынки. Они вытеснят Францию с любого рынка, на котором решат сосредоточиться. Мы предлагаем Франции свободу действий в России. Мы предлагаем лишь видимость конкуренции ради проформы. Франция сможет нарастить свой банковский сектор, усилить его так, как иначе не сумела бы. И вы сполна получите средства, в которых так отчаянно нуждаетесь.

— Суть в том, — продолжал Гошен, — что, если случится всеобщий финансовый кризис, Франция будет не в состоянии одолжить вам ни сантима. Если лондонские банки будут подорваны, то и французские тоже. Капитал испарится, кредиты развеются как утренний туман. Если вам нужны современная армия или флот, вы должны оставить свои деньги в сейфах «Барингса». Более того, вы сами это прекрасно знаете.

Русский нахмурился.

— Нечто подобное мне сказали мои советники. Доктрина, согласно которой необходимо усилить своего врага, чтобы его победить, представляется мне эксцентричной.

— Однако это так. Я мог бы назвать вам по меньшей мере шесть французских банков, которые понесут тяжелый урон, если «Барингс» обанкротится. У всех у них ценные бумаги «Барингса», все одолжили деньги России.

— Тут должно быть нечто большее. Вы рисуете парадоксальную картину, в которой логика диктует нам помогать злейшему врагу, а взамен наш злейший враг поможет нам.

— Продолжайте.

«Вот сейчас, — подумал я. — Сейчас предъявят счет».

— Вы страшитесь русского влияния, вы должны помочь нам усилить это влияние. Вы страшитесь нашего вмешательства в дела Османской империи, вы должны сделать его более эффективным. Вы страшитесь того, что мы хотим создать флот, который бросит вам вызов на Черном море, в Гибралтарском проливе, в самом Средиземноморье. Вы должны помочь нам создать флот, способный разбить ваш. Такова цена, мистер Гошен. Русскому флоту нужна верфь на побережье Черного моря, способная построить, оснастить и обслуживать любое судно. Новейшее вооружение, лучшее оснащение. Если вы согласитесь на это, тогда я поверю в вашу серьезность, и мы сможем обсудить «Барингс».

— Боюсь, это невозможно, — с ходу ответил Гошен. — Даже если бы мы были так настроены, это невозможно осуществить. Ни одно правительство не устоит после такого; любое, какое попробует, падет в течение нескольких недель и будет заменено на другое, которое пообещает

противостоять этому всемерно.

— В таком случае, боюсь, у нас возникли некоторые затруднения, — печально сказал граф. — Я старался быть разумным. Как и я, вы, без сомнения, сознаете, что мы могли бы просить о много большем. Мне тоже нужно думать об удовлетворении страны. Я не могу предлагать что-то, что у меня на родине покажется унижительным провалом.

Я отвел в сторонку Уилкинсона.

— Заговорите его, потяните время, — сказал я тихонько. — Что бы вы ни делали, не давайте ему уйти. У меня есть идея. Просто позаботьтесь, чтобы он был здесь, когда я вернусь.

Я взял экипаж Элизабет, который со всей возможной быстротой понесся по улицам, так что меня проклинали прохожие, а несчастные лошади отчаянно вспотели к тому времени, когда мы остановились перед «Отель дю Лувр». Я не потрудился представиться, просто взбежал по лестницам на четыре этажа, так же бегом преодолел коридор до апартаментов Стоуна, где забарабанил в дверь.

— Вы должны поехать. Вы там нужны.

Несколько мнут спустя мы снова были в экипаже, а еще через двадцать — в особняке. Я отсутствовал час, и к тому времени, когда мы прибыли, русские начали терять терпение. Равно как и, надо признать, Гошен и Уилкинсон, которые чувствовали себя глупцами, ведя пустые светские разговоры.

— Прощу, пару слов наедине, — сказал я, и русские кивнули, когда английская делегация строем вышла.

— Это Джон Стоун, лорд-канцлер, — сказал я. — Мне кажется, он способен помочь.

Гошен кивнул.

— Как?

— Вы возражаете против базы русского флота в принципе? Иными словами, проблема в строительстве верфи или в последствиях того, что про нее станет известно?

— И в том и в другом. Это резко изменит баланс сил на Ближнем Востоке. Полагаю, с этим смирился мы, но не общественное мнение. Нас разорвут на части.

— А если никто не узнает?

— Не глупите. Как такое возможно?

Я кивнул Стоуну, которого теперь впервые увидел в деле. Господи милосердный, он внушал благоговение. Он получил от меня лишь поспешный краткий отчет и, даже опираясь на такую малость, с

поразительной быстротой умудрился взять под свой контроль и возглавить совещание.

— Говоря практически, если русские хотят иметь базу, то они должны получить ее от Британии, — сказал он. — Мы — единственная страна, способная мобилизовать ресурсы для того, что они, вероятно, задумали. Достаточные, чтобы содержать флот. — Тут Гошен поморщился. — Поставки материалов, оснащение, доки и мастерские. Проект определенно масштабный. У них нет ни капитала, ни рабочей силы, ни специализированных знаний, чтобы сконструировать такую верфь, построить ее или управлять ею. Должен сказать, и у французов нет свободных мощностей, чтобы все это предоставить. У немцев есть, но они не станут этого делать.

И мы тоже, — продолжал он. — Или не можем позволить, чтобы видели, как мы это делаем. В Англии общественное мнение восстанет против любой страны, скажем, Франции, которая так поступит. Это верно?

Гошен кивнул:

— Если французы построят русским верфь, это будет сродни объявлению войны.

— Однако, — раздумчиво продолжал Стоун, — осуществить подобное возможно. Уверен, французские банки выпустят облигации, чтобы собрать деньги от имени русского правительства; фонд развития будет огромный. Если процентная ставка будет достаточно высока, не понадобится точно указывать его назначение. Я мог бы создать новую строительную компанию, зарегистрированную, скажем, в Бельгии, держателями акций которой станут по доверенности банки по всему Континенту. Что до рабочей силы, столь необходимый персонал будет собран с верфей всей Европы и будет управляться из контор моих компаний. Вполне возможно будет создать структуру настолько непроницаемую, что никто не сможет докопаться, кому она принадлежит. И Россия сможет восславить ее как победу русской инженерии, свидетельство своего промышленного прогресса. Разумеется, я не могу отвечать за стратегические последствия. Это вне моей компетенции. Но если вы готовы допустить строительство базы, то ее можно построить так, чтобы никто не знал, кто за этим стоит.

Таково краткое изложение; сами дебаты были много длиннее и подробнее и с большим числом технических деталей. Гошен был одновременно и человеком от мира денег, и политиком, а потому желал знать, что в точности предлагает Стоун. Чем больше он слышал, чем больше его возражений отметал Стоун, тем больше — я видел — росли его уверенность и решимость.

Наконец Гошен откинулся на спинку стула.

— Еще соображения?

Уилкинсон покачал головой. Повисло молчание.

— Тогда я предлагаю еще раз поговорить с русскими. Не соблаговолите ли пройти вместе с нами, мистер Стоун?

Я туда допущен не был. Сделка состоялась; и французы, и русские получили что хотели, конец кризиса маячил впереди. Им надо было только послать телеграмму с распоряжением внести на депозит в Английском банке искомые суммы, и все кончится. Я еще с трудом в это верил: Британия легко отделалась — поразительно легко.

— Ты выглядишь усталым, друг мой, — сказала Элизабет. Она вошла, когда услышала, как другие встали и выходят.

— Боюсь, сегодня вечером ты была гостьей в собственном доме.

— Да, и мой повар завтра может подать просьбу об увольнении. Сколько способны съесть и выпить эти люди, просто изумляет. Но все как будто в добром расположении духа.

— Думаю, они хорошенько поразвлеклись, — сказал я. — А это они любят больше чего-либо. Полагаю, меня бы это совсем не устроило. — Я зевнул. — Господи, как же я устал! Сегодня я высплюсь спокойно.

В дверь позвонили, и несколько минут спустя вошел лакей с карточкой на подносе.

— Проводите мсье Рувье в гостиную, пожалуйста, — сказала Элизабет и снова повернулась ко мне. — Ведь там сейчас французы?

— Он как раз вовремя, чтобы услышать, какое принято решение. Хорошо.

— Полагаю, несколько дней назад ты нанес визит графу Гурунжиеву.

— Да, и прошу прощения, что упомянул твое имя. Но я сделал это очень тактично. Я никоим образом не дал понять, что знаю о тебе что-либо, только назваля твоим другом.

— Спасибо. Но пожалуйста, больше так не делай.

— Обещаю.

Роковые слова. Несколько минут спустя дверь отворилась, и вошли Гошен и Уилкинсон, за которыми последовали Стоун и Ротшильд — последний выглядел встревоженным.

— Проблема? — спросил я.

— Мсье Рувье, по всей видимости, кричит на управляющего Банком Франции, что тот не имел права соглашаться на что-либо без его одобрения. И что он своего одобрения не даст. Иначе говоря, он на сделку не пойдет. А если не пойдут французы, не пойдут и русские. Идемте,

господа, обсудим ситуацию.

Они снова вышли строем, оставив меня со Стоуном и Элизабет.

Стоун сел напротив нее и мягко улыбнулся.

— М-да, это проблема.

— Вы хотите сказать, что такого не предвидели?

— О чем вы?

Я покачал головой и нахмурился, лихорадочно соображая. Сонм мелких деталей, прежде разрозненных, кажущихся случайными, словно бы складывался в новую и тревожную картину. А потом... вот оно! Неоспоримо.

— Это ведь были вы, верно? — спросил я. — С самого начала вы.

— Не знаю, о чем вы.

— Когда вам пришла в голову эта афера? Создать кризис и навязать решение, которое позволило бы вам делать, что пожелаете?

Он улыбнулся:

— Вы меня переоцениваете, мистер Корт. Такое не часто случается. Я к этому не привык. Что вы называете моей аферой?

— При первом нашем знакомстве вы обмолвились, что правительство запретило вам работать на русских. Сейчас вы сможете делать это с его благословения и одновременно представить себя беззаветным патриотом. «Креди Интернасьональ», «Банк Брюгге» — это же им поручат организовать финансирование верфи, а ведь именно они возглавили наступление на Лондон. Сама афера не могла бы состояться, не зная вы обо всем заранее.

Стоун, изучавший китайскую чашу на каминной полке, обернулся.

— Видите, я еще ее не разбила, — сказала Элизабет. — И поставила на почетное место.

— Я польщен, — ответил он с мягкой улыбкой.

Стоун осторожно вернул чашу на полку, потом опасливо отступил на шаг, как бы она ни рухнула и не разбилась об пол.

— Прошу прощения, мистер Корт. Вы говорили...

— Русские и французы могли бы сокрушить Лондон, а ограничиваются верфью и выпуском новых займов. И, по чистой случайности, владелец крупнейшей английской компании по производству вооружений остановился в отеле за углом и рад услужить. И вы выстроили эту умопомрачительно сложную комбинацию за то время, что понадобилось доехать от Лувра сюда? Возможно ли придумать нечто столь сложное за каких-то несколько минут?

— Я знаток своего дела.

— Не настолько же. Если не просчитали все заранее.

— Не я создал данную ситуацию, — ответил он негромко. — «Барингс» так или иначе разорился бы; это уже несколько месяцев было очевидно. Я лишь позаботился о том, чтобы извлечь выгоду. И чтобы моя страна извлекла выгоду.

— Какое вам дело до вашей страны?

— Возможно, это вас удивит, но большое. Русские в любом случае получают верфь, вопрос заключался лишь в том, кто будет ее строить и кто получит от этого прибыль. Они будут еще теснее привязаны ко Франции, а это сделает Германию...

Я поднял руку.

— И Уилкинсон приводил такой довод. Это тоже от него исходит? Это его рук дело? Заговор чиновников с целью переписать внешнюю политику Британии вопреки воле правительства и электората?

— Для столь молодого человека вы слишком напыщенны. Мы лишь сошлись в определенных вопросах. И вы обнаружите, что есть немало людей, кого удовлетворит такой исход дела.

— Гошена?

— Нет, не его. И не премьер-министра. Но так управляется Британия, и так процветает ее Империя. А электорат не желает знать, как правительство принимает решения. Бизнес необходимо защищать от политиков. Я мог бы сказать, и страну тоже.

— А вы заработаете на этом кучу денег?

— Да. Это моя работа.

— Но как вы заставили французов согласиться? И русских?

— Выгоду получают все, сами знаете, а русские любят взятки. Граф Гурунжиев запросил головокругительную сумму. Разумеется, он также сможет вернуться в Санкт-Петербург со славной победой.

Я едва-едва не сказал, что граф сделал с деньгами Стоуна, но сдержался.

— А я? Меня даже подкупать не потребовалось.

— Нет. Но вы хорошо сыграли свою роль. Не думайте, что ваш ум и таланты не были оценены по достоинству. Нет смысла это продолжать, сами знаете.

— Я хочу ясности. Правительство следовало вынудить запаниковать, чтобы оно пришло к выводу, что это не случайный хаос на рынке, а заговор, у которого есть свои цель и цена. И я это сделал. Тут я сыграл ключевую роль. Заговор надо было разоблачить вовремя. И меня к этому подвели. Легкие намеки тут и там от людей вроде Нечера должны были

подтолкнуть меня в нужном направлении. Чтобы я догадался, что происходит, и до смерти напугал правительство...

Стоун кивнул:

— Вы заслуживаете всеобщей благодарности.

Но я еще не закончил. Было кое-что еще. Оно не давало мне покоя.

— Так, с русскими понятно. Но французы — другое дело. Как вы планировали вертеть ими? От банков можно откупиться свободой рук в России, но что будет теперь? Как насчет Рувье?

Я помедлил, посмотрел на него и вдруг понял.

— О Боже. Это вышло из-под контроля, да? Рувье не учтен в плане. И он вот-вот все разрушит.

— Мсье Рувье действительно ведет себя в данный момент неразумно, — спокойно сказал Стоун.

— Вы предполагали, что Рувье поступит так, как скажут ему банкиры и управляющий Банком Франции.

— Они скажут ему то, что в интересах страны. Да. И это в интересах страны. Любой, кроме идиота, способен это понять.

— К несчастью, он идиот.

— Сдается, он мечтает о великом личном триумфе.

— Он блокирует Банк Франции, русские последуют его примеру, и сделка провалится. Вы хотя бы понимаете, что вы наделали?

— Не каждая рискованная игра приносит выигрыш. К несчастью.

— Это все, что вы можете сказать?

Он с полнейшим спокойствием пожал плечами.

Я ушам своим не верил. Именно его спокойствие, хладнокровное отношение к происходящему выбили меня из равновесия. В сочетании с яростью от того, как он со мной поступил. Слабость, признаю. Но он с начала и до конца мной манипулировал. Неужели из-за этого Уилкинсон послал меня в Париж? Неужели уже тогда это было у него на уме? Неужели он планирует так далеко вперед?

Но шанс спросить мне не представился. Дверь открылась, и вошел Рувье, уже в зимнем пальто, со шляпой и перчатками в руках.

— Дражайшая графиня, я пришел с вами попрощаться и еще раз поблагодарить за гостеприимство, — сказал он, когда она встала с дивана, чтобы подать для поцелуя руку. — Увы, беседа была не столь приятной, как обычно в вашем доме.

— Мне очень жаль, что вы были разочарованы, министр, — ответила она. — Не могу ли я уговорить вас задержаться еще немного?

В лице у Рувье читалось такое самодовольство, что смотреть на него

было почти невыносимо.

— Уже очень поздно, и, думаю, все возможное уже было сказано. И, что важнее, у меня завтра напряженный день. Очень напряженный день.

— Минутку, министр, — вмешался я. Я еще не знал точно, что намереваюсь сказать, но понимал, что едва он выйдет, все будет потеряно.

— Мсье?..

— Корт, сэ. Генри Корт. Я работаю на газету «Таймс».

Это его озадачило — как и следовало.

— Что такого вы можете сообщить, что меня заинтересовало бы?

Эмоции совершенно меня оставили. Ярость на Стоуна была такой острой, что я ее даже не замечал; она настолько мной овладела, что я практически в нее превратился. У меня был выбор, и я сделал его, полностью сознавая последствия. Я не могу привести ни извинений, ни объяснений, которые не были бы фальшивыми. Я хотел взять верх над Стоуном и причинить ему боль. Я хотел показать, что способен спасти ситуацию, когда он потерпел неудачу. Любой ценой, любыми средствами. А средство было только одно. Да просит меня Господь, я не мешкал.

— Вы политик, министр. Некогда вы занимали пост премьер-министра, и, возможно, в один прекрасный день вам выпадет честь занять его снова. Я желаю вам всяческих благ, мне бы не хотелось, чтобы что-то стало у вас на пути. Общественное мнение — дело хорошее, и за прошедшие годы вы выказали себя исключительно умелым администратором.

— Благодарю вас, молодой человек, — ответил Рувье с некоторым удивлением.

— К несчастью, я позабочусь о том, чтобы положить конец вашей карьере, если только вы не обдумаете следующие мои слова. Банк Франции и банковское сообщество Парижа в большинстве желают отвратить ужасающий кризис, который повергнет в страшный упадок всю Европу. Банк Франции не может сделать этого без вашего разрешения. И вы такое разрешение дадите.

— С чего бы мне его давать? — с напускным изумлением спросил он.

— Вы хотите чего-то иного?

— Вывода войск из Египта, вывода Королевского флота из прибрежных вод Сиам и свободу действий в Ливане. Боюсь, банкирам не хватает дальновидности, и думают они только о деньгах. Я вижу дальше их. Я спасаю их от собственной узколобости.

— Вам это не удастся.

— В таком случае нам не о чем больше говорить.

— Боюсь, есть, — сказал я. — Нам нужно также поговорить о графине

фон Футак.

Элизабет застыла. Она не шевельнулась, но я увидел, как глаза у нее расширились, как она приняла позу — незаметно для любого, кто не знал ее так хорошо, как я, — которая свидетельствовала о напряжении, настороженности. О страхе. Стоун никак не отреагировал. Пока.

Рувье улыбнулся.

— А, дражайшая Элизабет. Надеюсь, вы не собираетесь угрожать мне разоблачением? Я очень сомневаюсь, что это способно нанести какой-либо ущерб моей карьере. Лишь пуритане-англичане могут так думать. Мы во Франции...

— Да-да. Все это я знаю. Завоевать графиню фон Футак действительно было бы немалым достижением. Но оплачивать ее из правительственных средств — совсем иное дело. А она очень дорогостоящая женщина, как подтвердят вам граф Гурунжиев и многие другие. Вы же не думали, что вы единственный, кого она обирает, верно? Ну разумеется, нет, вы же человек умудренный. Не могли же вы не сознавать, что вы лишь один из — бог знает скольких — людей, кого она — как бы это сказать — принимает?

Он бросил на нее взгляд, полный растущей тревоги. Стоун все еще не реагировал, просто стоял, заложив руки в карманы, не способный отвести глаз от Элизабет, пока слушал мои слова. Мне хотелось увидеть, как по его лицу расплзается отвращение. У него было все. Будь я проклят, если он получит и ее тоже!

Рувье, отмахиваясь, пожал плечами:

— Небольшой скандал вскоре забудется, если я прославолюсь как человек, вернувший Франции былое превосходство.

— Конечно же, она не графиня. Вы тратили пятьдесят тысяч франков ежемесячно на уличную потаскуху из Нанси. Разве вы не знали? То, за что вы платили по десять тысяч в ночь, любой солдат на восточной границе, кто ее хотел, получал за франк. А еще она преступница, которую разыскивают за хладнокровное убийство клиента в Лионе.

Тут он побледнел, но как будто еще не смирился. Элизабет сидела, сложив руки на коленях, совершенно неподвижно, ее самообладание еще было абсолютным. Вот только я чувствовал, как ею овладевает оцепенение, холодок отчаяния, когда она слушала, как ее жизнь, ее репутация идут прахом, когда кто-то, кому она доверяла — возможно, единственный, кому она рискнула довериться, — рвет ее мир в клочья. Это было то же опустошение, что затопило и меня.

— Вы знаете человека по фамилии Дрюмон? — вполголоса спросил я.

Он только на меня посмотрел.

— Он журналист, презренная личность. Извращенный, склонный к насилию, исполненный ненависти. Должен сказать, я не могу даже находиться в одной с ним комнате, не испытывая позыва к тошноте. Но у него есть одно исключительное свойство. Он ненавидит всех республиканцев, всех политиков. Радость, какую он получит, стерев вас в порошок, будет огромной. Уничтожать людей для него не просто долг, а удовольствие. Можете вообразить себе заголовки? Как он будет упиваться? Как ваши враги обрадуются, травлей заставив вас покинуть свой пост? Франция, возможно, победит, министр. Но плодов этой победы вам не вкусить. Мсье Дрюмон об этом позаботится.

— Опубликовать нечего, — беспечно отозвался он. — Думаете, я давал ей расписки?

— Она ведет дневник, — устало ответил я. — Очень подробный. Во всех отношениях. И она была иностранной шпионкой. Это я могу доказать. У меня есть квитанции платежей ей от германского военного командования через «Банк Бремена». Услышанное от любовников она продавала за любую цену, какую могла получить. Вы вскоре сами сможете это прочесть. В газете Дрюмона. Надо думать, через пару дней.

— Чего вы хотите?

— Три миллиона фунтов стерлингов. В золоте. На депозите в Английском банке, перевод должен быть осуществлен немедленно. Если пожелаете, можете сделать заявление через Банк Франции о добрососедской взаимовыручке, о том, как Франция решила действовать, дабы гарантировать стабильность финансовых рынков. Говорите что хотите, чтобы извлечь из ситуации максимум прибыли. Но сумма должна быть переведена, не то дневники будут опубликованы.

— Вы просите невозможного.

— Отнюдь. Хватит одного слова управляющему Банку Франции в зале за той дверью.

— Не можете же вы думать, что я так пойду на попятную? Даже чтобы спасти собственную шкуру? Моя репутация...

— ...только упрочится. Вы сделаете гениальный ход. Упрочите международное положение Франции незначительным жестом и безо всяких затрат.

— Это нельзя сделать.

— Можно. Так каково ваше решение, министр? Осмеяние и возможное расследование по обвинению в коррупции или негромкая, но прочная репутация самого умелого министра финансов, какого только знала Республика?

— Мне нужно время подумать.

— У вас его нет. Вы пойдете в соседнюю комнату к вашим коллегам и согласитесь на сделку, которую они с таким тщанием выработали. Вы пойдете немедленно.

Он подсчитывал быстро, не в силах даже взглянуть на Элизабет, потом бросил на пол перчатки и шляпу и вышел из комнаты. Я подумал, что победил, но не был уверен. Да и не это в тот момент занимало мои мысли. Мне правда не было дела. Я хотел побить Стоуна, вот и все, показать, что я не менее умен, и одновременно отобрать у него то, чего хотел он. И мне было безразлично, как я этого добился.

Лицо Элизабет сделалось вдруг таким усталым, таким разбитым, она дрожала от того, что я натворил, но неспособная проявить никаких больше чувств. Она была в шоке от быстроты и легкости, с какими я разорвал в клочья и втоптал в пыль ее мир. Потому что я не помешкал, не постарался как-либо ее пощадить. Она была лишь орудием в переговорах, которым я воспользовался не раздумывая. Худший враг не предавал ее в такой мере. Она не могла даже посмотреть на меня, не могла поднять глаз, чтобы посмотреть на Стоуна, все еще стоявшего у камина.

Наконец она все-таки подняла голову, но обратилась не ко мне, а к Стоуну.

— Полагаю, вы захотите теперь уйти, мистер Стоун, — сказала она так тихо, что я едва ее расслышал. — Уверена, вы понимаете, что все, сказанное мистером Кортон, правда.

Стоун закрыл лицо руками и глубоко вздохнул. Меня для них больше не было в комнате. Я перестал существовать. Я встал. Ни один из них не заметил. Уже у двери я обернулся.

— И последнее...

— Уходите, мистер Корт, — устало сказал он. — Покиньте этот дом.

— Покину. Но мне нужно сказать еще кое-что. Мне очень жаль, Элизабет. Я сделал только то, что должен был. Но по меньшей мере я избавил тебя от Дреннана. Он мертв. Я верну дневники и отправлю их тебе непрочтенными.

Тут Стоун резко обернулся:

— Что?

— Это вас не касается, мистер Стоун.

— Думаю, касается. Вы сказали, Дреннан мертв?

Я озадаченно нахмурился.

— Вы его знали?

— Что случилось?

— Его застрелили сегодня днем.

Стоун побледнел.

— О Боже! Что вы наделали? Вы его убили?

— Не я, а русские. Это было частью сделки, которой вы так хотели. Частью цены. Это заставило их довериться мне настолько, чтобы выслушать. А что?

— Вы сказали, ваш слуга вас обокрал, — обратился он к Элизабет, не обращая внимания на меня. — Вы не сказали, что именно пропало. Я предположил, что это драгоценности. Я спросил Дреннана, не может ли он помочь, я много лет его знаю. Это должно было стать сюрпризом, показать вам...

Он посмотрел на меня в полнейшем неверии.

— Вы его убили? — повторил он.

— Просто старался сделать мир безопасным для бизнеса, — ответил я. — Этого ведь все хотели.

Я ушел, оставив последнюю часть недосказанной, то, почему Стоун словно бы испытал облегчение, когда я взялся за Рувье. Словно бы был рад, что ему не пришлось. Я не мог сложить из частей целое. Уверенности у меня нет по сей день. Кроме того, было три часа утра. Я устал. Возможно, мне только почудилось.

Действительно все было кончено. Рувье пришел к выводу, что маленький, но гарантированный триумф безопаснее большой победы, которая может быть вырвана у него из рук. Через три часа в газеты и агентства стали расходиться телеграммы, что Банк Франции и Государственный банк Российской империи в духе международной солидарности и ради стабильности на рынках согласились внести дополнительные золотые запасы в Английский банк. Это перевернуло ход событий; «Барингс» рухнул, и семейство практически разорилось, но довольно скоро снова всплыло в новом качестве, хотя лишь как тень былых себя. Рынки оправились от страшного переполоха и через месяц или около того вернулись к нормальным торгам. Репутация Сити понесла урон, престиж Франции и России возрос, но позиция Лондона осталась незыблема, и начали возникать зачатки взаимного понимания. Россия и Франция заключили секретный альянс, французские деньги потекли на укрепление российской экономики и армии. Лондонские банки зачастую даже не пытались вмешаться.

Джон Стоун приступил к работе. Строительство порта Николаев на Черном море вызвало лишь формальный и бесплодный протест Британии

— удивительное дело, учитывая, что обычно подобное послужило бы достаточным поводом для объявления войны. Это доказало, что вопреки расхожему мнению Россия далеко не столь отсталая страна, раз смогла мобилизовать ресурсы и технологии для разворачивания без помощи извне столь масштабного предприятия.

И весной 1891 года Джон Стоун обвенчался с графиней Элизабет Хадик-Баркоци фон Футах унс Сала в церкви Святого Освальда в Малпассе, Шропшир. Меня на свадьбу не пригласили. Хотя за прошедшие годы я их почти не видел, теперь, когда из-за смерти мистера Уилкинсона я наконец вернулся в Англию, мы со Стоуном неизбежно иногда сталкиваемся. Мы сухо вежливы.

Мы никогда не говорим о его жене.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Венеция, 1867 г.

Глава 1

Ни семья, ни образование, ни природные склонности не подготовили меня к жизни за счет промышленности или в промышленности. Я все еще знаю о ней удивительно мало, хотя мои компании владеют примерно сорока заводами и фабриками по всей Европе и Империи. Я не слишком представляю себе, как варится лучшая сталь, и столь же мало разбираюсь в механизмах подводных лодок. Мой дар — понимание человеческой природы и эволюции денег. Танец капитала, гармония бухгалтерского баланса и то, как эти абстракции взаимодействуют с людьми, их характерами и желаниями либо как индивидов, либо масс. Поймите, что одно — это одновременно и другое, что они — два разных способа выражения одного и того же, и вы постигнете природу бизнеса.

Пару месяцев назад я прочел книгу Карла Маркса о капитале. Элизабет дала мне ее с улыбкой. Странное ощущение, поскольку благоговение автора превосходит даже мое. Он первым понял сложность капитала и его тонкости. Его описания — это хвала влюбленного его возлюбленной, но, описав ее красоту и чувственность ее власти, он отворачивается от ее объятий и настаивает, что его любимую необходимо уничтожить. Он был способен ясно постичь природу капитала, но не собственный характер. Желание пронизывает каждую строку и абзац его книги, но он этого не видит.

Ну а я сдался, подчинился волнению, которое охватило меня, когда я увидел проблески редкостного процесса метаморфозы пищи в рабочую силу, в товары, в капитал. Это было как божественное видение, мгновение богоявления, тем более поразительное из-за своей внезапности. Это был странный процесс — преобразование сына младшего священника в бизнесмена — и заслуживает более подробного рассказа, хотя бы потому, что он включает события, сейчас совершенно неизвестные.

Меня считают скрытным человеком, хотя сам я себя таким не нахожу. Я не оберегаю свое личное с какой-либо необычайной ревностью, но не чувствую необходимости посвящать весь мир в мои дела. Только одно, имеющее важность, я утаил. Этот отчет, надеюсь, объяснит некоторые слагаемые моей жизни и может предоставить информацию, необходимую для выполнения некоторых условий моего завещания. Это памятка, и я изложу здесь все подробности, какие сумею вспомнить, пока буду продолжать поиски окончательного ответа.

Я пишу, сидя в своем кабинете на Сент-Джеймс-сквер, и кругом

тишина. Внизу моя Элизабет свернулась клубочком перед огнем и читает книгу, как обычно по вечерам, прежде, чем лечь спать. Я словно вижу, как она позевывает, а ее озаренное огнем лицо безупречно красиво и безмятежно. Потому что там никого нет, на ней ее очки для чтения. Услышав, что я спускаюсь по лестнице, она мигом снимает и прячет их; повинно ее тщеславие; я бы сказал ей, что для меня это ничего не значит, но необходимость пользоваться ими так ей досаждала, что я не хочу вторгаться в ее маленький секрет. В остальном она пребывает в безмятежном покое; его подарил ей я, и это лучшее и самое достойное, что я когда-либо сделал; дороже для меня всех заводов, фабрик и денег, когда-либо мной приобретенных за годы и годы. И я не допущу, чтобы он был нарушен. Но с тем, другим делом я должен покончить раз и навсегда; оно давно уже гложет меня, а я не настолько молод, чтобы позволять себе отсрочки. Я выясню правду и приму решение. Я не боюсь, что это может потревожить Элизабет, скорее всего история завершилась давным-давно. Я хочу знать, только и всего.

Я буду писать по мере продвижения моих расследований; я начал розыски, рано или поздно они принесут плоды. Я, мне жаль сказать, не привык не получать того, что я хочу. Отсюда моя репутация надменности, и, полагаю, она заслуженна. Но это необходимо. Смиранный бизнесмен столь же неуместен, как и надменный священник, и если от природы вы не наделены уверенностью в себе, то все равно должны выглядеть самоуверенным, или потерпите неудачу. Это качество едва ли когда-нибудь воспоют поэты, но, подобно всякому мраку внутри нас, такие черты, как стыд, виноватость, отчаяние, лицемерие, по-своему полезны.

Моя меланхолия глупа, я знаю. Вызвала ее смерть Уильяма Корта; ему становилось все хуже, и он попросил меня приехать повидать его, и я отправился в Дорсет, где он прожил последние сорок лет. Печальная встреча, но он смирился со своим концом, и без особой горечи. Жизнь была для него обузой, и он предвкушал избавление от нее. Он сообщил мне то, что считал должным, то, что его угнетало. Я что-то сказал и переменял тему как мог быстрее. Затем я выбросил услышанное из памяти. Но оно не исчезло. Эта мысль возвращалась ко мне, угнездилась в глубине моего сознания, выскакивала из засады в самые неподходящие минуты.

И когда я сидел с Томом Барингом, стараясь найти такую подстраховку, которая обезопасила бы мои компании от несчастных случаев, эта мысль вновь вторглась в мое сознание. Уместным унижением, подумал я, было использовать мою тревогу столь цинично. Это блокирует доступ к документам в такой мере, чтобы огромная дыра в финансах не открылась

держателям акций. Не стопроцентная гарантия, такой вообще не бывает, однако достаточная, чтобы изобретательный солиситер сумел запутать клубок на столько времени, на сколько потребуется.

Мои возлюбленные держатели акций перепугались бы и впали в панику, если бы все делалось открыто. Но ведь держатели акций — овцы, вот почему они вкладывают деньги в маленькие листы бумаги, а не во что-то реальное. Вот почему они визжат и стонут, если что-то не задается, но ни в коем случае не испробуют свое мужество в схватке с рынком. Вот почему они гордятся своей деловой проницательностью, если их бумажные листки повышаются в цене благодаря чужим трудам. Это величайшая неупоминаемая страсть всех бизнесменов: они могут воевать со своими рабочими, критиковать неумелые правительства, прилагать огромные усилия, чтобы банкротить и разорять конкурентов, но все они без исключения питают некоторое — пусть маленькое — уважение к вышеперечисленным. Однако держатели акций вызывают у них тошноту, и если бы они могли изыскать способ разорить их всех, они прибегли бы к нему с радостью и сладострастием. Управляющие открытых акционерных обществ подобны рабам не менее, чем рабочие, которых они, в свою очередь, нанимают. Они могут служить хорошо, быть заискивающими и добросовестными, но в глубине их сердец таится омерзение. Я ощущаю его в себе, и я вижу его в других. Я различаю его в Теодоре Ксантосе, когда им овладевают злость и алчность. Рано или поздно он померяется силами со мной. Я ожидаю этого уже годы и годы.

В данный момент я вложил все мое состояние в единственную экстраординарную операцию — в постройку военных кораблей, которые никто не заказывал, потому что правительству недостает смелости сказать правду, обезопасить народ, не желающий платить за них. По моим расчетам, они передумают, и я готов положиться на мое суждение. Если же нет, я могу погубить их всех. Это коррумпированные, алчные людишки, а их корыстная натура наделила меня властью подчинить их моей воле, если они попытаются мне воспрепятствовать. До чего волнующим становится бизнес, когда поднимается выше простого производства и устремляется к величию. Естественно, держатели акций перепугались бы, узнай они, что я предпринял, — впрочем, я давно уже пришел к убеждению, что людям, не готовым рисковать своими деньгами, не следует предоставлять возможность иметь их.

Итак, я защищу себя от держателей моих акций еще и с помощью этой докучной тревоги. Обращу ее себе на пользу. Пусть знает, кто хозяин. Я посетил Гендерсона, распорядился вставить в мое завещание фразу:

«250 000 фунтов моему ребенку, которого прежде не признавал своим...». Сумму необходимо было назначить большую, чтобы она воздействовала на все остальные статьи завещания, сделала бы невозможным кому-либо вступить в права наследства. Не признавал, потому что он никогда не существовал.

Я не упомянул об этом даже Элизабет, которой рассказываю почти все, так как не видел необходимости. Умереть? Мне это не представлялось хотя бы отдаленной возможностью. Это было для других. Даже свидание с Кортом в последние его дни не заставило меня подумать, что рано или поздно я стану таким же, как он. Глядя на него в постели, такого исхудалого и слабого, еле способного говорить, я испытывал только абстрактный интерес. Сочувствие, немного грусти, но уподобить себя ему в его беде? Нет. Со временем нужда во вставке отпадет, завещание будет переписано, и вопрос исчерпается.

Однако записав эти слова, я не сделался хозяином над той мыслью.

Наоборот, я обнаружил, что вдохнул в нее жизнь. Она преследовала меня даже еще сильнее. Вернулись старые воспоминания, перемешанные, нечеткие, некоторые слишком реальные, другие, несомненно, плод воображения. Это отвлекало меня, а я не терплю отвлечений. Я никогда не сидел сложа руки, ожидая, что проблема разрешится сама собой. Я разослал инструкции, взялся за розыски и начал набрасывать эти заметки, чтобы привести в порядок прошлое, отсортировать то, что было реальным, от того, что им не было.

Источник моей озабоченности крылся в Венеции — таком городе в Европе, который тогда и теперь менее остальных как-либо интересовался индустрией и коммерцией в любых их проявлениях вопреки тому факту, что его богатство строилось на торговле точно так же, как его здания опираются на деревянные сваи, глубоко вбитые в илистое дно лагуны. Подобно знатному английскому семейству, для которого наступили тяжелые времена, она повернулась спиной к коммерции, предпочитая аристократичное угасание энергичному возрождению своих богатств. В то время, когда я посетил ее, я прямо-таки восхищался старой дамой (если город можно так описать, Венеция на исходе 1860-х годов заслуживала такой титул) за ее отказ пойти на компромисс с современным миром.

Я был там с туристической экскурсией — мои первые и единственные каникулы до тех пор, пока Элизабет не начала свои тщетные попытки приобщить меня к удовольствиям безделья. Примерно за год до этого мне выпала удача: мой дядя умер бездетным и неженатым, и лишь бы не оставлять свое скромное состояние моему отцу, которого он глубоко

презирал, завещал его мне. Бесспорно, это указывало на желание с его стороны посеять раздор в нашей семье, поскольку мой отец жил только на маленькую ренту, а существование моих сестер он вообще проигнорировал. Ни пенни им, и вся сумма в 4426 фунтов — мне, со строжайшим условием, что я никоим образом не раздам, отдам или иначе отделию какую-либо часть указанной суммы в пользу кого-то из членов моей семьи. Гнусность с его стороны, и будь мой отец менее кротким, дядюшка Тобиас мог бы преуспеть и положить начало семейной вендетте. Обретение денег таким манером не доставило мне никакой радости, а потому я решил потратить их таким способом, который заставит старикана вертеться в могиле, скрипя зубами от ярости.

Почему он так люто презирал моего отца? Эта история подобно многим семейным ссорам уходила далеко в прошлое. Мой отец женился недостойно. Недостойно до скандала, собственно говоря, поскольку он выбрал жену без рода и племени и без богатства. Хуже того, она была дочерью семьи, которая прибыла на эти берега откуда-то из Испании всего лишь несколько десятилетий назад, а сама — так даже родилась в Аргентине. Она была (на мой взгляд) сказочно и экзотически красива и (на взгляд дядюшки Тобиаса) абсолютно неприемлема. Откуда он взял это, я не знаю, ведь они ни разу не встретились. Он остерегался оказаться даже поблизости от нее. А жаль, поскольку (хоть он и был старым мерзавцем) он бы не устоял перед ее очарованием.

Но англичанкой она не была вне всяких сомнений и до конца жизни говорила с заметным иностранным акцентом — хотя настолько смешанным, что невозможно было определить, с каким именно. Это делало ее еще более обаятельной для тех, кому она нравилась, и тем более отталкивающей для тех, кому она не нравилась. Я прекрасно сознаю, что воспоминания о ней предрасположили меня к Элизабет, едва мы только познакомились.

Кроме того, она передала мне тенденцию быть не таким, как другие. Я никогда не ощущал себя принадлежащим моей стране, как ни сильно я ее люблю. Полагаю, в ответ я бы мог стать образцом общепринятости, но искра пламенного вызова матери передалась сыну, и я сделался прямой противоположностью. В моей жизни я шел своим собственным путем, куда бы он ни вел. И таким образом оказался способен видеть шансы, которых другие даже не замечали.

Получив деньги дядюшки Тобиаса, я осознал, что обычный выбор занятий, доступных молодому человеку со скромным достатком, мне заказан.

Вино, женщины, азартные игры отпадали, так как дядюшка Тобиас в молодости промотал на них куда большее состояние и безоговорочно одобрил бы такое мое распутство. Это означало бы триумф его части семьи. О пожертвовании денег на достойную благотворительность речи тоже быть не могло, так как, хотя он не терпел кроткое христианство моего отца, сам он был неколебимым тори, приверженцем высокой Церкви, и заявил бы, что по крайней мере его деньги ушли на то, чтобы удерживать низшие классы на положенном им месте.

И вот однажды в Лондоне за ленчем с кем-то из знакомых я нашел идеальное решение. Если дядюшка Тобиас ненавидел кого-либо более жгуче, чем простых людей, то тех, кто занимался коммерцией. Торговцы, промышленники, фабриканты, банкиры, выскочки нового порядка, евреи с их настырностью и богатством, от которого дух захватывало, губящие страну своей пышной вульгарностью, своим пренебрежением ко всему respectable, приличному и упорядоченному. А теперь заграбаставшие еще и политику страны, и не только через деньги. Поражение, которое он претерпел на выборах 1862 года от лейбориста-фабриканта (пусть всего лишь перчаток), окончательно его доконало. Англия погублена, все, что было благого в стране, уничтожено; нет смысла продолжать.

Шесть месяцев спустя он скончался в разгар половых сношений с горничной на бильярдном столе в возрасте семидесяти девяти лет, и выяснилось, что его состояние после уплаты долгов куда меньше, чем кто-либо предвидел, и что я — единственный бенефициар.

После некоторых раздумий я отдал все его деньги как раз одному из этих выскочек, чтобы они могли продолжать и дальше обречать Англию дядюшки Тобиаса на муки и гибель. Вкратце, очень рискованное и абсолютно безнадежное вторжение в имперское горное дело, которым управлял знакомый семьи моей матери, не только еврей, но и с репутацией очень и очень сомнительной честности. Эта расхожая оценка была лишь частично верной. Джозеф Кардано (которого я успел хорошо узнать за четверть века до его смерти в 1894 году) действительно был евреем, но, кроме того, пожалуй, самым честным человеком из всех, кого мне довелось знать. Однако знай я тогда про его репутацию, то никогда бы не доверил ему денежки дядюшки Тобиаса.

В тот момент я считал, что деньги в надежных руках, и вернулся к своей жизни, какой она была прежде. Затем в начале 1867 года я получил письмо от мистера Кардано с сообщением о некоем важном изменении, касающемся моего капиталовложения. Оно в буквальном смысле оказалось

золотым, и наследство дядюшки Тобиаса приумножилось во много раз. Собственно говоря, я теперь был довольно богат, а поскольку большая часть моих денег была заработана (в известном смысле) мною самим, я счел себя вправе вручить сумму, равную наследству, моим родителям и моим сестрам, таким образом понудив, я надеюсь, смертные останки дядюшки Тобиаса совершить еще несколько оборотов в гробу.

Тем временем я обратил свои мысли к распутству, но убедился, что оно не очень мне подходит. Родители слишком хорошо меня воспитали, к тому же мой ум для этого не предназначен. Я обнаружил, что жизнь, посвященная легкомысленным поискам удовольствий, невыносимо скучна. Я снова посетил Джозефа Кардано, на этот раз, чтобы поместить мои деньги наивыгоднейшим, но безопаснейшим образом, и приготовился покинуть Англию и совершить экскурсию по Континенту в надежде, что она подскажет, как заполнить мои дни наиболее подходящим мне образом.

На этом этапе я — с его помощью и часто у него в конторе — посвятил много времени изучению денег и их безграничного разнообразия. Начал я с «Таймс», но ежедневные сообщения о биржевых курсах и процентных ставках меня не слишком увлекли. А потому я стал чем-то вроде подмастерья мистера Кардано и в его обществе открыл великий секрет, что приумножать деньги поразительно легко, если иметь для начала некоторую их толику. Наиболее трудны первые пять тысяч, вторые поменьше и так далее. Поскольку дядюшка Тобиас избавил меня от самого трудного этапа, ничто уже не могло стать мне преградой. Единственным, чего я так никогда и не сумел понять, оставался вопрос, почему другие настолько слепы, что не видят этого очевидного факта. Хотя, полагаю, мне следует быть благодарным их слепоте.

В целом я твердо держался заключения, к которому пришел тогда. Биржа — всего лишь хитроумное средство, чтобы богатые извлекали деньги из менее богатых. Преуспевают не те, кто продает и покупает акции: богатеют те, кто втискивается между этими двумя сторонами. Едва я осознал это и (наставляемый мистером Кардано) постиг поэзию образования капитала, выпуска акций и учреждения компаний, умения сделать так, чтобы капитал находился в двух, трех или четырех местах одновременно и все прибыли доставались бы тебе, а все убытки кому-то другому, — лишь тогда во мне пробудился интерес. Тем не менее я находил все это слишком абстрактным. Накапливать деньги никогда не было моим желанием: обладание я нахожу скучным делом. Нет, моим желанием было сотворить что-то из этого. В Англии коммерция делится строго на три части: мир денег, мир промышленности и мир торговли. Еще

рядом с мистером Кардано я начал прикидывать, как можно создать колоссальные состояния, слив эти три мира воедино.

Мне следует также упомянуть, что на том этапе я был женат. Моя жена была хорошей и доброй женщиной. Мы не любили друг друга ни тогда, ни прежде, но она исполняла свой долг, а я — свой, и я твердо придерживался убеждения, что ничего больше не требуется. Могу сказать, что ничем не причинял ей вреда, и потому, будь я строго рационален, сказал бы, что мое поведение не вызвало бы осуждения ни у кого, кроме религиозного моралиста. Однако я сознаю, что религиозный моралист может собрать доказательства своей правоты, и я соглашаюсь, что мое поведение оставляло желать лучшего.

Мы поженились, когда мне было двадцать, а ей восемнадцать: она умерла шесть лет спустя от пневмонии, вскоре после моего возвращения из путешествий. Не могу даже припомнить, почему я выбрал ее, разве что счел нужным поступить так. Моя мать не одобрила мой выбор, хотя не сказала этого. Возможно, ей претило, что я взял жену столь противоположную ей по натуре — тихую, кроткую, вежливую, заботливую, послушную. Вот Элизабет она бы одобрила, если бы им довелось встретиться. Но я-то считал, что Мэри была именно такой, какой должна быть жена. Да она и была такой, но, увы, она не была всем тем, чем может быть женщина. Очень скоро я обнаружил, что мне не о чем с ней говорить, и не находил ничего интересного в том, что говорила она. Впрочем, я ничего иного не ожидал, но не думаю, что я когда-либо дал ей это понять. Я больше времени проводил с приятелями, чем дома. Я вел две жизни, и мой дом для меня был практически лишь местом ночлега. Моя жена принимала это и не была недовольна.

Она не захотела сопровождать меня, когда я решил попутешествовать по Европе. Мысль о том, чтобы покинуть дом, Лондон, Англию, пугала ее. Она умоляла меня никуда не ездить, а когда увидела мое неудовольствие, начала упрашивать меня поехать одному. Как я в конце концов и поступил, хотя убеждая ее, сколько радостей и удовольствий ожидают нас, если мы поедем вместе. Я был вполне искренен. Не думаю, что ей не хватало меня хоть сколько-нибудь. Бесспорно, распорядок ее дня несколько нарушился, но мое место в нем было столь небольшим, что она без труда приспособилась.

В течение восьми месяцев моего отсутствия мы каждые две недели обменивались письмами, и ни я, ни она не писали ничего, кроме обязательных, приличных случаю и вежливых слов. Мы превосходно ладили, и я считал свой брак счастливым.

Глава 2

Я оказался не слишком хорошим туристом. Путешествие в одиночестве я нашел утомительно скучным, а когда одиночество скрашивают только статуя за статуей, картина за картиной, радость созерцания великих шедевров человеческого духа очень быстро сходит на нет. Я никогда не был анахоретом, нуждающимся только в обществе мистера Бедекера. Хотя, чтобы ощущать себя живым, мне не требуется быть окруженным людьми, я все же нуждаюсь в разговорах и некоторых отвлечениях. Иначе все слишком уподобляется штудированию, удовольствие становится обязанностью, и — посмею ли сказать это? — одна церковь начинает выглядеть как предыдущая. Таким манером я проехал по одному краю Италии, а затем назад по противоположному, на поездах, когда было возможно, и в конных экипажах, когда выбора не было. И получал удовольствие, хотя мои воспоминания не касаются великих, окруженных стенами городов или акров полотен, которые я осматривал, брал на заметку и зарисовывал в те краткие месяцы. Я не могу припомнить хотя бы одну картину, хотя прекрасно помню, как тогда изо всех сил тщился, чтобы они произвели на меня глубокое впечатление.

Венеция была иной, в немалой степени потому, что я познакомился там с Уильямом Кортон, чья печальная жизнь с тех пор временами пересекалась с моей. Я приехал из Флоренции на одном из мерзких поездов, которые прибывают перед зарей. Ночью я почти не спал, но ложиться спать было уже поздно, тем более что мне абсолютно расхотелось спать к тому времени, когда мой чемодан был обретен, погружен в лодку и отправлен в отель «Европа», где я заказал номер. Следует сказать, что на том этапе Венеция не произвела на меня почти никакого впечатления главным образом из-за погоды (необычно для сентября), пасмурной и унылой. В ней имелись каналы. Очень хорошо — я про них слышал, в Бирмингеме тоже есть каналы. Положенных изумления и потрясения я не ощутил. Единственное, чего я хотел, — это найти, где бы позавтракать. Венеция (во всяком случае, была тогда) очень бедна такими местами. Недавно завершилась австрийская ее оккупация, и город наконец стал частью новой Италии. В воздухе, без сомнения, веяло надеждой на новую зарю, однако следы более чем вековой оккупации оставались явными. Это было занудное место, и тлеющие остатки прошлых озлоблений все еще давали о себе знать. Многие привечали австрийцев и теперь подвергались остракизму; другие слишком сблизались с

революционерами и пострадали за это. Общество было расколото, многие из лучших покинули город, другие обнищали. Торговля зачахла, легендарные богатства прошлого стали лишь воспоминанием. Таким оказалось место, куда я приехал по долгу туриста, думая больше об образах Каналетто, чем о современной реальности.

Я пошел совершенно не в том направлении и не задержался ни у одной из немногих едален, на какие наткнулся, слишком ошалелый, чтобы сделать выбор и войти. Так я и брел, поворачивая то туда, то сюда, но ни лавчонки, или кофейни, или ресторана, или таверны теперь видно не было. Как и редких прохожих. Будто я был в призрачном городе.

В конце концов я обогнул какой-то угол и на небольшой, но красивой площади мне предстало непонятное зрелище. У старой деревянной двери высотой около двадцати футов в древней заросшей плющом стене я увидел молодого человека, одетого в хороший темный костюм и со шляпой в руке. Он ритмично и довольно крепко бился головой об эту дверь; иногда он добавлял почти музыкальный звук стакатто, хлопая вдобавок по ней ладонью. Одновременно я услышал срывающееся с его губ заклинание, в котором узнал такое знакомое английское чертыхание.

Англичанин!

Я остановился и поглядел на него издали, пытаюсь найти разумное объяснение его поведению, отбросив предположение о сбежавшем умалишенном как одновременно и слишком простое, и недостаточно интересное.

Немного погодя, когда он обрел подобие душевного равновесия и всего лишь прижимал голову к двери и тяжело дышал, израсходовав весь пыл, я рискнул заговорить.

— С вами что-то случилось? Не могу ли я помочь?

Он посмотрел на меня, все еще упираясь головой в деревянную панель.

— А вы водопроводчик? — спросил он.

— Нет.

— Каменщик?

— Увы!

— Вы хоть что-нибудь понимаете в плотницком деле или укладке кирпичей?

— Все эти занятия обошли меня стороной. Только подумать, что в школе я попусту тратил время на Вергилия, когда мог бы готовиться к занятию выгодным ремеслом.

— Ну, так для меня вы бесполезны. — Он вздохнул еще раз, повернулся, соскользнул по двери на землю, чтобы замереть в безутешной

позе. Затем он поднял голову.

— Строительные рабочие не явились, — сказал он. — В который раз. Мы отстаем на два месяца от плана. Приближается осень, крыша рухнет. Они невыносимы. Это кошмар. Время — понятие, которое они попросту не признают.

— Это ваш дом?

— Палаццо. И нет, он не мой. Я архитектор. Своего рода. Я надзираю за реставрацией. У меня был выбор. Это или постройка тюрьмы в Сэндерленде. Я думал, тут будет куда интереснее. Ошибка, ошибка и опять-таки ошибка. Вы когда-нибудь думали о самоубийстве?

Разговорчивый тип. Но я предпочел бы, чтобы он не сидел на земле. У меня не было желания присоединиться к нему в грязи, а разговаривать сверху вниз с его макушкой было неловко. У него были светлые рыжеватые волосы, уже заметно редящие на этой макушке. Малорослый, щуплый, но с ловкими движениями и по-своему симпатичный, с широким ртом и мягкой, приятной улыбкой.

— И давно вы ждете?

— С час. Не знаю, почему я вообще торчу здесь. Сегодня они не явятся. С тем же успехом я могу вернуться домой.

— Если бы вы указали мне, где тут можно поесть, я был бы рад угостить вас завтраком, чтобы вы подкрепились.

Он мгновенно вскочил и протянул мне руку.

— Мой дорогой, беру назад слова, будто вы для меня бесполезны. Идемте, идемте. Да, кстати, Уильям Корт мое имя. Называйте меня Уильямом. Называйте меня Кортом. Называйте меня как хотите.

И он метнулся влево по темному проулку, в его конце вправо через маленькую площадь, двигаясь с быстротой хорька. Я едва успел назваться, как он снова заговорил.

— Беда в том, что я застрял здесь, пока работы не завершатся, а при таких темпах я вполне могу умереть от старости, прежде чем снова увижу Англию. По-моему, они понятия не имели, в каком состоянии дом, когда его покупали.

— Они? — спросил я, слегка запыхавшись от усилия держаться наравне с ним.

— Олбермарли. Вы знаете? «Олбермарл и Кромби»?

Я кивнул. Спроси он меня, я мог бы назвать ему величину капитала этого банка, имена и связи всех директоров. Он не был серьезным соперником Ротшильда или Барингов, однако имел репутацию надежного, солидного семейного банка старомодного типа. Абсолютно

незаслуженную, как оказалось. Он прекратил платежи в восемьдесят втором, и семья полностью разорилась.

— Купили, даже не осмотрев, и отправили меня сделать то, что потребуется. Только Богу известно, зачем он им понадобился. Но клиент всегда прав. Мой дядя хотел бы построить их загородный дом, понимаете, а потому не мог раздражить их, объяснив, что эта работа не для нас. К тому же ее сочли полезной для меня. Мое первое соло. Вполне достаточно, чтобы я принял духовный сан.

— Я бы этого не порекомендовал, — ответил я. — По-моему, для него требуется больше терпения, чем вы проявляли до сих пор.

— Возможно. Но не важно в любом случае. Я умру тут, я знаю это.

— Так, значит, вы неизлечимый оптимист, а не просто архитектор. Но полагаю, это одно и то же.

Он не ответил, а свернул в негостеприимную промозгло сырую дверь, которую я никак не считал бы входом в едальню. Внутри — ровно два стола, одна скамья и ни единого человека.

— Элегантно, — высказал я мнение.

Он улыбнулся.

— И несравненно лучшее место во всем квартале, — сказал он. — Насколько я понимаю, вы тут недавно.

— Несколько часов.

— Ну, значит, скоро вы убедитесь, что великолепие города прячет полную деградацию его жителей. Ресторанов немного, а имеющиеся — очень скверные и безобразно дорогие. Вино обычно мало отличается от уксуса, официанты ленивы, а блюда непомерно дороги и неаппетитны. Иногда я просто изнываю по куску хорошего ростбифа.

— Венеция, видимо, завоевала местечко в вашем сердце.

Он засмеялся.

— Да. То есть я могу часами жаловаться на нее, с беспощадными подробностями перечислять ее недостатки, без конца ворчать на все тяготы жизни здесь, но, как вы заметили, я полюбил этот город.

— За что?

— А! Ему присуща магия! — В его глазах заблестели смешливые искорки. — Вот и все, что я могу сказать. Думаю, это как-то связано со светом. Его вы еще не видели, а потому нет смысла пытаться вас убеждать. Вскоре — завтра, когда погода улучшится, может быть, сегодня вечером — вы сами увидите.

— Не исключено. Ну, а пока мне хотелось бы позавтракать.

— Ах да! Посмотрю, что я сумею устроить. — И он исчез в заднем

помещении, откуда через несколько минут донеслись лязг кастрюль и крики.

— Все в порядке, — весело сказал он, вернувшись. — Но у них не было ни малейшей охоты обслуживать нас. Приходится их упрашивать. К счастью, я часто сюда захожу, как и строительные рабочие. Когда соблаговолит явиться.

Упоминание о них опять ввергло его в меланхолию.

— И часто они так поступают с вами? — спросил я.

— О Господи, да! Вечером я встречаюсь с десятником, и, глядя мне в глаза, он клянется, что утром они все будут на месте ровно в восемь. Мы пожимаем друг другу руки, и до следующей недели я никого из них не увижу. А когда я жалуясь, ответом обычно служит изумление, да как я мог ждать, чтобы кто-нибудь пришел в День святой Сильвии, или утром перед регатой, или еще чего-нибудь вроде. Через некоторое время свыкаешься.

— Нынче утром вы не выглядели таким уж свекшимся.

— Да, но нынче особый случай, потому что дом сейчас без крыши, а я жду инженера, который даст консультацию по укреплению стен. Это одна из областей, в которой, боюсь, я не силен. Я умею проектировать здания. Но причины, почему они не падают, превосходят мое понимание.

Принесли кофе и хлеб, равно серые и неаппетитные. Я посмотрел на них с сомнением.

— Венеция не входит в число великих кулинарных столиц, — заметил мистер Корт, с энтузиазмом макая хлеб в чашку. — Найти приличную еду возможно, но вам придется долго искать и заплатить очень дорого. Предположительно тут имеется и свежий хлеб, но они пока еще не такого высокого мнения обо мне, чтобы отрезать ломоть для меня. Приберегают его для своих.

Он проглотил кусок хлеба, затем махнул рукой.

— Достаточно. А что здесь делаете вы? Проездом? Или поживете?

— Никаких планов у меня нет, — сказал я весело. — Еду куда глаза глядят.

— Счастливчик!

— То есть пока. Я думал остаться здесь по меньшей мере на несколько недель. Но не могу сказать, что с вашей подачи город выглядит хоть сколько-нибудь заманчивым. Десять минут с вами, и любой разумный человек упакует чемоданы и поспешит на вокзал.

Он засмеялся.

— Вы убедитесь, что мы предпочитаем приберегать его для себя.

— Мы?

— Сброд бездельников, перекаати-поле и искателей приключений, которых выбрасывает сюда прибой. Они — те немногие иностранцы в Венеции. Железная дорога и конец оккупации начинают менять положение. Но поскольку мест, где могут остановиться приезжие, мало, существует предел числу, сколько их вообще может наехать.

Интересное наблюдение, которое я убрал в глубину памяти на будущее. Бродя по улицам в следующие недели, я убедился, что Корт был прав. Колоссальный рынок для гостиниц, которые обеспечат приезжим защиту от мерзостей венецианской жизни. Французы, я знал, ушли далеко вперед в этой области, настроив гигантские дворцы посреди городов, предлагающие всевозможную роскошь путешественникам, готовым хорошо платить, лишь бы избежать подлинного соприкосновения с местами, которые они посещают. Питаемый железными дорогами, дирижируемый Томасом Куком, любой отель, расположенный в конце линии к заманчивому месту назначения, никак не мог не преуспеть.

Даже на этом этапе я отверг идею заключить коммерческий союз с мистером Кортом в той или иной области. Я рано убедился, что испытывать симпатию к кому-то, доверять кому-то и использовать кого-то — три абсолютно разные вещи. Мистер Корт твердо принадлежал к первой категории. Я всегда имел тенденцию выбирать людей из самых разных мест. Мое суждение и мое состояние суть одно. Быть симпатичным и быть полезным — качества вполне совместимые, но они не идентичны.

Корт был приятным человеком, умным и забавным. К тому же честным и порядочным. Однако назначить его на ответственную должность было бы глупо. Он был слишком склонен отчаиваться, слишком легко терял присутствие духа. Он не умел справиться даже с десятком нерадивых работников. Он питал некоторое желание преуспеть, но оно не горело в нем настолько жарко, чтобы ради достижения успеха он был бы готов совладать со своим характером. Он куда больше желал покоя. Увы, он не обрел ни того ни другого.

Тем не менее мы провели вместе приятные полчаса, и его общество я нашел очень привлекательным. Он был превосходным рассказчиком и кладезем всевозможных сведений о Венеции. Настолько, что я пригласил его пообедать вечером — приглашение, которое он принял, но затем вспомнил, что это была среда.

— Среда?

— Дотторе Мараньони дома в кафе.

— Дома в кафе?

Он засмеялся.

— Венецианцы редко принимают гостей дома. За шесть месяцев я практически ни разу не переступал порог жилого венецианского дома. Когда они устраивают прием, то обычно в общественных местах. Сегодня приемный день Мараньони. А почему бы и вам не пойти? Я с радостью представлю вас моему ограниченному кругу знакомых, каков он ни есть.

Я согласился, а Корт виновато взглянул на часы.

— Господи, я опоздаю! — воскликнул он, спрыгивая со скамьи. — Макинтайр будет в ярости. Пойдемте, познакомьтесь с ним. Думаю, вы друг друга возненавидите с первого взгляда.

Он крикнул «всего хорошего» сквозь дверь, нахлобучил шляпу и рванулся прочь. Я последовал за ним, говоря:

— Но почему он мне не понравится? Или я ему? В нормальных обстоятельствах я считаю себя вполне сносным.

— Вы существо из плоти и крови, — ответил Корт. — А потому омерзительны. Будь вы сделаны из стали, будь вы чем-то, что можно довести до совершенства на токарном станке, поддавайся ваши движения измерениям с точностью до одной тысячной дюйма, тогда Макинтайр мог бы вас одобрить. А без этого, боюсь, нет. Он ненавидит все человечество, за исключением своей дочки, которую он создал сам из пушечного металла и шарикоподшипников.

— И тем не менее он помогает вам?

— Только потому, что есть требующая решения проблема. Предложил он, я бы никогда сам не попросил, хотя он единственный из всех, кого я знаю здесь, кто способен помочь. О Господи, он уже там.

Мы как раз повернули за угол в улочку со входом в палаццо, и перед тяжелыми деревянными дверями, которые примерно сорок пять минут назад обмолачивала отчаявшаяся голова Корта, стоял мужчина со свирепо нахмуренным багровым лицом.

Бесспорно, «дружелюбный» было не тем словом, которое приходило на ум. Он стоял, широко расставив ноги, тяжелые сапоги вдавливались в грязь, будто древесные стволы. Неимоверно широкие плечи — настолько, что он еле умещался в своем костюме. Руки глубоко засунуты в карманы. Он в злобной досаде топнул ногой и забарабанил кулаками в дверь. И тут увидел нас.

— Корт! Откройте дверь! По-вашему, мне сегодня больше нечем заняться?

Корт, пока мы подходили, нервно задышал.

— Так любезно с вашей стороны прийти сюда, — продолжал Макинтайр ядовито. — Так мило устроить для меня это утреннее

развлечение. Заполнить часы моего ничегонеделанья.

— Простите, простите, — бормотал Корт. — Видите ли, рабочие опять не пришли.

— И это моя вина?

— Нет. Простите. Могу ли я представить вам мистера Стоуна? Я только что познакомился с ним.

Я протянул руку, Макинтайр проигнорировал ее, удостоил меня небрежного кивка и продолжал добивать бедного, совсем поникшего Корта.

— На сегодня утром я наметил важный опыт. И отложил его, чтобы помочь вам. По-моему, наименьшее, что вы могли бы сделать...

— Прекратите жаловаться, — внезапно вмешался я, — не то и остальное утро пропадет для вас впустую.

Очень грубо с моей стороны, но и вполнину не так оскорбительно, как поведение Макинтайра. Я прикинул, что ему попросту нравится тиранить людей, когда он в скверном настроении, и что отвечать ему грубостью на грубость будет в подобной ситуации лучшим выходом. Бедный Корт был слишком запуган, чтобы защищаться. Его выбор, но я не видел, с какой стати я должен это терпеть.

Поток красноречия Макинтайра мгновенно иссяк. Его рот захлопнулся, и он обратил взгляд (поразительные голубые глаза, заметил я, ясные и большие) на меня. Наступила тяжелая пауза, а затем он издал громкое «пфа!» и сунул руки назад в карманы.

— Ладно, — пробурчал он. — Пошли!

Все в нем указывало на сильного человека с несгибаемым характером. Бесспорно, он был неотесан, но Англии с избытком хватает благовоспитанных и учтивых. Макинтайр был человеком, в чьих руках дело спорится, а найти таких куда труднее. Он не тратил время на лесть или на маскировку неловкости умелой фразой. Человек, которого лучше избегать на раутах, но бесценный в сражении... или на заводе. Корт тем временем выудил из кармана массивный ключ и отпер огромную старинную дверь, которую отворил, навалившись на нее всем телом. Она поддалась со скрежетом, будто крик мертвеца в муках ада. Макинтайр и я вошли следом за ним.

На манер многих венецианских палаццо (как я убедился позднее) проход вел во внутренний дворик, предназначенный для домашних дел. Другой фасад, выходивший на рио ди Каннареджо, обладал положенным архитектурным великолепием, предназначенным впечатлять прохожих. Как он выглядел, я еще не знал, но из дворика смотрелся ужасающе.

Только-только можно было различить, что перед тобой здание, но после того, как в него попало несколько пушечных снарядов. Повсюду кругом — обломки, груды кирпича и камней, куски бревен. К стенам пристроены шаткие деревянные леса, предположительно чтобы обеспечить доступ рабочим, но вряд ли способные выдержать вес более двух человек одновременно. С кучи бревен на нас подозрительно уставились десяток кошек, единственные признаки живой жизни.

Корт поглядел на этот хаос скорбно, я — с изумлением. Макинтайр не уделил ему и йоты внимания. Он направился напрямик к лесам, прихватил по дороге приставную лестницу и начал взбираться. Корт неохотно следовал за ним, а я смотрел снизу.

Макинтайр был поразительно ловок и бесстрашен: на высоте примерно шестидесяти — семидесяти футов перепрыгивал разрушенную кладку, иногда нагибаясь или отшвыривая ногой обломки кирпичей, каскадом слетавшие вниз. Я уже собрался взобраться к ним, но тут он спустился на твердую землю, выглядя лишь чуть-чуть менее нахмуренным, чем раньше. Корт последовал за ним, куда опасливее.

— Ну? — спросил он.

— Снесите все.

— Что?

— Все целиком. Сровняйте с землей. И стройте заново. В жизни не видел такой рухляди. Удивительно, как оно еще стоит.

Корт встревожился.

— Меня пригласили реставрировать его, а не сносить, — сказал он. — Владельцы приобрели палаццо шестнадцатого века, и вот что они рассчитывают получить, когда я закончу.

— Значит, они идиоты.

— Возможно. Но клиент всегда прав.

Макинтайр презрительно фыркнул.

— Клиент никогда не бывает прав. Игнорируйте их. Дайте им то, в чем они нуждаются, что бы там они себе ни воображали.

— Никто не нуждается в венецианском палаццо, — сказал Корт раздраженно. — И когда я буду тверже стоять на ногах, возможно, я последую вашему совету. А пока у меня всего один клиент, и мне никак нельзя его потерять, снеся его дом.

— Ну, так подождите. Он все равно рухнет. Или, если предпочтете, я могу вернуться вечером. — Он умолк и внимательно оглядел руину. — Один небольшой заряд вон в том углу, где смыкаются две несущие стены, — он указал, — и к утру вообще ничего не останется. И тогда вы

сможете показать, какой вы архитектор.

Корт побелел при одной только мысли, затем внимательно посмотрел на него.

— Я не догадывался, что у вас есть чувство юмора.

— Его и нет. Это просто наиболее разумный выход, — буркнул Макинтайр, словно оскорбленный намеком, будто он способен шутить. — Но если вы решили тратить зря деньги ваших клиентов...

— Твердо решил.

— В таком случае вам необходимы каркасные крепления. Три на шесть будет достаточно. Дюймов, имею я в виду. Сужающиеся два с половиной на четыре для верхних этажей. Возможно, меньше. Мне надо сделать расчеты. Если надстроить заднюю и боковые стены для укрепления здания, вес крыши примет внутренний каркас, а не сами стены, слишком слабые, чтобы поддерживать ее. Вам придется устанавливать крепления и книзу, чтобы облегчить вес на уровне фундамента...

Он помолчал и задумался.

— Полагаю, фундамент имеется.

Корт покачал головой.

— Сомневаюсь, — ответил он. — Большинство этих зданий стоят на деревянных сваях и жидкой грязи. Вот почему стены такие тонкие. Будь они тяжелее, то утонули бы.

Макинтайр плотно сжал губы и, покачиваясь, задумался. Он явно испытывал немалое удовольствие.

— В таком случае некоторые вам придется утопить, но под углом, чтобы они приняли вес креплений и крыши, рассредоточив его ровнее. Иначе вы просто опрокинете стены. Понимаете, вам требуется внутренний крепежный каркас, так чтобы стены были всего лишь завесами, прячущими подлинное сооружение.

— Но будет ли он достаточно крепок?

— Конечно, будет. На надежном крепежном каркасе я мог бы сбалансировать броненосец.

— Этого не понадобится.

Макинтайр снова что-то буркнул и начал следовать собственному ходу мыслей, иногда бормоча какие-то слова, потом, выхватив из кармана блокнот, принялся строчить иероглифы.

— Поглядите! — сказал он, сунув блокнот под нос Карту. — Что скажете?

Архитектор внимательно вперился в листок, силясь понять, что предлагает пожилой инженер. Затем его лицо прояснилось, и он

улыбнулся.

— Очень умно, — сказал он. — Вы хотите, чтобы я построил еще одно здание внутри существующего.

— Вот именно. Легкое, надежное и в пятьдесят раз более крепкое. Вам не придется сносить старое, но вы должны построить новое. Наилучший выход из положения.

— Расходы?

— Железо недорого даже здесь. Соттени в Местре его поставят. Но постройка обойдется недешево. И вы не можете полагаться на ваших нынешних придурков. Лучше избавьтесь от них и подберите новую команду. Опять-таки, я могу тут кое-кого посоветовать, если хотите.

Лицо Корта преисполнилось безграничной благодарностью. Макинтайр притворился, будто ничего не заметил.

— Подумал, что стоит предложить. В том-то и беда архитекторов. Знают всю подноготную готических окон и ничегошеньки про нагрузки на стены. Дальше некуда! Всего вам хорошего.

И он зашагал прочь, не откликаясь на наши слова прощания.

— Господи, — сказал я, — прямо-таки стихийная сила.

Корт не слушал. Он глядел то на ветхие стены, то на лист с заметками, который Макинтайр сунул ему перед уходом. Туда-сюда метались его глаза, прищуренные от прикидок.

— Очень умно, — сказал он. — Нет, правда, очень умно. Дешевле, надежнее и быстрее. В принципе. Боже мой!

— Что?

— Если бы это была моя идея! Вот тогда бы мой дядя переменял свое мнение обо мне.

Меня покоробили эти слова. Их тоскливость.

— По моему опыту, — отозвался я, — важнее найти хороший совет и воспользоваться им. Не обязательно придумывать все самому.

— Только не в архитектуре, — ответил он. — И не с моим дядей. — Он вздохнул. — Надеюсь только, что Макинтайр не остынет к своей идее. Стоит ему разрешить проблему в уме, и он утрачивает интерес. Кроме того, он чуть-чуть излишне пьет.

Он стремительно обретал выражение человека, который хотел бы остаться один, хотя было неясно, чем он мог бы заняться. Не желая навязываться, я поблагодарил его за то, что он составил мне компанию, и за то, что он показал мне Венецию в необычном ракурсе. Затем, спросив дорогу, я оставил его стоять среди развалин и направился к себе в отель.

Глава 3

Я проспал много часов, крепко, без сновидений, хотя отнюдь не в моих привычках было бездельничать днем. Я положил голову на подушку примерно в десять утра и проснулся в начале вечера, что меня сильно рассердило. Я пропустил весь день, а вдобавок обеспечил себе бессонную ночь. Приглашение Корта пообедать с ним и его друзьями совершенно стерлось из моей памяти, что большого значения не имело. Я ведь не позаботился спросить, где они будут обедать, и в любом случае у меня не было ни малейшего желания проводить вечер в чьей-либо компании. Я предпочитал осмотреть место, ради которого проехал такое расстояние, а пока не видел практически ничего, кроме железнодорожного вокзала, нескольких улиц и руины, притворяющейся домом.

А потому я отправился погулять. И был заморожен, как никогда в жизни ни прежде, ни после. Я по природе не романтичен — учитывая мою небольшую репутацию в мире, удивительно, что я вообще побеспокоился упомянуть про это. Я не потрачу вздоха при виде заката, каким бы великолепным он ни был. Я просто вижу свет звезды, таким-то и таким-то образом преломляющийся в атмосфере с предсказуемыми, пусть и приятными для глаз световыми эффектами. Города воздействуют на меня еще меньше. Они — машины для производства денег, и в этом их единственное назначение. Созданные для обмена товаров и рабочей силы, они функционируют либо хорошо, либо плохо. Лондон был и все еще остается самым идеальным городом, какой только видел мир, эффективным и направленным на одну эту цель, не отвлекая энергию или ресурсы на развлечение публики, как Париж. Хотя даже Лондон может вскоре уступить свой венец городу, еще более целеустремленному и беспощадному, если мои впечатления от Нью-Йорка верны.

Венеция, по контрасту, цели не имеет. Там нет ни обмена товарами, ни движения капитала. Осталась только шелуха производства, давным-давно устаревшего. Оно также было рождено торговлей, и теперь не более чем окаменевший капитал. Но сам капитал скрылся, оставив лишь труп, который покинула душа. Его и следовало покинуть, бросить сгнить в живописную руину, как сами венецианцы оставили остров Торчелло вместе с собором и всем прочим, едва в нем отпала нужда.

Так я верю, и я отстаивал свои взгляды в спорах со многими сентиментальными идеалистами, раздражавшимися потоками красноречия о достойном прошлом и о том, как деградировала человеческая жизнь под гнетом современной эпохи. Чепуха. Мы живем на высочайшем уровне,

которого когда-либо достигала человеческая цивилизация, и сотворили ее люди вроде меня.

И тем не менее моя венецианская проблема по-прежнему со мной. Все, что я говорю о Венеции, — правда, и в тот первый вечер я ходил почти семь часов, не останавливаясь, чтобы поесть, выпить или передохнуть, позабыв про мою карту, не заботясь о том, где я нахожусь или на что гляжу. Я был загипнотизирован, ошеломлен. И не понимал почему. Причина крылась не в том, что обычно очаровывает людей. Панорамы и дворцы, церкви и произведения искусства — все это я достаточно ценю, но не до страсти. Я бы назвал ее дух, рискнув выглядеть глупым, и, как я уже указал, наиболее очевидные проявления этого духа свидетельствовали о деградации и разложении. И причиной был не свет, поскольку почти все время я шел в темноте, и не звуки, поскольку это тишайшее из всех мест, какие мне довелось посетить. Средняя английская деревня с несколькими сотнями жителей куда шумнее. Я не могу предложить убедительного объяснения, хотя, когда я рассказал Элизабет про эту мою реакцию, она предположила, что я не хотел сопротивляться чарам Венеции, что, разочарованный Флоренцией и Неаполем, и прочими городами, где я побывал, я хотел быть соблазненным, что я покорился не тому, чем она была, а тому, чем я хотел, чтобы она была в тот особый момент. И что, возбудив во мне такое чувство, она навсегда осталась связанной с этим чувством. Я попытался быть распутным и потерпел неудачу, попытался быть эстетом и потерпел неудачу, а теперь я ничего не планировал и преуспел превыше всех моих ожиданий. Это объяснение не хуже всякого другого, однако, содержи мой рассказ больше подробностей, она могла бы найти другую интерпретацию.

Под конец я вернулся к Кампо-Сан-Стин, где находилось палаццо Корта, и там пережил нечто необычное. Я принял это за галлюцинацию, вызванную усталостью и пустым желудком. Я считаю нужным упомянуть про нее (рискуя вызвать улыбку у тех, кому доведется это читать), поскольку это повлияло на мое дальнейшее пребывание в городе.

Надеюсь, уже достаточно ясно, что я не истеричен, не поддаюсь иллюзиям и никогда не имел времени на мистику или сверхъестественное. Даже в данном конкретном случае я был уверен и до, и после, что это лишь плод воображения. Тем не менее я не мог категорически его опровергнуть; не мог найти доказательство, что это была лишь галлюцинация, вдруг возникшая передо мной.

Короче говоря, произошло это, я думаю, где-то после полуночи. Я был на мосту — как я узнал позднее — над рио ди Каннареджо. Красивый вид:

канал, изгибающийся влево от меня, маячащие силуэты зданий, вздымающиеся над зеркальной поверхностью воды и отражающиеся в ней. Было очень темно из-за отсутствия какого-либо освещения, даже из окон домов, по большей части закрытых ставнями. Я остановился полюбоваться зрелищем и еще раз прикинуть, иду ли я в направлении моего отеля, — прямо наоборот, как оказалось. Прикидывая, опираясь на чугунные перила, я случайно посмотрел назад в сторону Большого Канала.

Вдруг я услышал шум, смех и в ту же секунду с необыкновенной силой ощутил, что я тут не один. Я молниеносно повернулся (Венеция на редкость безопасный город, но тогда я этого не знал) и увидел очень странное зрелище. Примерно в тридцати ярдах от меня в скобе на стене палаццо пылал факел, хотя, клянусь, раньше его там не было. А под ним — маленькая лодка, на середине которой стоял мужчина и пел. Разглядеть его в мерцающем свете было трудно, но он выглядел низкорослым, жилистым и почти эфемерным — словно бы сквозь его плащ и панталоны виделась штукатурка стены. Его песню я никогда раньше не слышал, но звучала она одновременно как колыбельная, плач и любовная песня, исполняемая мягким, но чуть надтреснутым голосом. Необыкновенно красивая и трогательная, хотя, быть может, впечатление это усугублялось тем, что нас окружало.

Я не знал, для кого он поет. Но теперь я заметил, что ставни одного окна распахнуты и оно приоткрыто, хотя света внутри не было, и мои глаза не различали никакой фигуры. Единственным человеком был только этот мужчина в одежде, более подходящей для восемнадцатого века, чем для нашего времени. Я видел это, но не ощущал чего-либо необычного или странного. Я сознавал только, что отчаянно хотел бы знать, что это за песня, кто этот певец и отзывается ли женщина, которой предназначена серенада (ведь это была именно серенада) на его песню. Кто она? Молода и красива? Конечно, да, раз в его голосе звучит такая тоска. Я решил подойти поближе, чтобы лучше видеть, и стук моих каблуков разнесся над водой. Мужчина умолк, но так, словно завершил свою песню, а не оборвал ее, и обернулся в мою сторону с легчайшим поклоном. Мое первое впечатление было верным. Красоты в нем не было. Его черты не были уродливыми, но они были ужасающе старыми. Он казался таким же старым, как сам город.

Я, застыв, смотрел, как он сел в лодке, взял весла и начал грести прочь от меня, и тут чары развеялись. Я пошел, побежал следом за ним по мосту и влево по проулку, тянущемуся параллельно каналу, надеясь нагнать его (он греб не очень быстро) и разглядеть получше. Примерно еще через сотню футов новый поворот вывел меня к маленькой пристани, я сбежал на

нее и посмотрел по сторонам. Ничего! Лодочка исчезла. И пока я стоял там, недоумевая, куда он мог подеваться, я услышал негромкий смех, эхом разносящийся по воде.

Я был потрясен произошедшим, моей собственной реакцией не меньше, чем всем остальным, и повернулся, чтобы пойти назад. Когда я вернулся на мост, ставни на окнах палатки были все плотно закрыты и, казалось, их не открывали много лет.

Мне оставалось только вернуться в отель, куда я добрался (после долгих блужданий) примерно час спустя. Я наконец уснул около четырех часов утра и спал до десяти. Но мой сон был беспокойным. Атмосфера этого места проникла в мое сознание, и, будто детская въедливая песенка, от которой невозможно отвязаться, образы тех нескольких минут всю ночь повторялись и повторялись у меня в голове.

Глава 4

Почему я пишу это? Я потратил много часов, много вечеров на эти заметки. Они не имеют подлинной цели, а я не привык делать что-то бесцельно. Только Элизабет умудряется заставлять меня тратить время зря, хотя с ней ничего не бывает зря. Любой вздор, любое легкомыслие, лишь бы сделать ее счастливой, увидеть ее улыбку, лишь бы она обернулась и сказала спасибо, что ты стерпел это. Ради нее я даже выучился танцевать, хотя довольно плохо, но я готов вести себя по-слоновьи, лишь бы видеть ее грациозность, ощущать, как движется ее тело в моих объятиях. Я даже не замечаю окружающих. Я могу честно сказать, что ни разу не подумал, как другие могут восхищаться ею и завидовать мне, хотя, конечно, так и есть.

Но мое счастье с ней было иным, чем то, которое я обретал в Венеции. Мы никогда не испытывали вместе того рода беззаботной безответственности, какую я испробовал в тот единственный раз. Иначе быть не могло, я уверен. Я познакомился с ней уже не в том возрасте, когда совершаются глупости, на какие способна только молодежь, а ее жизнь была слишком трудной, слишком исполненной борьбы, чтобы осталось место для беззаботности. Нет, мы создали совсем иной мир, безопасный и теплый. Мы совершали вместе великие дела, волнующие, приносящие удовлетворенность, но глупости — никогда. Они не в моем характере, а она слишком хорошо знает их опасность.

Хотя, пожалуй, чему-то в ней не хватает волнений, необходимости полагаться на свою находчивость. Она отказалась от чего-то, когда вышла за меня, и не так, как я. Мне все еще оставалось удовольствие риска, а она отказалась от части своего характера, и, возможно, это было большей утратой, чем сознавали я или она. Теперь она не слушается меня. Я категорически отверг ее предложение помочь мне узнать, куда попадают эти деньги, опознать людей, оплачиваемых через эти необъяснимые выплаты в Ньюкасле. Она указала, что я не могу использовать никого из служащих самой компании. Я сказал «нет». Абсурдная идея. Да так оно и было для жены такого человека, как я. Но не для женщины, какой была она, той, какую я считал давно умершей. Она все равно поступила по-своему, уехала в Германию, вновь полагаться на свою находчивость, вновь маскироваться под кого-то еще — вернулась к тому образу жизни, с которым, полагал я, было покончено навсегда.

Я был так рассержен, так разъярен, когда она сказала мне, что полностью утратил контроль над собой. И, как часто случалось, когда ее

железная воля сталкивалась с моей не менее твердой решимостью, между нами вспыхнула ссора. Почему она не должна мне помогать? Она моя жена. Или я действительно думаю, будто кто-то способен выполнить это лучше? Могу я придумать способ лучше?

Но все это было побочным. Куда сильнее меня тревожил блеск ее глаз, пока она спорила со мной. Блеск возбуждения, блеск приключений. Прежняя ее часть, та, которой я всегда боялся, та, которая никак не могла удовольствоваться обществом старика. Она никогда не давала мне повода не доверять ей. У нее бывали случайные любовники, я в этом не сомневался. Но она никогда не причиняла мне боли. Они были всего лишь мимолетной забавой, способом немного отвлечься. А это было иным, щекотало ее любовь к опасностям, ее потребность в подлинном волнении. Она говорила, что это ради меня, но в равной степени это было ради нее самой.

Уступив, я совершил один из самых трудных поступков в моей жизни и один из самых лучших: угасил свою ревность, подавил свои страхи и позволил ей делать то, что она хотела. Я позволил ей помогать мне, хотя наша жизнь строилась на том, что я помогал ей. Но было это тяжело. Я понимал, вчуже чувствовал радость, которую она испытывала, поступая так. Ведь я сам когда-то был свободен делать что хотел, не заглядывая вперед более, чем на день, или назад более, чем на час. И вот почему я пишу о Венеции. Ведь проверив, насколько подробно я помню те дни, я смогу лучше судить, насколько властно собственное прошлое влечет ее сейчас.

Я был угрюм и раздражен, когда наконец спустился позавтракать после моей калейдоскопической ночи с видением, только чтобы обнаружить величайшее нежелание моего отеля обеспечить меня чем-нибудь съедобным вообще. В конце концов они расщедрились на жидкий кофе и черствый хлеб, напомнившие мне, что я почти полтора дня не ел ничего существенного. Это само по себе в достаточной мере объясняло мое дурное настроение, головную боль, а также дурацкую галлюцинацию несколько часов назад. Мне требовалась цель, а ее у меня не было, и я решил, что с тем же успехом могу заняться делом, посетить британского консула и забрать почту, которую он, возможно, хранит для меня.

Это, во всяком случае, было нетрудно. Фрэнсис Лонгмен жил в небольшой квартире с консульством при ней в нескольких улицах от Сан-Марко и приветствовал меня с энтузиазмом. Низенький толстяк с писклявым голосом, из-за которого казался постоянно возбужденным. Его подбородки эффектно тряслись всякий раз, когда он волновался, а, как я

узнал в последовавшие недели, волновался он часто и по малейшему поводу. Его жилище не дышало солидностью, какую я ожидал от дипломатического представителя ее величества, будучи темным, неприбранным и заваленным книгами и деловыми бумагами. Положение его выглядело довольно печальным и, хотя я был польщен таким теплым приемом, я не мог не счесть его довольно-таки своеобразным.

— Мой дорогой сэръ! — вскричал он. — Входите же, входите!

Я было подумал, что он принял меня за кого-то другого, но нет — Лонгмен всего лишь изнывал от скуки, а делать ему было почти нечего. Как он рассказал мне довольно-таки многословно, едва я расписался в регистрационной книге, подтверждая мое присутствие в городе и поручая себя официально его заботам и заботам ее британского величества.

— Тут, видите ли, нечего делать, — объяснил он, едва я без малейшей охоты расположился в изысканно резном кресле в его кабинете. — Это буквально существование отшельника.

Я осведомился о его обязанностях.

— Никаких, стоящих упоминания, — сказал он. — И жалованье в соответствии с ними. Я отчески приглядываю за находящимися здесь британскими подданными и раз в квартал составляю отчет о здешней экономической деятельности для министерства торговли. Но приезжие редки, а торговли мало.

— Полезное занятие, — сказал я сухо.

— О да. Венеция менее интересна, чем была.

— Я это заметил. А сколько их тут? Британцев?

— Больше сотни не бывает вообще. В данный момент, — он сделал паузу, сверяясь с регистрационной книгой, — в книге у меня шестьдесят три. Большинство — проездом; только примерно двадцать пробыли тут дольше пары месяцев. Включая женщин и детей.

— Вчера я познакомился с неким мистером Уильямом Кортм, — рискнул я. — И с мистером Макинтайром, который показался мне очень интересным.

Лонгмен усмехнулся.

— А, да. Макинтайр — один из самых трудных наших, кто живет тут постоянно. Северная грубость, знаете ли. По временам он бывает просто невыносим. Корт, напротив, очень милый человек. Вам следует познакомиться с его женой. Она сейчас на кухне, болтает с миссис Лонгмен. Я вас представлю, прежде чем вы уйдете.

Никакого желания знакомиться с ней у меня не было, но я вежливо кивнул.

— А Корт?

— Мистер Корт, да. Он здесь теперь примерно уже четыре месяца. Судя по его словам, пробудет он тут еще не меньше десяти лет. Он из Суффолка, из хорошей семьи, насколько мне известно, но его родители скончались, когда он был ребенком, и он рос под присмотром своего дяди. Спеллмен, архитектор, вы знаете?

Я покачал головой. Я не знал.

— Он проходит практику, чтобы в дальнейшем сменить дядю. У того нет прямых наследников. Но боюсь, это неудачная идея.

Я проявил надлежащий интерес, как от меня и требовалось.

— Ни малейшего делового чутья. Возможно, его проекты и хороши, но здешние рабочие из него веревки вьют. Неделю назад или около того я застал его в слезах — можете ли поверить? В слезах! Они помывают им, а у него не хватает силы характера настоять на своем. Не совсем его вина, разумеется. Он слишком молод, чтобы брать на себя подобную задачу. Но это его губит, бедного мальчика. Его жена даже советовалась о нем с Мараньони, так она тревожится.

— Мараньони? Он врач, выбранный прозябающими тут британцами?

— Не совсем, но он охотно предлагает свое умение и хорошо говорит по-английски. Очаровательный человек. Очаровательный. Вы должны познакомиться с ним. Пожалуй, единственный итальянец, чье общество достаточно сносно. Он специалист по душевным болезням и прислан правительством привести в порядок приют для умалишенных. Он из Милана и тоже изгнанник. Но, как бы то ни было, миссис Корт осведомилась у него о душевном состоянии своего мужа.

— И?

— Увы, ответа не сумел понять никто. Эти доктора предпочитают выражаться непонятно. Тем не менее кое-что это дало. Мараньони предупрежден, а Корт находится под наблюдением, чтобы ничего дурного с ним не произошло.

— Меня удивляет, что в Венеции так мало людей. То есть из Англии.

Лонгмен пожал плечами.

— В сущности, не так уж и удивительно. Бешено дорого обходится, как вы вскоре убедитесь. И очень нездорово. Миазмы, поднимающиеся с каналов, ядовиты и подрывают жизненные силы. Мало кто хочет оставаться тут надолго. Благоразумные уезжают в Турин.

— А вы пробывали тут?..

— Слишком, слишком долго. — Он печально улыбнулся. — Полагаю, я теперь уже никогда отсюда не уеду.

В его голосе звучала нота разочарования, обманутых надежд человека, ожидавшего от жизни много больше.

— А теперь расскажите мне про себя, сэр. — Он поколебался. — Вы англичанин, насколько я понял?

— А вы сомневаетесь?

— Нет-нет, вовсе нет. Но иногда какой-нибудь обманщик и шарлатан пытается заручиться нашей поддержкой, знаете ли.

Полагаю, я не выгляжу англичанином. Я унаследовал куда больше от внешности моей матери, чем моего отца, и эта линия моего происхождения много очевиднее. Еще одна из тех особенностей, которые всегда отгораживали меня от моих соотечественников. Отличие всегда замечается: пусть даже бессознательно. Остальные всегда относились ко мне с легким подозрением.

Я уже определил мистера Лонгмена как неисправимого сплетника, и интуиция мне подсказывала, что все сказанное мною ему не только будет взято на заметку, но и со временем передано всякому, кто заинтересуется. Конечно, такие люди смазывают колеса общества, однако избыточному интересу к чужим делам, обнаруживал я, часто сопутствует злокозненность, а она опасна. И потому я ответил настолько коротко, насколько было совместимо с вежливостью.

— Так значит, вы богаты! Иначе и быть не может, — воскликнул он.

— Отнюдь.

— Все зависит от точки отсчета. Возможно, в трехстах ярдах от Английского банка вы нищий среди окружающих вас. Но здесь вы будете богачом. Мало у кого здесь есть деньги, а уж особенно среди венецианцев. Вот почему здешнее общество так убого. Но можно вести богатую жизнь и на малые деньги, вы согласны?

— Разумеется, — ответил я.

— Однако вам следует быть осторожным. Опасно иметь репутацию богатого человека. Вы поразитесь, сколько людей захотят занять у вас деньги или, обедая с вами, спохватятся, что забыли бумажники дома.

— В таком случае будет лучше, если у них не возникнет ложного впечатления, — ответил я с легким намеком на предостережение в тоне моего голоса. Но я не мог сказать, уловил ли он намек.

Я собрался уйти, и Лонгмен закружил между мной и дверью.

— Миссис Корт, — позвал он, — вы должны познакомиться с еще одним приезжим, прежде чем он уйдет. Он уже познакомился с вашим супругом, хотя находится здесь всего несколько часов.

Я повернулся, готовясь представиться этой женщине, и меня ожидал

шок, какие редко испытывал в жизни, когда дверь маленькой гостиной отворилась. Луиза Корт была красавицей. Лет тридцати с небольшим, немного старше меня, с чудесной кожей и глазами и очаровательной, чуть полной фигурой. Такая противоположность ее мужу, какую только можно вообразить. Она посмотрела прямо на меня, и во мне что-то шевельнулось, когда наши глаза встретились. Пожимая мне руку, она не смотрела на Лонгмена, точно вовсе не замечая его присутствия.

Я поклонился ей, она кивнула мне. Я выразил мое удовольствие от знакомства с ней, она не ответила. Я сказал, что надеюсь снова ее увидеть.

— И моего мужа, — сказала она с легчайшей насмешкой в голосе.

— Разумеется, — сказал я.

Глава 5

В эту ночь мне приснился сон, который я запомнил. Такой странный, что он вывел меня из равновесия на несколько дней. Не то, что мне приснился сон, но что я его запомнил, что он вновь и вновь приходил мне на память. Собственно говоря, продолжает приходить и теперь. Иногда без всякой видимой причины этот обрывок воспоминаний вспыхивает в моем сознании. Не очень часто, пожалуй, раз в пару лет, хотя последнее время все чаще. Крайне загадочно. Великие события, свидетелем которых я был, в которых сам принимал участие — грандиозные, следовало бы мне сказать, — я едва могу припомнить. Но лихорадочные нереальные образы, лишённые всякой важности, все еще не покидают меня, образы, такие яркие, будто совсем новые.

Я стоял у открытого окна, я чувствовал, как ветер обдувает мне кожу. Снаружи было темно, а я ощущал ужас нерешительности. Я не знал, что мне делать. Но вот в связи с чем, я не знал; это было частью сна. Нерешительность была вне причин. Затем я услышал шаги позади себя и негромкий голос. «Тебе было сказано», — произнес он. Потом я ощутил нажим на мою спину, толчок.

Таким был этот сон. Ничего больше. О чем он был? Не знаю. Почему он был таким ярким, что запечатлелся в моем сознании? Ответа тоже нет. И ничего нельзя поделаться: у снов нет ни оснований, ни объяснений, ни смысла. Странно то, что с тех пор я начал ощущать смутную боязнь высоты. Не выходящую из границ. Я не превратился в одного из тех бедняг, кому становится дурно, окажись они в нескольких футах над землей, или тех, кто, поднимаясь на Эйфелеву башню, на полпути вцепляется в перила, изнемогая от головокружения. Нет, я всего лишь испытывал смутную опасливость, когда, например, стоял на балконе или у открытого окна. Очень неприятная слабость, которой я старался не уступать, тем более что она была такой бесспорно глупой. Но избавиться от нее мне не удавалось, и кончил я тем, что просто следил, чтобы не оказаться в положении, когда она может проявиться.

Случай этот гармонировал с течением моей жизни в последующие недели. Я все больше поддавался интроспекции. Моя жизнь заметно застопорилась, потребность двигаться дальше, одолевавшая меня до сих пор, где бы я ни был, совершенно угасла. Я по-прежнему не понимал почему; думаю, это был гипнотический эффект солнца на воде, неотъемлемый от жизни в Венеции, одурманивавший мое сознание и

подтачивавший мою волю. Трудно думать о нормальной жизни, когда взамен так легко наблюдать мерцание отраженного света. Поразительно легко потратить несколько секунд, затем минут, если не больше, наблюдая без всякой мысли или осознания за игрой светотени на осыпающейся штукатурке или слушая смещение звуков — люди, волны, птицы, — делающее Венецию самым странным городом в мире. Прошла неделя, затем две и еще, а я лишь иногда заставлял себя что-то делать.

В ретроспекции все совершенно ясно: я был не уверен в себе. Я хотел совершить в своей жизни нечто великое и хорошо подготовился к этому. Но дни ученичества под эгидой Кардано завершились. Ему больше нечему было меня учить, и теперь я оказался перед выбором. Я мог с легкостью нажать достаточно денег, чтобы содержать себя и моих в довольстве. Это, как я сказал, нетрудно. Но какой в этом был смысл? Подобный образ жизни был всего лишь заполнением пространства между колыбелью и могилой. Приятный и, без сомнения, со своими маленькими успехами, но в конечном счете бесцельный. Я не желал власти или богатства ради них самих, и меня совершенно не прельщала слава. Но я хотел в минуту моей смерти, испуская дух, сознавать, что мое существование сделало мир иным. Предпочтительно лучше. Но даже это в то время не было в моем сознании главным; я никогда не питал особого желания покончить с нищетой или спасти падших женщин. Я отношусь и всегда относился с глубоким подозрением к тем, кто желает совершать подобное. Они обычно причиняют больше вреда, чем приносят добра. И, судя по моему опыту, жажда власти, контроля над чужими судьбами у них куда сильнее, чем у любого бизнесмена.

Когда собственное общество начало мне приедаться, я решил принять предложение Лонгмена, высказанное, когда я уходил, отобедать с ним. Я не вполне понял, по какому случаю, но Лонгмен предлагал ввести меня в общество близких ему английских изгнанников, поскольку мужчины ели вместе почти каждый вечер. Таков обычай Венеции, где, по сути, обходятся одной едой в день — вечерней. Завтрак исчерпывается почти только хлебом с кофе, ленч — миской бульона, купленного в кулинарной лавке, а потому к обеденному времени все городское население и чрезвычайно голодно, и очень часто пребывает в сквернейшем расположении духа. Обычно люди едят каждый вечер в одном и том же месте, а затем отправляются в одну и ту же кофейню. Жизнь в Венеции обладает неменяющимся ритмом, которому все иностранцы там начинают следовать рано или поздно, если остаются тут достаточно долго. Стать постоянным клиентом имеет свои преимущества: вы получаете еду

получше, всегда обслуживаетесь быстрее, и, что самое важное, владелец побережет для вас столик, а потому вы не будете разочарованы и не уйдете голодным.

Лонгмен и его компания обедали «У Паолино», заведении поскромнее, чем расположенные на пьядца Сан-Марко, и существовавшие главным образом за счет приезжих, как прежде за счет австрийских солдат, оккупировавших город. Простые деревянные стулья, дешевые столовые приборы и плохо выкрашенные стены свидетельствовали, что «У Паолино» обслуживает клиентов респектабельных, но в стесненных обстоятельствах, а друзья Лонгмена все принадлежали к этой категории. Я мог пообедать в дорогой обстановке или пообедать в компании — такой выбор предоставлял мне этот город.

Я любил — всегда любил — хорошо поесть, но в этом городе кулинарное искусство отсутствовало, во всяком случае, я про него не слышал, и я был готов к компромиссу. К тому же среди обедневших сотрапезников существует дух товарищества, часто отсутствующий среди богатых, так что особой жертвой это не было.

Когда я поздоровался с консулом, за столом, накрытом по крайней мере на шестерых, а то и больше, сидели еще только двое. Но мало-помалу подходили и другие. Собственно говоря, обедала там компания из десяти, а то и больше человек, но не каждый вечер, и всякий раз возникала новая комбинация, причем одни были друг другу симпатичны, другие — явно наоборот. Корт был один из присутствовавших в этот вечер, и он тепло со мной поздоровался, вторым был американец с мягким выговором. Он говорил с приятной оттяжкой уроженца юга его страны; своеобразный выговор и кажущийся иностранным, пока к нему не привыкаешь. Эта манера говорить отлично подходила к сухому с ленцой юмору, которым мистер Арнсли Дреннан обладал в немалой степени. Выглядел он закаленным, на несколько лет старше меня и говорил мало, пока не приготовился. А тогда он становился прекрасным собеседником, высказывая сочные наблюдения полусонным голосом, разыгрывая отсутствие интереса к собственным словам, что придавало его манере особую обаятельность. Разгадать его было нелегко; даже мистеру Лонгмену, куда более поднаторевшему в этом, не удавалось протаранить стены его скрытности и узнать про него побольше. Это, разумеется, добавляло ему таинственности, побуждало остальных искать его общества.

— Ваша супруга не присоединится к нам позднее? — спросил я Лонгмена.

— Боже мой, нет, — ответил он. — Она дома. Если вы оглянитесь, то

заметите, что здесь вообще нет женщин. Вы редко их встретите в таких заведениях, кроме расположенных на Сан-Марко. Миссис Корт также кушает дома.

— Они, наверное, находят это очень скучным, — заметил я.

Лонгмен кивнул:

— Пожалуй. Но что делать?

Тут мне представился случай заметить, что и он мог бы ужинать дома или что общество его жены, быть может, предпочтительнее общества приятелей, но я ничего не сказал, и в тот момент это мне в голову вообще не пришло. Мужчине надо есть и мужчине надо иметь приятелей, или что человеческого в нас останется? Дилемму Лонгмена я счел столь же неразрешимой, как и он сам. Но тем не менее я вдруг подумал, как, должно быть, его жене тоскливо без общества. А затем подумал и о жене Корта в таком же заточении. Однако не подумал, а как моей собственной жене живется без меня.

— Где вы живете, мистер Дреннан? Есть у вас одинокая жена, берегущая для вас ваш очаг?

Это был шуточный вопрос, но шуточного ответа не последовало.

— Я вдовец, — сказал он мягко. — Моя жена умерла несколько лет назад.

— Сочувствую вам, — сказал я, искренне раскаяваясь в своем faux pas.

[14]

— И я живу в Джуддеке, примерно в получасе ходьбы отсюда.

— Мистер Дреннан нашел единственное недорогое жилье в Венеции, — добавил Лонгмен.

— Это всего одна комната без воды и уборки, — сказал он с улыбкой. — Я живу, как почти все венецианцы.

— Вы далеко от родины, — заметил я.

Он пристально посмотрел на меня.

— Совершенно верно, сэр.

Он как будто не находил эту тему разговора сколько-нибудь интересной, а потому перевел взгляд на окно и предоставил дальнейшее Лонгмену, дирижеру застольной беседы.

— Вы намерены жить в отеле до конца вашего пребывания здесь, мистер Стоун?

— Да, если ничего лучше не подвернется. Я бы с радостью перебрался в более просторное и удобное жилье, но не собираюсь тратить свое время здесь на его поиски.

Лонгмен хлопнул в ладоши, радуясь оказаться полезным.

— Имеется идеальный выход, — вскричал он. — Вы должны снять комнаты у маркизы д'Арпаньо!

— Да?

— Да-да! Восхитительная женщина, отчаянно нуждающаяся в наличных деньгах, с огромным ветшающим палаццо, просто умоляющим, чтобы в нем поселились. Она никогда не унижится до вульгарности искать жильцов. Но я знаю, она не рассердится, если ее спросить. Так удобно и очаровательно! Я буду счастлив отправить письмо, если вам нравится эта идея.

Почему бы и нет, подумал я. Остаться долго я не планировал, но не планировал и отъезд. Мне следовало бы понять, что эта туманность намерений указывала на странную аберрацию сознания, но я об этом не подумал. Цена номера меня не смущала, но разница между тем, что я платил и что получал, меня задевала. А потому я сказал:

— Будет интересно взглянуть. Кто эта дама?

Я заметил, что остальных двоих упоминание ее имени в восторг не привело. Однако продолжить расспросы не смог, так как к столу тяжелым шагом направлялся Макинтайр, инженер.

У него явно была потребность в обществе, раз он намеревался обедать в компании, однако, совершенно очевидно, он считал излишним признавать этот факт. Он разрешил эту дилемму, выходя на редкость раздраженным, и поздоровался бурчанием, лишь самую чуточку не переходящим в грубость. Его водворение за столом на несколько минут положило конец разговорам. Лонгмен выглядел слегка недовольным, Корт несколько испуганным, только Дреннан кивнул в знак приветствия, словно бы ничуть не выведенный из равновесия его появлением.

— Еду еще не подавали? — сказал Макинтайр, когда мы некоторое время просидели в неловком молчании. Он щелкнул пальцами официанту, требуя вина, и выпил залпом два стаканчика один за другим. — Что сегодня?

— Рыба, — сказал Корт.

Макинтайр хохотнул.

— Конечно, рыба. Каждый чертов вечер эта рыба. Какая рыба?

Корт пожал плечами.

— А есть разница?

— Пожалуй, никакой. Во всяком случае, вкус один и тот же. — Он яростно нахмурился на Корта, вытаскивая из-под пиджака сверток бумаг. — Вот. Велел моему чертежнику сделать по всем правилам. Расходы подсчитал сам. У Соттини есть на складе запас креплений нужной

длины. Хорошие, шеффилдские, они вас не подведут. Я убедил его сбывать их вам по сходной цене. Но поторопитесь, не то он позабудет. Не давайте ему больше двадцати семи шиллингов за штуку. Но думаю, у вас будут проблемы со сваями. Я взглянул еще раз. Центральный столб ушел глубоко вниз, и его необходимо вытащить. Иначе все насмарку. Обойдется это дорого.

— Как дорого?

— Очень. Надо будет обеспечить поддержку всего здания, затем вытащить столб, чтобы обеспечить место для каркаса. Откровенно говоря, лучше всего было бы взорвать его.

— Что-о? Вы с ума сошли!

— Нет-нет. Все очень просто. Полностью безопасно, если уметь. Очень маленький заряд, помещенный пониже, просто чтобы сместить несколько больших камней. Тогда столб целиком свалится, оставив само здание стоять — если вы подперли его как следует.

— Я это обдумаю, — сказал Корт неуверенно.

— Единственный возможный способ. Взрывчатка есть у меня в мастерской. Когда убедитесь, что я прав, сообщите. — Затем Макинтайр повернулся ко мне со вновь наполненным стаканчиком в руке. — И вы. Что вы тут делаете?

Уж конечно, в излишней учтивости Макинтайра нельзя было обвинить. Его скучный северный выговор (я бы назвал его уроженцем Ланкашира, невзирая на шотландскую фамилию) только усиливал общее впечатление грубости, которую, по замечанию Лонгмена, северяне намеренно подчеркивают.

— Всего лишь путешественник из Лондона, где я прожил почти всю жизнь, — ответил я.

— А ваша профессия? Если она у вас есть.

В его тоне был намек на враждебность. Вероятно, я выглядел джентльменом, а Макинтайр, видимо, джентльменов недолюбливал.

— Полагаю, вы можете назвать меня деловым человеком. Если вы хотите знать, живу ли я на деньги моей семьи и провожу дни в безделье за счет чужого труда, ответом будет «нет». Хотя, признаюсь откровенно, с радостью заживу так, если представится случай.

— У вас не английская внешность.

— Моя мать по происхождению испанка, — сказал я ровным голосом. — С другой стороны, мой отец — приходской священник безупречнейшей англичанности.

— Значит, вы полукровка.

— Полагаю, можно сказать и так.

— Хм-м.

— Ну-ну, Макинтайр, — сказал Лонгмен благодушно. — Обойдитесь без вашей прямолинейности, будьте так добры. Пока мистер Стоун не попривыкнет к вам. Я только что рекомендовал ему маркизу как возможную квартирную хозяйку. Как вы думаете?

Реакция Макинтайра была неожиданной. Мне казалось, что фраза эта была проходной, предназначенной перевести разговор в более безопасное русло. Но эффект она произвела прямо противоположный. Макинтайр фыркнул.

— Чертова сумасшедшая, — сказал он. — И вы будете сумасшедшим, если свяжетесь с ней.

— Что все это значило? — спросил я Дреннана попозже, когда Макинтайр проглотил свою еду, бросил салфетку на стол и ушел. В целом он пробыл за столом меньше пятнадцати минут; он был человеком, не расходующим время на второстепенности.

— Понятия не имею, — ответил Дреннан. — Видимо, Макинтайру эта дама не нравится.

— Он попробовал снять там комнату. Она его не приняла, и он обиделся, — сказал Корт.

— Тогда понятно, — бодро отозвался Лонгмен. — Не представляю, как он вообще пересекся с ней. Не через меня, во всяком случае. Не думаю, что у него хватает времени спать. Он трудится над этой своей машиной от зари до зари.

— Машиной? — спросил я. — Какой машиной?

— Никто не знает, — сказал Дреннан с улыбкой. — Это тайная мания Макинтайра. Он говорит, что работает над ней много лет и вложил в нее все свое состояние.

— У него есть состояние?

— Больше нет.

— Он... то есть был, пока не поселился здесь несколько лет назад, инженером по найму. Брал клиента, предлагавшего больше всего. Верфь во Франции, железнодорожный проект в Турине, мост в Швейцарии. Большой специалист.

— Лично я предпочитаю жизнь духа, штудий и размышлений. И, как вы могли заметить, он не слишком умеет ладить с людьми. Он никогда не остается подолгу на одном месте, — заметил Лонгмен.

— Он женат?

— Его жена умерла, рожая. Бедняга! Так что он остался с дочерью,

которой сейчас лет восемь. Совсем не женственное существо, — продолжал Лонгмен, хотя я ни о каких подробностях не спрашивал. — Совершенно необразованная, с внешностью отца. Он еще почти сносен, но что терпимо в мужчине...

Он не договорил, с успехом нарисовав картину будущего: одинокая старая дева, кое-как сводящая концы с концами, лишенная хорошего, да и вообще сколько-нибудь приличного общества. Он медленно покачал головой, показывая, как его это огорчает.

— По-моему, она очень милый ребенок, — сказал Дреннан. — Симпатичная улыбка. Хотя причин улыбаться немного.

Вот так продолжался разговор. Он обретал приятность в тоне и настроении, едва впечатление, оставленное Макинтайром, стерлось, и Корт, к моему изумлению, оказался очень занимательным собеседником. Он, пожалуй, был схож со мной по темпераменту, если не по характеру, и его остроумие очень мне пришлось по душе. В школе я знал много таких: он расцветал, чувствуя мое одобрение, и пришел в на редкость отличное настроение, когда с едой было покончено и маленькое общество начало расходиться. Лонгмен и Дреннан решили посетить «Флориана» коньяка ради. Корт и я не соблазнились и стояли у двери, пока они не скрылись из вида.

Я повернулся поблагодарить его за приятное общество, и тут в нем произошла разительная перемена. Он весь напрягся, побледнел, стиснул зубы, словно в страхе, и ухватил меня за локоть, когда мы обменивались прощальным рукопожатием. Он словно бы в ужасе смотрел на что-то у меня за спиной, а потому я стремительно обернулся поглядеть, что завладело его вниманием.

Ничего! Улица с рестораном была темной, но абсолютно пустой. В конце ее пересекала более широкая улица, слабо освещенная мерцающим пламенем факела, но и там никого не было.

— Корт? В чем дело? — спросил я.

— Это он. Он опять здесь.

Я недоуменно посмотрел на него, но Корт не отозвался и только глядел перед собой, словно помешавшись от страха.

Я легонько похлопал его по плечу, чтобы привести в себя; он как будто не заметил, но затем его глаза оторвались от мертвой точки, в которую вперились, и он посмотрел на меня. Он выглядел ошеломленным и растерянным.

— В чем дело? — спросил я, испытывая искреннее сочувствие, а не только вполне реальное любопытство. Я вспомнил, как Лонгмен упомянул

про его нервный припадок вследствие перенапряжения из-за неудач с палаццо. Было ли это проявлением его недуга? В подобных вещах я не имел никакого опыта.

— Прошу у вас прощения, — сказал он потом запинаясь. — Такая нелепость с моей стороны. Пожалуйста, забудьте. Ну, я пойду.

— Ни в коем случае, — ответил я. — Я не знаю, что вас тревожит, но оставить вас одного сейчас никак не могу. Послушайте, я прогуляюсь с вами. Никакого затруднения, и вообще я в настроении прогуляться. Если у вас нет желания разговаривать, мы будем мерить улицы в торжественном молчании и наслаждаться ночным воздухом. Не думайте, что я хочу узнать ваши секреты. Хотя, конечно, хочу.

Тут он улыбнулся и позволил мне повести его к концу улочки. Там он указал налево, в противоположную сторону от Сан-Марко, давая понять, что пойдём мы в этом направлении. Он молчал довольно долго. Мы миновали Риальто, прежде чем он застонал и обеими руками яростно зачесал у себя в голове.

— Вы должны простить этот спектакль, — сказал он, силясь вернуться к нормальности. — Я, должно быть, выглядел нелепо.

— Вовсе нет, — ответил я, надеюсь, успокаивающим тоном, — но действительно вы меня напугали. Хотите рассказать мне, чем вы были так расстроены?

— Хотел бы, если бы не боялся, что про это услышит Лонгмен. Он страшный сплетник, а я не хочу стать предметом насмешек.

— Не бойтесь, — ответил я. — Я вообще не собираюсь говорить мистеру Лонгмену ничего сколько-нибудь существенного. Если вы знали бы меня ближе, то убедились бы, что доверенному мне ничто не угрожает.

Что было чистой правдой. Естественная черта моего характера укрепилась благодаря моему опыту в Сити, где сведения — это все. Эксклюзивное обладание фактом стоит куда дороже денег. Деньги можно занять, цена сведений много выше. Скажем, например, вы услышали о компании, которая нашла золото в Южной Африке. Достаточно просто занять деньги и купить ее акции, пока они не подорожали, и получить прибыль. Никакие деньги в мире не помогут вам, если вы не узнаете этот факт раньше других. Я никогда в жизни не заключал сделок без предварительных сведений и не знаю никого, наделенного здравым смыслом, кто не поступал бы так же.

— Ну, так я буду рад рассказать про пережитое мной, если вы готовы слушать и обещаете перебить меня, если сочтете мою историю нелепой или скучной.

— Обещаю.

Он глубоко вздохнул и начал:

— Я упоминал, что меня сюда прислал мой дядя для исполнения контракта с семьей Олбермарлей. Я приехал около пяти месяцев назад с моей семьей и взялся за дело как мог лучше. Это было нелегко и оказалось бы тяжелой нагрузкой и для здешнего уроженца много опытнее меня. Дом был в гораздо худшем состоянии, чем мне давали понять, рабочие ненадежные, подыскивать необходимые материалы хлопотно и дорого. Моя жена не хотела ехать сюда и глубоко несчастна, бедняжка.

Возможно, вы не поверите после того, что видели, однако я продвинулся, хотя каждое продвижение вперед сопровождается какой-либо заминкой. Нарушения расписания по всем направлениям и огромное превышение бюджета, бесспорно, но причина в том, что семья не имела ни малейшего представления, какую обузу взвалила на себя.

Угнетает меня не это, хотя я и готов признать, в какой мере напряжение делает меня более впечатлительным. Я всегда был нервным. Не думаю, что человек вроде вас — вы выглядите таким разумным и уравновешенным, — не говоря уж о человеке вроде Макинтайра, испытывал бы муки, которые терзают меня последние недели. Короче говоря, я стал жертвой галлюцинаций самого ужасного рода. Но только я не могу полностью принять, что они вполне то, чем считаются. Они слишком реальны для плода воображения и все же слишком странны, чтобы быть реальными.

Вам следует знать, что я сирота. Моя мать умерла, рожая меня, а вскоре умер и мой отец. Вот почему меня вырастили сестра моей матери и ее муж, архитектор. Моя мать умерла в Венеции. Они путешествовали по Европе, продляя медовый месяц, и задержались здесь на несколько месяцев, готовясь к моему рождению.

Я остался жить, она умерла. Прибавить тут нечего, но сердце моего отца было разбито. Я был отправлен в Англию к моей тетке, а он продолжал путешествовать, чтобы справиться с горем. Увы, на обратном пути в Англию, в Париже, он заразился лихорадкой и тоже умер. Мне тогда было два года. Я ничего о них не помню и знаю только то, что мне говорили.

Пожалуйста, не думайте, будто я отклоняюсь от темы, говоря это. Я был абсолютно здоров душой и телом, пока не приехал сюда. Меня воспитывали надлежащим образом и хорошо. Не уверен, что я предназначался в архитекторы, но со временем я могу стать вполне компетентным. В моем прошлом нет ничего, что предсказывало бы происходящее со мной здесь, в городе, где умерла моя мать.

Все началось, когда я шел по улице, направляясь к складу каменщика, насколько помню, и увидел идущего мне навстречу старика. Ничего в нем не возбуждало интереса, и все же я поймал себя на том, что гляжу на него так, как смотрят, когда видят нечто завораживающее, зная, что смотреть нельзя. Вы отводите взгляд и обнаруживаете, что ваши глаза вновь и вновь устремляются назад.

Приближаясь, он поклонился, а затем мы прошли мимо друг друга, продолжая каждый свой путь. Я оглянулся, чтобы еще раз поглядеть на него, но он исчез из виду.

— И все? — спросил я с некоторым удивлением, поскольку он, казалось, полагал, что добавлять что-либо нет нужды.

— В первый раз — да. Судя по вашему тону, никаких поводов для озабоченности не было; неясно даже, почему я вообще обратил на него внимание. Тем не менее я был встревожен, и мои мысли невольно вновь и вновь возвращались к этому моменту. Затем это произошло снова.

На этот раз я шел вдоль набережной. Был разгар дня, так что бездельники и зеваки околачивались там — сидели на земле, заполняли ступеньки мостов, по обычаю коротая часы в ничегонеделанье. Я торопился, у меня была деловая встреча, и я опаздывал. Поднимаясь по ступенькам моста, я посмотрел вверх. Опять он! При виде его я замедлил шаг, самую чуточку, а он сунул руку в карман, вытащил часы и посмотрел на них. Затем улыбнулся мне, будто собираясь сказать: «А вы опаздываете».

Я торопливо прошел мимо, чувствуя себя почти задетым подразумевавшимся упреком, и с решимостью продолжал свой путь. На этот раз я не оглядывался. Понимаете, он знал, что я опаздываю. Он знал про меня. Он, должно быть, следил за мной.

— Но вы про него ничего не знаете?

— Нет.

— А тот, с кем вы собирались встретиться, он не мог что-то сказать? Вы не спросили?

— никоим образом, — сказал он категорически.

— опишите мне этого человека.

Мы шли медленно и, что до меня, никуда конкретно. Я полагал, что Корт знал, куда он направляется. Во всяком случае, он поворачивал направо и налево, будто следуя какому-то пути, а не бесцельно бродя, пока говорил, поглощенный своими мыслями. В безмолвных пустынных улицах наши шаги повторялись эхом между зданиями, сопровождаемые плеском воды, а порой отражением лунного света в каналах, когда облака редели, и

все это создавало странную и волшебную атмосферу, которую повесть Корта усугубляла, а не развеивала.

— Он коротышка, одет старомодно, слегка сутулится. Его походка казалась обычной, хотя при желании он способен двигаться быстро и бесшумно. Внимание привлекает его лицо. Старое, но без намека на слабость или дряхлость. Скажите, что он стар, как город, и я поверю вам. Лицо многих поколений, бумажно-бледное, невероятно утомленное и исполненное печали. Стоит увидеть его, и уже нельзя оторвать взгляда. Доктор Мараньони иногда пользуется своих пациентов гипнозом. Он верит, что личность воздействующего важнее любых приемов, что он подчиняет испытуемого своей воле. Именно это я и почувствовал: что тот человек пытался овладеть моим сознанием.

Я некоторое время позволял его словам раствориться в ночном воздухе, взвешивая, не актерствует ли Корт, сознательно стараясь создать определенное впечатление для собственных целей. Бесспорно, я склонялся к выводу, что выслушиваю симптомы нервного срыва, который Лонгмен ожидал с минуты на минуту. Но я-то помнил о собственном видении вскоре после моего приезда в город, о старике и серенаде. Оно также оказало на меня странное воздействие. Либо мы оба сошли с ума, либо ни тот и ни другой, а я неколебимо верил в здравость моего рассудка.

— Слишком эффектный вывод на основании двух мимолетных встреч без какого-либо разговора, — сказал я умиротворяющим тоном.

— Они не были единственными, — ответил он, торопясь развеять мои подозрения. — В следующие несколько недель я видел его все чаще и чаще. Он следует за мной, куда бы я ни шел.

Его голос становился все более высоким и истеричным, а потому я попытался его успокоить.

— Он не пытается причинить вам вред? Не угрожает вам? Судя по вашему описанию, он был бы не в силах напасть на вас, даже если бы захотел.

— Нет. В этом смысле он на меня не покушается.

— Он когда-нибудь заговаривал с вами?

— Один раз. Только один. Я увидел его в толпе на прошлой неделе, когда возвращался домой с работы. Он шел мне навстречу и приветственно кивнул при моем приближении. Я не вынес и попытался схватить его за плечо, чтобы остановить. Но не сумел. Я протянул руку к его плечу, которого там не оказалось. Будто моя рука прошла сквозь него. Он продолжал идти, и я крикнул: «Кто вы?»

Он остановился, обернулся и ответил тоже по-английски. «Я

Венеция», — сказал он. И только. Затем он поспешил дальше и через несколько секунд исчез.

— Он итальянец?

— Акцент был венецианским. Но, вы видите, он преследует меня ради каких-то собственных целей. Иначе зачем бы он сказал такое? Я чувствую, что схожу с ума, мистер Стоун.

Его голос вновь пронизывала нарастающая паника. Я крепко стиснул его плечо, надеясь болью привести его в чувство, прежде чем он полностью утратит контроль над собой. Сказать вслух, что, на мой взгляд, эти встречи скорее всего были еще одной галлюцинацией, что ему следует обратиться за медицинской помощью, прежде чем это превратится в полную истерию, я не рискнул. И собственное мое видение я тоже не упомянул. Не знаю почему. Думаю, мне было слегка противно свидетельство его слабости. Себя я видел сильным и трезвомыслящим и предпочитал держать его на расстоянии.

— Спокойствие, мой друг, спокойствие, — сказал я мягко, все еще не разжимая пальцы.

Напряжение понемногу отступило, и он как будто внял мне. Затем я осознал, что он затрясся от рыданий, так как его усилия овладеть собой, проявить достойную мужественность оказались тщетными. Я не нашел что сказать. Я был глубоко смущен этим спектаклем. Так унижительно, в людном месте, а я едва с ним знаком. Лучшее во мне указывало, что Корт должен быть в ужасном состоянии, раз открылся мне до такой степени, а все прочее лихорадочно предпочло бы, чтобы он воздержался.

— Я крайне сожалею, — сказал он в конце концов, когда овладел собой. — Это был кошмар, и я не знаю, где искать помощи.

— А что думает ваша жена?

— О, я не хочу тревожить Луизу, — сказал он колеблясь. — Бедняжка, у нее так много забот, ведь Генри еще так мал. А кроме того...

Он не договорил и погрузился в угрюмое молчание.

— Простите меня за вопрос, — сказал я со всей деликатностью, на какую был способен, — но уверены ли вы, что он реален?

— Вы думаете, что мне это представляется? — Мой вопрос его не рассердил. — Поверьте, я взвешивал это. Не схожу ли я с ума? Не плод ли моего воображения этот человек? Разумеется, я недоумеваю. Я почти надеюсь, что это так. Тогда я по крайней мере мог бы обратиться к Мараньони, и он бы мог... сделать то, что такие, как он, делают с безумцами. Однако его шаги четко отдаются на плитах тротуара. Он говорит и улыбается. Он пахнет. Очень четкий запах, будто старого шкафа,

который не открывали много лет, чуть сыроватый, заплесневелый.

— Но вы же сказали, что не смогли прикоснуться к нему.

Он кивнул.

— Но я ощущал на себе его дыхание, когда он говорил. Он был для меня столь же реален, как вы теперь.

Он ухватил меня за локоть, будто проверял себя.

— Не знаю, что сказать, — ответил я. — Если этот старик существует, нам следует остановить его и принудить отвечать на вопросы. Если нет...

— Тогда я безумен.

— Тут вы выходите за пределы моих познаний. Я практичный человек. Пока я предполагаю, что у вас на губах пена не выступает.

Он засмеялся — в первый раз после обеда.

— Вы очень добры, — сказал он. — И могу я положиться, что...

— ...я никому не проговорюсь? Даю вам честное слово. Полагаю, вы про это никому больше не говорили?

— Кому я мог бы рассказать?

Мы подошли к его жилищу, мрачному, обветшавшему, — как я узнал позднее, бывшему гетто, куда были согнаны венецианские евреи и заперты там, пока Наполеон их не освободил. Какую бы пользу новообретенная свобода ни принесла евреям, она мало что дала этой части города, столь же смрадной и гнетущей, как любой промышленный город в Англии. Даже хуже, следует мне сказать, так как обветшалые дома грозили вот-вот рухнуть — настоящий кроличий садок крохотных комнатусек, куда когда-то были втиснуты тысячи на жертву всяческим вредоносным миазмам, какие только могут породить огромные скопления людей и антисанитарные условия. Корт поселился там из-за дешевизны; это я мог легко себе представить. Я бы потребовал внушительного вознаграждения просто за то, чтобы войти в подобный дом. По-видимому, его дядя (хотя и скрупулезно исполнял свой долг, пока он рос и учился) отличался заметной скаредностью, порожденной верой, что всякое удовольствие оскорбляет Бога. Поэтому Корт оставался на коротком поводке, и ему едва хватало, чтобы как-то обеспечить свою семью и себя кровом и едой в самых стесненных условиях. Его жилище позволяло сэкономить на маленькие развлечения.

Он заметил выражение моего лица, когда мы остановились перед его дверью.

— Я живу не в роскоши, — сказал он виновато. — Но мои соседи — бедняки и даже беднее меня. По контрасту с ними я аристократ.

Меня бы это не устроило. Но его слова напомнили мне, что я обязался

посетить маркизу Лонгмена. Я спросил у Корта про нее.

— Очаровательная женщина, — сказал он. — Пойдите непременно. С ней стоит познакомиться. Луиза ее знает и отзывается о ней самым лестным образом, они очень сблизились.

Он сообщил мне адрес, а затем потряс мою руку.

— Мои извинения за спектакль и благодарность за ваше общество, — сказал он.

Я сказал, чтобы он об этом забыл, и повернулся, чтобы возвратиться в отель. Ночной воздух смыл Корта и его беды даже прежде, чем он скрылся из виду.

Глава 6

К шести часам следующего вечера я водворился в мое новое жилище палаццо Боллани на рiuo ди Сан-Трoвaзo в Дорсодуро, собственность маркизы д'Арпаньо. Я послал свою карточку в десять часов этого утра и был немедля проведен к ней. Внутренним оком я уже видел старую даму, подобающе одетую, со свидетельствами былой красоты тут, там и повсюду. Немного полноватая, пожалуй, но в стесненных обстоятельствах, непрерывно грезящая о блеске своей юности. Приятное, хотя и меланхоличное видение, не оставлявшее меня до той секунды, пока я не вошел в салон.

Она была уродливой безоговорочно, но своеобразно. Под пятьдесят, заключил я по тонким линиям вокруг ее глаз и рта, еле различимым под толстым слоем пудры; высокая и царственная, с длинным носом и черными волосами, явно крашенными, толстой косой свисавшими ей на спину. На ней было платье с верхней юбкой из белого атласа с зеленой отделкой, слишком модное для женщины ее возраста. Шею обвивало ожерелье из изумрудов, привлекавшее внимание к ее необычным глазам точно такого же оттенка. На ее костлявых пальцах было несколько излишне крупных колец, и она пользовалась духами, такими крепкими и всепроникающими, что даже и теперь, сорок лет спустя, я все еще ощущаю их запах.

Я не так уж часто теряю дар речи, но контраст между ожидаемым и реальным был в этом случае настолько разительным, что я не нашелся, что вообще сказать.

— Надеюсь, вы не против того, чтобы говорить по-французски, — сказала она, идя мне навстречу. — Мой английский ужасен, и, полагаю, ваш венецианский не лучше. Разве что вы предпочтете немецкий.

Голос у нее был грубый, а легкая улыбка — гротескной в своей девичьей кокетливости. Я ответил, что французский мне подойдет, а про себя поблагодарил мою мать за мудрость, подсказавшую ей столько лет тому назад нанять французскую гувернантку для меня и остальных детей. В то время родители не могли позволить себе лишних расходов, а с гувернантками вы получаете то, за что платите — в данном случае ленивую, грубую дрянь. Но она говорила по-французски и, раз оказавшись в нашем доме, выдворена была с большим трудом. Однако оставалась она достаточно долго, чтобы научить меня языку, хотя как следует я овладел им только с Элизабет. Она принадлежит к тем возмутительным людям, кто подхватывает языки на лету, просто слушая. Мне пришлось заниматься

очень усердно, но Элизабет всегда предпочитала французский английскому. Вот я и занимался, чтобы угодить ей.

Маркиза села, жестом пригласив сесть и меня, предложила кофе и умолкла, глядя на меня с легкой улыбкой.

— Я понял от мистера Лонгмена, что вы иногда позволяете приезжим останавливаться в вашем доме, — начал я с некоторой нерешительностью. Я тут был для этого, и рано или поздно эта тема должна была всплыть.

— Совершенно верно. Мария сводит вас осмотреть комнаты немного погодя, если я решу, что могу стерпеть вас под моим кровом.

— А!

— Я делаю это не ради денег, вы понимаете.

— Вполне, вполне.

— Но я нахожу интересным иметь людей вокруг себя. Венецианцы так скучны, я просто изнемогаю от них.

— Вы сами не венецианка?

— Нет.

Дальнейшей информации она не предложила. И, как бы мне этого ни хотелось, продолжать расспросы я не мог.

Собеседницей она была не из легких. Вернее, она принадлежала к тем, кто молчанием вынуждает говорить других и лишь глядит с легкой улыбкой, которая мелькает на губах куда заметнее, чем в глазах, требуя, чтобы они заполнили пустоту.

И я рассказал ей о моем путешествии по Италии, моем пребывании в отеле «Европа», моем решении остаться и моей потребности в несколько более удобной обстановке.

— Понимаю. Многое в своем объяснении, я думаю, вы забыли упомянуть.

Меня удивило ее замечание.

— По-моему, нет.

Опять молчание. Я прихлебывал кофе, а она сидела неподвижно, вглядываясь в меня.

— И как вам Венеция, мистер Стоун?

Я ответил, что нахожу ее очень приятной, хотя видел мало.

— И вы поступили, как все здесь, наняли гондолу, чтобы предаваться в ней печальным мыслям?

— Пока еще нет.

— Вы меня удивляете. Разве вы не разочаровались в любви? Не чаєте исцеления разбитому сердцу? Вот почему люди по большей части приезжают сюда. Они находят этот город наилучшим местом, чтобы

предаваться жалости к себе.

Внезапная резкость ее тона, тем более странная из-за неожиданности. Я посмотрел на нее с любопытством, но ничего по ее лицу не прочел. Сказала она это как нечто само собой разумеющееся, возможно, как просто наблюдение.

— Не в моем случае, мадам, — ответил я. — Меня ничто не угнетает.

Если она хотела вызвать у меня неловкость, заставить обороняться, то преуспела. Я не привык к подобным разговорам. Она увидела это и наслаждалась моим смущением, что толкнуло меня дать отпор.

— Значит, вы здесь, чтобы ваше сердце было разбито. И станете таким же, как прочие.

— Какие прочие?

— Те, что не могут уехать. Их тут много. Город захлопывает слабых в капкан и не позволяет им уехать. Будьте осторожны, если останетесь тут надолго.

Я покачал головой. Я не мог понять, о чем она говорит.

— Иностранцы, особенно жители северных стран, делают ошибку, когда приезжают сюда. Они не принимают Венецию всерьез. Они приезжают из своих стран, полных всяких машин и денег, и испытывают к ней жалость. Они считают ее безобидным осколком прошлого, некогда прославленной, теперь лишенной надежды. Они гуляют и восхищаются, но ни на секунду не избавляются от чувства презрения и превосходства. Теперь господа вы, не так ли?

Вновь я ничего не сказал.

— А Венеция ждет, выбирает свой час. Большинство приезжают и осматривают и снова уезжают. Но слабые — ее добыча. Она высасывает из них жизнь каплю за каплей. Отнимает у них волю, их самостоятельность. Они остаются, они остаются еще на немного, а затем не могут и вообразить, что уедут. Тогда жизнь лишается своей цели, они становятся всего лишь теньями, бродят по улицам, каждый день едят в одном и том же заведении, ходят одним и тем же путем каждый день, но по какой причине, вспомнить не могут. Это опасное место, мистер Стоун, оно проклято. Берегитесь его. Оно живое, и дух его кормится слабыми и беззаботными.

— По-моему, маловероятно, что это станет моей участью.

Она негромко засмеялась. Чарующий смех, но тревожащий в контексте ее слов, в которых не было и намек на шутливость.

— Может быть, и нет. Но вы приехали на несколько дней, а сейчас снимаете комнаты для более долгого пребывания тут. Я чувствую, вы что-то ищете, мистер Стоун, хотя и не знаю что. Как вы и сами, я думаю. Но

будьте осторожны, здесь вы найдете только печаль. Я это чувствую в вас; в тяжких обстоятельствах вы расцветаете. Вы считаете себя сильным, но самое слабое ваше место — ваше сердце. В один прекрасный день оно вас уничтожит. Вы это знаете, ведь так?

Эта мелодрама окончательно заставила меня молчать. Она, очевидно, пыталась заморозить меня, вывести из равновесия и, если хотите, подчинить разговор прихотливостью своих слов. И столь же очевидно, она добивалась своего. Я ощутил охватывающий меня туман дурных предчувствий и осознал, что это было тем же самым чувством, которое я испытал накануне. Чувство грусти, пока я шел по улицам, ощущение необъяснимости, охватившее меня в ту первую ночь, когда я смотрел на палаццо, — все это были слагаемые того чувства, которое она выразила в словах. Желание попробовать бесшабашность крайних эмоций, отбросить обычную осмотрительность, продуманный жизненный путь, какой я создал для себя. Вот ради чего я покинул Англию, разве нет? Отчего я три месяца странствовал по Италии в поисках именно этого? Но еще не нашел. В этот самый момент я поймал себя на том, что думаю о моем кратчайшем знакомстве с миссис Корт, о том, как ее глаза встретились с моими.

Это была всего лишь нелепость, соединение солнечного света и усталости, непривычность окружения, вода. Очень успокаивающие и расслабляющие по-своему. И тем более из-за их чуждости моей обычной жизни. Я посмотрел на маркизу и улыбнулся. Почти ухмыльнулся. Это был вызов ей. Безмолвное утверждение, что ее слова меня не обманут, как бы она ни старалась. Я орешек крепче человека вроде Корта.

Она улыбнулась в ответ, принимая вызов, и хлопнула в ладоши.

— Мария! — позвала она. — Пожалуйста, покажи мистеру Стоуну комнаты.

— Значит, вы сможете стерпеть меня в вашем доме? Я польщен, — сказал я.

— Так и следует. Но у вас аура честного человека, хорошего человека, — ответила она очень серьезно.

— Прошу прощения?

— Ваша аура. Она лучится вокруг вас, раскрывая природу духа, питающего механизмы вашего тела. Ваша — мягкая, голубая и желтая. В духе вы разделены между желанием мира и желанием приключений. Власти и покоя. Вы желаете многого, но я чувствую в вас и волю к справедливости. Вы разделены между мужской линией и женской. Но атрибуты в вас распределены неверно. Приключений желает женское в вас, а мира — мужское. Вам будет трудно примирить их, мистер Стоун, но они

делают вас интересным.

Создалось четкое впечатление, что она желает моего присутствия в ее доме, чтобы изучать меня, будто какой-то нелепый энтомолог; тем не менее битву между моей пламенной матерью и моим миролюбивым отцом она описала с поразительной точностью. Ошеломляющей точностью. И увидела, что на меня это произвело впечатление, хотя говорила только вздор.

Упаковка багажа задержалась из-за встречи, которая произошла у меня по возвращении в отель.

Когда я вошел в вестибюль и спросил свой ключ, я заметил, что какой-то коротышка вскочил с кресла и направился ко мне.

— Мой дорогой Стоун, — сказал этот субъект с густым итальянским акцентом, хватая мою руку и разворачивая меня лицом к себе. — Я никак не ожидал, что это окажется верным. Поразительно! Я так рад видеть вас!

Я смотрел на него в недоумении. А затем меня осенило, кто он. По моему, я упомянул, что за несколько лет до того я попробовал пуститься в разгул. Я не стыжусь этого периода моей жизни. Я полагаю, такое неизбежно для молодых мужчин, чья энергия не истощается физическим трудом. И я, повторяю, убедился, что удовольствия такой жизни приедаются очень скоро, и никогда уже к ней не возвращался. Я не тратил мои более зрелые годы на прикидывание, какие ощущения мог бы я получить от того-то или того-то, и в среднем возрасте у меня не возникало ни малейшего соблазна попытаться вернуть молодость и тем превратить себя в посмешище.

В тот период я свел знакомство с компанией молодых людей. Некоторые были отпрысками знати далеко на пути к болезни и ранней смерти от эксцессов (тем самым ослабляя социальный класс и предотвращая вероятность революции — ведь зачем брать на себя труд свержения людей, которые преотлично сами себя обессиливают?). Другие были просто бездельниками и проматывали наследства, разыгрывая из себя поэтов и художников; и еще парочка-другая студентов-медиков, настолько необузданных, что я поостерегся бы лечиться у них. Один из них, однако, теперь личный врач его величества, из чего следует, что даже величайшие грешники способны на искупление. Из прочих один стал судьей Высокого суда, а другой застрелился вследствие Данберийского скандала — идиотского плана надуть публику, суля огромные доходы от железной дороги, построенной через двухсотмильное болото в России. Мой друг, к которому я продолжал питать привязанность до самого конца, влез в

огромные долги, чтобы купить акции в надежде выбраться из тяжелейшей финансовой ситуации, и был окончательно разорен.

Остановил меня сейчас один из студентов-медиков. Я не обращал на него никакого внимания и даже не знал его имени — какое-то иностранное, но все называли его Джо, прозвище более оскорбительное, чем дружеское, так как оно несло в себе небрежность, адресованную четвероногому любимцу или туземному носильщику, а не равному.

Джо — или дотторе Джузеппе Мараньони, как он звался теперь, — сильно изменился за последние несколько лет, это было ясно. Прежде его личность никак не проявлялась, и вы попросту его не замечали — один из тех, кто ждет, чтобы с ним заговорили, и благодарен, если его включают в разговор. Только его глаза намекали, что он не так прост: он всегда наблюдал, всегда интересовался. Но с какой целью, оставалось неясным.

И вот этот человек теперь сиял на меня улыбкой, тряс мою руку и вел меня к столику в углу поболтать по душам. Совсем не весело встречать прежнего знакомого, которого не видел несколько лет. На той стадии шок был ограниченным, но вполне реальным. Теперь это надрыв сердца — встретиться с кем-то когда-то знакомым, с кем не встречался лет тридцать — сорок, и увидеть поредевшие волосы, сгорбленность, морщины, когда ожидаешь (не важно, сколько бы ясно ты ни осознавал, что этого быть не может) увидеть его или ее точно такими же, как при последнем расставании. И понять, что они так же потрясены твоим видом.

Сменив страны, мы обменялись ролями. Мое изумление из-за внезапного возвращения Мараньони в мою жизнь было столь велико, что я больше молчал. Он, по контрасту, не умолкал ни на секунду. И помнили мы все очень по-разному: он говорил о духе товарищества его дней в Лондоне, о чудесных друзьях, какими обзавелся там, спрашивал про членов той компании начинающих прожигателей жизни, а мне было нечего ему ответить, так как, за исключением Кэмпбелла, я порвал с ними всеми, когда оставил тот образ жизни, да и вообще я всегда не терпел пересудов. Затем он начал удивлять меня.

— Жалею, что Лондон не нравился мне сильнее, — сказал он. — Такой скучный город.

— В сравнении с Венецией?

Он застонал.

— Нет-нет. Профессионально Венеция интересна, но не блестяща, увы. Никакого сравнения с таким городом, как Париж, например. Англичане, простите меня, друг мой, чересчур респектабельны.

Я хотел было оскорбиться, но ограничился вопросительным взглядом.

— Возьмите моих соотечественников, студентов-медиков. В Париже они живут вместе и едят вместе, и у всех есть подружки-продавщицы для ведения хозяйства, пока они не получают диплом или не найдут подходящую жену. Их жизнь принадлежит им. В Лондоне каждый имеет квартирную хозяйку, ест каждый вечер какую-нибудь ее жуткую стряпню и ходит в церковь по воскресеньям. Буйные развлечения практически исчерпываются выпивкой.

— Сожалею, что вы были разочарованы.

— Я жил там не развлечений ради, а чтобы учиться и наблюдать. Что и получил сполна с большой для себя пользой.

— Учиться чему? Наблюдать что?

— Медицине, как вам известно. И особенно науке о психике. Я врачом рассудок, а потому мое дело изучать людей во всем их разнообразии. Я многому научился там, хотя и меньше, чем в Париже. Компания, к которой вы принадлежали, была очень поучительна.

Я, как легко представить, был несколько оскорблен такой фразой: подумать только, все время, пока мы его игнорировали, обходились как с ничего не значащей иностранной сошкой, он наблюдал и анализировал нас! Наподобие маркизы, только более научно, надеялся я. Он заметил мое расстройство и засмеялся.

— Не волнуйтесь, вы были наименее интересным среди них.

— Не вижу в этом ничего утешительного.

— Но кто знает, что таится под поверхностью? Я шучу. Вы были самым нормальным, куда нормальнее остальных моих товарищей. Они, учтите, были очень увлекательны, каждый по-своему. — Он назвал одного. — Явные дегенеративные наклонности, выпуклости, указывающие на сдавливание лобной части черепа. Бесспорно, тенденция к умопомешательству, разбросанность суждений и явная склонность к насилию.

— Он как раз утвержден королевским адвокатом, — заметил я сухо.

— Доказывает мои выводы, не так ли?

Я ничего не сказал. (Несколько недель назад мне стало известно, что мой былой приятель помещен в приют для умалишенных после зверского нападения на жену, с которой прожил тридцать лет. Случившееся держалось в секрете, чтобы мысль о сумасшедшем, решающем уголовные дела — как судья он стал знаменит обилием смертных приговоров, — не принизило грозное величие закона в глазах публики.)

— Увы, теперь мне редко выпадает удача заниматься такими сложными случаями, — сказал он почти тоскливо.

Меня это не очень интересовало, но я спросил, как шли его дела с нашей последней встречи. Оказалось, что Мараньони после завершения занятий в Париже вернулся в Милан, где недолго проработал в приюте для умалишенных, пытаясь вводить наилучшие французские методики. Он так преуспел (это его утверждения, не мои), что был переведен в Венецию, дабы воплощать тут новые идеи, как того требовало объединение с Италией. Он был эмиссаром государства, присланным реорганизовать приюты города и загнать в них буянов, убедить и усмирить сумасшедших, чтобы они выздоровели благодаря самым современным методам. Он не был излишне оптимистичен, хотя и доволен жалованьем, сопутствующим его новому посту.

— И чтобы вы не подумали, будто я несправедлив к Англии, заверяю вас, что в сравнении с Венецией она была раем. Здесь сумасшедшие все еще в руках священников, которые бормочут над ними свою абракадабру, и молятся об их выздоровлении, и бьют их, когда молитвы остаются без ответа. Как видите, на руках у меня огромная работа. Мне приходится одновременно бороться с сумасшедшими и с Церковью.

— И кто хуже?

Он махнул рукой.

— Знаете, иногда я их путаю. Дегенераты, — сказал он, прихлебывая из бокала. — Для них мало что можно сделать. Только определить, изолировать и ликвидировать. Этот город — жертва инбридинга. Поколения за поколениями не покидали лагуны. То, что вы видите как город несравненной красоты и неисчислимых богатств — воспаленный гнойник душевных заболеваний. Люди ослабленные, истощенные, неспособные сами о себе заботиться. Без сомнения, вы читали историю Венеции, о том, как она оказалась во власти Наполеона. Однако не Наполеон завоевал этот город. Непрерывное пожирание его населения дегенерацией лишило его какой-либо возможности сопротивляться.

— И что конкретно вы рекомендуете?

— Ну, если бы я мог поступить по-своему, то увез бы отсюда всех.

— Всех? Вы хотите сказать, весь город? — спросил я с сомнением.

Он кивнул.

— Если в доме чума, вы не довольствуетесь полумерами, верно? А Венеция как раз чумной город, заражающий всех, кто соприкоснется с ним. Наконец-то мы пытаемся создать нацию здесь, в Италии, и мы нуждаемся в энергичном здоровом населении, которое будет плодиться и преодолевать трудности современной жизни. Мы не можем рисковать, чтобы место, подобное этому, подорвало бы все наши усилия, подточило бы нашу

жизненную силу зараженными семенами.

Он улыбнулся изумлению, которое вызвали у меня его слова.

— Я говорю так категорично, потому что знаю: никто не станет меня слушать. Ни у кого не останется воли принять необходимые меры. Так что взамен я делаю, что могу и должен, от больного к больному.

— Мне неловко возражать против мнения ученого, но и в Лондоне, и в Париже я видел много бездельников. А здесь не заметил никаких тенденций к насилию.

Он умудренно кивнул.

— Дегенераты есть повсюду. Особенно в Европе, потихоньку рушащейся. Вы знаете, по оценке одного именитого врача, до трети всего населения, возможно, больны?

— И вы хотели бы избавиться от всех них?

— Невозможно, — ответил он, явно намекая, что не желал бы ничего лучшего. — Я пытаюсь опознавать их. Если бы можно было помешать им размножаться, тогда со временем проблема сошла бы на нет. А что до насилия, не давайте себя одурачить. Их природная вялость придает им внешнюю пассивность. Но когда что-то ломается, они ведут себя как дикие звери. Более того: этот город привлекает подобных людей. Они приезжают каждый день и убеждаются, что он в их вкусе. Например, человек по фамилии Корт...

— Я познакомился с мистером Кортом, — сказал я, без сомнения, с заметной сухостью. — И нахожу его очень приятным.

Мараньони улыбнулся с некоторым высокомерием.

— Вот почему существуют психиатры, — сказал он. — Чтобы замечать то, что недоступно нетренированному взгляду. Мистер Корт — человек на самом краю и может упасть в пропасть безумия в любой момент. Его никак не следовало посылать сюда. Что характерно для вас, англичан. Его отправили сюда, чтобы он закалился, если тут верно употребить это выражение. А результат может быть прямо противоположным и доконать его. У него, знаете ли, галлюцинации. Он думает, будто его преследует какой-то человек. И не просто какой-то человек, о Боже мой, нет, но сам город.

— Откуда вы это знаете?

— А! — сказал Мараньони, прикоснувшись к носу. — Тут мало секретов, как вам предстоит узнать.

— Вы считаете его сумасшедшим?

— Корта или призрачного венецианца?

— Обоих.

— Если этот венецианец вообще существует, то, естественно, обоих. Убеждение в своей бессмертности не такая уж редкость, а убедить себя, будто вы кто-то другой, вообще обычное дело. Я много раз сталкивался с Наполеоном, и с принцами, и с детьми папы, непременно похищенными во младенчестве. Убедить себя, что ты — город, вот это очень странно. Я никогда с подобным не сталкивался, и надеюсь, что он существует. Я был бы в восторге встретиться с ним.

— Ну а Корт?

— Чрезмерно чувствительный молодой человек, на мой взгляд. Он впитывает нездоровость города, но вместо разумного отношения к этому воплощает ее в свои фантазии. Венецианец — город-дегенерат, убивший свою мать, что вызывает в нем нездоровое влечение. Он должен немедленно уехать, я так ему и сказал, но он отказывается слушать. Говорит, что это было бы трусостью, что у него здесь работа, которую он должен выполнить. Но это будет стоить ему рассудка, если он не побережется. Особенно если и дальше будет держать свою жену при себе.

Мараньони не был джентльменом. Достаточно скверно, что доктор вот так говорит о своем пациенте. Но бросить тень на миссис Корт? Я счел это возмутительным. Думаю, он заметил выражение моего лица.

— Ах уж вы, рыцарственные англичане! — сказал он с легчайшим презрением. — Хорошо, мне не следовало говорить этого, но миссис Корт я нахожу...

— Потому что вы, без сомнения, не одобряете утонченности и характера в женщинах, — сказал я, — поскольку вы привыкли к итальянкам.

И все-таки невыносимый доктор не обиделся.

— Да, возможно. Бесспорно, они очень отличаются манерами. Хотя отнюдь не столько по природе. Вы знакомы с этой леди? Полагаю, что так.

— И нахожу ее очаровательной.

— Да, она такова. Она такова. Ну, я принимаю упрек. Несомненно, вы знаете ее лучше, чем я, всего лишь итальянец.

Меня этот разговор несколько встревожил. Теперь я привык, что капиталистов вроде меня не терпят за их безжалостную целеустремленность, их беспощадность в эксплуатации других. Может, мы и таковы, но должен сказать, что я ни разу не сталкивался с капиталистом и вполнину столь безжалостным, как любой из этих врачей рассудка. Если им когда-нибудь разрешат воплотить их идеи на практике, они будут страхолюдны. Убеждение, будто их метод делает их непогрешимыми, будто их заключения всегда верны, толкает их претендовать на

поразительную власть над другими. Капиталист хочет денег своих заказчиков, рук своих рабочих. Психиатры хотят их души.

К счастью, Мараньони устал от этой темы, как и я, и из вежливости начал расспрашивать меня о моем путешествии.

— Вы уже познакомились с некоторыми людьми здесь, мне кажется. Вас мне упомянул мистер Лонгмен.

— Кое с кем, — ответил я. — И я как раз перебираюсь пожить в палаццо маркизы д'Арпаньо.

— Ого! — сказал он с улыбкой. — Значит, вы человек особенный. Она очень разборчива. Что вы сказали или сделали, чтобы понравиться ей?

— По-видимому, причина в моей ауре. Или в толщине моего бумажника.

Мараньони засмеялся.

— А, да! Я и забыл. Маркиза же провидица.

Я уставился на него.

— Нет, правда. Духи буквально становятся в очередь, чтобы побеседовать с ней. Ее гостиная должна временами превращаться в бедлам. Она обладает даром. Глазом. Это нечто спиритуалистическое и означает, что она... абсолютно помешана.

— Еще одна? Вы меня пугаете.

— О, она достаточно безобидна. На удивление. Естественно, я учуял клиентку, когда впервые встретился с ней. Но меня ждало разочарование. Вы увидите, что, за исключением некоторых категоричных высказываний, она совершенно нормальна.

— И это означает...

— Совершенно четко, что она сумасшедшая. Только вопрос времени, прежде чем безумие вырвется наружу и станет более очевидным. Пока же она совершенно нормальна в поведении. Не считая духов, конечно. Вас, полагаю, на каком-нибудь этапе пригласят участвовать в сеансе. Как всех. Но у вас не будет никакого предлога, чтобы не участвовать. Так что вам придется пойти. Вы верите в духов? В привидения? Ауры? В существа, которые стучат по ночам или под столом?

— Да нет, — сказал я.

— Жаль. Но она ничего против иметь не будет. Если вы выражаете сомнения, она только улыбается вам сочувственной улыбкой. Слепые глупцы, которые не верят очевидному, даже когда оно у них перед глазами. Это ваша потеря, а не ее, если вы отгораживаетесь от всех астральных наслаждений и высшей мудрости, которую они даруют.

— Немножко смахивает на психиатров, — сказал я с некоторым

облегчением.

— Абсолютно на психиатров, — сказал он благодушно. — Более того, маркиза говорит не так, как некоторые шарлатаны. Это и делает ее такой завлекательной. Ее сумасшествие абсолютно логично и разумно. Настолько, что она очень убедительна. Например, миссис Корт как будто попала под ее чары. Слово «чары» я употребляю метафорически, вы понимаете.

— Вы считаете всех женщин сумасшедшими? Но вы же должны знать и не таких?

Мараньони взвесил вопрос, затем покачал головой.

— Учитывая всё, нет. Все женщины помешаны на том или ином уровне. Вопрос лишь в том, когда (или если) помешательство даст о себе знать.

— То есть если я встречу женщину абсолютно нормальную и уравновешенную...

— Значит, она всего лишь не проявила симптомы сумасшествия. Чем дольше она останется в состоянии видимой нормальности, тем более буйно скрытое безумие. У меня ими набиты палаты. Некоторые женщины, очевидно, прячут симптомы всю свою жизнь. И сумасшествие так и не выходит наружу. Но оно всегда латентно.

— Значит, здравый рассудок — признак помешательства? То есть у женщин, я имею в виду.

— Боюсь, что так, увы. Однако я не догматик в этом вопросе в отличие от некоторых моих коллег... Скажите мне, — потребовал он, внезапно сменив тему, — деньги все еще ваше главное занятие в жизни?

— Почему вы так говорите?

Он пожал плечами.

— С самого начала было очевидно, что вы не намерены быть одним из бедняков в этом мире, — ответил он с улыбкой. — Вы всегда настороже. Если бы я сказал «рассчитываете», вы приняли бы это за оскорбление, которого я вовсе не подразумевал. А потому давайте скажем: слишком чутки и слишком умны.

— Да. Давайте скажем так. У меня действительно есть некоторые финансовые интересы.

— Которыми здесь вы не заняты?

— Нет.

— Так-так. — Он снова улыбнулся, что меня уязвляло. Есть что-то крайне раздражающее в людях, чьи высказывания претендуют на всезнание, кто притворяется, будто способен читать чужие мысли. — Я

никогда не видел вас как человека, ищущего праздников.

— Значит, пора поглядеть снова. Хотя в целом вы правы. Моя бездеятельность меня, правда, чуть угнетает.

— Однако вы остаетесь здесь.

Я кивнул.

— Возможно, в Венеции есть и другие занятия, кроме как глазеть на здания.

— Например?

Я пожал плечами. Я начинал находить его невыносимым.

— Строить их.

— Вижу, вы не склонны что-нибудь добавить, — сказал он после нескольких секунд взглядывания в мое лицо. — Вы предоставляете мне самому разобраться.

— Вот именно.

— Очень хорошо. Дайте мне неделю и несколько трапез вместе, и мы посмотрим. Если я угадаю вашу цель, вы угостите меня обедом. Если потерплю неудачу, угощаю я.

— Договорились, — сказал я с легкой улыбкой. — Теперь, если вы меня извините, мне надо упаковаться. Маркиза ожидает меня к шести.

— Охотно. Мне тоже пора. У меня новый пациент, которого доставили утром.

— Интересный?

Он вздохнул.

— Нисколько.

Глава 7

Пока я не съязвил Мараньони про строительство, я серьезно не задумывался о смутных идеях, мелькавших у меня в голове. И только из-за этого случайного разговора они превратились в конкретную цель, в маленький проект, который мог обеспечить мне занятие и покончить с бессмысленными блужданиями, которые начали меня тревожить.

Для начала требовалось найти подходящий участок. Предпочтительнее было бы купить землю в центре города и снести все строения там, расчистив место под современное и надежное здание. Однако я быстро выяснил, что подобный план вряд ли можно осуществить. Для любых работ такого характера требовалось разрешение совета, а местное правительство инстинктивно противилось всему, что отдавало современностью. Получить разрешение снести полдюжины дворцов на Большом Канале (каким великолепным ни сулил стать результат) вряд ли удалось бы, и в любом случае изначальная цена покупки была непомерной.

Тем не менее на следующее утро я нанял гондолу и распорядился, чтобы гребец плыл куда захочет. Достаточно приятное времяпрепровождение скользить по широким каналам и по узким, наблюдать, как водовозы наполняют колодцы, продавцы дров торгуют своим товаром — все странности деловой жизни, которые не могут не развиваться в городе, тонущем в воде. Эхо голосов, отражающихся от высоких узких зданий, чуть более резких и смешанных благодаря эффекту воды, начало возвращать мне настроение странной умиротворенности, охватившее меня в мой первый вечер и прямо противоположное моему предполагаемому намерению.

Короче говоря, я предался всевозможным фантазиям. Время от времени такое со мной там случалось. Меня поражало не то, что граждане Венеции были теперь столь ленивыми, а наоборот, что когда-то у них хватило энергии выбраться из лагуны и превратить свои деревянные хибары среди болотистых низин в великий метрополис, некогда правивший всем Средиземноморьем. Походи старинные венецианцы на меня в том моем настроении, они бы и по сей день барахтались по колено в иле.

Я пишу, как мне помнится, и придаю некоторый смысл моему настроению в то солнечное сентябрьское утро, когда гондола медленно обогнула угол и я увидел миссис Корт, идущую вдоль канала, в котором мы оказались. Узнать ее было нетрудно: она держалась и шла так, что могла быть только англичанкой, — более прямо и более подтянуто, чем

венецианки, которые не дисциплинируют свои фигуры.

Сверх того, одета она была так же, как когда я с ней познакомился, — отказавшись от мантильи по случаю прекрасной погоды и сохранив только шляпу, чтобы оберегать свою прекрасную белую кожу от солнца. Я окликнул ее и махнул гондольеру, чтобы он причалил к спускающимся к воде ступенькам.

— Я заходила к аптекарю за микстурой от кашля, — сказала она, когда мы поздоровались. То, о чем она говорила, ни малейшего значения не имело. Я заметил, что ее глаза были ясными и встречались с моими, пока мы разговаривали. Она стояла ближе ко мне, чем я ожидал бы от женщины, с которой был едва знаком.

— А это ваш сын? — спросил я, указывая на младенца на руках коренастой крестьянки, стоящей в нескольких шагах от нас. Ребенок выглядел больным и хныкал. Его сиделка или нянюшка покачивала его в своих объятиях и что-то напевала ему на ушко.

— Да, это Генри, — сказала она, почти не глядя. — Он очень похож на отца.

Разговор оборвался. Я обрадовался ей, но сказать мне было нечего. Непринужденная беседа, завязывающаяся между мужчинами или парами давних знакомых, была неуместной. Идти своей дорогой ни ей, ни мне не хотелось, но как продлить встречу мы не знали.

— Вы осматриваете достопримечательности? — сказала она наконец.

— Пожалуй, хотя я уверен, что видел этот канал по крайней мере три раза. А может быть, и нет. Они все вскоре начинают выглядеть одинаково.

Она засмеялась.

— Вижу, опыт мистера Лонгмена вас не обогатил. Не то вы знали бы, что дом на углу, — она указала на что-то у меня за спиной, я обернулся и увидел ничем не примечательное здание, давно заброшенное, — когда-то принадлежал даме с черепом.

Она улыбнулась, когда я опять оглянулся.

— Не хотите ли послушать историю, которую он мне рассказал?

— Очень.

— Не знаю, когда это произошло. Большинство венецианских историй не имеют дат. Но очень давно. Мужчина шел по проулку неподалеку отсюда. Он думал о своей невесте, но его радостные мысли потревожил нищий, кланчивший деньги. Он рассердился, ударил нищего ногой за его дерзость и угодил сапогом ему в голову. Нищий скатился в канал мертвый, а молодой человек убежал.

Настал день свадьбы, и в заключение новобрачных отвели в их

опочивальню. В дверь постучали, молодой человек с проклятием открыл ее и увидел жуткое зрелище. Труп с лохмотьями плоти на костях. Глаза, выпучившиеся из глазниц. Зубы, торчащие там, где плоть объели рыбы.

Он завопил, как вы легко можете себе вообразить.

«Кто ты? Что тебе надо?» — кричал молодой человек.

«Я убитый тобой нищий. Я ищу погребения», — ответил призрак.

Вновь он остался глух к просьбе. Он захлопнул дверь и заложил засов. Достаточно оправившись, он вернулся наверх в опочивальню.

Но, войдя в комнату, он побелел и упал без чувств.

«Что случилось, любовь моя?» — вскричала новобрачная.

Она вскочила и пошла к нему, но, проходя мимо зеркала, обернулась взглянуть на себя.

Ее лицо было белым и черепоподобным, волосы вырваны, глаза выпучились из орбит, зубы торчали там, где плоть объели рыбы.

Она говорила все тише, и я поймал себя на том, что подхожу к ней все ближе, пока она рассказывала эту жуткую завораживающую сказочку. Когда она закончила, я оказался так близко, что ощущал на лице ее дыхание. Она смотрела на меня открыто и прямо.

— И мораль сей истории: никогда не будьте недобры к нищим, — сказал я.

— Нет, — ответила она тихо. — Не выходите замуж за человека жестокого и бессердечного.

Я пришел в себя и попятился. Что произошло сейчас? Я не знал. Но ощущение было такое, будто меня пронизал разряд тока. Я был в шоке. Не из-за истории, а из-за рассказчицы и того, как она рассказывала.

То, как ее глаза были устремлены на меня, вот в чем была истинная причина шока, лежавшая за гранью приличий, на которую я отозвался. Или нет. Может, я просто вообразил, а может, она отозвалась на меня.

— Я огорчен, что путешествую столь невежественно, — сказал я.

— Может быть, вы нуждаетесь в проводнике?

— Может быть, и так.

— Может быть, вам следует обратиться к моему мужу, — сказала она и заметила разочарование на моем лице. — Я уверена, он разрешит мне показать вам достопримечательности города.

Опять эти глаза.

— Надо ли мне спрашивать его разрешения?

— Нет, — сказала она с намеком на презрение в голосе.

— Я не хотел бы затруднять вас. Я уверен, вы очень заняты.

— Думаю, я могла бы уделить вам некоторое время. Мне это доставит

большое удовольствие. Мой муж все время повторяет, что мне следует чаще выходить из дома. Он знает, насколько здесь все пусто для меня, хотя сам ничего не меняет, только извиняется.

Я не мог выкинуть эту встречу из головы ни сразу, ни потом. Она, как и мое чувство к городу, закреплялась во мне незаметно для меня. Но я осознавал, что то, что я видел и делал, сливалось с моими мыслями до той степени, когда я уже почти не отличал одного от другого. Хотя я желал развеять этот дурман, я также желал, чтобы это странное состояние продолжалось. Такая роскошь — подчиняться малейшему импульсу, позволять любой мысли приходить мне в голову, отбросить дисциплину, которую я тщательно культивировал. Не быть самим собой, собственно говоря.

Мне требовалось общество, чтобы отвлечься, а еще я хотел узнать побольше о Луизе Корт. Какова ее история, ее натура? Почему она так разговаривала со мной? Что она за человек?

К тому моменту у меня были всего две встречи с ней, и обе короткие. Недостаточно, чтобы объяснить ее место в моих мыслях. Бесспорно, ни одна другая женщина — а я уже познакомился со многими более обворожительными, более красивыми, более примечательными во всех отношениях — не воздействовала на меня столь быстро. Большинство я забывал сразу же, едва они исчезали с моих глаз.

Несколько дней спустя я отправился в ресторан, так как вновь нуждался в обществе, чтобы заполнить пустые часы. Маркиза была вполне счастлива кормить меня за экстравагантную дополнительную плату, но ее кухарка оказалась ужасной, а маркиза категорически настаивала на трапезах в старом столовом зале по всем правилам этикета. Только она и я на противоположных концах очень длинного стола. Разговаривать было по меньшей мере трудно, и главными звуками были позвякивания столовых приборов и производимые ею, поскольку ее вставные челюсти не были безупречно подогнаны и после каждого кусания их приходилось всасывать на место.

К тому же по крайней мере один раз в течение каждой трапезы ее лицо обретало грезящее выражение, которое, как я вскоре понял, было сигналом неминуемого Посещения из Потустороннего Мира. И сверх всего — отсутствие газового освещения, и с наступлением сумерек единственным источником света могли быть лишь свечи, а огромная многоцветная люстра в моей гостиной, хотя и вмещала несколько десятков свечей, не зажигалась, полагал я, еще задолго до того, как почил Серениссима. Она

чернела копотью бывшего употребления и покрылась густой пылью от неупотребления. Света она не давала, и невозможно было читать после обеда.

Как ни странно, я хотел новой встречи с Макинтайром. Он пробудил во мне любопытство, и мой интерес подогревался желанием узнать точно, что, собственно, ланкаширский инженер делает в городе, таком далеком от любой промышленности. А потому я завязал с ним разговор, игнорируя Корта и Дреннана, единственных других посетителей, бывших там в этот вечер.

Непростая задача, поскольку искусством беседы Макинтайр не владел. Либо он вообще не отвечал, либо односложно, а так как ел он, запивая, разобрать его слова было трудно. Все мои старания выражать интерес, задавать осторожные вопросы встречались бурканьем или ничего не значащими ответами.

В конце концов он вывел меня из терпения.

— Что вы делаете в этом городе? — грубо спросил я.

Макинтайр посмотрел на меня и чуть улыбнулся.

— Так-то лучше, — сказал он. — Если хотите что-нибудь узнать, спрашивайте. Не выношу эту манеру кружить вокруг да около.

— Я не хотел быть грубым.

— Что грубого в любопытстве? Будь оно о вещах или людях? Если хотите что-то узнать, так спрашивайте. Если я не захочу ответить, я вам прямо скажу. Почему я должен считать это грубым?

Он вытащил из кармана трубку, не обращая внимания, что остальные еще едят, быстро набил ее и закурил, выпуская большие облака смрадного, удушливого дыма в воздух, будто локомотив, готовящийся к долгой поездке. Затем он отодвинул свою тарелку и положил оба локтя на стол.

— Так как же вы оказались тут?

— Случайно. Я работаю по найму, на верфях главным образом. Свое ученичество я прошел у «Лэрда» в Ливерпуле.

— Делая?

— Да все. Потом я работал в маленькой компании, занимавшейся разработкой разного вида корабельных винтов. К тому времени как я ушел, я был начальником конструкторского бюро.

Сказал он это с гордостью, почти с вызовом. Он, вероятно, привык к выражению безразличного равнодушия от того типа людей, с какими сталкивался в Венеции, смотрящих на разработку корабельного винта как на недостойный внимания пустяк.

Мне хотелось расспрашивать еще. «Лэрд» была солидная компания, ее

корабли устанавливали стандарты для других судостроительных компаний. Но он уже встал.

— Слишком длинная история для этого вечера, — сказал он ворчливо. — Если вам интересно, могу и рассказать. Загляните ко мне в мастерскую, если у вас есть настроение слушать. А мне надо идти, заняться моей дочкой.

— Я буду очень рад, — сказал я. — Не могу ли я угостить вас ленчем?

— Там, где я работаю, ресторанов нет, — отрезал он, но говорил он теперь мягче, горечь обиды его отпустила. Попрощался он почти вежливо.

— Ну, вы человек привилегированный, — протянул Дреннан, когда мы оба надевали плащи. Погода оставалась прекрасной, но ночной воздух неуклонно становился все холоднее. — Что вы сделали, чтобы войти к нему в милость? Никто еще не допускался в эту его мастерскую.

— Может, я просто проявил интерес? Или, может, был столь же груб, и он почувствовал родственную душу?

Дреннан засмеялся — приятный смех, легкий и дружеский.

— Может, и так.

Мастерская Макинтайра ничуть меня не удивила, когда я добрался до нее, припоздав, так как не сразу ее отыскал. Та часть Венеции, где он обосновался, не только была немодной среди венецианцев, но, готов держать пари, ни единый турист из тысячи ни разу ее не посетил.

Он арендовал мастерскую на верфи возле Сан-Николо да Толетино, в квартале, где все претензии на элегантность давно исчезли. Это не беднейшая часть города, но одна из самых непотребных. Многие тамошние обитатели, как мне говорили, никогда не доходили даже до Сан-Марко, и живут в своем квартале, будто в особом мире, никак не зависящем от остального человечества. Насколько я понял (хотя мое слабое знание языка исключало проверку), они даже говорят иначе, чем их сограждане, а силы закона и порядка редко проникают туда, и всегда с трепетом.

Их специальность — судостроение, но не величавых кораблей, некогда составлявших гордость Венеции и строившихся в противоположном ее конце, а разнообразных лодок и лодчонок, от которых зависит жизнь всей лагуны. Потребность привела к возникновению разных видов лодок, притом в манере, вполне удовлетворившей бы Дарвина, — специализированных настолько, что они способны выполнять одну функцию, и только одну, абсолютно завися от условий окружающей среды, чтобы выживать, уязвимых для перемен, которые могут положить конец целому классу конструкций. Некоторые преуспевают, некоторые терпят

неудачу — так оно в жизни, в бизнесе и в венецианском судостроении.

Галера исчезла, уступив паруснику, точно так же, как парусник становится неизбежной жертвой парохода. Многие исчезли на протяжении моей собственной жизни, но их названия продолжают жить. Гондола, но также гондолина, фрегатта, фелукка, трабакколо, констанца — все они еще живы, но их дни, без сомнения, сочтены. Их исчезновение будет потерей лишь для эстетического чувства тех, кому не приходится управлять ими, ведь насколько лучше пароход почти во всех отношениях!

Макинтайр работал и жил среди звуков и запахов бревен, теса, дегтя и был таким же чужаком в своих действиях, как по своему характеру и национальности. Потому что был человеком железа и стали; в его владениях визг металла сменил более мягкие звуки обработки дерева. Токарные станки вытеснили пилы, точно калиброванные инструменты покончили с работой «на глазок», расчеты смели накопленный опыт поколений.

Он меня не ждал. Он никогда никого не ждал. Ему всегда было надо что-то делать, и он использовал для этого каждую минуту. Я никогда не встречал человека, столь не умеющего расслабляться. Даже когда он вынужден был сидеть без дела, его пальцы барабанили по столу, подошвы постукивали по полу, он гримасничал и испускал странные звуки. Каким образом кто-то мог согласиться жить с ним, остается одной из маленьких загадок жизни.

А книги? Не верю, что он после школы прочел хотя бы одну книгу, помимо технических справочников. Он не видел в них смысла. Поэзию и прозу он находил в сочетаниях металла, смазки и хитрого взаимодействия тщательно сконструированных составных частей. Они были его искусством, его историческими хрониками, даже его религией.

Когда я вошел, он был максимально для себя неподвижен, поглощенный временными грезами, пока созерцал большую металлическую трубу, лежавшую на верстаке перед ним. Она была футов пятнадцати длиной, с одного конца закругленная, а из другого торчали трубки поменьше, нарушая гармоничность целого, которое превратили в бесформенную, спутанную массу. В конце всего этого находилась металлическая опора, к которой был прикреплен (даже я был способен его узнать) пропеллер из сверкающей латуни около фута в диаметре.

Мне не хотелось потревожить его: он столь очевидно пребывал в покое, почти с улыбкой на обычно хмуром лице. Годы, которые обычно проглядывали сквозь хмурость и угрюмые складки, сгладились, и по цвету лица он выглядел почти мальчиком. Он был человеком, наслаждавшимся

упорядочиванием сложностей. Для него это скопище труб и проволоки было осмысленным, каждая часть имела свое предназначение, не была ненужной или излишней. Оно обладало собственной элегантностью, никак не заученной, академической элегантностью архитектуры, очищенной от прошлого. Если хотите, новый порядок, оправдываемый только самим собой и своим назначением.

В этом нагромождении латуни и стали, чем бы оно ни было, заключалась причина его презрения к Венеции, к таким людям, как Корт. Он чувствовал, что может сделать лучше. Он не ощущал необходимости жить в старых зданиях и поклоняться мертвым художникам, подражая, сохраняя. Он чувствовал, что может превзойти их всех. Этот неказистый ланкаширец был по-своему революционером.

По какой-то причине это меня смутило. Может быть, отозвалось эхо моего воспитания, те долгие часы, проведенные в церкви, назидания моего отца и прочих. Что-то прилипает, от этого не уйти. Человека искупает вера и послушание. Макинтайр ничего подобного не признавал и облекал свое несогласие в весомую форму. Человека искупают только его изобретательность и его машины, когда они выполняют то, для чего предназначены.

Не то чтобы я тогда думал или чувствовал что-либо подобное; я просто понимал, что не могу разделить его поглощенность, что я только наблюдатель, стоящий рядом, глядящий на сосредоточенность других. Но даже прежде, чем я мог определить это чувство, он удовлетворенно вздохнул, обернулся и увидел меня.

Мгновенно воскресла северная хмурость, ликующий мальчик был прогнан.

— Вы опоздали, не люблю людей, которые опаздывают. И на что вы уставились?

Он насупился. Я мог бы обидеться на его невежливость, но я же заглянул в него, выведал его тайну. Он больше не мог оскорбить меня, он мне нравился.

— Я восхищался вашим... э... — Я указал на штуковину на верстаке. — Вашим водопроводным приспособлением.

Он просверлил меня взглядом.

— Водопроводным приспособлением, подлец, сказал ты?

— Но оно же предназначено для нагревания воды в ванной комнате джентльмена, — продолжал я невозмутимо.

Было так просто довести его до апоплексии, но нечестно. Он стал пунцово-красным и нечленораздельно брызгал слюной, пока до него не

дошло, что я над ним подшучиваю. Тогда он успокоился и улыбнулся, но это обошлось ему в большое усилие.

— Ну так объясните, что это, — продолжал я. — Обязательно. Потому что я в полном тупике.

— Может быть, — сказал он. — Может, и объясню.

Я едва расслышал его. Шум в мастерской стоял оглушительный, поднимаемый тремя, видимо, его помощниками. Все, судя по одежде, были итальянцами, все молодые, все сосредоточенные на своей работе. За исключением девочки, несомненно, его дочери. Ей было, надо думать, лет восемь, и она обещала в женском облике повторить своего отца. Широкие плечи, квадратное лицо и могучий подбородок. Ее короткие светлые волосы кудрявились и могли бы украсить ее, если бы за ними был хоть какой-нибудь уход, но так они больше всего напоминали разросшийся ежевичный куст. Одета она была также совсем не к лицу: в мужскую фуфайку, и распознать в ней девочку было непросто. Однако лицо у нее было открытое, взгляд умный, и она казалась симпатичным существом, хотя насупленность, пока она в своем уголке сосредоточивалась на каком-то чертеже, лишала ее всякой детской прелести.

Макинтайр, казалось, полностью ее игнорировал, но только, пока наш разговор продолжался, его взгляд каждую пару минут обращался на тот угол, где она с головой ушла в свое занятие. Его слабость, единственное живое существо, которое он любил.

— Идите посмотритесь, — сказал он внезапно, когда заметил, что я гляжу на нее, и повел меня через открытое пространство к станкам.

Меня удивляет, что кто-то способен смотреть на отличные машины без восхищения. Машины, созданные нашим веком, внушают мне благоговейный трепет, сходный с тем, какой другим людям внушает религия. Опять-таки, возможно, что это следствие моего воспитания, и природное благочестие, исказившись, повернуло в иное русло. Но я нахожу, что смотрю на все подобное, как средневековый крестьянин мог бы смотреть на величавую громаду собора, ввергнутый в почитание, не зная и не думая почему.

В огромных цехах есть зримые чудеса. Поезжайте на сталелитейные заводы Шеффилда и осмотрите их или новые стальные прессы, которые появились вокруг Бирмингема, посмотрите на гигантских чудовищ, которые могут расплющить и согнуть многие тонны металла одним опусканием молота, машины настолько колоссальные, что кажется высокомерием даже увидеть их во сне. Или на огромные цеха, где турбины превращают воду в пар, в электричество, в залах таких огромных, что под

их сводами образуются облака.

И везде смотрите на работающих там людей. Чисты ли полы, хорошо ли одеты люди, горды ли своей внешностью? Трудятся ли они с охотой, есть ли сосредоточенность в их глазах? Ищут ли наниматели самых лучших или самых дешевых? Пяти минут достаточно, чтобы я понял, будет ли это предприятие расти или потерпит крах, будет процветать или хиреть. Все это есть в глазах рабочих.

Предприятие Макинтайра было куда меньшего масштаба, но принципы были те же. И признаки хорошие. Хотя и обветшавшая снаружи, внутри мастерская отличалась безупречной чистотой. Все инструменты содержатся в порядке, полы подметены. Верстаки расположены продуманно. Латунь на инструментах поблескивала, сталь была хорошо смазана. О каждом станке усердно заботились, и каждому было найдено наивыгоднейшее положение. Все было продумано до мелочей. А те, кого он нанял, занимались своим делом со спокойной уверенностью, редко разговаривая, причем негромко. Они знали, что делают.

— Я находил их, — ответил он на мой вопрос, — там и тут. Джакомо, вон тот, обучался строить лодки, но его отец умер, а найти нанимателя он не сумел. Я заметил, как он покрывал резьбой выловленную из воды деревяшку, чтобы продать ее прохожим. Он так чудесно владел руками, и я понял, что он умен. Меньше чем за неделю он стал незаменим. Он способен наладить станок быстрее и надежнее, чем кто-либо еще, кого я знаю. Если бы вдобавок к сноровке он обладал техническими знаниями, то был бы первоклассным.

Он указал на другого.

— Луиджи не хуже. Он более обучен. Я нашел его в мастерской художника, где он учился на реставратора. Способностей к живописи у него нет, и никакой карьеры он не сделал бы. Его талант — черчение. Чертежник он выдающийся. Берет мои наброски и превращает их в планы. И может вместе с Джакомо точно настроить любые машины.

— А этот?

— Синьор Бартоли, умелец на все руки. Делает все, что требуется. Он помогает остальным двоим и безупречно выполняет порученные инструкции. Если требуется что-то сделать, он это сделает быстрее и лучше, чем можно надеяться.

— Значит, вы более удачливы в выборе рабочих, чем мистер Корт.

— Скорее я лучше умею судить о людях. И более способен ими руководить. Когда я вижу мистера Корта на стройке, мне хочется схватить его за шиворот и хорошенько встряхнуть.

Он фыркнул с отвращением, которое говорило о многом. Макинтайр думал, чего достиг бы, обладай он преимуществами и возможностями, которые предоставило Карту его рождение.

В нашей промышленности есть много таких людей, и я поставил себе задачей находить их и предоставлять им шанс.

— Однако на той неделе вы помогли ему?

— А, это! Пустяк. Времени у меня не отняло, и меня тошнило выслушивать хныканье от отчаяния. Во всяком случае, он решил последовать моему совету. Он даже взвешивает, не выверотить ли опорный столб с помощью взрывчатки. Может, в нем все-таки кроется разумный человек. Беда его в том, что его обучали, как выполняются работы, а не тому, как их надо выполнять.

— Так вы мне объясните, что это за штуковина? — окликнул я его.

Он уже отошел к Луиджи и обсуждал какую-то проблему, полностью забыв про меня. Манера разговора у него тоже была особенной. Жаргон вроде того, на каком в колониях объясняются с туземцами, но с вкраплениями итальянского. *Lingua franca*^[15] мастерской, где разговоры велись наполовину словами, наполовину жестами и мимикой. Все технические термины были английскими, что, пожалуй, неудивительно, поскольку ни один из трех итальянцев не знал их до поступления к Макинтайру, а он не знал их итальянских эквивалентов, даже если они существовали. Грамматика была итальянской, а прочее — смесью двух языков с большим количеством бурканья для заполнения пауз.

Мне пришлось подождать ответа. В чем бы ни заключалась проблема, она потребовала тщательного анализа, и в завершение Макинтайр, стоя на коленях перед машиной (сверлильным станком, насколько я понял), будто кающийся грешник, медленно поворачивал ручки для точнейшей настройки, измерял зазоры штангенциркулем и повторил всю процедуру несколько раз, прежде чем взрыв бурканий не подтвердил, что с проблемой покончено.

— Так что? — спросил он, когда вернулся ко мне.

— Ваше водопроводное устройство.

— Ха! — Он повернулся и повел меня назад к одинокой машине, закрепленной горизонтально на верстаке, отданном только ей.

— Что это, по-вашему?

Я внимательно оглядел устройство передо мной. Оно обладало некоторым изяществом. Стальная труба с подобием лопастей по всей ее длине сужалась к концу, завершаясь маленьким трехлопастным пропеллером, сверкающим латунию. У другого конца она вдруг

открывалась воздуху, но чуть дальше следовало продолжение, очевидно, привинченное для придания закругленной формы.

— Явно предназначена для движения по воде, — сказал я, обошел и заглянул в нос конструкции. Она была пуста. — И явно должна что-то содержать. Большая часть ее длины занята механизмами, полагаю, двигателем, хотя нет ни трубы, ни котла. Эта пустая оболочка должна нести груз. — Я покачал головой. — Она слегка смахивает на очень большой снаряд с прикрепленным к нему пропеллером.

Макинтайр засмеялся.

— Отлично! Отлично! Снаряд с пропеллером. Именно он. Торпеда, если быть точным.

Я был озадачен. Торпедой, я знал, назывался длинный шест, который выдвигался с носа корабля, чтобы всадить во вражеское судно и взорвать его. Едва ли практично в дни броненосцев и десятидюймовых орудий.

— Конечно, — продолжал он, — я просто заимствовал это слово, ничего лучше не придумав. Это самодвижущаяся торпеда. Заряд взрывчатки здесь, — он указал на нос, — а двигатель, способный направлять ее по прямой, здесь. Нацельте ее на вражеский корабль, запустите, и дело с концом.

— Значит, нос будет набит порохом.

— Ну нет. Черный порох слишком легко отсыревает. А то, что погружается под поверхность воды, не может не намокнуть, как бы хорошо ни было изготовлено. А потому я буду использовать пороховату. И разумеется, я могу изготавливать ее сам. Одна часть хлопковой ваты в пятнадцати частях серной и азотной кислот. Затем промываете ее, высушиваете. Вот взгляните.

Он указал на ряд ящиков в углу, поставленных на чаны.

— Это пороховата?

— Да. За последние месяцы я изготовил несколько сотен фунтов этой ватки.

— А соседство с ней не опасно?

— Нет-нет. Она совершенно безопасна при правильном изготовлении. Если ее не очистить и не просушить должным образом, она легко может взорваться сама собой. Но эта абсолютно безопасна. Чтобы она взорвалась, ее необходимо спрессовать и снабдить детонатором из соли гремучей ртути. Пока же вы можете прыгать на ней весь день без всякого вреда для себя. Опасная дрянь вон там. — Он кивнул на другой угол.

— И что это?

— Черный порох. Я купил его прежде, чем понял, что он не подойдет.

Сейчас он бесполезен. Пригодится для столба Корта, если он решится.

— Значит, взрывчатка спереди. Она ударяет в корабль, и... бу-ум!

— Бу-ум! Именно так, — сказал он одобрительно.

— Какой силы бу-ум? То есть какое количество взрывчатки потребуется, чтобы утопить броненосец?

— Это будет определено экспериментально.

— Вы намерены пускать торпеды в проходящие броненосцы, пока один не утонет?

— Не думаю, что это потребуется, — сказал он с таким видом, будто ничего лучше не пожелал бы. — Достаточно будет опробовать взрывчатку на бронированных плитах.

— Я почти разочарован, — сказал я. — Но разве орудия не более надежны? Меньше риска, шансов, что не случится непредвиденное? И меньше шансов, что корабль противника сманеврирует? И дешевле?

— Возможно. Но чтобы послать снаряд равной мощи, вам понадобится орудие весом тонн в шестьдесят. А для него понадобится очень большой корабль. В броне и с большой командой. А несколькими торпедами корвет водоизмещением в триста тонн и с командой из шестидесяти человек потягается с самым большим броненосцем в мире.

— Королевский военно-морской флот, я уверен, поблагодарит вас за это, — сказал я с иронией.

Макинтайр засмеялся.

— Ну нет. Это же нейтрализует все военные флоты в мире. Никто не посмеет отправить свои боевые корабли в море из опасения лишиться их. Войны исчерпают себя.

Его оптимизм показался мне трогательным, хотя и беспочвенным.

— Но это уничтожит спрос на ваше изобретение, верно? Сколько их вы сумеете продать?

— Понятия не имею.

В отличие от меня. Если они станут реальностью и он сумеет убедить один флот купить их, то будет продавать их всем флотам мира. Адмиралы разборчивы, как домохозяйки в универсальном магазине. Обязательно иметь, что приобретают все остальные.

— Она работает?

— Конечно. По крайней мере будет работать, когда одна-две проблемы будут разрешены.

— Какие, например?

— Она должна двигаться по прямой, как я уже сказал. Это очевидно. Но к тому же она должна двигаться на постоянной глубине, а не всплывать

и погружаться. Сквозь воду, а не по поверхности.

— Почему?

— Потому что броней корабли защищены выше ватерлинии, а ниже ее — не такой толстой. Снаряды взрываются, ударяясь о воду. Поэтому прямое попадание ниже уровня моря крайне редко, и нет нужды предохранять кили так далеко внизу.

— Во что обойдется изготовление их?

— Понятия не имею.

— И за сколько вы попытаетесь их продавать?

— Я об этом не думал.

— Где вы будете их производить? Тут это вряд ли возможно.

— Не знаю.

— Сколько вы уже потратили на ее разработку?

Внезапно мальчишеский энтузиазм, озарявший его лицо, пока он говорил о своем изобретении, угас. Он опять выглядел на свой возраст и старше, измученным заботами и тревогами.

— Все, что у меня есть и было. И больше.

— Вы в долгах?

Он утверждал, что предпочитает прямые вопросы. В отличие от меня, если речь не о деньгах, но вот тогда мне требуется абсолютная, без уверток точность.

Он кивнул.

— Сколько?

— Триста фунтов, кажется.

— Под какие проценты?

— Не знаю.

Я ужаснулся. Каким бы искусным Макинтайр ни был инженером, бизнесменом он был никаким. В этой области он был наивен, как новорожденный младенец. И кто-то, я догадывался, использовал это.

Я не осуждаю подобные приемы. Макинтайр был взрослым мужчиной и далеко не глупым. Он заключил соглашение, вполне сознавая, что делает. Если он поступил так, виноват был он, а не тот, кто использовал его наивность. Как он объяснил мне, ему требовались деньги и чтобы платить своим рабочим, и чтобы покупать материалы для своей торпеды, и он полагал, что сумеет расплатиться в счет работы, которую подрядился выполнить — чертежи металлических частей моста, который предполагалось перебросить через Большой Канал. Однако этот проект сгинул, так что никакого платежа не предвиделось, а долги росли.

— Я приехал в Венецию с деньгами, достаточными, я полагал, чтобы

оставаться там сколько вздумается. Однако этот механизм сулил больше трудностей, чем я мог вообразить. Проблемы, которые предстояло решить! Даже не верится! Изготовление оболочки и обеспечение ее герметизации. Разработка двигателя, детонатора, изобретение совершенно нового механизма для контролирования глубины погружения. Это требовало времени и денег. Больше денег, чем у меня имелось.

— Значит, вы увязли в долгах, без какого-либо имущества, платя, думаю, высокие проценты. Сколько времени у вас в запасе?

— Мало. Мои кредиторы давят на меня. Требуют, чтобы торпеда была испытана, и скоро, иначе они подадут ко взысканию.

— Вы можете это сделать?

— Я намерен устроить демонстрацию в ближайшее время. Если она себя оправдает, мне будет позволено занять еще. Но это рано. Слишком рано.

Он не продолжал, да это было и не нужно.

— Думаю, вам требуется бухгалтер. Не меньше чем чертежник или механик, — сказал я. — Деньги — компонент не менее важный, чем сталь.

Он пожал плечами без всякого интереса.

— Они воры, — сказал он. — Они украдут мое изобретение и оставят меня ни с чем, если я не поостерегусь.

— Мне неприятно это говорить, но вы не остерегаетесь.

— На следующей неделе все будет в порядке. После испытания.

— Вы уверены?

Он устало вздохнул.

— Я могу произвести любые инженерные расчеты, но покажите мне контракт или страницу бухгалтерской книги...

— Со мной как раз наоборот. Послушайте! Если хотите, я мог бы проверить эту сторону ситуации, определить, какова она конкретно, и сообщить вам — словами, понятными инженеру, — в каком вы положении на данный момент. Но только если вы хотите. У меня нет никакого желания вмешиваться.

Предложил я это с большой неохотой, поскольку крайне неразумно давать непрошенные финансовые советы. Но безнадежность на его лице, пока он говорил о долгах, трогала сердце. А моя мысль бешено работала. Совершенно новый вид оружия мог оказаться на редкость доходным, чему примером скорострельный пулемет мистера Максима, который после скромного начала скоро стал обязателен для всех армий мира.

Красота изобретения Макинтайра была в расточительности. В отличие от пушки, являющейся (так сказать) фиксированным капиталовложением с

малыми расходами при использовании — только сумма, требующаяся на покупку снаряда и пороха, — торпеда используется лишь один раз. После выстрела ее требуется заменить всю целиком. Потенциал заказов был внушителен, а в бою (если я знал моих моряков) пускать их они будут почаще, чем ракеты в Ночь Гая Фокса.

Регулярные заказы от организаций с бездонными карманами. Перспектива соблазнительная. И не только потому, что, по моему глубокому убеждению, цель Макинтайра уничтожить войны, сделав катастрофу неизбежной, была столь же нереальна, как и благородна. Никакое оружие не устраняло вероятность войны, но лишь ускоряло ее течение, убивая людей с большей быстротой. До тех пор пока ум человеческий не изобретет нечто убивающее разом всех, изменений тут не предвидится.

Но казалось, что шансы Макинтайра преуспеть со своей торпедой практически равнялись нулю. У него не хватало ресурсов, чтобы изготовить одну, так какой шанс был у него выполнять целые заказы? Кто даст средства на постройку завода, наймет рабочую силу? Кто будет управлять заводом, следить, чтобы торпеды были без брака, проданы и доставлены? Макинтайр ни о чем таком понятия не имел и не знал, как найти тех, кто имеет.

Ситуация сулила множество возможностей. Если торпеда работает.

Глава 8

Он не угостил меня ленчем и даже не разделил со мной трапезу, но я был очень доволен, когда шел назад в свою квартиру, сворачивая то туда, то сюда, так что уже наступил ранний вечер, когда я наконец вернулся. День был крайне интересным, и мое настроение еще улучшили три ожидавших меня весточки. Одна от маркизы с приглашением отобедать у нее на следующей неделе, так как она приготовила для меня нечто восхитительное; следующая от мистера Макинтайра — пачка бумаг и краткая записка, что это его счета, если я желаю взглянуть на них. А последняя была от миссис Корт, сообщавшей, что ее муж дал ей разрешение показать мне город. Мы можем начать завтра, если я хочу.

Мое пребывание в Венеции становилось удивительно приятным — и в немалой степени благодаря окружающей обстановке. Ее мирность на редкость чарующа, если вы восприимчивы к ней, тем более что она неприметна. Эффект света также невозможно выразить словами. Это не мирность английского воскресенья, например, когда покой почти всеобъемлющ, но помнишь, что было прежде и что произойдет на следующий день. В Венеции легчайшая дымка всегда намекает сознанию, что это мгновение продлится вечно, что никакого завтра не будет. Трудно заниматься мирскими заботами, потому что заботы всегда о том, что произойдет в будущем, а в Венеции будущее никогда не придет, а прошлое никогда не исчезнет. Я обнаружил, что в памяти у меня почти ничего не сохранилось о зданиях и пейзажах того времени; у меня нет ярких воспоминаний о панорамах и перспективах. Я достиг тогда той стадии, когда почти не замечал их; величайшие шедевры искусства и архитектуры не оставляли у меня ни малейшего впечатления. Эффект, однако, был тотальным и потрясающим. Будто находишься в ином мире, где все соединено воедино. Старуха, сидящая на ступеньках, дворец, официант, накрывающий столики, белье на веревке, лодки, бороздящие лагуну, острова в утренней дымке, чайки в небе — все они были частью этого целого, в совершенной гармонии друг с другом и с моим настроением, быстро и без швов переходящим от грез к целеустремленной деятельности.

В тот полдень я стал венецианцем, направляющимся с книгой к местечку на Рива. Я намеревался осмотреть что-то, но я даже не помню, что именно, так как не дошел туда. Я сел на ступеньки какого-то моста и смотрел на проплывающие лодки. Миловидная девушка продавала груши только что с дерева. Я хотел купить одну, но при мне не было денег.

Однако они были такие аппетитные, такие крупные и сочные на вид! Некоторые, уже помятые, источали в корзину сладкий липкий сок. В конце концов я нагнулся, схватил одну и вгрызся в нее прежде, чем девушка заметила, что я сделал. Затем она повернулась, и я покачал головой. «Я не удержался», — сказал мой взгляд. Девушка, темноволосая и ясноглазая, улыбнулась моему наслаждению, затем засмеялась и протянула мне еще одну.

— Возьми, возьми! — сказала она. — Возьми что хочешь.

И я взял. Я взял еще одну грушу, поклонившись в знак благодарности и не чувствуя ни малейшего смущения, что ничего не предлагаю взамен. Впрочем, она помахала рукой. «Не тревожься, заплатишь потом» — таков был смысл ее улыбки. Все в конце концов оплачивается.

Вечером я устроился читать бумаги мистера Макинтайра. Некоторые могут счесть это скучным времяпрепровождением, даже холодным душем после дня, который я провел с таким упоением. Я знаю, удовольствие это не из обычных и что счетные книги стали присловьем для обозначения бездуховной механической серости. Но так говорят те, кто их не понимает. На самом же деле подшивка счетов может быть исполнена драматизма и страсти не хуже любого романа. Целый год или более человеческих дерзаний сокращен, спрессован в одну страницу иероглифов. Добавьте понимание — и повесть обретет сочность, как сухой плод, если его опустить в воду.

Счета Макинтайра ставили особенно интересную задачу, поскольку отличались неряшливостью и не соответствовали правилам ведения счетных книг ни единой известной мне системы. То, что итальянцы считают расходами или доходами, выглядит по-иному. Для некоторых статей, например, словно бы вообще не имеется точных определений. Если они были нарочно придуманы, чтобы сбивать с толку, то отвечали этому назначению как нельзя лучше.

Но мало-помалу я вышелушил их секреты. Макинтайр истратил все деньги около года назад и должен был составить примерный отчет об операциях в предыдущие несколько лет, чтобы подкрепить свою просьбу о займе. Из отчета следовало, что он начал с 1300 фунтов и истратил их примерно по 500 фунтов в год. После получения займа он истратил еще 300 фунтов, и они вкупе с накопившимися (и не уплачиваемыми) процентами означали, что теперь он должен 427 фунтов. То есть в год он должен был теперь выплачивать 37 процентов. Вполне достаточно, чтобы утопить любой проект.

Большая часть денег была потрачена на механизмы (и часть их в случае

необходимости можно было вернуть), заработную плату и материалы для его торпеды. В целом его положение было менее скверным, чем выглядело на первый взгляд: если все механизмы и станки продать за разумную цену, он сможет уплатить почти все свои долги. Но не все; и он после стольких трудов останется ни с чем, кроме своего изобретения.

С этого момента мы вступили в область фантазий. Макинтайр высказал предположение о начале производства своих торпед. Но оно настолько было далеко от здравого смысла и понимания обстановки, что выглядело прямо-таки смехотворным. Я быстро произвел собственные расчеты. Приобретение подходящего помещения обойдется в 700 фунтов; необходимые станки и инструменты около 6000 фунтов; рабочие — поначалу примерно сорок — доведут текущие расходы до примерно 7000 фунтов в год, каковые лягут на исходные капиталовложения, поскольку ни на какой доход за этот срок надеяться было нельзя. Плюс стоимость материалов примерно 30 фунтов для каждого экземпляра. Скажем, еще 3000 фунтов на первый год. Следовательно, первоначальное капиталовложение составит 10 700 фунтов, прежде чем одна торпеда будет доставлена на ее первый корабль или послано первое требование об уплате.

А Макинтайр не сумел управиться с долгом в 300 фунтов, доведя себя почти до банкротства! И хуже того: он был вынужден предложить залог за заем, не располагая никакой недвижимостью. Взамен он фактически отдал патент. И не в обмен на наличные деньги, но всего лишь за разрешение занять. Пожалуй, самая необдуманная, глупейшая сделка, какую когда-либо кто-либо заключал. Он больше не был владельцем собственного изобретения.

Потребовалось какое-то время, чтобы одолеть эту часть бумаг, поскольку она содержала значительное количество юридического жаргона, который был мне незнаком. Кроме того, поначалу я не мог поверить, даже когда разобрался. Но ошибки быть не могло. Если торпеда не сработает, Макинтайр пострадает, так как его долг подадут ко взысканию. Если испытание пройдет успешно, он ничего не выгадает, ведь устройство ему не принадлежит.

Я мог только заключить, что ему все равно, что он был настолько не от мира сего, что хотел лишь усовершенствовать свое изобретение, показать миру свой талант. Макинтайр не хотел изготавливать свои торпеды или наживаться на них. Едва торпеда будет завершена, он скорее всего утратит к ней интерес. Судя по тому, как он говорил, что покончит с войной, не исключалось, что он будет почти рад не иметь к ней больше никакого отношения. Он хотел доказать, что это достижимо. Только и всего.

Но почему? Почему он настолько одержим, почему так небрежен? Тут в игру входит неряшливость его счетов. Они могут рассказать о действиях людей, об их деньгах, но очень редко — об их побуждениях, хотя фанатизм Макинтайра запечатлелся в каждом столбце выплат. Он покупал только самое лучшее, самого высшего качества, самое дорогое. Немецкие измерительные инструменты. Материалы он выписывал из Швеции или Англии, хотя, я уверен, тут подошли бы и местные за ничтожную долю того, что он платил. Счета оплачивались без промедления, когда у него были деньги. Он не затруднял себя экономией, которую могла бы дать отсрочка на неделю или месяц.

Я сидел на стуле у себя на балконе, созерцая мирность канала внизу, тихо грезя. Я вел стремительные подсчеты: это я умею без необходимости, собственно, думать. Цифры, деньги обретают форму у меня в голове, преобразуются в новые формы без моего сколько-нибудь активного участия. Женщина медленно вела лодку по каналу, громко разговаривая с маленькой девочкой, примостившейся на носу. Они были веселы, хотя, вероятно, для них завершился долгий день утомительного труда. Она не торопилась, делала гребок, чтобы послать лодку вперед, а потом отдыхала, пока лодка почти не останавливалась, и тогда делала новый гребок. К тому времени, когда она свернула в узкий боковой канал, которого я прежде не замечал, в голове у меня сложился весь план целиком.

Макинтайра следовало спасти от него самого. По сути, его неразумие оказало мне большую услугу. Я никогда бы даже взвешивать не стал возможность вырвать у него контроль над его изобретением, навязывать ему мою помощь против его воли или без его ведома. Но оно больше ему не принадлежало, он его продал. А взяться за его банкиров я мог с чистой совестью. Они были противниками, к каким, одержав победу над ними, никакой жалости не испытываешь.

В помощи Кардано я был уверен. Он сумеет устроить частный заем, так что я сохраню абсолютный контроль и смогу уплатить долг, когда прибыль начнет расти. Я точно знал человека, который поможет мне создать предприятие, свяжет меня с земельными агентами, чтобы найти подходящий участок. Я вложу мои собственные шесть — может быть, пять — тысяч, в зависимости от условий, которые сможет выговорить Кардано. Компания с ограниченной ответственностью, чтобы оградить себя. Тщательно не оплачивая счета, пока меня не вынудят, будет так просто, по сути, заставить поставщиков оплачивать мой долг. В конце концов они получают свои деньги, или мы все пойдем на дно вместе с торпедой.

Отдохновительное занятие! Хотя я понимал, что назавтра мне придется

проверить мои расчеты, убедиться, что они действительно практичны, или же я создал чересчур оптимистическую перспективу, недооценил расходы, переоценил возможные доходы. И я прогуляюсь в библиотеку для иностранцев вблизи Сан-Марко проверить, какую информацию можно найти там — если она вообще существует — о военных флотах во всем мире.

На следующий день я вышел из библиотеки даже в еще более веселом настроении. Главные военно-морские флоты мира включали Королевский военно-морской флот (это знал каждый), с французским на втором месте. Далее следовали Австрия, Италия, Соединенные Штаты, Россия, несколько южноамериканских стран, нянчащих честолюбивые идеи и замыслы; а также Япония. В целом мир мог похвастать — если это подходящее слово — примерно семьюстами больших боевых кораблей, одной тысячей четырехстами средних судов, могущих принимать участие в боевых действиях, и еще четыремя тысячами, используемыми для береговой охраны, и так далее. Скажем, по пятнадцать торпед для первой категории, по пять для второй, по одной для третьей. Возможный мировой рынок для более чем двадцати тысяч торпед, а я прикинул, что смогу запрашивать за каждую по 300 фунтов. Возможные прибыли — более чем шесть миллионов фунтов. Предположим, осуществится только половина потенциальных заказов в течение десяти лет и заказы на замещение израсходованных, равные одной двадцатой всех за год. То есть повторные заказы примерно 1000 в год. И когда дело развернется, более 300 000 фунтов. Возможная годовая прибыль около 100 000 фунтов при исходном капитале в 5000 фунтов. Предположим стоимость, равную пятнадцатилетнему годовому доходу, и получаем предприятие примерно в полтора миллиона фунтов.

Флоты будут заказывать, если торпеда будет работать. Но будет ли? Макинтайр не сомневался, а я был уверен, что его интуиция инженера далеко превосходила его интуицию бизнесмена. Но тем не менее одержимость — а он, несомненно, был одержим своей идеей — затуманивает способность судить здраво.

Затем вопрос, как вырвать контроль у его кредиторов, которые, я не сомневался, имели куда лучшее представление о финансовом потенциале его изобретения, чем он сам. Они не откажутся от торпеды за пустячную сумму, а у меня не было желания платить дорого. Вся соль игры — заключить выгодную сделку. Заплатить полную цену может кто угодно.

Так как же это устроить? Во-первых, узнай своего противника, и тут, к

моему изумлению, моя квартирная хозяйка оказалась кладезем полезнейшей информации. Амброзиан, глава банка, предоставившего заем, крайне уважаем, сообщила она мне, как человек, который оставался в Венеции во время австрийской оккупации, но отказывался вести дела с Веной. Но он вел их с венецианцами и устанавливал контакты с банкирскими семьями в Италии, Франции — где угодно, кроме Австрии. Подобно большинству своих сограждан-патриотов он отказывался от всех приглашений на официальные приемы, но посещал театр и оперу, отказывался сидеть в кафе, где сидел австриец, и (так говорили) субсидировал запрещенные группы националистов, чтобы они досаждали чужеземным угнетателям. Он был своего рода героем, из чего совсем не следовало, что от него есть толк как от банкира. Сведения, которые я извлек из газет, указывали на надежно обеспеченные, но консервативные операции, что было хорошо. Такие люди не любят риска. Однако газеты часто ошибаются.

Я от души желал, чтобы почтовое сообщение было лучше. Вскоре после приезда я отправил письмо Кардано и упомянул Макинтайра, а также Корта, но не получил ответа: письму, даже отправленному экспрессом, требовалась неделя, чтобы достичь Лондона, неделя для получения ответа. Без сомнения, быстрее, чем несколько лет назад, но в Лондоне я мог бы найти всю требующуюся мне информацию за одно утро. Теперь телеграфные линии накрыли мир сеткой, в обиход входят телефоны, и люди воспринимают мгновенную связь как само собой разумеющуюся. Пусть-ка попробуют вообразить мир, в котором письмо — в Калифорнию, в Австралию или в Индию — шло бы около месяца даже ускоренным темпом.

Глава 9

Следующий день был таким грезовым совершенством, какого я и представить себе не мог. Все это, разумеется, было иллюзией, но мне нравится думать о нем в отграничении от произошедшего потом — как о чистейшем блаженстве, одном из тех дней, когда ты уже не просто ты, но становишься сильнее и лучше, способным стряхнуть обычные житейские заботы и дышать более вольно.

Если кто-то, читающий это, знает меня только по моей репутации, не сомневаюсь, что этот рассказ о бездеятельности и грезах вызовет только недоверие. Если бизнес и романтика не сочетаются, насколько более несовместимы финансы и страсть? Первые требуют личности абсолютно холодной и рациональной, вторая — уступать порывам. Такие чувства не могут сосуществовать в одном индивиде.

На это мне приходится ответить, что всякий думающий так, понятия не имеет о деньгах. Финансы не меньше искусство, чем живопись или музыка. Они удивительно сходны с музыкальным исполнением, поскольку, хотя многое зависит от умения (музыкант, не умеющий играть, не музыкант, а финансист, не способный понять годовой баланс, скоро станет нищим), умение имеет пределы. А дальше — поэзия. Многие не верят этому. Некоторые люди настолько глубоко чувствуют рынки, что им не требуется манипулировать курсами акций или нарушать законы ради прибыли. Они способны ощущать приливы и отливы капитала, как наездник понимает своего коня и может управлять им, не пуская в ход хлыст или шпоры.

Деньги — всего лишь синоним людей, выражение их желаний и личностей. Если вы не понимаете первого, то не можете надеяться понять второе. Возьмите момент задабривания, чтобы выиграть контракт. На это смотрят неодобрительно, называют подкупом, а в некоторых случаях считают криминальным. Но это область, в которой рациональная расчетливость и эмоциональная эмпатия образуют совершеннейший сплав. Это форма искусства. Русский ждет конверта, набитого деньгами; английского чиновника такая идея шокирует, но подкупен и алчен он не менее. Ему требуется должность для племянника, а это часто более щедрый подарок. Дипломатия, перенесенная в деловой мир, причем и она, и он требуют тонкости и верности суждений. В этом искусстве я не признаю равных себе — даже мистера Ксантоса, так как он слишком циничен, слишком склонен презирать того, кого убеждает. Пока я пишу,

передо мной лежит лист с перечислением акций моих компаний, акций, принадлежащих некоторым из виднейших политиков Англии. Я устроил все это лет шесть назад из предосторожности и никогда ничего не просил взамен. И не попрошу. Однако эти люди со временем сами сделают все необходимое ради своих интересов и моих. И не то чтобы кто-либо еще знал об этом. Вот почему мои управляющие начинают нервничать и не могут понять мою спокойную уверенность в том, что все образуется. Они боятся, что я утратил свое чутье.

Моя Венеция в тот день была городом, полным трепетных предвкушений. Я хотел провести его с миссис Корт даже больше, чем скользить в гондоле по каналам. Мы встретились у пристани неподалеку от Риальто, где уже ждали гондола, гондольер и корзинка с припасами. Было восемь утра, ослепительно искрящегося. Уже тепло с обещанием знойности. Искрился сам город, и миссис Корт (надеюсь, я не выдам лишнего, если с этого момента начну называть ее Луизой) стояла, ожидая меня, и улыбнулась при моем приближении улыбкой такой теплоты и обещания, что у меня на миг замерло сердце.

Гондолы не подходят для интимных разговоров, хотя мы сидели бок о бок, а не напротив друг друга. Эти лодки устроены так (для тех, кто не знает), что гондольер стоит сзади и прекрасно видит не только воду впереди, но и своих пассажиров. Он ничего не упускает, а хрупкое подобие балдахинчика над нашими головами обеспечивает лишь очень относительную уединенность. Рука, чуть глядящая руку, легкое нажатие тел, соприкасающихся в тесном пространстве между бортами. Это было почти невыносимо, и я чувствовал в ней такое же напряжение, ощущал, как оно томится, ища выхода.

Вот так утро и проходило в восхитительной недостижимости, разговор приближался к интимности, затем пятился и вновь приближался.

— Как давно вы живете в Венеции? — спросил я.

Пример разговора, который продвигался, перемежаясь длительными молчаниями по мере того, как нас успокаивал тихий плеск воды о борта.

— Около пяти месяцев, — ответила она.

— Вы познакомились с мистером Кортом в Англии?

— Да. В Лондоне, где я служила. Гувернанткой.

Это она сказала с легким вызовом, словно проверяя, не изменится ли мое отношение к ней, чуть я узнаю о положении, в каком она находилась.

— Почему?

— Мой отец умер, когда я была еще совсем юной, оставив нас на руках нашей матери — двух мальчиков и двух девочек. Я была старшей. Когда

мне исполнилось четырнадцать, моя мать заболела. И мне пришлось зарабатывать. Со временем меня наняла семья в Челси. Не слишком богатая по общепринятым меркам, но достаточно обеспеченная, чтобы позволить себе меня. Я присматривала за их двумя детьми, пока не ушла, чтобы выйти замуж. Дети были чудесные. Я все еще скучаю по ним.

— Истинная любовь?

— Нет. Ему требовалась жена, чтобы ухаживать за ним, а я жаждала определенности, какую обеспечивает брак. Договоренность, устраивавшая нас обоих.

Она вздохнула и перевела взгляд на лагуну, на медленно приближающееся Лидо. Я не хотел вторгаться, а потому перестал задавать вопросы, но я безоговорочно понял, что она живет в браке без любви, лишенная того душевного тепла, которое необходимо всем людям. В таком положении находятся многие, и она не жаловалась на контракт, заключенный добровольно. Но не в нашей природе помнить, насколько хуже могло бы все быть, мы только грезим о лучшем, ускользящем сквозь наши пальцы.

— И он привез вас сюда.

— Да. Но я нахожу такой разговор слишком скучным для подобного дня. Лучше расскажите мне о себе. Вы ведь вели более интересную жизнь, чем до сих пор была моя.

— Сомневаюсь. Что я могу сказать?

— Вы женаты?

— Да.

— Счастливы?

Вот и момент, когда я шагнул ближе к краю. Да, счастливо. Моя обожаемая жена. Мне так ее не хватает. Слова, как неприступная крепость, способные удержать ее снаружи, меня внутри, разлученными навсегда. Я ничего не сказал, и она поняла, что я подразумевал.

— Но ваша жена не с вами. Почему?

— Ей не нравится путешествовать.

— У нее есть имя?

Она прощупывала, дразнила меня. Предательство взгромоздилось на предательство, когда я отвернулся и снова не ответил, а потом повернулся и встретил ее глаза, спокойно смотрящие прямо в мои, неисчерпаемо говорящие — целые тома о нас с ней.

— Чем вы занимаетесь?

— Трачу время на изучение денег ради прибыли. Это отбирает большую часть моей жизни.

Она проявила любопытство.

— Я ничего в деньгах не понимаю.

— Сейчас не время для них, — сказал я. — Меня это увлекает, и я могу рассуждать о них часами, но, полагаю, найдутся другие темы для разговора на борту гондолы в прелестное утро наедине с красивой женщиной.

Она чуть улыбнулась и посмотрела в сторону. Я прикинул, как давно никто не говорил с ней так, если вообще говорил.

— Мне это нравится, — сказала она негромко.

И последовало самое длинное молчание в этот день; наша близость уже была столь велика, что не требовала слов. Мы просто мирно сидели и смотрели, как плоский островок вырастает при приближении. Я так остро ощутил ее, что это почти граничило с болью.

Лидо с той поры сильно изменилось; теперь отели, которые я рисовал в воображении, выросли по всей его длине. Тогда оно было почти необитаемым; главная дорога, по сути тропа, вела к крохотному поселку на краю полосы суши обращенной к городу; через несколько сотен ярдов все признаки человеческого обитания пропадали, и только коровы да несколько овец занимали остров длиной почти в пятнадцать миль и в милю шириной.

Тогда я был несколько разочарован; я предвкушал плавание во внутреннюю лагуну, осмотр достопримечательностей, обязательный для каждого приезжего: Мурано, Торчелло и прочие. До сих пор я мало что видел, даже самый город, не говоря уж о прилегающих к нему районах, а потому совсем не обрадовался, оказавшись в месте практически необитаемом и ничем не примечательном.

— Почему вы привезли меня сюда? — спросил я почти сердито.

— Подождите и увидите, — сказала она. — Я люблю это место, единственное, где можно побыть одной. Идемте.

Она распорядилась, чтобы гондольер взял корзинку и отнес ее через весь остров на противоположный берег. Позже она рассказала мне, как открыла это местечко много недель назад и хранила его в полном секрете, лелея его как приют, о котором во всем мире знала только она одна. Показать его мне было величайшим комплиментом.

Идти до противоположного берега оказалось недалеко. Хотя у своего конца Лидо шириной около мили, но по длине оно сужается до нескольких сотен ярдов. Оно не единый остров, а скорее целая цепочка островков, искусственно соединенных на протяжении столетий, чтобы создать барьер, защищающий город от Адриатики. Оно оставалось пустыней, не предлагая горожанам ничего, кроме неустойчивой погоды зимой и места для

прогулок летом.

И для плавания... А плавать я научился еще мальчишкой, когда проводил лето в доме нашего родственника в Гемпшире. У этой семьи был большой сад с прудом, окруженным камышами. Стоило прошлепать между ними, и ты оказывался в идеальном месте для плавания с чистой пресной водой, приятно нагретой солнцем. Там мои кузены научили меня плавать, и хотя пловцом я был не ахти каким, но полюбил ощущение воды. И зрелище волн Адриатики, катящихся в солнечных лучах позднего лета, вызвало у меня только одно желание: войти в воду как можно скорее.

И еще одна мысль. До тринадцати лет я учился в пансионе в Брайтоне и видел купальни и женщин, неуклюже входящих в ледяную воду (здоровья ради, я полагаю, не удовольствия же) одетыми в костюмы столь тяжелой пышности, что, попытайся они поплыть, то неминуемо канули бы на дно. Еще я помнил свинцовое небо и тот озноб, который пробирает тебя, когда ты, мокрый, выходишь из воды, чтобы тебя заморозили леденящие ветры английского лета.

А тут было что-то близкое земному раю. Люди теперь отправляются в Южные моря, ища такую нетронутую природу; в 1867 году ее можно было найти гораздо ближе к дому: всего лишь прокатившись в лодке от Сан-Марко.

— Красиво, — сказал я, когда мы пошли по тропе, которая вела к рощице.

Она улыбнулась.

— Вслушайтесь, — сказала она, останавливаясь и поднимая палец.

Я вслушался.

— Во что?

— В ничего, — ответила она. — Совершенно в ничего. Только звуки, море и птицы. Вот почему мне это так нравится.

Мы пришли в ее заповедный приют — на полянку в рощице, с трех сторон укрытую густой листвой, помешавшей бы случайному прохожему увидеть нас, и распахнутую морю с четвертой, будто самая великолепная театральная декорация в мире. В тени было темно и прохладно. Я расстелил наше одеяло на земле, а Луиза открыла корзинку и достала приготовленную ею простую еду — холодную курицу, хлеб и бутылку воды.

— Как вам нравится архитектура Палладио? — спросила она лукаво, когда мы покончили с едой (при всей ее простоте восхитительной).

— Она мне очень нравится. То есть, конечно, понравилась бы, если бы я ее видел. А почему вы спросили?

— Потому что вот чем вы восхищаетесь сейчас.

— Неужели?

— Да. Мистер Корт разрешил мне провести день, показывая вам город. По-моему, он полагал, что иначе мне неприлично быть с вами. В центре Венеции это скандала не вызовет.

— А вы его не послушались.

Она кивнула.

— Вы шокированы?

— Ужасно.

Тут я нагнулся и поцеловал ее. Очень неуклюже, даже агрессивно, но я был больше не в силах выдерживать напряжение. Я прекрасно сознавал, что она могла отпрянуть, что мое поведение могло сгубить это мгновение, но мне было все равно. Я был венецианцем. Я мог брать все, чего желал. Я должен был узнать, должен был показать мои намерения, какими бесчестными они ни были бы и как бы я ни рисковал потерять ее уважение, если бы ошибся. Это было возмутительнейшее поведение — посягнуть на замужнюю женщину в уединенном месте, куда она меня доверчиво привела. Могу только сказать, что я пребывал во власти своего рода безумия, порывистости, возникающей от пребывания в чужой стране, где общепринятые правила поведения не так строги, и вдобавок особая магия этого места провоцировала взрывы эмоций, обычно скрытых от посторонних глаз.

Она не отпрянула. Наоборот, она откликнулась на мое нападение со свирепостью, поощрившей меня на еще большее. И мы лежали на земле, сплетясь телами в неутоляемой жажде друг друга, и стоны были единственным средством общения, не считая красноречивого разговора наших тел.

Как это случилось, я не знаю; не могу вспомнить, кому принадлежала инициатива, но я ощущал, как ее руки исследуют мое тело с таким упорством, что я достиг высоты возбуждения, не сравнимой ни с чем, испытанным мною прежде, и я тщетно дергал ее одежду — одежду той эпохи, уподобление средневековым замкам, предназначенным отражать все штурмы, — пока она не отстранилась.

Вновь я был поражен, поскольку ожидал, что она опомнилась, осознала гибельность своего положения, но нет! Она сказала только; «Не так», — и начала медленно расстегивать блузку, затем юбки, пока не открылась мне во всей своей красоте и не легла вновь на одеяло, протягивая ко мне руки с выражением томления и отчаянности на лице.

Он не был хорош, этот первый раз, и, возможно, иначе и не может быть

между людьми — настолько не уверенными друг в друге, настолько не знающими желаний и потребностей друг друга. Однако к концу она вскрикнула почти как от боли, и я чувствовал расслабляющуюся напряженность ее тела, как медленно расслаблялось и мое. Потом мы лежали вместе, и я неторопливо ласкал ее живот, все еще не в силах поверить, что подобное произошло. Кем была эта женщина? Какого рода женщина отдается таким образом? Но, опять-таки, мне было все равно. Подобные мысли у меня возникали и прежде с другими, и всякий раз результатом было своего рода отвращение, отделение похоти от уважения и невозможность примирить эти два чувства. Такой трудности теперь не возникло. Я испытывал только блаженную удовлетворенность и не желал ничего, кроме того, чтобы обнимать ее вечно. Впервые в жизни я ощутил себя целым.

Но когда я повернулся, чтобы взглянуть на ее лицо, то увидел слезы, медленно ползущие по ее щекам, и от неожиданности приподнялся и сел.

— Моя милая, я так сожалею, так безумно сожалею, — сказал я искренне, в убеждении, что она наконец осознала всю легкомысленность своего неразумия.

Она засмеялась сквозь слезы и покачала головой.

— Нет, я плачу не из-за этого, — сказала она.

— Так из-за чего?

Она промолчала, только протянула руку, нашла свою блузку и накинула ее прямо на голые плечи.

— Скажи мне, — не отступал я.

— Не знаю, смогу ли, — сказала она. — Сказать это нелегко.

— Попробуй.

Она долго смотрела на море, собираясь с мыслями.

— Мне было двадцать семь, когда я вышла замуж за мистера Корта. Старая дева. Я уже оставила всякую надежду на брак и полагала, что мне кое-как придется перебиваться самой. Затем появился он и сделал мне предложение. Я приняла, хотя знала, что любви между нами не будет никогда. Он не давал мне никаких обещаний, как и я ему. Ему требовалась экономка. О любви или романтике он ни малейшего понятия не имел. К тому же я ничем не жертвовала и думала, что мы поладим. У меня будут дети, а с ними и нежность.

Вскоре я узнала, что и это было лишь мечтой. Он не способен на то... на что способны вы.

— О чем вы?

— У нас отсутствует интимность того рода, которая обычна между мужем

и женой, — продолжала она сдержанно. — И у него вообще нет к женщинам подобного интереса. Поначалу я думала, что причина всего лишь в неловкости завязтого холостяка, однако скоро поняла, что тут совсем другое... Нет, мне не следует говорить про это.

— Как вам угодно. Но не молчите из-за меня.

Я видел, почему она сказала, что это будет нелегко: даже слушать было тяжело. Но раз начав, она уже не могла остановиться, будто слова копились в ней годами и при первом же подходящем случае вырвались наружу навстречу первому сочувствующему слушателю. Я ничего не говорил, только слушал, закрепляя нашу интимность, теснее соединяя наши жизни, превращая нас в любовников духом, а не просто телом.

— У него иные вкусы. Ужасные, извращенные, омерзительные. Он исполнил свой долг, и у нас родился сын, но и все. Когда я обнаружила, что он такое, я больше не могла приближаться к нему. Я бы не допустила, чтобы он прикасался ко мне, будь у меня выбор. Вы понимаете?

Я кивнул, но нерешительно.

— Вот почему ему нравится Венеция. Тут есть возможности для таких, как он. Вы считаете его мягким, кротким человеком, верно? Глуповатым неумехой, но с добрым сердцем.

— Пожалуй, таково мое общее впечатление. Да.

— Вы его не знаете. Вы не знаете, каков он на самом деле.

— Мне трудно поверить этому.

— Знаю. Большую часть времени он такой, каким вы его считаете. Затем просыпается безумие, и он меняется. Готов на насилие, жесток. Хотите, чтобы я рассказала вам, что он делает? Когда я не успеваю убежать или запереться, чтобы он не мог войти ко мне, он и люди, которых он находит? Ему нравится боль, вот в чем суть. Она возбуждает его. Только она. В свете он не мужествен и вымещает это на мне.

Я покачал головой.

— Не говорите мне.

Я наклонился и взял ее за руку, ужасаясь ее словам, как мог кто-то обходиться с женщиной — любой женщиной — в манере, на которую намекала она? Это превосходило всякое понимание.

— Но по вашему виду не скажешь, что вы подвергались подобным надругательствам, — заметил я.

— В данную минуту на мне нет синяков и порезов, — сказала она. — Вы сомневаетесь в моих словах? Погодите немного, и вскоре на мне будет достаточно знаков, чтобы удовлетворить вас.

— Ничего подобного я в виду не имел, — ответил я поспешно. — Я

указал, что вы не выглядите женщиной, подвергающейся дурному обращению. Ну может быть, пренебрегаемой, нелюбимой.

— Я привыкла, — сказала она. — Так было не всегда. Вначале я решила положить этому конец. Но как я могла преуспеть? У меня нет ни своих денег, ни положения. Он мой муж. Убежать? Но куда? Он меня разыщет, или я умру с голода. Однажды я попыталась, но была застигнута, не успев уйти.

И я выучила свой урок. Думаю про себя, что, может быть, не все мужчины такие. Твержу себе, что это минует. Едва безумие проходит, как он на недели становится вполне сносен, пока оно вновь не возвратится. Он разрешил мне показывать вам город. Разве это поведение монстра? Человек, с которым вы познакомились, разве он жесток и склонен к насилию? Нет. Для внешнего мира он кроток и уступчив. Только я знаю правду о том, каков он на самом деле. Но кто мне поверит? Скажи я что-нибудь, в сумасшествии обвинят меня, а не его.

Тут она совсем надломилась и беззвучно зарыдала, зажав голову в ладонях. Она не могла продолжать и даже повернулась спиной ко мне, когда я попытался утешить ее. Но я не отступил, и в конце концов она сдалась, кинулась в мои объятия и заплакала не сдерживаясь.

Я еще не представлял плана моих действий и знал только, что сложится он обязательно.

— Вы должны уехать, — сказал я. — Покинуть Венецию и вашего мужа.

— Не могу, — сказала она с презрительной насмешкой. — Как могу я так поступить? Куда уехать?

— Я мог бы...

— Нет! — сказала она, теперь действительно с испугом. — Нет, вы не должны ничего говорить! Обещайте мне!

— Но я должен что-то сделать.

— Нет, не должны. Вы видите себя рыцарем в сверкающих доспехах, спасающим девицу в беде? Мы живем не в том веке, когда подобное случалось. У него есть права. Я его собственность. Что произойдет? Он, конечно, будет все отрицать. Заявит, что я все сочиняю. Найдет кого-нибудь вроде Мараньони объявить, что я завзятая лгунья, что я сумасшедшая. По-вашему, если я скажу правду, объясню, что он бьет меня возбуждения ради...

Она умолкла, ужаснувшись тому, что сказала, что выдала о своем адском существовании больше, чем хотела.

— Пожалуйста, — сказала она, умоляя меня, — пожалуйста, не берите

дело в свои руки. Не вмешивайтесь. Вы ничего не можете для меня сделать. Только чуточку любить меня, показывая, что не все мужчины монстры, что любовь это не только боль и слезы.

Я растерянно затряс головой.

— Чего вы хотите?

— Мне необходимо подумать. Привести мысли в порядок. Встреча с вами была... не могу описать чем. Едва увидев вас, я ощутила нечто, прежде мне не известное. Я не прошу вас о помощи. Ничего сделать для меня вы не можете. Я просто прошу вас быть рядом. Немножко. Это успокаивает и утешает больше, чем все, что вы можете сказать или сделать.

— Вы просите слишком малого.

— Я прошу большего, чем кто-либо когда-либо давал мне, — сказала она, поглаживая меня по щеке. — А если я попрошу большего, то могу его не получить.

— Вы сомневаетесь во мне?

Она не ответила, но вновь бросилась на меня.

— Довольно слов, — сказала она. — То есть сейчас.

Она была свирепой, словно, облегчив свою душу в признаниях мне, обнажив передо мной свои тайны, она уже не нуждалась в скромности или осторожности. Она была неуправимой со мной, как другие были неуправимы в своей ненависти к ней; это было ее защитой, подумал я, так отплатить своим мучителям. Потом она вновь распростерлась на земле без намека на осторожность или опасения.

— Я хотела бы умереть сейчас, — сказала она, пропуская сквозь пальцы мои волосы. — Вы не согласны? Покончить с жизнью тут, под звуки моря и деревьев, в лучах солнца, пробивающихся между ветвями. Вы меня не убили бы? Знаете, это сделало бы меня счастливой. Пожалуйста, убейте меня сейчас. Мне хотелось бы умереть от вашей руки.

Я засмеялся, но ее лицо оставалось серьезным.

— Тогда бы я больше вас не увидел, не разговаривал с вами, не обнимал бы вас, — сказал я. — Но я эгоист-мужчина. Теперь я владею вами и не позволю вам ускользнуть с такой легкостью, чего бы вы ни хотели.

— Ах, знай я, что существуют мужчины вроде вас, я бы выбирала иначе.

— Послушайте, — сказал я, начиная одеваться. Время проходило куда быстрее, чем мне хотелось бы, и кому-то из нас следовало вспомнить, что внешний мир продолжает существовать. — Как вы представляете себе дальнейшее? Мне едва ли надо говорить, что я хочу продолжения этого

дня. А вы? Если нет, скажите мне теперь же, потому что я не стерплю, если меня отвергнут.

— Что вы сделали бы, если бы я вам отказала?

— Я бы уехал, и скоро. Существенных причин оставаться здесь у меня нет.

— Не уезжайте, не то я правда умру.

— Но что мы будем делать теперь? Мы ведь не можем каждый день ездить на Лидо. И не можем встречаться у вас на квартире или у меня дома.

— У меня нет опыта в устройстве тайных встреч с любовником, — сказала она, и я услышал в ее голосе мягкий трепет волнения, будто самая мысль об этом возвращала ей силу духа.

— Как и у меня, — ответил я правду. — Но по-моему, в таких обстоятельствах снимают комнату, обычно в бедных кварталах. Она не будет элегантной и не предложит никаких удобств, кроме уединенности. Нормально это для женщин низкого разбора, и я не решаюсь...

— Нет! Давайте поступим именно так. Ведь я такая, и буду такой для вас с радостью.

Я внимательно поглядел на нее. Она говорила серьезно.

Все было обговорено самым деловым образом. Смягчать выражения не требовалось. Мы уже перешли границу притворства. Секретность любой ценой. Я обзаведусь комнатой для наших встреч. Несомненно, мы окажемся заметными для кое-кого, но не для тех, кого можем заинтересовать. Если мы обезопасимся от подглядывающих глаз иностранцев, мы будем в безопасности. Венецианцы видят все и не говорят ничего.

И мы отправились назад, когда на город начал опускаться вечерний свет. Гондольер греб равномерно, и мы ощущали себя в безопасности под эгидой его всеосведомленного безмолвия. Мы сидели вместе, бок о бок, почти до пристани, не говоря друг другу ни слова. Вечерние тени были нашим разговором, мягкость света и безмятежность воды — нашими чувствами, обретшими осязаемость. Венеция — тишайшая в сравнении с любым большим городом, и все-таки моим ушам она показалась шумной и галдящей, когда мы причалили. Люди шли слишком быстро, имели слишком много причин для того, что делали и говорили, в отличие от меня, поскольку у меня не было ни причин, ни желания вообще делать что-либо.

К ней я прикоснулся только, когда помог ей выйти из гондолы, и наши глаза кратко встретились, прежде чем помешали сговор и притворство жизни, предстоявшей нам теперь. Это была электрическая секунда, когда

мы одновременно осознали, насколько мы теперь повязаны друг с другом, заговорщики, ведущие тайную жизнь лжи и обмана.

Я считаю себя нравственным человеком, соблюдающим, насколько возможно, законы Божии и человеческие. Я был женат и все это время после заключения брака ни разу не обманул или предал мою жену. Я соблюдаю условия контрактов и держу данное слово. Я полагал, что Луиза была освобождена от всех данных ею клятв обхождением, которому подвергалась. Она сказала слишком много и сожалела о своих словах, но теперь у меня было некоторое представление об адских муках, каким муж подвергал ее. Никто не обязан лояльностью такому субъекту.

У меня подобного извинения не было, и я не пытаюсь его придумать. Скажу только, что возбуждение — это наркотик, а Венеция — трясина, засасывающая людей. Я хотел Луизу, и впервые в жизни никакие доводы и причины, весомые прежде, не имели власти надо мной. Я даже не думал о том, как поступаю, и ни на секунду не ощущал себя виноватым. Любые возражения я отметал. Венеция завладела мной, и я бросился в ее объятия с той же охотой, как и в объятия Луизы.

Остальной мир, разумеется, не посмотрел бы на это столь снисходительно. Я соблазнил чужую жену, и то, что возникло в пылу страсти, намеревался продлить расчетливо. С этой секунды началась жизнь лжи.

— Я должен поблагодарить вас, миссис Корт, за вашу помощь мне сегодня. Надеюсь, вы не слишком скучали.

— Напротив, — ответила она. — И если вы пожелаете, чтобы я снова составила вам компанию, пожалуйста, не стесняйтесь сказать о том. Я уверена, мистер Корт не будет возражать.

И мы попрощались чопорно и сдержанно. Я повернулся, чтобы уйти, а мое сердце колотилось от возбуждения.

Моя связь требовала тайны, а есть ли для этого способ лучше, чем вести себя нормально? Я ведь бродил по этим улицам, впитывая их атмосферу, уже обволакивавшую мое существо. Венеция — самое опасное место на земле — или была тогда, пока туристы не нахлынули туда и не разжижили воздух угрозы, пропитавший самые ее камни, глупой фривольностью зевак и не превратили ее жителей в поклонников преходящего.

«Откуда такая угрюмость?» — таким мог бы быть вопрос, повстречайся мне какой-нибудь знакомый, а было еще слишком рано, чтобы так рисковать, и потому я решил отгородиться от этого хода моих мыслей, сосредоточить внимание на других вещах. Была во мне часть — правда, непрерывно слабеющая часть, — которая восставала против соблазнов

города, хотя и неохотно.

Я направился в контору «Банко ди Санто-Спирито» и оставил мою визитную карточку синьору Амброзиану. Я хотел встретиться с человеком, знающим город — то есть знающим, как он живет, а не про его здания, что всегда узнать проще всего. А также знающего Макинтайра. Мне всегда казалось странным, что люди, готовые отправиться в такое-то место и тратящие на это немалую энергию, тем не менее покидают его, ничего не узнав о жизни его обитателей и без какого-либо интереса к ней.

Несколько лет назад один мой старый друг предпринял путешествие по Балканам и провел несколько месяцев в тамошних странах, однако вернулся, обогатившись знаниями только о пейзажах да архитектуре православных монастырей. Как накапливались там капиталы? Как управлялись города? Эффективна ли система налогообложения или нет? Каких уровней грамотности и дисциплинированности можно ожидать от населения? Иными словами, чем определяется их жизнь? Он не только ничего не знал об этих вещах, но они не вызывали у него ни малейшего интереса. Видимо, он полагал, что монастыри за ночь вылезают из земли подобно грибам, без какого-либо участия денег и рабочей силы, и что города эти возникли исключительно для того, чтобы радовать взоры туристов.

То же относится и к Венеции, но в большем масштабе. Что делали эти люди, живя посреди моря? Почему в дни своего величия они не мигрировали на сушу? Как теперь, когда дни величия ушли в прошлое, намерены они приспособиться к новому миру? Синьор Амброзиан, казалось, лучше всех подходил для ответов на эти вопросы. Только он среди всех, с кем я успел познакомиться.

Я написал на моей визитной карточке просьбу прислать ответ на мою квартиру, а затем вернулся туда отдохнуть перед обедом. Я был голоден, день был долгим, еда же далеко не обильной, а возбуждение пробудило во мне немалый аппетит. Я предвкушал обед в моем собственном обществе, так как решил, что есть в этот вечер я буду в одиночестве. Естественно, даже необходимо было показаться на глаза кружку англичан, однако в этот вечер у меня не было охоты разговаривать с такими, как Лонгмен, в манере веселого застольного собеседника — а я знал, что такая манера жизненно необходима, если я хочу преуспеть в моем обмане. Кроме того, я еще не был готов снова встретиться с Кортотом.

В следующие несколько дней на меня снизошла некая настороженная умиротворенность. Все мысли о том, чтобы отправиться в новые места к

новым зрелищам рассеялись так полегоньку, что я даже не заметил их исчезновения. Я даже не мог сосредоточиться на реальности с помощью бизнеса, когда получил письмо от секретаря синьора Амброзиана с извещением, что банкир пробудет в отъезде несколько дней, но будет счастлив познакомиться со мной, когда вернется.

Я был влюблен впервые в жизни, так я думал. Взяв ее, я отбросил мою осмотрительность и любые сомнения. Она была неотразима, а я и не думал о сопротивлении. Ее уязвимость, которая так удачно маскировала жутчайшую животность, завораживала меня; я был не способен видеть что-либо, кроме совершенства. Я хотел ее больше чего-либо еще на протяжении всей моей жизни. Я не был страстным в моих привычках или романтическим в поведении. Полагаю, уже очевидно, что я дисциплинировал себя тщательно и досконально. Однако природа берет свое: Венеция и Луиза Корт прорвали плотину, и все сметающий поток эмоций вырвался наружу. Чем больше я обладал ею, тем больше был готов растворяться в этом великолепном, ни с чем не сравнимым чувстве и доказывать его бесшабашностью.

Я думал, что влюблен, поскольку знал так мало. Я думал, будто люблю мою жену, но Луиза доказала мне, что это была лишь привязанность, даже не подкрепленная подлинным уважением. Затем я думал, будто люблю Луизу, хотя это была всего лишь страсть, не сдерживаемая опытом. Только когда я обрел Элизабет, я наконец понял, но к тому времени на меня надвигалась старость, и было уже почти слишком поздно. Она спасла меня от сухой и пустой жизни. Я искал совершенства, но лишь тогда осознал, что суть не в этом. Только когда знаешь каждый недостаток, недочет и слабость, но для тебя они никакого значения не имеют, ты по-настоящему понимаешь, что такое любовь.

У Элизабет, бесспорно, есть недостатки, и каждый из них вызывает у меня улыбку нежности или грусть из-за ее страданий. Теперь я знаю ее почти два десятилетия, и каждый день узнаю ее все лучше, люблю ее все сильнее. Она моя любовь и даже больше.

Но тогда Луиза Корт, ее образ и мысли о ней заполняли мои дни и мое сознание. И окрашивали город, который я ежедневно узнавал все ближе. Я стал любовником и спасителем. Мои гордость и тщеславие росли по мере того, как моя связь с ней все сильнее подчеркивала разницу между моей натурой и натурой Корта. Практическая сторона была налажена легко. В отеле, где я первоначально остановился, служил полезный человек. Синьор Фандзано говорил по-английски и показался мне крепким и здравомыслящим субъектом, знающим свет и умеющим молчать.

— Мне кое-что требуется, — сказал я, найдя его возле кухни отеля. — Мне нужны комнаты, удобные, но уединенные.

Он не спросил, зачем они мне требуются, а просто приступил к делу.

— Я верно понял, что вы не желаете, чтобы кто-либо знал про эти комнаты? — спросил он.

— Да. Это главное.

— Значит, не в центре, не в Сан-Марко, но предположительно и не очень далеко.

— Именно.

— У вас есть какие-либо требования к оплате?

— Никаких.

— И как надолго они вам потребуются?

— Не знаю. Для начала я буду рад заплатить за три месяца. Они должны быть обмоблированными и чистыми.

Он кивнул.

— Предоставьте это мне, мистер Стоун. Я сообщу вам, когда найду что-либо подходящее.

Два дня спустя мне было предложено обратиться к синьоре Муртано в улочке неподалеку от Сан-Джованни-э-Паоло вблизи Фондамента-Нуова. Она оказалась родственницей Фандзано (впрочем, в Венеции как будто все состоят в родстве со всеми остальными), готовой сдать гостиную и спальню в замызганном доме, давно пережившем дни своей славы, если они у него когда-либо были. Однако там имелся камин (дрова за дополнительную сумму, как обычно), отдельный вход, и только жесточайшая насмешка судьбы могла столкнуть меня с кем-либо из моих знакомых, когда я приходил и уходил. Плата была чрезмерная, во многом потому, что я решил щедро вознаградить Фандзано за его расторопность и молчание. Сделка была удачной, как оказалось: она обеспечила мне лояльность человека, который хорошо служил мне на протяжении трех следующих десятилетий, но тем не менее тогда я чувствовал, что цена любви в Венеции была великоватой.

Однако комнаты были сняты, и на следующий день я договорился, что Луиза вновь поведет меня осматривать город. Мы посетили Сан-Джованни, а затем я показал ей мою находку.

Она совершенно точно поняла мои намерения, когда я подвел ее к входной двери, и я опасался, как бы такая практичность не повлияла на ее эмоции.

И повлияла, но только усилила ее необузданность и страстность.

— Не открывай ставни, — сказала она, когда я хотел впустить немного

света, чтобы она могла осмотреть комнату получше.

Следующие два часа мы провели за исследованием новой страны, куда более экзотичной, чем всего лишь город из кирпича и мрамора, пусть даже он плавает в океане наподобие какого-то вянущего цветка.

Она была самой волнующей женщиной, каких я только знал. Она пробуждала во мне бесшабашность, о которой я прежде и не подозревал. Лишь крайне редко что-то не задавалось между нами, но и тогда, и всякий раз затем она находила случай ускользнуть на день, на час, а однажды — так и на торопливую отчаянную встречу, менее чем на пятнадцать минут, когда она накинулась на меня, пока ее муж ждал внизу.

Это возбуждало меня — мысль о ее возвращении к обязанностям жены: одежда в безупречном порядке, лицо спокойно и ничем не выдает то, как лишь несколько минут назад я прижал ее к стене и задрал ей платье, чтобы заставить ее кричать от наслаждения. Он этого сделать не мог. Я почти хотел, чтобы он узнал.

Однажды она отпрянула, когда я потянулся к ней. Я схватил ее за плечо, и она гневно отвернулась, но не прежде, чем я увидел багровый рубец поперек ее предплечья.

— Что это? Как это случилось?

Она мотнула головой и не хотела отвечать.

— Скажи мне, — настаивал я.

— Мой муж, — сказала она негромко. — Он подумал, что я дурно себя вела.

— Он подозревает, что...

— О нет! Он слишком глуп. Я ничего не сделала, но это не имеет значения. Он хочет причинить боль. Только и всего.

— Только и всего? — взбешенно повторил я. — Только? Что он с тобой сделал, скажи мне!

Вновь покачивание головы.

— Я не могу сказать тебе.

— Почему?

Наступила долгая пауза.

— Потому что я боюсь, что ты захочешь поступить так же.

Глава 10

И вот так это продолжалось. Мы находили время встречаться все чаще и чаще, иногда каждый день; она достигла большого искусства в умении ускользать незаметно. Мы почти не разговаривали: она сразу становилась печальной, да и в любом случае сказать нам было очень мало. Тогда я не думал, что это имеет какое-то значение.

Я забыл про салон маркизы и застонал от досады, когда вспомнил. Тем не менее свой долг я исполнил и явился туда вечером в следующую пятницу в семь. Я вымылся, насколько это возможно в доме без текущей воды и без приспособлений нагреть ту, что имелась, побрился, переоделся и в целом одобрил свою внешность.

Я рисовал себе вечер на манер лондонского или парижского, но, увы, он оказался совсем не похожим, поразительно скучным в первую половину и крайне тяжелым — во вторую. Суаре в Венеции — утомительное, сводящее скулы времяпрепровождение, примерно столь же приятное, как шотландские похороны, и с заметно меньшим количеством напитков. Дух карнавала настолько покинул город, что больших усилий стоит вспомнить, что когда-то он славился распушенностью нравов и беззаботной преданностью наслаждениям. Наслаждения эти нынче сильно разбавлены водицей, а радости строго рационированы, будто запас их очень невелик.

В дни моего пребывания в городе я редко посещал подобные вечера и уходил с ощущением, будто просидел там несколько часов, хотя мои часы всякий раз показывали, что миновало менее тридцати минут.

Вы входили, снабжались сухой галетой и очень малым количеством вина. Затем сидели в почтительном кольце вокруг гостеприимной хозяйки, пока правила приличия не подсказывали, что пора уходить. Должен признаться, я практически не понимал разговора — пусть и на возвышенные темы, но на диалекте, — однако серьезность лиц, отсутствие намека на смех, тяжеловесность тона — все указывало, что я ничего не теряю.

И было холодно. Всегда. Даже если в дальнем углу мужественно приплясывал огонь, его слабое тепло только дразнило, но не грело. Женщинам разрешалось прижимать к телу глиняные горшочки с горячей золой, чтобы хоть как-то согреться, но мужчинам ничего подобного не дозволялось. Им приходилось мерзнуть и пытаться игнорировать ледяное онемение, медленно всползающее вверх по пальцам и рукам. Упадок изгнал веселость, спутницу величия. Чем больше Венеция слабела, тем

больше ее жители утрачивали юмор. Быть может, они пребывали в трауре.

Маркиза была венецианкой всего лишь через брак, но приняла скуку с энтузиазмом новообращенной. Для таких вечеров она надевала все черное с акрами кружев и головной убор, почти полностью закрывавший ее лицо, затем садилась на кушетку и чинно приветствовала входящих, коротко переговариваясь с ними и, насколько я мог судить, подчеркнуто ждала, пока они не вставали, откланивались и уходили.

Ну во всяком случае, я приобщился к венецианскому свету, хотя позже я узнал, что наиболее уважаемые его члены уже давно отказывались переступить ее порог и она столь же давно перестала приглашать их. По причине некоторого скандала. Как я упомянул, она не была венецианкой и, хуже того, была почти нищей, когда выходила за своего мужа.

Против воли его семьи, что и стало источником скандала. Особенно когда почтенный джентльмен, старше ее на много лет, вскоре скончался, так и не обзаведясь наследником. Это было такой безответственностью, что виновной каким-то образом сочли маркизу: ведь кто-то же должен быть виноват в подобном промахе, раз род этот вопреки беднежью последних лет успешно выдерживал болезни, войны, прочие невзгоды, сохраняя нерушимую преемственность семь столетий.

Теперь все было кончено; великое имя на грани исчезновения — уже исчезло, по мнению многих. Со временем все семьи подстерегает злая судьба. Сама Англия постоянно наблюдает, как гаснут великие имена; меня это нисколько не трогает и не огорчит, если они исчезнут все. Хотя я признаю пользу аристократии как держательницы земли. Нестабильность тут означает нестабильность страны. Но по большей части трех поколений вполне достаточно, чтобы обеспечить крах любой потомственности. Одно поколение, чтобы создать богатство, второе, чтобы им насладиться, и третье, чтобы его промотать. Что до меня, разумеется — если только мои нынешние розыски не дадут результата, которого я не ожидаю, — мне даже это не предназначено. У меня нет наследника. Нам это не было дано. Все хотят оставить после себя что-то, и огромной, созданной мной организации недостаточно. Я бы хотел иметь ребенка, чтобы, как я своего отца, он бы похоронил меня и заботился бы об Элизабет, когда я умру. Это наш единственный шанс на какое ни есть бессмертие. Я ведь не обманываю себя, будто мои творения переживут меня надолго; жизнь компаний гораздо короче жизни фамилий.

Это, сказать правду, было величайшей печалью нашей совместной жизни; и ведь мы были так близки... Элизабет преобразилась от радости, когда сказала мне, что ждет ребенка, и впервые в жизни она вкусила

истинное, ничем не омраченное счастье. Но оно было отнято самым ужасным образом... Ребенок был чудовищем. Я могу сказать это теперь, хотя много лет прогонял всякую мысль о нем. Он должен был умереть в любом случае. Она его не увидела, не узнала, что произошло на самом деле, но ее горе все равно было безграничным. Мы похоронили его, оплакали и его, и то, что могло бы быть. Это не было ее виной, разумеется, нет. Но она взяла вину на себя, думала, что причиной каким-то образом была ее жизнь, что унижения, которые она испытала, до такой степени въелись в ее существо, что даже плод ее тела был загублен. Некоторое время я думал, что ей уже не опривиться, боялся, что она может опять обратиться к тем страшным наркотикам, к которым с такой легкостью когда-то прибегала, чуть только напряжение и нервность грозили взять верх. Ее жизнь была тяжелой и опасной; шприц с раствором помогал ей забыться настолько, чтобы продержаться.

Она, конечно, выдержала; она же так мужественна. Но о детях больше речи не было. Врачи сказали, что новая беременность может ее убить. Думаю, она приняла бы такую смерть с радостью. Она бесценнее любых наследников, бесценнее всех детей на свете. Пусть все обратится в прах, развеется ветрами, но пусть она остается рядом со мной до конца. Если она покинет меня, я тоже умру.

— Надеюсь, мой маленький вечер доставил вам удовольствие, — сказала маркиза, когда все наконец кончилось.

— Он был чудесен, мадам, — ответил я. — Очень интересен.

Она засмеялась. Первый веселый звук, огласивший комнату за весь вечер.

— Ужасен, подразумеваете вы, — сказала она. — Вы, англичане, вежливы до смешного.

Я неуверенно улыбнулся.

— Тем не менее вели вы себя достойно и произвели хорошее впечатление. Благодарю вас за это. Вы укрепили репутацию вашей страны как оплота серьезности и достоинства, просидев так долго, ничего не говоря. Вы можете даже получить приглашение на вечер от одного-двух моих гостей.

Она заметила расстроенное выражение, мелькнувшее на моем лице.

— Не тревожьтесь. Они относятся к этому легко и будут вполне счастливы, если вы не придете.

Она поднялась с кушетки в пене кружев, я тоже встал.

— А теперь, — сказала она, — мы можем начать более интересную часть этого вечера.

Мое настроение сразу улучшилось.

— Прежде поужинаем, а потом...

— Потом что?

— Подождите и увидите. Но при этом будут люди, которых вы знаете, и одиноким вы себя не почувствуете. Например, вы знакомы с миссис Корт?

Надеюсь, я не выдал себя, но в некоторых отношениях она была чересчур проникательной. Я сказал, что знаком с миссис Корт.

— Бедная женщина!

— Почему вы так говорите?

— Нетрудно заметить, что она несчастна, — сказала маркиза негромко. — Мы в каком-то смысле подружились, и она много рассказывала мне о своей жизни. О жестоком обращении с ней ее нанимателей в Англии, о недостатках ее мужа... — Она прижала покрашенный ноготь к покрашенным губам, подчеркивая необходимость в сдержанности. — Ее влечет Та Сторона.

Я мог бы сказать, что, по моему опыту, ее интерес к более земному куда заметнее и что нет нужды напоминать мне о сдержанности, но не сказал ничего.

— Однако эта жизнь мало что ей предлагает, — продолжала она.

— У нее есть муж и ребенок.

Маркиза театрально покачала головой.

— Если бы вы знали то, что знаю я... — сказала она. — Но я не должна сплетничать. Так идемте, поздороваемся с гостями.

Она позволила взять ее под руку, и мы наконец покинули холодный, полный сквозняков салон. Меня слегка задело, что своими тайнами, которые, думал я, она доверила только мне, Луиза поделилась и с маркизой, но смирился с тем, что отчаяние побуждает женщин делиться секретами друг с другом. Я вычеркнул это из мыслей и заметил, что мое настроение улучшается с каждым нашим шагом в направлении столовой: ведь движения было достаточно, чтобы размораживать мое тело, хотя ощущать маркизу так близко было несколько неприятно. От нее пахло ее излюбленными крепкими духами, и она прижималась к моей руке, пожалуй, более интимно, чем допускал ее возраст.

В столовой горели свечи и пылал огонь, чтобы одолеть вечерний холод — снаружи было тепло, но дома, настолько постоянно сырые, никогда не бывают комфортными с наступлением темноты, — и блюда ждали, когда за них примутся. Мы начали есть, и, пока мы ели, подходили остальные. Мараньони самым первым, затем мистер и миссис Корт. Сердце у меня

ёкнуло, когда я увидел ее, и мы обменялись быстрым взглядом заговорщиков. Она задержала свой взгляд на мне ничтожную долю секунды. И никто не успел бы его увидеть, но этого было достаточно. «Я хотела бы быть с тобой, — сказала она яснее ясного. — Не с ним». Я поздоровался с Кортотом как мог обычно, но мое отношение к нему переменилось полностью. Теперь, насколько было возможно, я избегал мест, где мог натолкнуться на него; я не был уверен, что сумею сдержаться и не выдать своего презрения. Ведь я теперь был не способен думать о нем, не вспоминая слова Луизы, каков он на самом деле. Он, я уверен, заметил перемену во мне и был сбит с толку, как и следовало ожидать. И во мне вспыхнуло желание объяснить ему. Я взял себя в руки только ради нее и некоторое время поддерживал вежливый разговор, хотя он отвечал медленно и неопределенно. Макинтайр тут, конечно, не присутствовал. Он был слишком рациональным человеком, чтобы согласиться прийти на подобное собрание, даже не будь он оскорблен отказом маркизы сдать ему комнаты, чтобы его дочке жилось лучше. Лонгмен и Дреннан довершили общество, и к концу ужина нас собралось семеро — ни единого венецианца, отметил я.

Затем маркиза начала говорить, исключительно об аурах и переселениях, душах и духах, Этой Стороне и Той Стороне. В комнате потемнело, атмосфера стала напряженнее, хотя все гости относились к происходящему скептически. Кроме, может быть, Луизы — она словно бы сильно нервничала. Про Корта не знаю: он был как бы почти пьян и совершенно не реагировал на происходившее вокруг него.

Нам предстояло уплатить за наш ужин посещением Той Стороны. Полная нелепость, конечно, однако в сравнении с вечером у традиционного венецианца даже заманчивая. Бесспорно, нечто новое, и мне было любопытно узнать, во что это выльется. Какие сценические трюки будут использованы, насколько убедительным будет все это выглядеть. Для начала было трудно удержаться от смеха. Я заметил, что даже Дреннан, человек далекий от комических развлечений, прилагает титанические усилия, чтобы не дать губам дрогнуть в усмешке. Маркиза придала своему голосу надмирный тон и взмахивала руками, заставляя колыхаться широкие рукава.

— Кто-нибудь ждет там? Ты ищешь общения с кем-нибудь здесь?

Она прижала ладони ко лбу в знак сосредоточенности, возвела ошеломленный взгляд к потолку, намекая на грозное величие происходящего, тяжело вздохнула, демонстрируя спиритуальное разочарование, тихо застонала, подчеркивая, как мучителен ее труд.

— Не страшись, о дух! Явись и передай свою весть.

Правду сказать, все это сильно смахивало на пародию спиритуалистического сеанса, и было трудно удержаться и не брыкнуть стол, просто чтобы посмотреть, как она среагирует.

Но затем атмосфера изменилась.

— Весть для американца среди нас? — тихо простонала она. — Да, говори!

И мы все посмотрели на Дреннана, который словно бы не очень обрадовался такой чести.

— Вы знаете кого-нибудь по имени Роза? Это весть от кого-то по имени Роза, — произнесла она совсем по-деловому, говоря нормальным голосом, куда более пугающим, чем надмирный тон, к которому она прибегала прежде. — Она хочет поговорить с вами. Она говорит, что все еще любит вас.

Вот тут улыбки зрителей по-настоящему исчезли, и воцарилась полная тишина. Ведь мы все увидели, каким пепельным стало лицо Дреннана, как он застыл в своем кресле, будто от страшного шока. Но мы хранили молчание.

— Она говорит, что прощает вас.

— Неужели? За что же? — спросил Лонгмен.

Его сочный голос — ироничный и нормальный — прозвучал абсолютно неуместно и почти шокирующе. Увы, дух говорил сам с собой, не снисходя до диалога. Мы не получили ответа на его вопрос. Крылся ли здесь какой-либо смысл для Дреннана, оставалось неясно. Его лицо оледенело, и он так крепко вцепился в подлокотники кресла, что костяшки пальцев побелели.

— Ах, она исчезла, — сказала маркиза. — Она не могла остаться.

Затем глубокий вздох и возвращение театральности. Мы получили еще пять минут легких улыбок, хмурящихся бровей вместе с «О!» и «Ах!». Затем опять вздор «Приди ко мне, о дух!», прежде чем она вновь перешла к делу. На этот раз для контакта был избран Корт, и, едва она начала, я понял, что быть беде. Дреннан — волевой, не склонный к эмоциям, рассудочный, но даже он был выбит из колеи. Было легко предсказать, как среагирует Корт, куда более уязвимый. Еще за ужином лицо его выглядело бледным, глаза остекленевшими, он жаловался на головную боль и почти не прикоснулся к еде. Однако он в огромных количествах пил воду.

Маркиза закрутила это отлично: духи появлялись и исчезали, начинали говорить, затем колебались, вынуждая улеживать себя, чтобы они сообщили свою весть. Нарастание напряжения было подстроено с паразитическим мастерством, и Корт, теперь сидящий, выпрямившись и

лоснясь от пота, явно находился на грани серьезного нервного срыва.

— Есть ли здесь кто-нибудь по имени Уильям? — спросила маркиза, не произведя на меня особого впечатления, ведь она прекрасно знала, что есть. — Тут кто-то хочет поговорить с ним.

Корт, бледный, но пытаясь сохранять выражение бравого скептицизма, поднял руку.

— Ее имя Анабель, — сказала маркиза, вновь включая свой обычный голос. — Она глубоко несчастна.

Корт ничего не сказал, но маркиза приняла молчание за знак согласия.

— Это та, что любит вас, — сказала она. — Она несчастна и в глубокой печали. Она говорит, что вы прекрасно знаете, в чем причина.

Корт вновь ничего не сказал, но дышал тяжело и обливался потом. А маркиза заговорила не своим голосом, почти писклявым, девичьим, и слушать его было страшно даже мне. Воздействие на Корта было неопишимо.

— Уильям, ты жесток. Ты бесчестишь свое имя. Перестань, не то он заберет твою душу. Я та, что отдала жизнь, чтобы мог жить ты.

При этом утверждении из горла Корта вырвался дикий вопль. Он завизжал, вскочив, опрокинул кресло и с безумным взглядом попятился к стене. Шум вывел маркизу из транса, и она растерянно оглянулась по сторонам — очень убедительно, должен я признать. Я не думал, что она притворялась; она действительно впала в какое-то забытие. Даже я при всем моем скептицизме был готов это признать.

Затем она сфокусировалась на сцене, какую сотворили ее слова, испуганно шурясь на устроенный ею бедлам. Корт, вжавшийся в стену, рыдающий и стонущий; кресла, опрокинувшиеся, когда он отбивался от воображаемых призраков; Дреннан, единственный из нас сохранивший подобие самообладания, шагнувший поднять канделябр, упавший на пол, угрожая сжечь дом; Луиза, отпрыгнувшая от стола и замершая, глядя на мужа.

— Корт, дорогой мой, — начал Лонгмен, направляясь к нему.

Корт посмотрел на него с ужасом, бросился к столику со сладостями и коньяком и схватил острый ножик для чистки фруктов.

— Не подходи! Убирайся! Оставь меня в покое! — По его щекам катились слезы, но за слезами крылась ярость.

Даже хотя он, несомненно, никогда прежде не пользовался ножом для подобной цели, Корт выглядел опасным, и я приготовился исполнять его требования. Лонгмен был более храбр — или глуп. Хотя Дреннан предостерегающе окликнул его, он продолжал с протянутыми руками идти

к молодому человеку.

— Успокойтесь, милый мальчик, — сказал он ласковым тоном, — нет ничего...

Он не закончил. Корт попятился и, очутившись возле жены, начал яростно замахиваться ножом. По его выражению было видно, что он не притворяется. Луиза отскочила как раз вовремя — рукав ее зеленого платья расплосовала длинная красная царапина. Она упала на колени с пронзительным криком, сжимая раненую руку.

«Бог мой!», «Остановите его!», «Вы с ума сошли?» — все эти клише срывались с разных губ, а Корт повернулся, уронил нож и кинулся к двери, как раз когда Дреннан бросился наперерез и повалил его на пол. Борьбы не последовало; Корт не сопротивлялся, но, совсем сломленный, рыдал на полу, а все вокруг смотрели на эту сцену в ужасе, с возмущением, отвращением, неловкостью, согласно своему темпераменту.

Затем каждый стал самим собой. Лонгмен застонал, будто нож полоснул его, а не Луизу; Мараньони преобразился в медика и принялся оказывать ей помощь, осматривая ее рану с поразительной бережностью. Маркиза забилась в истерике, а Дреннан, убедившись, что припадок ярости миновал, помог Корту встать, подвел его к креслу и усадил. Только я — не жертва, не целитель, не охотник — не имел привычной роли, чтобы вернуться к ней. Я было подошел к Луизе, чтобы помочь, но Мараньони меня оттолкнул, и при этом я заметил его заинтересованный, многозначительный взгляд. А потому я притворился, оглядел комнату, подвел маркизу к креслу и налил ей — и себе — большую рюмку коньяка. Луиза все еще стояла на коленях, содрогаясь от ужаса и шока. Но ее глаза поставили меня в тупик: они были широко раскрыты, однако не от страха или ужаса из-за происшедшего.

Рана была несерьезной. Нож задел кожу, но повреждение было более эффективным, чем реальным. Мараньони быстро забинтовал руку салфеткой и усадил Луизу тоже с рюмкой коньяка. Его объявление, что она будет жить — это было очевидно, однако мнение эксперта всегда полезно, — значительно разрядило атмосферу. Затем он занялся Кортом, который, совсем обессиленный, сидел на полу у стены, обхватив колени и поникнув на них головой. В эту минуту я испытывал к нему безграничное отвращение.

— Ему требуется успокоительное, — сказал Мараньони. — И сон. Потом мы решим, как поступить с ним. Полагаю, никто не хочет обращаться к властям?

Все хором согласились, что делать этого никак не стоит. Мараньони почти сиял, что его заключения о Корте получили столь наглядное

подтверждение. Но по крайней мере он знал, что предпринять, мог предложить какой-то план действий. Внезапно он взял руководство, и я впервые понял, почему ему доверили пост, облеченный полномочиями и властью. Он это умел.

Он отдал распоряжения. Корт будет доставлен на ночь в его клинику; Дреннан будет сопровождать его туда и позаботится, чтобы не возникло никаких новых проблем. Утром он произведет доскональный осмотр.

— А миссис Корт? Кто-то должен проводить ее домой.

— Ни в коем случае. Вы должны погостить у нас, дорогая миссис Корт, — сердечно сказал Лонгмен.

— Или здесь. У меня просторнее, — перебила маркиза, словно бы слегка раздосадованная предложением Лонгмена.

Луиза кивнула.

— Благодарю вас, — прошептала она. — Вы все очень добры.

Все принялись утешать ее. Только Мараньони ничего не сказал, внимательно за ней наблюдая; я заметил, как его глаза переметнулись и на меня. Даже в подобную минуту он мог только диагностировать, наблюдать и истолковывать.

— А ваш сын? — сказал он затем.

Луиза посмотрела на него в секундном колебании.

— Он дома с няней. Ничего плохого с ним не случится, — сказала она.

Вот так все было устроено. Лонгмен обещал вернуться, если потребуется какая-либо помощь, и распрощался. Я также сослался на что-то и ушел к себе в комнаты.

Час спустя Луиза пришла ко мне. Я ее ждал. К той минуте, когда она ускользнула на заре, я сказал ей, что никогда с ней не расстанусь, что хочу быть с ней навеки. Что я люблю ее, буду ее защищать.

Глава 11

Я встретился с синьором Амброзианом по его возвращении; встреча была назначена без промедлений, и я пришел в его банк близ пьядца Сан-Марко, совсем не похожий на лондонские дворцы, в которых Ротшильды и Баринги распахивают двери Европе и всему миру. Банко ди Санто-Спирито (очаровательное название, подумал я, подразумевающее, что все это ростовщичество предназначено наилучшему служению Богу, а не обогащению нескольких семейств) не шел ни в какое сравнение с каким-либо из великих лондонских домов. Однако его амбиции воплотились в том, как он выскреб дворец эпохи Возрождения и отделал его темным

деревом и мрамором в прожилках, необходимым индикатором солидности в каждом серьезном финансовом центре.

Амброзиан был под стать своему зданию. Из всех итальянцев венецианцы самые непроницаемые: свои эмоции они умеют прятать. Жизнь для них — серьезное дело, а многим присуща природная меланхолия, сильно затрудняющая общение с ними. Амброзиан был крайне сдержан, безупречно вежлив, но без намека на открытость или приветливость. Красивый мужчина, безупречно одетый, с пышной серебристо-серой шевелюрой в тон серому галстуку и (иностранный штрих) запонкам с крупными жемчужинами, а также вазе серебристых цветов на его столе. Отличный индивид, ушлый бизнесмен, всегда нацеленный использовать доверчивость других людей, как и надлежит человеку его положения. Я горячо надеялся, что в переговорах со мной он будет беспощаден. От этого зависело очень многое.

Я выразил удовольствие от знакомства с ним и объяснил мое положение:

— Я нашел несколько перспектив для капиталовложений в Венеции и хотел бы проконсультироваться с вами об их практичности, — сказал я, когда с любезностями было покончено. Самыми обычными: вопросы и ответы, чтобы он мог определить, стоит ли отнестись ко мне серьезно. Тут мне хорошо послужило имя Джозефа Кардано. Он был известен финансистам почти по всей Европе, пусть только по имени или репутации. Но не вне этого круга. Самый факт, что я сообразил назвать его имя, заставил Амброзиана поверить в мою целеустремленность. Он мало-помалу стал более внимательным, более осторожным в выборе слов. В данную минуту именно этого я и хотел. Он был слишком тщеславен, чтобы поверить, что говорит с ним равный, но достаточно умен, чтобы понять необходимость взвешивания. А именно это мне в тот момент и требовалось. Его триумф, если он использует меня, будет тем больше, и потому неодолимо соблазнительным.

В течение часа мы обсуждали перспективы постройки гранд-отеля в Венеции: я излагал мои идеи, он объяснял все трудности. Найти подходящий земельный участок, найти рабочую силу, управляющих, получить необходимый капитал под подходящие проценты для подобной затеи — в конце-то концов, кто захочет приехать в Венецию?

Для каждой проблемы я находил ответ: строить на Лидо, а не в центре Венеции; привезти архитекторов, инженеров, землемеров из Франции и Англии, если понадобится. Использовать мои умения (тут я слегка преувеличил) и связи Кардано для создания компании, которая сможет

получить деньги в Лондоне. Я все продумал, и мои ответы были взвешенными и исчерпывающими.

— Так зачем вам понадобился я? — спросил он с улыбкой.

— Затем, что без вас это неосуществимо, — сказал я чистую правду. — Деньги должны поступать в Венецию и выплаты производиться здесь. Для этого требуются банковские услуги. Я пробыл здесь достаточно долго, чтобы прийти к выводу, что обратиться к властям — значит провалиться в трясины. Найти подходящую землю невозможно без местной осведомленности и влияния. А я убедился, что вы — самый почитаемый финансист в здешних местах.

Он принял мое объяснение. И был искренне заинтересован; достаточно заинтересован, чтобы начать задавать вопросы, какую именно прибыль сулит этот проект ему. Это, указал я, зависит главным образом от того, сколько денег готов вложить его банк. Обойдется все это достаточно дорого, и ожидать прибыли в ближайшие годы не приходится.

— О, вы, англичане! — сказал он. — Вам ведь нравится мыслить масштабно, не правда ли? Ну а мы, венецианцы, естественно, подумаем о нескольких десятках маленьких гостиниц с тем, чтобы каждая строилась после того, как предыдущая окупится. Интересная идея. Даже еще более интересно, что я могу заняться этим без вас. Вы во мне нуждаетесь, но нуждаюсь ли я в вас?

— Строить что-либо в таком масштабе, не заручившись финансовой поддержкой Лондона? Подобрать квалифицированную рабочую силу, разбросанную по всей Европе? Убедить компании вроде Кука организовать экскурсии в Венецию с остановкой в вашем отеле?

— Справедливо. Если, конечно, вы способны обеспечить все это. Я по опыту знаю, что англичане иногда обещают больше, чем исполняют.

— Например?

— Мы одолжили значительную сумму англичанину, — сказал он, — который подобно вам обещал всякие чудеса. Но до сих пор ни единого не сотворил.

— Я знаком с мистером Макинтайром, — сказал я. — Если вы подразумеваете его.

— Он мошенник и негодяй.

— Неужели? Я нахожу его прямодушным.

— Отнюдь. Мы узнали, но лишь после того, как он прикарманил наши деньги, что в Венеции он только потому, что будет брошен в тюрьму, если у него хватит дерзости вернуться в Англию.

— Вы меня удивляете. — И сказал я это искренне. Мне было трудно

поверить, что мы говорим об одном и том же человеке. Я побился бы об заклад на солидную сумму, что Макинтайр абсолютно честен.

— Видимо, он растратил большие деньги своих нанимателей и сбежал. Не будь он у нас в долгу, мы быстро отправили бы его восвояси.

— Вы в этом уверены?

— Совершенно уверен. Естественно, едва мы узнали об этом, то отказали ему в новых займах, и теперь я серьезно сомневаюсь, что мы когда-либо получим свои деньги обратно. Как видите, предложение незнакомого англичанина...

— Я понимаю. Естественно, сотрудничество между нами потребует полного доверия. Однако я убежден, что без труда сумею рассеять ваши сомнения. А теперь, поскольку речь идет о патриотической гордости, я охотно предлагаю свою помощь в вопросе с Макинтайром. Сколько он вам должен?

— Что-то около пятисот фунтов стерлингов, если не ошибаюсь.

Интересно, подумал я про себя. Я прекрасно знал, что вложил он значительно меньше. Это очень обнадеживало.

— Тут требовалось истинное воображение, должен сказать, — продолжал я. — Мало кто готов пойти на подобный риск.

Он помахал рукой.

— Если его машина будет работать, откроются очевидные возможности. Если же нет, тогда, естественно, ситуация меняется. А постоянные отсрочки и проволочки меня настораживают. И потому...

— ...другое предложение другого англичанина не преисполняет ваше сердце радостью.

Он улыбнулся.

— В таком случае, — продолжал я, — я прибегну к наличным, чтобы заслужить ваше доверие. Разрешите мне выкупить долг мистера Макинтайра. Уплатить его от его имени. Если после мы придем к соглашению о проекте с отелем, мы, убежден, сможем тогда обсудить частности. Я не могу допустить, чтобы вы думали, будто все англичане — мошенники и негодяи. Хотя, без сомнения, есть и такие. Если желаете, я мог бы составить соглашение теперь же.

Амброзиан был слишком осторожен, чтобы согласиться. Он выглядел почти шокированным. Ну, не совсем, но у него таки был вид человека, оскорбившегося, что его принимают за простака. Конечно, он не ставил мне в упрек мою попытку; и он прекрасно знал, что я знаю, что моего предложения он не примет.

— Ну, я не могу вас винить, — сказал я с улыбкой, указывающей, что я

все прекрасно понимаю. — Тем не менее я заинтересован, и если ваше решение изменится...

Я ушел, глубоко задумавшись. Мое предложение выкупить долг Макинтайра произвело желаемый эффект, размышлял я. Амброзиан был готов отнестись ко мне серьезно. Другое дело, если бы он внезапно его принял. Меньше всего я хотел тратить деньги на машину, которая вполне могла бы оказаться бесполезной. Если так, пусть держится за нее на здоровье. Но если все-таки она заработает, держаться за нее он будет. Если испытания пройдут удачно, он, конечно, откажется вложить новые деньги, подаст на взыскание долга и станет единственным держателем патента. Макинтайр больше не будет иметь к нему никакого отношения, разве что в роли служащего, официального банкрота, вынужденного работать за жалкие гроши.

Жаль, что машина не оказалась полностью безнадёжной, думал я. Для Макинтайра это было бы плохо, но по крайней мере у него было бы удовольствие сознавать, что Амброзиан тоже лишился своих денег. Малая компенсация, и я не думал, что она доставит ему особую радость. Так думают только финансисты. Однако...

Это все-таки заставило меня задуматься, и, пока я шел через пьядца Сан-Марко, я мысленно перебирал все возможности.

Я остановился, улыбаясь ватаге уличных мальчишек, бросавших камешки в воробья на веревке с бельем. Вот именно. Вопрос только в том, как это устроить.

Глава 12

Всякий читающий это может удивиться, почему меня не слишком озаботили настояния Амброзиана, что Макинтайр какого-то рода мошенник. Достаточно часто подобные характеристики оборачиваются помехами для хорошего бизнеса. Однако не всегда; тем более если негодяй не в том положении, чтобы причинить вред лично вам. У меня не было ни малейшего намерения снабдить Макинтайра деньгами, если у меня не будет полного контроля. Он не мог сбежать с тем, чего у него не было. К тому же такие люди бывают очень полезны, если они работают на вас, а не против вас. Прошлая жизнь Ксантоса, например, это совсем не то, о чем бы я хотел знать побольше, хотя, когда он постучал в мою дверь, я потрудился установить, что было бы неразумно отправить его в области, находящиеся под властью султана, поскольку прошло бы долгое время, прежде чем его бы выпустили из тюрьмы. Но теперь его хитрые приемы работают на меня, и он был хорошим и лояльным служащим — до недавнего времени.

Вот почему мнение Амброзиана о Макинтайре меня не слишком встревожило. Однако было бы неверным сказать, будто я не был заинтригован, и я досадовал, что все еще не получил ответа от моего дорогого друга Кардано, которому написал уже довольно давно. До получения его ответа я не мог предпринять ничего существенного. В Венеции я мог найти старые газетные подшивки, кое-какие справочники, и ничего больше. Того сорта информацию, какая мне требовалась, приобрести было можно только в столовых залах и кабинетах лондонского Сити, причем доступна она была только тем, кто знал, как спросить.

А потому мне пришлось ждать, и я раз в жизни стал подлинным туристом и предавался моей все возрастающей страсти. Собственно говоря, еще четыре дня, прежде чем письмо наконец добралось до меня, — четыре сказочных дня, проведенных в осеннем тепле и достаточно часто с Луизой — ведь чем больше свиданий было у меня с ней, тем больше я их жаждал. После происшедшего в салоне маркизы мы отбросили всякую осторожность и скрытность. Я начал покупать ей подарки, мы рука об руку гуляли по городу, нас видели вместе. Это преисполняло меня гордостью и одновременно тревогой. Мне даже как-то пришлось сказать ей, чтобы она была осторожнее с мужем.

— Я теперь уйду от него ради тебя. Теперь, когда я знаю, что значит любить кого-то, я не могу остаться. Мы можем быть вместе вечно, — сказала она и повернулась посмотреть мне в глаза. — Мы можем быть вот

так вечно. Только ты и я.

— А твой сын?

Жест отвращения.

— Он может его забрать. Он не мой ребенок. Я просто его родила. В нем нет ничего от меня. Он будет таким же, как его отец, слабым, никчемным.

— Ему же всего четыре.

Она говорила с беспощадностью, какой раньше я в ней не замечал. В ее словах была подлинная жестокость, и они меня встревожили.

Видимо, я среагировал, так как она мгновенно переменялась.

— О, я его люблю, конечно. Но ему от меня нет проку. Я его не понимаю.

Затем она снова обняла меня, и на час мы полностью сменили тему. Однако в тот день я ушел из наших комнат с нехорошим чувством; оно быстро сошло на нет, но полностью не изгладилось.

День этот изменил что-то в нашем общении. Луиза больше не говорила, что оставит мужа, но все чаще и чаще разговор возвращался к ее желанию быть со мной. Я мог понять, почему ее жизнь была адом и почему она так отчаянно искала способа спастись. Я думал о рубцах и порезах, о поведении Корта на сеансе, его галлюцинациях, об унижениях и издевательствах, которые она терпела, когда никто не мог этого видеть. Неудивительно, что она льнула ко мне.

А я был ею одержим. Так почему же я не ухватился за шанс завладеть ею навсегда? Это было осуществимо. То или иное расторжение моего брака было достижимо, пусть хлопотное и грязное. Но Луиза и Венеция были связаны слишком неразрывно. Любовь и город переплелись, я не мог вообразить их друг без друга, и, думаю, мои колебания и сомнения родились из смутного осознания моей нарастающей оцепенелости. Маркиза не ошиблась: Венеция походила на осьминога, который медленно, украдкой опутывал беспечные жертвы своими щупальцами, пока из них уже не вырваться. Лонгмен никогда не уедет; Корт, возможно, тоже. В других англичанах, которых я встречал в тот период, я научился распознавать чуть заметную пустоту выражения зачарованных людей, загипнотизированных светом, потерявших силу воли, покорно отказавшихся от нее, будто спутники Одиссея на острове лотофагов.

Они не обретали блаженства: Венеция не предлагает счастья в обмен на служение. Как раз наоборот. Меланхолия и печаль — вот ее дары; она позволяет страдальцам в полную меру сознавать их апатию и неспособность уехать. Она упрекает их за слабость и все-таки не отпускает.

Одни оставались невосприимчивы: Дреннана, например, она как будто никак не затронула. И она никак не действовала на Макинтайра, потому что он как будто вообще не сознавал, где живет. Для него Венеция была лишь местом, где находилась его мастерская, а свою волю он уже принес в жертву своим механизмам. И городу нечего было забрать.

А другие доводились до сумасшествия. После вспышки на сеансе состояние Корта стремительно ухудшалось; видел я его мало, старался избегать встреч с ним, но не мог не замечать, как он хиреет с каждым днем, или слышать, что его фантом является ему все чаще. Он работал исступленно, но топтался на месте. А перед тем он заметно продвигался. Внутренние укрепления Макинтайра были почти завершены. Но теперь рабочие в большинстве ушли от него: его поведение стало столь сумасбродным, что они вообще не желали иметь с ним дело. И он работал в одиночку, неистово делая чертежи, которые никто в жизнь не воплотит, заказывая материалы, остававшиеся лежать во дворе, пока он не отправил их обратно и не ввязался в свару с поставщиком.

— Корт сошел с ума? — спросил я Мараньони, не сомневаясь в ответе, и был поставлен в тупик тем, что услышал.

— Знаете ли, — начал доктор со своим густым акцентом, и складывая кончики пальцев, чтобы выглядеть более профессионально, — я так не думаю. Неуравновешен, бесспорно, однако не думаю, что он безумен. Его мать звали Анабель, — продолжал он с полным пренебрежением к врачебной тайне. — Она умерла, рожая его, и он преклоняется перед ее памятью. И мысль, что она им недовольна, потрясла его до мозга костей. Так он мне сказал пару дней назад.

— Вы все еще наблюдаете его?

— О да. Это жизненно необходимо, учитывая его психическое состояние. Он провел в клинике большую часть недели, и я счел необходимым, чтобы он регулярно приходил побеседовать. Он находит умиротворение в том, чтобы просто посидеть на солнышке, глядя на лагуну, никем не тревожимый. Уходит он успокоенный и довольный. Обычно. Иногда мы находим ему постель здесь. У нас, знаете ли, имеется гостиничка. Странновато, но монахи были очень гостеприимны, и волей-неволей мы поддерживаем традицию.

— Вы пришли к заключению, что именно произошло на сеансе? Вы полагаете, маркиза устроила это нарочно?

— Я уверен, что она абсолютно искренна в своих верованиях, — сказал он с улыбкой снисхождения к глупости женщин, не привыкших к строгим требованиям научного метода. — Беда в том, что во многих отношениях

она очень глупая женщина. Она что-нибудь услышит, затем прочно забудет. Память у нее очень скверная. Но этот факт хранится в глубине ее сознания, и когда он внезапно выскакивает на поверхность, она верит, будто ей его поведал дух. Я уверен, ей упомянули, что мать Корта звали Анабель, а она позабыла. А затем припомнила.

— По-видимому, вы считаете, что он выздоровеет.

Мараньони пожал плечами.

— Это, разумеется, зависит от того, что считать выздоровлением. Если бы убрать все раздражители, то, рискну сказать, он пошел бы на поправку. Беда в том, что такой вариант маловероятен. Ему следовало бы немедленно вернуться в Англию. Если он останется здесь, шансов почти нет.

— Но не опасен ли он? Его поведение...

— ...это поведение сумасшедшего, не спору. Но значит ли это, что он душевнобольной? Я уже говорил вам, сколько людей — и в первую очередь женщин — сумасшедшие, однако без явных симптомов сумасшествия. А потому мы можем с равным правом предположить, что кто-то ведущий себя как сумасшедший на самом деле таковым не является.

Я уставился на него в полном недоумении.

— Может быть, его поведение является абсолютно логичной реакцией на его нынешнюю ситуацию, — предположил Мараньони негромко. Я прекрасно понял, что именно он подразумевал.

— Он ударил свою жену ножом. Вы говорите мне, что она этого заслуживала?

— О нет! Сильно сомневаюсь, что кто-либо заслуживает быть заколотым. Он мог — в тот момент — считать, что она это заслужила, что, ударяя ее ножом, он предотвращал муки, которые испытывал. Разумеется, это усугублялось наркотиками.

— Что-что?

— Ах, люди, люди! — сказал он раздраженно. — Вы действительно ничего не видите, верно? Разве вы не заметили остекленелый взгляд, испарину, бормотание, то, как его движения все больше выходили из-под контроля и преувеличивались?

— Я думал, он пьет.

— Он не пьет ничего, кроме воды. Опиум, мой дорогой Стоун. Классическая симптоматика.

— Корт привержен опиуму?

— Боже мой, нет. Но он, несомненно, принял большую дозу незадолго до того, как пришел. Приобрести опиум несложно. Его можно купить в большинстве аптек.

— Он вам это сказал?

— Нет. Категорически отрицал. Тем не менее он, бесспорно, принял дозу.

— Значит, он лжет. Возможно, стыдится.

— Возможно, он не знал, — рассеянно сказал Мараньони. — Не то чтобы это имело значение. Пока он под моей опекой, он его не получит.

— Что ты думаешь о Мараньони? — спросил я, когда в следующий раз увидел Луизу.

— Фу! Омерзителен! — был ее ответ. — Знаешь, он пытался соблазнить меня, этот грязный человечико. Мне было так стыдно! Я не сказала ни одной живой душе. Но тебе сказать могу. Я знаю, ты не поставишь это мне в вину. Только не слушай, что он говорит обо мне. Уверена, это будет мерзко и жестоко.

— Конечно, нет, — сказал я. — С какой стати, если я сам тебя соблазнил?

— Но с тобой я хотела быть соблазненной, — сказала она. — Я пожертвовала бы ради тебя чем угодно. Я даже смирилась, — добавила она дрожащим голосом, — что ты ради меня ничем не пожертвуешь.

— Но ты же знаешь...

— Не важно, — сказала она со вздохом, глядя в сторону. — Я буду твоей любовницей, и однажды ты меня бросишь. И довольно.

— Не говори так.

— Но это правда. И ты это знаешь. А когда ты меня бросишь, я покончу с собой. — Она сказала это серьезно, не спуская с меня взгляда, пока говорила. — Разве я захочу жить без тебя? Провести остаток моей жизни с отвратительным мужем и хнычущим ребенком, чтобы они мучили меня день и ночь? Если бы я могла освободиться от них! Все, что у меня есть стоящего, — это ты.

— Это не может быть правдой.

— Ну, думай так, — сказала она, отворачиваясь. — Думай так, и ты сможешь бросить меня с чистой совестью. Я не хочу, чтобы и ты страдал. Ты не любишь меня, я знаю. Не по-настоящему.

— Но я люблю тебя!

«Так докажи!» — Этих слов она не произнесла. В них не было нужды.

Глава 13

Два дня спустя после этой стычки пришло письмо Кардано — его первое письмо, следует отметить, — и последняя часть моего плана обрела форму. Его информация многое прояснила, когда после положенных сплетен о состоянии рынков он перешел к теме мистера Макинтайра. Тут она стала поразительной. Я спросил, известно ли ему что-либо о репутации Макинтайра. Не тот род сведений, которые занимают человека вроде Кардано, однако навести справки ему не составило труда. Я ожидал получить в ответ, что Макинтайр — приличный, компетентный и уважаемый инженер. До моего разговора с Амброзианом я ничего иного не предполагал.

Однако письмо Кардано содержало куда больше сведений.

«К счастью, ежегодное собрание „Лэрда“ состоялось вчера днем, и я отправился туда, поскольку у меня есть их акции (как и у тебя, если ты не позабыл). Хотя обычно собрания эти пустая трата времени, иногда показываться там все же следует. Я спросил мистера Джозефа Бенсона, генерального управляющего, про твоего мистера Макинтайра — с самым неожиданным результатом. Он словно бы испытал шок и был встревожен, что я упомянул это имя. Почему я спрашиваю? Что я слышал? Словом, он перепугался.

Меня это, разумеется, заинтриговало, и я не отступал, пока он не поуспокоился и не рассказал мне всю историю — ее тебе бы лучше не разглашать.

Макинтайр был чрезвычайно талантлив и на редкость упрям, как кажется. Советов не принимал, затевал споры с теми, кто ему возражал, то есть работать с ним никакой возможности не было. Видимо, у него все время возникали новые идеи, и он занимался ими в часы, оплачиваемые компанией, расходуя материалы и ресурсы, предназначенные совсем для других целей.

Но это в сторону. Суть же в том, что он был способен справиться с любой технической проблемой. Если что-то оказывалось не по зубам всем остальным, призывали Макинтайра, и он находил решение. Иными словами, он был и невыносим, и незаменим. Не знаю, помнишь ли ты „Алабаму“? Корабль „Лэрда“, оказавшийся в руках конфедератов. Поскольку он причинял большой вред судоходству северян, янки разъярились и до сих пор возлагают вину на „Лэрда“ и британское правительство. „Лэрд“ утверждает, что к ним эти претензии не

относятся. Корабль они продали совершенно законно и не могли предполагать, что покупатели вооружат его, а затем продадут конфедератам.

Да только разработал способ вооружить корабль твой мистер Макинтайр, который — пока не исчез с лица земли — был живым доказательством причастности „Лэрда“. Или мне следовало бы сказать „двуличия“? Но это не важно. Чтобы избежать обвинений, ему вручили кругленькую сумму и приказали никому на глаза не попадаться. Теперь, отвечая на вопросы, „Лэрд“ официально заявляет, что он несколько лет назад скрылся, предварительно украв деньги. Они негодуют на него не меньше всех остальных и публично требуют его ареста и экстрадиции».

Все это было очень увлекательным, и я, во всяком случае, узнал подоплеку истории о мошенничестве, чернящем репутацию Макинтайра. Эпизод с «Алабамой» сейчас подзабыт, но в свое время был у всех на слуху. Барк водоизмещением в тысячу тонн и с деревянным корпусом был заказан Конфедерацией в 1861 году. Юнионисты прознали о покупке и постарались помешать ей. «Лэрд» оказался зажат между своим заказчиком и желанием — каким бы вынужденным оно ни было — британского правительства сохранять строжайший нейтралитет в этой страшной Гражданской войне.

Строжайший, но, по моему мнению, глупейший, поскольку отказ Британии разрешить своим промышленникам снабжать обе стороны привел к тому, что американцы принялись сами себя снабжать и таким образом создавать собственные отрасли промышленности, теперь бросающие вызов нам. Более просвещенной политикой было бы снабжать поровну обе стороны, таким способом забирая у Соединенных Штатов их золото и сковывая их промышленность: щепотка мудрости и беспощадности — и Британия могла бы легко восстановить свое господство на этом континенте и была бы готова поздравить ту сторону, которая одержала бы победу.

Но победили моралисты, и эта победа со временем приведет к закату индустриальной мощи Британии. Как бы то ни было, «Лэрд» (нуждавшийся в заказах) нашел способ обойти проблему, используя другие компании в качестве посредников. «Как могли бы мы воспрепятствовать нашему клиенту переоборудовать судно и продать его? — спрашивали они, когда вопрос был поднят в парламенте. — Мы строим суда, но не контролируем их использование».

Умный ход, однако победившие юнионисты не купились: они

потребовали от Британии возмещения убытков, причиненных указанным судном, и дело уладилось уже после моего возвращения в Англию из Венеции. Правительство и страховые компании в конце концов заплатили что-то около четырех миллионов фунтов, поскольку судно уже было захвачено у берегов Франции в 1864 году. «Алабама» утопила устрашающее число юнионистских судов. Но в 1867 году американцы (как народ склонные к экстравагантностям и на словах, и на деле) настаивали, что сумма менее двух тысяч миллионов фунтов будет оскорблением их национальной гордости, и угрожали всякими ответными мерами, если они их не получат.

Я вновь оказался в обществе Макинтайра через несколько дней после того, как получил эти интересные, но побочные сведения о его прошлой жизни, так как он пригласил меня на первое настоящее испытание его торпеды. Я был польщен: никого из англичан даже не поставили в известность о великом событии, но я порекомендовал, чтобы он сначала испытал ее тайно, без банкиров. «Что, если обнаружится какая-нибудь мелкая неполадка? Это все погубит, — указал я. — Лучше провести испытание вдали от любопытных глаз. Если все пройдет хорошо, вы можете повторить эксперимент перед банкирами». Добрый совет, и он это понял. Дата была назначена, и я был — довольно застенчиво — приглашен. Меня этот жест растрогал.

И вот в холодное утро несколько дней спустя я оказался на деревянной барке, тепло укутавшись из-за тумана, повисшего над лагуной, будто гнетущий саван. Мы были далеко от суши к северу от города кое с кем из его рабочих для компании. Накануне хозяина барки предупредили, что вечером он не потребуется, и торпеда была тайно погружена на палубу и укрыта брезентом.

Барка была парусной, и мы тревожились, что ветер окажется недостаточно крепким, но в конце концов в половине пятого утра барочник сказал, что можно отправляться, и мы поплыли — на редкость медленно, так что час спустя все еще были напротив Салюте. К шести мы оказались в мертвой воде севернее Мурано, где лагуна мелеет, и лишь плоскодонки рискуют туда заплывать. По-своему это было нечто волшебное: сидеть на носу суденышка, куря сигару, пока солнце встает над горизонтом, а дикие утки низко кружат над болотами, смотреть на Торчелло в отдалении с его величественной разрушенной башней и порой видеть, совсем уж вдали, парус — красный или желтый — одной из тех лодчонок, что постоянно бороздят лагуну туда-сюда.

Макинтайр был не лучшим из спутников: непрерывно возился со своим изобретением, отвинчивал панели, заглядывал внутрь, а Бартоли светил ему старой керосиновой лампой, чтобы он видел, что делает. Добавлял чуточку смазки там, подкручивал болт здесь, простукивал что-то каким-то инструментом и ворчал себе под нос.

— Почти готова? — спросил я, когда вдоволь насмотрелся на птиц, встал и вернулся назад на середину барки.

Он нечленораздельно буркнул.

— Полагаю, это означает: «Нет. Ее необходимо разобрать и собрать заново», — сказал я. — Макинтайр, эта чертова штука либо сработает, либо нет. Швырните ее в воду и поглядите, что произойдет.

Макинтайр одарил меня свирепым взглядом.

— Но это же правда, — запротестовал я. — Я наблюдал за вами. Вы ничего существенного не сделали. Ничего не поправляете. Она готова и более готовой не станет.

Бартоли у него за спиной кивнул и горестно возвел глаза к небу. И тут Макинтайр поник, смирившись с тем, что наконец он больше ничего сделать не в силах и настало время рискнуть машиной в воде. Более того — рискнуть своей жизнью, ведь все, что делало его тем, чем он был, он воплотил в механизме своей торпеды. Если она себя не оправдает, значит, не оправдал себя он.

— А как она движется? — спросил я. — Не вижу трубы и ничего вроде.

Глупое замечание было лучшим средством его взбодрить. Он мгновенно выпрямился и уставился на меня с испепеляющим презрением.

— Трубы? — рявкнул он. — Трубы? По-вашему, я уместил в ней котел и запас угля? Или, по-вашему, мне следовало бы вдобавок снабдить ее мачтой и парусом?

— Я же только спросил, — сказал я. — В ней же есть пропеллер. Что заставляет его вращаться?

— Воздух, — ответил он. — Сжатый воздух. Резервуар с воздухом под давлением в триста семьдесят фунтов на квадратный дюйм. Вот тут. — Он постучал по середине торпеды. — Два эксцентриситетных цилиндра со скользящей лопаткой для деления объема на две части. Таким образом давление воздуха вызывает вращение внешнего цилиндра; а он соединен с пропеллером, вы понимаете? В результате она может двигаться под водой и быть готовой к запуску в любой момент.

— Если сработает, — добавил я.

— Конечно, сработает, — сказал он уничижительно. — Я десятки раз запускал ее в мастерской. Она работает, без всяких сомнений.

— Да? Так покажите мне, — сказал я. — Швырните ее за борт и покажите мне.

Макинтайр выпрямился.

— Очень хорошо. Смотрите!

Он подозвал Бартоли с остальными, и они начали обвязывать веревками корпус торпеды, а затем бережно перекатали ее к борту и осторожно опустили на воду. Вережки затем были сняты, и торпеда повисла в воде, погруженная на три четверти, иногда мягко стучаясь о барку. Только единственная тонкая бечевка удерживала ее рядом, прикрепленная в заднем конце к маленькому штырю. Он, видимо, обеспечивал выстрел.

Макинтайр принялся тревожно потирать подбородок.

— Нет, — сказал он, — она не в порядке. Пожалуй, надо вытащить ее и еще раз осмотреть. Просто для верности.

Бартоли в отчаянии замотал головой.

— Проверять больше нечего, синьор Макинтайр! Все в полнейшем порядке!

— Нет, просто для верности. Уйдет не больше часа или...

Тут я решил вмешаться.

— Если я могу помочь... — сказал я.

Макинтайр оглянулся на меня. Я схватил тонкую бечевку в его руке и резко дернул.

— Какого черта! — вскричал он пораженно, но было уже поздно. С негромким «пинг!» штырь выскочил из торпеды, и она зажужжала, забулькала, так как пропеллер начал вращаться с огромной скоростью.

— Ух ты! — сказал я. — Извините. Поглядите, а она движется!

И правда. Торпеда набирала впечатляющую скорость по прямой линии под небольшим углом к барке.

— Чертов дурень, — буркнул Макинтайр, вытаскивая часы и следя за торпедой, становящейся в воде все меньше и меньше. — Господи! Она же работает! Правда, работает! Смотрите, как она мчится!

Так и было. Макинтайр сказал мне позже (почти всю дорогу назад он корпел над листком бумаги, проверяя свои расчеты), что его торпеда достигла скорости почти в семь узлов менее чем за минуту, что двигалась она всего лишь с пятипроцентным отклонением от абсолютно прямой линии и что она могла покрыть по меньшей мере тысячу четыреста ярдов до того, как исчерпается энергия.

По меньшей мере? Да, я немножко поторопился в своем желании вынудить Макинтайра приступить к испытанию, не убедившись прежде,

что путь свободен.

— О Господи! — пробормотал Бартоли в ужасе. Торпеда, все еще четко видимая, достигла теперь максимальной скорости, и все ее пятьсот фунтов, двигаясь в нескольких дюймах под водой, устремлялись прямо к фелукке, одному из суденышек, часто используемых для ловли рыбы или доставки припасов. Ее экипаж был ясно виден: кто сидел на корме у руля, кто опирался на поручни, любуясь видом, а легкий ветер надувал над ними парус.

Мирная сцена, одна из тех, ради которых художники проезжали сотни миль, чтобы запечатлеть ее на холсте и продать склонным к романтике северянам, жаждущим кусочка Венеции на своих стенах.

— Берегитесь! — завопил Макинтайр, и мы все присоединились к нему, подпрыгивая и размахивая руками. Моряки фелукки глядели на нас, ухмыляясь и махая нам. Помешанные иностранцы! Ну, а утро такое приятное, так почему бы и не отозваться по-дружески?

— Сколько пороха в этой штуке? — спросил я, подпрыгивая.

— Его вообще нет. Я положил пятьдесят четыре фунта глины в головку. И вообще порох тут ни при чем. Там будет пороховата.

— Да, вы мне говорили.

— Ну, так помните. И в любом случае я не могу тратить попусту пороховату.

— К счастью.

Фелукка продолжала плыть, торпеда тоже. Дело секунд. Четверть узла, и суденышко разминется с курсом торпеды, и она промахнется. Все будет хорошо. Вот только бы фелукка поплыла быстрее или торпеда потеряла бы скорость.

Ни та ни другая такого одолжения не сделала. Могло быть и хуже, заверил я Макинтайра позднее. Ударь торпеда в среднюю часть, она при такой скорости и таком весе, несомненно, пробила бы тонкие доски насквозь, и было бы трудно сделать вид, будто бы четырнадцатифутовая стальная труба, застрявшая в их скорлупке, не имеет к нам никакого отношения.

Но нам повезло. Фелукка уже почти прошла мимо торпеды, почти, но не совсем. Изобретение Макинтайра задело ее корму: даже с расстояния в четыреста ярдов мы услышали треск разломанного рулевого весла. Фелукка накренилась от удара, паруса потеряли ветер и дико захлопали, а морячки, секунду назад махавшие нам и приятно бездельничавшие, ошеломленно пытались совладать со своим суденышком и понять, что произошло. Торпеда меж тем бесшумно продолжала свой путь, и было

ясно, что никто на фелукке ее не увидел.

Бартоли, должен признать, был великолепен. Естественно, мы направились к пострадавшему суденышку, и он быстро обменялся парой слов с экипажем.

— Никогда в жизни ничего подобного не видел! — крикнул он на венецианском наречии. — Поразительно!

— Что это было? Что произошло?

— Акула, — ответил он умудренно. — Огромная, и плыла очень быстро. Я разглядел ее совершенно ясно. Она, видно, зацепила вашу корму, откусила руль. Никогда прежде я такое чудовище в лагуне не видел.

Экипаж пришел в восторг. Куда лучшее объяснение, чем прогнившее дерево или обычный несчастный случай. Они на недели были обеспечены жадными слушателями. Бартоли, выразив удивление, как это они не заметили плавника, торчавшего из воды, предложил помощь, рассердив Макинтайра. Он желал отправиться за своей торпедой. Он точно не знал радиуса ее действия, и к этому времени она могла оказаться где угодно. Она была его бесценным сокровищем, и он не хотел, чтобы она попала в руки какого-нибудь шпиона или конкурента. Ведь он был убежден, что все правительства и компании мира отчаянно пытаются украсть его секреты.

Он мог бы не тревожиться: Бартоли знал, что делает. Какой венецианский мореход согласится, чтобы его позорно отбуксировала в порт кучка иностранцев? Они выразили положенную благодарность, но отказались. Затем они соорудили подобие руля из весла, опустив его с кормы, будто на гондоле, и через полчаса приятных разговоров отправились в путь.

Мы все — и особенно Макинтайр — вздохнули с облегчением, когда фелукка скрылась в раннем утреннем тумане, а затем приступили к поискам его изобретения. Я счел, что пора извиниться.

— Думаю, я должен изыскать какой-нибудь способ компенсировать морякам ущерб, — закончил я. — Полагаю, починка их руля потребует денег.

Но в сущности, извинения не требовались: Макинтайр преобразился. Из замученного тревогами брюзги, каким он был час назад, он превратился в человека, которого известили, что он унаследовал огромное состояние. Он буквально просиял, глаза его искрились радостным волнением.

— Вы ее видели? — воскликнул он. — Видели? Прямо будто стрела! Она работает, Стоун! Работает, как я и говорил. Будь в носу какая-нибудь взрывчатка, я бы отправил эту лодчонку к праотцам. Я бы утопил броненосец.

— Вот это было бы трудно списать на акулу, — указал я, но Макинтайр отмахнулся от моего возражения и бросился на нос, поднося к глазам полевой бинокль.

Искали мы примерно час, поскольку вопреки убеждению Макинтайра, что она двигалась прямо, как стрела, на самом деле она чуть-чуть отклонялась влево, самую чуточку. Но за несколько сот ярдов это составило значительную разницу. К тому же она была почти погружена в воду, едва-едва видимая на поверхности, и это тоже мешало поискам.

Однако в конце концов мы ее обнаружили, увязшую в иле на таком мелководье, что добраться до нее на судне было невозможно.

Мы потратили полчаса, бросая привязанный к веревке крюк, в надежде зацепить эту штуковину и подтянуть поближе к нам. Ничего не получилось. Ждать прилива смысла не имело, они ведь там отсутствуют.

— Кто-нибудь умеет плавать? — спросил я.

Ответом мне стало общее мотание головами, что я счел поразительным. Что Макинтайр не умел, меня не удивило. Но вот его рабочие, выросшие в окружении воды? Я прикинул, сколько же венецианцев тонет ежегодно, если они, как правило, плавать не умеют.

— А что?

— Ну, — сказал я с внезапной неохотой, — я подумал, просто в голову пришло, вы понимаете, что кто-нибудь из нас мог бы доплыть до нее. Вода вроде бы достаточно глубокая.

— Если вы увязнете в иле, то уже не выберетесь, — сказал Бартоли. Мне не понравилось это «вы».

— В точку, — сказал я.

Однако Макинтайр счел мою безвременную кончину вполне подходящей ценой.

— Возьмите две веревки, — сказал он. — Одну для торпеды, а второй обяжетесь сами. Чтобы мы вытащили вас тоже. Вы ведь умеете плавать, верно?

— Я? — сказал я, прикидывая, счел бы мой отец ложь допустимой при подобных обстоятельствах. В целом он такую практику не одобрял. — Ну, немножко.

— Прекрасно, — сказал Макинтайр, вполне успокоенный. — И я глубоко вам благодарен, дорогой сэр. Глубоко благодарен. Хотя торпеда там оказалась по вашей вине.

Понятно. Очень неохотно я начал раздеваться, поглядывая за борт. Спускаться надо будет очень медленно, не то я ухну на дно и увязну в иле, еще не начав плыть. Было холодно, а вода выглядела еще более холодной.

Бартоли завязал две веревки вокруг моей талии и ухмыльнулся мне.

— Не беспокойтесь, — сказал он, — мы вас там не бросим.

И тогда я осторожно опустился в воду. Она оказалась даже холоднее, чем я боялся, и меня сразу же пробрала дрожь. Но делать нечего, и я легким брассом поплыл к торпедe, стараясь держать ноги как можно выше в воде.

Единственная опасность возникла, когда я приблизился к торпедe и вынужден был остановиться. Глубина воды там была около трех футов, и мои ступни несколько раз задевали ил, пока я маневрировал, чтобы занять нужную позицию. Мне требовалось опуститься, и я ощутил, как они погрузились в ил по-настоящему. Когда я уцепился за торпеду и попытался выдернуть их, я понял, что они увязли накрепко.

— Я не могу двигаться, — закричал я в сторону барки.

— Привяжите веревку к торпедe. Прекратите загонять ее глубже, — крикнул Макинтайр в ответ.

— А как же я?

— Вас мы вытащим... потом.

Ну, спасибо, подумал я с горечью. Тем не менее он был прав. Я же находился тут ради этого. Я уже так замерз, что едва сумел развязать узел, не говоря уж о том, чтобы просунуть веревку под панель пропеллера и надежно закрепить.

— Прекрасно — крикнул Макинтайр. — Тащите!

Потребовались немалые усилия людей в барке, но вот торпедa задвигалась и, едва высвободилась, как проскользнула мимо меня в глубокую воду. Макинтайр буквально плясал от радости.

— Теперь меня! — закричал я.

— А, ну хорошо, — донесся ответ, и я почувствовал, как веревка сдавила мне грудь, едва они потянули. Ничего не произошло. Я продвинулся на несколько дюймов, но едва тяга ослабла, как меня вновь засосало, и даже глубже, чем прежде. Теперь меня охватил настоящий страх.

— Не останавливайтесь! — закричал я. — Меня засасывает! Вытащите меня отсюда!

Ничего не произошло. Я огляделся и увидел, что Макинтайр смотрит на меня и поглаживает подбородок. Затем он заговорил с Бартоли. Долю секунды я не сомневался, что он решил бросить меня тут.

Но нет. Хотя то, что он придумал, было едва ли не хуже. Как он объяснил потом, вязкость ила оказалась барке не по зубам. Наоборот, они подтягивали ее к опасному месту. Им требовалась добавочная сила.

Я увидел, что Бартоли поднимает паруса, Макинтайр поднимает якорь, а один из работников стоит с веслом, чтобы повернуть барку. В диком ужасе я понял, что они затевают: ставят паруса в надежде, что сила ветра и вес барки выдернут меня из ила.

— Вы разорвете меня на части! — взвыл я. — Не надо!

Но Макинтайр только ободряюще помахал мне. Барка задвигалась, и я ощутил, как веревка вновь затянута, пока не стала тугой, как тетива, а давление на грудь, карябанье грубых волокон оборачивались невыносимой болью. Я только-только удержался от визга и ясно помню, как подумал, что если в результате этого эксперимента я все-таки уцелею нерасполовиненным, то расквашу Макинтайру нос.

Боль росла и росла, я чувствовал, как мое туловище растягивается. Ил не желал меня отпускать, и продолжалось это словно бы целую вечность. Затем с отвратительнейшим хлопаньем он меня выплюнул, мои ноги и ступни были изрыгнуты в вонючем буруне, и я, освобожденный, лежал на воде, буксируемый баркой на пути обратно в Венецию.

Потребовалось еще пять минут, чтобы втащить меня на борт, и к тому времени я не мог уже пошевелить конечностями. Меня колотил такой озноб, что я не мог управлять ни руками, ни ногами. Поперек моей груди набухал багряный рубец, позвоночник словно бы стал на несколько дюймов длиннее, а от ног все еще разлило мерзейшей вонью.

Макинтайр не удостоил меня и секундой внимания. Он увлеченно кудахтал над своей железкой, пока Бартоли укутывал меня в одеяло, а затем принес мне граппы. Я выпил ее прямо из бутылки, потом натянул одеяло покрепче, понемногу приходя в себя.

— Она в порядке, — сказал Макинтайр, явно не сомневаясь, что его торпеда занимает все мои мысли. — Никаких повреждений, хотя корпус чуть прогнулся из-за того, как вы затянули веревку.

Я его проигнорировал. Он этого не заметил.

— Но не важно. Это легко выправить. А в остальном — в безупречном состоянии. Мне достаточно вычистить ее, просушить, кое-что подкорректировать, и она будет готова к полноценному испытанию на следующей неделе.

— Могли ли вы сказать, что мне было бы плевать, если бы эта чертова штуковина ушла на дно лагуны навсегда?

Макинтайр изумленно посмотрел на меня.

— Но, мой дорогой Стоун, — вскричал он, — как же так? Простите, я не поблагодарил вас в полную меру. То, что вы сейчас совершили, было великодушно. Великодушно и свидетельствует об истинной доброте.

Благодарю вас от всего сердца.

Его слова меня несколько умиротворили, но лишь несколько. Я продолжал пить граппу и мало-помалу начал ощущать, что согреваюсь. Все хлопотали вокруг меня, повторяли, каким я был героем. Это помогало. Если мужественно жертвуешь собой, приятно, когда это признают. Я нежился в одеялах и комплиментах всю дорогу домой и грезил, что рядом со мной лежит Луиза. Я даже чувствовал себя почти довольным, когда три часа спустя барка наконец причалила возле мастерской. Но я не помогал выгружать торпеду. С меня было довольно. Я предоставил это им. Макинтайр кричал, остальные работали, а я шел в свое жилище. Там я потребовал ванну с горячей водой без ограничений, немедленно, и не слушал никаких возражений. Мне пришлось дожидаться час, прежде чем она была готова, а к тому времени все в доме уже знали, что идиот англичанин свалился в лагуну. Ну, да чего еще ждать от иностранцев?

Глава 14

На следующее утро мне в комнату принесли записку. От Мараньони. Подумать только! «Должен признать, что ошибался, — писал он, и, читая, я почти видел улыбку на его лице. — Оказывается, венецианец мистера Корта действительно существует. Загляните познакомиться с ним, если хотите. Редкостный субъект».

Я позавтракал настолько неторопливо, насколько позволяют венецианские обычаи, и решил, раз уж занять мне утро нечем, принять это приглашение и отправиться на Сан-Серволо. Остров этот расположен между Сан-Марко и Лидо, достаточно живописный на расстоянии, и вы бы никогда не догадались, что это приют для умалишенных. Ничего похожего на угрюмые тюрьмы, которые Англия настроила повсюду, чтобы запереть сумасшедших, которых все слои общества плодят в изобилии. Мараньони не терпел это место и предпочел бы современное научное учреждение, но, думаю, на самом деле его возражения коренились в решимости оградить свою профессию от какой-либо тени религиозности. В остальном старинный бенедиктинский монастырь был бы для него чудесным приютом, если бы не бывшие обитатели: в безумии есть нечто бросающее отблеск угрюмости на самые великолепные здания; над такими местами словно бы всегда нависают тучи, как бы ярко ни светило солнце. И разумеется, никто не расходует деньги на сумасшедших. Им достаются объедки после того, как более разумные и быстрые заберут все, что пожелают. Сан-Серволо был в жутчайшем состоянии: обветшалым, заросшим и гнетущим. Такого рода местом, откуда торопишься уехать. Такого рода местом, которое способно нормального человека превратить в помешанного.

Мараньони конфисковал лучшую часть для себя — апартаменты аббата с замечательной росписью на потолках и большими окнами, обращенными к лагуне, он превратил в свою приемную. Эти комнаты могли причастить вас добродетелям созерцательной жизни, но не жизни надзирателя за помешанными. Мараньони присвоил чужую собственность и выглядел здесь вором. Он не мог обрести той необходимой внушительности, благодаря которой смотрелся бы тут на своем месте. Он был бюрократом в темном костюме. Комната ненавидела его, а он ненавидел ее в ответ.

— Достаточно приятно сейчас, — сказал он, когда я выразил свое восхищение фресками, — но побывали бы вы тут в январе! Холод пробирает до костей. Сырость. Сколько ни топить, разницы никакой. Я

научился писать в перчатках. Когда наступает ноябрь, я начинаю мечтать о том, чтобы попросить о переводе на Сицилию.

— Но тогда вы будете зажариваться летом.

— Справедливо. Не говоря уж о работе здесь, которую никто другой не выполнит.

— Расскажите мне про этого человека.

Он улыбнулся.

— Несколько дней назад его арестовали полицейские, а вчера передали мне.

— Что он натворил?

— В сущности, ничего, но его остановили просто для проверки. Спросили его имя. А затем арестовали за оскорбление полицейского насмешками.

— Какими же?

— Он настаивал и продолжает настаивать, что его имя Джованни Джакомо Казанова.

Я фыркнул. Мараньони, храня серьезность, читал полицейский протокол.

— Родился, так он говорит, в Венеции в тысяча семьсот двадцать пятом году. Из чего следует, что сейчас ему... сколько? Сто сорок два года. Солидный возраст. Должен сказать, что с учетом всего выглядит он очень неплохо. Лично я дал бы ему не больше семидесяти. Возможно даже, шестьдесят с чем-то.

— Понятно. И вы сказали ему, что не верите этому?

— Разумеется, нет. Не очень разумный подход. Если вы скажете такое, пациент будет настаивать на своем, и вы втянетесь в детскую игру. «А вот да». — «А вот нет». Десять раз «вот да». Сто раз «вот нет». Вы понимаете, что это такое? И вообще, суть в том, чтобы завоевать их доверие, а это невозможно, если они чувствуют, что вы им не верите. Вам необходимо установить здоровый режим — хорошая еда, холодный душ, физические упражнения — и внушить им ощущение, что о них заботятся, что они в безопасности. И одновременно вы слушаете их, подмечаете дыры и противоречия в их историях. В конце концов вы указываете им на эти несуразицы и просите объяснить. Если повезет, подрываете их убежденность.

— Если повезет? Как часто это дает результаты?

— Иногда. Но эффективное воздействие этот метод может оказать только на тех, кто помешан логично. Буйные безумцы или склонные к кататонии требуют других методов.

— А синьор... Казанова?

— Абсолютно последователен. Правду сказать, лечить его будет одно удовольствие. Мне не терпится приступить. Он превосходный рассказчик, очень занимателен, и я пока не поймал его ни на едином противоречии. Он не удружил нас хотя бы намеком на то, кто он на самом деле.

— Кроме того, что назвал свое имя и возраст.

— Да, кроме этого. Но если принять это, то все остальное до сих пор абсолютно логично.

— Вы спрашивали его про Корта?

Он покачал головой:

— Еще нет. Но можете сами спросить, если захотите. Если пожелаете его увидеть.

— А Корта вы про него спрашивали?

— Нет. Он еще слишком неуравновешен, но, несомненно, ему пойдет только на пользу узнать, что его галлюцинации вовсе таковыми не были.

— Этот человек не опасен?

— Нисколько. Очень милый старичок. Но он не смог бы причинить вам вреда, если бы и попытался напасть на вас. Он слишком дряхл.

— Он говорит на каком-либо другом языке, кроме венецианского?

— О да. Казанова был настоящим полиглотом и остался им, если сформулировать это так. Он говорит на безупречном итальянском, хорошем французском и английском.

— В таком случае я хотел бы с ним встретиться. Не знаю в точности, для чего. Но, так или иначе, это будет любопытное знакомство.

— Я отведу вас к нему сам. Но пожалуйста, ничем не дайте ему понять, что вы ему не верите. Это крайне важно.

Он повел меня во двор и мимо помещений для обитателей приюта.

— Вот эти для буйных, — сказал он, пока мы неторопливо шли под теплым солнцем. — Более трудных типов мы содержим вон в той пристройке. Увы, условия их далеко не так хороши. У нас слишком мало денег, чтобы расходовать их на безнадежных. Да и смысла нет. Мы можем лишь не допускать, чтобы они вредили друг другу или себе. Вот сюда.

Такой приятный сюрприз! Я ожидал чего-то вроде офорта Пиранези или Хогарта, в его самом неизбывном настроении, а комната оказалась светлой, ничуть не душной, обставленной просто, но уютно. Лишь силуэт большого креста на стене, где прежде висело распятие, напоминал, чем здание это было прежде. В комнате находился только один человек.

Синьор Казанова — другого имени называть его нет, Мараньони так и не выяснил, кто он был такой, — сидел в углу у большого окна,

выходившего на Лидо. Он читал книгу, низко наклонив голову, но никаких сомнений не возникло: это был тот мужчина, который пел в лодке на канале в мою первую венецианскую ночь. Только одежда была другой. Надзиратели забрали его старинный костюм и обрядили в унылую бесцветную приютскую форму. Это рубище унижало, умаляло его, делало, бесспорно, более обычным.

— Синьор Казанова! — окликнул Мараньони. — К вам гость.

— Прошу садиться, сударь, — сказал он, будто предлагая бокал вина в своей гостиной. — Как видите, у меня достаточно свободного времени, чтобы провести его с вами.

— Я очень этому рад, — ответил я столь же учтиво. Я уже вступил в мир грез; и только потом показалось странным, что я так почтительно разговаривал с человеком, который был сумасшедшим, нищим, не имеющим даже собственного имени. Тон разговору задал он, а я вторил ему.

Он ждал, чтобы я начал, и благодушно улыбался мне, пока я усаживался напротив него.

— Как поживаете? — спросил я.

— Отлично, учитывая мои обстоятельства. Мне не нравится, что меня держат под замком, но ведь не в первый раз. Однажды я был узником в казематах дожа, и я оттуда бежал. Не сомневаюсь, довольно скоро я покину и это место тоже.

— Вот как? И когда это было?

— В тысяча семьсот пятьдесят шестом, — сказал он, — меня обвинили в оккультных познаниях и шпионаже. Странное сочетание, думал я. Впрочем, власти не терпят, чтобы что-то было от них скрыто. Единственно достойное знание — то, которым владеют они, и никто больше. — Он ласково улыбнулся мне.

— И вы были виновны?

— О Боже, да! Разумеется, у меня было много связей с иностранцами, и многие занимали самое высокое положение, а мои исследования оккультизма далеко продвинулись еще тогда. Вот почему я сейчас здесь.

— Прошу прощения?

— Мне более ста сорока лет. И все-таки, как видите, я отличаюсь завидным здоровьем. Жаль только, что я не завершил мои штудии, не то я мог бы выглядеть помоложе. Но ведь все существа предпочитают какую-никакую жизнь никакой. Никто не хочет умирать. Вот вы, например?

Странная фраза, полуутверждение-полувопрос.

— Почему вы спрашиваете?

— Потому что вы умрете. Но вы еще слишком молоды, чтобы осознать это. Придет день, вы проснетесь и поймете. И вся ваша дальнейшая жизнь станет подготовкой к этой минуте. И вы будете тратить время, пытаясь исправить ваши ошибки. Ошибки, которые совершаете сейчас.

— И какие же это ошибки?

Он загадочно улыбнулся.

— Ошибки, которые вас убьют, разумеется. Мне нет нужды называть их вам. Вы достаточно хорошо знаете их сами.

— Я совершенно уверен, что нет.

Он равнодушно пожал плечами.

— Почему вы преследуете мистера Корта?

— Кто такой мистер Корт? — спросил он с недоумением.

— Думаю, вы прекрасно знаете сами. Молодой английский архитектор. Палаццо.

— Ах он! Я его не преследую. Он призывает меня. Большая доука, должен сказать. У меня есть дела поважнее, чем плясать под его дудку.

— Вздор! — сказал я с сердцем. — Он, конечно же, вас не призывает.

— Нет, призывает, — невозмутимо возразил Казанова. — Это суцья правда. Он раздираем многими противоречиями. Он хочет познать этот город и наложить на него свой отпечаток. Он хочет быть здесь и вдали отсюда. Он любит женщину жестокую и бессердечную, грезящую о его гибели. Все это зовет меня к нему, как призывало его мать ко мне, когда она лежала на смертном одре. О любви и жестокости, понимаете, я знаю все в любых их проявлениях. И я — Венеция. Он хочет узнать меня, и его желание влечет меня к нему.

Я еле сдерживался, чтобы не обрушиться на вздор, который он нес с такой спокойной невозмутимостью. Казанова — видите, я называю его так — слегка вздохнул.

— Я знаю женщин, вы понимаете. Их природу. Я могу заглянуть в их души, увидеть, что прячется за изъявлениями любви. Всю ложь, сладкое очарование. Никакой другой человек за всю историю не изучил их так, как я. Я способен зреть ее мысли. Она думает об охоте или о том, чтобы стать целью охоты. В ней нет доброты, и она думает только о себе, никогда о других.

— Замолчите! — приказал я. — Приказываю вам замолчать. Вы сумасшедший.

— Знаете, мне безразлично, верите ли вы мне или нет, — сказал он. — Вы сами убедитесь, и скоро. Я не просил вас прийти сюда. Мои исследования оккультизма подвигли меня испить душу Венеции, стать

этим городом. Ее дух продлил мою жизнь. Пока Венеция будет существовать, буду существовать и я, бродя по ее улицам, вспоминая ее славу. Мы умрем вместе, она и я. И я вижу все, что происходит здесь, даже в комнатухах, снимаемых помесечно, или в рощице на Лидо.

— Вы не бродите по улицам сейчас, — сказал я со злобным удовлетворением, крайне взволнованный и потрясенный тем, что он говорил.

— Да. Я пока немного отдыхаю. И почему бы мне желать сбежать отсюда? — Он улыбнулся и посмотрел по сторонам с легкой усмешкой. — Добрый доктор, как кажется, всецело предан заботам о благополучии своих бедных подопечных. Меня отлично кормят, а в уплату за стол и кров я должен лишь позволять, чтобы меня измеряли и фотографировали, да отвечать на вопросы о моей жизни, но вот как, я еще не решил.

— Что это значит?

— Очень интересные вопросы, — продолжал он в пояснение. — Они силятся отыскать противоречия, несовместимости в том, что я говорю. Превосходная забава, ведь они отправляются читать мои мемуары и возвращаются допрашивать меня о них. Но их же написал я! Разумеется, я знаю ответы лучше, чем они. Каждую правду и каждую маленькую придумку. Вопрос в том, говорить ли правду или удружить им тем, чего они хотят? Они так страстно жаждут доказать, что я безумен и не тот, кем называюсь, что мне страшно жаль разочаровывать их. Быть может, мне следует допускать кое-какие намеки и противоречия в моих разговорах, чтобы они могли сделать вывод, будто я кто-то совсем другой. Они были бы так счастливы и благодарны, а я люблю делать приятное людям. Как вы полагаете?

— Я думаю, вам следует говорить правду во всех случаях.

— Бр-р, сударь, вы докучны. Полагаю, вы всегда молитесь на сон грядущий и просите Бога хранить вас в добродетельности. И вы лицемер. Вы все время лжете и даже не замечаете этого. Боже мой, что за скучные времена!

Он наклонился, приблизив лицо к моему.

— Кто вы в своих мечтаниях, когда никого нет рядом? Что вы делаете в этом городе, убедив себя, будто он лишь сон? Скольким людям вы лжете сейчас?

Я свирепо уставился на него, и он засмеялся.

— Вы забываете, мой друг, что и я присутствую в ваших снах.

— Не понимаю, о чем вы говорите, — сказал я чопорно, обнаружив, что мне не удастся ответить ему, как следовало бы.

— Стоя у окна? Вы не поняли. Так почему вы не обернулись и не спросили? Я бы мог ответить, знаете ли. Я был там, вы знаете. Я мог бы сказать вам все.

— Откуда вам известно про это?

— Я же сказал вам. Я вижу все.

— Это был просто сон.

Он покачал головой.

— Снов не существует. Хотите узнать больше? Спросите, если желаете. Я могу спасти вас, но вы должны спросить. Иначе вы причините страшный вред другим.

— Нет! — сказал я настолько резко, что мой страх не мог не стать явным.

Он кивнул и мягко улыбнулся.

— Вы можете передумать, — сказал он ласково. — И благодаря доброму доктору вы будете знать, где меня можно найти — пока. Но поторопитесь, я недолго тут останусь.

Я встал, чтобы уйти, не сказав больше ни слова. А он расположился поудобнее в своем маленьком кресле и взял книгу. Закрыв дверь, я прислонился к ней спиной и закрыл глаза.

— Не в разговорчивом настроении? Или вы передумали? — спросил Мараньони, стоящий там же, где я его оставил.

— Что? Нет, мы долго разговаривали.

— Но вы же пробыли там минуту или две.

Я уставился на него.

Он указал на часы. Две минуты четвертого. Я пробыл в этой комнате немногим больше минуты.

Глава 15

Тем вечером у меня был первый настоящий разговор с Арнсли Дреннаном. Разумеется, я разговаривал с ним и прежде, но никогда с глазу на глаз, и говорил он очень мало. Станный человек! Казалось, он ни в ком не нуждался, однако часто обедал с нами. Быть может, и его самодостаточности порой требовалась передышка. Для меня в тот момент он был очевидным выбором. Мне необходимо было поговорить с кем-то нормальным, разумным и спокойным, кто подтвердил бы, что мое общение с синьором Казановой было полным вздором. Можно было положиться, что Дреннан, выгладевший воплощением солидности и здравого смысла, не станет потом сплетничать.

Я не планировал разговора с ним, произошло это случайно. Просто он и я были единственными, кто в этот вечер пришел пообедать. Лонгмену надо было написать один из его редких консульских отчетов, Корт, к счастью, теперь вообще практически не появлялся. Мараньони и Макинтайр также отсутствовали. Мы ели нашу рыбу (Макинтайр не преувеличивал: всегда рыба, и мне она порядком надоела) более или менее в молчании, затем он предложил выпить кофе в более располагающей обстановке.

— Вы давно видели Корта? — спросил я. — Я его что-то совсем не вижу.

— Я повстречал его вчера, беднягу. Он в скверном состоянии. Ему действительно следует вернуться в Англию. И ему было бы очень легко это сделать. Но боюсь, у него это стало манией. Он считает делом чести завершить свою работу здесь.

Затем мало-помалу, пока мы прихлебывали коньяк, я рассказал ему про синьора Казанову. Он заинтересовался, во всяком случае, мне так показалось. Дреннан принадлежал к тем людям, чьи лица хранят непроницаемое выражение, но слушал он внимательно.

— Не скажу, что я так уж много знаю о сумасшествии, — сказал он. — Мне доводилось видеть людей, помешавшихся от страха или в припадке ужаса. Но это иной вид безумия.

— Как так?

— Современные методы ведения войны, — ответил он. — Как вы, возможно, догадались, я был военным, солдатом. И видел много такого, чего не хотел видеть, и забыть то, что я видел, будет трудно.

— Вы сражались на стороне конфедератов?

— Да, и мы проиграли. — Он пожал плечами, отгоняя воспоминания.

— То есть вы изгнанник. Странный приют, если можно так выразиться. Он взглянул на меня и чуть улыбнулся.

— Так было бы, окажись я здесь по этой причине. Ну, — продолжал он, — пожалуй, можно объяснить вам. Почему бы и нет? Теперь все это уже в прошлом. Вы слышали про «Алабаму»?

Я посмотрел на него.

— Военный корабль? Конечно, слышал... Имеет это какое-нибудь отношение к Макинтайру?

Теперь настал его черед удивиться.

— Откуда вы знаете?

— Навел справки.

— Это впечатляет. Нет, правда. Что еще вы знаете о мистере Макинтайре?

— Что в данный момент Англия для него заказана.

Он в изумлении уставился на меня. Я впервые увидел, как его лицо отразило какое-то сильное чувство. И поздравил себя.

— И кто еще знает об этом?

— В Венеции, имеете вы в виду? Никто. Синьор Амброзиан из «Банко ди Санто-Спирито», кажется, считает, что он здесь, поскольку украл кучу денег. А почему вы спрашиваете?

— Потому что моя работа — оберегать его.

— От кого?

— Главным образом от адвокатов янки. Он — живое доказательство виновности «Лэрда». Великобритания настаивает, что никак не могла контролировать переоборудование «Алабамы». Все знают, что это фикция, но пока нет доказательств, ее достаточно. А Макинтайр как раз доказательство, и есть много людей, которым очень бы хотелось побеседовать с ним. И подозреваю, они щедро заплатили бы за такую возможность. От него откупились, приказав ему затаиться, пока дело не будет улажено. А меня наняли следить, чтобы он это условие выполнял. Вот почему я здесь.

— А кто вас нанял?

— Ну, на это я ответить не могу. Ваше правительство, «Лэрд». «Ллойд» в Лондоне. Если иск будет выигран, это обойдется очень дорого в смысле и денег, и репутации. И поскольку я в тот момент был без работы...

— Не понимаю.

Он пожал плечами.

— У меня нет своей страны, и жить среди моих победителей я не хочу. Я же — вернее, был — солдат. Чем мне было заняться? Пасти коров в

Техасе до конца моих дней? Нет. Когда все было потеряно, я приехал в Англию искать работы. И это то, что я нашел. Не самая лучшая, но пока сойдет и она.

— Понимаю. Вы очень интересный человек, мистер Дреннан.

— Нет. Но моя жизнь была интересной, если угодно.

— И Макинтайр не может вернуться в Англию?

— Нет, до тех пор, пока вопрос не будет решен. Я хотел, чтобы он уехал в Грецию, сменил бы имя. Но Венеция — его предел.

— Вы можете быть уверены, что я и мой лондонский друг будем абсолютно немые.

— Благодарю вас.

— И он не хочет покинуть Венецию?

— Пока еще нет.

— А если он все-таки решит вернуться в Англию?

— Тогда моим делом будет помешать ему.

— Каким способом?

Дреннан пожал плечами.

— Там видно будет. Пока же он как будто совершенно счастлив тут. Что очень приятно в отличие от Кортгов.

— Неуравновешенная натура, — заметил я.

— Да. Но будь я женат на подобной женщине, то был бы не в лучшем состоянии.

— Прошу прощения? — Вопрос был беспричинно оскорбительным.

Я вперился в него гневным взглядом. Он ответил невозмутимым. Он точно знал, что говорит, и говорил это обдуманно.

— Я отправился прокатиться с ней на лодке, она меня пригласила. Мы поплыли на Лидо, хотя мне хотелось объехать внутреннюю лагуну. Я счел ее поведение неуместным.

— Да?

— Да. А теперь мне пора. Как вы знаете, мне предстоит получасовая прогулка до моего жилища. Позвольте пожелать вам доброго утра.

Расставшись с ним, я направился в мастерскую Макинтайра. Я мог бы пойти туда гораздо быстрее, если бы поторопился, но мне требовалось подумать о многом. Дреннан очень рассчитанно предостерег меня. Будь это кто-нибудь вроде Лонгмена или Мараньони, я бы просто отмахнулся, как от вульгарной сплетни. Но к Дреннану я относился серьезно. Он не принадлежал к сплетникам или к сочинителям сплетен. То, что он сказал, никак не могло быть правдой, в этом я был уверен. Но что им двигало?

Очевидного ответа я не находил, но теперь у меня возникли другие вопросы.

В мастерской я застал только Бартоли и поздоровался с ним. Мы немного поговорили, и я выразил абсолютно неискреннее сожаление, что не застал Макинтайра.

— Он пошел покормить свою дочку, — объяснил Бартоли по-английски с сильнейшим акцентом.

— Вы хорошо говорите, — заметил я. — Где вы научились?

— Там и сям, — ответил он. — Некоторое время я жил в Англии, а потом познакомился с мистером Макинтайром в Тулоне. Я многому от него научился.

— Но это ведь редкость, вот так путешествовать, верно? Почему вы странствовали?

Он пожал плечами.

— Хотел учиться. А тут для этого никакой возможности нет.

— Вы венецианец?

— Нет, — сказал он презрительно. — Я из Падуи. Тут меня с души воротит.

— Почему?

— Они лентяи. И хотят только жить и умирать.

Говорил он короткими отрывистыми фразами. Сообщал, что считал нужным, и умолкал. В его словах не было ни малейшего украшательства, что освежало, но и слегка обескураживало.

— А второе испытание пройдет столь же удачно, как и первое? — спросил я внезапно.

— Конечно. Почему вы спрашиваете?

— Потому что мистер Макинтайр попросил меня проверить его счета. Как у него с деньгами. А с ними положение скверное. Я тревожусь за него.

Он кивнул.

— Я тоже, — сказал он. — Очень тревожусь. Он хороший человек. Прекрасный инженер. Но он не очень разумен. Вы меня понимаете?

— Да. И его положение очень опасно. Ваше тоже, я полагаю. Ведь от этого зависит ваша работа.

Он пожал плечами.

— Есть и другие работы. Но я желаю успеха мистеру Макинтайру. Разочарование его убьет. Но все будет хорошо. Она сработает в следующем испытании не хуже, чем в первом. Я в этом уверен.

— Очень жаль, — сказал я негромко.

Бартоли посмотрел на меня с недоумением.

— Почему вы говорите так?

Я перевел дух.

— Вам я объясню, — сказал я. — Но вы должны дать мне слово, что никому ничего не скажете.

— Даю.

— Отлично. Так слушайте внимательно. Мистер Макинтайр назанимал деньги очень необдуманно. Если этот его механизм на следующей неделе не сработает, больше денег он не получит. Он обанкротится и не сможет продолжать свою работу здесь. Вы поняли?

— Я это знаю.

— Но будет только хуже, если все пройдет удачно. Он продал патент на механизм ради займа. Не знаю, понимал ли он, что подписывает, но такова правда. Он трудится над тем, что ему больше не принадлежит. Если механизм сработает, он и пенни не получит. Вы понимаете?

Бартоли медленно кивнул.

— Если механизм не сработает, это будет печальной неудачей. Но если сработает, это будет катастрофа.

Бартоли покачал головой.

— Мистер Стоун, какая глупость! Мистер Стоун, мы должны ему помочь. Бедняга! Он слишком простодушен, чтобы противостоять этим людям.

— Согласен. К тому же он слишком прямолинеен, чтобы самому выбраться из этой переделки. Он никогда не унижится до хитрости или обмана, какими бы оправданными они ни были.

Бартоли вопросительно поглядел на меня.

— О чем вы?

— Положение можно исправить, — сказал я негромко.

— Каким образом?

— Я готов уплатить его долги и купить патент. Но если испытание пройдет успешно, нет никаких шансов, что они согласятся продать. Единственная надежда мистера Макинтайра — неудача испытания. Тогда бы я мог уломать кредиторов и обезопасить его изобретение. Но, повторяю, только если испытание завершится неудачей, а мистер Макинтайр, полагаю, твердо решил, что пройдет оно удачно. Он гордый и глупый человек.

Бартоли кивнул, видимо, что-то обдумывая.

— Вы твердо уверены?

Я кивнул.

— Вопрос в том, как его спасти?

— Это просто, — сказал я без обиняков.

— Но как?

— Торпеда не должна выдержать испытания.

Бартоли смотрел на меня и молчал.

— Я намерен посетить банкиров завтра по другому делу. Я повторю мое предложение уплатить его долги, но так, будто про испытания я ничего не знаю. Они, конечно, откажутся продать. Но если она испытания не выдержит, они быстро свяжутся со мной в надежде вернуть свои деньги от глупого англичанина, не подозревающего, что он покупает железный лом.

— И вы позаботитесь о мистере Макинтайре? Вы мне это обещаете?

— Ну, я вряд ли сумею сам собрать торпеду. Я ничего не смыслю в инженерном деле. Он будет изготавливать торпеды, я буду заниматься деньгами. Он, возможно, такого решения не выбрал бы, но его надо спасти от него самого.

Бартоли кивнул.

— Мне надо работать, — сказал он негромко.

Я ушел. «Я выиграл», — думал я. Но только время покажет.

Процедура была точно такой же, как на прошлой неделе, только на этот раз с торпедой обращались так, будто она была сделана из чистейшего и самого дорогого фарфора. Меня ни в коем случае не должны были увидеть поблизости, но я отправился к мастерской, чтобы издали понаблюдать за приготовлениями и удостовериться, что все меры приняты.

Нужды в этом не было: при моем приближении Бартоли кивнул мне, словно говоря: «Не беспокойтесь, все будет хорошо». А потому я быстро ретировался, увидев, что Амброзиан и еще двое мужчин — предположительно из банка — подходят и принимаются следить за происходящим. Когда барка отчалила, я увидел Макинтайра, в величайшем возбуждении поглаживающего гладкую оболочку торпеды, любовно указывая то на одну ее часть, то на другую. До меня даже доносились едва различимые звуки его голоса, необычно воодушевленного. Он подробно рассказывал, как работает его торпеда, что она покажет, ее революционный потенциал. Я знал, что в подобном настроении он, вероятно, продолжал бы часами говорить без передышки, и я посочувствовал венецианским ушам.

Затем они уплыли, и мне оставалось только отправиться на свидание с Луизой, которое я назначил на одиннадцать часов, — в это утро я и сам был в нервном возбуждении, а она уловила мое настроение: в течение следующего часа мы и двух слов не сказали, но пожирали друг друга так, будто это была наша последняя еда. Потом мы, переплетясь, лежали на

кровати, пока я не вспомнил про Макинтайра.

— Не уходи, — сказала она. — Остайся со мной.

— Крайне важное дело, — сказал я. — Мне нужно увидиться с Макинтайром. Это великий день. Но скажи мне, прежде чем я уйду, скажи мне, что нового?

Она покачала головой:

— Я не могу сказать ничего, что тебе было бы приятно.

— Почему? Что случилось?

— Мой муж. Он становится все хуже и хуже, даже иступленнее, чем ты, но в отличие от тебя не для того, чтобы дать мне радость.

— По его виду этого не скажешь.

— Ты мне не веришь? Считаешь меня лгуньей?

— Конечно, нет. Я же просто сказал...

— Ты видел рубцы? Раны? Если он сломает мне ногу, поставит синяк под глазом, ты будешь счастливее? Это лишь вопрос времени, знаешь ли. Я уверена, в конце концов ты будешь удовлетворен.

— Ничего подобного я в виду не имел.

— Ты его не знаешь, — сказала она уже в ярости. — Я боюсь, страшно боюсь, до чего он может дойти в очередном припадке. Если бы я только могла убежать куда-нибудь! Но это несбыточно, теперь я это знаю. Для меня нет спасения.

Я снова сел на кровать и обнял ее. Уютно пристроив голову к моей шее, она поглаживала мои волосы.

— Просто быть с тобой придает мне мужества, — сказала она нежно. — Но оно исчезает, когда тебя нет рядом. Знаешь, я грежу о том, чтобы быть с тобой все время. Едва я встретила тебя, я поняла, что ты — все, чего я желала, все, чего я когда-либо желала в мире. Но ты не чувствуешь ко мне того же, я знаю.

— Нет, чувствую!

— Значит, мы должны быть вместе! — вскричала она, глядя мне в глаза. — Так или иначе, но должны! Это наша судьба, я знаю. Пожалуйста, скажи мне, что ты согласен. Скажи сейчас!

— Я не могу. Ты знаешь, я не могу.

— Ты не хочешь.

— Ты оставишь своего мужа, свою жизнь...

— Это не жизнь, — сказала она брезгливо. — Что это за жизнь, как ты думаешь? Ютиться в лачуге с хнычущим ребенком и таким человеком? Что это за жизнь в сравнении с тем, что мы могли бы обрести вместе, только ты и я, вдвоем и совсем одни?

— Легко мечтать, пока ты здесь, в Венеции, вдали от суждений общества, — сказал я. — Когда вернешься в Англию, ты можешь решить, что сделала неверный выбор.

— Ты думаешь только о себе, — сказала она с горечью. — Ты рад встречаться со мной здесь в этой комнатенке, пока никто про это не знает. Но я не стою и одного неодобрительного взгляда в свете. Ты берешь все, чего хочешь, я же даю. И я счастлива этим. Я бы умерла ради тебя. Очень хорошо. Я буду твоей шлюхой, чтобы ты получал свое удовольствие, когда захочешь. Для меня этого достаточно, это приносит мне единственную радость, возможную для меня в мире. Я не хочу ничего, чего ты не хочешь дать мне.

Она умолкла, но я ничего не сказал.

— Обещай, что ты увезешь меня от него навсегда. Обещай сейчас.

Опять долгое молчание. Потом я сказал:

— Нет.

Я хорошо помню. Стояла полная тишина, нарушаемая чуть слышными звуками — люди внизу катили бочки. Она лежала на кровати, я рядом с ней. Внезапно мы отделились: она свернулась калачиком, а я приподнялся, сел — и пропасть стала колоссальной и непреодолимой.

— Ты такой же, как другие, — сказала она коротко и холодно. — Ты хочешь избавиться от меня и нашел предлоги. Я чувствовала, как это зреет в тебе: я ждала этого и только гадала, какие причины ты подберешь для себя. Почему не сказать просто и прямо? Почему? Зачем притворяться, будто это для моего же блага?

— Какие «другие»? Дреннан, например? — спросил я, все еще удивительно спокойный.

Она засмеялась.

— Почему ты смеешься?

Она пожала плечами.

— Ты дала мужу опиум перед сеансом? Подготовила маркизу, сообщив ей сведения, какие, ты знала, она использует, впав в транс?

Легкая удовлетворенная улыбка и никакого ответа.

Я ждал какой-нибудь истории, в какую мог бы поверить, чего-то, что успокоило бы меня, убедило бы, как глуп я был, усомнившись в ней. Но не получил от нее ничего.

— Ты хочешь оставить меня, — сказала она. — Я знаю, что да. Почему не сказать прямо? Отдохнул — и назад к женошке в Англии.

Она секунду смотрела на меня, затем сказала лукаво и вкрадчиво:

— А ты не думаешь, что она заслуживает узнать, как ты проводил свое

время?

— Что ты сказала?

— Дорогая миссис Стоун, я была любовницей вашего мужа, пока не наскучила ему. Он соблазнил меня на пляже, пока вы сидели дома. Я...

— Замолчи!

— Ты же на самом деле не думаешь, что можешь бросить меня здесь и вернуться в Англию, будто ничего не было? Или думаешь? Я никогда тебя не оставлю. Буду следовать за тобой до дня твоей смерти. Ты удивлен? Я — нет. Мне все равно, кто знает про тебя, или что они думают обо мне.

— Довольно, говорят тебе!

— Почему? В чем дело? Ты расстроился? О! — сказала она с насмешливым сочувствием. — Ты считаешь себя обманутым. Как грустно. Я и забыла. Ты же единственный, кому дозволено обманывать друзей и врать.

— Думаю, мне пора уйти. Будет лучше, если я больше тебя не увижу.

— Для тебя, может быть. Но не для меня.

Я направился к дверям, а она начала одеваться.

— Знаешь, что я собираюсь сделать сейчас? — сказала она с улыбкой.

— Что?

— Думаю, пора Уильяму узнать правду обо всем, согласен? Просто предвкушаю рассказать ему, как мы занимались любовью, пока он ждал снаружи. И как тебе это доставляло особенное удовольствие. Это может окончательно его доконать, как по-твоему? А когда я освобожусь от мальчишки, настанет твой черед. — Она бросила на меня такой взгляд, что у меня по спине пробежала дрожь.

— Ты ничего подобного не сделаешь.

— И ты намерен остановить меня... как именно?

Я молчал.

— Сколько?

Это сказала она, а не я. Это была ошибка, полнейший просчет. Она вернула ситуацию в область, мне понятную. До этого момента управляла она, я всего лишь шел на поводу.

— И что это подразумевает?

— Словечко моему мужу, письмо твоей жене. Сколько?

— А по-твоему?

— Думаю, сто фунтов будет в самый раз.

— Сто фунтов?

— В год.

И тут рассмеялся я.

— Знаешь, пока ты этого не сказала, во мне оставалась жалость к тебе. Ты правда думаешь, что я буду содержать тебя до конца твоих дней? Я не делал ничего такого, чего не делала бы ты сама. Должен я тебе не больше, чем ты должна мне. Позволь сказать, сколько стоит твое молчание. Ровнехонько ничего. Ни пенни. Ты ничего не сделаешь в обмен на ничего. Честная уплата с обеих сторон. Иначе ты пожалеешь, что угрожала мне. Больше всего ты пожалеешь об этом.

Она улыбнулась:

— Посмотрим.

Меня трясло, когда я ушел. Я шагал как мог быстрее, чтобы поскорее уйти от этой треклятой комнаты. Переход от соучастия к антагонизму, от любви к ненависти был таким мгновенным, таким непредвиденным, что я дрожал от шока. Я настолько ошибался? Как я мог совершить такую ужасную ошибку? Как я не рассмотрел? Я, гордившийся своим умением судить о людях? Урок на будущее. Но в те минуты я был слишком ошеломлен, чтобы сохранить ясность мысли.

Особенно сильно меня поразила ее бесчувственность. Если бы она бесилась и визжала, вела бы себя будто фурия или истеричка... Наброся она на меня с кулаками, рухни, рыдая, на пол, это было бы более понятно. Но она вела себя будто деловой мужчина, она пустила в ход все свои козыри, это не сработало, и пришлось подсчитать потери. Собственно говоря, она вела себя будто я. Я же был потрясен, содрогался, оказался во власти эмоций. Спасла меня только ее неуклюжая попытка шантажа. Если бы она вообще ничего не сказала, я мог бы предложить ей что-нибудь. Но угроз я никогда не любил. И это изменило все.

Однако я запомнил выражение ее глаз, ее угрозы. Способна ли она их выполнить? Я подумал — да. Вернее, я в этом не сомневался. Но меня это не особенно тревожило. В худшем случае я на время попаду в неловкое положение. Неприятно, конечно, но ничего такого, от чего нельзя было бы отряхнуться достаточно скоро. То, что она могла навлечь на меня, нисколько меня не пугало.

Другое дело Корт, и тут я не знал, как поступить. Я оправдывал свое поведение тем, что его обращение с ней было чудовищным и такое наказание он вполне заслужил. Теперь я увидел еще одну ее темную сторону, ту, с которой не хотел соприкасаться. Но эти порезы, эти рубцы и синяки были реальными. То, что теперь я отшатнулся от Луизы, вовсе не означало, будто я проникся большей симпатией к ее мужу. Возможно, они заслуживали друг друга?

А потому я ничего не предпринял и нашел веские причины для моей пассивности. Однако я себя не извинял, пожалуйста, не думайте так. Я никого не винил, не твердил про воздействие Венеции, или странных умалишенных, или света, или моря, принудивших меня к столь бесшабашному поведению. Отвечал за него только я, и я один. И мне крайне повезло, что я еще так легко отделался. Если бы не намеки и предостережения Мараньони и Дреннана — и синьора Казановы, чьи слова, пожалуй, произвели наибольший эффект, — меня могла бы легко захлестнуть волна страсти и я бы поклялся любить ее вечно, сделал бы ее своей. А тогда бы мне пришлось жить с моей ошибкой, которая, не сомневаюсь, скоро стала бы явной.

Прошло много времени, прежде чем я опомнился, бродя по задним улочкам, глядя на лагуну, виды которой, недавно чаровавшие меня, теперь я начинал находить унижающими. Я стремительно пробуждался от своих грез. Настала минута двигаться дальше. Я хотел покинуть Венецию побыстрее. Пригрезившийся мне мирок с Луизой — то есть с той, кем я ее считал, — и мир Венеции были слиты воедино, и настало время стряхнуть их. Ни та ни другая больше не имела власти над моими мыслями. Решение это возникло быстро и бессознательно. Совсем недавно такого вопроса даже не вставало, а сейчас я уже думал, как упакую свои вещи и закончу приготовления к отъезду. Настало время отправиться дальше.

Бартоли застал меня в спокойном, сосредоточенном настроении, когда вошел в кофейню, где мы договорились встретиться, и мне потребовалось немалое усилие, чтобы отнестись к его рассказу с должным вниманием. Но он того стоил. Чем дольше мы говорили, тем больше Луиза стиралась из моей памяти, превращаясь в проблему, которую нужно определить и уточнить, только и всего. А ему требовалось особое внимание, так как задним числом он горько сожалел о том, что только что сделал. Макинтайр был вне себя, почти помешался от разочарования, оставался неутешен.

По его словам, все начиналось, как в прошлый раз. Барка медленно выплыла в северную часть лагуны, где можно было не опасаться шпионящих глаз. Торпеда снова была приготовлена и опущена за борт. С той только разницей, что Макинтайр вынул штырек из носа торпеды и поднял его, чтобы все могли хорошо рассмотреть.

«Предохранительный штырь! — возвестил он. — Торпеда теперь вооружена пятьюдесятью четырьмя фунтами порохваты, готовой взорваться, чуть болт в носу вдавится при ударе. Ударе о корабельный борт».

Макинтайр бережно потянул за бечевку, чтобы нацелить торпеду на

силуэт обломка корпуса старой рыбацкой шаланды, выброшенной на берег много лет назад и там забытой. Он полагал, что превратить его в щепки будет впечатляющей демонстрацией мощи его изобретения. Когда все было готово, он глубоко вздохнул и выдернул штырь, открыв доступ сжатому воздуху по трубам к маленькой турбинке, вращавшей пропеллер.

И вот тут дало о себе знать вмешательство Бартоли. Сперва все шло хорошо: пропеллер завращался, торпеда задвигалась. Но вместо того чтобы мчаться по прямой к шаланде, она круто свернула вправо на скорости примерно двух миль в час, выпрыгивая из воды и ныряя в нее, будто ополоумевший дельфин. Банкиры уже переглядывались, а Макинтайр погружался в отчаяние.

Но худшее было еще впереди. Стало очевидным, что торпеда — чего Бартоли отнюдь не предполагал — описывает прихотливый круг, который приведет ее более или менее точно к месту, откуда она была запущена. Что она ударит в барку пятьюдесятью четырьмя фунтами хваленной порохваты, готовой взорваться при ударе.

Возникло что-то вроде паники. Все старались определить, куда ударит торпеда, и отойти от этого места как можно дальше. Только Макинтайр стоял над самым вероятным местом, пока она, подпрыгивая, приближалась к ним.

Затем мотор заглох. Вместо предполагаемого радиуса действия в тысячу четыреста ярдов она булькнула и остановилась, покрыв чуть более трехсот. Что было к лучшему — еще пять ярдов, и она отправила бы к праотцам барку со всеми, кто на ней находился. Наступило мгновение полной тишины, затем с громким извиняющимся бульк-бульк она канула на дно.

К счастью, они находились в относительно глубокой части лагуны, поскольку торпеда утонула носом вниз и взорвалась, едва коснувшись дна. Мне не довелось быть очевидцем ничего подобного, но, видимо, пятьдесят четыре фунта взрывчатки дают невообразимый грохот. Да и как же иначе, если она предназначена топить броненосцы? Раздался приглушенный рев, вода взметнулась вверх примерно на сорок футов, приливная волна чуть не перевернула барку и окатила всех на ней. Демонстрация подошла к своему эффекту к своему завершению.

На кредиторов Макинтайра она, мягко выражаясь, благоприятного впечатления не произвела. Они наблюдали, как торпеда кружила, были промочены до костей и до смерти перепугались. Возвращение в Венецию прошло в гробовом молчании.

Я посмотрел на Бартоли, когда он договорил.

— Что вы с ней сделали? — спросил я.

— Почти ничего, — ответил он тоном, яснее слов говорившим, каким виноватым он себя чувствует. — Ослабление винта здесь и неправильное подключение там. Небольшое утяжеление, чтобы вывести гироскоп из строя. Мелочи, которые Макинтайр заметить не мог.

— И уже не сможет заметить, раз она разлетелась вдребезги. Ну, а банкиры?

Он пожал плечами.

— Они не сказали ни слова. Даже «до свидания». Просто промаршировали с барки, когда она причалила, и ушли. Макинтайр пытался поговорить с ними, объяснить, что она на самом деле действует безупречно, только они не хотели слушать. Послушайте, мне надо вернуться к нему. Он по-настоящему расстроен, и он пьет. Он может натворить глупостей, если за ним не проследить. Вы уверены, что мы поступили правильно?

— Абсолютно уверен, — сказал я бодро. — Я жду письма от Амброзиана в самом ближайшем времени. С их точки зрения, единственный способ вернуть свои деньги — это убедить меня уплатить его долги прежде, чем я узнаю, что торпеда ни на что не пригодна. Новости в этом городе распространяются быстро, а потому им придется поторопиться, чтобы не опоздать. Если я что-нибудь услышу, то сообщу вам немедленно. А пока идите отыщите Макинтайра. Убедите его, что отчаиваться не нужно, что все образуется. Говорите что хотите, но подбодрите его.

Я был прав. Когда я вернулся домой, меня ждало письмо. Пышным официальным итальянским, принятым для подобных случаев, оно извещало благороднейшего синьора — меня, — что мое предложение касательно проекта Макинтайра было представлено правлению и рассмотрено благоприятно. Если я желаю продолжить дело, мне следует указать, что я желаю приобрести векселя.

Формальную бумагу сопровождало написанное от руки послание Амброзиана. Он прилагал ради меня все усилия, писал он, но сумел убедить совет дать согласие лишь потому, что один член правления отсутствовал. Он должен вернуться завтра и, без сомнения, попытается добиться отмены решения, едва узнает про него. Если возможно, мне следует прийти и заключить сделку елико возможно быстрее, иначе будет уже поздно.

Меня восхитила наглость этого человека, убедительность и логичность, какие он сумел придать такой колоссальной лжи. Отличный субъект,

ничего не скажешь — пронизательный, расчетливый, беспощадный, лживый. Меня это очень подбодрило.

Я поспешил в банк со всей быстротой, а затем помедлил, чтобы он понервничал. В шесть двадцать вечера, точно за десять минут до закрытия, я вошел в банк и спросил синьора Амброзиана.

Возможно, вы полагаете, что я должен был заняться другими делами, самому пойти и объяснить Макинтайру, что происходит, должен был пойти повидать Корта. Согласен. Я должен был бы сделать и то и другое. Если я этого не сделал, то не потому, что не думал о них. Но я полагал, что Бартоли приглядит за Макинтайром, — ну а Корт? Что я могу сказать? Я еще не был готов к встрече с ним.

— Я так рад, что мы сумели прийти к соглашению по этому делу, — сказал я, когда сел и принял бокал холодного вина.

— Как и я, — ответил он с теплой улыбкой. — Хотя, как я сказал в моем письме, устроить это было нелегко. Но я почувствовал, что нам не стоит связываться с постройкой заводов. Сколь ни превосходна машина мистера Макинтайра, любые прибыли, которые она может принести, слишком задерживаются. А мы, венецианцы, подобным теперь не занимаемся; предпочитаем предоставлять это более предприимчивым англичанам, а сами ищем более скорых прибылей от менее значительных предприятий. Без сомнения, Англия поэтому владеет империей, а Венеция своей лишилась.

— Возможно. Бесспорно, у вас, я полагаю, нет достаточного числа инженеров, управляющих и квалифицированных рабочих, необходимых для создания подобных заводов здесь. В Англии найти таких людей много проще.

— Вы будете производить их там?

— Думаю, да. Наиболее вероятный заказчик ведь Королевский военноморской флот. Если он будет покупать, все остальные флоты мира вынуждены будут последовать его инициативе. А это патриотическая организация и не покупает иностранную продукцию, если этого можно избежать.

— В таком случае я с живейшим интересом буду следить за вашими успехами, — сказал он. — А теперь, может быть, мы покончим с делом, и я буду счастлив, если вы пообедаете со мной.

— Вы очень любезны, — ответил я. — Но по-моему, мне следует отыскать Макинтайра и сообщить ему нашу новость. Собственно, я как раз собирался навестить его, когда получил ваше письмо.

Амброзиан сложил в пачку бумаги на своем столе, повернул ее и

придвинул ко мне.

— Вам, конечно, надо будет многое обсудить с ним, когда вы его увидите. Может быть, вы хотели бы прочесть их? То есть я предполагаю, что вы читаете по-итальянски? Если нет, я буду счастлив позвать кого-нибудь, кто будет переводить.

Я сказал, что справлюсь, и потратил двадцать минут, прихлебывая вино и кое-как продираясь сквозь строки на случай какого-нибудь подвоха. Язык был юридический, но суть достаточно ясной, да и почему было ждать скрытых ловушек? Это ведь была купчая, составленная в спешке с целью избавиться от бесполезной собственности настолько быстро и чисто и настолько абсолютно, насколько возможно.

— Да, — сказал я, завершив чтение. — А теперь о цене...

— Мне казалось... — начал он, чуть нахмурясь.

— Я, очевидно, покупаю долг в пятьсот фунтов. И теперь мы должны прийти к согласию, какую цену я заплачу.

Амброзиан прямо-таки просиял на меня и, взяв бутылку, вновь наполнил бокалы, а затем вновь расположился в кресле поудобнее. Разумеется, этого он и хотел: нет ничего более подозрительного, чем готовность уплатить полную цену. К тому же где радость обмишуливания при заключении такой жалкой прямолинейной сделки?

— Ввиду длительного риска и неизбежной необходимости вложения дополнительного капитала, без чего машина эта останется бесполезной и для вас, и для кого-либо еще, я полагал, что небольшая скидка была бы уместной, учитывая выгоду, которую получает ваш банк, избавляясь от этого займа.

— Но вы же сами упомянули потенциал этого изобретения.

— Так и есть. Но в данный момент оно ничего не стоит. Вы не хотите и дальше заниматься им, и, подозреваю, никто больше во всем мире не захочет приобрести его за какую-либо сумму. Вопрос в том, чтобы установить справедливую цену за избавление вашего банка от нежелательной обузы.

И так далее. Добрый час чистого развлечения, которое мы оба равно разделяли и в котором лично я очень нуждался. Обман был откровенным и понятным, эмоции полностью контролировались. Отличное противоядие моим бедам и заботам. Я указал, что пятьдесят процентов скидки — наименьшее, на что я могу согласиться. Он выразил удивление, что я не предложил суммы сверх номинальной, учитывая убытки, которые понес банк. Я возразил, что убытки эти более чем покрыты процентами, уже полученными банком.

Но с самого начала и до конца я знал, что он понимает: стоит мне поговорить с Макинтайром, и цена его займа немедленно упадет до нуля. Либо он договорится со мной сейчас же, либо потеряет все вложенные деньги. Я предложил ему добавочные двадцать три фунта, и мы ударили по рукам. За двести восемьдесят три фунта я купил полные и исключительные права на самое грозное новое оружие, какое видел наш век.

Мир тогда был попроще. Слово джентльмена — особенно английского джентльмена — было равно золоту, причем буквально. Для уплаты я черкнул пару строчек моим банкирам в Лондоне с просьбой выплатить двести восемьдесят три фунта представителю «Банко ди Санто-Спирито» в Сити. И выплата эта была бы произведена, даже если бы я оказался аферистом, не имеющим в банке достаточно денег для покрытия этой суммы. «Куттс» счел бы необходимым уплатить, и Амброзиан прекрасно это знал — я не сомневался, что он уже навел обо мне справки. Он уложил документы в большую толстую папку и запечатал ее массивной печаткой, не пожалев сургуча, а затем с рукопожатием вручил ее мне.

— Мои поздравления, дорогой сэръ, — сказал он с улыбкой. — И дозволено ли мне будет сказать, как меня восхищает ваше доверие к соотечественнику? Я бы сам никогда не рискнул сделать подобное приобретение, не убедившись предварительно, что оно таково, как изображает изобретатель.

— Боже мой, но я так и поступил, — сказал я, обернувшись от двери. — Она великолепно показала себя на прошлой неделе. Насколько я понял, сегодня что-то не заладилось, но это легко поправимо. Нет, я не сомневаюсь, торпеду ожидает великое будущее.

Я изящно поклонился, сдержав улыбку торжества, и ушел. К его чести, на лице у него не мелькнуло и намек на злость. Мне кажется, я даже заметил легкую улыбку одобрения.

Глава 16

Я подумал, что пора положить конец мучениям Макинтайра, объяснить ему, что его будущее обеспечено, во всяком случае, насколько это зависит от меня. За последние несколько дней я уточнил свои расчеты, и то, что я планировал, вполне укладывалось в мои финансовые возможности, хотя я не сомневался, что на разных этапах мне придется прибегать к помощи друзей, таких, как мистер Кардано. Я был увлечен, более увлечен, чем когда-либо, и это желанно заслоняло Луизу. Чем больше я думал о торпедах, о банках и о заводах, тем меньше я думал о ней.

Мой взгляд на будущее прояснялся с каждой минутой. Тратить время, как я тратил его последние несколько лет, было вполне нормально. Тем не менее продажа и покупка акций и ценных бумаг — это операции второго порядка, далекие от подлинного источника богатства. И перспектива создания предприятия завораживала меня. Я не собирался, хочу я подчеркнуть, управлять им самолично. Я знал себя, и будничным надзором над заводом очень скоро мне приелся бы. Однако мысль разработать систему, при которой управляющие работают в изящно сбалансированной, эффективной организации, созданной мной одним, преисполняла меня приятным предвкушением, заставляла смотреть вперед, а не назад. Мой взгляд обратился к Англии, и свет Адриатики меня больше не ослеплял.

Теперь я торопился. Этот прекрасный, нелепый обломок старины — не то место, где делаются деньги, где делается вообще что-либо. Всего лишь развлечение, пауза, место, где время тратится зря, жизни губятся. Необходимо было поставить в известность Макинтайра, упаковать в ящики оборудование мастерской и обеспечить доставку всех и вся в Англию. Куда-нибудь на южный берег, думал я, поближе к воде, абсолютно необходимой для испытаний, не слишком далеко от важнейших военно-морских баз и достаточно близко к источникам квалифицированной рабочей силы. И туда, где земля относительно дешева, чтобы без хлопот приобрести достаточно большой участок.

А потому меня преисполняла уверенность. Но недолго. Когда я вновь подошел к мастерской Макинтайра, она была темной и пустой. Я окликал, барабанил в двери, напрягал слух. Но тщетно. Не нашел я его и в комнатухах, которые он и его дочь называли своим «домом» — ветхой обшарпанной хибаре в нескольких сотнях ярдов от мастерской. Там оказалась только девочка, совсем одна.

— Где твой отец?

Она мотнула головой.

— Ты не знаешь?

— Нет. Он ушел. Я не знаю куда.

— Ты долго была здесь одна?

— Весь день, — сказала она с вызовом, будто ничего нормальнее и быть не могло.

— Я должен найти его поскорее. У меня для него хорошие новости. Ты ему скажешь? Это важно. У меня для него очень хорошие новости.

Она поколебалась и посмотрела на меня с подозрением. В ее головенке под всклокоченными волосами шла какая-то борьба.

— Ты знаешь, где он, верно?

Она кивнула.

— Тут?

Она снова кивнула.

— Пожалуйста,пусти меня. Я тебя не выдам.

Она сильно нахмурилась, закусила губу и посторонилась. Маленькая гостиная и кухня были грязными, пропахшими давней стряпней и нестираной одеждой. Темная и замызганная колченогая мебель. Бедный ребенок, подумал я. Расти в такой обстановке! Она больше ничего не сказала, а только смотрела на меня серьезно и неодобрительно.

— Макинтайр! — позвал я. — Где вы? Это Стоун. Мне нужно поговорить с вами.

Из комнаты рядом донесся стук, точно что-то тяжелое упало на пол. И наконец появился Макинтайр. Он был пьян, мертвецки пьян. Лицо краснее обычного, одежда измята. Он споткнулся и прислонился к дверному косяку, чтобы удержаться на ногах.

— Празднуете свою удачу?

Он даже не сумел сдвинуть брови.

— Вы способны разговаривать?

— Конечно, могу, — сказал он, медленно подошел к столу и кое-как сел. — Чего вам надо?

— Я говорил с Бартоли. Я знаю про испытание. Вы потому в таком виде?

Он не ответил. И я рассказал ему просто и ясно, то и дело прерываясь проверить, что он понимает мои слова.

— Как видите, — закончил я, — все хорошо. Вы избавлены от когтей итальянских банкиров, торпеда в безопасности, и, по моей прикидке, примерно через девять месяцев мы сможем начать производство. Единственное, что нам осталось сделать, — это переправить все назад в Англию.

Я слишком углубился в подробности и где-то его потерял. Он уставился на меня, втянув голову в плечи, смахивая на ошалелого тупого вола. Я видел, как шевелятся его губы, — он пытался осознать, что я говорю. Не знаю, что он извлек из моей маленькой речи, но ни намек на благодарность я не заметил.

— Вы все это проделали у меня за спиной?

— Мой дорогой Макинтайр! — воскликнул я с удивлением и некоторой досадой. — Я бы сказал вам, нет, правда. Но у меня была встреча с синьором Амброзианом совсем по другому делу, и тема вашего механизма возникла случайно. Я упомянул, что очень бы хотел вложить в него кое-

какие деньги, а он отказал мне наотрез. Об этом и речи быть не может, объявил он мне. И я не упоминал про это, потому что упоминать было нечего. И только сегодня днем я получил письмо, что он передумал. Но что я должен принять решение безотлагательно. И мне пришлось действовать сразу же, не то все было бы потеряно.

— Вы украли у меня мое изобретение.

— Я не крал его у вас, поскольку из-за вашей глупости оно вашим уже не было.

— Тогда позвольте мне выкупить его у вас. Если вы человек чести. Оно мое, вы это знаете. И пока я жив, оно будет моим.

— У вас нет денег.

— Найду.

Я покачал головой:

— Не найдете.

К счастью, мне не пришлось сделать то, что я сделал бы, сумей он раздобыть их.

— И чьим будет это предприятие? — спросил он угрюмо. — Что, если я захочу вступить в партнерство с кем-нибудь другим?

— Вы будете вольны сделать это, — сказал я ровным голосом, — если сможете найти достаточно денег, чтобы выкупить свой патент. Затем найдите партнера, согласного работать с вами. Но, по чести, вы можете представить себе, с кем вам было бы сотрудничать лучше? В денежных делах вы ничего не смыслите, и знаете это. Предоставьте их мне.

— Но вы мне ничего не сказали!

Он заикнулся на этом. Единственный факт, который проник сквозь алкогольный туман и застрял в его сознании.

— Ну, я прошу прощения, если это вас оскорбило. Однако будьте же разумны. Я ни к чему вас не принуждаю. Вы можете остаться тут в долгах, если действительно это вас устроит. Но должны вы будете мне, а не Амброзиану. Есть ли у вас возражения против того, чтобы вступить в партнерство со мной?

— Да.

— И какие же?

— Не хочу.

— Почему?

— Потому что вы меня обманули.

Сохранять терпение с ним было трудно. Я просто не понимал, почему он не пляшет от радости. Почему не видит, насколько ему это выгодно?

— Послушайте, Макинтайр, — сказал я твердо и спокойно, пытаюсь

подчинить его. — Вы пьяны. Сейчас я оставлю вас в покое. Когда вы протрезвеете, мы можем снова поговорить. Но запомните, пока не допьетесь до еще большего одурения, я могу вложить тысячи фунтов в эту вашу машину. В вашем распоряжении будет мастерская с наилучшим оборудованием во всем мире. Ваша машина будет усовершенствоваться и производиться, не требуя от вас никаких других хлопот. Все это я предлагаю вам. Если вы считаете таким уж предательством, что я не успел посоветоваться с вами, оскорблением, достаточным, чтобы отвергнуть мое предложение, отвергайте. Я в вас не нуждаюсь. Я могу производить торпеды без вашей помощи, и буду, если иначе нельзя.

Он взревел от бешенства и ринулся на меня, но был слишком пьян, чтобы причинить мне вред. Я посторонился, и он рухнул на пол. Его дочка вбежала в комнату, пронзив меня взглядом такой озабоченности и тревоги, каких я никогда еще не видел на детском лице. Я заколебался, чувствуя, что по меньшей мере должен помочь ей, пусть в эту минуту и не испытываю симпатии к ее отцу. Но она ясно показала, что я тут лишний. Она обняла голову отца и начала нежно поглаживать, успокаивая его, будто младенца. Макинтайр перехватил мой взгляд. «Уходи, оставь меня в покое», — казалось, твердил он. Я так и поступил.

Но не вполне. Я отправил записку Лонгмену с просьбой, не окажет ли мне его жена большое одолжение: не навестит ли инженера, чтобы убедиться, все ли там в порядке. Меня прогнали, но из этого не следовало, что девочка способна справиться сама, а миссис Лонгмен практичная женщина и сумеет помочь перепуганному ребенку и убедить пьяного ожесточенного мужчину лечь в постель. Так, во всяком случае, я думал.

Затем я вернулся к себе и лег спать. Я был в очень скверном настроении: день, который должен был быть днем триумфа, обернулся полной противоположностью, и меня душила ярость, что он погублен. Знаю, знаю, Макинтайр очень горд, он испытал мучительное разочарование, был унижен. Он оберегал свою независимость, а я отнял ее у него, поставил перед свершившимся фактом. Разумеется, его обуял гнев. Я все это понимал. Но чего он хотел? Разорения? Он образумится и признает, что ему очень повезло, раз у него есть я, чтобы присмотреть за его интересами. Либо сопьется до смерти. Единственные открытые ему пути. И мне, в сущности, было все равно, какой он выберет.

Полагаю, я ожидал признательности, благодарности, улыбки облегчения. Такая наивность с моей стороны! В бизнесе редко получаешь благодарность, спасая людей от них самих.

Глава 17

На следующий день предстояло сделать очень много. Но начался он скверно. Вместе с моим утренним кофе меня ожидали два письма. Длинное, закапанное слезами и бурное письмо от Луизы. И оно выбило меня из колеи. Она испрашивала прощения, винила себя, умоляла еще раз дать ей возможность все объяснить. Ей стыдно того, что она наговорила. Только любовь ко мне, страх потерять меня толкнули ее настолько утратить власть над собой. Она ведь впервые в жизни была счастлива. Она умоляла меня встретиться с ней, выслушать ее, хотя бы ради того, чтобы мы могли расстаться друзьями. Не приду ли я? Если да, то она будет ждать меня в палаццо Корта в одиннадцать. Она больше не хочет бывать в нашей квартирке, она этого не вынесет, но палаццо будет пустым, и мы сможем поговорить там.

Я чуть было не смял письмо и не швырнул в камин, чтобы изгнать его из моих мыслей вместе с писавшей. Но лучшее во мне взяло верх. Ведь она по меньшей мере имела право на это, иначе все будет запачкано последними горькими словами. Я не собирался менять свое решение, но было бы подло и жестоко не исполнить ее просьбу. Она заслуживала этого. Да, я приду туда. И это будет конец.

Таким было мое решение, пока я не взял второе письмо. Оно было от Кардано.

«Дорогой Стоун, — начиналось оно. — После письма про Макинтайра пишу вам снова с кое-какой информацией, без сомнения пустяковой, но ничего больше я для вас узнать не сумел, и это единственная дополнительная новость, какой я могу вас снабдить.

Примерно день спустя после собрания „Лэрда“ я обедал у Джона Дилейна, редактора „Таймс“, и сидел рядом с миссис Джейн Невисон, очаровательной женщиной и супругой одного из его корреспондентов. Очень милая дама, которая доблестно старалась изображать интерес к финансовым проблемам, лишь бы поддерживать разговор. Я, в свою очередь, пытался найти, что сказать интересного для нее, а потому начал рассказывать ей о вашем пребывании в Венеции — она сказала о своем желании побывать в этом городе — и о ваших тамошних впечатлениях. Я упомянул, что даже есть люди, покупающие там недвижимость, и сослался на Олбермарлей и вашего друга, которому они поручили ремонт своего приобретения. Однако я едва успел начать, как ее лицо потемнело, а голос стал совсем ледяным.

Ей знаком этот мистер Корт, спросил я, заметив, как она отнеслась к моим словам. Я упомянул, что он произвел на вас благоприятное впечатление. Она ответила, что с ним не знакома, но одно время у нее служила женщина, на которой он женился. Крайне необычная история, и я изложу ее вам без приукрашиваний.

Когда мисс Луиза Чарлтон поступила к ним гувернанткой, сказала миссис Невисон, то казалась скромной и кроткой, доброй и заботливой с их двумя детьми. Они восхищались ее стойкостью, поскольку предыдущий ее наниматель обходился с ней ужасно. Она даже показала им багровые рубцы у локтей, оставленные веревкой, которой он исхлестал ее, когда она заявила о своем уходе. Однако произошло следующее. Мало-помалу семейный лад сменился злобными сварами. Супруги нападали друг на друга, потому что эта женщина роняла намеки на то, что они говорили за спиной друг друга. Дети, прежде горячо привязанные друг к другу, теперь ревниво ссорились. Родители ничего не понимали, пока не выяснилось, что их преданная гувернантка твердила девочке, что родители любят не ее, а только мальчика. И наоборот. К тому же обращалась она с ними предельно жестоко, но таким образом, что это долго оставалось незамеченным. Мальчик боялся темноты и тесных пространств, а потому, стоило ему досадить ей, в наказание он на часы запирался в гардеробе. Девочка подвергалась насмешкам, ей говорилось, что она уродлива, что никто никогда не будет ее любить. Дети были запуганы и не осмеливались пожаловаться родителям. Родители же опасались, что дети расстроятся, если потеряют гувернантку, которую так любят. Кончилось все это, когда она начала строить глазки молодому коллеге Невисона и принялась рассказывать ему, как жестоки и невыносимы ее наниматели. Как они бьют ее, морят голодом... Это было ошибкой, поскольку молодой человек был предан их семье и рассказал им о ее утверждениях. Тут все выплыло наружу, и она была сразу же уволена, однако продержалась она у них почти год, и, по-видимому, им всем понадобилось время, чтобы оправиться от пережитого. Последнее дошедшее до них известие о ней было, что она женила на себе этого вашего Корта. Как она сумела его поймать, миссис Невисон не знала, хотя и подозревала, что тут сыграли свою роль красочные рассказы об их зверствах. Она сказала, что, по ее мнению, Корт очень скоро раскается в своей глупости».

Жаль, что он не написал об этом раньше, подумал я. Помню, я испытывал полное спокойствие, даже облегчение. Я навсегда выкинул ее

из моих мыслей, аккуратно сложил письма и позавтракал, думая только о Макинтайре и его торпедо. Закончив, я приготовился отправиться в мастерскую, где намеревался провести весь день.

Тут в дверь постучали, и вошел Лонгмен.

— Вы получили мою записку? — спросил я.

— Да. Миссис Лонгмен провела там ночь и была счастлива помочь. Бедная девочка! Такая милая и всецело преданная своему отцу. Так прискорбно!

— А Макинтайр протрезвел?

— Да. И отправился на встречу с Кортон. Как он туда доберется, когда он так пьян, ума не приложу. Конституция у него как у слона. Остановить его не удалось. Заявил, что обещал, что в отличие от некоторых он свое слово держит. Отчасти из-за этого я и пришел к вам. Боюсь, у меня только что произошел крайне тягостный разговор с мистером Кортон.

— Из-за чего?

— Я столкнулся с ним сегодня утром, с Кортон то есть. И он был в ужасном состоянии. Выглядел вне себя от ярости. Никогда не видел его таким взбешенным. И вел он себя оскорбительнее некуда. Я спросил, как он поживает. Просто поздоровался, вы понимаете...

— Да-да, — сказал я. — Пожалуйста, продолжайте. Нынче утром я немного занят.

— Ах так! Разумеется. Понимаете, он накинулся на меня и потребовал, чтобы я оставил его в покое. Ему все про меня известно. И пусть я радуюсь, что он не ударил меня здесь на улице. Кричал, вы понимаете. Устроил безобразнейшую сцену.

— Но из-за чего?

— Понятия не имею. Я был слишком оскорблен, чтобы спрашивать. Я был крайне рассержен и ушел, а он стоял посреди улицы и выкрикивал мерзкие оскорбления мне в спину. Что я гнусный, злобный сплетник и еще куда хуже, можете мне поверить. Я был крайне потрясен его поведением.

Это было видно: при одном воспоминании он побелел и затрясся.

— И он никак не дал понять, о чем он, собственно, говорит?

— Нет. Но он был особенно груб, когда упоминал вас.

— А!

— Сказал, что если увидит вас еще раз, то убьет на месте. Потому я и подумал, что мне следует вас предупредить.

— Ну, уверен, это были только слова.

— Будем надеяться. Однако выглядел он вполне на это способным. Мы знаем про его припадки ярости, и если бы вы видели выражение его лица...

Она сделала это, я знал. Рассказала ему. Нетрудно было вообразить, с каким наслаждением. Я ощутил прилив непомерной вины при мысли об этом несчастном, замученном человеке и о том, как я не только усугублял его страдания, но наслаждался этим, видя себя прямо-таки творящим справедливую кару. Я был орудием Луизы, но я и уподобился ей. Мной овладело ледяное онемение, я попытался стряхнуть его неуместной, оскорбительной озабоченностью судьбой человека, которого так ранил.

— Вы не попытались остановить его, урезонить?

— Разумеется. Но он полностью помешался. Если бы вы его видели...

— Да, вы говорили.

— Он меня просто напугал, скажу вам откровенно.

— Так что же нам делать? Пожалуй, стоит снова обратиться к доктору Мараньони.

— Я это уже сделал! Естественно, это было первым, что пришло мне в голову. Я попросил его встретиться с нами в палаццо. Я практически уверен, что Корт направлялся туда.

— Правда?

— Да. Может быть, нам тоже следует пойти. И еще я послал записку Дреннану. Мне кажется, он человек полезный в критические моменты. Возможно, Корта надо будет связать. Помешать ему причинить вред себе.

И мы пошли, как только я успел приготовиться. Я захватил с собой увесистую трость — думаю, из-за фразы Лонгмена, что Корт готов убить меня тут же на месте. Мы шли через лабиринт улиц и проулков. Я был бы рад сказать, что мы бежали во всю прыть, но Лонгмен был совершенно на это не способен. Меня устраивало, что он был со мной, хотя его плохо скрываемое предвкушение какой-нибудь скандальной сцены раздражало. Он прожил в Венеции много лет и знал каждую улицу. Впервые за все мое пребывание там я добрался до цели не заблудившись. Двое рабочих стояли перед воротами, которые были заперты. Там был и Дреннан, пытавшийся открыть дверь. Он выглядел слегка озабоченным, и это тревожило — Дреннан никогда не выглядел озабоченным чем бы то ни было.

— Что происходит?

— Не знаю. По-видимому, пару дней назад Корт попросил Макинтайра прийти помочь ему повалить какой-то столп. Макинтайр явился примерно час назад и вошел внутрь. Завязался какой-то спор, и Корт начал кричать на него. Затем вытолкнул всех рабочих вон и запер двери.

— Но почему?

— Они толком не поняли. Но кажется, Корт сказал что-то о людях, которые хотят забрать заодно и его здание.

— Заодно?

Дреннан пожал плечами.

— Поглядите.

Он кивнул на одного из рабочих Корта. Глаз у него покраснел и распух, а лицо кривилось от ярости.

— Неужели Корт? — сказал я недоверчиво.

— Видимо. Макинтайр вошел в здание, и Корт совершенно обезумел. Начал кричать на рабочих, выталкивать их, а когда один запротестовал, ударил его. Затем схватил кувалду и кинулся на них, обзывая ворами и предателями. Ну, они и ретировались, что неудивительно. Но они встревожены. Они хорошие люди, а он им нравится, хотя они и считают его слегка помешанным.

— Макинтайр может постоять за себя, — сказал Лонгмен неуверенно.

— Возможно. Но вот Корт? — возразил Дреннан.

— Не попробовать ли нам покричать через стену? — предложил Лонгмен.

И мы попробовали. Но это было бесполезно. Вход в здание находился по ту сторону двора во многих ярдах от нас. Стена была высокой, дверь массивной. Если либо Макинтайр, либо Корт был бы снаружи, он бы услышал, но не внутри здания.

Мы с Дреннаном переглянулись.

— Что вы думаете?

Дреннан пожал плечами.

— На мой взгляд, ничего по-настоящему скверного произойти не может. Не представляю, чтобы Корт действительно затеял драку с Макинтайром. Он же вполовину его меньше.

— Там есть ящики со взрывчаткой, — сказал рабочий. — Большой англичанин привез их два дня назад. Нам сказали, что они опасны и запретили подходить к ним.

Дреннан взял руководство на себя. Он поговорил с рабочими. Один повернулся и ушел, второй поманил нас следом за собой.

— У него есть лодка. Мы можем подгрести к фасаду дворца по каналу и проверить, не удастся ли войти через парадную дверь. Но она может быть заперта.

— А второй?

— Я послал его поторопить Мараньони.

Мы прошли по проулку к каналу, и несколько минут спустя появилась лодка с одним из рабочих на веслах. Он выглядел на редкость спокойным, учитывая, как взволнованы были мы. Он оказался хорошим гребцом и

молчаливым. Он жестом пригласил нас сойти в его лодку, начал грести быстро и безмолвно по узкому проливчику, а затем по каналу к парадному входу в палаццо.

Я сразу же узнал его: то самое здание, перед которым пел старик: я видел окно, в котором мигнул свет, а оглянувшись, увидел мост, на котором стоял тогда. При нормальных обстоятельствах палаццо произвело бы на меня большое впечатление. С воды оно выглядело огромным. Четыре этажа с замысловатыми готическими окнами на главном уровне. Обветшалое, но внушительное даже в этой своей заброшенности. Штукатурка, некогда выкрашенная в сочно-красный цвет, давно пошла блеклыми пятнами, а из щелей между выщербленными кирпичами свисали водоросли. Здание нависало над водой, будто огромный многоцветный монолит. Парадная дверь была большая и забранная толстой железной решеткой, которая, хотя и заржавела, для нас оставалась непреодолимым препятствием. Чтобы открыть ее, потребовались бы специальные инструменты или опытный слесарь.

Дреннан указал на проем в боковой стене — футов пять в высоту, не больше: по этой узкой канавке когда-то доставляли припасы. Темный проем, угрожающий, лишь чуть выше наших голов в утлой лодке. Гребец послушно опустил весла в воду еще раз и направил нас к проему.

Потолок коридора, тянувшегося по левой стороне здания, был знобяще сырым и покрытым слизью, а тьма непроницаемой, пока наши глаза не свыклись с ней. Но вскоре мы различили справа маленькую пристань. А за ней смутно маячили очертания двери. Мы кое-как выбрались из лодки на осклизлый камень. Дреннан впереди, я за ним. Он первым оказался у двери и принялся нащупывать засов. Визгливый царапающий звук сказал мне, что он его нашел. Затем я услышал, как Дреннан крикнул — и треск старого дерева, когда он прижал плечо к двери и нажал.

Полоска света. Совсем не яркого, по обычным меркам, но почти ослепившего наши глаза. Ну, и огромное облегчение. Мы были внутри! Дреннан пошел вперед, я за ним, натываясь на его спину, когда он останавливался прислушаться. Стояла полная тишина. Ни единого звука. Даже плеска воды о пристань позади нас.

— Корт! — крикнул я. — Макинтайр! Где вы?

Никакого ответа. Дреннан опять двинулся вперед. Его ноги ступали по плитам пола совершенно беззвучно, и, следуя за ним, я встревожился из-за громкого стука моих сапог. Дреннан словно бы знал, что он делает. Он прошел несколько шагов и остановился, наклонив голову, вслушиваясь. Затем прошел чуть дальше. После одной более долгой паузы он обернулся

ко мне. Мы прокрались вверх по короткой каменной лестнице в огромную комнату, примерно тех же размеров, что и парадная зала над ней. И нам открылось жуткое зрелище.

Макинтайр лежал на полу, закинув руку над головой. Из раны на затылке сочилась кровь. Пожалуй, не слишком серьезной раны, ведь крови было мало. Но удар был достаточно силен, чтобы он потерял сознание. Корт сидел возле него на колченогом деревянном стуле со спичкой в одной руке, подпирая подбородок другой. Между нами высился каменный столп, вздымаясь к потолку примерно на пятнадцать футов. А вокруг него — полдюжины свертков. Их обвивала тонкая бечевка, аккуратными кольцами лежавшая на полу.

— Корт! — окликнул я. — Что тут, черт дери, происходит?

Он обернулся и посмотрел на меня.

— А, Стоун! — сказал он абсолютно нормальным голосом. — Давно пора. Я вас ждал.

— Что вы делаете?

Он не ответил.

— Что случилось с Макинтайром?

— Раскомандовался. Сказал, будто я не знаю, что делаю. С меня довольно его опеки.

— Вы не выйдете на улицу? По-моему, нам следует поговорить.

— Мне нечего сказать вам, Стоун. Я больше не желаю с вами разговаривать. Никогда. Я знаю, что произошло. Луиза рассказала мне. Как вы могли? Как вы могли поступать так с кроткой, доброй женщиной?

— Поступать как?

— Я знаю все. Вы думали, стыд не позволит ей рассказать мне. Так почти и было. Она обливалась слезами, выплакала глаза, пока рассказывала, что вы проделывали с ней.

— О чем вы говорите?

— Она показала мне синяки, рубцы от веревки. Все. Сказала мне, как вы обошлись с ней. Мне следует убить вас за это. Вы чудовище. Гнусное животное, если хотя бы помыслили так поступить с женщиной...

— Она лгала вам.

— Она сказала, что вы так скажете. Но она рассказала мне про вас, Стоун. Как вы набросились на нее, изнасиловали. Бедную, беззащитную, кроткую женщину. И это все моя вина! Если бы я не привез ее сюда, если бы мог обеспечить ей жизнь, которую она хотела. Но все будет в порядке. Теперь я буду по-настоящему заботиться о ней. Я так ее люблю! Я полюбил ее с той минуты, когда увидел. Я должен заботиться о ней.

— Корт, не глумитесь! — сказал я. — Все это вздор. То же самое она говорила мне про вас. Она лгунья, Корт. Она говорит подобное...

— А, мистер Дреннан! — сказал Корт, вновь перейдя на жуткий разговорный тон. Пока я говорил, Дреннан украдкой обходил столп. — Будьте добры, встаньте так, чтобы я мог вас видеть, иначе я поднесу спичку к пороху вот тут. Это потребует меньше секунды. Не будете ли вы так любезны встать рядом с мистером Стоуном?

Дреннан подчинился.

— Послушайте, Корт, — сказал я настойчиво, собрав все свое хладнокровие. — Это неправда, понимаете? Это неправда. Она сама наносит себе синяки и рубцы. Я это знаю. У меня есть доказательство. У меня дома. Хотите его увидеть? Никто никогда не бил ее, не порол или еще что-нибудь. Она уже много лет утверждает такое. Чистые выдумки.

— Кто стал бы выдумывать подобное? — крикнул он, мгновенно перейдя в иное, безумное состояние. — Вы объявляете мою жену лгуньей? Или вам мало того, что вы уже сделали?

— Поглядите на меня.

И он поглядел, внезапно, но лишь на секунду подчинившись. Остекленевшие, широко открытые глаза. И такие же темные, как вечером на сеансе маркизы.

— Корт, вы приняли опиум.

— Ничего подобного, разумеется.

— Она пичкает вас им. Что она дала вам съесть или выпить?

— Вы лжете. Я всегда знаю, когда кто-нибудь лжет. Вот и он лгал, — сказал он, указывая на по-прежнему неподвижного Макинтайра. — Он сказал, будто только хочет помочь. «Только хочет помочь! Только хочет помочь!» — сказал он с визгливым детским передразниванием, совершенно не похожим на манеру говорить Макинтайра.

— И вы его ударили.

Он кивнул.

— А эта взрывчатка, — продолжал я, стараясь сосредоточить его внимание на разговоре. — Кто ее там разложил?

— Макинтайр. Привез ее несколько дней назад. Когда она подготовлена, остальное просто. Я только добавил прочие ящики, которые он не тронул. Я в помощи не нуждаюсь. Я сам могу все сделать. Вот погодите и увидите.

— Но, Корт, вы использовали ее всю. А это слишком много, — с тревогой сказал Дреннан. — Послушайте, я разбираюсь во взрывчатых веществах. Тут хватит, чтобы разнести половину Венеции.

— Нет-нет. Ровно столько, чтобы обрушить этот столп. Посмотрите, я покажу вам.

Его лицо прояснилось. Он наклонился и поджег запал, который заплевался искрами.

— Макинтайр сказал мне, что это потребует минуты полторы. Не приближайтесь. Я ведь могу запалить все сразу. Я останусь здесь, чтобы проследить. Я буду в полной безопасности. Макинтайр поможет.

— Я не уйду без Макинтайра. И вас, — сказал Дреннан.

Я понял, что и он теперь очень встревожен.

— Нет. — Корт шагнул к взрывчатке. Пламя уже было губительно близко.

— Какой смысл вам убивать себя? Как вы сможете заботиться о ней, если тоже погибнете?

— Со мной все будет хорошо, обо мне не беспокойтесь. Я знаю, что делаю. Затем я займусь Стоуном.

Я поглядел на Дреннана. Я не знал, что делать, но надеялся на него. Он же воевал, разве нет? Я видел, как его глаза мечутся от Корта к Макинтайру, к взрывчатке и обратно. Измеряя, рассчитывая. И я увидел, что он сдаётся. Мы были ярдах в четырех от Корта. Слишком далеко, чтобы схватить его и повалить прежде, чем он угадает наше намерение. Ему было достаточно только подвинуть руку на пару дюймов.

— Осталась примерно минута, — сказал Корт задумчиво.

— Позвольте нам унести Макинтайра. На всякий случай.

— Э, нет. Он должен надзирать. Он настаивал. Сказал, что не доверит мне и пробку из бутылки вытащить.

Дреннан взял меня за локоть.

— Идемте, — сказал он тихо. — Надо выбираться отсюда.

— Мы не можем. Мы должны что-то сделать.

— Что вы предлагаете?

— Макинтайр погибнет.

— Как и Корт. И мы тоже, если вы и не сдвинетесь с места.

Жалею, что я не был более героичен. Жалею, что не усмотрел возможности прыгнуть вперед и схватить руку Корта. Жалею, что не нашел слов, чтобы образумить его или хотя бы отвлечь на секунду и дать шанс Дреннану. Теперь я жалею о многом, из чего следует, что я не сделал ровно ничего. Дреннану пришлось волочить меня наружу не из-за моей решимости остаться, но потому что я окаменел и не мог шевельнуться. Он подтащил меня к двери — оставалось около тридцати пяти секунд, и сволок вниз по лестнице. Только когда я растянулся на скользком полу, я

наконец ожил, и меня захлестнула паника. Я вскочил, споткнулся (я все это помню) и бросился во мрак, не представляя, куда бегу. Просто двигался за топотом ног Дреннана.

Мы вернулись к лодке. Дреннан заорал на ждавшего нас гребца. Двадцать секунд. Рухнул в нее, чуть не перевернув. В тот же момент американец потянулся высвободить носовую чалку и одновременно оттолкнулся от пристани. Пятнадцать секунд. Начал грести бешено на дневной свет снаружи, ближе, ближе. Десять секунд. Покрыл полпути к нормальности канала снаружи, к лодкам, груженным фруктами, одеждой, дровами. Люди перекликаются. Некоторые поют. Пять секунд. Затем мы оказались снаружи, но все еще двигаясь поперек канала. Дреннан вопит как сумасшедший всем, кто в ближайших лодках, чтобы они убегали подальше, опустили головы ниже. Две секунды. Я оглядываюсь назад и вверх и вижу Корта у окна, того окна, которое прежде я видел открытым, когда старик пел под ним. Он оперся локтем о подоконник, подпирая подбородок. Он выглядел довольным.

Оглушительный взрыв. Еще и еще, когда начали рваться другие заряды вокруг столпа. Кладка, штукатурка, черепица крыши взлетели в воздух, а внутренность здания внезапно озарил ярко-алый и оранжевый свет. Гигантская волна взметнулась поперек канала. Наша лодка перевернулась, как и многие другие, оказавшиеся с той же стороны дворца, что и мы. Фрукты и овощи, сушившееся белье и люди были сброшены в воду, и когда я, задыхаясь, всплыл на поверхность и оглянулся, то увидел, что крыша и верхние этажи здания исчезли, тонкие стены сложились, как бумажные, и упали внутрь с оглушительным грохотом, а вверх вздымалось огромное облако пыли, поднятой взрывной волной.

Дреннан и я сумели добраться до нашей лодки, которая умудрилась совершить полный оборот вокруг своей оси и теперь выпрямилась, хотя и была наполовину полна воды. Затем обломки, взлетевшие к небу, начали сыпаться в канал, будто бомбы. Повсюду взметались огромные фонтаны воды. Одну лодку утопило что-то смахивающее на печную трубу. В окрестных домах окна разлетались вдребезги, рушилась кирпичная кладка стен. Люди кричали, бегали, лежали на земле, зажимая головы руками. Наш гребец подплыл к другому берегу, и я увидел, как он выбрался из воды, бледный, но, по-видимому, не пострадавший. Затем я огляделся. В воде плавали обломки и люди, выброшенные из лодок; мужчины и женщины равно панически барахтались в канале. Их вытаскивали. Я ухватил женщину, которая тонула, и заставил ее держаться за борт нашей лодки. Дреннан и я пытались втолкнуть ее к нам, но она оказалась слишком

толстой, а ее одежда слишком отяжелела от воды. Она принялась вопить и молотить нас кулаками, поэтому мы ограничились тем, что подтолкнули ее к берегу. Там собралась толпа; некоторые прыгали в канал помогать, другие, разинув рты, просто таращились на разворачивающуюся катастрофу.

Мы ничего не говорили. Слишком трудно было дышать, слишком велик был шок, чтобы вымолвить хоть слово. Но наша лодка продрейфовала к противоположному берегу, и Дреннан заработал ногами, чтобы подогнать ее вплотную. Я помог, затем мы описали полукруг, пока не оказались возле рук, протянутых, чтобы выудить нас и положить на теплый камень, и мы лежали, задыхаясь от ужаса и усталости.

Дреннан оправился значительно быстрее меня, пошатываясь, встал и принял толстое одеяло, чтобы закутать плечи. Мне потребовалось больше времени, но в конце концов и я встал, однако ноги у меня подгибались так, что я чуть было не упал снова.

По крайней мере никто из прохожих как будто не пострадал. Они испытали сильнейшее потрясение, промокли до костей, но этим, казалось, все и ограничилось. Однако я знал, что для тех двоих надежды нет. Остаться в живых было невозможно, внутри любой погиб бы.

Тут Дреннан тронул меня за плечо и указал. Из воды извлекли тело, и люди звали на помощь. Корт! Он был смертельно бледен, рукав его черного сюртука пропитался кровью, волосы слиплись от крови, но он как будто был жив — во всяком случае, так полагали люди вокруг него. Они кричали, что нужен доктор, и незамедлительно. Положили они его с трогательной бережностью, держа его руку.

— Его, вероятно, выбросило в окно, — сказал Дреннан негромко.

— А Макинтайр? Вы не думаете...

— Надежды нет. Никакой.

Больше он ничего не сказал, но я знал, что он прав. Инженер лежал всего в двух футах от главного заряда. Одно это должно было убить его мгновенно, без падающих обломков и огня.

— Нас будут допрашивать власти, — вполголоса сказал Дреннан. — Надо решить, что мы скажем.

— Правду, я думаю.

Но Дреннан кивнул в сторону Корта.

— А он?

Я посмотрел на жалкое бледное лицо Корта, и меня вдруг неистово затошнило. Я вновь опустился на колени и прижал лоб к камню, отчаянно пытаюсь совладать с судорогами моего желудка.

Дреннан рывком поднял меня и свирепо встряхнул.

— Возьмите себя в руки! — зашипел он мне в ухо. — Мы должны уйти, пока не появилась полиция. Мы можем явиться в участок, когда будем знать, что, собственно, делаем. Быстро идите за мной.

Никто не обратил на нас особого внимания, когда мы свернули в проулок и поспешили прочь. Я отвел Дреннана в дом маркизы, где приказал служанке подать горячей воды и потребовал, чтобы ее принесли немедленно. Затем мы прошли в мои комнаты, разделись и в ожидании завернулись в полотенца. Мы оба молчали; я поник в кресле, осознавая только вонь ила в моих ноздрях, моих волосах и по всему моему телу. Дреннан нетерпеливо расхаживал взад-вперед, но говорить был способен не более меня. Я налил итальянское бренди в две большие стопки — неприятное пойло, но крепкое и эффективное — и мы выпили его за неимением лучшего. Затем еще по стопке, пока слуги не принесли воду и мы не вылили ее в ванну.

Потом мы вымылись и оделись. Дреннан выглядел чуть мешковато в одолженном костюме: он ведь был ниже меня и не таким широкоплечим.

— Послушайте, Дреннан, я должен вам кое-что сказать.

— Давайте.

— Я не думаю, что то, чему мы были свидетелями сегодня, было убийство Макинтайра Кортон.

— Нет?

— Я верю, мы были свидетелями того, как Луиза Корт пыталась убить своего мужа.

Я сел и рассказал ему подробно и честно все, что произошло. Он не выразил ни малейшего удивления, вообще никак не отреагировал. В заключение я дал ему два письма, которые пришли утром. Он проглядел их и вернул мне.

— Понимаю. Так что вы боитесь...

— Нет, в данный момент я ее не боюсь. Я боюсь за мальчика. Последний раз, когда я говорил с ней, она сказала, что ей надо лишь освободиться от мужа и мальчика, а тогда она займется мной. В ту минуту я не отнесся к этому серьезно, но теперь это меня тревожит.

Дреннан встал.

— Хотите, чтобы я побывал у него на квартире и посмотрел?

— Если вы в силах, я был бы очень благодарен. Более благодарен, чем могу выразить. Не думаю, что от моего там появления была бы польза.

— Я тоже так считаю.

Он ушел, а я направился к маркизе узнать, не уделит ли она мне

несколько минут.

Она выслушала меня с непроницаемым видом, затем печально вздохнула.

— Несчастный человек. Конечно, я знала, что подобное должно случиться. Его аура...

— Хватит чуши про духов и ауры! — перебил я. — У нас нет времени. Корт убил человека. Возможно, он помешан, но если так, то с ума он сошел из-за вашего дурацкого сеанса. Как это будет выглядеть, когда об этом узнает весь город, э?

Духи ретировались туда, откуда пришли, едва маркиза поняла всю опасность своего положения. Скандалы убивали не меньше людей, чем ножи или пули.

— Будь дело только в вашей репутации, мне было бы все равно. Но у Макинтайра осталась дочка. У Корта есть сын. Да и сам Корт, который теперь, вероятно, остаток жизни проведет в приюте для умалишенных, — если ему повезет.

— Ну, его следует немедленно отправить в Англию, — сказала она небрежно. — А что до страшной случайности, которая унесла жизнь бедного Макинтайра...

— Это не было случайностью.

— Страшной случайности, — повторила она. — Так они неизбежны, когда люди играют со взрывчатыми веществами.

— Неужели вы правда думаете, что кто-нибудь поверит...

— Я думаю, что люди предпочитают верить простейшим объяснениям. — Она встала. — Я должна поговорить с синьором Амброзианом. Он друг и достаточно влиятелен, чтобы указать полиции, чем заняться.

— Я не хочу...

— Ваши желания никакого значения не имеют, мистер Стоун. Вы не знаете ни этого города, ни как он живет. А я знаю. И насколько понимаю, вы уже натворили достаточно бед. Так предоставьте мне улаживать все, как я сочту нужным. Идите отдохните и ничего не делайте, пока я не вернусь.

Я оставался в одиночестве до позднего вечера. Уже стемнело, когда вернулась маркиза. При любых других обстоятельствах я был бы поражен ее внезапным преображением из эфирной духовидицы в политическую манипуляторшу, но в тот день уже ничто не способно было меня поразить. С ней пришел Мараньони. С Кортом все хорошо, сообщил он.

— Несколько ожогов, порезы, синяки и сломанная ключица — вот и

все. Ему чрезвычайно повезло.

— То есть физически, — продолжал он. — Чего нельзя сказать о его психическом состоянии. Боюсь, он окончательно сломался. Не неожиданно, но тем не менее прискорбно. Ну, поглядим, как он поведет себя в ближайшие дни. Хорошо, что он в больнице и не столкнется с женой.

— То есть как?

— Ее доставили ко мне несколько часов назад. Знаете ли, мне начинает надоедать, что меня используют для затушевывания английских скандалов.

— Из-за чего?

— Из-за поджога дома, где они жили. Когда там еще оставался ее ребенок. Обнаружив, что они горят, все жильцы в панике бросились на улицу, и никто не подумал заглянуть в квартиру Кортон. В отличие от Дреннана, когда он появился там, почти опоздав. Он выбил дверь — с большим мужеством, должен сказать, пожар был опаснейший — подхватил малыша на руки и сбежал с ним по лестнице. У ребенка ожог на левой руке, а Дреннану рассек левую щеку осколок стекла. Но в остальном оба чувствуют себя нормально. Однако многие люди лишились квартир и имущества. Крайне скверное дело.

В ту минуту моя благодарность Дреннану не имела границ. Ведь он спас и меня.

— Почему вы полагаете, что пожар устроила она?

— Ее видели, — сказал он. — А позже задержали на вокзале, когда она садилась в вагон швейцарского поезда. При ней были все ее деньги, драгоценности и паспорт. Короче говоря, все, кроме ее мужа и сына. И ее реакция, когда она услышала, что ее сына спасли из огня, отнюдь не была реакцией любящей матери. Когда же я вдобавок сообщил ей, что и ее муж, и вы с трудом, но спаслись, она впала в такое неистовство, что ее пришлось связать.

— И что с ней произойдет?

— Это, разумеется, вне моей компетенции. Все зависит от того, как оценят случившееся власти.

— Они сочтут случившееся страшным несчастьем, — сказала маркиза твердо.

— Да?

— Да. Вы счастливый человек, мистер Стоун, — продолжала она, поворачиваясь ко мне. — У вас есть влиятельные друзья. Синьор Амброзиан был очень огорчен вашей бедой и приложит необходимые усилия. Взрыв, бесспорно, произошел случайно, видимо, из-за

небрежности мистера Макинтайра. Что до миссис Корт, тут потребуется большая тактичность.

— А именно?

— Ну разумеется, вопрос о дочери Макинтайра и сыне Корта. Я не знаю. Полагаю, нам следует спросить мистера Лонгмена, что тут можно сделать. Это его обязанность.

~~~~~  
*Сент-Джеймс-сквер*  
*Лондон*  
*15 марта 1909*  
*10 часов вечера*

Дорогой Корт, приложенной к этому письму вы найдете пачку документов, которые я прошу сохранить в полной конфиденциальности. Они объяснят мои нынешние действия, а это вам требуется больше, чем кому бы то ни было. В пакете вы найдете все документы, касающиеся броненосцев, и указания, как вам поступать в ближайшие месяцы. Кроме того, вы найдете памятную записку, представляющую, на мой взгляд, величайшую важность.

Из этих страниц вы узнаете, как начался мой путь к успеху, и они также поведают вам о моих отношениях с вашей матерью много долгих лет тому назад. Вы наконец узнаете обстоятельства нервного срыва вашего отца и почему вы были брошены. Причиной был я. Ваша мать была страшной женщиной, говорю это прямо. У меня нет к ней никакого сочувствия, но если она была сумасшедшей, кто распалил это безумие и превратил мелочную жестокость в нечто куда более опасное? Мараньони имел обыкновение повторять, что помешательство дегенератов латентно и требуются только соответствующие условия, чтобы его пробудить. Возможно, так и есть; возможно, подобное бешенство накапливается поколениями, пока не прорвется, точно лопнувший гнойник. Быть может, я был всего лишь толчком, а не побудительной причиной. Не знаю. Я не оправдываю себя подобными аргументами. Ее наказание было суровым, но в то время я воспринял его с облегчением, как удовлетворительное решение проблемы, позволившее мне позабыть про все это. Я не претендую на то, будто был лучше ее, просто более удачливым.

После этих событий ваш отец сломался окончательно и по-настоящему так и не оправился. Он всегда отличался чрезмерной впечатлительностью, а обязанности, возложенные на него в Венеции, были слишком тяжелы. Он был легкой добычей для таких, как Луиза, которая не просто его терзала, но и наслаждалась его муками. Дреннан сопровождал его в Англию, а я позаботился, чтобы в финансовом смысле он ни в чем не нуждался. Он был кротким, добрым человеком и заслуживал лучшей участи. Я также принял необходимые меры, чтобы мистер и миссис Лонгмен могли заботиться об

Эстер Макинтайр, и продолжал выплачивать ей пособие, когда она вышла замуж.

Я поступал так потому, что хотя мое право на торпеду Макинтайра было юридически законно, на самом деле я практически украл ее с помощью хитрости. Оно стоило несравненно больше суммы, которую я заплатил за нее, и более честный человек признал бы этот факт и постарался бы искупить его. Из-за честолюбия я уклонялся от такого признания и цеплялся за веру в мою безупречность по законам бизнеса. Настало время покончить с этой иллюзией. Я обеспечил синьору Винкотти в моем завещании, но я не хочу, чтобы она узнала причины, стоящие за этим.

Теперь я должен перейти к более важным вопросам. А именно, о другом условии в моем завещании, добавленном, сказал я вам, для того лишь, чтобы воспрепятствовать нежелательному любопытству в случае моей смерти. Причина была не в том, а в последнем моем разговоре с вашим отцом незадолго до того, как он умер. Ему было крайне необходимо увидеть меня в этот последний раз. Я не знал почему. Рад сказать, от прежней горечи не осталось и следа, хотя он был более чем вправе ненавидеть меня. Луиза сказала ему, что ждет моего ребенка. Она сказала это ему в их последнем разговоре, когда ее издевки и жестокость ввергли его в безумие от отчаяния. Ее особый способ довести его до иступления, способ подчеркнуть его слабость и полный крах; продемонстрировать, как истощающе я отнял ее у него.

Я не отнесся к этому серьезно. Она была отпетой лгуньей, готовой утверждать все, что угодно, лишь бы получить желаемый эффект. Но когда он рассказал мне, отмахнуться я уже не мог. И начал наводить справки.

Потребовалось значительное время, чтобы добиться ответа от приюта умалишенных в Венеции, и мне пришлось прибегнуть к значительному нажиму, чтобы проломить стену конфиденциальности, окружающую подобные заведения. Все было бы проще, будь жив Мараньони, но он умер в 1889 году в возрасте всего лишь сорока восьми лет. Однако его архив продолжает жить. Он выполнил то, что ему было велено, хотя и с большой неохотой. Луиза была объявлена умалишенной и заключена в приюте без судебного разбирательства или предъявления обвинения только по административному распоряжению. Простое разрешение щекотливой проблемы. Как сказала маркиза, на моей стороне были влиятельные люди. У Луизы их не было. Пока Мараньони был жив, она оставалась в заключении и содержалась в крыле, отведенном для опасных, буйных и неизлечимых. Для таких не существует пересмотров или апелляций. И это



действительно свело ее с ума. Но когда он умер, она сумела обрести свободу. Как кажется, она вела себя тихо, а приют был переполнен. Связаться со мной она не пыталась. Полагаю, она прекрасно знала, каким будет мой отклик, попробуй она дать знать о себе.

Вместо этого она стала медиумом, мадам Бонинской, и использовала то, чего набралась от маркизы, как единственный доступный ей способ зарабатывать на жизнь. Она странствовала по Континенту, проделывая кунштуки с Потусторонним Миром, наскребая на жалкое существование, одурачивая глупых, добавляя малую толику шантажа и эмоциональных пыток. Получалось у нее все это хорошо. Природное призвание, могли бы вы сказать.

Но ребенок... Против обыкновения она сказала вашему отцу правду, пусть из жестокости и желания ранить. Его забрали у нее сразу после рождения, как принято. Ей не позволили прикоснуться к нему или хотя бы взглянуть на него. Мараньони обо всем позаботился. К тому времени он уже хорошо ее знал. Он знал, на что она была способна. Понимал, что значило быть ребенком такой ведьмы. Дитя было осквернено дурной кровью, родилось дегенератом. Неблагоприятные обстоятельства могли выявить это в следующем поколении и повторить весь цикл. Только абсолютно безопасная среда могла противостоять такой тенденции. Но полагаю, даже в таком случае он особых надежд не питал.

А потому ребенок был укрыт от своей матери в бюрократических чащобах без имени и без личности, без свидетельства о рождении, без чего-либо. И он уничтожил все записи о его судьбе. Отдан в семью в соседнем городке? В архиве нет ничего, сообщили мне. Его преемники сообщили мне правду. Я почувствовал это по их письму. Им было незачем отказывать мне в сведениях или лгать. Они просто ничего не знали.

Но Луиза искала. Это следовало из документов. Она покинула приют, и документы зафиксировали ее намерения. Не относительно вас — за двадцать три года, проведенные в этом месте, она ни разу про вас не спросила. В ее глазах вы были ребенком вашего отца, но не ее. Но другой, тот, кому она дала жизнь в приюте, этого она хотела отыскать; этот был ее, она знала это, ощущала в своей крови.

Поскольку я больше не получал от нее никаких вестей, то заключил, что она не преуспела либо ребенок умер. Но обнаружил, что хочу узнать про судьбу этого младенца, моего ребенка, а она была единственной, кто мог бы что-то мне сообщить. Для меня это стало почти манией. Бизнес никогда ничего подобного во мне не вызывал. Тут вы меня знаете достаточно хорошо; величайшие проблемы, колоссальнейшие проекты — к

ним я отношусь спокойно. Даже катастрофы и непоправимые неудачи не лишают меня сна. А вот это лишило. Поглощило мои мысли. Элизабет увидела это и встревожилась, но стыд мешал мне рассказать ей, что меня заботит. О ее жизни я знал все, знал, каким было ее прошлое. Но она ни разу не совершила жестокости. Я не хотел признавать, насколько она была лучше, чем я.

А потому в глубокой тайне, когда мне следовало бы сосредоточиваться совсем на другом, я разыскивал Луизу Корт, мой единственный шанс узнать правду. В конце концов я получил верную подсказку из Германии и поручил Ксантосу отправиться туда и удостовериться, что это действительно она. Поехать туда сам я не хотел. Мысль снова увидеть ее меня страшила. Что он сказал ей? Что ответила она? Не знаю. Я не видел его с тех пор: он всегда находит предлог не возвращаться, строя свои козни за границей, думая, что я не догадываюсь о его махинациях.

Но что бы там ни произошло между ними, это привело ее в Лондон. И породило несколько плаксивых писем с клянченьем денег. Угрожающих, намекающих, но пустых. Она знала, что мне что-то нужно, но и только. Что именно, она не знала. Несколько дней назад я побывал у нее. Еще раз сегодня днем.

Она понятия не имела о значении того, что сказала мне. Отголоски симпатии или жалости к ней развеялись при этой встрече. Она сеяла в мире только зло, а теперь она — еще и мой конец. Она обретет свой финальный триумф. А мой — в том, что она никогда не узнает про него.

О, она была гнусной, зловонной, клянчащей, омерзительной. Я еле терпел разговор с ней. Не мог сидеть в одной с ней комнате.

— Почему мы не можем поговорить о прошлом? Ты когда-то любил меня.

Нет. Никогда. Не больше, чем она когда-либо любила меня. Она даже не понимала смысла этого слова, как и я, пока не встретил Элизабет. Мы заслуживали друг друга, не сомневаюсь, но ни ваш отец, ни Макинтайр не заслуживали ни ее, ни меня.

Мозги у нее слишком протухли, чтобы понять, к чему я клоню, собрать кусочки мозаики воедино. Хотела она только денег и могла бы заполучить их все, дай она мне иной ответ. Получи она деньги, много ли толку ей от них было бы? О, ее прелестное дитячко! Столь жестоко вырванное из материнских объятий! Но материнская любовь неутолима. Она выследила его... почти. Нашла женщину, которая забрала его, убедила ее рассказать. Так далеко они его отослали, чтобы она не догадалась. Она перехитрила их. Как она была умна! Но судьба жестока, она вновь потерпела

поражение. К тому времени, когда она добралась туда, ребенок исчез. Он работал поблизости. Она отправилась посмотреть. Ребенок уже сбежал. О, она искала. Как она искала! Ребенку в беде нужна материнская любовь. Но с тех пор ни единого знака, ни единого следа.

Оставалось задать еще несколько вопросов. Я ждал только банальных ответов, неинтересных. Закругление перед тем, как уйти. Я был абсолютно спокоен, почти расслабился. Просто небольшое уточнение. Я чуть было вообще его не задал.

— Это был мальчик или девочка?

— Девочка.

— И где?

— В Лозанне.

— Как фамилия семьи?

— Штауффер.

— А ее имя?

— Элизабет.

Я ошибался. Я полагал, что раз и навсегда распрощался с Венецией, когда вернулся в Англию с оборудованием мастерской Макинтайра, но она оставалась со мной всю мою жизнь. Я сделал все необходимые приготовления быстро и, несомненно, с огрехами, но они сойдут. Я должен осуществить мои планы, прежде чем моя воля даст слабину. Физически я трус. Я хорошо себя знаю. Будет нелегко предпринять необходимые шаги и так легко подыскать причину изменить мое намерение. Но мне нельзя поддаваться слабости. Это единственный выход, во всех отношениях удовлетворительный. То, что я собираюсь сделать, причинит неудобства многим людям. Мне все равно. Поступи я иначе, Элизабет ждут страдания, а этого я не снесу.

Остаться с ней я не могу. Не могу увидеть ее хотя бы последний раз из страха, что выдам ужасную правду, которую узнал сегодня днем. Я не могу даже попрощаться. Ничто не должно вызвать и тени сомнения в том, что произошел несчастный случай. Она начнет действовать, чтобы узнать правду. Она очень умная, решительная женщина, как вы знаете. Вопреки моим усилиям оградить ее она может преуспеть.

Корт, вам следует узнать вот что. Вы мне ничем не обязаны; поступай я иначе, быть может, хрупкого здоровья вашего отца достало бы, чтобы дольше быть вам настоящим родителем. Я не прошу извинения, что использовал вас в деле «Барингса» в Париже, и, полагаю, вы такого извинения и не ждете. Подобное случается в политике и в бизнесе. Моя

единственная ошибка тут сводилась к предположению, что вы достаточно умудрены житейским опытом, чтобы это понимать. Равным образом я не считаю, что помощь вам на протяжении многих лет в какой-то мере уплачивает мой долг вам. Сложись все иначе, вы не нуждались бы во мне.

Но у Элизабет вы в долгу. С того момента, когда в Париже были готовы принести ее в жертву ради горстки золота. Вы были ее другом, она доверяла вам, а вы ее предали, дав волю своему гневу на меня. Тогда я этого не понял, но, боюсь, жестокость вашей матери продолжает жить в вас. Слишком уж вы наслаждались тогда тем, что совершили в тот вечер. Я прочел это в ваших глазах, и я знаю, что с тех пор вы находили себе оправдание, думая, будто я был готов сделать то же самое, если бы понадобилось. Вы ошиблись, сочтя, будто я поручил Дреннану завладеть ее дневниками, чтобы самому их использовать. Даже тогда я позволил бы Империи рухнуть, лишь бы оберечь ее. И вы убили человека, который спас вас из огня.

Вексель, который вы выдали тогда, крайне велик, и я предъявляю его к уплате. Это ваш единственный шанс навсегда покончить с таящейся в вас наследственностью. Вы должны скрыть или уничтожить эту мою памятную записку, обеспечить, чтобы Луиза Корт никогда не докопалась до правды, и оберегать свою сводную сестру до конца вашей жизни, терпя ее ненависть к вам, не проронив ни слова. Ваш отец ведь тоже ваша часть, и вы исполните мои желания.

Я люблю Элизабет больше чего-либо в моей жизни. Я с радостью и охотой отдал бы все, что у меня еще есть, до последнего пенни, ради нее. Она могла бы попросить что угодно, и я бы сделал это. Она моя любовь. Видеть, как она спит, видеть ее улыбку, видеть, как она подпирает голову ладонью, когда читает, сидя на кушетке, — это все, что мне когда-либо было нужно. Это моя жена, и каждую секунду прошлых двадцати лет я любил ее как жену. Она лучшая из всех, кого я знал. Почему это так, я не понимаю. Быть может, жестокость и коварство ее родителей каким-то чудом создали женщину, свободную от них. Не знаю. Я знаю только, что отдал бы свою жизнь ради нее. И теперь отдам.

Мои грехи, грехи Венеции запятнали ту единственную, кого я любил. Женщину, которую я был предназначен лелеять и растить. Я женат на собственной дочери, ребенке, которого должен был бы держать в объятиях и любить как отец. Дочери, которую должен был бы вырастить, взлелеять, увидеть, как она держит в объятиях собственных детей. Вместо того я обрек ее на нестерпимое детство, а затем и страшную судьбу. Я своими глазами увидел, что совершил, когда мне показали отвратительный плод

нашего союза, но до этой минуты я не воспринимал его так. Это слишком тяжело, чтобы снести. Я больше не могу жить с ней, и я не могу жить без нее.

Пока она ничего не знает, она будет оплакивать меня и сожалеть о моей смерти, и сможет построить новую жизнь. Счастливую. Ее муж, удрученный годами, споткнулся о ковер и выпал в окно. Прискорбно. Он был любящим мужем, но всегда боялся высоты. Она будет скорбеть и, я надеюсь, забудет. Она достаточно молода, чтобы выйти замуж, и будет богата настолько, чтобы ни о чем не заботиться. Я мечтал встретиться с ней старость — более глубокую старость, следовало бы мне сказать, — но это теперь невозможно. Зато она будет хранить светлые воспоминания обо мне вместо гадливого отвращения, каким прониклась бы, узнай она правду.

За всю свою жизнь она не совершила ничего дурного, если не считать того, что полюбила меня. Вы думали, будто я не знал про ее прошлое. Я знал практически все, но не сумел что-либо выяснить о ее происхождении. Ее история началась с того приюта в Лозанне. Ничего о ее матери или отце; ничего о том, где она родилась или даже когда. Я искал, но не нашел ничего. Она была сиротой, так какое значение имело, кем или чем были ее родители? Я любил ее слишком сильно, чтобы придавать значение ее образу жизни, так какое значение могло иметь что-то, никак от нее не зависевшее? Почему должен был я связать ее с бредом чудовищной матери в Венеции, много лет назад сочинившей сказочку, чтобы подчинить мужчину своей воле?

Через несколько минут я открою окно, которое дожидалось меня почти полвека. Я не боюсь его — старый венецианец был терпелив и подождет еще несколько минут. Все, чем я так гордился, что давало мне такое удовлетворение, стерлось из моей памяти, будто никогда не существовало.

Все эти предприятия, все коловращения денег распутаются после моей смерти. Предоставляю вам спасти то, что удастся, если вы пожелаете. Через несколько коротких лет все сделанное мною сотрется и будет забыто. Как и я сам, вполне заслуженно.

Очень хорошо. Да будет так.

# Примечания

**1**

Человек экономический (*лат.*).

**2**

Как вельможи (*фр.*).

**3**

Бал-маскарад (*фр.*).

**4**

Несостоявшиеся писатели (*фр.*).

**5**

Великие потаскухи (*фр.*).

**6**

Сенсация, неожиданная развязка (*фр.*).

**7**

Кухмистерская (*фр.*).

**8**

Сударь (*фр.*).

**9**

«Лозаннская газета» (*фр.*).

**10**

Сливки общества (*фр.*).

## 11

Ради чести знамени (*фр.*).

## 12

Конец века (*фр.*).

## 13

Член британского кабинета министров, отвечающий за экономические и финансовые вопросы. — *Примеч. пер.*

## 14

Здесь: промах (*фр.*).

## 15

Наречие из смеси разных языков, на котором объяснялись между собой жители разных стран Средиземноморья. — *Примеч. пер.*